Мих. Старицкий

МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

Твори у восьми томах

Видавництво художньої літератури
„ДНІПРО“
Київ—1965

Михайло Старицький

Том шостий

Видавництво художньої літератури
„ДНІПРО“
Київ—1965

Редакційна колегія:
М. Д. БЕРНШТЕЙН, М. П. КОМИШАНЧЕНКО,
Н. І. ПАДАЛКА, І. І. ПІЛЬГУК

Упорядкування *І. І. Стешенко*

Примітки *В. У. Олійника*

Редактор тома *М. П. Комишанченко*

КИЇВСЬКА КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ № 4

Разбойник Кармелюк

Исторический роман

I

1812 года, раннею весной, когда в благодатной Подолии стлались бархатом озими и изумрудом отливали луга, когда сады ее рядились в пушистые белоснежные и нежно-розовые уборы, а грабовые леса подернуты были коричневатою дымкой,— на обширном дворе пана Пигловского, в селе Головчинцах[1], было суетливо и шумно. У длинной, гонтою крытой конюшни стояли и каруцы на высоких рессорах, и плетеные натачанки, и высокие, с особенными колысками-сиденьями шарабаны. Кучера, форрейторы, казачки в разнообразных костюмах — и французских ливреях, и старопольских чемарках, и казакинах — сновали между экипажами, вываживали лошадей и группировались с местной челядью у пекарни. Каменный панский дом, распахнувшийся двумя крыльями и смотревший гордо мезонином-башнею в небо, блистал как-то празднично окнами, в которых мелькали силуэты пышных фигур. Хозяин дома, пан Францишек Пигловский[2], праздновал возвращение из-за границы двух сыновей, окончивших свое образование; по этому-то поводу и съехались теперь к богатому и имевшему вес в уезде дидычу (коренной помещик, наследственный пан) ближайшие его друзья и соседи.

В обширном салоне пана Пигловского стоял оживленный говор; общество собралось здесь после сытного обеда и, попивая ратафию *, наливки да старый венгржин (венгерское), предавалось отдыху и беседе.

Гостиная уставлена была массивной мебелью крас-

* Підсолоджена фруктова наливка.

ного дерева с инкрустациями и бронзой; пол был покрыт роскошным домашней работы ковром, а стены увешаны эстампами, изображавшими сцены геройских схваток Костюшки и эпизоды из французской революции; самое почетное место занимал портрет Наполеона Бонапарте, помещенный среди кардиналов. На двух мраморных тумбах стояли бронзовые фигуры Яна Собеского и королевы Бонны [3]; а на экране, закрывавшем огромный камин, был вышит одноглавый орел, терзающий труп медведя [4]. На камине стояли старинные бронзовые часы, а с круга плафона спускалась многосвечная хрустальная люстра, сверкавшая целыми гроздьями блестящих висюлек. Среди кресел расставлены были маленькие столики, на которых на золоченых подносах красовались разной формы сулеи и фляги и сверкали хрусталем длинные пугары (род бокала) и пузатые чарки. У высоких окон плавали тонкие сизые струйки табачного дыма...

Хозяин дома, средних лет и крупного сложения мужчина, сидел, развалясь в кресле, выдвинутом почти на середину, и ораторствовал, попыхивая из длинного чубука трубку.

Он был одет в черный редингот с высоким отложным воротником и в белый шелковый жилет. Маленькие бачки, взбитый на голове кок и бесцветные глаза придавали его бритому, безусому лицу холодное, надменное выражение; вообще он напоминал какого-то иностранца-вельможу.

Рядом с ним, облокотясь на высокую спинку кресла, стоял одетый по последней парижской моде юноша лет двадцати, с светлыми глазами и нежным, но отчасти уже поблекшим лицом,— это был сын хозяина, Алоиз; другой сын, Казя, не похожий ни на отца, ни на брата, с живыми огненными глазами брюнет, стоял у двери в зал и что-то нашептывал длинному, с красноватыми глазами и багровым кончиком носа субъекту; некрасивая бритая физиономия последнего улыбалась, сладостно жмуря глаза,— это был сосед Пигловского, пан Вицентий Хойнацкий [5], муж дородной, сидевшей на диване знаменитой и строгой пани Доротеи.

Почтенная дама, будучи не первой молодости, цвела еще дородностью и здоровьем. Полные, румяные щеки ее напоминали хорошо выпеченные сдобные булки, под-

бородок закруглялся задорно и уступами сливался с роскошным бюстом; сочные темно-малиновые губы ее были несколько открыты, словно бы от избытка волнения, а большие серые глаза маслились от тоскливого, неуравновешенного томления,— вообще пани Доротея была полною антитезой своего супруга. Она усердно трепала из ветоши корпию, бросая изредка кокетливые взгляды на сидевшего с ней рядом молодого франта; бледный и выжатый, как лимон, этот варшавяк прибыл сюда по экстренному поручению от графа Огинского [6]. Штиблеты, башмаки и жабо, а также остренькая бородка и усики, подкрученные вверх шилом, придавали его тощей фигуре комический вид. Франт, видимо, таял перед силою форм пани Доротеи и лебезил ей что-то сладкое.

Слева на кресле грузно сидел и шумно дышал могучими легкими пан Феликс Янчевский [7].

Приземистый, широкоплечий и плотный, он похож был на выкорчеванный дубовый пень; багровое ядреное лицо его крупными чертами своими напоминало грубо отлитую бронзу, особенно шея, на которой можно было бы гнуть и ободья. В глазах его, проницательных и живых, светились ум и энергия, но в выражении их было нечто неприятное, злое, а характерные морщины между бровей придавали ему еще черту упорства и необузданности. Низко остриженные каштановые волосы его отливали уже, как дорогой бобер, серебром... Пан Феликс был в длинных сапогах и венгерке и, нагнувшись вперед, внимал хозяину, пытаясь уже несколько раз прервать его, но напрасно.

Отдельно у камина сидел в темной сутане молоденький и чистенький, как белый грибок, егомосць ксендз; он вел тихо какой-то разговор с чрезмерно толстым брюнетом в роскошном старопольском костюме с вылетами, кривулей и подбритой даже чуприной,— паном Фингером, бывшим маршалком (предводителем дворянства).

В углу гостиной, смежной с кабинетом хозяина, группировалось еще несколько молодых людей, среди которых находился приехавший месяц тому назад из герцогства Варшавского коморник [8] (землемер) для стратегических съемок, а за этой группой, всунувшись несколько в кресло и склонив на грудь голову, безмя-

тежно спал пожилой уже и упитанный чрезмерно помещик...

Свободу выражений этой мужской компании стесняла несколько единственная дама — Доротея, но она непринужденностью обращения старалась уверить окружавших, что считает себя тоже скорее мужчиной, чем бабой, да и многие из ее друзей называли ее не пани, а пан Доротея.

— Да, да, панове,— продолжал свою речь убежденно хозяин,— дни Московии сочтены...[9] А когда косматый медведь протянет свои лапы, тогда наша Польска возродится, как феникс, в новом крулевстве и под опекой гения, может быть, снова расправит крылья от моря до моря!

— О sancta spes! * — произнес набожно ксендз, поднявши вверх очки.— Какая мечта, какое блаженство, какое торжество верного католической церкви народа! Да, великие минуты бегут, и мы все должны соединять и руки, и сердца на спасение ойчизны от ига...

— И соединим, як бога кохам! — вскрикнул фальцетом Хойнацкий, вытянув комично, словно гусь, свою шею.— Я пойду... пойду, черт возьми, и покажу москалям, где раки зимуют!.. Как бы там любая Доротея ни скучала... но долг и ойчизна прежде всего!

Доротея улыбнулась презрительно и стала рвать корпию.

— А я — в гусары! — заявил восторженно сын хозяина, Казя.— Через месяц — в Варшаву, а там — в ряды бессмертных... Отец уже дал согласие, а князь Чарторыйский [10] — рекомендацию...

— Да, да, к нам! — вставил заманчиво франт — Мы пану покажем, что такое Варшава!

— Ох-ох! — вздохнул Пигловский, но ничего не возразил сыну.

— А уже наполеоновские полчища двинулись на Россию? — полюбопытствовал пан коморник.

— Уже, я думаю, близки к границам прежней славной Польши,— ответил Казя.— Нам трудно было и проехать... Вся Европа поднялась... Войска, как лавина, растут и неудержимым потоком близятся к ненавистной Московии...

---

* О свята надія! *(Лат.)*

— Молодец, добрый хлопак! — одобрил, всколыхнув свое брюхо, пан Фингер.— Патриот, и квита! Да, вершится судьба. Все великие патриоты: Радзивилл, Сангушко, Хоткевич, Потоцкий — примкнули к легионам нового Александра Македонского... [11]

— Ах, Наполеон! — закатила глаза Доротея.

— Да, все наши дамы просто пленены его образом.

— Не только пленены, но и одухотворены... Ха-ха! — рявкнул трубой пан Янчевский.— Далибуг, рожают даже детей по портрету... капля в каплю...

— Ха-ха-ха! — рассмеялась на сообщение Янчевского молодежь, а ксендз стыдливо улыбнулся.

— Браво, браво! Честь нашим дамам, если такими же гениями снабдят ойчизну! — заговорил снова пан Фингер.— Но вот что: нужно серьезно подумать... Наше положение все-таки рискованное... мы будем в стороне... и в случае неудачи...

— Неудачи, пане маршалку? Ха-ха! — возмутился хозяин.— Всемирный гений не имеет неудач! Он с горстью французов покорил всю Европу, так разве с могучею армией своей и с целой Европой не раздавит России? Го-го! Проше пана! И пух, и перья полетят с этой двухголовой вороны!.. [12]

— Браво! Досконале!! — засмеялись все дружки.

— А мы здесь ему и приготовим все планы и все пути,— добавил злорадно коморник.

— Варшавское герцогство по приказу Наполеона приготовило уже войска 60 тысяч... да, кроме того, 20 тысяч селян еще обучаются,— хвастливо добавил варшавяк.

— Так-то оно так! Ничего не пожалеем и не пощадим,— протянул после небольшой паузы Фингер.— И я убежден, что Наполеон повалит Цезаря, но мне отчасти и жаль молодого Александра — доброго монарха, с мягким сердцем и светлым умом...

— На бога, пане! — запротестовал ксендз.— Разве у схизмата может быть искренность?

— При юном монархе жилось нам прекрасно: и власть наша, как видите, восстановлена, и хлопы усмирены...

— Что правда, то правда,— вставил Хойнацкий.

— Так пан маршалок только за свою шкуру трепещет? — бросил язвительно пан Францишек.— А про

самобытность ойчизны, про славу Речи Посполитой и забыл?

В рядах молодежи послышался на эти слова сочувственный отклик.

— Мосци пане! Я доказал и докажу свою преданность моей ойчизне,— вспыхнул задетый хозяином Фингер,— но мне нравился больше план князя Чарторыйского [13], перехваченный графом Огинским: создать из северо-западных и юго-западных губерний великое герцогство. Сам Цезарь одобрял этот план...

— Одобрял, да ничего не делал, а только водил! — возразил хозяин.

— Празднословие и лукавство,— вздохнул ксендз.

— Проше пана! — горячился, сопя и колыхая чрево, пан Фингер.— Нельзя же все сразу... Нужно было обдумать проект, обсудить и тогда приступить... Да, были и указы о преобразовании литовских губерний, но граф Огинский заявил Цезарю, что это запоздало, что Наполеон обещает многое полякам и что теперь одно остается: объявить наш край сразу Польским крулевством и чтобы Цезарь Александр стал королем...

— Не может быть некатолик королем католического государства! — не соглашался хозяин.

— Ну, а если Наполеон нас обойдет?

— Да что, пан?! Никогда! Вовеки! Великий император любит поляков... Мы ему нужны... Мы за нашего гения все отдадим, все — и жизнь, и имущество!..

— Виват Наполеон!.. На погибель Московии! — раздались со всех сторон бурные возгласы, разбудившие даже спавшего помещика.

— На бога, панове, не нужно войны: один вред хозяйству! — буркнул он, не понимая, в чем дело.

Сама пани Доротея, заразившись общим возбуждением, крикнула:

— Виват, виват Наполеон! Нех жие!.. (На многие лета!..)

В гостиную вскочила расфранченная хорошенькая горничная со вздернутым носиком и пикантными губками; лакей за нею нес на подносе новые фляги.

Начался общий оживленный говор; восторженные восклицания, преувеличенные надежды, пререкания и даже проклятья — слились в хаотический шум.

Среди бурного оживления никто и не заметил, как

появился у дверей залы новый гость; вошедший был юноша лет двадцати и мог поразить всякого своею стройной фигурой и необычайно красивым лицом. Роста он был выше среднего, широк в плечах и груди; но атлетическое сложение смягчалось стройностью линий и гармонической соразмерностью частей. Черты его лица были изящны и полны благородства и гордости. Сквозь прозрачную белизну кожи проступал нежный румянец нетронутых сил. Светлые, пепельного цвета волосы мягкими волнами оттеняли высокий, словно из мрамора изваянный лоб; красиво очерченный нос, с тонкими подвижными ноздрями, был сухощав и имел посредине характерную типичную горбинку; синие большие глаза сверкали энергией и вместе с тем были полны неотразимой прелести, а брови, темные, низко очерченные и пригнутые к переносью, придавали выражению их демоническую сосредоточенность; но этому демонизму противоречили несколько чувственные губы, опушенные темными линиями усиков; они манили к неге, поцелуям и экстазам любви...

Первая заметила вошедшего Доротея и уставилась на него, охваченная восторгом и властью этой поразительной красоты.

— Кто это? — обратилась Доротея к своему соседу, не отрывая глаз от красавца.

— Где, пани? — прищурился варшавяк.

— Да вон у дверей... обнял за талию Казю... В синих шальварах и венгерке.

— А-а! — процедил поблекший любезник.— Вижу... Недурной, молодцеватый хлопак... должно быть, коллега Кази, что ли... Но я его в первый раз вижу... я сам ведь нездешний.

— Пане Янчевский! — обратилась тогда к другому соседу Доротея, наклонясь к столу.

— А?! К услугам пани! — схватился тот и подошел ближе.

Во время предыдущих дебатов Янчевский несколько раз порывался сказать орацию, но, видя, что возбуждение спорящих не даст ему высказаться вполне, замолчал и в бурном шуме не принимал никакого участия.

— Кто этот юноша, что вон стоит рядом с Казей? Вон, обнял его? — спросила шепотом Доротея...

— Обнял? — повторил Янчевский, всматриваясь по

указанию пани.— Да, обнял... бестия! А! Какое нахальство! Пся крев! (Брань: собачья кровь!) Вот что значит эта модная эдукация (воспитание, образование)! Старопольская потоптана гордость... Падают добрые нравы, а заводится какое-то позорное легкомыслие... И все это идет от вольнодумцев — безбожных французов... О, не доведет это до добра, не доведет!

— Да что вас, пане, так взволновало? Откуда этот поток негодования?

— Откуда? А вот полюбуйтесь, пане добродзейко! Этот шельма, этот юноша, что обнимает запанибрата шляхетного сына, есть не кто иной, как хлоп, быдло (скот).

— Что вы? — даже откинулась от изумления Доротея.

— Як маму кохам! Это подданный хозяина — Янко Кармелюк...[14] Я его знаю отлично! Пан Пигловский взял его во двор казачком и заставил его учиться, чтоб охотнее было паничам заниматься наукой... Ну, я это допускаю: такие хамские коллеги берутся иногда, чтобы заменить панскую спину, когда потребуются паничу канчуки, ибо наука быть не может без дрюка... Ну, я ничего не имею против: и наука удовлетворена, и панская спина защищена... Но, проше пани, чтобы хлоп обнимал шляхтича и являлся среди благородного рыцарства как равный... это уже содома и гоморра! *

— Неужели?.. Я не могу прийти в себя... Чтоб такой благородный, такой прекрасный... по всему и по манерам... и был хлопом?

— И был, и будет, пани добродзейко... Pura veritas! Чистая правда! А манеры что? За границей набрался — и квита!

Не поверив Янчевскому, Доротея подошла к хозяину и спросила у него про Кармелюка.

— До правды, пани,— мой хлоп,— ответил тот, улыбаясь самодовольно.— Очень способный и умный... и выглядит, как видите, настоящим шляхтичем; но его немного разбаловали сыновья... забывается... после заграницы держать себя не умеет... запамятовал, кто он... Но мы напомним — и напускное скоро пройдет...

— Премилый,— заметила Доротея,— а иметь такого

* Тут в значенні — розпуста і безчестя.

раба — сущий клад. Я вот своему сколько раз говорила: выбери более порядочного, немного обчисть, обтеши, чтоб приятнее был для услуг; но мой только глазами хлопает... Его ведь тянет теперь только до миски,— вздохнула со страдальческим выражением пани.

— Будто? — улыбнулся хозяин.— Так выпьем за возобновление наших сил.

— В борьбе за ойчизну! — поправила Доротея.— И, налив в пугар мальвазии *, чокнулась с хозяином за здоровье Наполеона и за возрождение Польши.

Ближайшая молодежь подхватила эту здравицу, и в гостиной вспыхнул снова шумный восторг.

II

Пир был в полном разгаре, когда попросил слово пан Фингер.

— Панове! Все мы пьем за успех всемирного победителя и твердо верим, что колосс Московии падет и на обломках его вспыхнет наша заря... Но обсудим серьезнее свое положение. Во время войны,— а сколько она продолжится, единый пан бог ведает,— все московские войска будут стянуты к северу, а мы очутимся здесь только со своими кулаками... А что тогда запоет подлый, схизматский народ? Ведь мы похоронили давно его привилегии и договорные пункты, дарованные при заселении наших займищ [15], то боюсь, что хамье это вспомнит... Не постараться ли нам привлечь его на нашу сторону, возвратив назад некоторые права, или по крайней мере... дав ему надежду...

— Ой, правда! — застонал проснувшийся при криках дремавший помещик.— Не нужно войны, война разорит нас.. И теперь денег катма (нет)!.. Все продукты упали в цене: корец (немного больше получетверти) пшеницы — пять злотых, гелетка ** кукурузы — двадцать грошей, корова, и добрая корова,— два талера... а еще хлопы взбунтуются... Погибель одна, шановное панство, погибель!!.

* Солодке вино, що виробляється з білого винограду тієї ж назви.

** Корець — 6 пудів (1 центнер), в корці — 4 гелетки.

— Э, хлопы — пустое,— заметила Доротея.— На них хватит лозы.

— О, я их! — погрозил кулаком ее муж.

— Вздернуть! — подхватил Казя.

— Всех не вздернешь,— отозвался, сверкнув глазами, Янко,— и пан маршалок прав.

Янчевский даже подпрыгнул в кресле от этого замечания хама; Фингер бросил в его сторону презрительный взгляд, а хозяин произнес многозначительно:

— Янко!

Наконец встал Янчевский и, сделав утешающий жест рукою, принял импонирующую позу.

— Орация, орация! Цицерон говорит — тише! — раздались возгласы в разных углах салона, и общество насторожило уши.

— Мосци панове! — начал торжественно пан Янчевский.— Tempora mutantur *,— сказал древний философ, и сказал справедливо.— Пан маршалок помогал нам всегда усмирять подлое быдло, а теперь хлопочет за его права. Ха-ха! Но если бешеному коню пустить вожжи и вынуть удила, то он понесет и разобьет по́воз... Заметьте, что и благородная скотина разобьет,— а если свинье дать волю, то, как известно, она пороет весь свет. Но хлоп еще хуже свиньи... Хлоп есть гадюка, панове добродзеи, гадюка! — подчеркнул он.— Так если этой гадюке попустить, чтоб она отрастила вырванные с корнями ядовитые зубы, то...

— Однако, эти гадюки своей кровью пана питают...— заметил сдавленным от волнения голосом Кармелюк.

Речь этого Демосфена привела его в такое негодование и раздражение, что он не мог себя сдержать и забылся.

— Цо-о? — воскликнул Янчевский, не поняв в порыве увлечения, откуда раздалось это дерзкое возражение.

— Молчать! — прошипел, топнув ногой, хозяин.

Алоиз подошел к Казе и шепнул ему что-то на ухо.

— Итак, мосци панове,— снова начал Янчевский, не дождавшись на свой возглас ответа,— хотя война есть двуликий Янус и по убыткам мне самому не по сердцу, но Перун забей всех, а ойчизна живи! И хотя на все время ее уйдут от нас не только москали, но и все на-

---

* Часи змінюються (*лат.*).

ше благородное рыцарство,— оно полетит на поле чести под распущенными крыльями и наших, и французских орлов,— но тем не менее — опасаться нам быдла нелепо... Вместо всяких прав, ему нужно будет удвоить порцию канчуков... Канчуки, канчуки и канчуки!! — поднял в заключение грозно и руку, и голос Янчевский.

— На свою голову! — вырвалась у побледневшего Кармелюка фраза, и, на беду, при общей тишине она была услышана хозяином.

— Вон! На конюшню! — позеленел даже от злости Пигловский и затопотал ногами.

— Отец! На бога! — попробовал было утешить гнев родителя Алоиз.

Но последний рассвирепел еще больше:

— На конюшню! Забыл, шельма, кто естесь? Так я напомню!.. Запорю!! — уже с хрипом кричал он, не обращая внимания на слова сына.

Кармелюк было сделал энергичное движение вперед, но вдруг опустил руки, словно подстреленный, и с поникшей головой вышел вон...

Кармелюк тихо побрел вдоль двора.

Ложились сумерки. Теплый весенний вечер дышал ароматною прохладой; из сада доносилась робкая, неуверенная еще трель соловья... Но ни нежные тона заката, ни прозрачные контуры тополей, ни страстные вздохи певца любви не отражались на душе Янка ничем; ему казалось, что он из душной бани провалился в прорубь и коченеет, а сердце, словно на ноже, бьется и с каждым ударом роняет струю горячей, жгучей крови...

«На конюшню! Запорю!» — звучало у него барабанным боем в ушах, стучало в виски, надрывало мукой грудь... «Раб, раб! Хлоп, быдло!» — кто-то с омерзительным хихиканьем нашептывал ему в ухо и заглядывал мутными, налитыми кровью глазами в лицо...

На дворе стоял гомон... Разда[ва]лись и гульливые голоса, и визгливые выкрики, и даже разудалые песни, но Кармелюк ничего не слыхал и шел машинально, без мыслей, без желаний, пока не наткнулся на сени людской... Он вошел в черный мрак, лежавший за дверью, и остановился... Из хаты людской неслись звуки свирели, а по временам — гуденье бубна... Пришедши несколько в себя, Кармелюк вспомнил, что он еще не ви-

дел своих старых знакомых, и решительно отворил дверь.

На него так и пахнуло запахом прогорклого сала, капусты, ржаного хлеба и человечьего пота, но все эти запахи перебивал удушливый чад от махорки, плававший бурыми волнами по просторной хате. На маленькой полочке, прибитой к столбу, поддерживавшему сволок, горел уже каганец (вроде плошки — светильник), но тусклое колеблющееся пламя его плохо освещало фигуры сидевшего и толпившегося в хате люда.

Остановясь у дверей, Кармелюк стал узнавать в толпе и знакомые лица. У печи готовила вечерю баба Сирчиха,— такая же засохшая, со слезящимися глазами, как и прежде была; прибавились только новые сети морщин. На лаве (широкая скамья вдоль стен) у окна сидел дядько Явтух, еще бодрый, не старый, но, по странной игре природы, у него среди кучмы черных волос блистал серебром один клок; Явтух и наигрывал на свирели, а у ног его поместился на корточках хлопец-пастух с бубном.

За столом на покути (в красном углу) восседали важно два кучера приезжих господ — пана Фингера и пана Янчевского; первый был в ливрее с длинным висячим воротником, а второй — в чемарке, украшенной снурками и большими застежками в виде барылок. Местная челядь,— форрейтор, подпасок, судомойка,— группировалась около музыкантов, а более солидные, как старый дворецкий и панский кучер, вели с гостями беседу. Какая-то простая дивчына из села усердно подметала хату.

Кармелюк незаметно отодвинулся к мыснику (посудник, род этажерки для посуды), и вскоре его ухо освоилось с шумом и стало улавливать интересную беседу гостей у стола.

— Вот, приехали панычи, то, може, через них хлопотать будет годно,— говорил старый дворецкий, живший за выслугой лет нахлебником при дворе.— А то за два года завелись тут такие порядки, что хоть ложись да сдыхай.— Бигме (божба: ей-богу).

— Верно,— изрек кучер маршалка.

Местный кучер был одет по-домашнему — в белой, вышитой черной заполочью рубахе и в белых же шароварах; он только покрякивал да мотал головой.

— Ох-ох-ох! — продолжал дед.— Сначала у нас, по старым привилеям, еще за батька моего... царство ему небесное! — сколько было грунту (земля, надел). Есть еще и теперь живой свидок — древний старец Свирид... Он дед мне выходит — у других... Так вот, и он говорит, и батько мой говорил, что осели все на этой «займанщине» (пустошь, захваченная для заселения) на таких варунках (условиях), чтоб поля дал дидыч на семью по десяти моргов * у руку, а за то до двенадцати лет семья будет давать ему два работника, тобто косаря и вязальницу на жнива и на косовицу, а через двенадцать лет будут отрабатывать за свои грунты уже по три дня в неделю... Что ж вы думаете? Сначала,— говорил батько,— покойный пан и додерживал слово, а сын его, вот, настоящий... начал урезывать ругы... ** И своего поля не подужает, а на чужое ся ласит (ласится, лакомится. Подоляне любят отделять частичку «ся» и ставят ее впереди), да щодня гонять на панщину... Ох-ох! — закончил вздохом старик и оглянулся тревожно.

Баба-кухарка, засунув в печь горшки, стояла теперь посреди хаты, опершись на рогач [16], и покачивала грустно головой, заверченной совершенно платком. Заметя тревогу деда, она поспешила его успокоить:

— Не бойтесь, дидусю, говорите смело. Я назыраю за дверью,— и мышь не пролезет.

«Хорошо назыраешь»,— подумал Янко.

— Тут у нас завелся шпиг, из нашего же брата,— бодай же, пусть ему чи его роду добра не было,— так и старик, и мы все ся боим,— объяснила она почтенному гостю тревогу.

— Шельма! — буркнул свой кучер.

— А вот как выскочит в державцы (управитель имения, главный эконом), что запоете? — вздохнул дед.

— Да уж какую-нибудь песню утнем! — мотнул кучмой Явтух.

— Все подслушивает да пересказывает,— продолжала старуха,— и такое пекло заварит, что аж стены стонут... Ключник Глевтюк, коли видели, пучеглазый такой,— добавила она шепотом и, повернувшись круто, стала кричать на дивчыну: — А ты чего уши развесила?

---

* 0,56 га.

** Земельний наділ.

Подметай мне хату, знай свое дело... а до чужого — зась (вроде брысь, не смей!)! Не то встряхну и за патлы... У, лодари, лайдаки!

Кучер маршалка, понимая, что жалоба заносится ему, держал себя властно и с надменным вниманием снисходительно слушал.

— Гм! Мае ся розумить (разумеется). Оно, собственно, обидно... Скажем примером, если тебе дадено...— начал он философствовать,— гм... ежели, значит, дадено, ну хоть две руки, но отрезать их по локоть, тобто свести на одну руку,— оно точно... гм... как-то неловко... главное — привычка, потому ты привык двумя орудовать. А тут только две половинки... тобто одна...

— Ха-ха! Какая ж одна? — возразил фурман.— Два цурпалка...

— Не мудрено, коли пан чи эконом-зверюка катует,— отозвался Явтух,— а вон у нас есть соседка, пани Хойнацкая, так та при себе велит пороть...

— А она очи пялит? — полюбопытствовал фурман.

— Пялит...

— Го-го!..— заржал фурман.— А у нас так и лозы не настачило. Пан всю свою вырубал и мусыв (должен был) теперь прикупить. Одно кричит: лозы и канчуков! Чи след, чи не след, а кропи... А то, говорит, чтоб шкура быдла нигды не гоилась (никогда не заживала), бо как залечится, то ее и дрюком не доймешь, не дошкулишь!

— От каторжный! — не удержалась баба.

— Шельма! — добавил свой кучер.

— Ох-ох! — вздохнул дед.

В это время девочка, подметавшая хату, дошла до самого мысныка и, подняв голову, увидела Кармелюка.

— Ой, гвалт! Паныч в хате! — вскрикнула она, отскочив в ужасе.

Все оцепенели и схватились со своих мест на ноги.

— Слава богу! — произнес Кармелюк, выступая из тени.

— Вовеки слава,— ответили машинально дворецкий и баба.

Все воззрились с недоумением на красивого и статного юношу в панской одежде; приветствие, не панское, а простонародное, совершенно сбило их с толку.

— Не узнали меня, добрые люди? — заговорил Кар-

мелюк, подвигаясь к самому каганцу. И вы, бабуся, не признаете?

— Ой, что-то, панычу...— стала протирать глаза баба,— голос-то майже (почти, словно) знакомый... как будто познаю... и как будто не познаю...

— Да Янко Кармелюк!

— Янко?! Ясь?! Любый мой! Да неужели? — засуетилась радостно старуха.— Дай же я тя приголублю... Это свой брат,— бросила она присутствовавшим в хате и стала обнимать Янка.

— Бабусенько, все такие же! — улыбался он, целуя почтительно руку старухи.

— Хе, сынку, засушенный гриб, пока и черви не поточат, однаков... А вот ты нивроку: пан паном, молодец молодцом! Да какой красень, хоть малюй... Не правда ли, дивчата?

Судомойка чмыхнула в рукав, а потом вытерла им старательно нос, а дивчына вся застыдилась и закрыла лицо фартуком.

— И пан дворецкий тут? — двинулся к старику Кармелюк.

— Здоров, здоров, пане Янку! — отозвался приветливо тот и заключил его в свои объятия.

— Штука! — крякнул, осклабясь, кучер и потянулся лобызать Янка.

— И я тут...— отозвался Явтух.

— Явтух, любый... да и ловко же ты на сопилке.— И Кармелюк, встряхнув Явтуха за руку, поцеловался с ним звучно.

В хате поднялся радостный гомон. Все обступили Янка, и каждый старался приветствовать его теплым словом, а Янко, покрикивая: «Свирид, Гнат, Остап!» — потрясал землякам своим руки и обменивался с ними поцелуями.

Эта приветливая встреча односельчан повеяла на душу Янка теплом и рассеяла удрученное его настроение: общее рабство, общее горе примиряло его отчасти со своим положением и сближало, роднило тесно с собратьями, на которых у пана Янчевского не хватало лозы.

— Ну, садись же к нам, сынку,— пригласил Янка дворецкий.— Вот это наш... сирота... а теперь, как видите, любого пана за пояс заткнет...

— Конечно, мае ся розумить... вот и мы... Маршалок — великое дело...

— Го-го! Убери и пень, то будет хорошень! — засмеялся фурман.

Публика тоже ответила смехом и понадвинулась к столу.

— Садись, садись,— продолжал дворецкий,— да расскажи нам, где ты бывал, что ты видал? Какие люди на свете? И как народ простой ся мает в далеких заморских краях?

— Цикаво (любопытно, интересно)! — мотнул головой своей кучер.

— Ой матинко! — протянула баба.— И как тебя там среди нехристей песыголовцы (циклопы, люди с песьими головами) не съели?!

— Там, бабусю, где я был, нехристей нет и песыголовцев нет... то одни брехни! Всюду христиане... католики либо лютеране... Вот православных — нема...

— Так какие ж то христиане! — махнула презрительно рукой баба.— А за песыголовцев не говори... Покойная дядына (жена дяди) моей матери, что приходилась Насте Супрунихе сестрою двоюродной... ее держал вуйко Гнатюк... вон, что хата с двумя трубами зараз же за Чумарчуком...

— Та годи (довольно, будет, молчи), баба! — заворчал на старуху дворецкий.— Ты как начнешь свои теревени, так тебя и до света не переслушаешь... Молчи лучше да слушай готовое...

— Что же вам рассказать, земляки мои родные? — заговорил Кармелюк.— Всего и за месяц не перескажешь... Насмотрелся я таких чудес, каких не увижу до смерти... Такие там города, что им и сходу, и выходу нет... А чистота какая, а порядок! Улицы все брукованы (мощеные), хоть катайся, и пылинки не пристанет... А будынки, а дворцы — озии (громадины) какие, а костелы, звоницы! Глянешь наверх — шапка с головы падает, кинешь глазом — оторвать не можешь...

— Ну, за звоницу у лавре нема по всех светах...— возразила баба.

— Не перебивай! — стукнул по столу рукою дворецкий.

Баба смолкла, а Кармелюк заговорил снова:

— Такой высокой, как лаврская колокольня, може, и нет, бабуся... Ну, а что до красы...

— В Киеве святые...— начала было снова старуха, но, заметя грозный взгляд деда, зажала себе рукой рот и окончательно замолчала.

— ...Что до пышности,— то и не сдумать, и не сгадать... Много там, за границей, видно, богатства и люди вольнее живут...

— Вольнее? — переспросил фурман.

— Вольнее... Такого крепацтва, такой бедности, как здесь, нигде не видел... Мы больше жили у француза, в ихней столице Париже...

— У хранцуха, что войною идет? — удивился Явтух.

— У того самого...

В это время дверь хлопнула и в хату вошел субъект вроде эконома, в чумарке, ботфортах и с нагайкой в руке.

По хате пробежал робкий шепот: «Пан ключник!»

III

— Что здесь такое? — крикнул вошедший ключник и уставился на Явтуха.

Последний взглянул исподлобья на ключника и ответил угрюмо:

— То пан фурман рассказывали, как затравили у них медведя, так я и сказал.

— Ой, я тебе, живодер, задам медведя! — поднял было голос панский шпион, но влетевшая в хату господыня оборвала его реплику.

— Где эта бестия Фрося, горничная? — накинулась она, всматриваясь в толпу.— И лакея Стецька нет!.. Пан лютует... Ежели пропадет, то и у вас шкуры полопают!.. Ой, мама моя, что они себе думают? Пан ключника требует... Бегите мне все разыскивать Фросю... Ой, что-то будет?!

И, повертевшись бешено по хате, она вылетела.

Вслед за ней вышел ключник, за ним выскочили форрейтор, подпасок и судомойка, а через минуту вышел и кучер маршалка. Оставшиеся в людской притихли и стали шептаться.

Кармелюк подошел к девушке, спрятавшейся со страху за печь.

— Ты, дивчына, из какой части села?

— С Надровянской...— ответила она тихо, захлебнувшись от робости.

— А! Недалеко, значит, от моего дида Свирида?

— Третья хата...

— Так ты должна знать всех... на том кутку?

— Атож (ещё бы)!

— И Свиридову небогу... знаешь? — запнулся в свою очередь от охватившего волненья Кармелюк.— Дивчыну... Маринкой зовут...

— Авжеж (конечно)!

— Ну, и что ж... жива... здорова?..

— Хвала богу!

— Замужем, верно? — произнес глухо, с усилием Янко.

— Нет.

— Ох! — вскрикнул он и смутился.

Некоторые обратили на его возглас внимание

— Сватали ее,— запинаясь и тяжело дыша, продолжала селянка,— так она ни за что... хоть руки на себя... Все ждет кого-то...

— Серденько мое! — воскликнул Янко.

Девушка подняла на него испуганные глаза и покраснела.

Янко отошел к окну, чтобы скрыть свое волнение, и приложил к холодному стеклу свой пылающий лоб.

У стола шел между тем обрывистый полушепот про Фросю.

— Ох, беда будет, беда,— говорил тихо ни к кому не обращаясь, дворецкий — И что эта баловница себе думает? Ведь не подумает, сколько другим выпадет муки от одного этого ката пучеглазого.

— Его-то и кликнул к себе наш дидыч,— заметил Явтух.— То-то, думаю, чешет теперь свой язык!

— А сам за Фросею ухаживает,— сообщил весело хлопец и ударил легкомысленно в бубен.

— Го-го! — прыснул фурман.

— Что ты? — даже испугался дворецкий.

— Право! Я раз видел, как он ее облапил... Сопит, сатана, а она визжит да...

Не успел хлопец докончить фразы, как распахнулась

стремительно дверь и со свистом врезался в его голову тройчатый канчук.

— Ах ты гадюка! Быдло паршивое! Я тебя закатую! Я тебе разорву до ушей твой рот за такие слова! Кишки выпущу! Внутренности отобью! — И за каждым словом он стегал его канчуком по голове, по лицу и бил каблуком в грудь.

— Ой, маты божа! — вскрикнула баба и зашептала молитвы.

— Езус-Мария! Милосердья! — воскликнул дворецкий.

— По-нашенски,— промычал фурман.

— Так же можно на смерть!..— буркнул угрюмо Явтух.

— Что-о? Да я тебя...— подскочил ключник.

— А ну? — и Явтух выпрямился спокойно.

Неизвестно, чем бы окончилась эта сцена, если б не Кармелюк: неожиданное нападение свирепого временщика на хлопца, окровавленный вид последнего, крики его и хриплые стоны произвели такое потрясающее впечатление на Янка, что он окоченел от ужаса и в первое мгновенье не мог двинуться с места... Теперь же он ринулся с повелительным криком: «Баста!» — и схватил за руку изверга, да так сдавил ее крепко, что хрустнули кости.

— Ай! — вскрикнул бешено ключник.— Завтра я тебя... паныча...

Но, встретив взгляд Янка, он не докончил угрозы и стремительно вышел из хаты...

Село уже спало; пустынные улицы его тонули во мгле звездной безлунной ночи; нависшие над плетнями садки казались какими-то мохнатыми чудищами, скрывшими за собою и хаты, и самих селян; мертвая тишина лежала кругом; лишь изредка вдали за рекою выла собака...

В эту глухую пору пробиралась какая-то тень под плетнями по направлению к речке. Шедший то останавливался на мгновение перевести дух, то пускался порывисто снова вперед, то осматривался кругом и шептал взволнованно:

— Неужели панычи не заступятся?.. Так дружно

жили... Особенно Алоиз... И то: панская ласка лишь до порога... А эта гадюка наклеплет... и завтра же батоги! Нет, не может быть! А если? Ну что ж, тогда конец: нож и ему, и себе!

Это был Кармелюк: он оставался в людской, пока с бабой вместе не подал помощи искалеченному хлопцу и пока не уверился, что гнев панский погасила Фрося, заявившая уважительную причину своего отсутствия, а теперь он спешил к своим... Свежесть ночи несколько охладила огонь его крови, утишила бурю в груди и дала беспорядочно метавшимся мыслям более правильное течение...

Кармелюк дошел до небольшой площадки, где улицы расходились на три стороны, и увидел выступивший из окружающей мглы белый, высокий крест; на юнака пахнуло давним светлым чувством, что-то защекотало его под сердцем и застлало влажным туманом глаза... Он вспомнил, как этот крест с выпуклым распятием, называемый фигурой, ставили крестьяне, вспомнил, как покойная мать его молилась у подножья распятия, и многое, еще неясное, вспомнил... Два года, проведенные им за границей, отучили его от молитвенного настроения и навеяли даже религиозное безразличие в душу; костелов он не посещал, а родных церквей не было... И вот теперь, при виде этой фигуры, воскресло в его душе забытое чувство и вспыхнула неудержимым порывом молитва. Он припал к кресту без жалоб, без просьб, а с умилением, с жаждой ответной ласки, как припадает ребенок к своей матери.

Этот душевный перелом изменил настроение Янка и смягчил в бурном его сердце отраву негодования, заменив ее теплой надеждой.

Успокоенный и умиленный до слез, он отдался теперь личному чувству, которое тянуло его из пышных далеких стран к убогой хатке на берегу Рова, закрытой акациями и тополями, где на завалинке сидел всегда древний дед,— единственный на всем свете родич,— и где из-за тополя высматривали девичьи очи, перед которыми — ничто все эти рои блестящих сверкающих звезд!.. Теплое, отрадное чувство наполнило его грудь широкой волной и залило накипевшую горечь.

Минув площадку, Кармелюк стал спускаться по легкой покатости к болотистому и топкому Рову. Теперь

эта знакомая ему и милая речка казалась черной гладью, заключенной в мохнатую раму лепехи и рогоза (болотные травы); на темной блестящей поверхности ее матовыми пятнами выделялись целые стаи кувшинчиков с бледными венчиками своих цветов, а в промежутках латаття (плавучие листья кувшинчика) сверкали бриллиантами отраженные звезды. За рекой стоял мрачной стеной дремучий, вековой лес...

При виде этой родной картины Янко остановился. Воспоминания из далекого прошлого хлынули в его душу волной...

Вот он с батьком плывет по реке; челнок скользит тихо среди латаття, а он, хлопчик, тянется сорвать белую серебристую чарочку с золотым дном; они такие славные, полны влаги и колышутся; вдруг челнок покачнулся... волна плеснула ему в лицо... но сильная рука уже подхватила, и он опять сидит и дрожит в душегубке...

А вон и лес, где он раз заблудился: словно сейчас, стоят перед ним тесною толпой могучие дубы да стройные грабы и заступают дорогу: то расступятся впереди, заманят в топкую грязь или темный овраг, то сомкнутся и закроют выход... А дальше как было? Как его нашли? Мерещится, но неясно...

А вот когда он больной лежал в горячке... то помнит, как перед ним явилось какое-то ангеля, да, ангелочек,— он в этом был убежден,— вот как рисуют херувимов в церкви: волосики кудрявые, как чесаный лен, а глаза синие, синие да ласковые, блестят, что звездочки в небе. Уже когда он встал, то доведался, что это была Маринка, дочь лесника. Как они сдружились потом, как играли и сколько было пролито слез, когда Янка как сироту забрали в панский палац! Ох, было там много горя, пока не обвык он с панской лаской и с панским насилием...

Но с одним он никогда не мог примириться — с потерей Маринки! Правда, он ее никогда не терял, а жил одной ею; но его разлучили, и только в дедовой хате, куда попадал он украдкою, там только он мог видеться со своим другом... Но все эти препятствия раздували еще больше пламя детской любви...

Проходили годы, Маринка росла, хорошела, и Янко становился уже молодцом, парубком, детское чувство

росло и окрылялось новым знойным полетом,— как вдруг... неожиданный панский приказ: «Соберись, завтра отправляешься с детьми за границу!»

И снится ему наяву, что он стоит на леваде у деда в такую же звездную ночь под разлогой, ветвистой калиной. Как подбитая горлинка, Маринка трепещет у него на груди и не может произнести слова от подступивших рыданий...

— Забудешь ты меня, Янко, забудешь,— вырываются у нее среди всхлипываний слова,— ой, как мне без тебя быть?.. Яма, черная яма! Там паненки... Там крали... Ой, забудешь... меня... Ой, смерть моя!

Он ласкает, целует ее, греет ей горячим дыханием похолодевшие руки, прижимает к груди и клянется всем, чем только может, что не забудет ее.

— Где мне забыть тебя, зорька моя, квиточка ясная? Одна ты у меня в сердце: приросла к нему на веки веков!.. Только с сердцем оторвать тебя можно... да и то, пока оно будет биться, и ты будешь разом с ним трепетать. А коли я тебя покину, то пусть душа моя не зазнает ни радости, ни утехи, пусть загрызет ее тоска и звериная злоба, пусть она тонет в крови и не насытит жадобы (жажды), пусть я умру, как собака, без креста, без покаяния... пусть вороны выклюют мои очи, а волки растаскают и кости мои по оврагам, по пущам!

— Годи (довольно, будет), не клянись так! Мне страшно... Я верю,— всхлипывает дивчына и, прижавши свою влажную щеку к его горячей щеке, порывисто шепчет: — Кохаю ж тебя... Ой лэлэ, кохаю!

Словно кипятком кто хлестнул Янка по сердцу, и он стремительно повернул направо по береговой тропинке; какая-то тень мелькнула перед ним и скрылась; но он не обратил внимания... Вот за вербами вырезались на темном, сверкающем звездами фоне два стройных тополя, а из-за них выглянула белым пятном и хата. На завалинке, несмотря на позднее время, сидела какая-то фигура; Янко бросился и узнал в ней своего деда.

— Дидуню, родненький мой! Живы, здоровы? — воскликнул радостно он и стал обнимать деда.

— Вовеки слава! — произнес дрогнувшим голосом старец.— Еще терпит господь... Вот и тебя, любого...

дочекался (дождался)... Знал, что прийдешь, дида не забудешь... И Маринка два раза забегала...

— Где ж она? — вздрогнул Янко.

— Прийдет еще,— не бойся... Она извелась, бедняжка... Так ты нас не забыл?

— Господи! Да весь свет мой при вас...

— Спасибо, голубе! Ну, пойдем же в хату... Погляжу я на тебя при светле, какой ты, и то ночью уже очи не могут служить... Рад я тебе, внуче: не думал дождаться — и то второй век живу...

Вошли в хату. Дед поднял высоко каганец. Его изрезанное глубокими морщинами лицо, длинная белая, как молоко, борода, с желтоватыми лишь усами, высокий лысый лоб, окаймленный клочьями серебристых волос, и глубоко запавшие глаза напоминали собой лик схимника; одно только противоречило типу отшельника — это выражение глаз: в них не видно было спокойного равнодушия, отречения от жизни, а теплилась еще к ее интересам любовь...

Долго старик любовался своим внуком, наконец воскликнул в восторге:

— Лыцарь, настоящий лыцарь! Такие теперь уже вывелись... Кабы тебе еще запорожский жупан да зброя (оружие), эх, закрасил бы всякого пана!.. Не привел господь твоим батькам дожить, чтоб полюбовать сыном... То-то было бы радости!

— Я батька мало помню... Так, будто сквозь сон,— заметил Янко.

— Куда тебе памятать! Вот таким птенчиком был,— показал дед рукою на аршин от земли,— вот таким, не больше, когда помер отец твой на лаве (скамейке).

— Молодым он умер... Вы когда-то говорили, что от напасти, а от какой?

— Ой какой же, как не от панской... Эх, внуче... На радостях не хочется ворошить давнего горя... хоть, по правде сказать, лыхо и теперь с нами ся подружило...

— Еще как подружило: ежедневно больше и больше врастается в наши шкуры.

— Ох, так! Прежде была надежда, что хоть с кровью, хоть с мясом, а сорвем с себя это лихо, а теперь и надежда пропала! Вот и твой батько супротив этого лиха хотел пойти, так оно его и свалило...

Дед задумался на мгновение и опустил голову, а потом глубоко вздохнул и заговорил снова:

— Мать твоя была писаной кралей, вот ты — в нее, ровно вижу живую... Кто было ни глянет на Галю, только ахнет и обомлеет... Ну, и panычу она приглянулась, нашенскому дидычу... А какие с нашим братом разговоры! Прислали, приказали — и за честь считай, а не то что... Только твой батько, видно, за честь этой панской ласки не принял и так отдарил посланца, что тот едва ноги унес, да и с паничом побалакал... Ну, паныч закусил губу и промолчал до поры до времени, а потом нашлись с его стороны набрехачи, натравили покойного дидыча... и батька твоего так отдубасили канчуками, что не только шкуру, а и мясо поотбивали с костей... Принесли сюда окровавленного... и не вставал уже...

— А мама? — спросил мрачно Янко.

— Дочка моя? Ой бедная... горемычная!.. Какая уже ей была жизнь?.. Мучилась, чахла... Эх, и вспоминать больно... гадюка под сердцем шевелится... Да что это про мертвых? Земля над ними пером, а живой про живое гадает... Садись вот сюда, да расскажи мне про дива, какие довелось тебе видеть, да как тебе жилось на чужбине?.. Мы все тут про тебя вспоминали... и где ты, и что робишь, и что думаешь?.. Хе-хе! Мы тебя ни на минуту не кидали из глаз, а ты-то как? Гай-гай! Угостить бы тебя, да чем — не знаю, после панских угощений.

— Да, да,— подхватил с затаенной злобой Янко,— сегодня-то угостили паны тем, что выгнали на конюшню, а завтра обещали погладить спину...

— Что ты? — воскликнул дед, поднявшись на ноги.— За что?

— А за то, что я осмелился сказать в защиту православных слово...

— Ой несчастный! Кто за нас, они того готовы живьем съесть... Каторжные, немилосердные. Когда на них суд будет? Внуче мой, единый... Неужели мне и тебя, обмытого кровью, здесь видеть?

— Нет, диду! — заметил мрачно Янко.— Они надо мной не потешатся! Панычи, думаю, заступятся, а если нет... то все равно,— не наглумятся надо мною...

— Ты бы лучше, мой любый, сбежал куда... хлеба заробить сможешь. А то в этаком пекле жить...

— Эх, диду! За хлеб-то мне бояться нечего... и в России нашел бы себе пристанище. Вот ляхи-паны теперь с французом накладают, супротив царя православного повстают,— так за утек от бунтарей кары бы не было... Да вот беда: не под силу мне с вами и с... не под силу расстаться, журба да тоска загрызут меня... Уж я знаю себя: вот и на воле, и даже в роскоши жил на чужой стороне, среди вольного люду, а все тянуло меня сюда, к вам, в эту неволю... и родное ярмо, выходит, слаще чужой свободы...

IV

— Ох, правда! — продолжал старик беседу с Янком.— Край родный да люд кревный — то великая сила! От всего, сдается, может отказаться человек, а от них не отречешься: такую уже сам бог к родному краю любовь вложил в наше сердце... И последнего нищего, последнего лиходея, даже душегуба любовь эта греет... Только проклятые богом души лишены этой любови и терпят оттого и здесь, на земле, и на том свете несказанные муки, ибо есть ли горшая мука на свете, как не ведать ни до кого и ни до чего привязанности?

Вздохнул глубоко Янко, дед тоже перевел дыхание со стоном, и замолкли. Каганец потрескивал; пламя его то вытягивалось язычком, то совсем к фитилю припадало. Со всех углов хаты, мигая, наступал мрак, и только две фигуры — сгорбленная, высохшая — седобородого старца и стройная, со сверкающим взором — энергичного юноши — выхватывались из него бледными пятнами.

Кто-то робко дотронулся до ручки дверей, словно пробуя отворить их бесшумно, но дед и внук были так погружены в свои думы, что не слыхали шороха.

— А что, диду, знавали вы Уманщину? [17] — после долгого молчания неожиданно спросил Янко.

— Уманщину? — вздрогнул дед.— Как не знать, коли и самому довелось погулять на широком раздолье!

Эх, прошли времена, перевелся под польскими канчуками у забитого люда лыцарский дух... Но тогда были лыцари — Зализняк да Гонта...[18] Эх, сколько тогда ляшков-панков да жидов отправили мы в пекло...

В это время заскрипела дверь. Дед смолк и насторожился.

— Кто там? — спросил он после небольшой паузы.

— Я,— ответил кто-то до того тихо, что трудно было расслышать, но у Янка от этого шепота вздрогнуло сердце и загорелась душа. Угнетенное настроение заменилось сразу опьяняюще радостным...

— Хе-хе! — усмехнулся в бороду дед и пытливо взглянул на внука.— А пойду-ка я поищу этого злóдия (вор), верно, забрался в комору.

Едва дед вышел, как на пороге появилась тонкая и легкая фигура молодой девушки; словно какая-то посторонняя сила внесла ее в хату и притворила за ней дверь. В трепетном полумраке она казалась бледным колеблющимся видением.

— Маринко! Единая моя! Ты ли это? — стремительно бросился к ней Кармелюк и схватил ее за руки.

— Я, Ясю, я...— отозвалась дрожавшая от радости девушка. Глаза ее горели восторгом, она улыбалась и задыхалась от счастья, а светлые слезинки неизвестно почему струились по ее щекам.

— Не забыла?

Девушка дышала порывисто и от волнения не могла произнести ни слова, но все ее существо, вся душа вопила: «Люблю, люблю!»

— Так не забыла? — повторил шепотом Кармелюк, наклоняясь ближе и ближе к ее пылавшему личику и сверкавшим лучезарно глазам.

— Матинко! — вырвался из груди ее вопль, но, взглянув быстро на паныча-красавца, она смущенно опустила глаза и уронила: — А вы?

— Я? — вскрикнул Янко.— Пропадал, умирал... и если стою здесь, то это лишь мысль о тебе, моей зорьке, держала меня на ногах... Теперь уже ни меня от тебя, ни тебя от меня никто не оторвет, не отнимет! Не дозволит пан,— украду тебя, отобью и вместе с тобой —

хоть в ад! Вот так обниму тебя и держать буду до самой смерти...

И он сильными руками обвил хрупкий стан девушки и прижал ее к своему сердцу.

Розог избежал Кармелюк: панычи заступились, но все же его разжаловали в псари и поместили вместе с конюхами на конюшне. Пан непременно желал выветрить из головы зазнавшегося хлопа заграничную дурь. Пигловский сознавал, что Кармелюк своей грамотностью и развитием будет полезен в хозяйстве, но тем не менее, нуждаясь даже в секретаре для переписок с патриотами в данное бурное время, он все-таки не уступил просьбам своих сыновей и присудил Янка на искус.

В первые моменты унижения и всяких лишений Кармелюка снедала бессильная злоба, и она возросла бы до бешенства, до мести, если б не дед да Маринка... Теперь ему легче было отлучаться из двора; работы от него посторонней не требовалось, ночью за ним никто не следил, и Кармелюк почти через день посещал деда. Досада за незаслуженную обиду стала смолкать, так как ее окупали с избытком сердечные беседы у деда и полные невыразимого счастья свидания с Маринкой.

Узнав, что Кармелюк, навидавшись всего, бывает часто у деда Свирида, стали заходить к нему и почтенные поселяне, и бедняки, чтобы доведаться, как чужому люду живется на свете и не теплится ли где зорька надежды на лучшую долю. С захватывающим интересом слушали они про чудеса на чужбине. Рассказы Кармелюка и деда передавались из хаты в хату и раздували у поселян искру борьбы против своеволия польских панов, пособников француза,— все это подбадривало дух поселян и питало их надежды на лучшую долю... Крестьяне хорошо понимали, что если одолеет православного царя француз, то за них уже некому будет заступиться, паны возьмут верх и станут катовать крестьян безвозбранно; а если царь повалит антихриста, то тогда панов-бунтарей возьмет в шоры и заступится за крестьян... Но Наполеон шествовал победоносно, торжественно заявив в Варшаве об освобождении польских провинций от московского ига и о восстановлении Польского королевства... Войска русские отступили пе-

ред легионами победителя Европы без боя и оставили Вильну и Литовский край неприятелю. Такое кажущееся бессилие русских войск давало полякам полную, непреложную уверенность в исходе борьбы и наполняло сердца их безумной радостью. Паны с вооруженными командами разъезжали по Подолии, собирались на сеймики и каждый новый шаг Наполеона опрыскивали шумно то старым медом, то венгржином, то начинавшим тогда распространяться в крае шампанским...

Эти шумные торжества панов смущали крестьян.

Сам Кармелюк, читавший урывками польские газеты, сначала надеялся, что с первой победой русских можно будет поднять крестьян на панов, но потом отступление русских, потеря Смоленска и разгром, как писали поляки, русских войск под Бородиным убедили его, что судьба родного народа безнадежна... Все это навеяло на его душу уныние, и на запросы односельчан он не находил уже совета, а больше отмалчивался...

Одну отраду в жизни приносила ему Маринка; ее беззаветная любовь и кроткая, как тихий летний вечер, душа усмиряли его сердечные бури и навевали счастье; правда, это счастье не давало полного нравственного покоя, его нарушали общий стон и сознание своего бессилия защитить это счастье от насилий, но на время оно все-таки грело душу теплом...

Хотя жених и невеста между собой и порешили принадлежать друг другу до смерти и даже ценою жизни отстоять это право, но в действительности неладно стояло их дело. Сначала дидыч был так зол и немилостив к Янку, что нельзя было и заикнуться о девушке; а потом, под влиянием политических событий и новой тактики с хлопами, гнев его смягчился на некоторую даже ласку, но тем не менее, когда дед отправился к пану похлопотать за Маринку, то был встречен недружелюбно ключником, а потом от пана получил решительный отказ.

Маринка и Янко с трепетом ожидали возвращения деда и, узнав о печальном результате его ходатайства, впали в отчаяние,— особенно Маринка.

— Не буду, не буду я за Янком! — вырывались у нее вопли.— Не допустит пан! Ой, что же мне [делать], бедной! Спасите! Ой, смерть моя, смерть!

— Не плачь, не убивайся! — пробовал утешить ее

Янко, а сам даже почернел от страшного внутреннего потрясения.— Говорил и поклянусь, что украду, отобью тебя, а моею будешь, и баста!

— Ой, против панской воли разве можно? — не унималась Маринка.

— Можно! — вскрикнул Янко, метая искры из загоревшихся глаз.

— Ой, что ты, Янко?! Пан... он все волен... он пан!..— давилась слезами, не могши сдержать воплей, Маринка.

— Пан?! Великая цаца! — хрипел уже от злости Янко.— Разве у меня не такая душа, как у этого пана? Кто этому пану надал право над моей, над твоей душой издеваться? Уж много у меня здесь накипело... Так ты, дидычу, не шути с этим сердцем... А не то я пощупаю, все ли у тебя ребра и на месте ли торчит твоя голова!

Эта бурная вспышка, эта страшная угроза до того потрясли Маринку, что она задержала рыдания и уставилась на Янка широкими, полными ужаса глазами.

Молчавший угрюмо и разделявший настроение своего внука Свирид заговорил наконец, чтобы сдержать опасный порыв сердца Янко:

— Все это правда, любый мой внуче, только не горячись напрасно, бо коли уже падать, так хоть с доброго коня... Но в твоем деле, думаю, не так пан виноват, как этот подпанок — ключник.

— О, это гадюка! — согласился Янко.— Пан в последнее время даже был ласков со мной, перевел из псарей в форрейторы, а потом в провожатые... говорил даже о писарстве, если я выкину дурь из головы.

— Ну вот! И про дивчыну что пану? Если бы он сам за ней ухаживал — иное дело, а то ему ведь все равно... А вот этот ключник, не он ли нашептал? Вот что!

— Правда,— отозвалась и Марина.— Он раза два останавливал меня на улице, заговаривал...

— Разорву на куски! — крикнул Янко и топнул ногой так сильно, что приподнятая вверх половинка окна упала и разбитое стекло со звоном посыпалось на пол.

— Ой лэлэ! — всплеснула руками Марина.

Дед усмехнулся в бороду и своими советами да тихою беседой сумел усмирить необузданный гнев Янка

и заставил его согласиться подождать некоторое время и ходатайствовать уже через Фросю.

Стояли первые дни золотой осени, теплые, благодатные дни,— лучшая пора года в Подолии; но в том году они начались необычным холодом; заморозки и северный резкий ветер быстро окрашивали в золото и бронзу леса и еще быстрее обнажали этот пышный убор.

Доезжачие и псари заторопились привести в боевой порядок свое воинство, ожидая со дня на день панского повеления: «До лясу!» Наконец оно было дано, и пан уже собирался сесть в экипаж, как вдруг влетел во двор запыленный верховой.

В охотничьем костюме, с двустволкою в руке остановился на крыльце недовольный пан дидыч. Вокруг крыльца без шапок стояла раболепная челядь; вдали уже двигались длинные шарабаны, наполненные гончими; доезжачие и выжлятники суетились на конях, а у подъезда ждал пана экипаж; по сторонам его сидели на кровных жеребцах провожатые — Кармелюк и ключарь. Пан с досадой принял от посланца пакет, боясь, чтобы эстафета не отняла у него пышной утехи; но, просмотрев бегло письмо, он преобразился от радости и в восторге произнес громко:

— Конец Московии! Москва взята! Наполеон уже во дворце русских кесарей... Мой сын отличился... Виват! — крикнул он задорно.

— Виват! — подхватили два-три голоса, а остальная толпа молчала.

Пан презрительным взглядом окинул ее и произнес загадочно злобно:

— Еще порадуетесь! Гей, доезжачий! Охоту я отменяю. Егомосць ксендз чтобы вечером отправил благодарственный молебен, когда я вернусь... Да передать и хлопству, чтобы было на молебне! А ты,— добавил он, садясь в экипаж, кучеру,— гайда к Хойнацким!

Не бежали, а летели кони, и не больше как через полчаса натачанка с паном Пигловским остановилась у высокого крыльца с шестью колоннами панства Хойнацких.

Радостно и приветливо встретила на крыльце своего дорогого соседа и друга пани Доротея.

— Как будет досадовать пан Валенця: его нет до-

ма,— говорила, улыбаясь заманчиво, Доротея,— но мой друг, конечно, дождется мужа?

— А может, друг особенно рад тому, что пани одна? Хе-хе! — возразил, заигрывая, пан Пигловский.

— Стара уже, сердце, стара! — вздохнула Доротея.

— Го-го! А вот как услышит моя крулева новость, то еще помолодеет...

— О, какая новость? — полюбопытствовала Доротея и, узнав в красивом всаднике Кармелюка, вспыхнула, как пион.

— А та, что Москва пала и Россия лежит у ног нашего гения, прося пощады.

— Езус-Мария! Если Россия легла, то Польша встала!

— Встала, моя дорогая, коханая пани, во весь рост встала, такая же гордая и властная, как в дни оны, с величьем во взоре, с мечом в руке, окруженная пышным рыцарством, овеянная новою славой...

— О мой любимый! Это такая радость, что заставит и остывшую кровь бить ключом, подобьет на безумства...

— Ну что ж! И побезумствуем... Гуляй душа без кунтуша!

— Гуляй! — подхватила и Доротея, а потом, словно вскользь, заметила: — Кто этот всадник, вон на гнедом? Похож, кажись, на того юнака, что я у пана видела, когда возвратились сыновья панские из-за границы... Кстати, что с ними?

— Алоиз — в Варшаве при Сапеге, а Казя — в Москве... Осчастливен был улыбкой великого императора!

— О наш благодетельный гений! — умилилась до слез Доротея.— Так я не ошиблась, что всадник...

— Тот самый, пани, Янко Кармелюк...

— Да, да... Кармелюк... И он до сих пор в опале?

— У меня сердце отходчиво, но хлопа всегда нужно держать в трензелях, чтобы мундштук чувствовал...

— Но ведь он же не простой хлоп, и его жаль держать в черном теле!..

— Мне он даже нужен: и грамотен, и честен, в этом я убежден,— благодушествовал Пигловский,— но нужно быть твердым и непреклонным...

— И в то время, когда собираемся на радостях

кутить и безумствовать? — прищурила кокетливо масляные глаза Доротея, зардевшись снова пионом.

— Нет, перед таким восторгом я таю...

— Так я ловлю пана на слове... и обращаюсь к его размягченному сердцу: пусть пан, во имя великого дня нашей ойчизны, услышит просьбу своего друга и забудет, простит все вины этому Янку, как бы их много ни было, и пусть возвратит ему прежнюю ласку!

— Падам до нуг моей крулевы! — воскликнул с увлечением пан Пигловский.— Ее слово — для меня непреложный закон...

— Как я благодарна! — И Доротея, едва удержавшись броситься пану на шею, только потрясла по-мужски его руку.

— Гей, Янко! — крикнул тот.— Слезь с коня и сюда беги, на крыльцо.

Кармелюк не заставил повторять приказания и через минуту стоял почтительно, с обнаженной головой перед панством.

— Целуй руку у пани: она меня умилостивила...

Кармелюк подошел к руке Доротеи; последняя нагнулась было поцеловать его в голову, но, вспомнив, что это могло показаться чудовищным и пану, и дворне, пожала лишь ему руку украдкой.

После пани Кармелюк подошел и к дидычу. Пигловский протянул ему снисходительно свою пухлую, выхоленную руку и добавил ласково:

— Я уже коли прощаю, то прощаю... Наставляю тебя гуменным [19], полагаясь вполне на твою честность и на твой ум...

Ключник, когда пан кликнул Кармелюка на крыльцо, насторожился и придвинулся ближе конем, чтобы узнать, в чем дело, и при последних словах своего дидыча был так поражен неожиданностью, что даже вскрикнул и привскочил на седле.

— Только смотри мне,— продолжал пан Пигловский,— не распусти хлопов и не потворствуй ихней лени да вольнодумству... Теперь мы здесь, в крулевстве Польском, владыки и королевичи... Простота может рассчитывать на нашу ласку, и мы не лишим милости народ,— так и передай, но с нарушителями нашей воли мы будем строги!

Наклонив голову, слушал Кармелюк державный при-

каз своего королевича, и непрошенная тоска ложилась ему камнем на грудь, но в то же время волна личного счастья колыхала радостным трепетом сердце...

Брак Кармелюка с Мариной состоялся, впрочем, не сразу.

Сначала пана не было дома: он все летал то в Бар, то в Литин, то в Летичев — собирать сеймики и обсуждать мероприятия, а главное решать вопрос — кого избирать королем: Чарторыйского, Огинского или Радзивилла? А потом наступили филипповки, а вместе с ними и лютая зима. Веселое настроение панства тоже угасло. Ликование их вдруг сменилось тревогой, и с каждым днем она возрастала, заставляя заносчивых панов призадумываться.

Ключник хотел было повести интригу против Кармелюка, соблазнив пана Мариной, но настроение дидыча было угрюмое, да и предупрежденная Фрося стояла настороже.

Когда разнеслась по селу весть, что Наполеон бежал и все его полчища засыпаны снегом, пан призвал Кармелюка и сам дал ему разрешение венчаться с Маринкой, а вместе с тем поручил ему объявить крестьянам о льготах, которые он им дарует.

После рождественских праздников и отпраздновал дед свадьбу своего внука. Все село пировало и пило до отвалу, так как дидыч не поскупился горилкой.

Вскоре последовало и повышение Кармелюка в должности: он был назначен державцем села. Марина и дед Свирид были совершенно уволены от панщины, но и дома им было над чем хозяйничать: две пары волов, пара лошадей, корова, овечки — все это у них росло и плодилось, и все доставляло Марине постоянные радости. Пан видимо для всех благоволил Кармелюку за его уменье умиротворять крестьян и не допускать до волнений, которые нет-нет да и вспыхивали в соседних местностях. Это благоволение особенно усилил один неожиданный случай, давший Кармелюку возможность спасти жизнь пану и проявить свою необычайную силу. Раз пана понесли лошади прямо на старый, изломанный мост без перил, переброшенный через Ров в самом опасном месте бездонной трясины. И пан, и кучер потеряли от ужаса головы,— смерть была неизбежна. Кармелюк, случайно находившийся на полдороге, заметил

это и, выступив грудью против несущихся коней, схватил их под уздцы и с такою силой осадил назад, что заставил бешеную четверку присесть на задние ноги.

С тех пор Кармелюк стал любимцем пана.

V

Два года пролетели для Маринки, как счастливый сон. Ей казалось, что солнце не заходит в ее хате. Ее обожаемый Иван — герой, красавец, первый разумник на селе — был теперь ее мужем, любил ее, нежил, как мать ребенка, и Маринке казалось, что счастливее ее нет женщины на целом свете.

Став управителем, Кармелюк всецело отдался панским делам, не забывая своих братьев селян, а дед вел полевое хозяйство семьи; Маринка же погрузилась со всею душой в домашние хлопоты. Работая то в саду, то в огороде, то в хате, она радостно пела, как хлопотливая птичка, устраивающая свое гнездышко. Вскоре явилось в хате еще одно существо, наполнившее ее новым счастьем. Это был прелестный мальчик, полный, розовенький, со светлою курчавою головкой; через год появился у него братец. Маринка обожала деток; она делила свое сердце между ними и мужем и дальше этих дорогих для нее существ не знала и не ведала никого. Кармелюк также отдавался всею душой радостям семьи. Он гордился своими прелестными сынками, любил их, особенно старшего, с редкой нежностью. Возвращаясь после трудов дневных в свой счастливый уголок, он брал его к себе на колени, подбрасывал, изображая верхового коня, ласкал его, болтал с ним на его оригинальном языке, вынимал из карманов самодельные гостинцы.

— Смотри, Иване, какой он у нас славный, да беленький, да румяный,— настоящий казак! — говорила Маринка, ласкаясь к мужу и любовно заглядывая ему в глаза.

— Казак! — повторял с горечью Кармелюк, и лицо его принимало мрачное выражение.

— А то скажешь нет? — восклицала весело жинка, совершенно не замечая впечатления, производимого ее словами на мужа.— Видишь какой! — надувала она

кокетливо губки.— Я ему выкохала такого велетня (геркулес, атлет, герой), а он еще...

— Не мне ты выкохуешь их, а пану,— перебивал ее резко Кармелюк.— Готовь для панских канчуков!

При этих словах мужа Маринка бледнела и, охватив рукою свое дитя, шептала побелевшими губами:

— Бог с тобой, Иване, что ты говоришь, что накликаешь? Пан милостив... Он не отнимет от нас свою милость...

Кармелюк молча снимал сына с колен, отворачивался от люльки и погружался в мрачное молчание. Марина притихала, забивалась в угол и с трепетным ожиданием следила за тем, не разойдутся ли морщины на лице мужа, не призовет ли он ее к себе?

Такие неожиданные перемены в настроении Кармелюка случались довольно часто. Маринка решительно не знала, что делать в такие минуты. Она не понимала, о чем думает ее муж, чего он хочет? А Кармелюк думал о многом и многого хотел, только некому ему было рассказывать своих дум, и молча вынашивал он их в своей голове. С одним только дедом любил беседовать Кармелюк.

— Что-то будет дальше, дидусю? — говаривал он одряхлевшему старцу.— Паны пока притихли — труса празднуют; видят, что русский царь гонит Наполеона и добрался до его берлоги,— так и ни гугу! А помните, как было подняли они снова головы, когда пронесся слух, что наши православные в какой-то битве против француза оплошали?

— Помню...— мотнул дед головой.

— А потом сразу притихли, как наш царь взял у француза их главный город Париж [20]. А вот что теперь запоют? Ведь цесаря-то самого французского, антихриста Наполеона, сослал царь на поселенье и посадил французу своего короля [21].

— Своего? — Дед вскинул красными, слезящимися глазами на образа и перекрестился.— Воистину спас, спас господь! Пропали бы мы совсем, как бы вновь очутились под католиком!

— Да и так не сладко живем,— процедил сквозь зубы Кармелюк.— Только теперь вот толкуют все, что царь отберет нас у панов и даст волю! — И Кармелюк оживлялся и весь загорался надеждой.

Темные глаза Кармелюка при этих словах сыпали искры, а лицо сияло беззаветной удалью. Маринка любовалась в такие минуты красотой своего мужа и замирала от счастья.

— Нет у нас теперь согласия, не стоим один за другого дружно...— Дед печально качал длиннейшими седыми усами.

— Растравила неволя!..— вздыхал и Кармелюк.— Да вот как даст волю царь, так поправимся!

— Ой воля, воля!..— простонал дед.

— Дождемся! — вскрикнул Кармелюк, вскакивая на ноги и расправляя свою богатырскую грудь.— Поляки уже нюхом чуют беду. Вот и наш, как ни морщится, как ни хмурится, как ни чешет в затылке, а все-таки вынужден согласиться со мной — и вот возвращает селянам отнятые было грунты, дозволил в своих лесах пасти скот, даровал два дня на неделю, позволил собирать валежник...

Прошло лето. Победоносные русские войска, покрытые славой, стали возвращаться в Россию. Европа была умиротворена и в благодарность предложила России герцогство Варшавское [22]. С ужасом услыхали поляки свой приговор: вместо восстановления старой Польши, вместо возобновления золотой шляхетской свободы судьба отдала их всех в окончательное подданство России, уничтожив последнюю тень независимости. Новые подданные — варшавяне — могли еще рассчитывать на снисхождение благословенного богом царя, но прежние подданные,— паны Литовского и Юго-Западного края, проявившие во время нашествия французов содействие врагу и явную измену царю,— могли ли они ждать чего другого, кроме возмездия? И вот потянулось все польское дворянство в Варшаву навстречу державному победителю — приветствовать его и молить о прощеньи. Унылые, убитые духом, подавленные страхом, покидали свои поместья паны, прощаясь с ними, быть может, навеки, заискивая у истерзанного ими народа. А народ, в ожидании лучшего будущего, добродушно прощал своих угнетателей и молчал, ожидая свободы.

Не ждали уже крестьяне возвращения панов, как вдруг они все вернулись в свои поместья, и вернулись ликующие, властные: великодушный государь простил все польскому дворянству, утвердил его прежние права

и даровал еще льготы. Подняв высоко головы, паны уселись снова в своих дворцах, уселись, полные власти и даже удвоенной ненависти к хлопу за то, что в период смущенья и робости духа они вынуждены были заискивать у быдла.

Головчинцы притихли... Словно чума прошла по всем хатам и унесла с собой радости жизни. Ключарь сразу воспрянул духом в нахальстве обращения не только с простым народом, но и с Кармелюком, да и пан стал холоден с ним и уже поговаривал, что пора подтянуть разленившееся хлопство. Ключарь не упускал теперь случая, чтобы так или иначе да опорочить перед паном Кармелюка. Это наушничанье имело теперь силу; прежняя досада пана за уступки своему управляющему в дарованных хлопству льготах, подстрекаемая доносами, превращалась в недоброе чувство. Льготы эти, приносившие, конечно, некоторое уменьшение доходов, раздражали пана, а сразу отнять все у народа было рискованно.

Стоял теплый сентябрьский денек. На зеленой лужайке, окаймленной подковообразной стеной великолепного леса, уже разубранного во все цвета осени, расположилось живописною группой пышное панство, собранное Пигловским на облаву. Вся лужайка на огромном пространстве была устлана дорогими коврами, на которых красовались блюда со всевозможными снедями, корзины с фруктами, посуда, золотые кубки, сулеи, фляги и заплесневшие бутылки. В стороне под опушкой многочисленные слуги распаковывали огромные корзины с провизией. Возле костров суетились повара; тут же теснились конюхи и псари с собаками на смычках и на сворах; усталые псы лежали отвалом, высунув красные языки, и быстро дышали. Из разных мест леса то и дело выходили паны и даже пани; раздосадованные неудачей охоты, они молча опускались на ковры, передавая ружья подбегавшим пахолкам.

Была полная неудача. С самого утра утруждало себя панство, и в результате пятичасового труда явилась лишь небольшая кучка лисиц да зайцев. Ни одного волка, ни одного барсука, ни одного кабана! Пан Пигловский, созвавший гостей в свои заповедные леса, сидел раздраженный, сердитый и нервно покусывал свои тонкие губы, прикрикивая время от времени на слуг,

метавшихся вокруг панства. В разных группах компании шли оживленные перекрестные разговоры: вспоминали удачные облавы, обсуждали достоинства собак и лошадей, толковали и о политике.

Пани Доротея, все такая же цветущая и дородная, демонстрировала перед окружавшей ее группой пару великолепных волкодавов.

— Ладные псы, пышные псы,— повторял с завистью знатока пан Фингер.— Шкода (жаль), что пани не хочет продавать, а я б заплатил сотни четыре злотых...

— Ради бога, пане! — протянула утомленным голосом прелестная молодая женщина, полулежавшая на ковре.— Если малжонок наполнит наш двор такими зверями, то ведь я буду бояться и выйти...

— Что до меня, то я рад бы был наполнить мой двор настоящими медведями, чтоб охранить мою крулеву...

— От похитителей?..— подсказала, небрежно рассмеявшись, красавица.

— Пан так ревнив? — спросила насмешливо пани Доротея.

— О, пан маршалок имеет на то рацию,— вступил в разговор и Пигловский, с усилием вызывая у себя любезную улыбку.— Человек, обладающий таким сокровищем, должен беспокоиться о нем постоянно.

— Но, проше пана,— ответила, нежно усмехаясь, красавица,— жена — не бездушное сокровище, и ее без собственного согласия украсть мудрено.

При этих словах жены пан маршалок весь побагровел от удовольствия и, бросив на жену влюбленный взгляд, промычал:

— Прелесть моя!

Молодежь шумно подтвердила мнение супруга.

И действительно, пани Розалия оправдывала общий восторг. Это была прелестная женщина, тонкая и гибкая, как тростник. Лицо ее и дивные руки поражали своею мраморною белизной; кожа была так нежна и прозрачна, что сквозь нее, как сквозь тончайший фарфор, просвечивали голубые жилки. Белизна и нежность кожи оттенялась еще ярче черными и блестящими, как воронье крыло, волосами, которые обрамляли продолговатое личико пани мягкими волнами. Вокруг нежного рта ее лежала усталая улыбка; темно-синие глаза,

опушенные длинными стрельчатыми ресницами, смотрели томно, почти печально,— и вся она со своею гибкою фигурой напоминала водяную лилию, озаренную месячным лучом.

Шумные восклицания молодежи прервал зычный голос пана Янчевского, появившегося на опушке леса.

— А, пан Демосфен! Пан Демосфен! Наконец-то! — раздались кругом громкие возгласы.— Вот кто скажет пышную орацию в честь нашей божественной нимфы!

— Что Демосфен то — Демосфен, но, несмотря на весь жар моего сердца, орации сказать не могу, ибо алчу и жажду! — ответил Янчевский, тяжело отдуваясь и отирая платком красное, вспотевшее лицо.

На нем был зеленый охотничий кафтан, через плечо висело на перевязи ружье, а у пояса болталась пара здоровых зайцев.

— Разве такую я думал принести жертву к ножкам нашей очаровательной Дианы? [23] — произнес он, отвязывая зайцев и складывая их у ног пани Фингер.— Но, пане соседу,— вскрикнул он, выпрямляясь и обращаясь к Пигловскому,— як бога кохам, с пана следует большой штраф за то, что он заставил мою шляхетскую утробу измучиться марно!

На лице Пигловского проявилась худо скрытая досада.

— Сам, пане добродзею, грызу себя и не понимаю: что это сталось? Куда разбежалась дичь?

— Осмелюсь доложить ясному пану,— произнес в это время ключарь,— он давно уже не спускал с Пигловского глаз, выжидая только удобного момента,— осмелюсь доложить,— повторил он, робко приближаясь к Пигловскому, согнув подобострастно спину,— осмелюсь доложить, что разогнали...

— Что? — переспросил Пигловский.— Кто разогнал?

— А хлопы...

— Бестии! Быдло!! — гаркнул Янчевский.

— Как хлопы? — вскипел Пигловский.

— А так, ясновельможный пане! — вздохнул сочувственно ключарь.— Им не знаю кто дал позволение собирать в панских лесах валежник, говорят, что Янко... Конечно, без панского приказа он не мог... а коли и была даже на то вельможная воля, то, смею думать,

за позволеньем панства, она касалась лишь ближайших к селу лесов, где идет рубка...

— Конечно! — подхватил Пигловский, зеленея от злости.

— И туда не следовало бы пускать хлопа,— он все попортит и растащит... Лес ему нужен на пали, и то для его же спины! — заметил язвительно Демосфен, подливая масла в огонь.

— Так есть, вельможный пане,— ключарь низко поклонился Демосфену,— а наш Янко пустил хлопов и по всем заповедным лесам... Ну, и разогнали зверя.

— Содом и гоморра! — вскрикнул Янчевский.

— Так уже распустил хлопов Янко, так распустил, что прямо на разбой идут. Ясновельможный пан имеют такое доброе сердце...

Но доброе сердце пана Пигловского кипело дикою злобой, нашедшею наконец себе выход. Не владея уже собой, забыв даже присутствие дам, он закричал неистово:

— Пся крев! Подать мне этого шельму!

Ключарь бросился со всех ног исполнять приказание пана, и через минуту перед взбешенным Пигловским стоял спокойный, несколько побледневший Кармелюк.

Этот спокойный вид крепостного еще больше взбесил пана.

— Собака! Как ты смел пускать быдло в заповедный лес?

— С панского позволенья.

— Лжешь, пес! Не в леса Гончан, куда и мышь не смеет заглянуть.

— Сбор валежника не мешает панской забаве...

— Забаве?! — оборвал его побагровевший Пигловский.— Ты смеешь еще рассуждать? Да я самого тебя прикажу затравить сейчас же, как медведя... Затравить для забавы честного панства!

— Жизнь моя находится лишь в руках царя,— ответил с достоинством Кармелюк.

— Канчуков сюда! Связать! Я покажу тебе! Запорю!! — закричал, топая ногами, Пигловский.

Два конюха бросились на Кармелюка из-за спины, но последний только встряхнул плечами — и оба полетели в сторону, не устояв на ногах.

— Сто дяблов!! — прошипел Демосфен.

— Двести канчуков ему! Триста!! — заревел Пигловский, взбешенный до последней степени неожиданным сопротивлением хлопа.

По знаку ключаря с опушки подскочили несколько конюхов с нагайками.

Кармелюк побледнел до такой степени, что и губы его стали совершенно белы.

— Ради бога, пане! — произнес он глухим голосом.— Взыскуй, как хочешь, что хочешь, но душу мою пощади... Раз только может подняться на меня рука... раз...

— Ты еще будешь читать мне нравоучения? Чего стали? — прикрикнул Пигловский на конюхов.— Валите его!

Ключарь бросился первый на Кармелюка. Батог свиснул в воздухе, но Кармелюк с такою силой схватил ключаря за руку, что последний с громким криком упал на колени.

Этот поступок Кармелюка привел все панство в сильнейшее негодование; все загудели сразу, как гнездо разлютованных ос. А пан Хойнацкий, перетрусивший не на шутку, незаметно для других отретировался к привязанным у опушки леса коням.

— Запороть быдло на смерть! — затопал ногами Пигловский.

Глаза Кармелюка сверкали диким огнем.

— Так пусть же подступит кто первый,— произнес он медленно, но в тоне его прозвучала такая угроза, что конюхи, знавшие хорошо силу Кармелюка, попятились невольно назад.

— Але то правдивый бунтарь! — вскрикнул пан Янчевский.— Он взбунтует нам всю округу!..

— О так, так, вельможное панство! — застонал ключарь, поддерживая свою вывихнутую руку.— Он бунтует всю округу, он перетнет всем горло!.. Правдивый, вельможное панство, разбойник!

— Продать его к бесу! — раздались кругом гневные возгласы.

— Кто такую гадину купит? — возразил Пигловский, приведенный словами ключаря в большое смущенье.— Забить в кандалы збойцу... и отправить в Сибирь!

— Не беспокойтесь, пане коханку,— шепнула нежно Доротея,— я куплю хлопа...

— Пани! Одумайтесь!.. Он еще подожжет вам Овсянники.

— Не боюсь. Нужно уметь обойтись... и медведя ведь приручают. Я предлагаю пану за хлопа моих волкодавов.

— Прекрасно,— согласился Пигловский, протягивая Доротее руку.— Верный пес надежнее быдла!

VI

Узнав от слуг о несчастье, постигшем Кармелюка, Маринка прибежала как безумная на панский двор и с рыданиями упала к ногам своего дорогого мужа. А дед от потрясения не мог встать: у него отнялись ноги. Вся дворня обступила несчастную семью, так неожиданно, так несправедливо разбитую навеки минутною вспышкой панского гнева. Женщины громко плакали, мужчины печально качали головами да, оглядываясь боязливо кругом, угрюмо роняли отрывочные фразы. Все чувствовали, что горе, поразившее эту семью,— их общее горе, с которым не может примириться человеческая душа.

Один только Кармелюк сидел молча, не произнося ни слова; только холодная как лед рука его сжимала до боли руку жены да грудь высоко подымалась. А глаза из-под нависших бровей глядели так мрачно, так ужасно, что невольная дрожь пробирала всякого при взгляде на них.

— К пану... к пану беги! — заговорили наконец люди, стараясь вразумить обезумевшую Маринку.— Проси, чтобы и вас продал со всею семьей, чтобы хоть вместе были!.. Да и перед паней упади на колени, умоляй и ее, чтобы купила... Ведь и она ж — сама жинка, может, смилосердствуется, пожалеет...

С отчаянием теряющего все в жизни человека бросилась Маринка в панские покои. Лакеи допустили ее к пану, хотя рисковали ответить за то своими спинами; но и во дворе, и в селе все, как один, готовы были претерпеть за Кармелюка.



Старицький. *Фото кінця 90-х — початку 900-х років.*

Заливаясь слезами, упала Маринка на колени перед паном. Она ловила его руки, покрывала поцелуями ноги, и молила, и заклинала его богом святым не разрывать семьи, а запродать детей и ее вместе с мужем.

Но пан сухо ответил, что рад вырвать с корнем худую траву, и приказал слугам вывести бабу.

Маринка попробовала было броситься и к Доротее, но та, смерив ее холодным, враждебным взглядом, ответила резко, что будет об этом говорить тогда, когда муж ее заслужит милость.

Бабу вывели. Она шаталась и падала на ходу...

— А что, может, купите? — обратился Пигловский к Доротее, когда двери за ушедшими затворились.

— Нет, дорогой пане, благодарю,— ответила с улыбкой Доротея,— бабы мне не нужны...

Смертный приговор семье был подписан. В тот же вечер Кармелюк был отвезен в усадьбу Хойнацких, а в хате его, где звенели до сих пор веселые песни Маринки, водворились слезы, да тяжкое горе, да безысходная тоска.

Доротея определила Кармелюка в должность дворецкого и ее личного писаря. Помещение ему назначили в горницах.

В обращении со своим новым писарем Доротея стала сразу на мягкий, дружеский, даже теплый тон, так что Кармелюк, чувствовавший прежде антипатию к грозной пани, прослывшей извергом во всем околотке, начал подумывать, что он совсем ошибся и что пани Хойнацкая вовсе не так зла, как кажется сразу. Не ожидая просьб Кармелюка, Доротея сама заговорила с ним о жене и объявила, что она лично ничего не имеет против того, чтобы купить вместе с ним и всю его семью, но что пан Пигловский из мести тому противится.

— Впрочем,— заключила она милостиво,— если докажешь свою преданность и признательность, если заслужишь, то буду хлопотать у пана и, наверно, успею перетянуть сюда и твою семью... Только нужно время, чтобы гнев панский притих, да и меня нужно убедить в том, что ты стоишь ласки...

Слова Доротеи снова вернули Кармелюка к жизни.

Словно в то подземелье, где томилась его душа, кто-то впустил сразу сноп золотых ярких лучей.

— Пани, благодетельница моя! Здоровья не пожалею, жизни не пощажу! — вскрикнул он с порывом необычайного жара. Даже глаза его загорелись и все лицо преобразилось от этого порыва.

— Так любишь жинку? — произнесла Доротея с презрительною улыбкой.

Он ничего не ответил и потупил глаза.

— А я и не знала, что ты годен на такое пылкое коханье,— заметила милостиво Доротея и еще раз, уже ласково, улыбнулась.

Так потекла жизнь Кармелюка во дворе пани Доротеи. Если бы не разлука с семьей, с дедом, то можно было бы сказать, что Кармелюку в общем жилось весьма недурно. Дворня вся относилась к нему чрезвычайно дружественно; пани постоянно отличала его, и только один тощий пан Хойнацкий оказывал Кармелюку явное недоброжелательство.

Проходя мимо нового дворецкого, он не пропускал случая, чтобы не оборвать его тем или иным способом. Если Кармелюк сидел и писал по поручению Доротеи, то Хойнацкий кричал: «Чего сидишь, хам? Если пан в покое, не смеешь сидеть!»

Если же Кармелюк при появлении Хойнацкого поспешно подымался, Хойнацкий кричал: «Чего стоишь сложа руки? Я лодарствовать не дозволю!»

Вообще при каждой встрече с Кармелюком Хойнацкий надменно выпрямлялся, отпускал гневные замечания, словом, напоминал индейского петуха *, сердито шуршащего растопыренными крыльями при встрече с врагом. Эта антипатия к Кармелюку объяснялась, собственно, постоянным страхом, который испытывал тощий Хойнацкий при взгляде на атлетическую фигуру Кармелюка. Из памяти пана не выходила сцена, разыгравшаяся на охоте, и он решительно не понимал, зачем Доротея вздумала купить этого бешеного волка. Доротея заметила недоброжелательство своего мужа.

— Слушай, Виценцю,— обратилась она однажды сурово к нему,— чего ты так придираешься к Янку?

* Індика.

Ведь ты знаешь, что он нрава горячего, с ним надо действовать лаской, а то того и гляди... Помнишь ведь, он заявил, что и виселицы не испугается?

— Ох, как забыть, любцю,— вздохнул Хойнацкий,— потому-то я всегда и в тревоге... И на какого беса ты вздумала купить этого зверя?

— На какого беса! Еще спрашивает! — даже вспыхнула Доротея.— Ну и хозяин же с тебя! За пару псов получить такого хлопа! Ты посмотришь потом, сколько я за него возьму барыша.

— Ох, поскорей бы только,— вздохнул Хойнацкий, опустив длинный нос.

— Чего скорей?.. Эх ты, никчемный! — раздражилась супруга.— Да он в хозяйстве и во всем принесет нам великую пользу.

— Я только к тому, любцю, что чем скорее сбыть, тем больше пользы. Взяли бы на нем меньший барыш, купили бы снова двух хлопов, продали бы этих двух, купили бы трех, вот как кабанщики торгуют.

— Слушай, кабаний батька,— оборвала мужа резко Доротея,— когда ты так глуп, что сам своей пользы не разумеешь, то молчи. Кармелюк остается у нас,— моя на то воля!

Пан Хойнацкий, испуганный неожиданным гневом супруги, пролепетал что-то невнятное и боязливо юркнул из комнаты. А Кармелюк, памятуя обещание Доротеи, старался изо всех сил угодить ей: он работал за троих, исполнял с точностью все поручения. Доротея удвоила свою любезность, в одном только была она непреклонна: несмотря на просьбы Кармелюка, домой даже на один день его не пускала; сначала она мотивировала этот отказ опасностью, что ему-де устроит Пигловский засаду, а то и тем, что появлением своим он раздражит пана и может вызвать преследование семьи, а затем оставила и всякую мотивировку. Довольно было Кармелюку только обмолвиться о семье, чтобы вызвать у пани скрытую досаду.

— Послушай,— заявила наконец ему прямо Доротея,— пора бы тебе и отвыкать от семьи. И что ты там нашел в своей жинке? Разве тебе такая жена нужна? По твоему разуму и эдукации тебе нужна пани, да, настоящая пани, которая сумела бы оценить твои достоинства. А для разумного человека нет ничего невоз-

можного в свете... Все зависит от разума да от панской ласки... все!

Эти прозрачные замечания Доротеи вызывали в душе Кармелюка чувство негодования, хотя он все-таки еще не вполне догадывался, к чему клонит речи свои алчная пани, но он уже ненавидел ее, ненавидел тем более, что Доротея, не стесняясь своего дворецкого, расправлялась с селянами варварски. Не было того дня в усадьбе Хойнацкого, чтобы кого-нибудь не пороли на конюшне. Доротея всегда самолично присутствовала при подобных экзекуциях, строго наблюдая за тем, чтобы конюхи меняли почаще лозу да отпускали полновесные удары; ни женщины, ни дети не избегали этого наказания.

Доротея собственноручно хлестала девушек по щекам. Она не только всю дворню била, но не стеснялась бить по лицу и самых ветхих, самых почтенных стариков. Все это должен был видеть Кармелюк — и молчать. И он молчал, скрепя сердце, молчал, употребляя над собой сверхъестественное усилие, так как в душе его все еще тлела надежда, что пани исполнит свое обещание и выкупит его семью.

За время пребывания Кармелюка у Доротеи Марина прибегала к нему украдкой раза два-три. Эти свиданья с дорогой женой были обставлены величайшей таинственностью. Наполняя счастьем измученное сердце Кармелюка, они вместе с тем и терзали его. Марина рассказывала мужу о тех бедствиях, которые посыпались теперь на их семью. Ключарь мстил им ежеминутно. И ее, и больного деда гоняли каждый день на панщину, дети оставались без призора, одни; если бы не добрые соседи,— может быть, и погибли бы совсем; корова от недосмотра пропала, хлеб немолоченный загнил в скирде.

Все такие известия разрывали душу Кармелюку, и еще дороже становилось ему родное, близкое существо, так покорно переносившее все эти беды.

А между тем Доротея начинала действовать все прямее и прямее. Уже и комнатная прислуга начинала подмечать кое-что. Доротея привыкла не скрывать своих прихотей,— и вдруг этот хам, несмотря на все подходы, не обращает на нее внимания. Препятствие раздражало страсть Доротеи.

«Или он глуп на этот счет? — думала она про себя.— Или слишком несмел, или портит все дело жена? Во всяком случае, надо приступить к делу решительно»,— решила она.

Был праздник, и семейство Хойнацких выехало к одному из ближайших соседей на пиршество, которое должно было продолжаться дня два. Кармелюк воспользовался этим случаем и решил во что бы то ни стало наведаться к своей семье. Это страстное желание до того томило его душу, что он уже не думал ни о гневе Доротеи, ни о последствиях его.

Сердце Кармелюка замерло от невыразимой боли, когда он снова взялся после такого долгого времени за двери своей родной хаты.

За дверями было тихо. Когда Кармелюк вошел в хату, его даже сразу не заметили.

Дед лежал в углу, прикрывшись кожухом. Марина сидела на лавке, припавши головой к столу; по-видимому, она плакала. Дети спали, прислонившись один к другому. Во всей хате царствовал тот беспорядок, который приносит с собой только горе.

Сердце Кармелюка мучительно сжалось при виде этой картины.

Только когда он сделал несколько шагов вперед, Марина подняла голову и с громким криком бросилась к нему на шею.

Дед, при виде Кармелюка, вскрикнул, поднялся с места, но тут же упал на лавку и разразился бессильным старческим всхлипываньем.

Кармелюк горячо прижал к себе Марину и, обнявши ее, подошел вместе с ней к деду.

— Диду, диду, да чего же вы плачете? — произнес он, стараясь придать своему голосу бодрый тон.— Да встаньте же, дайте посмотреть на вас.

— Ох, сынку, сынку... Не слушаются ноги,— застонал дед,— не согнули годы, а согнуло горе. Дай же посмотрю на тебя, может, и в последний раз! — Он горячо обнял Кармелюка и, отстранившись от его груди, пристально взглянул ему в лицо.— Исхудал! — Дед печально закивал головою и повторил с подавленным воплем: — Гай-гай! Как исхудал!

— Горе только рака красит,— ответил мрачно Кармелюк.

— А как ты пришел? Пустила пани? Смилосердилась? — произнесла наконец сквозь слезы Марина.

Кармелюк махнул рукой.

— Уехали паны со двора, я и ушел.

— Без позволения? — всплеснула руками Марина.— Ой боже мой, что ж то будет, коли узнает пани!

— Все равно... нет силы терпеть... Душу захотелось отвести с вами, бедные мои, бесталанные мои!..

Голос Кармелюка оборвался; он только махнул рукой и понурил голову.

В хате водворилось тяжелое молчание.

— Плохо тут было,— заговорил снова Кармелюк,— а уж что там творится — сказать страшно!

— Бедный ты наш! — прошептала Марина, припадая со слезами к его руке.

— Что я? — Кармелюк провел рукою по ее голове.— Мне ничего: в милость к этой иродихе попал, а уж что люди терпят... Эх! После такого житья и пекло раем покажется!

Он круто повернулся и подошел к малюткам,— теперь уже грязным и оборванным, а все же безмятежным. Несколько минут Кармелюк молча смотрел на них, затем нагнулся, поцеловал обоих и, смахнувши рукавом слезу, заговорил глухим, прерывистым голосом:

— Спят! Бодай бы (пусть бы) и не просыпались довеку, чтобы не знать той доли, которая ждет их. Зверь, гад, червь счастливее крепостного. Как падло какое, меняют его на собаку, отрывают от семьи, продают для панской потехи! А-а!! Спите ж вы до вечного, до страшного суда! Чтоб очи ваши не видели света этого солнца, чтоб уши ваши...

— Иване, Иване! Опомнись, что ты говоришь? — вскрикнула в ужасе Марина, хватая мужа за руку.— Грех! Грех...

Он тяжело опустился на лавку и умолк...

— Крепись, сину, крепись! — заговорил дед таким слабым, разбитым голосом, что, казалось, голос этот выходил откуда-то извне, издалека. Были и худшие времена и прошли... не к зиме дело идет, а к весне... Крепись для этих малых детей... крепись...

— Креплюсь, батьку; только потому и креплюсь, что надежда еще есть соединиться со всеми вами, а если б не то, так знал бы уже, что делать.

— Господи, боже мой! — Марина вся вспыхнула.— Разве пани...

— Обещала купить и вас всех,— окончил ее мысль Кармелюк.

— Дидочку, батечку, чуете, что он говорит? — вскрикнула Марина, задыхаясь от радости, и, охвативши шею Кармелюка, припала к нему.— Счастье мое, радость моя! Свите мой! С тобою снова вместе, вместе! — повторяла она, прерывая слова поцелуями.

— Постой, голубка, еще не очень радуйся,— остановил ее муж,— надо еще упросить пана, чтоб согласился продать вас.

— Пана... чтоб согласился продать нас? — произнесли разом и дед, и Маринка, глядя на Кармелюка во все глаза.

— Ну да, пана,— перебил Кармелюк, не понимая их взглядов.— Я вот думаю пойти к панычу, чтобы упросил пана.

— Нечего идти, я был уже у него, сыну, два раза,— произнес тихо дед, потупляя глаза.

— Ну и что же?

— Господи! Да ведь он говорит, что пан и сразу отдавал нас Хойнацкой, дворецкий мне это самое подтвердил.

— Ну-ну?

Кармелюк тяжело дышал, грудь его подымалась с шумом; ухватившись руками за край стола, он почти перегнулся к деду.

— И второй раз, вот это недавно, пан предлагал ей нас... Не захотела купить, сказала, что у ней и без того баб довольно!

— Так, значит, она, гадина подлая, обманывала меня?! — вскрикнул бешено Кармелюк и с такой силой ударил кулаком по столу, что ножки его зашатались и заскрипели.

Испуганная Марина обвила его шею руками.

В это время в сенях раздались громкие шаги. Все насторожились. Марина в ужасе прижалась к мужу, как бы стараясь загородить его своим телом.

Двери распахнулись, и на пороге показался конюх Доротеи.

— Скорей собирайся, Иван! — крикнул он с порога.— Пани вернулась, лютует, как ведьма. Беда!!

VII

До рассвета еще прибыл в Овсянники Кармелюк и хотел было ложиться спать, но его потребовали немедленно к пану. Возмущенный, охваченный мраком отчаяния, переступил Кармелюк через порог прихожей и остановился у дверей кабинета. Комната слабо освещалась одной восковой свечой из шести в канделябре; на мутном свете ее вырезывалась темным силуэтом длинная и тощая фигура пана Вицента в одном белье, а в глубине, у окна, сидела Доротея, угрюмая, огорченная, в позе пораженной неблагодарностью добродетели. Ее бы трудно было сразу заметить, если б не серый полусвет из окна, ложившийся рембрандтовскими эффектами [24] на ближайшие линии ее контура. В кабинете царил беспорядок; постель пана была не убрана Очевидно, что супруга, спавшая в своей спальне, подняла мужа с постели и приказала позвать к нему дерзкого ослушника.

— Как ты осмелился, пся крев, нарушить приказание пана? — заорал властитель, как только появился на пороге Янко.— Как ты осмелился, шельма? Как ты дерзнул, хамское отродье, змея?

Кармелюк молчал, прикусив стиснутыми зубами до крови губу; он был необычайно бледен, тяжело дышал, а глаза, словно уголья, сверкали из-под надвинутых мрачно бровей.

— Что ж ты молчишь, гадюка, когда тебя спрашивают? — сатанел Хойнацкий от прилива неимоверной злости к этому хаму, которого страшно было ударить; он сознавал, что для внушения власти нужно было начать речь с зуботычины, но рука не поднималась... стыла... перед этой мрачной фигурой, сильной и мускулами, и тем адским огнем, которым пробивалась через эти светлые глаза душа хама.

Кармелюк вытянулся и взглянул в упор на своего хозяина. Доротея вздрогнула; Хойнацкий на шаг отступил и побледнел, причем нос у него выделился резко синевато-багровым отливом.

— Отвечай же, ракалия! — прохрипел пан, желая скрыть свое смущение.— Или я кликну людей...

— Панская воля,— процедил сквозь зубы Янко,—

а мне грех,— видно, пропадать. Ну что ж — пропадай, душа!

От этих слов почему-то у Хойнацкого пробежала по спине легкая дрожь, словно бы кто положил ему на шею горсть снегу. Он оглянулся на жену и поймал ее взгляд, сверкавший и тревогой, и каким-то бурным порывом.

— Как ты смел отлучиться, паршивое быдло! — поддерживал все еще свой престиж хозяин.— Ведь тебе сказано было, чтоб из моего имения ты не смел отлучаться, а особенно в свое прежнее село, для свидания со своим чертовым гнездом? А??

— Я все загаданное (приказанное, урочное) исполнил,— заговорил с принуждением, глядя в сторону, обвиняемый.— Панство уехало на два дня... значит — был свободен...

— Свободен? Ха-ха! — вскрикнул Хойнацкий, закипев снова злорадной жестокостью.— Раб, быдло, червяк, которого я волен растоптать, когда захочу,— и он свободен?! Да ты, пся крев, свободен будешь тогда, когда издохнешь... Когда твое падло (падаль) сожрут робаки (черви трупные)!.. Разумеешь?

— Разумею,— отозвался спокойно Янко, хотя слышно было, как что-то клокотало в его груди.— Выходит, что только смертью можно купить свободу... Попросим и у нее ласки...

Последняя фраза смутила снова Хойнацкого: касалась ли эта угроза панов или самого Кармелюка — все равно, она была нежелательна и опасна, а потому пан сменил свой свирепый тон на укоризну.

— И ты ждала от него благодарности? — бросил он вскользь Доротее.— Хоть мой хлопа, хоть скреби, хоть вари в трех водах, а все-таки от него и от его паршивой души разить будет лайном (навоз, всякая дрянь). Ни воспитанием, ни лаской не вызовешь у твари ни чести, ни шляхетства! Уж, кажется, как поблажали этому негодяю, сколько оказали ему ласки и снисхождения... И ел, и пил он от панского стола, вылеживался на панских перинах,— и вот тебе благодарность!

— Ну, лишать права свидания мужа с женой и родными детьми,— улыбнулся Кармелюк горько,— разрывать насилием союз, связанный богом,— разве это может быть названо лаской?

— Молчать, хам! Не рассуждать! — топнул ногою Хойнацкий.— Вместо того чтоб ползать у ног и просить милосердья, еще о свободе болтает, о боге схизматском... Вот я тебе покажу и свободу... и дарованные тебе богом права! В людскую, вон из дома! Теперь будешь убирать у меня нечистоты! Вон!

Кармелюк взглянул еще раз в упор на пана и, стиснув так свои руки, что заскрипели и хрустнули пальцы, вышел из кабинета.

А Доротея, пережившая в эти мгновенья много сердечных терзаний, накинулась теперь на ненавистного мужа:

— Ты просто глуп и бестактен до безобразия! Я изумляюсь, как тебя он не пырнул ножом.

— На бога! Дорцю! Что ты говоришь!? — вскрикнул супруг, раскрыв от ужаса рот.

— Да то и говорю... что ты только свою злость знаешь тешить и в лютости забываешь, что перед тобой стоит не простой хлоп, а человек эдукованный... понимающий оскорбление... и человек, готовый на все...

— Да ты же сама, любцю, просила, чтоб накричал...

— Просила, чтоб разъяснил гнусность его поступка. Ты же ведь хозяин... именуешься мужчиной,— уязвила она,— так должен же разъяснить крепостному его обязанности... а ты стал его дразнить, унижать, доводить до исступления... Ну и дождешься, дождешься, никчемо...

— Матка боска! Так я его сейчас отправлю к исправнику [25]... пусть куда хочет девает.

— Проше пана,— заметила уже выразительно Доротея,— Овсянники — мое родовое... и Янко — мой хлоп... Если пан начудил и боится, то может пока отправиться в свой хутор, а я и сама, без исправника, усмирю кого следует и обуздаю кого нужно.

— Але ж, мамусю...

Но Доротея не захотела слушать оправданий своего супруга и выплыла из его кабинета, как королева.

Кармелюк очутился на дворе с таким хаосом мятущихся мыслей, что ни одной из них уловить не мог, а чувствовал лишь на сердце у себя что-то отвратительное, косматое, с которым жизнь нестерпима... И он в первое мгновение бросился было в сад, где среди густых

зарослей, не лишенных еще цветистого осеннего убора, он мог исполнить свою страшную мысль; но через минуту другое побуждение взяло верх над болью истерзанной, оскорбленной души — вернуться и отомстить... Ему на себя даже стало досадно, обидно, что он позволил этой гадюке изрыгнуть на себя ядовитую пену и не стиснул ее за горло... Теперь ему представилось живо, как бы этот долговязый глистюк захрипел под его руками, как бы посинел, высунув язык и выпучив с мертвым ужасом свои жабьи глаза...

— Ха! — даже улыбнулся злорадно Янко, впадая в более веселое, хоть и зверское настроение.

Он повернул к господскому дому; но, подойдя к крыльцу со стороны сада, остановился... стал соображать, хотя и мутно, как в горячке, но с некоторым проблеском сознания.

«Теперь, сейчас... не допустят к пану его... Самый приход сочтут дерзостью... заподозрят и лишат свободы... Нужно обождать... прикинуться смиренным. А потом эта волчиха... не одумается ли?.. Она не кричала... А что, если тоже рассвирепеет? Тогда жаль будет семьи... без меня пропадет... А при мне? Что ж, хоть бежать можно с нею вместе. Кругом — непроходимые леса, непролазные болота, темные, что ночь, пущи, провалья... Не найдут, а коли найдут — посчитаемся? Да, для паршивого панства отдавать дарма свою жизнь жалко... Потешиться можно, да и других поучить!»

Жизненное чувство крепкого организма вышло победителем и вынесло пока Кармелюка из вихря разрушительных страстей, зажегши в его мрачной душе искорку слабой надежды: хоть в берлоге зверя, а укроется он с семьей, и если отдаст свою жизнь, то за страшную цену! Мысль эта до того успокоила Кармелюка, что он повернул к конюшне, влез на сеновал и заснул богатырским сном.

Пан Хойнацкий, после стычки со своей женой, поехал в поле с борзыми, чтобы рассеять хоть немного чувство досады и страха и кстати заехать за советом к Янчевскому.

Доротея заперлась в своей спальне. Душу ее терзали недобрые страсти, и от бури, от борьбы, поднятой ими, у нее порывисто колыхалась грудь, а глаза то горели огнем, то смежались истомой...

«И для чего она впутала своего дурня, эту золотушную немощь, в дело сердца? Зачем она поручила ему сделать выговор Янку? Ведь знала же она, что этот осел из трусости одной пересолит... Ну, а теперь, кто знает, на что может решиться мой Кармелюк?.. А как он был хорош в своем гневе! Глаз не могла оторвать... Какая в нем мощь, какой запас страстей кипит в этой львиной груди!.. Нет, мне нужно самой поговорить с ним... смело... Он не дурак!» И пани отправилась в кладовую, куда никто не имел права входа, даже супруг, и где хранились всякие дорогие вещи... Кладовая эта даже была обставлена некоторою мебелью и устлана коврами; в ней иногда любила пани и отдохнуть, и уйти от общества своего супруга или его друзей... Сюда-то и велела Доротея кликнуть немедленно своего дворецкого.

Солнце склонялось к закату; косые лучи его проникали в полуоткрытую дверь кладовой и наполняли ее розовым полусветом. С смущением и даже несвойственной характеру робостью ждала повелительница своего раба; вот чья-то тень проскользнула, вот заскрипели половицы, дрогнула дверь... У Доротеи занемело сердце, захватило дыханье, и какая-то горячая волна наполнила высоко вздымавшуюся грудь.

— Я позвала тебя,— начала Доротея, когда Кармелюк, поклонившись, почтительно остановился у дверей,— не для выговоров, не для брани... Сегодняшняя безобразная ругань пана была мне столь же обидна, как и тебе... и я с паном за то поссорилась... Видишь, как я откровенна, так пойми и оцени мою искренность и расположение к тебе... Да, я вполне сочувствую твоему угнетенному положению... и хочу... Словом, за искренность должен и ты отплатить тем же... За добро ведь злом не платят? — И она протянула руку.

У Кармелюка от этих теплых слов заиграл яркий румянец и в глазах проступил влажный туман; суровое, холодное настроение его духа смягчилось, и надежда на что-то доброе подтолкнула его подойти и приложиться к протянутой руке.

Доротея при этом так крепко поцеловала Кармелюка в лоб, что он даже вздрогнул от неожиданности.

— Ты вот упрекал меня,— продолжала Доротея, волнуясь,— что я препятствую тебе встречаться с

семьей! Но ведь пойми: я, жалея тебя, оберегала от лиха... и все это до слушного часу, когда можно будет выкупить ее...

— А пан говорит,— прервал Кармелюк,— что он с охотою...

— Что он лжет! — вспыхнула Доротея.— Разве он не из мести оторвал тебя от семьи? И до сих пор еще дышит он злобой... Присядь, Янко,— обратилась с заискивающей улыбкой,— я хочу говорить по душе...

— Что ж, вельможная пани, я и постою...

— Нет, мне неловко... Садись вот сюда... на кресло... ближе... Я ведь тебя считаю и по уму, и по эдукации за шляхтича... При других, конечно, стесняешься... а здесь мы одни...

— Спасибо, пани, а только как-то... неловко...

— Что за вздор! Какой ты, право... непременно требуешь приказания? Ну, так приказываю — садись! — сделала она милый повелительный жест и с заманчивою негой остановила на нем огненный взгляд.

Смущенный Янко опустился на указанное кресло, а Доротея, сидевшая на каком-то ворохе ковров в распашной блузе, полулежала теперь, облокотясь на белую обнаженную руку.

— Видишь ли... по всему ты должен убедиться, что я в судьбе твоей принимаю большое участие... большое,— подчеркнула она,— я думаю, что такой другой доброжелательницы не найдешь ты на свете... Всякая неприятность тебе мне также обидна. Всякая опасность тебе меня больше тревожит, чем тебя самого... Я вот и боялась, чтоб тебе в Головчинцах не было засады, напасти... Твоей семье лишь бы тебя увидеть — и довольно... а мне каждый твой волос дорог... Вот и здесь ты имел неприятность,— а мне это тяжело... Значит, не нарекать следует, что я тебя оберегаю, а благодарить... и благодарить не рабски, а сердечно...

Кармелюк смотрел на Доротею во все глаза; каждое ее слово не грело, а раздражало его сердце... хоть и хотелось верить.

— Потому что и я,— протянула нежно Доротея,— от сердца готова тебе все устроить и говорю прямо, что если я буду убеждена на деле, что ты мне платишь за мое сердце — тоже сердцем своим, то я тебя осчастливлю...

— Господи! Да я за вашу ласку! — воскликнул Кармелюк и припал к руке своей властелинши. Доротея поцеловала теперь в щеку своего раба и усадила его снова на кресло, пододвинувшись к нему еще ближе... Внутренний огонь разгорался в ее груди сильнее и сильнее, заливал полымем лицо и искрился из томных маслянистых очей.

Кармелюк, охваченный радостью, сидел как очумелый, не понимая настоящего значения слов своей госпожи, но смутно чувствуя, что в них кроется что-то необычайное, неестественное...

— Клянусь, возвеличу, если только уверюсь, что воля не унесет от меня моего любимого Яся! — шептала она, опьяненная чадом желаний, нервно вздрагивая и потягиваясь, как кошка. Она то пожирала Янка глазами, то жмурила их от истомы.

Прошло мгновенье, другое.

«Неужели он не догадывается? Или боится догадаться?.. Нужно смелее и проще!» — промелькнуло зарницей в ее уме, и она заговорила вдруг энергично, с огнем:

— Слушай, Ясю. Ты, может быть, думаешь, что, пожалуй, я сама не желала здесь видеть твоей жены? Да, и это правда! Уж коли душу раскрыть всю, до последнего тайника! Да! Я не могла переварить мысли, что ты станешь обнимать ее, ласкать, упиваться блаженством... Здесь, близько... У меня почти на глазах... Что ж? Завидовала ей... Езус-Мария... как завидовала... Терзалась!..

— Пани? — вскрикнул Кармелюк, открыв широко глаза. Он начинал смутно догадываться.

— Слушай! Зачем бежать от счастья, коли сам бог тебе его посылает? — продолжала, не помня себя, Доротея, охватив одною рукой плечо Яна и привлекая его к себе.— Ты наделен щедро всяким добром: и красой, и силой, и разумом, и знанием света... Не гнить же этому добру под гнетом неволи, в хамском болоте, в рабской грязи? И ради кого? Ради глупой, грязной бабы? Разве она поймет тебя и оценит? Тебе нужны богатство, почет и свобода...

Словно загипнотизированный, не мог Кармелюк двинуться с места и оторваться от глаз, сверкавших над ним синими и зелеными искрами. Доротея приблизила

свое пылавшее лицо и влажные полураскрытые губы до того близко к его лицу, что дыхание ее обдавало его струями жара.

— Кто же это мне даст? — спросил он, словно сонный.

— Кто, глупенький? Неужели ты не догадываешься? — жалась все ближе и ближе к своему хлопу распаленная пани.

— Ой пани! Про что это вы?..

— Да про то... Что я тебе в рот кладу, а ты не хочешь понять!.. Про то, что я тебя полюбила с первого раза... и с каждым днем больше и больше люблю... сохну по тебе... горю сердцем... жду рая в твоих объятиях... Я тебя сделаю счастливым... Мужа выгоню... задавлю, отравлю... а тебя буду иметь мужем...— Она обвила своими пухлыми руками шею Янка и стала осыпать его жгучими поцелуями, продолжая задыхающимся шепотом: — Ты мой идол... мой кумир... Ты не похож на подлых хлопов, на это презренное быдло... Ты, наверное, панской крови...

Последние слова ударили страшной болью по душевным язвам Кармелюка и словно обдали его холодною водой; весь гипнотизм, весь угар от ядовитого чада сразу от него отлетел, и поднялось со дна сердца омерзительное отвращение к похотливому бешенству зверя-бабы. Он сильным движением плеч сбросил с себя руки новой Мессалины [26] так, что она неловко упала на ковер, стукнувшись головой о спинку кресла.

— Опомнитесь, пани! — произнес с гадливостью Кармелюк.— Не пристало вам с хлопом... да и хлопу противно...

Такого оскорбления не ожидала властная пани. Лицо ее позеленело, покрылось багровыми пятнами и исказилось от гнева.

— Цо-о? — зашипела она — Так ты осмелился... меня, как женщину...— и она чуть не бросилась на Кармелюка, но удержалась и, одолев свое исступление, выпрямилась во весь рост и произнесла холодным, полным яда тоном: — А ты, как видно, глуп... Не понял, что я только хотела испытать... раба! Но довольно, ни звука! Позвать мне нового дворецкого!

Кармелюк постоял мгновение и вышел быстро из кладовой.

На другой только день возвратился пан Вицентий домой, и не один, а вместе с соседом своим, Демосфеном. Доротея радостно встретила гостя, а с мужем была до того ласкова, что последний только ухмылялся и за каждым словом повторял глупо: «Моя люба, моя крулева!»

Через день Доротея сообщила таинственно мужу, что новый дворецкий обнаружил пропажу серебра... и что есть подозрение на Кармелюка. Муж хотел было сейчас броситься на конюшню, но жена его удержала:

— Нужно так, душко, обставить дело, чтобы злодий не выкрутился. Он, наверное, часть серебра отнес к своим, а часть у себя припрятал... Так про кражу пока ни гугу! Сначала надо обыскать хату его жены, а сюда пригласить исправника и при нем осмотреть сундук этого хлопа... И если окажется он вором, то я не хочу оставлять его у себя. Ты был совершенно прав... Даже наделить кого вором не желаю, а предлагаю немедленно заковать его в железо и сдать в москали...

— О моя любцю! Великолепно! — обрадовался Хойнацкий.

Янчевский одобрил вполне план Доротеи, и он был выполнен в точности. Через день вернулся посланец от пана Пигловского и привез найденные под лавкой у жены Кармелюка две серебряные ложки. В тот же вечер при исправнике, десятских и понятых был вскрыт сундук Кармелюка, и в нем оказалось порядочное количество панского серебра.

На остолбеневшего невинного Янка сразу надели кандалы и вывезли его из двора, не дав сказать и слова. Впрочем, пораженный подлостью, он даже не сопротивлялся...

VIII

Пронеслось еще три года. Три раза леса меняли свой роскошный убор, три раза прилетала весна на крыльях веселых жаворонков и убирала тихую долину коврами юных цветов. По хатам лились слезы, а в темных чащах леса все-таки отзывались кукушки да звенели трели соловьев, а иногда слышались и девичьи песни... О бедном Кармелюке, насильно вырванном из семьи,

из благодатного родного края и брошенном жестокой рукой в чужую страну, в ужасную тогда солдатскую жизнь,— забыли; всколыхнувшаяся было при нем жизнь деревни снова замкнулась, как смыкается вода над брошенным в нее камнем. Только иногда, при виде неистовств нового управителя Головчинцев, старые люди печально покачивали головами и шептали: «Зверюка, зверюка... Занапастил и Кармелюка! А был человек, заступник! Ох, ох, такого уж не дождемся!»

В одной только хате исчезновение Кармелюка оставило тяжелый, неизгладимый след... Тех слез, которые лились здесь несчастною женой, не осушали и ласки весны... Веселый луч солнца не оживлял покосившейся на бок хаты, запущенного, пустого двора. Осиротелые, видя только тяжкие слезы матери, дети росли молчаливые, печальные, бледные, как грибки в подвалах. Марина осунулась и постарела, словно согнулась. Горе, которое несла она, держало ее неослабно в своих цепких объятиях... Она с ним жила, с ним ходила, с ним же и спала... Иногда ей казалось, что она чует подле себя тоскующую душу мужа... Она вскакивала с постели, вперяла очи в холодную тьму, стлавшуюся по хате, и ждала, ждала... Чего? Она не давала себе отчета.

Она ведь знала, что муж ее хоть и существует где-то далеко, но оторван от нее навсегда. А упорное сердце все-таки ждало его, дорогого, обожаемого,— ждало вопреки рассудку. Вечное горе да вечное одиночество мало-помалу совсем притупили ее душу. Ей не с кем было промолвить и слова. Даже деда не было с ней... Старик не выдержал последнего удара и ушел искать правды и воли в далекие, неведомые края...

Пани Доротея совершенно забыла о неприятном эпизоде с дерзким и глупым хлопом. Ее воображение теперь пленял пан Демосфен, плечи и сложение которого могли поспорить с фигурой Кармелюка, а догадливостью и находчивостью уж пан, конечно, превышал идиота-хлопа.

Неудавшиеся политические мечтания о воскресении отчизны разбили сердца представителей Польши, но в помещичьем кругу горечь эта вскоре поулеглась. Благосостояние панства росло. Благодатный край и тысячи рабов обеспечивали ему роскошную жизнь.

В небольшом городке Литине судья литинский

Иозеф Сливянский праздновал свои именины. В зале за роскошно сервированным столом сидело много гостей, тучных, упитанных — старых и стройных — молодых. Пан маршалок с своей очаровательною супругой, панство Хойнацких, пан Янчевский, пан Пигловский, ксендз-пробощ, молодой и красивый, стыдливо потуплявший глаза, пан судья, человек средних лет, суровой и строгой наружности, любезно преображавшийся при беседе с дамами, и супруга его, хорошенькая блондиночка с тонкой талией и небесными, невинными глазками, менявшими свое выражение только при обращении к слугам, и еще несколько шляхтичей и панн.

Обед приходил к концу; подавали уже сахарные пирамиды, наполненные сластями... Лица гостей лоснились от переутомления, а глаза маслились усладой... Шумный оживленный говор, пересыпаемый восклицаниями и смехом, перекатывался с одного конца стола на другой. Среди присутствующих шел общий оживленный разговор; толковали о страшном разбойнике, появившемся в окрестностях. С некоторых пор в Литине уже поговаривали об этом разбойнике, бушевавшем с весны то под Винницей, то под Вороновицами; но рассказы про него имели анекдотический характер и не смущали литян; гости же привезли теперь тревожные известия: дерзкий разбойник проявился со своей шайкой в самом уезде.

— До правды, шановное панство,— ораторствовал молоденький шляхтич Рудковский [27], с гладко выбритым лицом, с маленькими бачками у самых ушей и со взбитым надо лбом светлым коком. Одет он был по самой последней моде: концы его воротника поднимались до половины щек, высокий галстук подпирал до нельзя шею, длинный сюртук с короткой талией и необычайно узкие панталоны да остроконечные ботинки дополняли его франтоватый костюм.— До правды! Это ведь случилось с паней Чернецкой из Гутни, я сам слышал из ее власных уст, как с ней обошелся этот шельма.

— Ну, ну! — раздались отовсюду нетерпеливые понуканья гостей; даже тучный пан Бойко, отличавшийся тем, что после обильной трапезы погружался всегда в сладкую дремоту, на этот раз внимательно прислушивался к разговорам.

— Так вот, ехала эта пани со своей дочкой Фелицей

в Каменец: везла паненку в науку... Едут лесом, вечер. Вдруг: «Стой!»

— Ой, ради бога! — взвизгнула тоненьким голосом одна из паненок и пугливо прижалась к своей почтенной мамаше.

Оратор бросил довольный взгляд в сторону панны и продолжал дальше:

— Вдруг: «Стой!» И перед панским повозом вырос словно из земли здоровенный гайдамак, росту — косая сажень, грудь — колесом, кулаки — словно жернова...

— Красив? — протянула пани маршалкова.

— Ух! И страшно, и интересно! — воскликнула пани судьиха.

— Говорят, что хорош, бестия! — повернулся Рудковский любезно к Розалии.— Но уверяю шановное панство, что бедной пани Чернецкой в ту пору было не до того, чтобы любоваться красотой проклятого гайдамака, тем более, что он не дал ей на то времени, а велел тотчас же вылезть из коляски и отдать все деньги. А за ним, заметьте, стояло шесть таких же разбойников, как и он; ну, пани и панна не замедлили исполнить его приказание. Но денег все-таки было жаль отдавать поганцу...

— Еще бы, хлеб третий год в ямах гниет! — вставил злобно Бойко.

— Так или не так, шановное панство,— продолжал с легкою усмешкой молодой оратор,— но пани Чернецкая преодолела свой страх и обратилась к хлопу приблизительно с такой речью: «Добрый человече, помилуй меня, бедную вдову, что я могу дать тебе?.. Везу вот дочку в науку... имею при себе сто червонных... Что ж будет делать дитя мое бедное, если я их отдам тебе?.. Если тебе уж так нужны деньги, возьми пятьдесят-сто злотых и отпусти нас на волю». И, должно быть, пани жалобно говорила, так как гайдамак смилостивился и стал расспрашивать ее о том, чему панна училась. А когда узнал, что панна между прочим училась и танцам, то попросил панну протанцевать ему краковяк.

— Скажите! — усмехнулась Розалия.

— А! Лайдак! — рявкнул Янчевский, и молодежь поддержала его гневное восклицание.

— Конечно, лайдак и хам заставил прелестную

панну танцевать без музыки, без достойного кавалера и на придорожной лужайке, но,— развел он руками,— что было делать бедной паненке? Должна была танцевать при диких возгласах разбойников, хотя на душе и скребли ее кошки. Однако танец прелестной нимфы подействовал на грубого хлопа; и он так разнежился, что не только не взял у пани Чернецкой ни одного червонца, но еще даровал паненке от себя на память двести червонцев...

— Да это какой-то Ринальдо-Ринальдини! [28] — воскликнула оживленно Розалия.

— О, то не может быть хлоп... Это, должно быть, какой-нибудь шляхтич,— подхватила и пани судьиха.

— Наверное, какой-нибудь рыцарь! — закатила глаза Доротея.

Панны последовали примеру дам, и оживленный шум наполнил комнату.

— Позвольте, позвольте,— продолжал дальше оратор, наклоняя голову к левому плечу и протягивая вперед правую руку.— Дело окончилось совсем не так весело. Отпуская пани в Каменец, разбойник взял с нее клятву и честное слово, что она в Каменце никому об этой встрече не скажет! Но, само собою, по приезде в Каменец...

— Держать слово, данное хлопу! — перебили разом оратора маршалок и Янчевский.

— Святая панна всегда разрешает от таких клятв! — вставил набожно ксендз.

— А так... и для охраны других пани должна была сообщить о гайдамаках властям,— заметил строго судья.

— Она так и сделала,— заявил оратор,— и, опасаясь снова встретиться с негодяем, поехала другим путем. И что бы вы думали, панове? — Рудковский остановился; по зале пробежал нетерпеливый гомон. Оратор выждал минуту и заявил медленно и отчетливо: — Лишь только пани въехала в лес и удалилась не больше как на версту в глубину его, перед ней, как из-под земли, вырос гайдамак...

— Ну, ну! — послышалось кругом.

— «День добрый, вельможная пани!» — поклонился ей шельма. «А, проше!» — «Так-то ты держишь свое слово!» — крикнул он и тут же приказал вытащить па-

ни добродзейку из повоза и разложить на земле; не подостлал даже не только коврика, а и худого рядна; разложил по всем правилам, освободил от покровов и всыпал ей собственноручно с копу лоз...

При этих словах оратора пан Хойнацкий хихикнул, уткнувши в кулак свой багровый нос.

— Важная картина! — заметил злорадно и Бойко, имевший соседские неприятности с Чернецкой.

Но замечания их покрыл хор гневных восклицаний.

— Да он летает всюду, словно бес носит его на своем хвосте,— заговорил Демосфен.— С неделю тому назад поймал, бестия, эконома пана Вержбицкого,— говорят, что подлые хлопы донесли на беднягу,— ну, и надел ему червоные сапьянцы.

— Червоные сапьянцы, а это что же такое? — пролепетало несколько панянок.

— А это у бестии называется: обрезать у колен шкуру и закатить ее до пят...

Крик ужаса вырвался у присутствовавших дам.

— Да, всюду о нем только и толкуют: там разграбил панский будынок, там выпорол до полусмерти пана, тому отрубил уши, тому содрал кожу с ног, того просто повесил,— раздались кругом одновременные восклицания.

— А что с жидами делает! — заговорил Бойко.— Поймал, шельма, недавно Лазаря — шинкаря из Ходака,— защемил ему бороду в дубовую колоду и до тех пор кропил канчуками, пока тот не оборвал себе бороды и не бросился наутек.

— Ух, напоролся бы он, бестия, на меня! — вскрикнул пан Хойнацкий, привскакивая на месте и потирая свои костлявые руки.— Уж я бы ему задал перцу!

— Ого! — заметил насмешливо маршалок.— Не хвастайся так, пане! Говорят, что гайдамак силен как бык... и карбованцы гнет, и железные кандалы рвет, как гарус!

— Цо? — продолжал Хойнацкий, кичливо вскидывая свою остроконечную голову.— Силен как бык? Да я и быка, и этого хлопа...

— Да почему пан думает, что он хлоп? — перебила пани Розалия.— Он непременно шляхтич!..

— Шляхтич, пани, не станет помогать хлопам...

— Ну и хлоп не станет давать паненкам по двести дукатов.

— А я думаю, пышная пани,— осклабился пан Янчевский,— что многое врут. Шляхтич ли он, жолнер ли (солдат), или рябой дьявол,— Перун его забей,— а грабит он всех без разбору... и хлопам не помогает — это байки (басни, сказки). Хлопы сами брешут, чтоб заворошить все. О, эти гадюки!

— Успокойтесь, панове,— заговорил громко судья.— Все это преувеличено, и бояться нам, шляхте, какого-то лайдака даже обидно.

— А правда! Не стоит и рук марать,— заговорила молодежь.

— Панове! Прошу слова! — произнес пан Янчевский, вставши и приняв внушительную позу.

— Тише! Тише! Орация Демосфена! — послышались возгласы кругом, и шумный гомон мало-помалу утих.

— «Quosque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?» — заговорил торжественно местный оратор.— Да, я начну словами бессмертного Цицерона: «Доколе ты, Катилина [29], будешь испытывать терпение наше?» Власти знают о присутствии в нашем крае неслыханно дерзкого бандита, его злочинства растут, наконец, у нас самих на глазах совершаются разбои, неистовства, грабежи, душегубства,— а мы, властители края, занимаемся лишь передачею анекдотов про збойцу да благодушно попиваем венгржин в преступном бездействии! Опомнитесь, панове! Оглянитесь! О, вечно беспечное и в минуты страшных событий великое рыцарство, когда же ты станешь прозорливым и благоразумным?! — Оратор смолк, окинул печальным взором смущенную аудиторию и поник головой на мгновенье.

В зале напряженно все смолкло; даже лакеи с блюдами и кубками замерли где кто стоял.

— Да, опасность велика и неизмерима,— продолжал с новой энергией пан Янчевский,— и не в этом бандите она заключается... Нет, не в нем!.. Кто он? Презренный ли хлоп, каторжник ли сибирский, бежавший ли шельма-казак, или благородный вор-шляхтич,— как заметила очаровательница наша пани Розалия,— это безразлично. Славное рыцарство наше, или из любви к широкой свободе, или убегая от кары закона, ставало

часто в ряды лотров и поднимало грозные повстанья... Так я повторяю, что не самый гайдамак нам страшен, а небеспечно то, что огонь гуляет среди горючего материала, что искра летает среди груд пороха... Я говорю о быдле, об этой рвани схизматской, о хлопстве... Разве вы не слышите, как уже гудит эта сволочь? Разве вы не видите, как она собирается у корчмы и снует по лесам? Вот сейчас передавало панство друг другу, что неизвестный бандит появляется и творит бесчинства и гвалты чуть ли не в десяти местах в одно время, да еще на какое расстояние — верст на двести, на триста! А что то значит, панове? А значит то, что это не дьявол-чародей перелетает с места на место, а заводятся такие дьяволы по всему краю: сегодня их много, завтра их будет больше, а послезавтра все наше хлопство пошьется в дьяволы,— верно! И этого мы дождемся, на раны пана Иезуса, дождемся! — Янчевский смолк, скрестив на груди руки.

В зале царило гробовое молчание. Под давлением надвигавшегося ужаса все словно боялись поднять головы... Но вот послышались среди тяжелых вздохов и робкие возгласы:

— Что же делать?

Их по-видимому только и ждал оратор.

— Что делать? — переспросил он и, подняв высоко голову, произнес повелительным тоном, властно: — Первое — приструнить быдло, удвоить за бестиями надзор, это — главное! Второе — собраться немедленно панству и на власные средства устроить облавы соседних лесов, а то и всего нашего повета, выловить и затравить псами лотров, связать, заковать и отправить в станы. Вот мое мнение!

Янчевский победоносно сел при восторженных и шумных возгласах: «Згода, виват!», «Нех жие Демосфен наш, нех жие!»

— Так, так! — заговорила затем молодежь.— Облава с гончими, дубинами, секирами, рушницами!

— О, это будет веселая забава! — заговорила, увлекаясь, пани Розалия.— На эту забаву отправимся и мы... Да, да! И представьте себе картину: лес... чаща... я стою с пистолетом... взведен курок... и вдруг выбегает он... Стой! Он просит милосердия... Я целюсь... но он так прекрасен...

— И пани отпустила бы даже бестию? — вспыхнул Янчевский.

— Отвага и удаль всегда пленяют меня,— ответила с лукавою улыбкой Розалия.

— Конечно, отвага и удаль — лучшее украшение шляхтича,— вмешалась в разговор Доротея.— Перед отважным шляхтичем женщине трудно устоять! — Она слабо вздохнула и подкатила глаза.— Только шляхтич ли этот бандит?.. А хлоп всегда останется хлопом и быдлом!.. Если бы он был даже прекраснее Аполлона [30], то остался бы низок, труслив и не способен увлечься прекрасною минутой!

При этих словах голос Доротеи зазвучал резко, и гневное лицо ее сразу же утратило сентиментальное выражение.

В то время в комнату вошел казачок с пакетом на подносе и направился к Доротее.

— Письмо вельможной пани! — произнес он с поклоном.

— Мне? От кого? — изумилась она.

— Привез какой-то пахолок (парень) и уехал, сказав, что ответа не надо.

Доротея с изумлением разорвала пакет и взглянула на лыст; невольный крик вырвался из ее груди... Пани побледнела как стена и повисла на кресле... Все всполошились...

— Воды, воды! Доктора! Распустить шнуровку!..— раздавалось кругом.

Паны и панны засуетились вокруг Доротеи.

— Что там? Что написано? — заговорили сразу Демосфен, маршалок и Пигловский, столпившиеся вокруг Доротеи.

— Ничего не понимаю,— возразил перепуганный на смерть Хойнацкий, подымая оброненный женой листок.— Здесь стоит всего два слова: «Вспомни комору».

IX

В местечке Деражне церковный домик священника Стопневича стоял на самом берегу става. На другой стороне улицы стояла деревянная, темная, покосившаяся церковь; вместо звоницы возвышался на четырех

столбах небольшой навес; решетчатая ограда (баркан), окружавшая заросший бурьяном погост, была в многих местах разрушена.

Догорал теплый весенний день. На небольшом дворике батюшки стояла натачанка; пара буланых коней усердно жевала положенную в нее ароматную провяленную траву. Под тенью каштана, за круглым столом, уставленным мисками, тарелками, кухлями и огромным горшком галушек, сидели хозяин дома, отец Михаил, со своей матушкой Меланией и двое гостей — старичок отец Семен Дерлянский из соседнего села Кальной Деражни с сыном своим Хоздодатом [31], заехавшие к соседу по дороге в Шаргород.

Отец Михаил был высокий, широкоплечий, сохранившийся вполне мужчина, с окладистою серебристою бородой и добродушным лицом, светившимся необычайною кротостью и любовью; он был одет в белый холщовый подрясник. Маленькая, худенькая попадья в темном перкалевом платье, повязанная платком, казалась в сравнении с батюшкой старухой.

Хозяйская дочь, чрезвычайно миловидная и симпатичная молоденькая девушка, то приседала к столу, то приносила вместе с наймычкой немудрые кушанья — мамалыгу, брынзу и шарпанину, то прислуживала гостям. Попович Дерлянский представлял полную противоположность худенькой, сгорбленной фигурке своего отца, с жидкой бородкой и тощей косичкой, торчавшей на затылке хвостиком вверх. Этот Хоздодат был высокого роста, довольно плотен, но груб, неуклюж, угловат, словно его фигуру вытесали из бревна и не обрубили даже краев; черные волосы стояли вокруг его головы взъерошенною кучкою. Лицо поповича можно было бы назвать даже красивым, если бы не грубость и простоватость его черт да не слишком упитанные ланиты. Во всяком случае, попович считал себя не из последних кавалеров, так как черные усики его были старательно подкручены, а из-за бурсацкого подрясника горел на шее красный платок.

После двух-трех рюмок водки ленивая, апатичная беседа стала понемногу оживляться.

— Плохенька ваша церковь, отче,— заметил старичок Дерлянский,— от-от упадет, и баркан развалится...

Попович громко засмеялся и возгласил:

— Мерзость запустения!

— Ох-ох-ох! — вздохнул хозяин Стопневич,— вижу и сокрушаюсь зело... Але что убо содею? Обращался к егомосци маршалку — закричал, что у него нет охоты поддерживать схизматские храмы... Ходатайствовал в консистории, но скудные средства не подвинули ее на рачительство... а прихожане... что они смогут? Убожество, немощь, изнурение... Последние грунты у крестьян отрезают...

— И церковную ругу переполовинили,— добавила матушка.

— Беда, видно, кругом,— печально покачал головой старичок гость,— у меня церковца пободрее... а и то опасаюсь. Ксендз подкапывается, чтоб ее перенесть в болото, на ее месте костел строить... Мнится, в Киев бы съездить, так ох! Силен князь мира сего!

— Времена! Скоро в полотняных ризах будем служить,— поник головой отец Михаил.— Так это вы, отче, и собрались с сынком в Киев?

— Нет. Теперь пока в Шаргород. В семинарию...[32] везу этого оболтуса, этого стультуса,— просто египетская кара.

— Гм! — потупился угрюмо попович и с помощью двух пальцев вытер сочно свой нос, а затем вытащил из кармана огромный клетчатый платок и отер им пальцы.

— А что там случилось? — спросил участливо батюшка.

— Пригода (несчастный случай) какая, либо что? — прибавила сочувственно матушка.

— Пригода,— покачал горько головой приехавший поп,— уж такая пригода, что только руками разведешь... За дурное поведение сына из семинарии выгнали...

В это время подошла к столу Олеся с кувшином черного пива, наполнила им кухли и стала подносить их с низкими поклонами гостям.

Все принялись за пиво.

— Ну, так что же вы думаете? — заинтересовался батюшка.

— Думаю ударить челом превелебному отцу, чтоб смилосердился... Пусть лучше отсыплет ему канчуков с копу, да приймет... Я и провизию везу.

— Я на канчуки не пристаю...— буркнул мрачно попович.

— Так на что же ты, блудный сыне, пристанешь?.. Реку тебе паки и паки: выгонят из семинарии — не вертайся и в отчий дом, ибо выжену. Что мне с тобой творить?

— Воззрите на птицы небесные, иже не сеют, не жнут...— начал было глубокомысленно молодой философ.

— Ах ты птах бесперый,— оборвал его отец Семен,— если егомосць не смилуется — в звонари пойдешь!

— Vanitas vanitatum, сиречь суета сует: и от пастушеского жезла призывал господь своих слуг на царство...

— На царство? Тебя на царство?

Отец Михаил и матушка снисходительно засмеялись, даже Олеся улыбнулась от такого предположения.

— Ах ты дурень бога вышнего! — возмутился отец Семен.— От семинарской лозы тебя бы на царство?

— Это фигура уподобления... в красной элоквенции...— обиделся несколько Хоздодат,— а я могу и жениться...

— Жениться? — воскликнул его отец.

— А почему ж бы и нет? Я могу...

— Да кто за тебя пойдет?

— Ого! Приеду, прочту на божьей службе апостола...— попович крякнул, приосанился и бросил многозначительный взгляд на Олесю; последняя смутилась и отошла в сторону...

— Ну, панна заслушается, а отец ее похлопочет, чтоб меня высвятили в диакона.

— Эх, паничу,— заметил отец Михаил,— горек теперь хлеб иерейский, а что диаконский, так и в горло не идет.

— Не о едином хлебе человек жив будет...

— Тьху! — не утерпел отец Семен и, крикнув сыну: «Молчи, дурень!» — стал прощаться.

— Куда вы? — запротестовала матушка.— Подночевали бы лучше, а то против ночи, храни господи...

— Ой так, превелебный панотче,— отозвалась и древняя старуха, пришедшая помочь убрать стол.—

В каждом лесу — по банде, а атаман на огненном коне летает, и в одно мгновение — и тут и там...

— Да и у нас слыхал я разные ужасы про какого-то чародея-разбойника,— отозвался отец Семен.

— Горе мне сущу! — всполошился попович и, бросив философское безразличие, безнадежно оглядывался во все стороны.

— Да про этого разбойника идет чутка добрая,— отозвалась матушка.— Говорят, что он лыцарь настоящий, из стародавних... и так красив, что глаз не оторвешь... и что будто нападает на одних только панов, да экономов, да пысарев и жидов. От них отбирает награбленное.

— А голытьбу, пани, чи то нашего брата добром наделяет,— пояснила старуха.

— Так, так, воистину,— подтвердил и хозяин.— И на церкви дает. Его нам опасаться нечего... А над нашими утеснителями, да гонителями, да напастниками пусть тешится... Конечно, не довлеет пресвитеру желать зла ближнему, но грешен душой... и в сих деяних вижу возмездие и реку: коемуждо по делом его!

— Ох, грешен и я,— вздохнул старичок.

Олеся стояла на стороне, опершись о тын (плетень), и задумчиво глядела вдаль... До ее слуха долетели отрывки беседы... Глаза ее рассеянно глядели перед собой, куда-то дальше зеркальной глади пруда, рдевшего на закате растопленным золотом, куда-то дальше алевшего заката...

Сумерки сгущались, в углу пруда, где толпилось стеной чернолесье, клубился уже ночной мрак. Вот соловей щелкнул робко вдали... В синеве темнеющей выси блеснула едва заметною искоркой первая звездочка, а Олеся все неподвижно стояла, погруженная в волны чарующих грез, отражавшихся на ее сердце не образами, а звуками тихой мелодии...

У стола послышались какие-то возгласы... и заставили Олесю очнуться... Она подбежала и заметила новую фигуру...

— А, отец диякон! — возгласили разом и отец Михаил, и отец Семен...

— Изволением господним и рукоположением честного владыки — смиренный иерей селения Коржевец,— ответила фигура басом, приближаясь к компании.

— Высвятился?

— Сподобил господь.

— Ну так дай облобызать тебя, отче, и выпить за твое здоровье; да поможет тебе бог в новых путях твоих! — заговорил добродушно и радостно отец Михаил.

— Можно,— пробасил гость,— горло вельми пересохло.

— Пока горилочки... а может быть, и холодненького пивца с дороги? — засуетилась матушка, усаживая гостя за стол и подвигая к нему рюмки и кухли.

— Олесю! — окликнула она дочку.— Скажи-ко, сердце, чтоб дивчата внесли из погреба пивца холодного! А я на кухню...

Через несколько минут перед новоположенным стояли уже и холодное пиво в глиняном кувшине, на котором выступили светлые росинки, и яичница, и брынза, и другие домашние кушанья.

Матушка и Олеся суетились, то подсовывали, то отодвигали миски.

— Так значит, отче Иване, высвятились? — повторил отец Михаил, наполняя стакан холодным пивом.

— Соседями будем! — добавил Дерлянский-батюшка.

— Высвятился, привел господь... Да надо сказать, что пришла еще оттуда помощь, откуда никогда бы и не надеялся... воистину, пути господни неисповедимы...

— А что такое? — заинтересовались отец Михаил и отец Семен.

Новопосвященный только махнул рукой и, проглотив кусок, предварительно оглянулся кругом, а затем заявил значительно и таинственно:

— Разбойник помог.

— Что-о? — воскликнули вместе Михаил, матушка, попович, а Дерлянский только прошептал: «С нами крестная сила» — и, подняв растопыренные пальцы, отклонился в ужасе назад.

— Не пугайтесь, не пугайтесь, отцы! — продолжал прибывший.— Он хоть и разбойник, а, видно, бога в сердце имеет. Вот слушайте, как было дело. Еду я, как уже сказал, посвятиться. Еду и думаю, что с пустыми руками на такое дело поднялся... На шее у меня зашито три карбованца, но что три карбованца? Смехота! Але что ж учинишь? Так вот, еду я с грызотою (тоска,

печаль) лесом; кругом ни души; на шее у меня — скарб, в бричке — колбасы, два куска сала да две паляницы... Еду... и думаю о своих злыднях (нищенское состояние)... Как вдруг шасть кто-то из лесу, да и схватил моего коня под уздцы: казачисько с добрую сажень ростом, а одежа на нем такая панская, за поясом пистолеты дорогие, за плечом рушнычка, при боку сабля...

— Собой страшный? — перебила невольно Олеся. Она стояла у стола и с загоревшимися глазами слушала рассказ гостя.

— Как тебе сказать, панно? Конечно, коли встретить в темном лесу такого молодца, обвешанного оружием, так мурашки по всей спине побегут и ноги и руки слушаться перестанут, только лицо у него хорошее... Ну вот, говорит: «Вылезай!» Я вылез... Вылезть-то вылез, а стоять не могу,— от страха ноги подкашиваются. «Есть что съестное?» — спрашивает. «Есть, — ответствую.— Колбасы, сало и паляницы».— «Вытаскивай!» Я уж не знаю, как и вытащил. «А деньги,— говорит,— есть?» — «Есть,— реку,— три карбованца».— «Вынимай!» Распахнул я свой кафтан, стал распарывать ладонку, даже подумал, что последние это они и что не увидят дети мои бесталанные высвяченным своего отца, и так мне горько стало, что слезы сами из глаз покатились... А он смотрит на меня и говорит: «Чего ж это ты, старый, плачешь, неужто,— говорит,— так грошей шкода?» — «Ох,— застонал я,— как же не шкода!» Да и стал ему говорить о своем нищенском состоянии. Не знаю, где у меня и слова эти взялись, только все вспомнил — и житье свое бесталанное, и старость, и немощь, и убожество, и копу диток, и горький диаконский хлеб. А он слушал меня, слушал, и лицо его суровое такое стало, аж страх меня взял. «Эх, горе,— говорит,— горе, нещаслыва доле! Ну, так вот на ж тебе от меня на спомин,— и отсыпал мне в полу с полсотни карбованцев [33].— Знайте,— говорит,— что не гультяйство загнало меня в темные леса, а тяжкое горе несносимое... А душа моя за вас всех кровью исходит!» Вздохнул тяжко... Я бросился его благодарить, руки целовать. «На свет,— говорю,— народил!» А он отстраняет: «Не дякуй,— говорит,— на то и беру, чтоб вам отдавать, а вот,— усмехнулся,— за колбасу да за паляницы спасибо: здорово живот подвело!»

Рассказ нового священника произвел необычайное впечатление. Долго толковали еше по этому поводу гости. Наконец бывший диакон вспомнил, что пора ехать. Дерлянский с сыном, ободренные рассказом отца Ивана, а главное тем, что ехать им приходилось по одной дороге, решили отправиться в путь, тем более, что и месяц должен был скоро взойти...

Через полчаса в усадьбе батюшки все угомонилось и благословилось на сон.

Как хмельная, вошла Олеся в свою маленькую светличку и опустилась на постель; в задумчивости своей она не заметила старой бабы, уже поджидавшей ее. В крошечной светличке, половину которой занимала громадная кровать с высоко взбитыми подушками, пахло яблоками и сухими душистыми травами... У образов теплилась лампадка. Оконце было открыто, и в него заглядывали ветви сирени с только что начинавшими распускаться гроздьями своих нежных ароматных цветов. Сумерки уже наполняли светелку, но стены ее еще слабо белели. Все в этом маленьком уголке дышало простотой и чистотой душевной. Олеся уронила руки на колени и повернула голову к окну...

— Что это с тобой, дытыно? — прошептала баба, дотрагиваясь до плеча своей питомицы.— Уж не сглазил ли кто?

При этом вопросе старухи Олеся вздрогнула и перевела свой взгляд на ее лицо.

— Утомилась, няня,— ответила она.

— Еще бы, еще бы,— проворчала старуха.— Дай же я тебя раздену, да уложу, да прикрою, и то пора... Сонечко давно уже село.

Олеся беспрекословно дала себя раздеть и уложить в постель...

— Сядь тут, нянечко,— произнесла она, отодвигая в сторону ноги.

— Сказочку рассказать? — усмехнулась старушка, присаживаясь на край постели.

— Нет... а знаешь что? Ты ничего не слышала еще про того разбойника, про которого рассказывал отец Иван?

— Как не слыхать, слыхала!.. О нем все люди кругом говорят...

— Кто ж он есть такой, няня, не знаешь?

Старуха оглянулась на дверь и прошептала таинственно, наклоняясь к самому уху Олеси:

— Говорят люди, что родом он не издалека, с Головчинцев над Ровом, а зовут его Кармелюком.

— Кармелюком...— повторила задумчиво Олеся.— А ты не видела его, няня?

— Я? Нет. Куда мне: я и до церкви едва долезу, а люди говорят, что хорош лицом, солнца краше. Так и сияет... золотом и серебром...

— Няня, а зачем же он в разбойники пошел? Отчего?

— Кто его знает, дытыно!.. Говорят, у него горе какое-то тяжелое приключилось,— ну, и кинулся от напастников в пущи, в леса.

— Горе, да, горе тяжкое, невыносимое,— прошептала Олеся и подавила тихий вздох.

— Только он крови людской даром не льет и хлопцам своим никого обижать не позволяет. Какое у кого горе есть,— прямо к нему иди,— поможет, только не обмануй, а обманешь,— ну, тогда на себя пеняй! И никто от его рук не уйдет — ни жид, ни эконом, ни самый наивельможный пан. Все от одного его имени трясутся как осиновые листья...

— Няня, а откуда же он такую силу взял? — перебила ее Олеся.

— Откуда? Говорят, что он волшебник! Есть у него такая разрыв-трава. Запрись ты хоть и на сто замков, а дотронется он только этою травой до замка — и всякий замок упадет, всякая дверь откроется...

И нянька принялась рассказывать о подвигах Кармелюка, сплетая в чудный узор героическую действительность с волшебною сказочною красотой.

Опершись локтем на подушку, слушала Олеся рассказ старухи... Рукав ее сорочки спустился до локтя и обнаружил тонкую, почти детскую руку; темные косы спустились двумя тяжелыми прядями на грудь; прелестная головка ее была обращена к окну, и слабый отблеск уже тускнеющего неба еле освещал темные карие глаза девушки, задумчиво устремленные вдаль... Под тихий шепот няни в воображении ее рисовалась статная фигура рыцаря-красавца, спасающего бедных, попирающего сильных, дерзких и богатых. То она видела его в пылу нападения на врагов — прекрасного, отваж-

ного, бесстрашного, озаренного пылающим огнем; то он представлялся ей в чаще лесной — печальный, одинокий, изнывающий под тяжестью горя...

В открытое окно лился благоухающий воздух... Доносилась издали едва уловимая трель соловья... Сквозь прозрачные ветви сирени просвечивали бледно-зеленые полосы вечернего неба... Какая-то сладкая тоска веяла от этого угасающего света и тихо вливалась в сердце Олеси, и чем больше вливалась она, тем ярче вырезывался перед девушкой чудный образ неведомого рыцаря-героя, тем страстнее манило ее снять с него тяжесть страшного горя, припасть к его рукам, облить их слезами, развеять его тоску.

X

В начале XIX столетия вся северная часть Подольской губернии, вплоть до южной части Староконстантиновского уезда Волынской, была покрыта дремучими лесами и топями; последние сопровождали течение реки Рова с притоками Гниличем и Гванькой. Непроходимые дебри, непролазные болота гнездились особенно в местности, где соприкасаются границы трех уездов: Летичевского, Литинского и Могилевского, и у Черного острова; проложенный по этим пущам шлях носил название Черного. Сам он, этот шлях, был страшно труден и опасен, а отклонение от него в сторону непременно заводило путника в какое-либо пекло; в районе этих трущоб и лежали села — Головчинцы, Гатня, Деражня, Красиловка, Овсянники, Гуты — и мелкие хутора, которым придется играть видную роль в нашем рассказе.

В узком овраге, словно в трещине, закрытой стенами яворов, берестов, грабов, сплетавших своими вершинами сплошной купол, чернела под нависшими двумя камнями пещера. Самая трещина образовалась от истоков ближайшего плеса и прорезывала небольшое возвышение, окруженное непролазным болотом. К этому островку, носившему название Чертовой выспы *, вела тропинка, проложенная через трясину и известная лишь немногим. Впрочем, даже при открытии этой тропы ее

* Виспа — острів.

могли защищать два человека против тысячи, а потому овраг и пещера могли смело считаться недоступными.

Было уже позднее утро, но в овраге, а особенно в пещере лежал еще ночной мрак. Сквозь густую кровлю ветвей свет проникал слабо в извилистые щели оврага, теряясь зеленоватыми отблесками в волнах тумана; последний косматыми хлопьями полз по мокрому дну и вырывался вверх, цепляясь за выступы камней и обнаженных корней. В черной дыре, расширявшейся вглубь, лениво колыхался огонек догоравшего костра, освещая умиравшими бликами двух лежавших вооруженных мужчин; они, видимо, наслаждались теплом, так как в этом таинственном убежище было сыро и холодно. Один из лежавших был уже более чем средних лет и напоминал типичного старого солдата. Торчавшие на голове его беспорядочной кучкой волосы все еще хранили следы низкой стрижки, а на заросшей щетиною бороде еще возвышались кустами прежние бакенбарды. Серо-грязный цвет волос выделял загоревшее, обветренное лицо этого обитателя мрачной пещеры, и темно-бронзовый тон его казался в полутьме почти черным; глубокая складка, лежавшая между надвинутых широких бровей, придавала выражению лица угрюмую дикость, которую усиливали сверкавшие злым огоньком на красновато-желтых белках зрачки. Одет он был в простой крестьянский костюм; только за поясом у него торчала пара кремневых пистолетов да болтался в кожаных ножнах длинный нож.

Товарищ его представлял во всем полную противоположность. Во-первых, он был молод, красив, статен; во-вторых, в тонких чертах его лица и в выражении прекрасных глаз светились благородство и гордость; в-третьих, он одет был в изящный шляхетский костюм и вооружен был ценным оружием, начиная с богатой кривули, да и вообще во всей фигуре его проглядывало шляхетство.

— Ну что, Янко,— прервал наконец молчание старший,— давай хоть покурим, а то здорово брюхо подводит и под сердцем сосет.

Янко,— это был наш Кармелюк,— молча подал своему товарищу кисет с табаком.

— Да, братец, фуражировка сплошала,— продолжал старший,— а позиция тобой выбрана важная: и в

самом центре, и никакой дьявол не слопает; кабы их навалило эскадрон целый али два, так мы с тобой перетопили бы всех их, и баста! С Винницы как двинулись, было точно опасно: супостат и неприятель кругом, а у нас ни авангарда, ни прикрытия... Спасибо еще народу, что укрывал...

— Народ здесь золото,— прервал Янко,— только задавлен поляками, да жидами, да экономами, а то бы...

— Народ важный, это верно! — согласился товарищ.— Я вот и говорю, что кабы не он, так нас бы взяли в ретраншементы... * А теперь, как добрели до пекла, так точно у Христа за пазухой...

— Да ты объяснил ли толково товарищам, где наше пристанище? — спросил досадливым тоном Янко.

— Аккуратнейшим манером зарубил им, да и за пролазом поставил двух вартовых, чтоб провели своих и сторожили бы Черный шлях на всякий случай, не попадется ли кто толстобрюхий... Рудый, Кот и Лушня отправились на хутора добыть что-нибудь для зубов да и клич кликнуть.

— Знаю... Да отчего до сих пор нет их? Не попались ли в руки панам?

— Не таковские... Под Винницей как напал на Андрея Лушню эконом с целым десятком челяди, так он схватил оглоблю да так и прочистил себе вылазку... Как махнет, что косой,— так двое и шкереберть! Я к нему было на помощь, а он кричит: «Не беспокойтесь, дяденька, я и сам!»

— Андрей славный хлопец... дужий и щырый.

— Да и Рудый тоже подойдет под хронт... Пристал к нам из Литвы... Не отстает, как собака... А хорошие тоже были места там по Припяти — важные! И воды, и рыбы, и всякой дичи — приволье! Ребят бы можно было подобрать ловких, девок тоже, да лодочку быстролетную: грабь суда панские да купецкие — и малина! Так тебя вот, камрад, тянуло все в этот край.

— А разве здесь не лучше?

— Что и говорить... Сторонушка расчудесная, только вот спряту супроти тамошнего не густо... народу

* Ретраншемент — вал, окіп для захисту. Тут вжито в значенні в'язниці, підземелля.

до пропасти, глаз как на смотру... а наше дело ведь скрытное.

— Помни, друже, что наше дело только до часу,— заметил серьезно Янко,— и ты мне дал слово, что достанешь паспорты и проведешь за кордон, как только я снаряжу жинку, детей...

— Помню, брат, помню... и вот тебе солдатская рука, что сдержу свой пароль... Только торопиться-то не к чему... Погуляем и здесь, карманы набьем... С пустыми, бра, карманами, что с порожним брюхом,— ни в дорогу, ни к богу!

— Да мы и то из-за этих карманов колесим третий месяц, а я не добреду все до семьи...

— Добредешь и со своими супостатами расквитаешься. Только потерпи; терпел в нашей муштре три года, так недели три — наплевать!

— Что ты? Мало еще муки?!

— Мало! Вот перед утеком была...

— Это когда тебя схватили на краже? — уязвил Янко.

— Нет, когда тебя, Янко, накрыл командир,— отпарировал Дмитро Гнида,— так там могла быть точно что мука...

При этом намеке лицо Янка вспыхнуло густым румянцем; какое-то неприятное ощущение взволновало его кровь и усилило гнездившуюся досаду... Но он вскоре овладел собой, вздохнув глубоко, и без раздражения ответил:

— Нет, друже,— не в каре была мука, а в том, что на чужбине находился, вдали от своих любых селян, от родной семьи, от этих ясеней, грабов и от этого синего неба... с этой мукой никакие твои шпицрутены не сравняются...

— Го! Не говори, братец; ты еще их не пробовал, а как попробуешь, не то еще запоешь! Моя вот спина изведала этот барабанный бой,— так не пондравился, да так не пондравился, что, кажись, на расстрел бы лучше пристал,— по крайности, скоро и аккуратно...

— Неужели же подыхать будем с голоду? — прервал Янко солдата.— Пойди-ка, Дмитро, да расспроси вартовых... Нужно куда-нибудь трогаться на подножный, пока ноги носят, не пропадать же лежа...

— На рекогносцировку почему не пойти, а бросать

такую неприступную, можно сказать, крепость не след. Провизии притащу сюда, товарищей тебе подберу, и станем такие вылазки проделывать, что калина-малина, ягода червона... Я тебе всего раздобуду, пане атамане...

— Раздобудь сперва хоть кусок хлеба.

— Это точно... Я вот сейчас наведу справку... а потом загуляем во как!.. Я вот твою пани накрою...

— Ну ее! — махнул презрительно рукою Янко.

— Что ты? Богатая и негодяйка... Для че было и записку писать?

— Для того, чтоб мучилась страхом... и для отводу... а чем дольше она будет муку терпеть, тем моему сердцу отрадней... да и, кроме всего, прежде я хочу увидеть семью...

— Как знаешь... а на разведку я зараз.— И он быстро зашагал вверх по оврагу.

Янко лег на живот и, опершись на локти, сдавил голову руками и уставился на груду алевших углей, вокруг которых вились еще тоненькие синенькие змейки. Вся пещера наполнялась теперь голубым полусветом, врывавшимся и во вход с оврага, и сверху через трещины и щели между надвинутых одна на другую каменных плит. Теперь уже можно было заметить, что свод пещеры повышался внутри и сама она расширялась в глубине, делясь на два-три рукава, черневших своими ходами; в закоулках главного отделения виднелись кучи разной одежды, оружия и ценных вещей. Среди царившей вокруг тишины доносились в пещеру тихое, монотонное журчанье ручья да торопливый стук дятла, то затихавший, то поднимавшийся с новой энергией.

Но Янко этих звуков не слышал; он глубоко задумался и утонул в воспоминаниях прошлого. Прием, мера, лоб, казармы, пестрая чужая толпа и бесконечная дорога, удалявшая от любого края, от дорогих сердцу людей в темную, непросветную глушь,— все это слилось в его сердце в сплошную тупую тоску, в какой-то протяжный, нескончаемый стон, и теперь сжимавший его сердце до боли... А потом, потом... начались — муштра, унижения... Пан и эконом сменились вахмистрами, корнетами, эскадронными, да издевался и свой брат, смотревший на хохла, на мазепу, или насмешливо, или злобно...

«Да, не будь там земляка Гниды,— пронеслось в мыслях Янко,— не подружись он с ним, то пропал бы наверное... а потом еще посчастливилось ему выйти из рядовых на другие должности... И Дмитро помог,— вспомнил он,— тому слово, тому два... Хоть и не совсем близким земляком был он — из Полтавщины,— а все-таки своим братом».

Все испытали, конечно, на своей шкуре прелести кулака, каблуков, заушения, а то и приклада — педагогических пособий при муштре; но Гнида один среди всех вытерпел еще издевательства над хохлацкой рожей и мазепинской речью,— и вот почувствовал сострадание к новичку и стал за него заступаться. Сиротливое сердце Янка откликнулось сразу на доброе чувство Гниды и отплатило ему искренней дружбой. Стало с кем перекинуться Янку щырым словом, поделиться своей безысходной тоской — и на душе у него просветлело.

Гнида хотя уже и привык говорить по-казенному, а все еще не забыл понимать родную речь и выслушивал жалобы Кармелюка со снисхождением и сочувствием. Раз, когда невтерпеж стало от оскорблений и от грызущей тоски, Янко заявил своему товарищу, под наплывом отчаяния, что он наложит на себя руки, избив предварительно вахмистра...

— И дуря, бра, будешь,— всполошился Дмитро,— из-за собаки паковать душу нет авантажа... * А если тебя припекло до живых печенок и нудьга одолела, так удирай в свою сторону — и шабаш!.. Ну, придется там хорониться — неважно, а попадешься, так хоть погуляешь. А там: семь бед — один ответ!.. Да и от ответа можно удрать, лишь бы деньги... а коли уж совсем дело выйдет бей дроби, тогда, в крайности, можно и отправить себя в дальний маршрут... только уж напоследок, не иначе... Я ведь сам попробовал дезертировать и шпицрутены за это попробовал, а все же дурости над собой не съегорил... и еще охоту имею погулять на вольной воле, на раздолье...

— Брате мой, друже мой! — обнял его с криком Янко и весь затрепетал от охватившей его надежды.

Эта надежда воскресила Янка, и приятели потом часто толковали о способах побега, передавая друг другу

* Вигоди, користі.

сведения о разных краях, о порядках в них и о своих палестинах.

Гнида оказался сиротой; он уже пятнадцатый год тянул лямку в уланах; в Полтавщине не оставалось у него ни родных, ни друзей; кроме того, родина его — Кременчугский уезд был безлесен, да и Дмитро мало его знал; Янку же Подолия, а особенно три смежных с его пепелищем уезда были отлично знакомы, и эта местность представляла все удобства для укрывательства... потому-то Янко и склонил Гниду бежать вместе с ним в свой родной край, но Дмитро, наученный опытом, откладывал побег до более удобной стоянки полка и до скопления запаса деньжат.

Янко уже теперь мог ждать терпеливо: его согревала надежда и побуждала к лихорадочной предприимчивости насчет добычи металла, притупляя горечь обид. Но чем Янко как солдат мог заработать? Ремесла, к несчастью, он не знал, а свои общие сведения и развитие не мог применить к делу... И он с лихорадочным стремлением стал изучать русский язык: добывал через Дмитра разные буквари, книжки, долбил их по ночам, так как подобного рода стремления тогда не поощрялись... и таки одолел: способности у него были недюжинные, с книжкой обращаться он был приучен с детства, и ничего не было удивительного, что он в сравнительно короткое время выучился по-русски и бегло читать; разговорная речь усваивалась сама собой.

Об его занятиях все-таки было осведомлено ближайшее начальство, и он был взят ротмистром из строевой службы к себе в денщики с присоединением к этой должности и писарских обязанностей. Положение Кармелюка облегчилось. Хотя, конечно, и от ротмистра приходилось иногда съесть зуботычину под пьяную руку, но Янко сумел расположить к себе его благородие, выручая его советами, знаниями не раз из беды; впоследствии он даже подчинил незаметно своему влиянию начальство.

Кармелюк с некоторою гордостью оглянулся вокруг. Лежавший перед ним овраг теперь был залит весь изумрудным светом, а по обрывам пестрели золотые пятна; в темном корыте дна по камешкам сверкал переливами перламутра едва журчащий ручей, а у

бережка его, шагах в пяти от Кармелюка, беззаботно погружала прилетевшая горлинка свою головку в прозрачную воду и отряхивала светлые брызги на свои красивые желтовато-пестрые перышки... Первым побуждением у Янка было убить нежданную гостью, зажарить ее на углях, утолить хоть немного мучительный голод, но он остановил руку, протянувшуюся было к ружью: ему стало жаль невинного созданьица, предавшегося так беззаботно радостям жизни... Мысли его снова перенеслись в прошлое...

Вот он у ротмистра откормился, оправился, принарядился, и снова все стали его называть красавцем. И горничные, и девушки-мещаночки, и купеческие жены засматривались, краснея, на белокурого, румяного, с чудными глазами писаря-франта, да и он уже отвечал теперь задорною улыбкой на пылкие взгляды. Молодость, избыток сил и походная этика давали ему право на это: глубокой любви к своей жене он не терял, а от временных утех было нелепо отказываться... Так, по крайней мере, думают многие...

Так прошел еще год. Кармелюк писал довольно часто своим, но оттуда редко получались ответы, да и последние были так изложены сельским писарем [34],— вероятно, дьячком, — что трудно было понять из них, как живет семья. На третий год только в последнем письме проскользнуло, что управляющий угнетает его жену.

Это известие возмутило до бешенства Кармелюка, и он хотел было сам уйти из полка и защитить семью свою от напастника, но Дмитро удержал его, обещая бежать с ним вскоре, когда полк снимется с места. Вскоре действительно передвинули его к Мурому, и осуществление надежд стало очевидным.

На новом месте все бы пошло хорошо, но, на беду, воззрилась на него жена командира и заставила мужа взять Янка в эскадронные писаря. Конечно, эта должность была большим повышением и открывала для честолюбия Кармелюка перспективы; но расположение и покровительство пани командирши становилось опасным... Янко помнил уже такое покровительство, окончившееся для него страшным ударом...

Вдали послышался слабый свист. Янко вздрогнул и насторожился...

XI

Долго ждал Янко: ни свист, ни условленный крик не повторились,— и он решил, что это ему почудилось с голоду. Повернувшись на бок, Янко набил табаком люльку и затянулся едким, одуряющим дымом; в голове у него словно лег туман и под ложечкой сосать перестало...

«Хе-хе! Командирша! — усмехнулся он.— Черт, а не баба!.. Неугасимое пекло — и квита!..»

Уж как он с ней был, из осторожности, почтительно сух, чтоб ни-ни... и то не помогло! Судьба ли загадочного солдата заинтересовала ее, или с жиру взбесилась, а стала цепляться с любовью своей, как репейник: сначала покровительство, потом материнское сострадание, дальше нежность сестры, а там... Янко тряхнул головой и почесал крепко затылок... Приглашать стала к обеду, в гости водить... Командир морщился, но командирша управляла полком,— и все стали с ним обращаться, как с благородным, как с равным... Янко очутился на краю пропасти, между двух огней; спасенья не было, или, лучше сказать,— спасенье было в одном бегстве; но Гнида и теперь не был готов: ему нужно было недельку сроку, чтоб оборудовать одно дельце... Между тем тоска по родине и по семье доросла у Кармелюка до последнего предела; различные грешки, несмотря на военную философию, все-таки впивались ему в сердце, словно клещи, и зудили подчас его совесть; это неприятное ощущение вызывало со дна души прежнее чистое чувство, и оно вопило и влекло его душу стряхнуть этот грязный нанос и увидеть во что бы то ни стало свой край, обнять дорогую жену, деток, особенно старшего сына... Кармелюк заявил своему товарищу, что он дольше недели ждать не станет.

А дня через два донеслась сплетня до командира, и Кармелюк вынужден был моментально бежать — благо, что была ночь. Он бросился к Гниде, но вдруг в одном переулке натолкнулся на такую сцену: его товарища вели два солдата, и руки у Гниды были скручены за спиной...

— Пустите, братцы,— молил жалобно связанный,— не губите душу христианскую... Ведь меня за воровство со взломом поведут зеленой улицей... под шпицрутены...

не шкуру, а душу выбьют... Не берите, братцы, на себя в том греха... Нате вот деньги, поделитесь... а меня пустите... Свидетелей нет...

— А нас за воров сочтут, дьявол! — огрызнулся старший.

— Только что точно... стало быть... отобьют ему мясо от кости,— вставил нерешительно младший...

— Поделом вору и мука!

— Да я, братцы, удеру... Вот только пустите... и след простынет... Ну, на меня и подозрение... а вы ни при чем... Ведь никто, окромя вас, не застал... ну и крышка...

— А потом, как поймают, так ты и выдашь! — колебался уже, видимо, старший.

— Да чтоб я удавился, коли вас выдам! Не погубите, братцы родные! Ой, тоска меня берет!.. Смерть моя!

Янко словно слышит снова эту мольбу, и сердце у него и теперь разрывается. Вдали почуялся ему не то лай собак, не то крик... Ждать было невозможно: прибежит всполошившийся люд, и приятель, его единственная опора, погибнет...

Забыв свое отчаянное положение, Кармелюк внезапно бросился из засады, как тигр, и, в два удара опрокинув конвойных, в один миг перерезал веревку Дмитру; схватившись за руки, они бросились наутек... Темная ночь способствовала бегству, а к рассвету они были уже в дремучих лесах...

Янко отер рукавом капли холодного пота, выступившие у него на лбу при этом воспоминании, и стал прислушиваться: ему почудился отдаленный свист, долетевший до него неясной волной.

Он приподнялся на локте и затаил дыхание... и вдруг услыхал неожиданно, что в самом овраге, близко от пещеры, раздались явственно шаги, и не одного человека, а двух или трех.

Кармелюк схватился на ноги, взвел курки на своих пистолях, поправил саблю, нащупал кинжал и стал ждать...

По оврагу побежали ко входу пещеры колеблющиеся тени, и через минуту выросли перед ним три фигуры. В первой Кармелюк узнал своего побратыма Дмитра и, успокоившись, засунул пистоли за пояс; второй был тоже свой человек — один из вартовых при Черто-

вой выспе, Андрий, а третий был совершенно Янку незнаком.

— Пане атамане! — крикнул Гнида в пещеру.— А мы тебе гостя привели... Уж так хотелось ему увидеть Кармелюка, что даже парою коней и бричкою подвернул к нашим аванпостам...

— Ой!.. Дни живота моего... аки дым! — лепетал одеревенелым языком приведенный юноша, стараясь тщетно вырваться из железных лап своих спутников.

— Ха, рады дорогому гостю,— произнес приветливо Кармелюк, выходя, низко согнувшись, из своего убежища.

— О, me miserum *,— возопил потерявший рассудок пленный, повалясь атаману в ноги.— Млад есть... едва из чрева матери изидох... Ни коемуждо зла сотворихом, окромя Гапки... А про Марину — брехня!.. Пощади и помилуй блудного сына... хоть иерейства ради, domine ** мой!

— Ха-ха! Здорово просит пардону... с подходцей, а душа, видно, в пятках! — расхохотался Дмитро. Вартовой только мотнул и, налегши руками на кий, подобострастно уставился на атамана.

— Да успокойся, панычу! — начал было Янко.

— Non sum паныч, sed попович ***,— перебил его пленный.— Это только сверху... Красоты и прельщения ради... для Евина рода...— оправдывался дрожащим голосом пленный, боясь, чтобы звание паныча не повлекло за собой страшной мести разбойника, прославленного уже ненавистью к панам.

— Попович? Тем лучше! Только уж не католик ли, что закидываешь все по-латыни? — улыбнулся Янко.

— Триепостасью **** клянусь! — поднял попович к небу правую руку.— Иже поповского колена есть от деда и прадеда... из Кальной Деражни...[35] И прозываюсь, аки и панотец мой,— Дерлянским.

Это действительно был тот самый попович, что заезжал со своим батьком к отцу Стопневичу [36] в Деражню. Но, боже мой, его едва можно было узнать: франтовская либерия была теперь изорвана в куски, шипы

* О, я нещасний *(лат.)*.

** Пан *(лат.)*.

*** Не панич, але попович.

**** Тобто богом, святою трійцею.

дикого терна и жимолости торчали из дыр и прорех; фалды ее и все шаровары были в комьях грязи и зеленой ряски; оторванная часть камзолика болталась, как разбитая дверь на петле; остатки шелкового красного платка вились вокруг шеи лохмотьями; волосы, украшенные обрывками болотных растений, стояли копною; руки и лицо чернели в пятнах грязи; черты лица были искажены ужасом, расширенные глаза смотрели безумно, а черные на щеках пятна еще более выделяли страшную бледность лица... Попович напоминал сорвавшегося с цепи безумца.

— Да встань же, domine, чего страшишься? Мы ведь не звери, и я своего брата не то что не обижу, а и другим в обиду не дам... Пустите его, братцы, он не уйдет.

— Какое! — возразил Дмитро.— Вон и вартовой рассказывает, что как только осадили бричку, так он в одну минуту с нее через голову — и показал тыл... Гнат бросился в погоню, а супостат — в чагары, порвал на себе обмундирование, а продрался-таки до болота и там уже по пояс загруз... там его и заполонили.

— Эге, батьку,— подтвердил вартовой.

— Да и дорогою пытался стрекача дать.

— Ну, отсюда если бы и хотел, то дорогу найдет разве в пекло,— заметил атаман.

— Если вельможный пан...

— Не пан, а атаман,— поправил Дмитро.

— Если вельможный атаман,— продолжал несколько оправившийся попович,— имеет беневоленцию... и даст упование на невредимость моего тела и живота, то я потщусь не тикать.— Он встал, отряхнулся, отер на руках и на щеках засохшую грязь, пригладил пятерней свою кучму и более осмысленным взглядом оглянулся кругом.

— Как ты попал нашим в руки? — спросил Янко.— Да присядь, ты едва стоишь на ногах...

— Страха ради иудейска,— ответил, тяжело отдуваясь, попович и опустился на торчавший перед ним пень.— Я с родителем ехал в бричке на паре, а за нами в одноконной беде трусился отец диакон... А пробирались мы в Бар... Батько меня вез, чтобы снова утвердить в семинарии, зане изгнан бех и извержен! — вздох-

нул он и вытер грязною рукой выступивший на лбу пот, размазав по всему лицу черные пятна.

Это вызвало у атамана и у его товарища веселый взрыв смеха; но вартовой, саженного роста и атлетического сложения, смотрел равнодушно и словно ждал приказаний атамана.

— Несть, полагаю, ни образа, ни подобия? — рассмеялся в свою очередь попович.— Но пыка черна — душа била! Так аз и глаголю: доехали мы до Краснопольской корчмы... Там нас зело настрашили... Мы выхватились при восстании солнца, дабы достигнуть Волковинец до заката светила; доезжаем до Чертовой выспы, а отец диакон и рече, что он знает стезю, по коковой может обогнуть сие диявольское седалище, но что двоим коням и бричке влектись невозможно... Посему родитель мой, одолеваемый духом уныния, пересел к диакону, а меня, вышерекомого сына, заставил ехать Черным шляхом... И едва я направил колесницу на оный путь, как поднялись на меня вражие силы, настигли и одолели!..

— Батюшка и дьякон тоже не минуют наших, так нужно оповестить, чтоб не было им беспокойства,— заметил Янко Гниде,— а если не выедут, то осмотреть стежку, чтоб вывесть их на певный шлях; да к ним проводить и поповича... А что, не нашли ли чего в бричке? — обратился он к вартовому.

— Не оглядали, батьку,— ответил тот почтительно.

— Там ничего же не обретается, ей-ей! — встревожился как-то попович.— Окромя харчей...

— Их-то нам и треба! — вскрикнул атаман.— Три дня ни у меня, ни у товарищей роски во рту не было... А что там у тебя припасено, пане поповичу?

— Для нас с панотцом на дорогу паляниц штук десять, сала от свойского вепря шматков пять добрых да вяленой piscis taranii с полкопы *, а решта аки приношение для умилостивления синедриона **.

— А что для синедриона? — полюбопытствовал Кармелюк.

— Для оного пернатых, сиречь гусок и гусаков присоленных, зело смачных,— десяток, качек, именуе-

---

* Тарані штук 30.

** Суду. Тут в значенні керівництва семінарії.

мых такожде утицами, весьма упитанных и присмаженных дымом,— два десятка..

— Важно лепортует, волк его зарежь! — заметил Дмитро и провел рукою по усам и по затерявшимся в зарослях бакенбардам. Вартовой только сплюнул и отвернулся. Сам Янко пожирал глазами докладчика и глотал слюну.

— Ну, масла еще свежего око (три фунта) да просольного дижечка,— продолжал попович,— кукурузы галетка (четверик), чечевицы — галетка, борошна гречаного и пшеничного по мешку да крупы разной четыре вместилища.

— Клад, целый клад! — воскликнул Янко.

— Фуражу, стало быть, магазин... Облопаться можно,— вставил Дмитро.

— Ну, как хочешь, попенко, а мы у тебя эти синедрионские приношения заберем... Хоть заплатим, а заберем. Бо голод — не тетка,— решил атаман.

— И отлично! — обрадовался попович.— Ибо без приношений батюшка не сунется в бурсу, а возвратится вспять — и мне облегчится бремя... Единое токмо, чтобы ведомо ему стало, что дань взята паном атаманом, а не пропита мною в шинке, зане последнего не одобряет родитель.

— Не одобряет? — удивился Янко и приказал вартовому: — Сейчас же доставить сюда весь провиант... Да оповестить свободных людей, чтоб поспешили к нам на завтрак...

— Да прихвати и бочонок солдатских слез, что, сказывали, раздобыли наши у жида,— добавил Гнида.

Через час все было спрятано в атаманской пещере, а на завтрак оставлено лишь пять паляниц, да два увесистых куска сала, да тарани с десяток... Конечно, и водки бочонок, который взял под свою опеку Дмитро.

С вартовым пришло еще три крестьянина. Всем было роздано по ровному куску сала, по четверти паляницы и по тарани, а также поднесено по фелижанке водки. Фелижанку эту,— просто старинную высокую чайную чашку,— облюбовал Дмитро у какого-то пана эконома и прихватил с собой для дорожной потребы; она и служила всегда за чарку Хоть и есть поговорка, что по первой не закусывают, но наши, голодные, не до-

жидая второй, накинулись с лихорадочной жадностью на хлеб и на сало... Глаза горели у всех хищным огнем, бледные лица оживились краской... и среди общего молчания только и слышались учащенные вздохи да жваканье...

Попович и до возвращения вартового был уже совершенно спокоен и, освоившись с компанией, стал даже рассказывать бурсацкие анекдоты, а теперь, подкрепившись оковитой и таранью после переполоха, чувствовал себя прекрасно и мимикой обнаруживал веселье и радость. Когда поднесли ему вторую фелижанку, то он уже к ней произнес приличные стихи:

Аква вита створена с жита;
Кто тя добре ковтае,
Той сладость в нутру ощущае,
Да еще добавить мушу (должен),
Что веселит она душу...
О, да будем чтить того вовеки,
Кто счастливил тобой человеки...
Абысь же ведала свою межу,
Так полезай в мою вежу (тюрьму)!

И он при последнем слове опрокинул фелижанку в рот.

Дружный взрыв хохота и одобрений поддержал приветствие бурсака.

— Вот так ловко отбарабанил! — вскрикнул Дмитро.— И манерку опрокинул в рот хвацки... Молодчина, люблю таких! — И он потрепал развернувшегося поповича по плечу.

— И мне твой веселый нрав понравился,— улыбнулся атаман.

— Я, пане атамане, и воспеть все могу гласом велиим! — хвастался уже подвыпивший попович: две фелижанки оковитой стали его разбирать.— Если бы гитара, а то еще лепее — торбан... Эх, спел бы «Et sonat, et tonat, pulveum-que colbum dat» *.

— Молодец, дуй тебя горой! — подбодрял Гнида, и вся остальная компания подхватила тоже: — Молодец, ловко!

— Вот раздобуду где торбан, так я тебе ударю на струнах! — вставил Кармелюк.

---

* Переведенная бурсаками по-латыни народная песня «И шумит, и гудет, дробен дождик идет...», *(Прим. автора)*.

— О, возвеселюсь в он час, а сиему времени сущу, я возмогу без тимпанов и гуслей возопить тако...

И попович звонким, забористым тенором запел комическую песенку.

Чем дальше он пел, тем более увлекался, жестикулировал и ускорял темп... Наконец попович, ускорив темп до казачка, подобрал фалды своей либерии, ударил сам гопака и пошел вывертак; компанией овладело безумие: все стали подпевать, подкрикивать, подсвистывать в такт и ржать от восторга.

— Жги! Сади! Режь!! — вопил, притопывая ногами, Дмитро.— У, шельма! Бей каблуками, каналья! Откалывай! Забирай, забирай! Ах, чтоб тебя... Так да перетак!

— Молодец, ловко! — разгорелся и Янко, забыв свою тугу.

Только выбившись совершенно из сил, прекратил бешеный танец попович и распластался, при восторженных криках, чуть ли не на русле ручья.

Время близилось к полудню, и яркое весеннее солнце начинало уже припекать. Издали долетел крик совы.

— Не твоего ли панотца там накрыли? Так нужно поспешить тебе к коням, чтобы от тревоги не пропал,— обратился к поповичу Янко.

Последний привстал, все еще учащенно дыша, окинул всех опечаленным взором и стал с досадой чесать затылок.

— Спасибо тебе, попенко,— заговорил атаман,— за твой веселый нрав и за доставленную нам утеху в нашей бродяжной жизни. Прятаться от людей мало радости... словно дикие звери... Да и сопутники наши — лишь нудьга да грызота; так и за минуту смеха — спасибо! А батьку передай от меня, что по великой нужде я забрал его харч... и что конечне я за нее заплачу с чохом (излишком).

— Эх, пане атамане! — воскликнул искренне тронутый приемом попович.— Разносят про тебя много страхов, а только такого человека, такой души и не видано!.. Да и вы все, братцы, полюбились мне... Вот словно бы в родной семье очутился... Приймите меня, братие, в свой собор,— взмолился он снова комично,—

послушником буду и паки и паки реку, все убо сотворю, что накажет атаман, и живот положу за вашего батька и за вас, товарыство!

— Примем! Оставайся, згода! — послышались сочувственные отклики.

— Люб ты мне тоже, попонько, и дело бы тебе здесь нашлось,— отозвался вдумчиво Кармелюк,— а оставить тебя не выпадает: негоже и сыну супроти батька идти, да и нам потворствовать тому грех... А вот когда ты станешь, так или сяк, на своей уже воле, то тогда милости просим. А теперь пока прощай! — И он обнял опечаленного поповича.

Все молча согласились с мудрым наказом атамана и пошли провожать веселого гостя.

Остались только Янко, Дмитро да Андрей.

XII

— Славную я тебе, атамане, разведку принес,— начал Дмитро, когда замолкли шаги ушедших.— Перво-наперво — подкрепления к нам идут... и с хуторов, и с Красноселки... Стало быть, резервы пополним... А другое — фуражировка ловко сошла: провиант раздобыли. А третье — выискался жид Лейба. Корчма его на Черном шляху... Он, шельма, берется всякий живой и мертвый товар скупать. Ну, знамо дело, наживать сам будет здорово, а все ж для нашего дела лафа. Так вот, теперь смело можно в атаку и знатную добычу хватить... да и гульнуть здорово...

— Эх, брате, ты все про гульню,— заметил с укором Кармелюк,— а про мое горе у тебя и думки нет! Ведь вот лишь десять миль, не больше, разлучают меня с семьей, а ты вновь на добычу!

— Мы и ударим в твои края — сорвать долг с собак...

— Прежде всего семью выручить, а не дразнить собак...

— Да коли эти собаки и загрызли твою семью...

— Как? — схватился на ноги Кармелюк и уставился вспыхнувшими гневом глазами на товарища.

— Да так,— продолжал резко Дмитро.— Энта самая пани, что ты не ублаготворил сдуру, так она мало

что тебя упекла, а хотела было еще купить и твою семью для изводу,— так точно... Вот его спроси!

— Правда, батька родный! — подтвердил Андрей.— Я и прежде слыхал, а теперь селянин из тех краев прибыл, рассказывает, что пани закатувала людей... Гинуть все... что будто, как не удалось ей закупить батьковскую семью, так она давай подкупать управителя на месть... А тот ведь и сам зверюка...

— Ну, что скажешь? Еще писульки станешь писать? — язвительно вставил Дмитро.

— А!! — застонал Янко, вцепившись руками в свои роскошные кудри.— Гадюка! Змея! Нет, пора ей вырвать ядовитое жало... Зараз лечу... и раздавлю! Ты оставайся здесь... А я... ни минуты!

— Батьку! Возьми меня! — взмолился Андрей.

— Нет, никого не поведу на убой — там настоящая крепость. А здесь ты мне нужен.— И он направился быстро к пролазу.

— Ну уж как хочешь, а одного тебя не пущу! — догнал его Гнида.— Тут и Андрей Лушня поорудует, а я побратыма не выдам!!

Хойнацкие возвратились в Овсянники перепуганные на смерть. Доротея не сообщила мужу своих подозрений, а стала рассылать гонцов по соседям, чтоб съезжались к ним, начала собирать в свой двор загоновую шляхту [37], вооружать ее, а двор укреплять. Не только ближайшие соседи, но и дальние паны наполнили дом и двор Хойнацких, а многие стали присылать к ним на хранение вещи. Крестьян ко двору Доротея не подпускала, а заставляла работать верную челядь. Через неделю ров, окружавший усадьбу, был втрое расширен и углублен до двух саженей; на окопах его стал стеною частокол из дубовых и грабовых колод, а въездная брама укрепилась высокими, окованными железом воротами. Нужно было еще прибавить к браме боковые откосы, но не было под рукой каменщика, а крестьянина-муляра Хойнацкий не захотел брать; взамен этого он укрепил дом.

Погреба под ним были переполнены запасом пороха, свинца и съестных припасов; кроме того, из кабинета, на всякий случай, устроен был лаз в отдельный,

скрытый рукав погреба, сообщавшийся с подвалом винокурни. Таким образом, двор и дом Хойнацких, при вооруженном гарнизоне, мог выдержать долго осаду, а владетели его, при последней крайности, могли улизнуть. Это успокоило Доротею; но пан Вицентий все еще был неспокоен за браму и за два места у речки внизу и все искал по окрестностям шляхтича-каменщика.

Между тем слухи про Кармелюка затихли, а если и доносились сюда некоторые отголоски их, то более успокоительного характера,— вроде того, что Кармелюк отправился за Жмеринку да там и застрял. Все это усмирило тревогу панства Хойнацких и дало их жизни более широкий размах...

Прошло еще две недели, и у Доротеи поблекло воспоминание о глупой записке; она начала даже подозревать, не подшутил ли кто, только одно было необъяснимо — это тайна коморы, известная лишь ей да Кармелюку.

Раз, когда возвращался с охоты Хойнацкий, у околицы встретил его какой-то средних лет бородатый субъект, одетый сверх выпускной цветной рубахи в длинный кафтан. Снявши поярковую шляпу, он поклонился низко и остался с непокрытой головой.

— Кто естесь? — бросил свысока пан, смерив стоящего взглядом.

— Муляр (каменщик), ясновельможный пане... Прошу ласки и работы.

— Муляр?! — обрадовался было Хойнацкий, но потом, пронизав просителя подозрительным взглядом, осадил даже от него коня.— Кацап?! — бросил он презрительно.

— Из Пилипов, Могилевского повету,— ответил необидчивый каменщик.— Старообрядцы будем, примерно... Нас потому эти мазепы и зовут пилипонами.

— Цо то есть «мазепы»?

— Да вот энти хохлы... Ненавидят нас... Ну и мы их, нечистых, к себе не пущаем... Война, стало быть, и повзводные схватки... кто кого! Так мы уже хотели было у Литву подаваться, чтоб только бросить энту барабанную шкуру — Хохландию.

— Слушай, пане коханку,— обратился тихо к Хойнацкому пан Янчевский,— это посылает тебе сам бог такого рабочего. Я пилипонов хорошо знаю; они дей-

ствительно ненавидят и презирают хлопское быдло и по религиозному фанатизму, и по языку, и по нравам... Тут уж можно наверняка сказать, что этот кацап не заведет сношений с твоим хамьем... да и, кроме того, можно к нему приставить двух верных из шляхты дозорцев и быть совершенно покойным; а ведь и браму, и ограду нужно докончить,— так их оставить опасно.

— Пан ма рацию (совершенно прав),— согласился Хойнацкий и стал договаривать каменщика.

Последний после тщательного осмотра был допущен во двор. На другой день ему предложена была пробная работа в доме — поправки печи, и Хойнацкий остался им вполне доволен...

А на третий день вечером горничная Фрося, знакомая уже достаточно с жизнью, хихикала и шепталась с судомойкой: с нею она любила подчас поинтимничать. Это была та самая Фрося, что служила шесть лет тому назад у Пигловских; получив вольную, она уже третий год у новых панов — Хойнацких, вошла в доверие по своим специальным способностям к Доротее и стала ее наперсницей.

— Вот смеху-то, любко! — заливалась Фрося.— Этот кацап в меня вляпался!

— Ой мамо! Дидуган такой! — качала головой судомойка.

— Но какой еще он дидуган? Нет, он еще ого-го! Только что кацап, в бороде... Цапом (козлом) от него разит...

— А пани уже, напевно (наверно), то знает?

— Ба нет! — захохотала, покраснев, камеристка.— Только так мне сдается... Впрочем, кацапов я в первый раз вижу... Оттого как будто и страшно; а может быть, они тоже люди! Вот и этот — обходительный, ласковый... Сережки мне подарил сразу... золотые... Вот погляди.— И она, вынув из кармана коробочку, подала ее судомойке.

— Матинка! — всплеснула та руками и остолбенела от изумления.— Да за такие сережки не знаю что... и он вас так покохал? Вот так диво: только оком окинул и покохал?

— Что ж тут дивного? За мной гинули не раз... Тут долго марудиться (возжаться) нечего... взглянул и пропал: либо кавалер, либо панна! Это тебе, хлопке, в ди-

ковину, а мне так начхать! — И она победоносно вышла из девичьей.

А на четвертый день, раздевая барыню, Фрося сообщила, что пан Янчевский просил перевесть его из кабинета в паничевскую.

— Для чего? — вскинулась Доротея.

— Да будто бы, пани, там неудобно,— ответила с лукавою улыбкой Фрося.

— Вздор! Досыть (довольно)! В паничевской помести лучше пана Кшетинского, улана...

— Того высокого, стройного... с ладными усами... такого сличного — красавца?

— Ну ты мне не очень-то на него засматривайся!

— Бронь боже! — смешалась служанка.— А ключ от потайной двери где пани прикажет...

— Сюда дай! — перебила Доротея, смешавшись в свою очередь.

Фрося передала барыне ключ и стала прибирать кое-что в спальне, а потом, словно вскользь, обратилась к ней:

— Там, пани, на кухне, говорил пан Хойнацкий, слишком опасно позволять муляру спать — он подпоить дозорцев может, а то и сами задрыхнут... и тогда, что хочь и куда хочь... Так лучше было бы запирать кацапа в какой-либо чулан...

— Да, это правда,— согласилась пани.

— Так я бы вельможной пани напомнила...— запнулась несколько камеристка,— про тот чулан, что был прежде креденсом (кладовой)... Оттуда не вылезет... а я буду запирать...

— Ха! А ты уже познакомилась с муляром? — вскинула на нее пани глаза и, заметив, что лицо Фроси залилось густой краской, расхохоталась и добавила: — Что ж, я ничего против этого не имею, держи его близ себя на замке, но и отвечай за него строго...

— А, на раны пана Езуса... будь муляр неладен: я только о панской безопасности стараюсь... а то... экая невидаль!

— Ну, ладно, ладно,— подмигнула пани,— я ведь не в претензии... А ты бы нашла еще и моему пану какую-либо забавку... чтобы не надоедал...

Наперсница хихикнула почтительно в руку и ушла, пожелав своей пани доброй и счастливой ночи.

Дня через три после описанной нами сцены явился какой-то шляхтич у брамы; его, конечно, во двор не пустили, а стали расспрашивать через окошечко у ворот; он назвал себя Зеленским, посланным с письмом и вещами к пани Доротее от ее дальней приятельницы пани Люджеской. Для проверки этого показания призваны были кучер и доезжий, бывшие в селе приятельницы, и они признали в прибывшем Зеленского, управителя пани Люджеской. Тогда только шляхтич был впущен и письмо передано Доротее. Пани Люджеская писала, что сама скоро будет и просит пока поместить в доме ее вещи: ковры, серебро, бронзу, которую она не решается без себя оставить на хлопов.

Каменщик, работавший при браме, изумился этому трусливому допросу и осмотру всякого приезжего и в простоте душевной смеялся громко над шляхтичем:

— Вот так жданный гость! Ха-ха!! А обшарь-ка его, братцы, с фронта и с тыла!

— А ты, проше пана, зубов не скаль, а помоги лучше батьку,— подчеркнул шляхтич.

Каменщик смутился, застыдился и смолк; но когда пришло от пана позволение взять привезенный шляхтичем сундук и перенесть его в дом в гардеробную, то и он изъявил живейшее желание помочь при переноске, и это оказалось кстати, так как сундук был чрезвычайно тяжел.

В комнатах встретил муляра хозяин, пан Вицентий.

— А что, вацпане, как твои работы идут? — спросил он.

— У брамы, вельможный пане, все к вечеру кончу, а завтра перейду в сад.

— Досконале; по окончании получишь награду.

Муляр поклонился. В это время подошел к ним пан Янчевский с уланом.

— А что, пане Вицente, как мыслишь? Не отправиться ли нам на полеванье поразмять кости, а то словно бы засиделись? — обратился он к хозяину дружески.

— Отлично,— согласился тот,— твоя мысль, друже, мне по сердцу...

— Только куда?

— Хорошо бы на зверя... потешить молодого героя и померять его храбрость... Ха-ха-ха!

— К панским услугам,— ответил задорный улан и щелкнул при этом многозначительно шпорами.

— Виват!.. Но куда бы? — раздумывал, потирая руки, хозяин.

— Если позволит их милость панство, то я бы посоветовал,— вмешался в разговор муляр. Это было бы дерзостью со стороны хама, но так как этот хам был не свой, а пилипон, которому невежество свойственно, и так как совет его мог быть интересен, то Хойнацкий и кивнул головой.

— В Хвощовском болоте, ваше высокоблагородие, в Вилах, что тянутся к Головчинскому лесу, там этого самого кабана — сила!.. Собственными буркулами видел, а одинцы во какие — страсть!.. Если, стало быть, бросить туда гончую, так просто пойдет батальный огонь.

— А он прав,— заметил хозяин,— там водятся, только далеко, а тепер поздновато...

— Что ж, там, ваше благородие, и переночевать можно у лесничего, а на зорьке... в болото — расчудеснейше!..

— Не лучше ли завтра? — не решался хозяин.

— Да что ты, пане Виценте, завтра? Теперь покойно! — возразил Феликс Янчевский.

— Ма ся разумець, конечно,— загорелся нетерпением улан.

— Так и прекрасно,— согласился хозяин и побежал делать распоряжения.

Прошло, впрочем, немало времени, пока веселая и многочисленная компания в сопровождении шарабанов с собаками и отряда всадников тронулась в путь.

Охотники к ночи не возвратились, и пани Доротее пришлось сесть за ужин лишь с двумя ветеранами. Безотчетная тоска и тревога до того охватили ее, что она не могла ничего есть. Пригласив бессильных старцев ночевать в кабинете мужа, чтоб в доме был, на всякий случай, мужчина, она самолично еще [раз] обошла дом, сад и двор. Везде было тихо, спокойно, только из людской доносился по временам хохот; но он действовал ободряюще... Доротея взглянула на небо; половина его покрыта была черным пологом, и зловещий мрак надвигался на землю...

Фрося ждала ее в спальне.

— Что за шум в людской? — спросила у наперсницы пани.

— То прибывший пан Зеленский угощает компанию,— такой веселый, балагур...

— Смотри, чтоб не перепились они в лоск... особенно лакеи...

— Я скажу... пусть не тревожится пани.

— А твой — в кредансе?

— На замку,— махнула рукой горничная и, спросив, не нужно ли еще чего пани, ушла.

Доротея осталась одна. Она осмотрела еще раз спальню и будуар, достала из комода заряженный пистолет, положила его под голову и снова легла. Мало-помалу ее чувства стали погружаться в приятное оцепенение.

Между тем муляр с мучительным нетерпением ждал своей Фроси; он и выглядывал, и прислушивался — не идет, да и только.

Наконец Фрося зашуршала накрахмаленною юбкой. Муляр схватил за руку Фросю и потащил было в каморку.

— Стой, пся крев! — вскрикнула оторопевшая коханка.— Я только вот сбегаю в людскую, чтобы ложились спать, и вернусь к медведю.

Муляр подумал с минуту.

— Только чтоб не явились сюда лакеи, а то нам помешают...

— Не бойсь, будут пить, пока не свалятся... Лишь бы не шумели!..

Муляр запер за ней входную дверь, вошел торопливо в гардеробную и бросился к привезенному шляхтичем сундуку.

— Жив? — прошептал он, нагнувшись.

Ответа не было.

— Жив ли? — почти вскрикнул он в ужасе, нагнувшись еще ниже.

— Скорей! — послышался из глубины глухой, сдавленный стон.

Муляр поспешно открыл переданным ему шляхтичем ключом крышку; под ней ворочалось что-то громоздкое, завернутое в ковер. Немало нужно было употребить усилий, чтобы вытащить конец ковра и приподнять голову завернутого в него человека... Наконец, после

неимоверных, отчаянных напряжений, тяжелый чурбан был выдвинут из тисков и приподнят; теперь уже работа [пошла] живей, и голова заключенного была открыта.

— Янко! Жив ли ты? — с трогательным порывом припал к своему другу Дмитро...

Да, это были Кармелюк и его побратым Гнида!

— Воды! — прошептал Янко, свисая бессильно головой и ловя жадными устами воздух в закоченевшую грудь. Лицо Кармелюка было сине-багрово, глаза расширены агонией удушья, и весь он был словно смочен струями холодного пота.

Дмитро подал ему воды, помог выпростаться из ковра и почти вынес в сени, чтоб обвеяло его свежим воздухом.

Минут через пять сердце и легкие стали у Янка функционировать правильно; цвет лица принял более здоровый оттенок.

— Ну, еле-еле... выдержал! — заговорил наконец с большими передышками Кармелюк.— Еще бы чуть-чуть — и конец... подох бы! Каторжный ковер закрыл рот... рук опростать — несила... и пропадай пропадом!.. Такой пытки другой раз — ну ее! На том свете одною ногою уже был!..

XIII

— Чуть-чуть на тот свет не попал! — качал головой Янко, дыша с усилием.

— Экая оказия! И дырки ведь были проверчены на низу сундука, а вот поди ж!.. Ну, да слава богу! Выпей-ка глотка два-три горилки — поможет.— И Гнида протянул побратыму флягу.

Кармелюк отпил с расстановками несколько глотков. Дмитро ему подал на закуску пирог и кусок сала.

— Да, ожил как будто,— произнес Кармелюк, проглатывая с трудом куски предложенной другом закуски.

— Посиди на стороже здесь, а я на аванпосты... все ли там спокойно? — сказал Гнида и на цыпочках покрался во внутренние покои.

Минут через десять, когда он возвратился, Кармелюк уже разминал себе руки и ноги.

— Только вот теперь начинаю чувствовать силы,— заметил он, улыбнувшись.

— И ладно... А там все мертвецки храпят... Пора!

Янко нащупал за голенищем кинжал, осмотрел кремни на пистолях, засунул их за пояс, стянул его крепче и оправил рукой сбившуюся шевелюру.

В это время мелькнула на дворе какая-то тень и стала быстро приближаться к дверям...

— Спрячься, это Фрося!

Как только она проскользнула в двери, Дмитро мгновенно схватил ее и приставил к ее выпученным от ужаса глазам нож.

— Если пикнешь, тут тебе и карачун! — потом связал ей назад руки, набил глиной рот, стянул его крепко платком и, бросив в чулан обезумевшую пленницу, запер ее на ключ.

— Ну, я иду,— сказал глухим шепотом Кармелюк,— а ты посторожи с коридора... Я знаю тут все ходы и выходы... Деньги и самые ценные вещи находятся в шкатулке в спальне и комоде, что в смежном покое, а ключи у нее всегда под подушкой.

Дмитро молча кивнул головой и ощупью двинулся в черный проход. Янко вернулся в гардеробную и попробовал отворить дверь, соединявшую ее с передней у будуара и спальни. Осторожно он повернул ручку у двери и нажал плечом; раздался легкий треск, но дверь не поддалась... В мертвой тишине, среди могильного мрака этот треск раздался явственно и повторился где-то слабым отзвуком... Кармелюк замер на месте и затаил дыхание... Родившийся звук затих, но в наступившей тишине послышался где-то далеко не то стон, не то храп... а за стеной близко скрипнула половица... Мучительно тянулась минута...

«Кто это скрипнул: Дмитро или пани?» — сверкнула зарницей в голове Янка мысль.— Если гадюка выползла из гнезда, услыхав треск, то уйдет и подымет тревогу... Что делать? Каждый миг дорог!.. Или попробовать еще раз отворить тихо, или высадить с грохотом дверь и влететь бурею?»

Он прислушался; что-то зашуршало у его ног... должно быть, мышь... и опять настала гробовая, щемящая тишина... Кармелюк нажал еще раз плечом дверь, она вздрогнула, треснула и подалась: задвижка при напоре

выскочила из гнезда, и дверь полуоткрылась. Из третьей комнаты донесся легкий шум, словно бы кто повернулся грузно в постели... и даже раздался полусонный вопрос: «Кто там?» Но вопрос больше не повторялся...

Кармелюк отворил дверь и очутился в передней... Сердце у него то замирало, то принималось стучать в грудную доску... Разбираться с вихрем ощущений было некогда... Он потянул вторую дверь, и она бесшумно открылась... В отверстие выглянула тронутая тусклым полусветом уборная, с пятнами темных теней на окнах, в углах и у стен; в щель второй двери лился более яркий свет, ложась острым треугольником по ковру и рассыпаясь рядами убегающих полутонов вверху по плафону... Еще на мгновение остановился Кармелюк, чтоб перевести дух и прислушаться... Из спальни не вырывался ни один звук, не доносилось даже дыхание. Кармелюк стремительно перебежал уборную и распахнул дверь. На кровати сидела Доротея, подавшись напряженно вперед и устремив на дверь безумный, полный ужаса взгляд... Одна рука ее лежала под подушкой, другая упиралась в колено... Волосы беспорядочными космами лежали на плечах и сбегали на обнаженную грудь... Освещенная с одной стороны красным огнем ночника, она была в переливах светотеней эффектна и напоминала застигнутую в логовище тигрицу, готовую броситься на своего врага.

Кармелюк при взгляде на ненавистную гадину как-то оторопел и замер на месте.

— Что, узнала? — прохрипел сдавленным голосом Кармелюк, выдвинувшись на освещенный круг своею могучей фигурой.

— Кармелюк!? — вскрикнула пани и отшатнулась к стене.

— Да, Кармелюк... ушел... рискнул всем... лишь бы еще раз увидеть закохану пани... и отблагодарить за ласку...

— Милосердия! — зашептала она побелевшими губами...— Все бери, все!.. Вот ключи... только даруй жизнь!

— А ты мне ее даровала? — закипел он и почувствовал, как буря ненависти стала клокотать и подниматься в груди.— Оторвала от семьи, выгнала из родной земли, загнала на чужбину, чтоб исходил кровью и

погибал от тоски... Мало того! Еще мстила через собаку-управителя невинной жене моей, детям... А тут? Сколько ты душ замучила, сколько сирот пустила по свету! А? Мало тебе кары, гадюка! Дай придумать!..— Бешенство начинало овладевать им.

Вдали послышался шорох...

— Все бери! Дай только душу... Тяжко... без покуты... Ой, на матку найсвентшу... Езус-Мария! — завопила она, не сводя очей с Кармелюка и в то же время прислушиваясь к шуму.

— Нет для такого дьявола милосердия!..— произнес мрачно Янко.— Все равно не покаешься...

— Май бога в сердце! — взмолилась она.— Ты благородной души... Я — беззащитная женщина...

Кармелюк поколебался; по крайней мере, порыв бешенства сменился у него чувством презренья, гадливости. Доротея следила во все глаза за Кармелюком и, уловив мгновение его замешательства, выхватила вдруг правую руку из-под подушки и, быстро поднявшись, выстрелила ему в голову... Но отдача приподняла несколько дуло вверх, и пуля проскользнула между волос, а выстрел ожег лишь висок...

Прошло мгновение растерянности — и Кармелюк схватил своими железными руками Доротею за горло; он сжал ее с такою силой, что глаза у жертвы налились кровью, вышли из орбит и окровавленный язык вывалился наружу. Пани судорожно забилась в руках мстителя, а Кармелюк, возмущенный подлостью, опьяненный неистовством, сжимал крепче-крепче тиски, подняв даже на воздух извивавшуюся пани...

Вбежавший на выстрел Дмитро так и застал своего атамана с посиневшей и вытянувшейся в руках Доротеей...

— Это она, шельма? — спросил он с испугом.

— Хотела укусить, да вот вытянулась! — ответил Кармелюк.

— Брось ее... Нужно подобрать здесь, что поценнее, да и тягу... Зеленский перепоил дворню... и стоит вартовым у брамы... Гроза собирается...

Дивный весенний вечер распростерся розовым сиянием над селением Головчинцами. Всем принес он с со-

бой покой и тихое, радостное оживление; он не коснулся лишь одной оборванной, покривившейся хаты когда-то богатого двора Кармелюка. Высокий плетень, ограждавший ее в былые времена, теперь обвалился, ворот не было, только сиротливо торчащий шест указывал их прежнее место. Поросшее, распахнутое дворище смотрело руиной,— видимо, хозяевам нечего было в нем хранить; от коморы и клуни, когда-то опрятных, нарядных, торчали теперь лишь безобразные стропила, солома же их крыш, очевидно, употреблена была на топливо.

Но в покосившейся хате еще жили люди... Против печи на лаве сидела сгорбившись худая донельзя женщина, в которой трудно было узнать прежнюю стройненькую и беленькую, как фарфоровая куколка, Марину. Мягкая тонкость ее стана превратилась теперь в костлявую худобу, плечи сгорбились, лицо увяло, и так как главная красота его заключалась в свежести и нежности, то Марина утратила значительную долю своей былой красоты. Но особенно изменились глаза ее: радостные, сверкающие, подобно двум звездочкам освещавшие прежде ее лицо, они глядели теперь тупым, унылым взглядом.

Марина сидела неподвижно, уронив вытянутые, как плети, руки на колени. В углу на лаве, прикрывшись овчинкой, уже спали двое ее сыновей: старший мальчик, лет семи, и младший, погодок. На столе стояли остатки убогого ужина, но Марина и не думала убирать их,— она сидела неподвижно, измученная, усталая, без чувства в сердце, без мысли в голове...

Черные сумерки наполняли хату... Только на припечке в куче золы слабо тлели два-три уголька, освещая неверным, мерцающим светом силуэт согбенной женской фигуры, олицетворявшей собою бедность и покорность судьбе. Один рукав сорочки Марины был разорван, сквозь него виднелась худая рука, пересеченная вдоль кровавым рубцом... Управитель бил ее и вчера, и сегодня нагайкой. Да разве это первый раз? Марина привыкла уже к побоям этого изверга, который при всякой встрече с нею напоминал ей прошлое Кармелюка. Душа ее уже и не возмущалась зверством, которое проявлял над нею управитель, вот только тело болело и кости мучительно ныли...

Теперь она приняла случайно удачную позу, и острое

чувство боли уменьшилось, уступив место полнейшей слабости.

Марине казалось, что и руки, и ноги ее налились свинцом и что она не в силах ни подняться с места, ни пошевельнуть рукой. От печи шел теплый дух и согревал ее утомленные члены. Глаза Марины неподвижно вперились в дотлевающую золу, но мысли не было в них.

Марина ни о чем не думала, ничего не вспоминала... Ни картины прошлой жизни, ни образ давно утерянного мужа не воскресали перед ней... В ней даже не просыпались и мысли о завтрашнем дне: она ведь знала, что завтра, как и сегодня, ждут ее та же нищета, то же униженье, пытка, побои... Давно уже она перестала бороться с судьбой. Теперь она только чувствовала, что измученное тело ее отдыхает, и это ощущение наполняло ее организм каким-то мертвящим покоем, и только где-то далеко в мозгу, за межою сознания, колебалась одна неясная мысль, расплывчатая, как болотный туман: как хорошо было бы, когда бы она очутилась сразу в могиле... Тишина, покой... Ни докучливого света, ни панщины, ни эконома, ни брани, ни муки... Ах, как хорошо бы!

Время шло... В хате было уже темно, как в могиле, ни один звук не долетал из мертво спавшего села. Вдруг Марина услыхала в сенях тихий шорох крадущихся шагов. В одно мгновенье она вскочила с места и, как забитая собака, прижалась к печи. Зубы ее стучали, руки сжались и вплотную притиснулись к телу.

«Управляющий,— завертелось огненной искрой в мозгу.— Сегодня он еще похвалялся доконать вконец... Бить будет... Увидит детей... Спрятать их... Закрыть...»

Но закрывать их было уже поздно: двери хаты открылись, и кто-то ступил на порог. При тусклом отблеске звездной ночи привыкшие к темноте глаза Марины различили высокую мужскую фигуру в чумарке. Вошедший дышал бурно, прерывисто,— это еще более подтвердило ее догадку. Слабый вопль вырвался из ее груди.

— Марино, ты? — произнес громко вошедший.

При звуке этого голоса что-то рвануло сердце Марины.

— Кто там? Кто там? — вскрикнула она, в ужасе простирая в темноту руки.

— Я, я, Иван твой! — И две сильные руки обхватили ее и прижали крепко, горячо.

— Господи, что это? Иване, ты или тень твоя? — едва выкрикнула Марина.

— Я, я... живой, здоровый, муж твой, богом данный! — воскликнул Кармелюк и сжал Марину в своих объятиях еще сильней.

— Боженьку... царица небесная!..— рыдания прервали слова Марины. Она обхватила руками голову Кармелюка и, обессилев от неожиданной радости, почти повисла у него на руках.

Кармелюк донес ее до лавы и, опустившись, принялся покрывать горячими поцелуями ее лицо, ее исхудавшие плечи.

— Ну, успокойся же, рыбонька! — приговаривал он.— Не покину тебя теперь никогда, никогда!

— Никогда! — вскрикнула Марина, захлебываясь от радости и от подступивших к горлу слез.— Свите мой, пане мой! Счастье мое единое, ненаглядное!..

Она целовала мужа в лицо, в руки и снова прижималась к нему и повторяла, мешая поцелуи со слезами:

— Замучилась... не думала и увидеть... Боже мой... услышал меня... Счастье мое единое!..

Несколько минут и Кармелюк не мог произнести двух связанных слов от охватившего его волнения. Он только прижимал к себе дорогое существо, покрывал его поцелуями и твердил, что измучился, истомился в разлуке.

Наконец первая минута безумной, бурной радости прошла.

— Постой же, скажи, Марино, дид где? — спросил Кармелюк, присаживая Марину к себе на колени.

— Второй уж год, как помер, царство ему небесное.

— Помер?.. Ох, жалко! То-то вы, бедные мои, сиротами остались... Земля над ним пухом,— произнес глухо Кармелюк, осеняя себя крестом.— А я и не знал. Эх, человек был! Не довелось и попрощаться...

— Ведь ему уже годов за сотню вышло, да и на какую радость было жить? — попробовала робко утешить мужа Марина и, вспомнив все муки, пережитые ею вместе с дедом, вздохнула.

Вздохнул тяжело и Кармелюк.

Марина припала к его груди. С минуту оба молчали.

— А дети как? — заговорил снова Янко.

— Живы, здоровы... Ох, тяжко было, Иване, а сохранила, сберегла! — Марина оживилась.— Постой, сейчас увидишь,— я разбужу их!

Она хотела броситься к детям, но Кармелюк удержал ее за руку.

— Не надо, подожди, пусть уже завтра поутру. Да они ведь и не признают меня.

— Признают, признают: я им о тебе беспрестанно говорила, молились мы каждый день за тебя.

— Спасибо тебе, голубка моя бесталанная! — Кармелюк сжал руку жены.— А детей не буди,— наделают шуму, прикличут еще кого-нибудь.

— Правда, правда! — согласилась Марина.— Так я огонь вздую, хоть посмотришь на них. Господи! Да я ж сама не видела до сих пор твоих ясных глаз!

— Только завесь чем окно,— заметил Кармелюк, отходя в глубь хаты.

Марина завесила окно какою-то ветошкой, раздула угли, засветила каганец и подошла с ним к лаве, на которой спали дети.

— Вот они, Иване, вот они, наши голубы малые, иди смотри!

Кармелюк молча остановился у изголовья детей.

Малютки лежали, плотно прижавшись друг к другу; из-за дырявого ряденца, прикрывавшего их, виднелись только две белокурые головки. Свет от каганца осветил худенькие лица детей — грязные, с выражением недетской серьезности, лежавшей уже на лбу и вокруг рта.

Несколько минут Кармелюк молча смотрел на этих жалких малюток, наконец глубокий болезненный вздох вырвался из его мощной груди.

— Вовченята, несчастные, беззащитные! — произнес он с горечью и, смахнув рукавом слезу, повернулся к жене. Теперь только он увидел ее измученное, исхудавшее и постаревшее лицо.— Марина! Да тебя узнать нельзя! Как же ты подурнела! — вырвалось у него горестное восклицание.

Этот возглас ударил как-то особенно больно по сердцу Марину. Слезы выступили ей на глаза.

— Подурнела? — повторила она задрожавшим от волнения голосом.— Как только жива осталась, ты то

скажи! Как еще шкура моя вконец не распалась, как еще кости эти не обратились в щепки? Ох, что за жизнь была! Мука, смерть, пекло лучше!

Марина закрыла лицо руками и горько-горько зарыдала. От этих слез жены сердце Кармелюка наполнилось нестерпимой жалостью и болью.

XIV

— Бесталанная моя, голубка моя сизая, прости! — вскрикнул он и, обняв Марину, прижал ее к себе горячо.

Страстная ласка мужа еще больше расстроила Марину. Перед ней встала вся ее жизнь за эти три года: нестерпимый, каторжный труд, побои, издевательства, холод, голод, страх за несчастных детей и тоска, невыносимая сверхчеловеческая тоска... И она заговорила о своей жизни, прерывая слова всхлипываньями; слезы так и лились по ее лицу; она отирала их рукавом сорочки и все говорила, говорила о том, что за три года извело ее красу, источило сердце...

Кармелюк молча слушал жену, устремив мрачный взор в угол. Время от времени он только прижимал к себе вздрагивавший от рыданий стан бесталанной Марины.

Вдруг взгляд его упал на разорванный рукав ее сорочки и на кровавый рубец, пересекавший ей руку.

— Марино, а это что? — спросил он ее глухим голосом.

— Ах, что там! Управитель бил сегодня за то, что не поспевала полоть за другими... Обещал донять совсем...

— Собака! — вскрикнул Кармелюк, сжимая в бешенстве кулаки.— Подкупленная тварь! Горло перерву, шкуру с живого спущу!..

— Ради бога,— перебила его в ужасе Марина.— Ради бога, оставь! Ой, оставь уже, Иване! Довольно и так натерпелись... нет силы... Ох, когда б ты покорился, жили б мы и теперь, как прежде...

Упрек жены задел Кармелюка за живое.

— Марино! — перебил он ее тихо, но в голосе его прозвучало что-то такое, что заставило Марину остановиться на полуслове.— Чем упрекаешь? Не покорил-

ся! Я покорился тому, чему можно было покоряться... А если бы даже тогда я и лег под панские канчуки,— думаешь, спас бы наше тихое счастье? Хо-хо! Пан выпорол бы меня, потом тебя, потом детей наших, потом погнал бы нас на панщину, а потом продал бы в разные руки. Не нужен я стал пану,— вот в чем дело! А не нужен, значит — тот же подлый крепак, над которым можно глумиться и пану, и эконому! — он круто оборвал свою речь и замолчал.

На минуту оба умолкли. Они сидели друг подле друга, тесно прижавшись друг к другу, но Кармелюку показалось, что между ним и женой проползло что-то скользкое, холодное... Он вздрогнул, провел рукою по лбу и заговорил снова:

— Ты думаешь, мне хорошо было там, в москалях? Били и меня, не канчуками, а каблуками да прикладами... А муштра? Э, да что говорить! — У Кармелюка смутно мелькнула и другая полоса жизни, и сердце его всколыхнулось от боли.— Сторона чужая, люди чужие, неволя тяжкая, и каждую минуту думка про вас: что-то вы делаете, как перебиваетесь без меня. Эх, не раз хотелось пулю себе в лоб всадить!..

— Сердешный мой! — прошептала Марина и, обвив его шею руками, припала к нему на грудь головой.

— Так-то так, голубка моя, всем горько доставалось — и тебе, и мне... Мне, конечно, меньше, потому что в москалях больше доброты, чем у этих катов... Опять и дети... Только нет в этом моей вины... Виновата проклятая наша неволя, что из добрых христиан творит диких зверей... да, зверей страшных...

При последних словах Кармелюка в голосе его прозвучала страшная угроза.

— Ой, храни боже, Иване! Господь сжалился над нами: все минуло, ты здесь, ты вернулся,— заговорила горячо Марина.— Ведь ты теперь не покинешь нас?

— Никогда!

— Господи! — вскрикнула Марина, всплеснув руками.— А я еще посмела упрекнуть тебя! Но подожди, скажи ж мне, как отпустили тебя? За что?

— Никто меня не отпускал.

Марина в недоумении отстранилась от мужа.

— Никто не отпускал? — повторила она, словно не понимая произнесенных слов.— Так как же так?

— Ушел!

— Ушел?!

— Ушел, не вытерпел... Стосковался за вами... душа вся вымоталась... Ну, бросил все и ушел.

— Боже мой! — вскрикнула Марина.— Что ж тебе будет за то? Ох, бесталанная моя головонька! — почти заголосила она.— Я думала, что тебя отпустили к нам, вернули мне моего сокола, а теперь поймают, закуют, закатуют!.. Снова отберут навеки, да и нам что будет!.. Ой, лучше ж мне было уже тебя и не видеть, чем опять потерять на всю жизнь!

— Не бойся, не поймают: теперь я уже не тот, что был прежде! Наставили уму-разуму добрые люди!

— Ой, что там говорить! Узнают, выследят, а как доведается твоя пани,— она тебя со света сживет...

— Ну, уж она теперь нам ничем не повредит,— произнес мрачно Кармелюк.

Марина вздрогнула и замолкла... Какой-то неведомый ужас встал между нею и мужем... Она почувствовала холод... Мороз пробежал мелкой дрожью по ее телу... Долго длилось молчание... Она хотела поднять глаза на мужа, но не могла и только с усилием спросила едва слышно:

— Как? Почему?

Кармелюк тяжело дышал и не скоро, тоже едва слышно, ответил:

— Убил!

Марина отшатнулась назад и, скользнув рукой по подоконнику, почти упала на лавку. От сотрясения сорвалась с лавки жестяная кружка и покатилась со звоном в угол.

— Ты? Ты? — шептала она, всматриваясь расширившимися глазами в изменившееся лицо мужа.

— Да, я, задушил навеки гадюку.

— Ой! — застонала Марина, запрокинув голову и закрыв рукою глаза.

— А ты думала — что же? — заговорил раздражительно, резко Кармелюк.— Благодарить ее за то, что она уничтожила нашу семью, что она искалечила и твою, и мою жизнь? Благодарить ее за то, что она и теперь подкупает управителя на истязанье тебя? Или за то, что она замучила десятки, сотни таких же, как мы, подневольных людей?

— Грех, грех... кара божья...— едва шептали побелевшие губы Марины, а глаза ее с диким ужасом и отвращеньем впивались в лицо мужа.

— Пусть и грех! — перебил ее возмущенно Кармелюк.— По крайности взял его за других!

— Увидят, дознаются... поймают... Ой боже ж мой, пропали мы, пропали навеки! — продолжала Марина, не слушая Кармелюка.

— Никто не дознается, говорю тебе, если ты только сама не расскажешь! — перебил ее резко Кармелюк.— А если и дознаются, так не поймают, да побоятся и гнаться, слышишь? Три года держали орла в железной клетке, и выросли у орла и крылья, и пазури, страшные пазури, Марино!

И он поднялся, расширив грудь, могучий и мрачный.

Со слепым ужасом смотрела Марина на словно выросшую фигуру мужа.

— Ради бога, Иване! — вскрикнула она при последних словах его, срываясь с места.— Скажи мне, что ты задумал, на что пошел?

— Ни против бога, ни против добрых людей!

— Ни против бога,— повторила почти злобно Марина и заговорила быстро, задыхаясь, с едким раздраженьем: — Ты душу продал нечистому, ты душегубом стал, ты кровь христианскую пролил! Ой мало, мало терпели мы через тебя, ты захотел еще погубить нас навеки, на каторгу запакувать!

Марина ухватилась руками за голову и громко заголосила, раскачиваясь из стороны в сторону.

— Слушай ты, неразумная баба, слушай и пойми,— перебил ее с резкой болью Кармелюк и, сжав ее руку, насильно усадил жинку на лавку.— То, что убил я эту гадюку,— моя вина, а не ваша, и за эту вину не вам придется давать ответ.

— Не нам?! Узнают, кто убил... у меня был... схватят, потащат и меня и детей... Ой сироты мои...

— Никто не узнает,— перебил ее запальчиво Кармелюк,— никто и не домыслится, что я здесь.

— А бог? А грех? А кровь христианская! Ой, упадет она на меня и на детей наших!

— Годи, уж о грехе моем не печалуйся: сам его понесу. Зато спас от мучений сотни людей.

— Других спас, а нас погубил. Все о чужих дума-

ешь, а о нас кто же подумает? Кто нам хоть кусок хлеба дал, когда забрали тебя,— не любишь ты нас, ни меня, ни детей наших! Когда б любил, не довел бы нас до такого горя, до такого несчастья. Ой боже мой! Ой боженьку наш!..

— Марино, Марино, да опомнись, что ты говоришь?! — вскрикнул раздражительно Кармелюк.— Ведь для того и я бежал, чтобы спасти вас от панской неволи, от голода, от канчуков!

Марина заплакала еще сильнее.

— Спасти от злыдней, от неволи панской пришел я к вам. Ведь я и эту гадину уничтожил из-за тебя, потому что она подкупала собаку-управителя, чтобы извел вас. Ведь и кару, и грех взял я на себя из-за вас,— продолжал Кармелюк, сжимая руку Марины.— Вот на первый раз принес я вам.— Он опустил руку в карман и высыпал на лавку пригоршню золота.

Марина взглянула на золото, и при виде его суеверный ужас отразился на ее лице.

— Никогда! Ни за что! — крикнула она и, вырвавши свою руку из руки Кармелюка, невольно подалась назад.

Это движение жены, полное ужаса и отвращения, отозвалось болезненным толчком в сердце Кармелюка.

— Бери, Марина, не бойся, деньги чистые,— произнес он сурово,— нет на них чужой крови, здесь только мой пот, моя кровь.

Но так как Марина не сделала ни одного движения, чтобы взять их, то Кармелюк собрал деньги с лавы и сам опустил их в сундук, зарывши в глубине среди тряпья.

Марина все плакала.

— Да чего же ты все плачешь, Марина? — произнес Кармелюк с едкой досадой, останавливаясь перед женой.— Или лучше тебе было, чтобы я сгнил там в москалях, а ты засохла бы здесь в нищете?

— Ой, что говорить! — воскликнула сквозь слезы Марина.

— Так рада ли ты, что я вернулся к тебе?

— Зачем спрашиваешь? Разве не знаешь, что один ты у меня на целом свете? Ты да двое бесталанных детей. Увидела тебя — словно на свет народилась. А вот...

— Что «вот»? О чем плакать? — произнес уже мягче

Кармелюк, привлекая к себе жену.— Не оставлю тебя я до самой смерти. Не дали нам люди по-людски жить,— так будем же сами добиваться своей доли.

— Какой доли? Какого счастья? Вот, пришел ты к нам, а завтра же уйдешь, а когда вернешься? Бог один знает. Стану я ждать тебя каждый день, каждую минуту. Стану думать, что схватили тебя, забили в колодки, что убили тебя! Ой Иване, Иване, не жизнь это, а мука, адская мука! — заломила руки Марина.

Отчаянье жены, ее горе снова взволновали сердце Кармелюка и заглушили холодную досаду, уже было овладевшую им.

— Кто говорит тебе, что я покину вас? — заговорил он с жаром.— Теперь никто не разлучит нас — я пришел взять тебя сейчас же с собою.

— А дети ж, а дети ж как?

— И их, моя любая. Уйдем все вместе сейчас.

— Куда ж?

— В лес, в темный лес, Марина, а оттуда в Бессарабию.— Кармелюк страстно прижал к себе жену.— Темный лес — надежная защита: там — мы паны, там — наша воля.

— Нет, нет! — воскликнула в ужасе Марина, вырываясь из объятий Кармелюка.— Узнают, догадаются, бросятся в погоню.

— Побоятся: не Кармелюка им ловить! — перебил ее гордо Янко.

— Ой, что там, что там говорить! Узнают, что убита пани, увидят, что мы убежали, и сразу поймают. У панов тысячи рук, они леса все выкорчуют, а до тебя докопаются, забьют в колодки, закатуют. Дети мои бесталанные, на такую ли долю вскормила я вас?.. Нет у меня живого места на теле, замучилась я, перевелась совсем! Нет, нет! — вскрикнула она с приливом новой энергии.— Пусть уж лучше я умру тут со своими детьми, хоть в родном кутку!

Марина упала на лавку и зарыдала горько, безутешно.

При этих речах жены горькая обида шевельнулась в душе Кармелюка, но вид этой в действительности замученной женщины заглушил ее теплым чувством.

— Ну, хорошо,— заговорил он мягко,— боишься ты панской кары — оставайся пока здесь, я сам со всем

справлюсь... Сам все приготовлю... Потерпи только месяц-другой, и уйдем мы совсем из родной стороны. Уйдем в Бессарабию, купим себе землю и заживем, как жили прежде: тихо, да радостно, да любо. Что я могу один сделать? Одно только — спасти свою семью! Ты отдохнешь у меня, расцветешь опять, как квиточка, дружина моя бесталанная, замученная, любая!

Но ласковые слова мужа не пробудили в Марине ни энергии, ни веры.

— Тешишь себя пустой думкой! — заговорила она, подымаясь с лавы и обращая к мужу распухшее от слез лицо.— Куда мы уйдем? Кто выпустит нас? Поймают, свяжут, забьют до смерти. Ой, не будет нам доли, не будет!

— Так что ж, по-твоему, лучше было и не приходить к вам? Лучше было оставить вас пропадать здесь, как собак? — крикнул запальчиво Кармелюк.

— Ой, не знаю, не знаю ничего!.. Убей нас лучше, Иване: все равно нам не жить!

— Слушай, Марино,— произнес с усилием Кармелюк, едва сдерживая бурю, поднявшуюся в душе,— рыба, говорят, ищет, где глубже, а человек — где лучше, а ты уперлась на одном, как квочка, да все толкуешь: «Смерть, смерть!» Смерти не зови — она придет и сама, а покуда жив человек, до тех пор он и думает поправить свое життя. Люди разбили нашу долю... Хорошо тебе жилось без меня? А знаешь, сколько бы тебе пришлось еще так помучиться одной, если бы я не ушел оттуда, сколько времени еще пришлось бы терпеть голод, нужду и побои и от пана, и от эконома? Двадцать два года?! Да можешь ли ты разумом своим сообразить — сколько это? Это целая жизнь. И ты бы не перенесла ее. Вернулся бы я сюда и нашел бы от тебя только крест похилый на кладбище или не застал бы и того, если бы пану захотелось променять тебя на пару котов. А сыны? Дети мои единые? Выжили бы ли они такую жизнь? Узнали бы своего чужого батька? Да можно ли знать все это и бояться бежать? Да от такого життя можно очертя голову в пекло полететь. Да не лучше ли тебе попытать со мной счастья, чем умереть здесь и уморить детей? А ты... Эх, Марина, ведь я для того и пришел сюда, что душа моя кровью обливалась, вспоминаючи вас. Ведь мог же я и остаться в москалях, мог

забыть вас и зажить ласо, если бы покоя захотелось. Не захотел! Ушел на волю. Сердце, сердце! Оно не давало мне покоя ни на воле, ни в неволе. К вам звало, к моим бесталанным, окраденным. Думало хоть тут найти свою каплю счастья... Эх, да что там!

Но Марина безнадежно качала головой и тоскливо рыдала...

Долго ждал Андрей своего батька атамана, хотел было все бросить и бежать к нему, но возвратившийся Дмитро успокоил, а через день вернулся и Кармелюк.

Вернулся он мрачный, суровый и на ходу бросил Андрею:

— Отдохну. Без большой нужды — не тревожь.

— Что это с батьком атаманом? — спросил Андрей у Дмитра, искавшего свою манерку для водки.

— А что?

— Да вот — темнее ночи.

— Кто его знает! Когда мы с ним расстались, он полетел домой, как пуля, горячий, как порох! А вот вернулся, словно кот из воды.

— Что-то, верно, дома...

— Чудное дело! В солдатах только и говорил, и думал, что о детях, да о жене, да о своих Головчинцах. Из-за детей, стало быть, и бежал. Уж не нашел ли он больше их, чем оставил?

— Непохоже. Марину все село знает. Тише воды...

— А ниже травы? — солдат цинично усмехнулся.— Нет, хлопче, жинка его — эскадронный сапог: кто ни взял — и пришелся. Опять же и то, докладывал, что хороша, как краля? — Солдат выбил коротенькую трубку о сапог и взглянул вопросительно на Андрея.

— Правда. Только на все это... Вот, разве неволя? Пан либо управляющий, а то и эконом...

— В аккурате, брат!..

— Ну, тогда и раздумывать нечего. Насильника вздернуть, щенка о камень, а бабу из шеренги!

Солдат всунул в зубы коротенькую трубку и сосредоточенно запыхтел, словно всасывая в себя едкие струи желтоватого дыма.

А Кармелюк лежал неподвижно в пещере на разост-

ланной керее, подложив под голову скрещенные руки. Он не спал. Глаза его были открыты.

Сквозь отверстие пещеры, прикрытое сверху свисавшей зеленью кустарников, виднелись часть лужайки, яркие пятна солнца на зеленой траве, трепетная игра сверкающих листьев — вся красота и пышность весеннего утра.

Но Кармелюк не видел ничего... Он не думал, собственно, ни о чем, но все его существо было охвачено одним чувством. Словно вдруг что-то оборвалось в его душе. Словно он забыл, потерял сразу что-то такое, что давало ему и смысл, и энергию жизни... Сердце его щемило от боли, и он явственно слышал каждый напряженный удар его, стучавший в грудную доску.

Он ждал бедности, горя, но той бездны несчастья, которую он застал в своем родном гнезде, он не предполагал никогда. И страшная жалость к несчастной жене, к невинным детям сжимала его сердце, теснила грудь, но вместе с тем где-то далеко, в тайнике души разрасталось все шире и шире чувство неудовлетворенности, разочарования и досады.

XV

Какой-то внутренний голос шептал Кармелюку: «Так вот то счастье, по котором ты так изнывал в солдатах? Для которого ты очертя голову бежал? Дурню, дурню! Не такой ли ты одинокий и в своей родной хате, как и в солдатской неволе, как и в дремучем лесу?» — «Нет, нет,— старался возразить Кармелюк,— дети ж мои, малютки бесталанные, разве они отрекутся от своего несчастного батька? А жена? Ведь она же любит, любит!» — повторял он настойчиво про себя.

И тут же другой голос добавлял горько: «Любит. Но как?» — «Обрадовалась!» — «Да, обрадовалась. А когда дело дошло до того, чтобы разделить с мужем и радость, и горе, и опасность,— то что запела? Догадаются, мол, что убил пани, бросятся в погоню, поймают ее с ним и сочтут его сообщницей!..»

Ох! Кармелюк схватился рукою за левую сторону груди: при воспоминании об этих жестоко-откровенных словах жены он почувствовал острую боль в сердце.

А память с бессердечною отчетливостью воспроизводила перед ним все слова, все движения жены, и чей-то холодный голос внутри его отчеканивал: «Так ли любят? Кто любит, тот не разгадывает, не высчитывает, тот говорит коханому: «С тобою — на край света! Лучше смерть с тобою, чем жизнь без тебя!» Кто любит — тот рвется разделить с другом все опасности и муки. Кто любит — тот не попрекает друга пережитыми горестями и бедствиями, тот при виде его забывает все... А Марина?»

Кармелюк снова стиснул грудь рукою.

Ему вспомнились ужас и отвращение к нему, охватившие Марину при известии об убийстве Доротеи... Ее упреки, жалобы, вопли и слезы, слезы без конца...

Да полно, любит ли она его? Любила ли и прежде? Старалась ли хоть раз заглянуть в его душу, разделить его тяготы? Одно только слово и есть у нее на все случаи, на все вопросы: «О других думать нечего. Есть свои дети, а потому надо думать о себе, надо покоряться, молчать и чинить господскую волю...»

«Нет, нет! Это горе, нищета и долгая мука говорят ее устами, она любит его. Она — добрая, милосердная... Она оправится и станет снова прежнею Мариной! — пробовал успокоить себя Кармелюк.— Надо только поскорее перевезти их в Бессарабию, устроить и запрятать от людских глаз. Но согласится ли она бежать? Ведь, кроме слез, он не слыхал от нее ни одного слова.— Кармелюк нахмурился.— Надо уговорить ее, заставить... Чтобы спасти и ее, и несчастных детей. Ох, эти дети! Орлята бескрылые, сироты бесталанные...» Перед Кармелюком встали, как живые, их худенькие, замурзанные личики, сомкнутые глазки, обведенные густою синевой, прислонившиеся друг к другу белокурые головки и худенькие тельца, слабо обрисовывавшиеся из-под тряпья. Мучительная жалость наполнила его сердце, горло его сжала острая спазма, и что-то теплое подступило к глазам. Да неужели же он, отец, не спасет их от этой страшной неволи, от голода, от нужды? Спасет, спасет!.. Для этого он и пришел сюда. Надо только поскорее скопить денег, добыть паспорта — и в Бессарабию...

А там...

Что ж там?..

Там — чужая сторона, слова своего не услышишь... Жинка будет плакать изо дня в день, тосковать за родным углом, попрекать горькою долей... Ох, что же делать?.. Куда идти?.. Все пути открыты — и нет ни одного...

Нет, положительно он забыл что-то! Ведь он спешил сюда, радостный и бодрый, как птица, вырвавшаяся из клетки... А теперь?

Что-то давит в груди... Пусто в голове... Отяжелело сердце, как камень... Он забыл, он потерял что-то сильное и живое, что давало ему энергию и радость жизни!..

Мрачные мысли смыкались все более и более тесным кругом над головой Кармелюка; сердце стонало. Наконец все смешалось в какую-то темную, тяжелую пелену и словно придавило мозг. Усталость взяла свое: Кармелюк заснул тяжелым сном.

Был уже вечер, когда в пещеру вошел солдат и произнес громко:

— Атамане, а, атамане! Люди пришли к тебе.

— Что? Кто? — вскрикнул Кармелюк и сразу поднялся. В словах солдата ему почудилось что-то страшное.

— Люди пришли к тебе,— повторил солдат, с недоумением поглядывая на расстроенное лицо атамана.

— Люди... а...— Кармелюк провел рукою по лбу и глубоко вздохнул.— Люди... какие? Зачем? Может, разведчики?

— Непохоже: аванпост пропустил. Говорят, что им надо тебя видеть.

— Отлично! Иду.

Кармелюк встал с места, оправил костюм и вышел из пещеры.

Солнце уже зашло, но сквозь верхушки деревьев небо еще сияло розовым отблеском.

Перед пещерой в некотором расстоянии сидели и лежали вокруг двух костров живописною группой орлята Кармелюка. Над огнем в больших казанах, подвешенных на треножниках, варилась вечеря.

В стороне от разбойников стояли две группы крестьян: одна состояла из четырех молодых парубков, другая — из нескольких стариков.

При виде Кармелюка все пришедшие обнажили головы и низко склонились.

— Слава богу, люди добрые! — произнес Кармелюк, отвечая на поклон.

— Вовеки слава! — ответили обе группы.

— А с чем бог принес?

— К твоей милости, батьку! — заговорили первыми парубки, выступая вперед и снова кланяясь.— Прими нас!

— Вас принять? Куда?

— В свою компанию, батьку. Будем тебе служить верой и правдой... Пойдем — куда прикажешь, хоть и на край света!..

— Го-го! И за край света... Хоть в пекло! — подхватил веселый, знакомый Кармелюку голос.

— Постой! Да что ж это? Ведь это ты, фурман Янчевского, Онысько [38] из Гут? — вскрикнул Кармелюк, всматриваясь ему в лицо.

— Он самый! Капля в каплю!

И из-за плечей молодого селянина улыбнулось Кармелюку широкое, добродушное, тронутое немного оспой лицо, окруженное рамкою черных курчавых волос.

— А это — Гололобый да Чапля из Овсянников?

— Угадал, батьку! Пришли поминки по нашей гадюке справлять...

— А это я, коли не забыл, небоже!

И при этих словах вперед выдвинулась могучая, коренастая фигура, словно выкованная грубым молотом из железа.

— Дядько Явтух! [Воз]можно ли это! — вскрикнул Кармелюк и, двинувшись вперед, обнял горячо сутуловатого, но крепкого, еще не старого крестьянина.— Как же вас, дядьку, снегом присыпало! Вон и серебряный чуб уже мало заметен!..

— Эх, сынку, горе всякого состарит! Вот и пришли мы к тебе...

— Так, так, батьку,— отозвались все.— Коли признал, так и принимай в свою семью!

Эти невзначай сказанные слова поразили Кармелюка своим знаменательным совпадением.

— В мою семью! — повторил он с ясно прозвучавшей в голосе горечью.— В мою семью, братья, идут только те бездольцы, у которых нет ничего ни перед собой, ни за собой! Вы, хозяйские сыны, вернитесь назад

к своему дому. Вам ли приставать к бесприютным бродягам? На какую радость? На какой конец?

— На более веселый, чем у нас на селе, чтоб я лопнул! — засмеялся фурман, распахнув свою синюю чумарку, украшенную шнурками и висячими крупными металлическими пуговицами.

— Сыну! — заговорил Явтух угрюмым, подавленным голосом. Лицо его с резкими, типичными чертами было покрыто сетью мелких морщин, длинные усы спускались двумя космами вниз, а глаза, сверкавшие из-под черных еще бровей, придавали выражению лица мрачный характер.— Ведь сам ты, здоров, знаешь, какие они хозяйские сыны? Есть ли у крепака хозяйство, батько, жена? Сыну, что у него есть, кроме горя и перед собой, и позади себя? Коли пришли мы к тебе — значит, нет уже силы нести крепацкую жизнь...

— А я что дам вам? Не думайте, что у нас здесь гульня да раздолье. Гонит нас сюда неволя, порадник наш — кий, а дружина (супруга) — крепкая веревка: как обовьется вокруг шеи, как приголубит, так забудешь и божий свет! И ждет она нас каждый день, каждую минуту! Вернитесь, братья, домой. Не льститесь на наш горький талан! Если дома у вас горе, то здесь радости нет.

— Нет, батьку, нет! — перебил Кармелюка фурман.— Знаем мы, что и здесь ждет нас либо удача, либо смерть. Ну и плевать ей в глаза! А все ж таки лучше нам умереть за волю, чем отдать свою жизнь на потеху панам.

— Умереть за волю? — повторил невольно Кармелюк.

В первый раз эта мысль проникла с такой отчетливостью в его сознание. Имел ли он строго определенною эту цель, когда бежал из солдатчины? На этот вопрос он не мог бы дать положительного ответа, но теперь, в первый раз, он почувствовал, что эта цель стоит действительно и жизни, и личного счастья, что она захватывает всю душу — и при одной лишь мысли о такой цели в груди его затрепетало могучее, широкое чувство.

«А бегство, а Бессарабия?» — пронеслось в уме Кармелюка, но охватившее его новое чувство покрыло широкою волной это вспыхнувшее сомнение и властно повлекло его за собой.

— Атамане,— продолжал Явтух,— чем можем мы защитить свою семью?.. Слушай: был у меня отец — пан убил его на охоте, будто нечаянно... Была и мать — погнали мать по родах на панщину и привезли уже на возе... так и не встала. Осталась только одна сестра-пидлиток, гарнесенькая, щебетушечка, вся утеха моя... Любил ее, лелеял, души в ней не чаял... Ну, так вот, две недели тому назад потребовали ее к панычу... Стала рыдать... Я пошел просить пана; отстегали, связали, а ее привели и хотели надругаться, да, к счастью, вырвалась и бросилась в колодец... Вытащили неживую... Пан уехал... Меня на другой день пустили; я поджег им ток и винокурню и пришел к тебе. Скажи ж теперь мне, как можем мы защитить свою семью?..

— Правда! Верно говорит! — поддержали Явтуха товарищи Кармелюка и пришедшие хлопцы.

— Ей-богу, верно! — вскрикнул удало фурман.— Будем ли мы сидеть дома, или нет,— все равно не высидим ничего путного, как бог свят! Захочет пан, так и запорет на наших глазах и всю нашу семью, либо распродаст нас всех в разные руки... как вот сделали и с тобой. А как с тобою, атаман, соединимся все — может, и добьемся чего... Недаром же и пословица говорит: «Втик не втик, а побигты можно». (Убежал не убежал, а побежать можно).

— Молодец, парень! Люблю таких! — заметил, энергично сплевывая на сторону, солдат.

— Ведь осталась семья и у тебя, атаман,— не умолкал Явтух,— одначе ты покинул ее — и жену беззащитную, и малолетних детей, потому что понял, что спасти их не можешь...

— Правда, правда! — заговорили разом и товарищи Кармелюка, и пришедшие старики.

— Не чурайся же нас, батьку... Натерпелись мы уже до краю! — произнесли угрюмо Гололобый и Чапля.— Назад не вернемся... Коли не к тебе, так на вербу либо в ополонку — одна дорога... Добудем ли волю, или нет, а горшего пекла, как у нас дома, и на том свете не зазнаем!..

— Истинно: голый дождя не боится! Пан или пропал, нам выбирать не из чего,— продолжал уже резко фурман.— А карой нас не пугай! Будем умирать, так хоть будем знать — за что!..

— Хорошо, дети,— произнес воодушевленно Кармелюк,— я приму вас в свою бесталанную семью, но знайте наперед, что ни пиры, ни веселье не ждут вас тут!

Парубки молча наклонили головы.

— Знайте еще, что я не допущу пролития крови, кроме последней крайности...[39] Знайте еще и то, что каждый день ждут нас смерть и страшная кара, что если поймают кого из нас, то, несмотря ни на смерть, ни на пекельные муки, не должен выдавать своих товарищей...

— Все знаем! Умрем за тебя! Веди нас, куда хочешь! — крикнули разом парубки.

— Так оставайтесь же здесь! — сказал Кармелюк.

Парубки поклонились еще раз Кармелюку и отошли к сгруппировавшимся в стороне членам его отряда.

Кармелюк глубоко вздохнул и провел рукою по лбу. Лоб его был влажен, грудь подымалась высоко, порывисто. В пустоту, охватившую его душу, вдруг врезалась, словно граната, словно ракета, эта новая, уже дремавшая в ней издавна, но теперь только разгоревшаяся мысль. Она шипела, кружилась, разбрасывая вокруг себя снопы сверкающих звезд. Словно блуждающие огоньки, еще метались в охватившем его горячем тумане обрывки мыслей: что это? О чем он говорит? Что затевает? Хватит ли сил?.. А семья, жена, дети? А Бессарабия?.. Может ли он обманывать этих доверившихся ему людей?.. Но горячий, жгучий туман словно застилал в его сознании все минувшее, словно подымал его выше и выше, на недоступную высоту...

Кармелюк провел рукой по лбу, тряхнул головой и постарался овладеть собою. Перед ним еще стояли чужие люди, ждавшие от него слова.

— А с чем пришли вы, дядьки? — заговорил он, глубоко переводя дыхание.— Неужели тоже ко мне в услугу?

— Покуда есть еще молодшие за нас, батьку, нам не приходится идти,— ответил старший из пришедших, седой старик, выступая вперед.— Громада (общество, мир) прислала нас к тебе просить помощи.

— Ко мне? Просить помощи?

— К тебе, батьку, порятуй нас! — произнесли разом старики и опустились на колени.

— Встаньте, встаньте! — заговорил взволнованно

Кармелюк.— Перед господом одним преклоним колени. Как могу я порятовать вас? От кого? От чего?..

— От пана нашего и от управляющего, от ворогов лютых. Замучили они нас! Нет силы больше терпеть. Панщины (барщины) люди не выносят, по шести дней в неделю работают от зари до зари. Мало того, что добро свое все на него несем, еще нанимает нас в чужие села, не щадит и тяжелых баб... Девчонками-пидлитками торгуют... Ой, сам ты знаешь нашу жизнь...

Среди товарищей Кармелюка послышались гневные восклицания.

— Ой батечку, порятуй же нас, хоть не нас, а детей наших! — завопили старики, падая на колени и простирая к Кармелюку руки.

Слезы и вопли стариков произвели сильное впечатление на окружающих.

— Правда, правда! — заговорил Кармелюк отрывочно, взволнованно, словно рассуждая сам с собой.— Гей, кто знает этого пана и это село? — обратился он быстро к своим товарищам.

— Этого маршалка? — отозвался фурман.— Как не знать!.. Я его знаю... Го-го! Еще как знаю! С моим гаспидом ездил не раз к этому псу в гости... на село... Ха-ха-ха! — рассмеялся он не то горько, не то весело.— Ну уж село!.. Все хаты ободраны, давно ребрами светят. Скотины? А чтоб тебе хоть курка! Собак на все село если наберется две-три, та й годи! А детвора вся гола, как у плащеватых цыган... И пидлитки, почти дивчата, уже в лохмотьях... Ой мамо моя! Все пан, а еще больше управляющий ободрал так село!

— Вот что,— заговорил Кармелюк, обращаясь к старикам, с мольбой и с надеждой всматривающихся в его лицо.— Постараюсь я проучить без душегубства, а все-таки здорово проучить и эконома, и пана!

— Век бога будем за тебя молить! — вскрикнули старики и повалились Кармелюку в ноги.

— Век долгий атаману! — крикнули свои, а солдат подбросил вверх шапку и заорал неистово: — Ур-ра! Рады стараться, ваше благородие! Ур-ра!!

Кармелюк сам поднял ближайшего деда и махнул, чтобы встали остальные.

— Ой батьку атамане! — закричал, словно опьянен-

ный, фурман.— Прикажи сейчас связать мне руки, а то я от радости сам себя начну гладить!

Взрыв хохота наградил его за эту просьбу.

— Ну, слушайте же! — поднял голос Кармелюк.— Как только взойдет месяц — в поход, за ночь надо дойти до леса пана маршалка. Ты, фурман, как знаешь хорошо и дорогу, и село, и двор, и порядки, отправишься на челе.

— Все до ниточки, батьку!

— А теперь,— обратился Кармелюк к Андрею и к солдату,— накормите этих голодных, да и своим затравите червяка.

— Гайда! — махнули Андрей и солдат на собравшихся и отвели всех к кострам, с которых кашевары снимали уже дымящиеся казаны.

Кармелюк отошел в сторону и опустился на свалившийся ствол дерева. Кровь стучала ему в виски, шумело в ушах. Он стиснул голову руками и оперся локтями на колени. Только что происшедшие сцены глубоко взволновали и потрясли его. Так вот что произошло сейчас! Когда он еще стоял на раздорожье, не зная, на что решиться,— невежественный народ уже сделал его своим заступником.

«Ой доле, моя доле! — почти простонал Кармелюк, закрывая лицо руками.— Куда ты меня влечешь, куда несешь?..»

XVI

Вдруг до слуха Кармелюка донесся протяжный, долгий свист...

Он вскочил на ноги и прислушался. Через минуту свист повторился еще и еще раз, и вслед за тем раздался шум раздвигаемых ветвей.

На полянку шагах в десяти от того места, где сидел Кармелюк, вышли два рослых парубка; они почти тащили знакомую нам поповну из Деражни — Олесю. Руки ее были связаны за спиной, белый платочек, покрывавший голову, свалился на плечи, пушистые каштановые волосы, рассыпавшиеся теперь по плечам, окружали ее головку ореолом червонного золота; от быстрого движенья, от волнения лицо ее пылало. Она была очень

хороша в эту минуту. И ее нежное, испуганное личико, и стройная фигурка являлись прелестным контрастом грубым фигурам тащивших ее парубков.

— Пане атамане! Поймали пташку! — крикнул один из них.— Ехали нашим шляхом! Там есть еще и другая, постарше, назвалась матушкой из Деражни, да как услыхала, что к Кармелюку попала в руки, так от страха лишилась и ног, мы там ее в бричке и покинули, остались двое подле нее.

Кармелюк нахмурился.

— Кто такая? Матушка из Деражни? — переспросил он.

— Так, атамане, а это ее дочка.

— Так как же вы смели перенять их?! — крикнул грозно Кармелюк.— Разве забыли, что я запретил трогать людей добрых, а наипаче православных батюшек! Развязать панне руки! Горлом своим ответите вы мне за непослушанье. Пусть все знают, что Кармелюк не трогает добрых людей, что он карает только напастников, кровопийц!

При этих словах Кармелюка из груди Олеси вырвался подавленный возглас, и она как-то невольно подалась вперед.

— Что? Испугалась, панна? — произнес с ласковой улыбкой Кармелюк, с удовольствием останавливая свой взгляд на прелестном личике девушки.— Не бойся, разбойник Кармелюк тебе не сделает зла.

— Я и не боюсь,— заговорила дрожавшим от волнения голосом Олеся.— Когда схватили сразу — испугалась... и за бедную маму, и за себя, а когда узнала, что к Кармелюку ведут, у меня страх прошел.

— Как? — изумился Кармелюк.— Ты не испугалась страшного разбойника Кармелюка? Да ведь он же с живых людей срезывает ремни себе на очкуры, выкалывает глаза!..

— Все это лгут паны да экономы, а за ними со страху и жиды... А я знаю, что ты человек добрый, заступающийся за несчастных.

Кармелюк с изумлением уставился на Олесю.

Пламенный взгляд девушки, ее слова и глубоко взволнованный голос, свидетельствовавший об искренности их, озадачили и тронули его.

— Спасибо на добром слове, панно,— произнес он,

наклоняя голову,— только далеко это слово от правды.

— Нет, нет! — перебила его горячо Олеся.— Когда многие благословляют твое имя, то значит ты друг, ты защитник наш!

— Да может ли быть другом тот, у кого кровь на руках и грех на душе? — задал Кармелюк вопрос Олесе и сам удивился, почему это он вступает в такие интимные разговоры с незнакомой девушкой. Но какое-то непонятное чувство влекло его облегчить свою душу перед кем-либо, который бы понял поднявшуюся в ней бурю, и ему почему-то казалось, что эта панна понимает его, что он говорит с давним и близким другом. После пережитого волненья слова незнакомой девушки, горячие, воодушевленные, вливались целительным бальзамом в его измученную душу.

— Кто для спасенья братьев принимает грех на свою душу, тот чист,— ответила воодушевленно Олеся.

И при этом ответе Кармелюку вспомнились невольно слезы, вопли жены и назойливое напоминанье ее о грехе, о каре...

Невольный вздох вырвался из его груди.

— Эх, панно, панно! Твоими бы устами да мед пить... Только не все так думают... Поживешь и ты дольше и с отвращеньем отвернешься от разбойников-душегубов.

— Никогда,— вскрикнула Олеся,— Кармелюк разбойником-душегубом не будет! Когда бы я мужчиной была, я пошла бы за вами.

— Ай да панна! Козырь-дивка! — раздались вдали шумные восклицанья среди товарищей Кармелюка, прислушивавшихся с живейшим любопытством к речам панны.

Олеся вздрогнула и тут только обратила внимание на большую группу людей, расположившуюся вокруг двух костров.

— И выпить бы след за ее здоровье! — выкрикнул громко солдат.

— Правда, брате, да только теперь не время,— осадил его Кармелюк.— Собирайтесь же живо, а я проведу панну. Коня мне на Черный шлях,— приказал он и обратился к Олесе: — Прости же, ясная крале, за тре-

вогу, которую мы причинили тебе, прости, не поминай лихом! А теперь дай мне руку; твоя мать, должно быть, уже потеряла голову со страху, дожидаючи тебя. Идем, я хочу вернуть ей поскорее ее чудную доню.

Олеся вспыхнула, подала руку Кармелюку, и они пошли по узкой, едва приметной тропинке, ведущей в глубь леса. В некотором отдалении за ними последовал молодой хлопец, ведя под уздцы оседланного вороного коня.

Несколько времени и Кармелюк, и Олеся шли молча. Луна еще не взошла; разлившаяся под деревьями тьма лежала мертвым покровом. Слышно было только потрескиванье попадавших под ноги сухих ветвей.

Кармелюк крепко держал в своей руке горячую ручку Олеси, время от времени предупреждая Олесю о препятствиях, попадавшихся на ее пути.

Олеся чувствовала, как сердце ее тревожно трепетало в груди, затрудняя дыханье, разливая лихорадочный жар по всем жилам.

Герой, о котором она слышала столько чудесных рассказов, который являлся не раз в ее воображении, шел теперь рядом с нею, держал ее руку. О, воображение не обмануло ее! И этот гордый стан, и прекрасное лицо, и глаза, и насмешливые и печальные. Она их видела не раз... не раз... Но отчего же улыбка его так печальна? Отчего столько грусти светится в его глазах? Отчего он вздохнул так глубоко, когда спросил: «Может ли быть другом тот, у кого грех на душе?» Неужели же он одинок, несчастен?..

Тысячи вопросов всплывали ей на ум, тысячи слов, хороших, теплых, просились на язык. Но все те речи, с которыми она, бывало, в воображении своем обращалась к Кармелюку, замирали теперь в сердце.

Непонятное смущенье овладело ею. Ей хотелось сказать этому герою так много, много того, о чем думала она не раз в ночной тиши, но уста ее не в силах были открыться: мысли, высказанные при необычайном нервном возбуждении, словно истощили ее вконец, и рука ее лишь слабо вздрагивала в могучей руке Кармелюка. Наконец Кармелюк прервал молчание:

— Чего замолкла, панно любая? Быть может, опасаешься, не доверяешь мне?

— Нет... Нет...— ответила живо Олеся.— Зачем ты

говоришь так?.. Могу ли я?.. Постой! Скажи, если можно: куда ты собираешься?

— Ох, панно любая, зачем тебе знать наши дела? Иду поправить кривду пана маршалка, у которого тысяча душ умирает от голода, а хлеб гниет в закромах.

— Берегись! — вырвалось горячо у Олеси.— Паны уже настороже, собирают команды... Могут поймать.

— Об этом нам думать не приходится... От своей доли не уйдешь... В конце концов поймают ведь все равно.

— И тогда что?

— Тогда уж не помилуют... Замордуют (замучат) на смерть.

— Ой боже наш! Прошу тебя.. Будь осторожен... Береги свою жизнь...

— Для кого? Для чего?

— Для всех нас.

— Спасибо, спасибо, любая панно, за ласковое слово,— произнес взволнованно Кармелюк, сжимая руку Олеси.— Давно не слышал я таких речей. Господь благословит тебя за ласку к разбойнику-гайдамаку. Эх, и счастлив же будет тот, кто назовет тебя своей супругой!..

При этих словах Кармелюка Олеся почувствовала, как все лицо ее вспыхнуло, рука вздрогнула, что-то закипело на сердце. Она хотела сказать Кармелюку, что никогда, никогда не назовет никого своим супругом, но что-то сжало ее горло, и слова замерли на устах.

Между тем тропинка начала круто подыматься вгору... Они сделали еще несколько шагов и вышли на дорогу, где под деревьями, окаймлявшими ее, стояла бричка с полумертвой от ужаса матушкой и связанным кучером. Двое гайдамаков сторожили пойманных.

Кармелюк подошел к матушке и, поклонившись ей учтиво, попросил прощенья за причиненную его глупыми хлопцами тревогу ей и ее дочери. Затем он помог сесть Олесе, приказал развязать кучера и велел ему рушать (трогать), заявив, что для большей безопасности проведет панство до опушки леса, стоявшим же в ожидании приказания хлопцам велел немедленно присоединиться к товарищам.

Лошади тронули. Все молчали; полумертвая от стра-

ха матушка с ужасом посмотрела на страшного разбойника, гарцевавшего рядом с ними.

Олеся также молчала: присутствие матери стесняло ее, да и Кармелюк безмолвствовал, и она не решалась нарушить тишину.

Между тем луна уже поднялась высоко. Над просекой, по которой они ехали, сияло лазурное, прозрачное небо.

Лунный свет озарял и лицо Кармелюка; оно было бледно, сосредоточенно и печально. Нахмуренные брови говорили о том, что он занят какой-то серьезной мыслью.

«О чем он думает? — допытывалась в душе Олеся, посматривая на Кармелюка.— Почему лицо его так печально? Есть ли у него жена, дети? Какое горе носит он в сердце? Ох, если бы можно было поговорить с ним, как с близким, как с другом, разогнать тучи с этого чела! Но увидится ли она еще когда-нибудь с ним? Неужели же никогда? Никогда!..»

Кругом было тихо; молчание нарушал только стук колес о корни деревьев да топот лошадиных копыт.

Время от времени Олеся закрывала на минуту глаза, как бы прислушиваясь к той дивной гармонии, которая росла в ее груди, и, открывши их, она снова видела прекрасного казака, скакавшего подле нее...

«Ах, если б можно было так ехать долго-долго... всю жизнь...» — словно шептал ей какой-то сладкий, вкрадчивый голос.

— Что, панно милая, вздремнула? — отозвался наконец Кармелюк, обращаясь с ласковою улыбкой к Олесе.

— О нет! — ответила порывисто Олеся и добавила тише: — Так хорошо, так пышно кругом...

— Да, ночь раскинулась на диво! Светло вам будет ехать. Да вот уже и опушка.

— Уже? — переспросила Олеся, и в голосе ее ясно прозвучали разочарование и сожаление о том, что скоро доехали.

— Видно, и кучеру не очень-то весело ехать рядом с Кармелюком,— усмехнулся Янко, указывая на хлопца, усердно подгонявшего лошадей.

Через несколько минут лошади вынесли бричку на опушку леса. Перед путниками развернулась равнина,

вся залитая лунным сияньем. С одной стороны тянулась лишь темная бархатная линия уходившего вдаль леса, а туда, вперед, сколько хватало глаза, расстилалось одно бесконечное море, дремавшее в лунном сиянье благоуханной серебристой степи.

Кармелюк придержал коня; остановилась и бричка.

— Ну, прощавайте, добрые люди,— произнес он, снимая с головы шапку.— Прости, паниматко, еще раз за то, что напугали тебя мои неразумные хлопцы. Прости и ты, ясная панно! Оставайся здорова. А это прийми от меня на память.— Он снял с мизинца дорогой перстень и надел его на палец Олесе.— Прощавай же. Дай боже тебе счастья и доли. Да не забывай в своих молитвах и горемычного гайдамака Кармелюка.

— Никогда, никогда! — едва смогла прошептать Олеся.

Кармелюк поднес ее руку к своим губам и, махнувши еще раз шапкой, крикнул:

— Рушай!

Лошади подхватили, и бричка быстро понеслась по укатанному пути. Через несколько минут она была уже далеко от леса.

Олеся оглянулась назад: у опушки леса все еще виднелся неподвижный, черный силуэт казака.

Но вот бричка спустилась с пригорка, и черная бахрома леса исчезла из глаз.

Теперь путники окунулись совсем в сизую безлесную степь. Кругом разливалась она, благоуханная, серебристая, безбрежная... Дорога извивалась впереди блестящей серебристой лентой и скрывалась за горизонтом.

Аромат цветущих трав наполнял воздух дивным благоуханьем. Оно проникало во все существо человека, и тревожило, и волновало сердце, и наполняло его смутными мечтами о чем-то дивном, чарующем, уносящем душу далеко за пределы этой благоуханной степи.

Тысячи невидимых голосов наполняли ее дивной гармонией... Чуялось, что под каждым лепестком, под каждой благоуханной былинкой зарождались с дыханьем этой дивной ночи мириады новых жизней... Казалось, все кругом дышало и пело таинственною радостью любви...

А ночь плыла в вышине, торжественная, прозрачная, лучезарная...

Убаюканная ритмическим покачиваньем брички, матушка мирно дремала. Кучер изредка посвистывал на лошадей.

Олеся оглянулась назад.

Лес уже давно скрылся из виду. За ними, перед ними, вокруг них расстилалась все та же безлюдная, серебристая даль.

Глубокий вздох вырвался из груди девушки, она подняла руку и горячо прижалась устами к тому месту, где еще горел поцелуй Кармелюка.

Пан маршалок сидел, весь красный и взволнованный, в роскошном салоне своей сильфиды [40]. Стеклянные двери комнаты были открыты на широкую террасу, выходившую в цветущий сад; теплый весенний воздух свободно проникал в покои, но пан маршалок, несмотря на это, болезненно подергивал плечами, словно его трепал порядочный озноб.

На турецком канапэ, обложенном расшитыми золотом и бисером подушками, лежала прелестная Розалия, утопая в прозрачных вышивках и кружевах. Лицо ее было тоже расстроено; в руке она держала дорогой флакон с какими-то солями, который то и дело подносила к слегка покрасневшему кончику своего носа.

На столе перед паном маршалком лежало распечатанное письмо пана Янчевского. Этот злополучный лист бумаги и был причиною расстройства почтенного супружества.

Сегодня, еще утром, арендатор маршалковских Млынов, степенный жид Лейзар, прибежал, едва переводя от ужаса дух, к пану маршалку и сообщил ему об ужасном происшествии в Овсянниках: об убийстве Доротеи, о разграблении страшными разбойниками всей усадьбы — амбаров, комор и даже стодолы. Лейзар умолял пана маршалка принять его с женой, детьми и всем добром во двор, говорил, что у Кармелюка страшное войско и что за ним идут все хлопы.

Ужасная новость поразила как громом пана маршалка и совершенно сразила его прелестную супругу. Впрочем, после первых минут ужаса пан маршалок на-

чал утешать себя и свою супругу тем, что все это могли быть только слухи, вызванные страшною запискою, полученной Доротеей на обеде у судьи... И вот еще письмо от пана Янчевского, подтвердившее со всеми подробностями эту ужасную весть...

Кроме сообщения о страшном убийстве, Демосфен писал маршалку, что уже доподлинно дознано, что предводитель банды — гайдамак, этот пресловутый Кармелюк,— есть не кто иной, как один из хлопов Доротеи, отданный ею в солдаты, и что вся эта шайка уже обойдена. Далее Демосфен сообщал, что собрал несколько помещичьих команд и стоит с панством в урочище Гончары; следует, чтобы пан маршалок, собрав своих верных дворовых слуг, спешил туда же к нему. Верстах в пятнадцати от урочища, в селении Рудне, находится уже и небольшая команда с капитаном Семеновым во главе, вытребованная им, Янчевским, из Каменца; все они соединятся на рассвете с москалями и накроют шельму-гайдамака. Демосфен настойчиво требовал, чтобы маршалок выступал тотчас же по получении письма: «Поспешность в этом деле будет залогом нашей виктории,— заключил он высокопарно свое послание.— Надо уничтожить гидру, пока она не охватила весь край».

XVII

Внизу стояла еще приписка, небольшая приписочка, но она-то больше всего и взволновала пана маршалка, в ней значилось всего несколько слов: «А бестия фурман мой Онысько убежал со двора,— говорят, ушел к Кармелюку. Боюсь, что негодяй может наделать нам много хлопот: он бывал со мною всюду и хорошо знает расположение и устройство панских фольварков и наличность слуг. Да, впрочем, на подлых схизматов теперь полагаться нечего: они все липнут к этому проклятому гайдамаку, как железо к магниту».

По какому-то тайному соображению пан маршалок не прочел своей супруге этой приписки, но глаза его то и дело возвращались к ней... И теперь, пробежав ее в двадцатый раз, он снова не мог удержаться от внутреннего проклятия, предпосланного Демосфену и его кучеру.

— А, сто чертей тебе, старый дурень! Не мог удержать бунтливого хлопа, а теперь еще хвалишься, выбравшись из дому в поле! Конечно, тебе теперь с командами безопаснее, потому-то ты и сзываешь их со всех сторон, ибо, по всякому здравому рассуждению, клятый пес приведет прежде всего гайдамаков на твою дурную голову, а все же... Фу ты! Сто фур бочек дяблов и задрыпанная ведьма в придачу! Жили себе сытно, мирно, беспечально — и вдруг... Снова отрыгнуло пекло этих псявер!

Маршалок шумно вздохнул и тяжело откинулся на деревянную спинку дивана.

— Матка боска! Пани найсвентша! Рятуй нас! Спаси! — застонала плаксивым голосом пани Розалия.— Я умру!.. Я не могу так жить... Что хочешь, пане, вези меня в Каменец, в Варшаву, хоть даже в Киев, но здесь — ни за что...

— Моя крулева,— ответил сладко маршалок,— все, что ты хочешь и куда хочешь... Завезу даже в Париж... Но прежде надо схватить этого дябла и раскатовать банду (шайку). Вот и пан Демосфен зовет... Долг, моя душка, и гонор — прежде всего...

— Но я ни за что не останусь одна в этой тюрьме, ни за что! Ни за что!

— Мое счастье, мое злато! Первая забота — о тебе. Конечно, тебя надо немедленно увезти в безопасное место, но как это сделать в этот момент? Как двинуться с места, не зная, где засел этот бестия, этот каналья? При неизвестности безопаснее сидеть дома, чем выехать в поле, где за каждым кустом — гайдамак, на каждом перекрестке — засада. Я готов рискнуть собой для разведок, но не моим бесценным сокровищем...

В это время в комнату долетел какой-то ничтожный шум, и пан маршалок, схватившись с кресла, бросился к открытой на террасу двери и принялся запирать ее на щеколду и на засов. Засов плохо ходил, и пан Фингер, сопя и ворча, теребил его, забивал кулаком и бранился.

— Да не запирай дверей, не трать сил! — заметила с презреньем Розалия.— От гайдамаков не запрешься: они влезут и в окна.

— Стонадцать перунов им в зубы, да и всем этим московским порядкам! Насадили исправников, да

асессоров[41], да москалей, а не могут доброго шляхтича от гайдамаков охранить. Ну, я ж им покажу, я ж им дам! Я их!..

— Но что же ты думаешь делать? — перебила его брань Розалия.— Я вовсе не хочу, чтобы меня постигла участь несчастной пани Доротеи!

— О Езус-Мария! — воскликнул маршалок и тяжело опустился на диван.

— Ну, что же ты думаешь делать? — вскрикнула уже истерично Розалия и снова поднесла граненый флакон к своему носику.

— О зараз, зараз, моя крулева, дай отдышаться! — Маршалок провел шелковым клетчатым платком по лбу и заговорил уже спокойнее: — Другого ничего не придумаю, а сейчас же соберу вернейших слуг,— ма ся разумець, католиков, а не проклятых схизматов,— и отправлюсь...

— Со двора?..

— Ну конечно.

— Куда же?

— Але к тому красномовцу (оратору) на посполитое рушение (общее ополчение)!.. Но у меня есть и свой план...

— И покинешь меня здесь одну? — От гнева и раздражения Розалия даже вспыхнула вся и вскочила с места.

— Но, моя радость, ведь это для твоего же спасенья!

— Для моего спасенья!? — вскрикнула запальчиво Розалия.— Для моего спасенья ты заберешь всех верных людей и уедешь с ними со двора, оставив меня во власти подлых хлопов?.. Да еще, прибавлю, и голодных, от которых ты и спешишь убежать... Да, без возражений,— она грозно топнула ножкой,— и которые тотчас же снесутся с Кармелюком и призовут его сюда.

Маршалок побагровел:

— Но, моя дрога, для тебя же все...

— Нет, нет! Не хочу слушать! Так-то ты любишь меня? У, подлый, подлый трус! Оставляешь одну женщину, а сам спасаешься от опасности!

— Але... Розуню...

— Не стану ничего слушать! Если ты едешь, и я еду с тобою!

— На бога! — вскрикнул маршалок, подбегая к жене и хватая ее за руки.— Этим ты испортишь весь мой план... Ну, Розуню, ну, крулева моя, дай же вымолвить слово,— зачастил маршалок, целуя то ту, то другую ручку жены и стараясь не дать ей возможности прервать его,— дай только мне сказать тебе, что я задумал, а если тебе мой план не понравится, то все будет по-твоему, все будет, как ты захочешь. Ну, присядь же, выслушай сначала.

Розалия взглянула с брезгливым недоверием на своего запыхавшегося, багрового супруга, однако дозволила усадить себя на диван и даже произнесла повелительно и нетерпеливо:

— Ну!

— Ну, моя дорогая краля, вот послушай же: этот сумасбродный Демосфен, черт бы его побрал с его проклятыми затеями, выдумал какое-то новое посполитое рушенье, забрал себе в голову, сумасшедший, что поймает Кармелюка. Ну и пусть его таскает по лесам свое сало, благо оно никому не нужно и пригодится лишь для сапог гайдамакам!

Розалия бросила презрительный взгляд на обвислую, жирную тушу мужа, взгляд, ясно говоривший, что скорее это сало более чем не нужно, но маршалок не заметил язвительного взгляда супруги и продолжал далее:

— Я же считаю своим первым долгом оградить тебя, мой райский цветик, от всяких опасностей, а посему, соединившись с его командами, я отправлюсь в Рудню, к Семенову, капитану присланной из Каменца команды... Добрый москаль мне знаком и за гроши сделает все, что угодно; потребую, чтобы он дал мне душ пятнадцать команды — для препровождения больной жены, тяжко больной, до Каменца. А когда я устрою тебя в безопасном месте, тогда — проше панство,— и маршалок молодцевато выпрямился и даже поднес руку к усам,— и тело, и душа моя к вашим услугам!

— Хорошо,— перебила его нетерпеливо Розалия,— но что же мешает поехать с тобою и мне, а оттуда уже двинуться к Каменцу?

— Что мешает? Але разве крулева моя не знает этого сумасбродного Демосфена? Ведь, увидев тебя в добром здоровье, он упрется как бык на том, чтобы не-

медленно сделать облаву и даже пригласить тебя сопутствовать нам, а ведь ты знаешь, богиня моя, чем могут закончиться такие шутки.

Розалия закусила губки: в словах маршалка была своя доля правды. Хотя жажда новых впечатлений и манила ее к романтическим приключениям, но непременным условием этих приключений должна была быть полная безопасность, а между тем защита мужа, а также и Демосфена не внушала ей большого доверия, и потому встреча со свирепой шайкой бандита вовсе ей не улыбалась.

— Хорошо, но зачем же тебе ехать к Демосфену, а не отправиться прямо к капитану в Рудню и отослать меня оттуда с прикрытием в Каменец, а самому двинуться тогда к Демосфену?

— Да, это идея,— растерялся маршалок,— конечно... весьма возможно... хотя немножко... как будто не по-рыцарски.

— Ха! А по-вашему, по-рыцарски оставить женщину одну среди озверевших крестьян? По-вашему, по-рыцарски забрать от нее для охранения своей жирной персоны всю верную команду?

— На раны пана Езуса! Ведь я все о тебе и для тебя!.. А сам... Я плевать готов на этого пса... И покажу им всем на облаве!..

И для придания большей силы своим словам маршалок надул щеки, нахмурил брови и принял вид нахохорохорившегося индюка.

— Довольно! — крикнула повелительно возмущенная супруга.— Вы отвезете меня сейчас же к капитану.

— Твоя воля — закон, моя царица... Одно только...

— Без «только»! — крикнула уже гневно Розалия.

Как вдруг раздался робкий стук в дверь, и в комнату вошел старый дворецкий маршалка.

При виде его маршалок позеленел.

— Что там? Чего пришел? Чего молчишь? — окрикнул он дрогнувшим голосом старика, подозрительно всматриваясь в его лицо.

— Осмелюсь доложить ясному пану, что к фольварку нашему прибыл егомосць граф Краевский и просит, чтобы позволили ему...

— Врешь, старый пес! Кармелюка хочешь во двор впустить,— перебил его грозно маршалок.

— Да помилует нас пречистая панна! — вскрикнул с неподдельным ужасом старик.— Пусть вельможный пан сам взглянет на гостя. Если он похож на проклятого хлопа, то разве уж совсем ослепли мои старые глаза.

— Это граф — старик? Один или со слугами? — спросила быстро Розалия.

— Совсем молодой, ясновельможная пани, с одним лишь слугой,— ответил дворецкий.

— Н-да... но граф ли еще? — сомневался маршалок.

— Почему же тебе самому не взглянуть, не удостовериться? Отчего же не дать на время приюта благородному рыцарю? Лишний гость теперь не помеха.

— А управитель здесь? — переспросил еще не совсем доверчиво маршалок.

— Здесь, на крыльце ожидает приказаний панских.

— Ну так идем.

Захватив с собой винтовку, пару пистолетов и саблю, пан Фингер вышел на крыльцо, приказал управителю собрать всю дворовую команду в полном вооружении и, сопровождаемый такою охраной, двинулся к браме.

— Кто естесь? — спросил он, засматривая осторожно в крохотное окошечко, проделанное в воротах.

За брамой, на другой стороне рва, сидел на дорогом вороном коне одетый по последней моде молодой шляхтич; за ним стоял, держа под уздцы гнедого коня, человек атлетического сложения, одетый просто и хорошо вооруженный,— очевидно, его слуга.

— Граф Эдмунд Краевский,— ответил приезжий,— прошу у вельможного пана маршалка гостеприимства.

— А откуда граф прибыл, куда направляется и зачем? — продолжал допрашивать маршалок.

— Из Кракова к графу Ржевусскому[42] в Киев по поручениям от князя Огинского.

Этот ответ озадачил маршалка.

«Важная особа! — подумал он.— Неловко отогнать, но все-таки... кто его знает? А будто опасно, хотя по виду, несомненно, граф».

— Вот что, вацпане,— обратился он тихо к управляющему,— пошли сейчас кого-либо на башту (башню), пусть зорко осмотрит окрестности, не припряталась ли где-либо шайка?

— А еще, ясновельможный пане, пошлю и верхового облететь поблизу все ложбины и овраги.

— Досконале.

— Ne refusez donc pas, chèr marechal! * — крикнул граф.

Эта французская фраза окончательно успокоила пана Фингера, но он все-таки еще не решался дать приказ опустить мост.

— С большой радостью! — крикнул он тоже в окошечко.— Граф — дорогой гость... весь мой двор к его услугам... Но времена теперь так ужасны, что его графская мосць извинит, конечно, задержку и излишнюю осторожность... mai que faire...** Я попрошу графа, чтобы он передал в окошечко оружие свое и своего слуги, а потом, въехав в браму, позволил бы себя осмотреть и обыскать слугу... Оружие будет ему тотчас же возвращено...

— Согласен,— засмеялся беспечно приезжий.

Между тем, лишь только закрылись двери за маршалком, Розалия быстро подошла к зеркалу и бросила на себя пытливый взгляд. Правда, она была несколько бледна и расстроена, но эта бледность не умаляла ее красоты. Легкий белый капот, почти весь состоявший из вышивок и кружев, как нельзя лучше шел к ней, придавая еще более воздушности и нежности ее стану. Слегка поправив волнистые бандо своих черных блестящих волос, Розалия стала с нетерпением ожидать возвращения мужа.

«Кто этот граф? Молод... Но красив ли? Куда едет? Быть может, из-за границы?.. Один... Ищет приюта... Это так поэтично... и интересно... Точно в романе... Ах, чего же они не идут?»

Однако ждать пришлось довольно долго.

Но вот наконец в соседнем покое раздались громкие шаги и звуки двух разговаривающих голосов; в одном из них Розалия тотчас же признала голос своего мужа; другой голос — звонкий, молодой — принадлежал, очевидно, гостю.

Сердце Розалии тихо екнуло в груди...

Раздался стук в двери.

---

* Не відмовляйте, дорогий маршалку! *(Франц.)*
** ...але що зробиш *(франц.)*.

— Войдите,— ответила Розалия.

Маршалок отворил дверь и пропустил вперед себя гостя — графа Краевского, высокого, стройного красавца, мужчину в самом цвете лет. На нем был безупречный костюм: модные сапоги с отворотами, дорожный серый сюртук с пелериной и высокий белый галстук, обматывавший шею вплоть до самых ушей. В руке прибывший держал перчатки и дорогой хлыст, и только пистолеты, прикрепленные к поясу, надетому сверх сюртука, нарушали вполне элегантный и светский вид красавца графа. Правда, вопреки моде, он носил еще усы, но это маленькое уклонение придавало его мужественному и прекрасному лицу еще более красоты.

Легкий, едва уловимый румянец выступил на лице Розалии: такого красавца она не ожидала встретить.

— Прости, моя крулева, что я привел пана грабя прямо к тебе,— обратился к жене повеселевший маршалок,— но ввиду твоей болезни и, так сказать, осадного — хе-хе-хе! — положения нашей твердыни...

— Это я должен просить прощенья у вельможной пани,— произнес граф, отвешивая изящнейший поклон,— за то, что позволил себе так настойчиво требовать гостеприимства... Но лошадь моя...

— Как может пан грабя говорить об этом? — перебила его с обворожительною улыбкой Розалия.— Мы всегда рады гостю... Прошу пана грабя садиться и считать, что он не в гостях, а дома.

— Целую ручки ясной пани! — ответил граф, еще раз кланяясь и осторожно прикасаясь усами к протянутой ему прелестной ручке.

Розалия опустилась на канапэ, гость и маршалок поместились в креслах.

— Какому счастливому случаю обязаны мы тем, что видим у себя пана грабя? — обратилась Розалия к графу.

— Собственно, сюда, в эти края, завела меня шляхетская прихоть. Видите ли, вельможная пани, я еду из Кракова от князя Огинского к графу Ржевусскому, но, конечно, шановному панству известно о проделках этого шельмы Кармелюка?

Маршалок только махнул рукой, а Розалия насмешливо улыбнулась.

— Так вот,— продолжал граф,— хотя маетности

мои не здесь, а на Волыни, но, услышав столько толков об этом подлом хлопе, я решил завернуть сюда, чтобы принять участие в панском рушенье и, так или иначе, поймать пса!

— Пан грабя настоящий рыцарь! — произнесла с восхищением Розалия.

— Ха-ха! Молодость! Ого-го! Когда я был в таких летах, где только не носило мою голову! — маршалок заколыхался и весело потер себе руки.

— Нет, и кроме молодости, у нашего гостя все достоинства рыцаря! — перебила мужа Розалия.

— Вельможная пани слишком щедра на похвалы,— граф наклонил голову.— Я думаю, что не такой уже подвиг поймать бунтливого хлопа, хотя бы он собрал вокруг себя и сотню подобных себе гайдамаков... А сапоги, которые надеюсь сшить себе из шкуры этого гайдамака Кармелюка, будут служить мне долго.

— Хо-хо! Верно! Шкура у этого дьявола уже добре выдублена! — заколыхался снова маршалок, совершенно повеселевший и приобретший даже некоторую легкость движений в присутствии отважного графа.

— Таким образом,— продолжал граф,— я еду, чтобы присоединиться к панскому отряду, который, как я слышал, собрался здесь, где-то недалеко... Спрашивал в одном, в другом селе, где собираются команды. Но так как подлые хлопы давали мне самые противоречивые ответы, то я уразумел, что бестии желают спровадить меня к Кармелюку в зубы, и решил заехать к вельможному панству, чтобы получить более точные сведения.

— И как пан грабя угадал, как нельзя лучше! — вскрикнул шумно маршалок, ударяя себя по коленям.— Ибо я только что получил верное сведение, что сборный пункт назначен в участке Гончары, часах в четырех езды от нас! Я непременно должен немедленно ехать туда, так вот предлагаю и графу со мной.

— Что ты, мой милый! — всполошилась Розалия.— Граф так устал, должен отдохнуть.

— Весь дом мой к услугам пана,— повел любезно рукою хозяин,— но графу придется остаться одному, так как и ты ведь едешь...

XVIII

— Нет, я могу и не ехать... Видите ли, граф,— обратилась к гостю Розалия с обворожительною улыбкой,— я со страху ни за что здесь не хотела остаться одна без моего дорогого мужа и требовала, чтобы он взял меня с собой. Конечно, он был совершенно прав, говоря, что мне неловко и опасно ехать на эту облаву, а его зовет туда шляхетский долг, и он всю жизнь не простил бы себе, если бы ради меня не поехал туда. Но — что делать! Женщина всегда останется женщиной, и сердце над нами всегда пан...

При этих словах она бросила украдкой в сторону графа очаровательный взгляд.

— Да, конечно, моя люба,— заметил супруг,— тебе и опасно, и неловко ехать туда, но раз ты хотела, для меня было неудобно.

— Прости, мой друг, ты прав.— Розалия протянула руку своему растаявшему от неожиданной ласки супругу. Он схватил нежную ручку жены, покрыл ее громкими поцелуями и, запыхавшись от этого порыва, откинулся с шумным вздохом на спинку кресла.

— Но теперь обстоятельства ведь изменились,— продолжала Розалия,— граф с частью нашей команды может защитить меня...

— Головой ручаюсь! — ответил с оживлением граф.

— Merçi *,— и хозяйка подарила своего гостя дивною улыбкой, а потом торопливо добавила: — Мне страшна только ночь, а к утру я смело отправлюсь с графом в вашу облаву... тем более, что самые сборы этого посполитого рушенья затянутся, как видится...

— Да, да, конечно...— махал головой довольный супруг,— и я, с своей стороны, прошу пана грабя остаться у нас хоть до утра... Мне необходимо явиться на пункт, как маршалку уезда... И я, быть может, еще успею вернуться домой к ночи. Нужно ведь пошарить и в моих лесах по дороге,— при этих словах маршалок придал своему жирному лицу самое грозное выражение,— не свил ли лайдак себе гнезда у меня? Так вот, позволю себе рассчитывать на любезность графа.

— Величайшей честью почту для себя защищать

* Дякую *(франц.)*.

вельможную пани не только от Кармелюка, но и от всех полчищ Зализняка и Гонты, если бы только они могли воскреснуть! — воскликнул с жаром граф и, прижавши руки к груди, наклонил голову.

— Не знаю, чем и заплатить за любезность графа,— нежно смутилась Розалия.

— Итак, мой ангел, ты не будешь тревожиться до моего возвращения?

— С таким рыцарем я не буду бояться даже выступить завтра в поход против разбойника!

— Го-го! Пан грабя просто волшебник! — воскликнул шумно маршалок.— И если все наши прелестные пани и паненки выступят под его командой на проклятого хлопа, то я уверен, что не дольше как через неделю мы будем присутствовать в Каменце на его казни. Но,— пан маршалок поднялся с места, за ним встал и граф,— буду торопиться. Итак, оставляю мою жену, наилучшее мое сокровище, на попечение пана до ночи...

При последних словах маршалка по лицу Розалии скользнула досадливая гримаса...

— Но, друг мой, зачем же тебе рисковать? — заметила она торопливо.— Вечером теперь небеспечно, и я не буду иметь покоя, если не буду уверена, что ты выедешь назад не раньше завтрашнего утра, а то и подождешь нас там...

— О, вельможная пани имеет рацию,— вмешался и граф,— если чего и надо теперь опасаться, то именно ночной поездки. Проклятый гайдамак только в потемках и делает свои нападения; говорят, что у него в каждом лесу припрятано по шайке. Он устраивает по всем шляхам засады, перекапывает дороги, прикрывает хворостом заранее приготовленные ямы, и будь ты хоть трижды геркулесом, но если свалишься с конем в яму, то не надо быть и Кармелюком, чтобы прикончить самого отважного рыцаря.

— О так, слушай, друг мой, пана грабя,— добавила с нежной настойчивостью Розалия, обращаясь к мужу.— Я прошу тебя: не возвращайся ни в каком случае раньше завтрашнего утра.

— Чтобы избавить тебя от беспокойства, обещаю,— произнес торжественно маршалок и признательно поцеловал руки жены.— Итак, до завтра... Надеюсь, что застану тебя в добром здоровьи.

Маршалок еще раз облобызал обе руки супруги, попрощался с графом, попросил беречь его драгоценнейшее сокровище и наконец удалился.

Облегченный вздох вырвался из груди Розалии, и она томно откинулась на спинку дивана.

Перспектива провести целые сутки с глазу на глаз с загадочным и красивым графом представлялась ей весьма заманчивой, да и граф, как казалось Розалии, был весьма рад этому.

Между оставшимися завязался оживленный разговор: граф оказался весьма интересным собеседником. Он много говорил о заграничной жизни, о пышности и благоустройстве городов, особенно Парижа. Так как Розалия интересовалась последним, то граф довольно порассказал ей о нравах парижских женщин, об эксцентричности мод, о свободе взаимных отношений и об эмансипации любви...

— Ах, Париж, Париж! Мечта моя! — только вздыхала пани маршалкова.

Потом разговор перешел к прошлому графа, которое так интересовало Розалию. Граф, по приглашению, пересел ближе, на диван, и стал ей передавать о многочисленных битвах, в которых он принимал участие, о страшных приключениях на охотах, об отважных дуэлях...

— И графу не страшно было убивать людей? — любопытствовала неподдельно Розалия, увлеченная и рассказами графа, и его рыцарством.

— В пылу битв,— ответил он грустно, словно опечаленный воспоминаниями,— себя не разберешь... Летишь, как в чаду, и действуешь, как помешанный...

— Но все же, вероятно, защемит сердце, когда нанесешь живому, счастливому своею рукой боль?

— Да... конечно, пани... Но про это лучше знать здешней пышной шляхте: она ведь ежедневно наносит боли и муки своим подвластным,— уронил мрачно граф.

— Но это разве люди? Это — быдло, бесчувственное, дикое, да и свои руки шляхта пачкать не станет... разве в крайности...

— Ха-ха! — вырвался у графа не то взрыв хриплого смеха, не то звук рыкания.

— До правды, мой дорогой гость... Но какое чув-

ство, когда убьешь первого? — допытывалась кокетливо пани.

— Первого? — переспросил граф, и в светлых глазах его сверкнул злобный огонь.— Первого я убил изверга... и раздавил его с наслаждением... Много людской крови налакалась эта... эта тварь...

— Но когда она, безжизненная, пала к панским ногам?

— Когда она пала? — граф вдруг невольно побледнел и провел рукой по высокому лбу, словно желая стереть с него брызги крови.— Когда пала эта тварь и распростерлась... да... было ужасно... Французы говорят, что труп врага веселит... Нет, не веселит!

— Ах! — Розалия закрыла свои искрящиеся глазки руками.— Я была права... Я чувствовала, что у графа нежное, чувствительное, отзывчивое сердце...— И, заметя, что ее собеседник сидел мрачный как туча, с опущенною головой, добавила нежно: — Но перейдем к другим темам! — И томная пани маршалкова, положив случайно свою теплую, влажную ручку на могучую, словно вылитую из бронзы руку своего собеседника, заговорила о страданиях своего одинокого сердца, о жажде любви, беззаветной и жгучей, сопряженной с риском, с опасностями, но которая захватила бы всю душу, все существо.— Но граф, кажется, меня не слушает? — прервала она вдруг свой пылкий монолог, надув обиженно губки.

— Я? Не слушаю? — вскинулся граф, переменив сразу выражение своего лица и устремив на Розалию пламенный взгляд.— Боже, каждое ваше слово... падает вот на это место огнем... Я ведь и сам любитель рискованных предприятий,— и он поднес благоуханную ручку хозяйки к своим губам.

— Будто? — уронила Розалия и, бросив украдкой на графа лукавый, многознаменательный взгляд, стала тихонько освобождать свою руку.

— Верно! — ответил граф и обжег в свою очередь таким взглядом собеседницу, что она, несмотря на свою опытность в технике кокетства, смутилась и покраснела до кончиков ушей, в которых сверкали бриллианты.

— Все, что может взволновать кровь и захватить человека всего, все такое мне любо! — продолжал граф.— Ошарашить ли начальство... н-да... — гость за-

пнулся и бросил тревожный взгляд на Розалию,— броситься ли на врага, пойти ли один на один на вепря, на медведя... Да вот и в Подолию затянул ведь меня Кармелюк... И я ему за это бесконечно благодарен.

— Ха-ха-ха! За что же? — Розалия кокетливо прищурила глазки.

— За то, что теперь мне выпало счастье познакомиться с такою обворожительною женщиной...

— Ого! Да вы, граф, еще и опасный любезник! — оправилась немного Розалия и погрозила пальчиком.— Но, однако, шутка шуткой, а все-таки этот Кармелюк наводит на всех страх.

— Вздор... Но, кстати, я, как защитник королевы, чуть было не наделал оплошностей, увлекшись невольно.— Граф несколько смутился и начал деловым тоном: — Мне необходимо сделать некоторые распоряжения... Пан маршалок приказал, конечно, чтобы все мне повиновались?

— О, без сомнения...

— Проникнуть сюда, во двор, можно только через браму?

— Да, кругом ров и частокол.

— Натурально, а, на всякий случай, нет ли здесь какого-либо тайного убежища?

— Есть... в саду выстроено для меня среди густых лип и душистых акаций небольшое шале *, где я иногда предаюсь идиллии и куда без моего разрешения никто не смеет войти, даже супруг.

— Ах, супруг! — вздохнул граф.

— Н-да...— Розалия тоже вздохнула и придала своему лицу выражение жертвы, несущей покорно свой крест.— Супруг мой уже стар и не может удовлетворить запросам мечтательной души... А жена пана грабя должна быть одной из самых счастливых женщин.

— У меня нет жены.

— Неужели? — произнесла как-то слишком поспешно Розалия, и глаза ее просияли.— Неужели же,— продолжала она,— сердце пана так холодно, что ни одни очи не заставляли его биться сильнее?

— До сегодняшнего дня, пышная пани.

---

* Селянська хата в Швейцарії; тут — хатинка.

— А сегодня? — Розалия лукаво вскинула глазами на собеседника.

— Сегодня оно бьется, как пташка в клетке... и я боюсь...

— Мой любый граф, как видно, веселого нрава и любит шутки?

— Эх, не до шуток, пани!..— произнес трагически граф.

Розалия вспыхнула и покраснела.

— А можно ли рассчитывать на верность панской команды?

— У меня во дворе почти все католики, загоновая шляхта. Я подлых хлопов-схизматов стараюсь избегать...

— Досконале! Но теперь, знаете, и на шляхту вполне полагаться нельзя,— в бандах этого дьявола, мне доподлинно известно, есть шляхтичи.

— Возможно ли?

— Все возможно: нажива тянет. Так вот, я, для верности, прошу позволения у пани поставить к самому опасному месту — к браме — и моего человека, испытанного в верности.

— Конечно, конечно.

Граф велел крикнуть своего слугу и приказал ему стать, как только стемнеет, возле брамы и при малейшем подозрении отстранить воротаря, а чтобы команда и челядь повиновались — привести их в хорошее настроение и щедро угостить от имени хозяйки...

— А также и их нового довудцы (предводителя),— добавила хозяйка.

— Пусть пани маршалкова простит мне смелость,— обратился к ней граф,— что я в ее доме позволяю себе так распоряжаться, но это — необходимая военная хитрость, как бывало перед смотром... Да,— спохватился он, поворачиваясь к слуге,— так ты угости их!

Слуга почтительно поклонился и вышел.

— Ну, теперь, кажется, все деловые соображения сделаны,— вздохнул облегченно граф,— и я прошу у осчастливившей меня своим доверием королевы milles grâces *. Знаете, à la guerre comme à la guerre **, но

* Пробачення *(франц.)*.
** На війні — як на війні *(франц.)*.

пусть вверенный мне прекрасный скарб будет совершенно покоен... Головой ручаюсь.

— Ах, я доверяюсь графу вполне... Сердце мое невольно трепещет.

— От тревоги, конечно... Но она напрасна! — улыбнулся успокоительно граф... Пусть рассеется налетевшее на пани раздумье!.. Тут и клавикорды...[43] Может быть, пани кохана сыграла бы что или спела? Я страстно люблю музыку, особенно пение, и убежден, что у пани волшебный голос.

— О, граф разочаровался бы, а мне это было бы больно: я пою как самоучка и потому не решусь... А вот если дорогой гость пожелает доставить мне наслаждение.

— Я не певец, но, чтобы показать ясной крулеве, что ее воля для меня закон,— я готов. Жаль только, что не вижу торбана: на нем я смелей, а клавикорды для меня мудрены... Ну, колы нема редькы, нехай буде и хрин! Фу ты, вот лезут на язык эти хлопские поговорки! — рассердился сам на себя граф и, быстро подойдя к клавикордам, взял несколько аккордов.— Вот эту песню и прежде пели, и теперь поют парижане.

И он запел звучным молодым баритоном новый национальный французский гимн: «Allons enfants de la patrie!» *

После первого же куплета Розалия поднялась с места и с восторженными восклицаниями: «Прелестно, обворожительно!» — подошла к клавикордам.

За вторым куплетом у слегка прикрытых дверей появилась еще другая женская фигура, невысокая, приземистая, но необычайно разросшаяся в ширину. Это была ключница Розалии, панна Фелицита, давно уже утратившая счет своим годам.

Видимо, она не решалась проронить слова, но страстным закатываньем своих «небесных» глаз и молитвенным сжатием рук да изгибаниями своего тучного тела красноречиво высказывала безумный экстаз.

Когда граф окончил, Розалия рассыпалась в похвалах:

— Досконале! Очаровательно! Граф — настоящий артист... Клянусь, такого пения я не слыхала никогда!

---

* Вперед, сини батьківщини! *(Франц.)*

Панна Фелицита не выдержала и, сделав на пороге реверанс, пропела томным голосом: «Ах, унесенье (восторг)!»

При этом возгласе граф оглянулся; вид панны Фелициты вызвал на лице его невольную улыбку; впрочем, он постарался тотчас же скрыть ее и, поднявшись из-за клавикорд, отвесил Фелиците учтивый поклон.

Красное лицо панны сделалось от удовольствия багровым; она стыдливо потупила глаза и присела еще ниже.

Но Розалии появление ключницы вовсе не понравилось,— она была здесь более чем нежелательна. Розалия взглянула надменно на Фелициту и заметила ей строго:

— Что пение пана грабя унесенье, то правда, но что место панны Фелициты не здесь, а при работницах и при столе — то тоже не кривда.

Сконфуженная Фелицита немедленно удалилась.

— Нельзя прислуге попускать вожжи,— сейчас же забывается,— заметила в свое оправдание Розалия,— но и то сказать: граф такой чаровник, что может всякого заставить забыться.

— О, если бы так! — И граф бросил на пани пламенный взгляд, заставивший ее вспыхнуть.— Да, еще вот что,— продолжал он, подбирая на клавикордах какой-то мотив.— У панства, может быть, в доме находятся где деньги... или драгоценности... Я на тот случай это спрашиваю,— обратился он к оторопевшей Розалии,— что в случае, не дай господи... какого переполоха... конечно, все вздор... но береженого бог бережет... Вы тогда растеряетесь... а этот мерзавец... аспид-гайдамак...

— Неужели же пан его ждет? — всполошилась и побледнела как стена Розалия.

— Я ручаюсь, что нет, ручаюсь, что отстою двор и от двух рот неприятеля. Но долг командира быть готовым ко всему: при тревоге я буду защищать браму, летать везде и, главное, спасать пани, а в это время ваши же слуги растащут все. Так, по-моему, следует для осторожности перенести сокровища в другое место.

— В мое убежище,— подхватила Розалия,— а оттуда вместе с собой...

— Здорово, как говорят презренные хлопы,— попра-

вился граф.— Но где же драгоценности? Простите, пани, за нескромный вопрос: это ведь не простое любопытство, а сердечная забота.

— Главные мои драгоценности хранятся в шкатулке, которая находится теперь в скрытом месте моего убежища, а деньги — в кабинете мужа; но о них беспокоиться нечего: их никто не найдет.

— А при пожаре сгорят. Ведь эти бестии — тотчас жечь!

— Ой, правда! — Розалия закрыла рукой глаза.— Деньги находятся в потайном шкафу в стене... нужно нажать у Жигмонта Третьего[44] звездочку шпоры на правом сапоге — и дверца отворится, а в нише — ларец.

— Хитро,— улыбнулся граф,— а какой же это Жигмонт?

— Неужели же пан не знает? Хотя, правда, эти картины уж так стары... На второй от окна...

— А! — протянул граф и запел игривую шансонетку.

— Ах, эта еще зажигательнее! Вы просто волшебник!..

Граф поймал на лету белоснежную ручку хозяйки и осыпал ее выше локтя поцелуями.

XIX

Розалия тихо высвободила руку и уронила со вздохом:

— При пане графе и застывшее сердце молодеет и пьянеет от радости.

— А я уже давно опьянел от глаз пани! — прошептал граф. И запел любимую польскую песенку:

Уланы, уланы! Малеваны дзеци!

Эту песенку подхватила и пани Розалия, подхватила дружно, с страстным порывом, и дуэт вышел на славу. Увлеченная пением, она подошла слишком близко к графу... Но вдруг аккорд оборвался и певец, обхватив талию пани рукой, впился горячим поцелуем в ее уста. Заглушенный крик Розалии вылился в ответный поцелуй... Но она все-таки вырвалась из объятий графа.

— Ах, мой друг, вы с ума сошли! Такая неосторожность! Могут войти...

— Простите! Убейте меня! — Граф вырвал из-за пояса пистолет и протянул его пани.— Я потерял голову, потерял власть над собой...

— Но жизнь пана мне дорога, и потому на первый раз я дарую ее пану... Но пан граф словно порох.— Розалия потупила глаза и, порывисто дыша, поправила прядь волос, упавшую на залитую огнем щеку.— Вы опаснее Кармелюка, як бога кохам, тот может у меня вырвать шкатулку, а пан — сердце!..

— Но Кармелюк за панскую шкатулку не отдаст свою, а я за сердце — свое брошу к панским ножкам.

— Нет, с вами погибель... Уж не ад ли послал мне искусителя?

В это время дверь отворилась и дворецкий доложил, что кушать подано.

— Прошу, граф! — Розалия указала красивым жестом на дверь.— Сегодняшний обед надо назвать ужином: мы до приезда графа забыли даже про еду...

Между тем в людской шел пир горою. Графский слуга с широкой щедростью распорядился кошельком своего барина; посланные им пахолки нанесли из корчмы всякого рода питей: и горилки, и меду, и пива; а местный ключник притащил из панских погребов не одну сулею наливки, и все пили за здоровье нового коменданта и на погибель Кармелюка. Слуга графский угощал усердно всех, но особенно воротаря. Вскоре хмель подружил его с дворней; новые друзья начали откровенничать и поругивать необычайную скаредность да жестокость своих панов.

Под конец пирушки явился и главный машталер, бывший до этого у кумы; все отнеслись к нему с большим почтением; но он окинул высокомерным взглядом пьяную челядь и удостоил беседы лишь графского слугу.

— Ма ся разумець,— процедил он сквозь зубы,— я не люблю того... со всяким... но с паном за графа чокнусь. Слыхали ль, как пани Доротею сгладил, шельма, и все ограбил... А?

— Да то, может быть, свои уклали... за лютость, а

на Кармелюка только свернули,— вмешался в разговор доезжачий; но машталер только взглянул на него исподлобья и отвернулся.

— Да, теперь хлопы будут многих учить и скидать расправу на збойцу,— отозвался еще кто-то и вызвал сочувственный взрыв хохота.

— Ну мы с графом да с панской челядью этого разбойника успокоим,— заявил задорно графский слуга.

— Не всегда, пане, на челядь надейся! — крикнул кто-то из угла.

— А что ж,— поддержал другой голос,— всякому своя шкура дороже панской... Против всего села пойдешь, так «кому скрутится, а кому смелется». А хлопы уже и поют...

И какой-то молодой голос затянул:

Серце ниє, серце стука,—
Нема ж мого Кармелюка!*

Раздались с одной стороны голоса: «Тихо! Паскудство!», с другой — к запевале пристали пьяные. Пение, крики, ругань смешались в адский гвалт. Многие даже храпели уже, другие, шатаясь, выходили в сени и там падали, а иные пытались добраться до сеновала.

— Ма ся разумець, пьянота!..— крякнул и плюнул на сторону машталер.— Пойдем, пане, ко мне на стайню (конюшню)...

— Отлично, мне и коней напоить нужно,— согласился графский слуга.

Уже вечерело. Слуга графский вывел из конюшни двух великолепных жеребцов — гнедого и вороного; последний был чистой арабской породы, каждая жилка на нем просвечивала и дрожала, налитые кровью глаза горели огнем, тонкие ноздри раздувались от бешенства.

— Хорош дьявол? — обратился к машталеру графский слуга, едва удерживая под уздцы подымавшееся на дыбы животное.— Такого другого на всю округу нема!..

— А мне что-то... как будто... вроде...— промычал машталер, всматриваясь в коня осоловевшими глазами.— Н-да... ма ся разумець...

— Подержите, будь ласка, пане, этого черта, пока я гнедого напою: вместе вести их — беда!

— Прекрасно, проше пана.

Машталер взял под уздцы вороного, завел его обратно в конюшню и привязал снова к стойлу; потом остановился, снял шапку и начал стучать себе в лоб пальцем.

— Ма ся разумець... Ма ся разумець,— ворчал он,— припоминаю, так.. и белая звездочка на лбу, и еще... а стой, стой!

Он нагнулся и начал пристально рассматривать правую заднюю ногу коня. В конюшне было уже темно, и нужно было рисковать головой, наклоняя ее поближе.

— Есть и на ноге белая отметка! Ой мамо! Что же это? — Машталер отскочил в ужасе и, подавшись к дверям, произнес тихо: — Вогнык!

При этом возгласе благородное животное повернуло голову и радостно заржало.

— Ой гвалт! — вскрикнул пораженный ужасом машталер и опрометью выбежал из конюшни...

Тем временем в панском доме обед шел в высшей степени оживленно. Разгоряченный роскошными винами маршалка граф сделался еще более разговорчивым, интересным и увлекательным. Панна Фелицита, скромно помещавшаяся на конце стола, то и дело поглядывала на графа и тщетно подавляла сладкие вздохи, вздымавшие ее полновесную грудь.

Когда же граф обращался к ней с вопросом, она совсем терялась, роняла салфетку, нож, вилку и багровела до самых ушей.

Под влиянием вина и нервного возбуждения пани Розалия также раскраснелась; темные глаза ее заискрились. При вечернем освещении она казалась еще прелестнее: обнаженные плечи и шея сверкали белизной, дорогое жемчужное ожерелье с рубиновыми подвесками, которым пани успела приукрасить себя, оттеняло еще больше красоту ее лебединой шеи.

При каждом повороте головки красавицы рубины вздрагивали, и казалось, что это капли крови спадают с дорогих жемчугов на шею вельможной пани.

После обеда Розалия предложила гостю освежиться на террасе.

Луны еще не было, но кругом уже разливалась

глубокая ночь... Воздух дышал опьяняющим благоуханием, в таинственной глубине неба сверкали крупные мерцающие звезды.

Группы деревьев приняли фантастические очертания и словно стеснились вокруг дома волшебною стеной. От полос света, падавших из окон дома на террасу, таинственная тьма сада казалась еще глубже, еще заманчивее.

Граф вздохнул глубоко и почувствовал, что к жизнерадостному настроению его примешалась глубокая грусть, грозившая перейти в тоску. Он вздрогнул, встряхнул головой, словно желая отбросить от себя неприятные вспоминанья, и расправил могучие плечи.

— Это вздор! — вырвалось у него со вздохом.— Мелькнула перед глазами, как звездочка, да и унеслась... куда? — Граф оперся о решетку террасы и, запрокинув голову, потопил свой взгляд в звездной глубине неба.

Вошла Розалия. Она была в новом костюме, совершенно свободном и заманчивом, в прозрачно-дымчатой блузе, перехваченной у груди голубым кушаком. Большой вырез обнажал ее белоснежные плечи, легкая ткань лишь слегка прикрывала дивные очертания подъема груди, а отсутствие рукавов давало возможность любоваться красотой линий сверкающих белизной рук. Но появление красавицы не вызвало восторга на лице графа; напротив, в глазах его промелькнуло какое-то досадливое выражение... впрочем, это продолжалось всего одно мгновение.

Розалия запрокинула голову и слегка склонилась на плечо к графу.

— Какая ночь! — прошептала она замирающим голосом.

— Да, счастлив тот, кто в такую ночь смеет припасть к груди дивной богини, целовать ее ноги, дышать ее дыханием,— произнес страстно граф, близко наклоняясь к головке Розалии.

— Кто знает! Счастлив ли действительно тот, кто на все властен?

И она стала говорить ему о своих тайных страданиях, о ненавистном муже и о том, что еще не знала любви, но боится.

Граф прижимал ее руку к своим губам, Розалия не противилась.

— Так кохання пани боится? — шептал он...

— Боюсь, не захватил ли меня такой грех?

— О моя красуня, да я все мучения и здесь, и на том свете приму на себя за такой грех! — воскликнул патетически граф и прижал ее к своей мощной груди.

Розалия ответила на поцелуй тем же, но потом, спохватившись, стала шептать:

— Оставь, безумный... мы еще не одни... здесь ходят... пусти же!

И она выскользнула, как змея, из его объятий и произнесла громко:

— А все-таки я этого Кармелюка ужасно боюсь...

— Я хотел бы им сейчас быть,— ответил граф.

— Почему? — спросила лукаво Розалия.

— Потому что для него не существуют слова: «Здесь ходят».

— Вот что,— закусила губки Розалия — Да, мой друг, я и забыла,— произнесла она, словно спохватившись.— Нужно же показать графу мое убежище... там и альтанка есть.

— Альтанка? — вскрикнул граф...— Альтанка... ах, да, да! — словно обрадовался он этому слову...— Так пойдем скорее... и не захватить ли туда и ларца...

— Я об этом и думала: там можно спрятать.

— Великолепно. Я жду.

Розалия поспешила в кабинет, а граф подошел к решетке террасы и защелкал соловьем. Должно быть, он сделал это очень натурально, так как из ближайших кустов сирени донеслась к нему отзывная соловьиная трель.

Граф встрепенулся и бросился в кабинет помочь Розалии.

— Целая вечность прошла, не мог вытерпеть...— И граф принял из рук Розалии ларец.

— Так бы навеки с тобой! — начала шептать пани, прижимаясь к своему защитнику, но не докончила фразы, услыхав какой-то стук и шум на дворе.— Что это такое? — вскрикнула она, прильнув еще крепче к его груди.

Граф поспешил выйти с ней из кабинета.

Вдруг двери в передней распахнулись и на пороге показался графский слуга.

— Кармелюк, пане грабе, ломится в браму! — выпалил он, словно докладывая о приятном событии.

— Ай! Езус-Мария! — вскрикнула пани и почти повисла на руках графа.

— Успокойся! Волос твой не пострадает... Все ли благополучно? — обратился граф к слуге.

— По панскому наказу все.

— Отлично,— прервал его граф и сделал при этом незаметный жест.— Ты, значит, с челядью удержишь пока от разбойников браму, а я укрою пани и вернусь разделаться со злодеем. Смотри ж, чтобы все было, как приказано!

— Слушаю, батьку.

— Да, еще вот что... На минуту, пани.— Граф осторожно освободился от Розалии.

— Ой, на бога! Не оставляй меня!

— На одну минуту... Я не уйду, еще одно распоряженье.

Граф схватил слугу за руку и, увлекши его в глубину комнаты, зашептал торопливо:

— Вот тысячу червонцев,— снял он с себя пояс, набитый червонцами, и передал его слуге.— Раздели ты между селянами... особенно между бедными... Деньги маршалка со мною, подуваним после... На братию немного, а то на бедных.

— Так, батьку,— кивал головой слуга.

— А хлеб и зерно тоже все крестьянам, нам только съестное, кони, одежда, волы... Ни капли крови, чуешь?

— Чую, батьку.

— Ну, наказать, кого следует, хорошенько — и баста! Если нападут маршалок и дозорца, перевязать и захватить с собой. Тебе поручаю все в точности. Жди меня здесь! — добавил он громко.

— Исполню все, батьку!

— Теперь я твой! — бросился граф к полумертвой от ужаса Розалии и, охвативши ее стан рукою, быстро прошел два покоя, и спустился с нею по ступеням террасы в сад.

Лишь только шаги мнимого графа замерли на ступенях террасы, Андрей вошел в покой Розалии и рас-



М. Старицький. *Фото 1902 р.*

пахнул двери в зал; в комнату вошли Корчак, фурман Онысько, Явтух и еще несколько членов шайки.

— Ну-с, бра,— отрапортовал с места Корчак,— дворня вся на перевязочном пункте: селяне помогли. Где ж атаман? Какой приказ?

— Батько отвел паню, вернется. Деньги здесь, а решта у батька,— ответил Андрей.— Ты же отбери от ключницы ключи да вынимай серебро, провиант...

— Идет. А что же со слугами делать?

— Самых верных псов маршалок забрал с собой. А вот фурман хорошо всех знает, он и рассудит, кому сколько всыпать. Атаман приказал крови не проливать...

— Го-го! Так хватит ли тут лозы на всех? — усмехнулся фурман своею широкой улыбкой.— На одного машталера надо с полвоза положить, бигме!

— А он, шельма, тут,— заметил Андрей.— Надо оставить ему здорового памяткового, добре лаял и батька, и нас.

— Всыпем. Ну, терять время некогда. Час поздний, налево кругом ма-арш! — скомандовал солдат.

Андрей направился с фурманом во двор, а солдат с товарищами бросился отыскивать ключницу. Весьма скоро они наткнулись на запертую изнутри дверь.

— Отвори! — закричал солдат.

Ответа не последовало.

— Отвори! — заревел Дмитро, с силою ударяя в дверь ногою...

За дверями не послышалось в ответ ни единого звука.

— Ломай двери! — скомандовал солдат.

Через несколько минут под тяжелым напором четырех здоровых молодцов двери громко треснули, сорвались с задвижек и распахнулись. Солдат с товарищами ворвались в покой.

Разбросанные всюду юбки, шнуровки, туфли свидетельствовали о том, что это была комната женщины, а валявшиеся на туалете привязные косы, баночки с румянами и белилами и другие вспомогательные средства красоты доказывали, что комната эта была занята панной, но, к удивлению солдата, ее не оказалось.

— Фу ты черт! Куда же девалась красотка? — вскрикнул он с досадой, оглядываясь кругом.

Окна комнаты были закрыты, другого выхода не

было. И так как единственная входная дверь была заперта изнутри на задвижку, то было очевидно, что обитательница этой комнаты не могла отсюда исчезнуть, а между тем комната была пуста.

— Не провалилась же она к черту в ребра,— продолжал солдат, осматриваясь кругом,— гей, хлопцы, а ну-ка те, пошарьте хорошенько всюду!

Молодцы Кармелюка бросились к шкафам, и комодам, и другой мебели, наполнявшей комнату; один из хлопцев, поймавших было в лесу Олесю, принялся осматривать постель, но едва успел он засунуть руку под перину, подымавшуюся целой горой, как из-под нее раздался отчаянный визг.

— Го-го-го! Дядьку! — вскрикнул весело хлопец Галайда.— Да тут целая гора!

— Тащи ее сюда! — приказал солдат, весело потирая руки.— Га, попалась пташка, не удалось провести.

Хлопцы бросились к кровати; через минуту перины и пуховики, под которыми скрывалась панна Фелицита, были сброшены на пол и двое молодцов, подхватив под руки тучную девственницу, потерявшую от ужаса способность двигаться, с трудом потянули ее с ложа.

— Ге-ге, панове, да ведь это целая туша, почище годованного к риздву кабана,— крикнул Галайда.— Ну, брате, наляжь, наляжь, вот так, вот так! Раз! — с этим возгласом хлопцы сильно взмахнули руками и поставили перед солдатом квадратное тело панны Фелициты.

При виде красавицы и Дмитро, и товарищи его разразились громким хохотом.

Действительно, фигура панны представляла нечто неописуемо комичное. Коротенькая и узкая зеленая юбка облегала до колен ее тучное тело. Из-под юбки торчали короткие и толстые, как колодки, ноги в грубых белых вязаных чулках; вышитая у ворота мелкими розочками сорочка вздымалась на груди, словно надутый ураганом парус; из коротеньких рукавчиков ее торчали куцые, красные, необычайно жирные руки, напоминавшие скорее небольшие окорока. Круглое лицо панны с отвислыми багровыми щеками, умащенное на ночь для косметических целей густым слоем гусиного жира, обрамлял целый венок мелких, туго заплетенных косичек.

XX

При виде разбойников панну Фелициту охватил такой ужас, что она тут же села бы на пол, если бы ее не поддержали под руки хлопцы.

— Фу ты! Ну и красуня ж ухабистая!.. Хоть в эскадрон! — вскрикнул солдат, прыская со смеху; за ним покатились и хлопцы.

— А то и на огород поставить,— подхватил Галайда,— ни один бы воробей не подлетел!

— Одначе, поворачивайся-ка, пышная паненко, да отмыкай нам поскорей свои сокровищницы!

При этом приказании солдата Фелицита пришла в себя; дикий ужас отразился на ее лице.

— Милосердье! — завопила она, падая на колени: — Все, что хотите, только не это, ой, только не это!

— Как «только не это»? — оборвал ее грозно солдат.— А что ж ты думаешь, красуня, зачем мы пришли сюда? Чтоб смотреть на тебя?

— Ох, милосердье, на бога! На раны пана Езуса! — вопила Фелицита.— Все, что хотите, только не это!.. Ох, не могу! Страшно!.. Я столько лет хранила, столько лет! Бог видит, мне тяжело было... не раз... Но, памятуючи родителей своих наказ... я...

— Да долго ли ты будешь болтать? — оборвал ее солдат.— Говорят: открывай, а не то ведь мы и церемониться не будем!..

— Ой, сжалься, пане, надо мною!

Но солдат уже потерял терпенье.

— Открывай! — заревел он, наступая на Фелициту.— А не то я тебе горячих всыплю!

— Пощады! Пощады! — завопила еще отчаяннее Фелицита, простирая к солдату руки.— Бери все, что хочешь: золото, серебро, но пощади мою непорочность... Ох, сколько пышных шляхтичей искали этой руки... Но я всех отвергла...

— Фу ты! — солдат энергично сплюнул в сторону.— Да на кой черт нам ты? Ключи давай!..

— Клю-чи-и? — протянула не то облегченно, не то разочарованно Фелицита.

— Ну да, ключи!

— Ключи... вон там в шкатулке,— пролепетала растерянно панна.

Хлопцы бросились по указанию Фелициты и подали солдату большую связку ключей.

— Ладно. Дорогу отыщем мы и сами, а вы,— обратился солдат к Галайде и другому,— подымите-ка панну да приложите ей с другой стороны пару добрых припарок!

— Милосердие! — заревела во все горло Фелицита, взмахивая жирными руками; но пара дюжих молодцов бесцеремонно подхватила ее...

Не теряя ни минуты, солдат принялся за свою работу. Шкафы, комоды, погреба, коморы и ледники — все было отперто. Молодцы выносили все лучшее и грузили на возы; слуги, отпущенные фурманом, с удовольствием помогали разбойникам.

Увлекшись своей работой, солдат не обращал внимания на то, что делается во дворе. Когда же наконец последний погреб был очищен до конца и Дмитро выбрался на дворище, чтобы приказать возам двигаться скорее к назначенному месту, то глазам его представилось следующее зрелище. Освещенный заревом пожара, весь двор кишел крестьянами, словно гигантский муравейник; последние кричали, шумели, толкались и толпились вокруг крыльца, на котором Андрей раздавал деньги. С тока доносился еще больший шум: мычанье волов, скрип возов и окрики погонщиков сливались в один протяжный гул. Если бы не пылающее зарево, можно было бы подумать, что присутствуешь на какой-то громадной ярмарке.

— Фу ты, стонадцать чертей их батькам! — выругался вслух солдат.— Вот уже, поручи дурню камень из воды вытянуть, как он всю речку вычерпывать ведром начнет. Ишь, зажгли люминацию, чтобы понакликать незванных гостей! Ну, вы,— обратился он к молодцам, сидевшим на вершинах трех нагруженных возов,— вы поезжайте скорей,— сбор у старой мельницы.

Возы тронулись, а солдат сердито зашагал к дому, с трудом прокладывая себе дорогу сквозь запрудившую двор толпу. В первой же комнате он встретил фурмана Оныська.

— Где атаман? — обратился к нему солдат.

— Не знаю, до сих пор еще не возвращался.

— Фу ты, пропасть! А этот дурень чуть ли не все село созвал! Что там на току творится?

— Явтух людям зерно раздает.

— Кто велел?

Андрей сказал, что атаман приказал отдать все селянам.

— Старшинам их, а не всему селу,— буркнул сердито солдат.— Ну, а ты уже справился?

— Справился, да все были больше свои люди: собак маршалок с собой забрал... Вот только машталер этот проклятый...

— Что ж, попотчевал его?

— Какое! Ушел куда-то, старый лис.

— Ушел?!

— Да, ушел; обыскали мы все закоулки, в саду перешарили — и не отыскали.

— А давно ушел? — переспросил озабоченно солдат.

— Да люди говорят, что под вечер еще его видели, а потом он исчез.

— Дело дрянь! — заявил серьезно солдат, и лицо его приняло озабоченное выражение.— Да, дрянь... Уж коли дезертировал, значит недаром, значит отрапортует кому следует.

— Да неужели же вы, дядьку, думаете, что маршалок, узнавши о нашем приходе, возвратится домой?

— Маршалок... что маршалок! Маршалок — плевое дело! — проворчал солдат.— Рота поблизу стоит. Штык меня пройми, если мы не вскочили по самые уши! Надо торопиться. Шатнись-ка, брат, по двору, да и зови всех к сбору, да и Андрею скажи, чтобы шел сейчас же сюда: атамана надо отыскать.

И озабоченный, сердитый Дмитро прошел в покои пани маршалковой.

Через минуту туда вошел и Андрей.

— А что случилось? — обратился он к солдату.

— Что случилось? — передразнил его сердито солдат: — Дела как сорочка бела! Кто велел сзывать сюда все село?

— Атаман велел раздать селянам и хлеб, и деньги.

— Так велел и трубить сбор? Всем? Вот уж, заставь дурня молиться, так он и лоб разобьет! Старшин нужно было позвать, а ты созвал все село. Да еще, чего доброго, и все деньги отдал?

— Сто дукатов оставил.

— Так и есть! — вскрикнул гневно солдат.— Больно нам много! Мы же что? Даром должны свои спины подставлять, а потом побираться с долгой рукой?

— Атаман велел всем поровну все раздать... а он еще с собой взял...

— Всем, всем! Затвердила сорока Якова, да и твердит про всякого! Да ведь и мы все, значит, надо было, кроме атаманского пая, и на нашу долю оставить. Фу ты, дурень, дурень, из-за угла мешком прибитый!..— Солдат сердито плюнул в сторону.— Вот теперь и выйдет, что мы за хлеб да сало селянам своими шкурами заплатим.

— Что так? Почему? — изумился Андрей.

— А потому, что, раздаючи наше добро, ты и не заметил, что у тебя из-под носа машталер ушел.

— Как ушел?

— А так: из-под самого твоего длинного носа ушел, сел на коня да и был таков. А теперь поднесет нам чернецкого хлеба, он уже известит кого надо.

Между тем извещенные Оныськом разбойники начали быстро наполнять комнату. Весть о том, что машталер бежал, сразу же распространилась между всеми и породила некоторую тревогу.

— Ну если и бежал? — попробовал возразить Андрей.— Спрятался где-нибудь под кустом да и сидит там.

— Сидит! — передразнил его солдат.— Когда бы он только что ушел, пожалуй бы, далеко не завеялся, а он пропал перед вечером, да еще, говорят тебе, лучшего коня с конюшни захватил с собой, так до ночи он куда-нибудь уже доскакал и, должно, доскакал к роте солдатской, куда понесло и его барина.

Андрей вспомнил, что, возвратившись в конюшню, он действительно не застал там машталера и что и после, вплоть до самой ночи, машталер не попадался ему на глаза.

— Что же делать? Плохо! — загалдели разом разбойники.— Нас всех с атаманом пятнадцать, а там душ пятьдесят.

— Да еще и маршалок со своими слугами,— добавил Оныська.

— Атамана надо звать! — заявил солдат, принимая начальнический тон.— Где атаман?

— Да выскочил сюда вместе с паней и со шкатул-

кой.— Андрей указал на террасу.— Велел ждать его здесь.

— Гм, с бабой...— крякнул многозначительно солдат,— прийдется долго ждать, а тут неприятель подступает, да втрое больший,— так отступленье в порядке! Все ли в сборе?

— Все,— ответили разом разбойники.

— Надо известить атамана. Гей ты, сигнальный,— крикнул солдат Оныську,— выскочи в сад да бей тревогу.

ОныСько выскочил на террасу, и ночной воздух прорезал трижды пронзительный, тревожный крик чайки.

Все прислушались,— ответа не последовало.

Солдат нахмурился.

— Верно... не до того...— проворчал он сердито и крикнул громко Оныську: — Давай еще сигнал!

Оныське повторил свой прием.

Все замерли.

В это время в наступившей тишине явственно раздались чьи-то спешные шаги. Двери распахнулись.

Все оглянулись, ожидая увидеть атамана, но в комнату вбежал красный, запыхавшийся хлопец, стоявший за двором на часах.

— Беда, дядьку! — закричал он, с трудом переводя дыханье.— Топот... Слышно... Селяне говорят, что пан, и все уж разбежались.

Все всполошились.

— Где слышен топот? Откуда скачут? — крикнул солдат.

— С другой стороны, от Рудни, версты за две... Я духом долетел, коня загнал.

— Солдаты! Так и есть! — вскрикнул встревоженно солдат.— Оныська, есть ли другой выход?

— Можно сюда, через сад... внизу... Только найду ли ночью? — сказал фурман.

— Отыщем! Гей вы, Галайда да Гололобый, берите скорей коней сколько попадется да скачите через посев в ложбину к лесу, где кончается сад, а оттуда, братья, все врассыпную к старой мельнице. За мной! Оныська, веди!

Гололобый и Галайда поспешно выбежали из комнаты.

— Как? — вскрикнул Андрей, заступая солдату дорогу.— А батько?

— Что батько?

— Батько наказал ждать его здесь.

— Дурень! Да как же ждать, коли сюда скачет целая рота.

— Так, значит, бросить батька?

— Да ведь батько не такой дурень, как ты? Сигнал он слышал?

— А если не слышал?

— Все равно, наобум в огонь не пойдет.

— Да ведь он без фурмана не найдет выхода...

— Не найдет, толкуй!..

— Коли приказал ждать, значит, вернется.

— Олух! Чего вернется, чтоб схватили, как барана?

— Коли сказал, значит, вернется,— повторил упрямо Андрей.

— Думал вернуться, а теперь, может, уже и за две версты нет его!

— Все равно я не уйду: батька одного не брошу.

— Остолоп! Хочешь, чтоб с живого слупили шкуру?

— Раз маты родила,— Андрей мрачно нахмурился,— а не брошу атамана одного в руках ворогов! Не брошу!

— Ну и оставайся себе на здоровье, чертов сын, только памятуй, что и атаман тебя за твою дурость по голове не погладит! — крикнул злобно солдат.

В это время до слуха собравшихся среди воцарившейся во дворе тишины явственно донесся отдаленный конский топот.

— За мной, ребята! — крикнул солдат, бросаясь к выходу на террасу.

— Кто со мной, хлопцы? Умереть за батьку! — крикнул в свою очередь и Андрей, обнажая саблю.

— Я,— отозвался Явтух, за ним еще двое.

— Ну и проваливайте к черту в зубы, дурни! — ругнул на бегу солдат и в сопровождении остальных скрылся вслед за фурманом в саду.

Андрей оглянулся; будуар Розалии, в котором они теперь находились, был совершенно неудобен для защиты: в него вели три двери и два окна, выходившие на террасу, сквозь которые нетрудно было влезть в комнату.

Он взглянул в соседнюю комнату и вскрикнул радостно:

— Хлопцы, сюда!

Это была опочивальня Розалии, угловая комната, сообщавшаяся всего одною дверью с будуаром. Два окна, выходившие в сад, находились так высоко над землею, что без помощи лестницы не было никакой возможности к ним добраться, и это давало осажденным большое преимущество над осаждающими; кроме того, против окон в противоположной стене было вделано большое трюмо, так что осажденные могли, и не оглядываясь, видеть все, что происходило в саду.

— Запирай окна, заваливай двери! — скомандовал Андрей.

В одну минуту дверь, ведущая в будуар, была забаррикадирована.

— Мы здесь с Явтухом станем,— продолжал Андрей лихорадочным тоном,— а вы по одному у каждого окна. Выбить по одному стеклу для дул пистолетов. Стрелять метко, не тратить пуль даром. Каждого нападающего валить наземь! Да прислушиваться, не донесется ли крик чайки или пугача, тогда через окна — к нему!

Но не успел Андрей докончить своих распоряжений, как крики солдат и топот коней послышались уже во дворе, и через несколько минут весь дом наполнился вооруженными людьми.

— Сюда, сюда, здесь заперлись! Вперед, ребята! — раздалась команда.

И на двери, охраняемые Андреем и Явтухом, посыпались сильные удары. Но двери не поддавались.

— Тащи сюда ломы, топоры! — скомандовал кто-то.

Стуки удвоились; двери трещали, но не трогались, придерживаемые железными плечами Андрея и Явтуха.

— Ишь, чертовые медведи, да сколько их там засело? — прорычал один из нападавших.

— В сад! Заходи с тыла!

Послышался топот тяжелых сапог по ступеням террасы.

— Ге-ге! Да их здесь не достанешь. Лестниц, бревен сюда!

В освещенном разгоравшимся заревом саду было видно, как днем. Один из стоявших у окон хлопцев

прицелился, и один из атакующих упал как сноп на землю. Этот выстрел привел остальных в неистовство. В одну минуту были притащены бревна, лестницы, столы, и люди полезли на приступ. Но, несмотря на превышавшую во много раз численность нападающих, шансы их были не равны. Лишь только кто-нибудь приближался вплотную к окну, хлопцы встречали его меткою пулей, и раненый катился кубарем вниз... Двери между тем трещали, но все еще не поддались, поддерживаемые гигантскою силой Андрея. Конечно, в конце концов осажденные должны были быть взяты в плен или уложены на месте. Но осада грозила затянуться надолго.

— Есть ли кто в доме из верных слуг или господ? — обратился офицер к солдатам.

— Точно так, ваше благородие, валяется там старушка одна,— здорово выпороли ее, канальи!

— Ну, хорошо, не отступать отсюда!

Офицер удалился.

Через несколько минут осаждавшие отхлынули.

— Что-то затевают! — произнес тихо Андрей.

— Уж не хотят ли подкурить нас, как пчел? — заметил Явтух.

— Нет, дома не подожгут! — возразил Андрей.

— А может, думают выманить в сад? — спросил один из хлопцев.— Ишь, отошли все от окон!

— Нет! Они все сюда навалились, на двери. На помощь, хлопцы! — вскрикнул тихо Явтух.

Действительно, осада усилилась; топоры и ломы застучали с такою силой, что Андрей и его товарищи с трудом различали собственные голоса.

— Сюда, на помощь! Держи! Держи! Смотри за окнами! Живьем не отдаваться! — хрипел Андрей, надсаживаясь из последних сил.

XXI

Хлопцы бросились к дверям, изредка взглядывая в зеркало, в котором отражались и окна, и ближайшая площадь сада. Осаждающие набрасывались на двери с дикой свирепостью, осажденные хрипели, наваливались на них с последнею силой отчаяния.

Увлеченные защитой, оглушенные грохотом ударов,

Андрей и товарищи его и не заметили, как трюмо, находившееся на противоположной стене, тихо повернулось и в образовашееся отверстие прокрались десять вооруженных солдат и сразу же бросились из-за спины на отстаивавших двери перераненных гайдамаков. За ними последовали и другие.

Ошеломленные этим неожиданным нападением, Андрей и его товарищи рванулись было защищаться, но навалившиеся из-за спины солдаты не дали им даже возможности повернуться. От неожиданного толчка мебель, поваленная гайдамаками у дверей, повалилась, увлекая в своем падении упиравшихся в нее Андрея и Явтуха.

Почти в то же мгновение рухнули и двери, и в них ворвались остальные солдаты, опрокидывая и разбрасывая по комнате нагроможденную у дверей мебель.

— Вязать живыми! — крикнул офицер.— Им на кобыле будет почетная смерть!

В комнату вошел начальник отряда.

— Никто не ушел? — обратился он к солдатам.

— Никак нет, ваше благородие.

— Ишь ты: только четверо, а наделали хлопот!

— Когда бы не обман, живых бы не взяли нас! — прохрипел Андрей, с трудом произнося слова.

— Го-го! Да ты кто такой будешь? — подошел капитан к связанному Андрею.

— Кармелюк! — ответил коротко Андрей.

— Врешь, пес! — капитан толкнул Андрея в бок ногою.

— Кармелюк,— повторил упрямо Андрей.

— А вот сейчас узнаем. Приведите сюда старушку.

— Ваше благородие, им никак-с невозможно! — отрапортовал бравый вахмистр, выскакивая наперед.

— Так принесите!..

— Этак им-с еще хуже будет!..

— Тащи старуху, осел! — крикнул капитан и сердито топнул ногой.

— Рад стараться, ваше бродие! — отчеканил испуганно вахмистр, вытягиваясь в струнку, и скрылся в дверях.

Через минуту он возвратился в сопровождении двух солдат, тащивших под руки Фелициту.

Вид пышной панны был теперь поистине плачевен!

Согнувшись наперед и еле передвигая ногами, она влачилась с громкими стонами и воплями. Растрепанные косички стояли дыбом вокруг красного, распухшего от крика и слез лица; упавшие чулки болтались вокруг ног, зелененькая юбочка была разорвана, и панна тщетно старалась вырвать свою руку из рук солдат, чтобы оправить ее.

— Что, бабушка, этот ли хозяйничал здесь? — обратился капитан к Фелиците, указывая на Андрея.

При слове «бабушка» панна моментально выпрямилась и метнула на дерзкого москаля взгляд, полный огненной злобы, но тут же с громким воплем повисла на руках солдат.

— Да что же, этот? — повторил капитан свой вопрос, не понимая убийственного взора Фелициты.

Панна перевела свой взгляд на Андрея, и раздирающий душу вопль вырвался из ее груди.

— Что, он? — обратился к ней капитан.

— Ох! Он у грабя...

— Что? Зарезал, убил?..

— Он... вместе с ним... Ох! — и панна, не договоривши, закатила под лоб глаза и бесчувственно повисла на руках солдат.

— Хе-хе! Так, значит, здесь еще птички из этой же клетки! Ну, ловить остальных, а этих — под тройной караул! — скомандовал офицер и бросился с частью отряда в сад...

В уютном домике литинского благочинного, отца Василия Капернаумского, по случаю храмового праздника, совпадавшего с днем его ангела, было довольно шумно.

В гостиной, блестевшей натертым полом, освещенной двумя окнами, уставленными геранью и душистым жасмином, сверкавшей белизною стен, сидело чинно на громоздкой мебели из карельской березы интимное общество: родичи, свояки, близкие соседи... Почетных гостей еще ждали. На диване с высокою резною спинкой и закрученными в виде драконов боками, под портретом хозяина, изображенного в бархатной скуфейке, помещенного между двух владык, сидела худенькая матушка Мелания Стопневич; она приехала со своей

дочкой Олесей к дальнему родичу на праздники и до сих пор еще не могла оправиться от пережитого ужаса в лесу; следы нервного потрясения еще лежали на ее бледном лице. Рядом с нею помещалась довольно полная, в высоком чепце и длинной шали матушка Прасковия, жена местного священника; направо в глубоком кресле восседал сам хозяин — дородный, седовласый, с пухлым румяным лицом, маленькими хитренькими глазками и добродушною улыбкой; он был в фиолетовой шелковой рясе и в такого же цвета бархатной скуфейке; против него в кресле словно тонул сгорбленный, худой старикашка, отец Андрей, с серым длинным лицом и жидкою бахромой желтовато-белой бородки. Поближе к углу, украшенному иконами с теплившейся перед ними лампадкой, у треугольного столика-косничика, на котором стоял ковчежец, поместился знакомый нам батюшка, отец Семен Дерлянский, приехавший искать у благочинного протекции для заблудшего сына.

У окон, под небольшим зеркалом в огромной раме, ютились и шептались между собой молодые панны — хозяйская дочь, белобрысая, в веснушках, с бесцветными глазами панна Мария, и знакомая нам панна Олеся; к ним льнула и дьяконица, жена молодого отца диакона Фомы, интересная, со вздернутым носиком шатенка; какой-то молодой франт вертелся возле них, пощипывая свои усики, и заглядывал часто в зеркало. У противоположной стены сидел, развалившись в кресле, тучный пан Бойко; возле него стоял, несколько согнувшись, средних лет мужчина в венгерке и длинных сапогах — очевидно, эконом или посессор; там же, ближе к дивану, торчала, словно проглотив палку, протодьяконица, тощая и худая Федулия. У растворенных дверей в зал расположился муж ее, отец Аввакум; багровое лицо его с выпученными глазами, обрамленное густой бородой, вселяло встречному робость, а взбитая на голове копна волос напоминала гриву африканского льва; грубо, но крепко сколоченная фигура протодьякона годилась бы, вместо кариатиды [45], поддерживать тяжеловесный карниз какого-либо храма.

Отец Аввакум жадно поглядывал на накрытый уже в зале стол, который обставляла бутылками и всякого рода закусками суетливая, кругленькая матушка протопопша; она, словно кубышка, то убегала из зала, то

возвращалась туда в сопровождении громоздкой наймычки, нагруженной тарелками, полумысками и флягами; отец Аввакум расширенными ноздрями вдыхал аппетитный запах, долетавший в открытую дверь, и откашливался октавой в кулак; товарищ же его, молоденький, недавно посвященный диакон, не обращал на зал никакого внимания, а скорее вдыхал с наслаждением табачный дым, считая неловким самому курить в гостиной своего непосредственного начальства; впрочем, среди тяжелых запахов, наполнявших гостиную, с подавляющим ароматом смирны и постного масла, трудно было уловить заманчивый дух Вахштаба... *

В гостиной стоял шумный говор. Предметом его был, конечно, жгучий вопрос о Кармелюке и о последних событиях.

— Не верю я — и баста! — горячился Бойко, возражая на рассказы матушки Мелании и отца Семена о благородном обращении с ними атамана.— Я не говорю... брунь боже, что панство все вымыслило... а утверждаю, что если шельма разбойник их выпустил, не ограбивши, то не по щырости сердца, а по гадючьей какой-либо хитрости... Рассказывают, будто этот негодяй помогает хлопам... А, где там, попе! Грабит их так же прекрасно, как и нашего брата... Сто ведьм ему в зубы!

— Нет, он руку держит...— начала было тощая Федулия, но, уловив зверский взгляд пана, сконфузилась и покраснела.

— Он благороднейший рыцарь,— заметила своим собеседникам почти шепотом Олеся,— несчастный... правда... но он за всех несчастных сердцем болеет...

— Но, послушай,— возразила панна Мария.— Все ж таки он гайдамак!

— Говорят, что красавец? — вставила молодая диаконица.

— На свете другого нет...— подхватила горячо Олеся,— а глаза... никогда у разбойника таких глаз быть не может...

— Да? Панна видела его?.. Ах, как интересно! — и потом, заметив у Олеси перстень, добавила с восторгом: — Ах, какой у панны перстень! Чудо! Чего только вы его носите камнем вниз?

* Тобто тютюновий дим.

— Будто? Я и не заметила...— бросилась рассматривать панна Мария.— А ты мне и не показала?

Олеся вспыхнула до макушки и не знала, что отвечать им; но в разговор вмешался молодой кавалер.

— Ого! Как заступаются за разбойника паненки,— засмеялся он, подслушавши шепот,— только он совсем не красив, просто черт чертом...

— Правда, вельможный пане,— заговорил, улыбаясь добродушно, и благочинный,— преувеличивают и прибрехивают зело... но, очевидно, он не всех грабит, а некоторым, быть может, и благоволит, для того, конечно, чтоб хвалили его,— вот и превозносят, как доброчинца... А во всяком разе, он негодяй: у исповеди и у причастия не бывает, службы божией не слушает и бродит в лесах, как заблудший овен... А может ли без церкви иметь кто-либо душу?

— Но Кармелюк относится с подобающим почтением к священству,— возразил на это отец Семен Дерлянский,— не токмо я, но и многие сие подтверждают...

— Вздор, попе! — буркнул сердито пан Бойко.— Что тебе кони вернул, так ты уже готов за него заступаться...

— Что этот Кармелюк чародей и знается с нечистой силой, так это, проше панство, верно! — заговорил шляхтич в ботфортах.— Вы знаете, панове, что на днях он сделал с нашим почтенным вельможным паном маршалком?

— С паном маршалком? — воскликнул Бойко и побледнел.

— Что? Что такое? — заинтересовались и другие.

— Что? — переспросил шляхтич.— Да разве панству неизвестно? Об этом уже трубит весь город.

— Да говори толком, пане! — раздражился Бойко, перепуганный вконец этим сообщением.

— Ограбил все до нитки... и ток сжег!

— Езус-Мария! — всплеснул Бойко руками и уронил на пол чубук.

— И его не поймали? — не то спросила, не то крикнула со страшной тревогой Олеся, побледнев от тревоги.

Шляхтич развел только руками, и этот жест вызвал снова на щеки Олеси густой румянец и зажег глаза ее радостью.

Все остальное общество насторожилось. Послышались просьбы: «Расскажите, расскажите, пане! Неужели?»

— Як маму кохам,— продолжал польщенный произведенным эффектом докладчик.— А вы спросите, шановное панство, каким образом? Ведь у вельможного пана маршалка весь двор обнесен частоколом и окружен рвом? Ведь туда, как в фортецу, лишь через подъемный мост можно проникнуть? Пан маршалок мог выдержать осаду и настоящего войска... а перед гайдамаком сплошал? В том-то и дело, что гайдамак с чертом в союз вступил. А против такого союза, Перун его забей, кто-либо другой ничего не поделает... Съехались, видите ли, к пану маршалку гости, и тоже со стражей; среди гостей прибыл и иностранный посол... Конечно, пан маршалок угостил их по-старошляхетски... Ну, захотелось панству и любимой шляхетской потехи,— отправились в ближайшие леса на полеванье с гончими псами, борзыми... Во дворе оставили добрую команду с комендантом... Заперли браму... удвоили вартовых и еще конных послали в разъезды... Ну, одним словом,— мыши не пролезть, мосци панове!.. И все идет отлично, как и нужно!.. Во дворе спокойно, кругом в околице [46] мертво, ни духа. Вельможное панство полюет беспечно... Только вот в полеванье ему незадача: куда ни бросят гончих — пройдут насквозь, завоют, выбегут на опушку и ни с места, только языки вывалят. Разбесился маршалок, выпорол лесничего, а чтоб не было обидно, то и доезжачего... и велел еще раз бросить псов в заповедную пущу, где и сам полевал лишь раз в три-четыре года... Зашли в болото — ни пушины, ни шелесту... словно все передохло... А там должны были быть, конечно, и лисицы, и волки, и вепри... И хоть бы вам, панове, заячий хвостик!.. «Видимо, крутит нечистый!» — подумал маршалок и гостям так объявил да и велел рушать до своей фортеци... Подъезжают и вдруг...— шляхтич окинул все собрание таинственным взглядом и замолчал.

— Ну, что же? — рассердился Бойко.

— Ну, слушайте. Вдруг из ближайших кустарников, что растут тут же за рвом, прыг куцый... один, а за ним другой... «Зайцы, зайцы!» — крикнули гости. И что же бы думали?.. Оба зайца, вместо того чтобы броситься хоть бы в поле, круто повернули и понеслись прямо на пан-

ство... От дива, а то и со страху все аж шарахнулись, а зайцы стрелою... просто-таки между ногами проскользнули и прямо на мост, да в браму... «Ату его!» — уже все закричали и бросились за куцыми во двор, а зайцы,— даже вся челядь видела,— сделали круга два по двору — и шасть в сад... «Будьте вы прокляты! — крикнул маршалок и добавил приветно: — Гайда, панове, к столам!.. Не удачней ли будет полеванье за ними... Да и всю команду угостить... переутомились ведь все до смерти...» Ну, и зашумели все за столами. Пир в самом разгаре. Хозяйка встала, чтобы наполнить мальвазией кубки гостям... взяла уж жбан в руки и слышит, что часы бьют полночь... И что бы вы думали, панове? Едва только прозвонил последний удар, как вдруг все гости уснули... Так и попадали на стол, где кто сидел... Розалия остолбенела... прислушивается... везде все умолкло... и стало тихо, как в гробу... попробовала крикнуть — не отведет голоса... И вдруг она видит, что два зайца впрыгнули в открытое окно и, перевернувшись два раза в воздухе, стали вдруг двумя пышными рыцарями... Пани Розалия стоит камнем и думает, что это все ей, верно, мерещится... Но старший рыцарь,— это и был Кармелюк,— ей говорит: «Вельможная пани, дай мне ключи и покажи, где твои драгоценности и маршальские деньги... А ты,— обратился он к своему товарищу,— пойди отвори браму и впусти хлопов... Челядь и команда будут лежать трупами, пока не взойдет заря». Товарищ исполнил в точности приказание атамана и стал хозяйничать с крестьянами во дворе, а потом они бросились на ток, а сам Кармелюк забрал в доме все деньги, все золото и бриллианты. Пани повиновалась ему беспрекословно... и, наконец, он ей предложил отправиться с ним в его берлогу и там провести... пшепрашам панство... несколько сладких часов...

— Ловко! — засмеялся франт.

— Вожделение! — встряхнул шевелюрой дьякон.

— В своем ли ты уме, пане? — зарычал Бойко. Олеся при этих словах вся вспыхнула. Она сделала движение, словно хотела что-то возразить, но сразу смешалась и умолкла.

А Бойко продолжал дальше сурово:

— Глупство! Что хлоп может стать всяким скотом — допускаю, но чтобы пани маршалкова с подлым

быдлом, хамом, с пся кревью — никогда в свете!.. А вот, если правда, что шельма ограбил и пана маршалка, то плохо! Нужно поймать этого изверга во что бы то ни стало... Москалей зараз выписать... закатовать его да в придачу к этой гадине перевешать и быдла хоть штук десять на сотню... бо иначе выйдет содом и гоморра!

Хозяйка-матушка уже несколько раз входила в гостиную и перешептывалась со своим благочинным: ждать ли городничего и асессора или сейчас подавать? «Время позднее, и пироги пересохнут, да и все перепреет!» Но хозяин все еще не решался и знаками приказывал ждать.

Наконец, когда он поднялся с кресла и, мигнув матушке, произнес торжественно: «Милости просим потрапезовать, чем бог послал!» — дверь шумно отворилась и в гостиную явились гости: асессор, городничий с супругой и двумя молоденькими племянницами. Начались громкие приветствия да извинения, что дела службы, неукоснительные дела задержали их, но довольный хозяин прекратил извинения вторичным приглашением дорогих гостей к чарке и трапезе.

Голодные гости накинулись молча на многообразные и обильные пития и снеди, приготовленные искусною рукой матушки. Счастливая и сияющая, она теперь подбегала то к одному, то к другому почетному гостю, подливая чарки, подкладывая куски, и просила, чтобы не брезгали и сделали ей честь... Особенно ухаживала она за прибывшими дамами-шляхтянками. Последние держали себя весьма надменно и всем своим видом показывали, что делают величайшую милость хлопским попадьям, позволяя угощать себя. Мужчины же при виде роскошных яств и питий забыли все конвенансы * и ели и пили, не обращая никакого внимания на хозяев. Слышались лишь короткие одобрения, вроде: «Великолепно!», «Отменно!», «Гм-да!», «Весьма и весьма!», «Чревоугодие!», «Ой, последние дни живота!»

Только после третьей перемены блюд и поднялся уже оживленный и свободный, ничем не стесняемый говор. Послышались частые перекрестные вопросы, расспросы, на которые редко кто отвечал, или не дослышав

---

* Форми ввічливого поводження, ввічливість, пристойність (*франц.*).

за шумом, или интересуясь другим... Возгласы, восклицания, раскатистый смех увеличили еще больше шум хмельного веселья...

XXII

Пан Бойко вдруг рявкнул, утирая салфеткой и шею, и побагровевшее, лоснящееся от пота лицо:

— Правда ли, панове, что наш пан маршалок сожжен и ограблен и что его прелестная жена похищена этою шельмой Кармелюком?

Имя гайдамака опять возбудило внимание разгоряченного общества.

— Да как же не правда? Истинное происшествие, зарегистрированное даже! — ответил тоненьким, бабьим голоском пан асессор.

— Как же начальство потворствует такому гвалту? — заревел Бойко.

— Да успокойтесь, панове! — отозвался с улыбкой смотритель тюрьмы.— Шайка перевязана, и главные заправилы сидят уже, забитые в колодки и оковы, у меня во дворе...

— Ого, неужели? Что же пан молчит и не сообщает такой радости? — послышались возгласы меньшинства; большинство же при этом известии как-то смущенно и даже словно печально притихло. Олеся побледнела и стала пить холодную воду, желая подавить поднявшееся волнение; матушка Мелания вздохнула; тощая, тараневидная Федулия повела растерянно длинным носом и произнесла нараспев: «Ой мамусю!» Одна только молоденькая дьяконица восторгалась чему-то и шептала, сверкая своими глазенками: «Ох, как интересно!»

— Отлично, отлично! — ревел с раскатистым хохотом пан Бойко.— И этот протобестия Кармелюк сидит тоже у пана?

— К сожалению, еще нет... Но его, наверное, поймают.

— Гм! Гм! Плохо! Пока не раздавите эту гадину, да так, чтоб и шкура ее по всем базарам тлела, до тех пор покою не будет!

— А этого негодяя-волшебника не скоро и сцапаешь! — заметил шляхтич.— Его нужно бить серебря-

ною, из святого креста вылитою пулей, да и после смерти пробить ясеневым колом, чтобы не ходил упырем... А то все равно будет кровь людскую лакать.

— Звери! — прошептала неизвестно к кому побелевшими губами Олеся.

— Не бысть сему, паки и паки реку! — заметил протодьякон довольно громко.

— Отец Аввакум! — заметил ему укоризненно благочинный.

Но при поднявшемся снова шуме шляхта не могла услышать ни дьякона, ни благочинного.

Пан Бойко гремел:

— Непременно хочу увидеть этих ракалий и харкнуть каждому шельме в глаза!

— Покажу, с приятностью покажу их всем... Только плевать на них по уставу не полагается! — улыбался смотритель.

— А что мне уставы! Ведьме под хвост!

— Ловко! — прыснул опьяневший франт.

Сторонники пана Бойка покатились от хохота.

— И мы с панством,— я непременно хочу увидеть преступников! — обратилась городничиха к смотрителю.

— О, с величайшей радостью,— отозвался тот.

— А пани не испугается? Гайдамаки страшнее черта! — заметил эконом, сосед городничихи.

— Под прикрытием панским — никогда! — ответила та с улыбкой.

— Ах, любки, паненки! Пойдем и мы посмотреть, пойдем! Интересно! — егозила, подталкивая своих соседок, молодая дьяконица.

Наконец, когда обед был окончен, последняя здравица за гостей осушена и хозяин, поднявшись, стал креститься широким крестом, неожиданно вошел в зал прискакавший вестовой и вручил тюремному смотрителю пакет.

Смотритель распечатал его и стал пробегать глазами бумагу. Все насторожились.

— Что? Что там написано? В чем дело? Опасность какая? — посыпались со всех сторон вопросы.

— Никакой опасности, а водворение довлеющегося покоя! — произнес смотритель торжественно.— Получил предписание приготовить этих гайдамаков к немедленной отправке в Каменец; подводы и целый отряд для

конвоя имеют скоро прибыть... Так если шановное панство желает, то лишь сейчас могу показать разбойников,— ибо должен буду позаботиться приготовить надежный склеп для архибестии: Кармелюк взят, и его, закованного по рукам и ногам, уже везут сюда.

Все замерли от неожиданности; какое-то болезненное восклицание, словно широкий вздох, вырвалось из общей груди и замерло в подавляющей тишине...

Общество двинулось шумною компанией смотреть интересных разбойников.

Впереди выступал, как хозяин города, пан городничий вместе с смотрителем тюрьмы; за ним тянулись пан Бойко, исправник и асессор; дамы следовали еще дальше; подле шляхетных пань увивались эконом и два шляхтича; и только дьяконица, Олеся и протоиерейская дочка держались особнячком, несколько в отдалении от остального общества, так как городничиха ясно показывала, что считает себя истинною аристократкой и избегает компании попадьи и поповен.

Олеся шла словно во сне, придерживаясь за руки подруги Марии. Она не сознавала, зачем идет к тюрьме, что ее тянет туда, что надеется она там увидеть. Но какое-то непонятное желание увидеть хоть тех лиц, которые были вместе с ним, а может быть, увидеть и Кармелюка, хоть в кандалах, хоть в арестантской сермяге,— только это желание и толкало ее вперед.

Известие об аресте Кармелюка тяжело потрясло Олесю и порвало вмиг в ее сердце дивно звучавшую струну... Теперь она жалобно трепетала и наполняла сердце девушки мучительным стоном...

Все эти дни по приезде в Литин Олеся провела в каком-то сладостном полусне. Она мало говорила с окружающими, а когда говорила, то улыбалась и двигалась с такою нежною осторожностью, словно несла в груди своей драгоценный сосуд, переполненный волшебною влагой, капли которой она боялась расплескать...

Но самые лучшие минуты наступали для нее тогда, когда маленький дом отца протоиерея погружался в мирный сон и Олеся могла оставаться одна — сама с собой и с тем волшебным чувством, которое расцветало в ее душе... Сомкнув глаза, она погружалась в какую-то сладкую дремоту; это не был сон, не было и бодрствование, это не была и ясно определенная дума или

мечта... Чего желала Олеся? Она не знала, но думала лишь о нем и только о нем! Каждое слово, каждая мелочь их недолгой встречи всплывали перед ней с изумительной отчетливостью, за каждым недосказанным словом воображение разворачивало длинный свиток миражных картин... Как белые весенние облака, плыли ее неясные грезы в лазурную глубину, убаюкивая и наполняя сладкою тоскою все ее существо... Одно только выступало ясно из этого туманного моря: желание увидеть его.

И вдруг — это известие! Герой ее грез схвачен, закован... Его везут сюда, а потом в Каменец на страшную кару! И нет сил спасти его! Никакие моления не вызовут у этих извергов-судей хоть каплю милосердия!

Олеся сжимала до боли свои холодеющие руки и чувствовала, что вместе с ужасным известием навсегда порвалась ее молодая, цветущая жизнь.

Между тем разговор компании продолжал держаться на Кармелюке.

— Только надо добре держать шельму, чтобы не ушел! — настаивал все пан Бойко.— Кандалы на руки и на ноги...

— Го-го! — перебил смотритель.— Железный ошейник на шею, да и приковать черта к стене, чтобы и плечом не пошевельнул...

— Але что для такого негодяя железные цепи? — вставила свое слово городничиха.— Он, говорят, рвет их, как паутину, да еще утверждают, что у него есть разрыв-трава,— от нее не удержатся никакие замки!

— В таком случае остается только зачаровать гайдамака, и то могут сделать лишь очи пани! — произнес пан эконом, слегка склоняясь к пышному бюсту городничихи и подкручивая свой густой, как сноп, ус.

— Мои очи? — городничиха от удовольствия расплылась в улыбку и, потупив глаза, добавила смиренно: — Но может ли гайдамак испугаться моих глаз, когда он не страшится и грозных взоров доблестного шляхетства?

— Ге-ге! — Пан эконом многозначительно подморгнул широкою черною бровью.— Шельма к женскому полу льнет, как муха к меду, а перед чудными очами совсем пасует. Да и пани, и паненки, увидев гайдамака, тоскуют по Кармелюку...

— Может, хлопки или поповны,— вспыхнула городничиха, бросая едкий взгляд в сторону Олеси и ее подруг,— а шляхтянка может отдать свое сердце только шляхтичу — и больше никому.

Пан эконом одобрительно крякнул и промычал что-то неразборчивое.

— Какая там трава и какие очи! — вмешался в разговор отдувавшийся все время Бойко.— Просто, проклятый, силен, как Самсон, да и баста! Он снимает с себя и семипудовые кандалы! Поэтому-то я и боюсь, что хоть семь сороков сторожей поставят панове подле тюрьмы, а уйдет, пес, уйдет!

— Посбавим ему силы,— перебил лихо городничий,— порасспросим кой о чем легонько, с пристрастием!

— Панове судьи на том еще нам спасибо скажут,— добавил смотритель,— коли мы выведаем у него кой-что на горячих порах. Наилучший способ для этого дела — дыба: и язык живо развязывает, и косточки перебирает как след.

— Панове, на бога! Какой старый способ! — вскрикнул с притворным ужасом один из кавалеров, Рудковский, предлагавший прежде у предводителя устроить на Кармелюка облаву.— Кто же это теперь употребляет? Дыба... Пфуй, как это грубо, просто и, пожалуй, даже незаконно... По-моему, наилучший способ — лишить, каналью, сна. Да, чего вы на меня так смотрите? Нет хуже муки — не давать спать ни за что! Играть, трещать, барабанить над его ухом, водить по камере... Поверьте, что через пять дней, собака, выболтает все!

— Хороший способ, но еще лучше — лишение воды,— добавил второй франт, увивавшийся возле паненок.— Накормить его соленым, а потом не давать воды. Як бога кохам, на стену полезет, сбесится!

— А пока вы будете ждать, чтобы он сбесился, шельма сбросит кандалы, подкупит либо передавит всю стражу и удерет! — пробасил пан Бойко.— По-моему, самое лучшее, по старому, простому обычаю,— перебить гайдамаку одразу ноги, да и баста: пускай-ка тогда попробует утикать.

— Пан имеет резон,— согласился смотритель.

— То правда, правда, пан рассудил премудро,— поддержала и городничиха.— Ведь надо, чтобы Карме-

люк был доставлен в Каменец живым, чтобы можно было произвести над ним достойную кару, а если он сбесится у нас, что скажут панове судьи?

Большинство компании поддержало городничиху и согласилось с мнением пана Бойко, что прежде всего надо будет перебить Кармелюку ноги, а потом уже производить над ним остальные эксперименты.

С ужасом слушала Олеся эти разговоры, употребляя всю силу воли, чтобы не выдать своего душевного состояния ни криком, ни словом, ни движением, только рука ее, что лежала на руке подруги, беспрерывно вздрагивала да все тело пробирала мучительная дрожь. Ей было не до слез и сожалений: весь мозг, все тело девушки охватило одно страстное, непреодолимое желание: спасти несчастного, спасти во что бы то ни стало. Но как спасти? Олеся даже не могла себе представить этого, но вместе с тем она ясно чувствовала, что желание ее было так ярко, так страстно, что оно могло дать ей и геройскую силу, и находчивость, и воодушевление...

Между тем разговор панства перешел на то, какие пытки и какая казнь ожидают Кармелюка в Каменце. Одни находили, что, наказав его предварительно по всем правилам доброго старого времени, в конце концов повесят, другие утверждали, что прогонят сквозь строй, третьи предсказывали каторгу.

В такой оживленной беседе дошли все до тюрьмы — грязного двухэтажного дома, выкрашенного в желтый цвет, с высокою каменной оградой вокруг; у входа расхаживал часовой.

— Ну-с, шановные пани, панны и панове,— обратился ко всем смотритель тюрьмы, делая рукою приветливый жест,— хотя, быть может, и неучтиво, но прошу панство подождать здесь немного, пока я не осмотрю сам арестантов и не приготовлю их к осмотру.

Все поспешили согласиться, и смотритель хотел уже было войти в тюрьму, как вдалеке послышались приближающийся стук колес и звуки солдатской песни, а через минуту на главную улицу города Литина лихо вынеслись из-за угла две тройки, заложенные в большие возы-драбыняки, наполненные солдатами. Солдаты сидели, перекинув через щабли ноги, и громко пели с выкриком и подсвистываньем залихватскую песню. Вокруг возов бежала целая туча еврейских ребятищек с

торчащими из прорех хвостами сорочек; мальчишки выражали свою радость и изумление криками, прыжками и громкими гортанными взвизгиваньями.

Впереди этого кортежа скакал на великолепном вороном коне молодой офицер. Облака пыли, взбитые лошадиными копытами и ногами жиденят, окружали всадника, так что издали трудно было рассмотреть его лицо.

— Москали! — вскрикнули разом и городничий, и смотритель тюрьмы.— Везут гайдамака!

В этом восклицании прозвучала, впрочем, не радость, а явный ужас.

— Пане Езусе! У меня еще ничего не готово! Что же делать? — всплеснул руками смотритель и, обратившись к городничему, который уже повернул спину и собирался уходить, вскрикнул в отчаянье: — Пане городничий, але, пане городничий, куда же пан собирается уходить?

— Домой,— был короткий ответ.

— Домой?!!

— Пшепрашам пана, там офицер русской армии,— городничий указал на приближавшегося офицера,— не могу же я явиться перед ним не в парадной форме. Да и надобности нет мне...

— Но ради бога!.. Ведь мы же не знали, что он приедет... Он застал нас невзначай... Да не оставляй же меня одного!..

При первых словах этого разговора эконом, на руку которого томно опиралась городничиха, быстро вырвал свою руку и круто повернул к ближайшему забору.

— Пане, пане! Куда ж пан уходит? — возмутилась городничиха.— Ведь разбойник в кандалах и в железах, да и пан офицер при нем!

— А сто чертей ему: и в кандалах, и в залезах! Доброму католику не годится и смотреть на такого негодяя!

— Совершенно верно! — подхватил городничий, не обращая внимания на ламентации смотрителя.— Любцю, дай руку, и пойдем.

Кучка собравшихся у тюрьмы пришла в сильнейшее волнение. Пан эконом занес было уже ногу через плетень, когда раздался тоненький голосок пана асессора:

— Але, проше панство, ведь это, должно быть, еще

не Кармелюк, а только команда за нашими колодниками.

Эти слова сразу отрезвили всю компанию.

— Так и есть! — вскрикнул радостно смотритель.— Ну да, ведь и на бумаге то же прописано. Значит, команда за розбышаками!

— Так и есть,— подтвердил важно и городничий, выпуская руку своей супруги.— Ну что ж, может, пан смотритель и прав, может, можно... гм... встретить пана офицера и не в парадной форме... Оно даже как будто понатуральнее...

Всполошившаяся было компания успокоилась и с нетерпением устремила свои взоры на приближавшихся москалей.

В продолжение этого короткого разговора Олеся то краснела, то бледнела, кровь ее то отливала к сердцу, то бросалась к вискам и к лицу, ноги подкашивались.

Чувствуя непреодолимую слабость, Олеся отошла к сторонке и прислонилась к стене ограды.

Между тем офицер лихо подскакал к тюрьме, соскочил с коня, бросил поводья на руки солдату, подошел к смотрителю, торжественно выступившему вперед, и, взяв под козырек, подал ему запечатанный конверт, причем произнес на чистом великорусском наречии:

— Его благородию господину смотрителю литинской тюрьмы.

При звуке этого голоса Олеся вся вздрогнула, взглянула на прибывшего офицера, и радостный полупридушенный крик вырвался из ее груди.

Казалось, взгляд офицера метнулся на одно мгновенье в сторону девушки, но, не запнувшись, офицер продолжал дальше:

— От господина старшего судьи каменецкого приказ о выдаче заключенных.

Смотритель развернул бумагу, пробежал глазами ее начало и затем прочел вслух:

— «Сдать незамедлительно заключенных разбойников ротмистру Иванову для препровождения под надзором присланной команды в Каменец, дабы оные разбойники не сидели с Кармелюком в одном месте и не затеяли уговоров о бегстве. Для вышереченного же Кармелюка приготовить наиудаленнейшую камеру либо склеп и утроить стражу».

— Гм... гм! — смотритель замычал дальше что-то неопределенное и, сложив вчетверо лист бумаги, произнес радостно, протягивая офицеру руку:

— Отлично! Приказ не застал меня врасплох. Все готово. Пан ротмистр может теперь же забрать с собой гайдамаков, да и для бестии Кармелюка приготовлено наилучшее логовище...

— Отлично, мне и медлить нельзя: приказано выступать немедленно,— отвечал офицер.

Городничиха любезно обратилась к офицеру:

— А может, пан ротмистр остался бы переночевать до утра? Мой дом к услугам панским, да и утром спокойнее...

Городничий приблизился вслед за своей супругой к приезжему офицеру и, отрекомендовавшись, повторил приглашение.

— Наибольшей приятностью почел бы для себя,— офицер звонко щелкнул шпорами и склонил свою красивую голову.— Но долг службы прежде всего, а потому осмелюсь просить вас, сударь,— он обратился к смотрителю,— выдать мне неукоснительно вышепоименованных заключенных.

— В тен момент,— заторопился смотритель.— Но, проше пана, это избранное общество,— он указал рукой на собравшуюся у ворот тюрьмы компанию,— желает взглянуть на проклятых гайдамаков. Пан ротмистр не будет против этого?

— О, просим пана! Так интересно! Мы их никогда не видели! — запищали разом и племянницы городничего.

— Сделайте одолжение,— отвечал офицер, приглашая жестом дам следовать за смотрителем.

Смотритель, а за ним городничий с дамами, Бойко, асессор и эконом вошли в тюремный двор, за ними в некотором отдалении последовали диаконица с протоиерейской дочкой. Олеся же осталась на месте.

Между тем известие о том, что приехали москали и будут вести колодников, каким-то чудом пронеслось в одно мгновение по всему городу, и изо всех переулочков хлынула к тюрьме пестрая толпа.

Воспользовавшись минутою суматохи, офицер быстро подошел к побелевшей как стена Олесе.

— Панно любая, чуть было не выдала,— произнес

он тихо, слегка дотрагиваясь до холодной как лед руки девушки.

— Ради бога... что пан задумал? — прошептала Олеся так тихо, что офицер скорее угадал ее слова по движению побелевших губ, чем услыхал звук ее голоса.— Каждую минуту могут узнать... схватить...

— Еще погоняются! — отвечал удалой офицер.

— О господи! Можно ли так безумно... прямо им в руки!.. Ведь это изверги... у них нет сожаленья... Когда бы пан знал, какие муки они готовят! — голос Олеси осекся, губы задрожали, и на ресницах заблестели слезы.

— Но еще рано! — офицер усмехнулся.

— Пану смешно, — прошептала горестно Олеся, — а у меня сердце чуть не разорвалось!

Этот возглас вырвался у Олеси с такой болью, что офицер изумленно взглянул в лицо молодой девушки. Оно было красноречивее ее простых слов; переполненные слезами грустные глаза ее смотрели с такой чистой любовью на Кармелюка, что сердце его сжалось от горькой тоски.

— Дитя мое,— прошептал он тихо,— чем заслужил я такую ласку?

— Всем, всем! — вырвалось горячо у Олеси.— Прошу пана, молю: береги себя!.. О, я бы жизнь свою отдала, чтобы спасти тебя!..

Слова Олеси глубоко потрясли Кармелюка.

— Твою жизнь,— произнес он взволнованным голосом,— о, это много... Сто моих жизней, поломанных, никчемных, не стоят единой твоей чистой слезы. Будь же покойна! Из-за одного твоего слова — не попадусь им в руки... Ангел мой чистый, молись за мою грешную душу!..— прошептал Кармелюк, сжимая руку Олеси, и быстро отошел в сторону, так как в тюремном дворе послышались шаги и голоса возвращающейся с осмотра компании.

Сначала вышел смотритель и сопровождавшее его панство, а за ними показались и колодники: Андрей и Явтух с товарищами, закованные по рукам и ногам; подле каждого из них шло по два стража, вооруженные тупыми и заржавевшими саблями.

— Оттеснить толпу! — скомандовал офицер.

Солдаты бросились исполнять приказание началь-

ника, и через минуту площадь на значительное расстояние очистилась; но зрители, не отступая с поля сражения, взобрались на деревья, на заборы и даже на крыши домов.

Колодники прошли среди выстроившихся в два ряда солдат. На одно только мгновение они вскинули глазами на офицера, и снова на их лицах с потупленными в землю взорами воцарилось мрачное выражение.

— Рассаживай колодников по два на воз! — скомандовал офицер.

Бравый унтер с щетинистыми баками занялся размещением живого груза. Колодников посадили в глубине возов, а вокруг них разместились солдаты, по шести в каждом возу, с заряженными пистолетами в руках.

Когда все было готово, офицер попрощался с обществом, вскочил на коня и крикнул:

— Трогай!

Телеги двинулись скорой рысью по направлению к выезду из города.

Офицер приподнялся в стременах, снял с головы фуражку и, обращаясь к смотрителю, произнес громко и отчетливо:

— Прощайте, пане смотрителю, и вы, панове! Будьте здоровы! Скоро увидимся!

Озадаченные странными словами офицера, все молча переглянулись и занемели в смутной тревоге, а когда первое тягостное впечатление этих странных слов улеглось и смотритель с городничим взглянули вслед удаляющимся колодникам, их уже не было в городе, только облачко пыли вилось в конце улицы.

Едва повозки выехали рысью за город по Каменецкому тракту, как сразу же пустились в карьер. Песни солдатские за городом тоже умолкли, и колодники с уланами ехали молча, изредка пожимая лишь руки друг другу. Ротмистр скакал на вороном коне впереди, словно указывал дорогу, и только за перелеском подъехал к телегам и приказал им изменить путь: поворотить назад и направиться к лесу, синевшему на горизонте бесконечной стеной.

— Ну что, товарищи? — обратился он к колодникам.— Чи не поиграли черти с вашей шкурой, а то и с костями?

— Нет, батьку, бог миловал,— отозвался кто-то.

— Я этого только и боялся...

— Ой батьку любый! Спасибо за вызволенье (освобожденье)! — воскликнул Андрей.— Век тебе... все головы!..

— Все головы, батьку атамане! — подхватили дружно другие.

— Спасибо после... а пока скорей в лес! — скомандовал мнимый ротмистр уланский.

Читатель, вероятно, догадался уже, что это был не кто иной, как наш Кармелюк.

— Налево, вон в том уголку леса, пане атамане, есть удобный лаз,— гукнул ему вслед один из улан, местный крестьянин Ткачук.

— Отлично,— ответил атаман.

Повернули, впрочем, к лесу с большой осторожностью, чтоб скрыть следы: сначала проехали по тому же тракту с версту назад, а потом в удобном месте, в перелеске, отпрягли коней, перевели их осторожно в разных местах, перенесли затем на руках телеги сажен за пятьдесят в сторону и, запрягши их снова, помчались уже по полю без дорог. Неровность почвы, кочки и рытвины заставили телеги так прыгать, что седоки едва могли удержаться,— толчки особенно чувствительны были колодникам, так как цепи и кандалы врезывались им в тело.

— Ой братцы, легче! — не вытерпел Андрей.— Снимите хоть железа, а то покалечат вконец...

— Хе, потерпи маленько,— улыбнулся Гнида.— Захотелось же тебе оставаться, ну и терпи.

— Наказ батьков — и квита! — буркнул Андрей.

— Наказ! Заставь дурака богу молиться, так он и лоб себе разобьет.

Андрей что-то хотел [сказать] солдату, но повозка так подскочила в это мгновение, что он прикусил себе поневоле язык. Наконец уланы добрались до овражка, расковали колодников и двинулись вперед. Пока они переваливали по крутому подъему оврага, набежала тучка и пустился летний частый дождик..

— Вот это на руку,— заметил один из колодников,— хоть умоет, а то в этой клятой тюрьме пылью припали.

— А вот как въедем под терны, так и головы еще нам расчешет,— заметил другой.

— Ишь, балованный, чего захотел! Словно материнской ласки,— засмеялись уланы.

— Дождик важный,— отозвался и Гнида,— славно замоет следы... Живей только к лесу... вот — рукой подать!

Через полчаса беглецы уже были в дремучем лесу. Орошенный мимолетным дождем, он благоухал и принял гостей ласково в свои широкие объятия, обвеяв их живительною, ароматною прохладой. Все вздохнули свободно. Усталые лошади пошли шагом и стали тоже от удовольствия фыркать да нагибать головы к сочной траве.

— Подождите, любые,— утешал их Гнида,— пустим на попас да пшеницы подсыпем!

И действительно, долго ехать по лесу не пришлось; с каждым шагом вперед он становился чаще и чаще; граб и дуб стали сменяться вязом и берестом, а наконец, с понижением почвы, и осиною, укутанною целыми зарослями лещины, терна и всякого чагарника... По этой трущобе пробираться с возами было невозможно, и беглецы вынуждены были остановиться в первой котловине, тем более что и почва становилась топкой да вязкой.

— Что, братцы, устали? — обратился Кармелюк к путникам.

— Да, немного перетрясло, батьку, в этих каруцах! — ответил, охая и потирая ноги, Андрей.

— Не любит! — засмеялись товарищи.

— Ха! Колодникам-то, верно, больше всего и досталось! — улыбнулся атаман.— Только вот что, друзья: как ни устали вы, как ни помяло вам кости, а здесь привала делать не приходится,— нужно засветло, а уж вечереет... перебраться через болото. Я знаю здесь лаз... и там, на той стороне, мы будем как у Христа за пазухой. Так вот что: телеги бросим здесь, в этой котловине, закатив их в чагарник, а коней, припасы и оружие заберем с собой... Да скинем-ка, братцы, эту уланскую сбрую и переоденемся в свое, а чужое добро пусть свяжет кто в узел и возьмет с собою.

Все беспрекословно бросились исполнять распоряжение атамана, и через четверть часа ватага, нагруженная узлами, мешками, торбами и всякого рода оружием, двинулась гуськом за атаманом; передовые вели под уздцы лошадей. Опытный глаз Кармелюка, взросшего среди болот и трясин, выбирал по сорту растений, по характеру кочек твердую тропинку. Несмотря на то что

это был самый узкий перехват болота, путникам пришлось биться добрых часа два, пока они с страшными усилиями добрались до другого берега. В грязи и тине беглецы едва переставляли ноги и, выбравшись на берег, растянулись вповалку... Даже кони, почувствовав под ногами твердую почву, заржали радостно, но от усталости легли, не соблазнившись клевером и чебрецом, покрывавшим шелковистым плюшем пригорок. Все были переутомлены до того, что не могли даже поделиться впечатлениями, и молча, лишь широкими вздохами облегчали усталую грудь да вытягивали одеревеневшие ноги. Из окружавшего их темною стеной леса полз к ним бесформенный сумрак, над болотом белыми струйками поднимался туман и расплывался прозрачным пологом по долине, а вдали уже небо алело и мягким розовым отблеском смягчало угрюмую картину лесной глуши.

Прошло в глубоком молчании с полчаса; наконец прервал его Гнида:

— А что, братья, не выпить ли нам для подкрепления по келеху говорухи да не смазать ли губ куском сала?

— Дело, дело! — отозвались товарищи.

— Нет, не дело, братцы,— возразил Кармелюк.— Здесь все-таки место открытое; помажешь губы салом, захочется и брюхо пополоскать тепленьким, а разводить здесь огонь небезопасно. По-моему, отдохнув немного, перевалим в лес и там уже, в гущине, на раздолье, повечеряем всмак.

— И то правда,— согласился Гнида.

— Да тут лишь с четверть версты есть и скрытая полянка,— добавил фурман Онысько.

— Так и веди! Гайда! — скомандовал Кармелюк и, взяв под уздцы своего вороного, поспешил вслед за Оныськом.

За ним двинулась, кряхтя и выгибая поясницы, ватага.

За непролазным чагарником и зарослями колючих растений пошел дубняк вперемежку с грабом... Несмотря на высоту и густоту стройных деревьев, несмотря на сгустившийся внизу мрак, идти здесь было свободнее, и компания зашагала смелее, защищая руками лишь лбы и глаза от ветвей да сучков. Но вот опять почув-

ствовался под ногами уклон, и вскоре открылась круглая, уютная полянка.

— Стой! — скомандовал Кармелюк.— Привал! Разводи костры! Кашевары, готовьте кулиш и галушки! А ты, Гнида, поднеси нам теперь и говорухи, и сала.

— Зараз, пане атамане! — отозвался весело Гнида и бросился к сложенным мешкам и торбам.

Между тем остальные товарищи бросились собирать валежник. Кони были пущены на поляну и стали с аппетитом щипать ароматную лесную траву.

Через несколько минут пылал уже веселый костер, выхватывая из мрака грозные силуэты обступивших деревьев; они то надвигались, словно привидения, то снова отступали и тонули во мраке. Кашевары утвердили на треножниках казанки и засуетились над приготовлением ужина. Свободные от работ разлеглись поближе к огню, чтобы высушить мокрую одежду и отогреть тело, а то свежая сырость начинала уже пронимать его дрожью. Гнида не замедлил обнести компанию чаркою, наделив каждого добрым куском сала и половиною паляницы. За первою чаркой последовала вторая и третья. Голодные товарищи проглатывали водку молча, без прибауток, и принимались с жадностью за сало. Слышались только кряхтенье да чавканье. Когда первый голод был утолен и в зубах у лесных гостей закурились носогрейки, тогда только развязались языки, и молчаливая поляна наполнилась звуками веселого говора.

XXIII

— Ну, словно на свет народились,— заговорил первый, разминая руки и ноги, Андрей.— Думали — уж совсем пропадем... Даже чертовое панство собралось было любоваться нашими муками... И вдруг чудо, неслыханное, невиданное... Только батько наш родный способен на такие чудеса!

— Да, батько,— подхватил Дмитро Гнида, не могший и до сих пор простить Андрею, что тот остался, невзирая на явную опасность, чтобы дословно исполнить волю атамана.— А вот из-за твоей дурости батько должен был идти под штык супостата!

— Было б удержать батька,— смутился Андрей.—

Я бы с радостью вытерпел за него всякие муки!.. Конечно, моя голова не стоит и одной капли атаманской крови.

— Стоит, любый, стоит...— отозвался ласково Кармелюк.

— Да как это сталось? — обратился другой из колодников к Гниде.— Думаю-думаю и в толк не возьму... Коли нам объявил этот черт собираться в Каменец, то я себе подумал: «Ну, значит,— кончено!», а как вышел на дворище да глянул на улан... «Что,— думаю,— за дидько? Знакомые все люди!..» А по вас, дядюшка, сразу-таки признал, что это свои... Мало-мало не крикнул: «Слава богу!»

— Ото бовкнул бы! — улыбнулся Гнида, и вся компания рассмеялась.— А как это дело сталось, ребята, так вот... Поднеси-ка еще келешок, чтоб промочить горлянку,— подморгнул он ближайшему.

Опорожнив келех, солдат крякнул, отер и поправил усы и, затянувшись люлькой, начал с подобающим достоинством свой рассказ:

— Ну, вы там, братцы, сначала все сами знаете, а вот как только вывел нас Онысько в сад, да через секрет за фортку, за мур,— ну, перевели мы дух. Тут уж стояли наши кони, и мы рассыпным строем в карьер до руины... глядим, а батько уже там... «Что, хлопцы,— спрашивает,— все ли благополучно?» — «Слава богу,— говорю,— вот только Андрей с тремя остался!» Всполошился наш пан. «Да ведь их замордуют... Как же вы, сякие-такие, товарищей бросили?»

Кармелюк, погруженный в раздумье, только улыбнулся на эту фразу и снова ушел в себя.

— Что ж,— говорю,— звал, тянул его с собой, а он уперся как бык. Не пропадать же всем из-за дурней!..

— Вы-бо, дядько, поосторожнее! — заметил обиженным тоном Андрей.

— Да, верно,— поддержал, словно очнувшись, атаман.— Андрей исполнил честно свой долг... Ты ведь, Дмитро, сам хорошо знаешь военную дисциплину. Приказ дан «в штыки» — и марш, не рассуждай! Вот и тут Андрей с товарищами сослужил всем и тебе добрую службу: они задержали вражий отряд и вам дали возможность уйти... Я не чаял нападенья ночью и велел

себя ждать, и вот они не побоялись подставить под обух свои головы и тем спасти товарищей и атамана!

— Правда, правда! — загалдели оживленно кругом.— Спасибо им! Добрые они, славные товарищи!..

— Эге! — мотнул головою Дмитро.— Как погляжу теперь, так не вышел ли сам я на дурня? Ей-богу! Атаман это по справедливости, как по артикулу... А я, значит, мозговнёй оплошал... Ешь ее муха! Так ты, брат Андрей с товарищами, простите меня на слове...

— Что вы, дядько! — отозвались довольные похвалой атамана гайдамаки.

— Так вот,— продолжал Дмитро, желая загладить невыгодное для себя впечатление.— Затревожился пан атаман, а за ним и мы все... Стали думать-гадать, каким бы манером спасти из плена товарищей... Один из челяди маршальской, Максим Грець, вот тот белобрысый, что пристал к нам,— указал он движением бровей,— так он доложил тогда, что доподлинно, мол, слыхал, как маршалок говорил, что эскадрон улан стоит в Н., что часть его он вытребует к себе, а часть там останется, и что если кого словят, то чтоб тащили в Литин, где будет и комиссия. Батько наш, нужно правду сказать, побивался за вами найбольше, ходил, руки ломал, а нарешти-таки додумался. «Гайда,— говорит,— в Рудню, где ночуют уланы, мы до света еще успеем там быть...» — «А что,— спрашиваю,— прикажешь: приколоть их, как поросят?» — «Нет, мне нужно,— говорит,— добыть их одежду... и лучше бы добыть тихачом». А фурман наш и отзывается: «У меня в том селе кума есть, так я попробую к ней прокрасться да вместе с нею и пошарить по хатам, где спят солдаты... а то и приятели найдутся... Пану Кармелюку ведь всякий помочь рад».— «Так нельзя ли выкрасть одежи и солдатской, и офицерской? — говорит атаман.— Великое спасибо скажу...» Отправились мы к Рудне походом, прибыли — еще Воз (Большая Медведица) черкал боком край неба. Засели в гайку, а белобрысого послали лазутчиком... Слушаем — собаки забрехали и стихли... значит, там уже... Опять забрехали, и снова тихо... Ждем да пождем — ни духа... Уже и небо стало синеть, уже и хмарки стали алеть,— а его нет как нет! «Ну,— гуторим,— нарезался, верно, бедняга... пропал!» А он с другой стороны крадется с кумой...

— И кума с ним? — удивился Андрей.

— И кума,— улыбнулся Дмитро,— а у обоих за плечами по оберемку.

— Солдатской одежи? — переспросил товарищ Андрея.

— Не только одежи, а всякой амуниции.

— Вот ловко! — подхватил Андрей.

— Чего лучше! — продолжал Гнида.— Обрадовались мы все, а особенно атаман,— зараз же переоделся ротмистром, приказал переодеться и нам... да привести еще за гай два драбиняка и две тройки панских добрых коней... Все было исполнено, как по щучьему веленью, и мы утром майнули перелесками к Литину; остановившись в корчме недалеко от города, смыкнули оковитой у жида, подкрепились таранью, яйцами, салом, запили черным пивом... а тем часом батько послал в город гонца с бумагою, которую сам написал коло стойки. В обеденную пору и мы двинулись, разузнав от жида, что колодников еще ночью перевезли в город и что там ни команд, ни улан никаких нет... Ну, а решту вы знаете... Так, стало быть, кланяйтесь батьку атаману в ноги за вызволенье, да не забудьте подякувать и белобрысого.

— Спасибо, батьку! Спасибо, брате! — вспыхнули у спасенных, от полноты благородного чувства, приветствия.

Белобрысый смешался, а Кармелюк, погруженный в какие-то неясные, бесформенные, несладкие грезы, вздрогнул и, думая, что благодарят за ужин, ответил обычное:

— Богу дякуйте!

А вечерю только теперь принесли кашевары в котлах и передали товарищам шпички (род лучин), а ложку уж каждый вытянул свою из кышени. Кашевары тоже подсели к кружку, и началась дружеская вечеря. Пока трапезовали гайдамаки, из-за лесной трущобы выплыл полумесяц и бледным таинственным светом облил и полянку, и энергические фигуры ночных бойцов, черные тени которых лежали теперь на траве, словно многопалые лапы какого-то грозного чудища.

— А что нам, братцы, дальше делать? — поднял голос Дмитро.— Хвала богу, подкрепились, солнце казачье взошло, так не вылеживаться ж в такую пору, а трогать в поход... Только куда теперь? Вот что!

— А куда скажет батько атаман...— отвечали все дружно.

— Куда рада решит,— уклонился от прямого ответа атаман.

— Единая голова у нас — батько и единая рада! — вскрикнул Андрей.

— Так, так! Куда ты, пане атамане, туда и мы за тобой! — загомонили одни.

— Рады слушать! — поддержали другие.

— Ну, коли рады слушать,— заговорил Кармелюк,— то вот моя думка и рада. Много мы натворили здесь всякой всячины... Теперь, после проделки с маршалком и после вызволенья колодников, все поднимутся на ноги — и паны со своими командами, и полиция, и к этому эскадрону, пожалуй, и еще москалей выкличут... Так нам прийдется либо оставаться здесь, либо попасть ворогам в зубы... Так моя рада вот какая: первое — нам нужно бросить на время эти места и разбиться на три ватаги; одна ватага пусть подасться на Ушицу, а оттуда геть к Черному острову, другая — на Винницу к Житомиру, а третья — на Ямполь к Каменке... Туда вот, на полдень... Я думаю податься один: там мало захованных мест, так большой валке и укрыться негде, а к Черному острову да к Полесью — много приволья... Там и укрыться, и прокормиться есть где... Так вот на Ушицу, по-моему, шел бы ты, брате Дмитро, с ватагой, а на Полесье — ты, Андрей...

— Батьку мой родной,— взмолился Андрей,— позволь мне быть с тобой... сдохнуть у ног твоих за тебя!

Кармелюк взглянул на него растроганным взглядом.

— Оставайся, друже мой, коли тебе любо,— промолвил он ласково.— Ну, а кого же ватажком (начальником) наставить на полесскую валку? Явтуха? Чи згода?

— Згода, згода! — откликнулось большинство.

— Ну, вот и отлично. Поделитесь же вы между собою товарыством — и квита! А вот на каждую ватагу и деньги... по пятьсот дукатов,— прикупите коней и прочего припаса... Да коней этих берите себе, только Андрею оставьте одного... бо пеший конному не товарищ... Да помните еще мой заповет: если меня вы уважаете хоть на крохту, если желаете иметь меня вечным другом и атаманом, то, заклинаю вас, не грабьте ни бедных, ни селян, ни мещан, ни попов... Умоляю вас, дру-

зи,— не проливайте без крайней необходимости крови людской... Дорога́ она перед богом, и каждая капля ее жжет сердце адским огнем... Ой, как жжет!

— Святая правда, атамане! Век долгий, батьку! — загомонили возбужденно кругом, и толпа, обнажив головы, стала махать восторженно шапками.

— Выпьем же на дорогу по чарке, чтоб слово ваше, друзи, было крепко, как моя к вам любовь!

Выпили с шумными пожеланиями и криками. Кармелюк еще раз поклонился всем на три стороны и произнес дрогнувшим голосом:

— Ну, братья мои и друзья! Господь ведает, что судилось каждому на пути... Увидимся ли — это в его воле... Так вот, простите мне, если я кого скривдил словом и делом, если я сам вместо правды завел где-либо кривду... Эх, за все простите!

Эти слова до того тронули толпу, что она занемела; у многих на суровых очах выступили слезы, а Андрей таки просто расплакался.

— Что ты, батьку... родный наш... единый!.. Да ты... над все... да мы... хоть к черту в пучину...

Кармелюк обнял его горячо и стал поочередно прижимать каждого к своей груди...

Ночь дышала живительною влагой... с высоты небес глядел месяц... Очарованный лес недвижно стоял, словно прислушиваясь к трогательному прощанью, и только вдали зловещий пугач стонал да серебристое эхо несло перекатами этот стон по сверкавшим зубцам мрачного леса...

Перевязавши разбойников, ротмистр Семенов бросился со своими солдатами на поиски остальной шайки Кармелюка. Прежде всего кинулись в сад. На главной аллее оказались следы тяжелых сапог. Пробежавши ее, солдаты наткнулись в конце на калитку. За этой калиткой ров, окружавший всю усадьбу маршалка, был полузасыпан землей, так что можно было довольно легко перебраться на ту сторону. Разросшиеся кругом рва кустарники совершенно скрывали эту узкую греблю от глаз не посвященных в тайну людей.

Перебравшись по ту сторону рва, солдаты принялись осматривать с факелами почву и снова нашли следы

множества лошадиных копыт. Следы эти шли широкой и тесной полосой вплоть до самых ворот усадьбы; по положению их видно было, что всадники скакали от ворот до садовой калитки, но здесь следы сразу обрывались у примыкавшего к парку поля яровой пшеницы, уже достаточно высокой.

Видимо было, что разбойники бросились поодиночке врассыпную через это поле. Конечно, днем еще можно было бы рассмотреть по примятой ярине, куда бросились гайдамаки, но при свете немногих факелов этого нельзя было никаким образом различить; ночь же, как на зло, была беспросветно темна, небо было покрыто густыми черными тучами. В воздухе чуялось приближение грозы; на горизонте уже крепко вспыхивали зарницы. Не теряя напрасно времени, ротмистр разделил своих солдат на несколько небольших отрядов и бросился с ними, также врассыпную, догонять беглецов, рассчитывая, что за такое короткое время они не могли далеко уйти; но поиски не привели ни к чему: солдаты, совершенно незнакомые с местностью, блуждали бесцельно, а вскоре еще разразилась гроза...

Семенов принужден был возвратиться назад во двор маршалка.

Ливень совершенно уничтожил за ночь все следы, которые могли бы дать малейшее указание, а потому, вставши рано, Семенов отправил с надежным конвоем взятых пленников в Литин, присоединив к отряду и местную команду, а потом бросился обыскивать близлежащие леса, предполагая, что в них укрылись гайдамаки... и все безуспешно...

Измученный, раздосадованный, он возвратился к вечеру в усадьбу маршалка и застал там полный двор народа.

Машталер, доложивши бессвязно ротмистру в Рудне, что во дворе пана маршалка появились разбойники и что пани маршалкова молит защитить ее, бросился было и к своему пану в Гончары, но по дороге ночью свалился в какой-то овраг и так искалечил ногу, что сесть на коня уже не мог... Впрочем, зарево пожара сообщило и без него о несчастье.

В полдень все панство, с Демосфеном во главе, нахлынуло во двор маршалка, и тут-то все узнали подробности страшного погрома; но хуже всего было то, что

никто во всем дворе не мог объяснить, куда девалась пани маршалкова.

Первая мысль, пришедшая в голову всем панам, была та, что гайдамаки замучили и убили Розалию; но после тщательных розысков не было отыскано нигде никакого трупа. Итак, оставалось только два предположения: Розалия жива и увезена — или отважным графом, или Кармелюком? Надо сказать, что ни одно из этих предположений не улыбалось маршалку; оставалось еще третье: что Розалии удалось убежать и где-нибудь спрятаться. И вот решили прежде всего обыскать всю усадьбу.

Долго продолжались безуспешные поиски, пока, наконец пан маршалок не вспомнил о таинственном убежище супруги в саду...

Розалию нашли в полубесчувственном состоянии... Увидя себя в безопасности, она едва могла произнести:

— Где граф? Убит, замучен?

— Нет, нет,— поспешно успокоил супругу маршалок, осыпая поцелуями ее руки.— Пан бог сжалился над нами, но как же ты здесь спаслась?

— Он спас.

— Кто «он»?

— Граф,— с этими словами Розалия закрыла глаза и вновь ослабела.

Ее перенесли в дом, в котором слуги постарались уже водворить возможный порядок; измученной женщине решили дать полный отдых, не осаждая ее никакими вопросами, пока она не успокоится хоть немного.

Семенова встретил в доме маршалок.

— Благодарю пана, от всего сердца благодарю,— произнес он, сжимая обеими руками руку ротмистра,— благодарю и за спасение дома, и за спасение моего драгоценнейшего сокровища — моей супруги. Правду сказать, оно только у меня и осталось: злодеи обобрали меня, как Иова, до нитки...

— Успокойтесь, сударь, и не теряйте надежды,— возразил Семенов,— правда, сегодня мы потеряли в бесполезных розысках целый день, но завтра, с помощью панских команд, лучше знакомых с местностью, мы, наверное, настигнем разбойников и, во всяком случае, откроем логовище, где они припрятали всю добычу.

XXIV

— Доблестный пан ротмистр мало знаком с этим проклятым злодеем! — с отчаянием сказал маршалок.— Кто его теперь поймает? Где? Если бы все полчища ада захотели принять участие в этой погоне, то и они мало принесли бы нам пользы. Ведь эти псы рассыпались поодиночке, да и отзовутся теперь, убей меня Перун, под Ушицей либо под Каменцем.

На другой день утром в покое пани Розалии, в котором вчера еще очаровывал ее красавец граф, собрались пан маршалок, Демосфен и Пигловский.

Розалия лежала на канапэ; на этот раз действительная бледность покрывала ее прелестное лицо, и глаза, окруженные синевой, смотрели утомленно, печально.

У ног ее, на краю дивана, помещался пан маршалок; его тучное тело было согбенно, голова и кисти рук бессильно опустились... Вся трагическая поза маршалка говорила о том, что на плечи его упало тяжелое бремя.

— Итак, друг мой,— заговорил он печальным, подавленным голосом,— не стану скрывать от тебя ничего: мы ограблены, ограблены до нитки, но все это для меня ничто, раз ты, мое драгоценное сокровище, осталась жива и невредима. Скажи же мне и верным друзьям нашим,— он указал на Демосфена и Пигловского,— как ты спаслась? Быть может, слова твои укажут нам хоть какой-нибудь след к поимке злодеев?

— О злодеях я не знаю ничего... Я пережила такой ужас, что даже вспомнить больно... Словно снова все это... Ах!.. — Она закрыла глаза рукой и глубоко вздохнула.

— Но скажи же мне, кто укрыл тебя в тот павильон?

— Граф.

— Граф? — повторили разом все трое.— Но как же это произошло? Разве он знал об этом убежище?

— Я сама ему сказала,— щеки Розалии слегка покраснели,— да, а произошло это так. Было уже поздно; днем я все храбрилась и даже подсмеивалась над мужем, когда он опасался нападения Кармелюка, но как только настал вечер и тьма окутала сад, на меня, должна сознаться в том, напал страх... Было ли это предчувствие несчастья,— не знаю, но только малейший шорох заставлял меня вздрагивать: за темными стеклами мне

мерещились страшные лица разбойников, руки мои были холодны как лед, сердце замирало,— мне казалось, что я не доживу до утра. Я приказала слугам не расходиться из дому целую ночь, не спать, не тушить огней, даже быть на глазах в зале.

— Благоразумная мера,—заметил одобрительно маршалок.— Ну, мое сердце?

— Граф, конечно, заметил мое состояние и начал меня ободрять, как мог: он заставил меня выпить вина, начал рассказывать забавные истории, пел, смешил меня. Увлеченная разговором графа, я и не заметила, как проклятая челядь выбралась потихоньку из зала, и когда я, успокоенная совсем, поднялась, чтобы проститься с графом,— вдруг распахиваются двери и вбегает графский слуга!..

— Графский слуга? — повторил невольно маршалок.

— Да, он! На нем не было лица, он был белее стены, и когда он крикнул: «Пане! Пропало все! Хлопы нас предали — Кармелюк ломится в ворота!» — я вскрикнула и грохнулась бы об пол, если бы граф не подхватил меня.

— Бестии, собаки! — прорычал багровый от бешенства маршалок, а за ним и Демосфен.— Они нам ответят за это своими шкурами и шкурами своих щенят!

— Граф хотел было броситься к воротам,— продолжала Розалия,— но я схватила его за руку, я умоляла его прежде всего спасти меня: ведь нас было так мало, а там ломилась целая сотня гайдамаков.

— О, ма ся разумецъ!.. Божество мое, какие муки ты перенесла, и я, я не был с тобою! — Маршалок поднес руку жены к своим губам.

— На счастье мое, со мною был граф. «Правда,— вскрикнул граф,— я прежде всего укрою вас, а тогда померяюсь и с негодяем. Но куда бежать? Где укрыть вас?» Я вспомнила свое убежище и прошептала: «В сад». Граф отдал наскоро приказание своему слуге отстаивать браму и крикнул: «Бежим!» Но я не могла двинуться с места. Граф хватает меня, как перышко, на руки и быстро спускается с террасы в сад.

— Надеюсь, моя любко, что он это сделал с почтением, подобающим пани маршалковой? — перебил ее супруг, покраснев и нахохлившись, как индейский петух.

— О, натурально! — бросила Розалия в сторону му-

жа нежный взор и продолжала дальше, вздрагивая всем телом: — Святая панно! Казалось, весь воздух дрожал от криков гайдамаков... Я закрыла глаза... Я чувствовала только, что меня держит железная рука, что меня защищает отважная грудь героя, и ах!.. В эту минуту я думала только о тебе, мой друг! — пропела Розалия и протянула руку маршалку.

Маршалок запыхтел от удовольствия и, схватив тонкую ручку красавицы, покрыл ее влажными поцелуями.

— Но что же было дальше, пани? — прервал Демосфен супружескую идиллию.

— Дальше?.. Не успел граф пробежать и тридцати шагов, как раздалось: «Стой!» — и перед нами словно из-под земли выросло двое саженных злодеев. В одно мгновенье граф опустил меня на землю, заслонил своею грудью и, обнажив шпагу, крикнул: «Назад, псы, или я проткну ваши подлые груди!» — и не успела я крикнуть, как он ринулся на них с такою силой, что подлые гайдамаки упали, как бревна.

— Жаль, что меня тогда не было здесь! — вскрикнул маршалок.

— Но ни одного трупа не найдено,— заметил Демосфен.

— Не знаю, но он на моих глазах прикончил их,— повторила настойчиво пани.

— Весьма возможно, что гайдамаки были только тяжело ранены, и негодяи, убегая, подобрали их,— объяснил Пигловский.

— А, шельмы! На кавалки бы их! — И Демосфен ударил с досадою рукой по ручке кресла.

— Граф — благороднейший шляхтич, неслыханная удаль! — добавил с восторгом Пигловский.

— Я знал, на кого покидаю тебя! — подхватил и маршалок.— Но дальше?..

— Ах, дальше... Граф взял меня снова на руки и бросился бежать по дорожкам сада, куда я указывала... и наконец мы укрылись в моем убежище! — Розалия прислонилась головой к кружевной подушке и закрыла глаза.— Ах,— простонала она через минуту,— мне так тяжелы воспоминания об этом ужасном событии, но я сейчас окончу... Лишь только граф уложил меня и увидал, что я пришла в сознание, он хотел броситься тотчас же во двор, чтобы защищать его от нападения Кар-

мелюка, но я упала перед ним на колени, я умоляла его пощадить свою... мою жизнь! — поправилась поспешно Розалия.— Ведь могли же гайдамаки узнать от слуг о моем убежище, и какая участь могла ждать меня?!

— О, бронь боже! — вскрикнули разом все паны.

— Но, уверяю вас, это стоило мне многих слез, и только тогда, когда крики гайдамаков огласили весь дом, граф понял, что бросаться туда было уже напрасно, и решил защищать лишь меня...

— Гм! — крякнул Демосфен.— Правда, с таким отважным шляхтичем можно было и опасность забыть!

— То так,— Розалия слегка покраснела,— но забыть опасность нельзя было и на минуту, потому что, будь граф хоть самим Голиафом [47], он не мог бы защитить меня против сотни гайдамаков. Ох, что я пережила! — Розалия откинула голову и прикрыла глаза рукой.— Если бы не мысль о тебе, коханый мой, я не знаю, как бы я и перенесла эти мгновенья...

— До правды! Надо благодарить святое провидение, пославшее графа мне на помощь! — произнес маршалок, шумно отдуваясь и поводя рукой по лбу. Один рассказ жены уже бросал его в пот, а слипшиеся надо лбом волосы придавали еще больше комизма его красному ожиревшему лицу.

— Гм... Граф, видимо, счастливчик, в сорочке родился,— заметил Демосфен.— Всякий из нас согласился бы рискнуть своей жизнью, чтобы защитить пани, но не всякому бог пошлет такой счастливый, сверхъестественный случай.

— Но, пане, бойтесь бога! Можно ли это назвать счастливым случаем! — вскрикнула Розалия и продолжала спокойнее дальше: — Граф сию же минуту оставил меня в альтанке, а сам бросился к узкому проходу в ущелье. «Там,— сказал он,— я отстою крулеву и против сотни!»

— Ах, как по-рыцарски! — просиял маршалок.

— Я думаю, надо употребить все усилия, чтобы отыскать графа,— вставил Пигловский.

— На бога, панове, на бога! — вскрикнула с жаром Розалия.— Шляхетский долг... Мы должны отблагодарить...

— Но где же искать этого спасителя? — спросил не без иронии Демосфен.

— Могу ли я это определить? Я бросилась было за ним и упала, потом очнулась и снова помертвела, потому что услыхала топот ног бегущих по саду людей... Я поняла, что это смерть летит... Ах, я больше не видела графа! — и Розалия поднесла к глазам кружевной платок.— Я упала без сознания... а дальше я приходила в себя раза два, но крики снова пугали меня, я была уверена, что это рыщут кругом гайдамаки... А дальше — панство все знает.

Розалия умолкла. Все тоже молчали, только Демосфен промычал что-то неопределенное и забарабанил по креслу пальцами.

— Но где же он? — заговорила снова Розалия, приподымаясь на канапэ.— Вы, верно, нашли его труп? Вы скрываете это от меня?

— Але, любуню, зачем бы я скрывал это от тебя? Если бы я отыскал его труп, я бы похоронил его со всеми почестями, какие подобают столь доблестному вельможе.

— Но где же он? Где?

— Я знаю это столько же, сколько и ты.

— Трупа графа не было нигде, я могу засвидетельствовать это пани,— заговорил Демосфен,— но, во всяком случае, граф напоролся на скверную штуку: топот бегущих людей, который слыхала пани, это и был топот бегущих от москалей разбойников.

— О, так, значит, он погиб, погиб! — воскликнула Розалия и, закрыв лицо платком, залилась рыданьями.

— Но успокойся, крулева моя,— заговорил растерянно маршалок, стараясь овладеть рукою Розалии.— Быть может, он еще жив, а если и умер, то такая доблестная смерть — завидный... гм... жребий... гм... желанный жребий для всякого шляхтича.

— Так и берите себе этот жребий! — вскрикнула Розалия и с досадою вырвала свою руку из рук мужа.— Погиб! Такой рыцарь! И притом ведь с ним были все мои драгоценности... и ваши дукаты!

— Как, и пенензы и бриллианты? — вскрикнул в свою очередь маршалок и вскочил с места.

— Ну да, и пенензы.— Розалия отняла платок от лица и заговорила злобно: — Чего же вы смотрите на меня? Не оставлять же их было хлопам?

— Но, душка, они были скрыты... и никто, кроме тебя и меня...

— А пожар? — перебила его с нескрываемой злостью Розалия.— Об этом, как пану кажется, надо было подумать? Когда мы бежали, я успела выхватить все из твоего кабинета и из моей опочивальни и передала графу, а в ту минуту, когда он...

— Беден, беден, как Иов! — завопил в отчаянии маршалок и, закрыв лицо руками, грохнулся на диван.

— Что же вы хнычете, как баба? — вскрикнула гневно Розалия, вскакивая с места.— Надо искать графа, не медля ни минуты.

— О так, так! — схватился с места маршалок.— Но где, как, куда, что?..— заговорил он бессвязно, бросая кругом растерянные взгляды.

— Прежде всего допросить хлопов: они все знают,— решил Пигловский.

— Хлопов-то допросить, да так, чтобы помнили до смерти, но...— Демосфен повел сомнительно бровью и щелкнул пальцами,— но этот граф сдается мне странным...

— Граф странный!..— вскрикнула возмущенно Розалия, и щеки ее покрылись густым румянцем.— Да как хватило у пана совести сказать это? Красавец... Отважный лев! Рыцарь, каких я еще не видела, и что же, он... ха-ха-ха-ха!.. по мнению пана, утащил мои бриллианты?

— Боронь боже, я этого не говорил! Я только хотел сказать, что исчезновение его для меня совсем непостижимо, но, во всяком случае, пани описывает его такими жаркими словами,— заметил он язвительно,— что я беру назад все свои подозрения.

— В этом нет ничего удивительного,— возразила с достоинством Розалия — Только низкая душа может говорить холодными словами о человеке, спасшем ее жизнь и честь,— подчеркнула она.— А если бы этот граф был, как предполагает пан, злодеем, гайдамаком, разве он бы сделал это? Мы были одни, всякий хлоп воспользовался бы моим беззащитным положением, а он был так скромен, так шляхетски деликатен... Руки моей он не коснулся! Я думаю, шановное панство,— сверкнула она своими прелестными глазами,— вы сами признаете, что на это способен только истинный шляхтич, а не подлый хлоп!

— Правда, правда! — произнесли разом мужчины.

— Шановная пани маршалкова вполне права,— заговорил рассудительно Пигловский.— Эти псы с дамами не церемонятся,— тому примером наша несчастная пани Доротея; опять же, если бы граф имел какие-нибудь низкие замыслы, чего я, боже упаси, в думке не имею, то он воспользовался бы панскими драгоценностями гораздо раньше, а не бросился бы с ними прямо в руки врагу.

— Именно, прямо в руки врагу! — подхватила Розалия и, закрыв лицо кружевным платком, опустилась в изнеможении на диван.

— Верно, совершенно верно! Дикие причуды гайдамака сбили бы меня с толку, но теперь для меня ясно все... Шановное панство! Прошу слова! — Демосфен поднял свои густые черные брови и протянул вперед правую руку.

Все насторожились, а пан маршалок только прошептал упавшим голосом:

— Проше!

Демосфен откашлялся и, окинув все собрание внушительным взглядом, начал:

— Итак, шановное панство, нам надо разобраться в весьма запутанном и таинственном деле. Для выяснения его мы должны поставить себе два вопроса: кто был граф и куда он мог исчезнуть? Относительно первого положения у нас есть два показания: первое — слова самого графа, свидетельствующие об его высоком положении доверенного посла доблестнейшего вельможи, и второе — слова нашей крулевы, которые являются для нас самым главным, можно сказать, святым указанием, слова, которые рисуют нам графа как благороднейшего шляхтича и отважного героя.

Розалия отерла глаза платком и взглянула с интересом на Демосфена.

— Итак, primo *,— продолжал важно Демосфен, загибая на руке палец.— Хотя касательно несчастной пани Доротеи я мог бы возразить, что при убийстве ее пекельный выродок Кармелюк руководился одной местью, но потеха его над шляхетной паненкой в лесу, и распра-

---

* Primo — перше, secundo — друге, tertio — третє, quarto — четверте, quinto — п'яте *(лат.)*.

ва лозовая с ее мамашей, и многие другие поступки, о коих и упоминать не стоит, приводят меня к заключению, что у этого пса натура дикая, зверская, лишенная наименьшего благородства и доброты. Secundo: хотя по эдукации бывший холоп пана Пигловского и мог бы на мгновенье обмануть неопытное око, но и эта эдукация не могла очистить от вековой мерзости хлопскую кровь — и квита! Tertio: если бы шельма преследовал только гм... гм... низкие цели и цели грабежа, то ему вовсе незачем было бы препровождать шановную пани нашу в отдаленное убежище, и наконец, quarto и quinto [48], что и не пришло на думку пану,— он на минуту остановился и окинул всех внимавших ему торжествующим взглядом,— и что является в данном вопросе самым веским соображением, а именно то, что разыграть какую бы то ни было роль во всей шайке Кармелюка мог бы только он сам, ибо остальные члены ее суть не кто иные, как самые подлые, репаные хлопы, а сам он, именно Кармелюк, и был пойман ротмистром в доме и вовсе не в графской одежде, а в простой синей чемарке. Конечно, москаль глупо распорядился, отправив разбойников немедленно в Литин, но, во всяком случае, ясно как день, что ни один дурень не назвал бы себя по доброй воле Кармелюком.

— Совершенно верно! — вскрикнули разом и Пигловский, и маршалок.

— И наконец, последнее: если бы этот граф был даже и не Кармелюк, а кто-либо из его шайки, то не убивал бы он своих товарищей, а шановная богиня наша сама ведь видела, как пронзенные его шпагою злодеи...

— Упали, как бревна, на дорожку,— докончила Розалия, следя разгоревшимися глазами за Демосфеном.

— Ergo *, шановное панство,— заключил торжественно Демосфен.— На основании всех вышеизложенных соображений я прихожу к твердому заключению, что человек, спасший вчера жизнь нашей обожаемой крулевы, был не разбойник, не злодей, не Кармелюк, а истинный и благороднейший шляхтич.

Из груди Розалии вырвался радостный облегченный

---

* Отже *(лат.)*.

вздох, и она откинулась на спинку дивана, полузакрыв глаза.

— Совершенно верно, благороднейший шляхтич, я в этом не сомневался,— подтвердил Пигловский.

XXV

— Панове,— продолжал Демосфен,— самое главное теперь, это — решить, куда и как исчез граф? Бежать, спасаться постыдным бегством, вполне соглашаюсь с шановным паном,— поклонился он в сторону Пигловского,— граф не мог, ибо для этого был гораздо более удачный момент и граф не воспользовался же им. Убит также не был, т. е. не был убит ни в доме, ни в саду,— поправился поспешно Демосфен,— так как мы ведь обыскивали только дом и сад. В таком случае что же с ним сталось? Вот здесь, панове, и надо призвать на помощь всю тонкость логики. Шановная пани наша утверждает, что, принеся ее в альтанку, граф тотчас же бросился к своим Фермопилам [49],— между тем, судя по количеству награбленных вещей, гайдамаки довольно долго хозяйничали в доме и бросились в бегство только тогда, когда прискакали москали. Таким образом, у нас рождается два предположения: или граф, успокоив обещанием пани, ринулся очертя голову в дом, и там, безо всякого сомнения, одолели безумного храбреца, а для потешной казни могли его вытащить на ток или бросить прямо в огонь...

— На бога! — вскрикнула истерично Розалия.— Что пан говорит!

— От таких зверей всего ожидать можно! — Демосфен развел руками и продолжал: — Если же граф оставался стоять на страже, то, заметив, что злодеи в ужасе бегут от оружия, непременно бросился их преследовать, и развязка произошла где-либо в кустах или оврагах... А шельмы могли еще заманить его... И разве это так трудно? Ведь даже Леонида Спартанского победили персы при помощи хитрости...[50] На это меня наводит еще одно соображение,— Демосфен опустил руку в карман и вытащил пару серых мужских перчаток: — не заметила ли пани у графа таких перчаток?

— Его, его! — вскрикнули разом и Розалия, и маршалок.

— Перчатки эти я нашел за калиткою во рву,— произнес многозначительно Демосфен... Следовательно, там кто-то знакомился с содержимым графских карманов, а потому заявляю: или граф лежит где-нибудь полумертвым во рву, или гайдамаки увезли его до более безопасного места с собой.

— Ах! Спасайте же его скорей, скачите... ищите... Боже мой! Минуты могут стоить жизни! — вскричала Розалия, ломая руки.— Скорее, скорей!

— А панна Фелицита, мы ее забыли! — вскрикнул маршалок.

— На раны Езуса, не теряйте времени! Что эта дура может сказать! — запротестовала Розалия.

— Нет, нет, она нужна, она могла видеть расправу с графом,— возразил Демосфен.

Маршалок крикнул слугам:

— Притащить сюда панну!

Через несколько минут служанка ввела под руку в комнату панну Фелициту, облаченную в черный пеньюар. Глаза ее были красны от слез, а жирные щеки, похудевшие за один день, висели дряблыми сине-багровыми мешками.

Панна Фелицита произнесла убитым, замогильным голосом:

— Что панству надо?

— А проше рассказать нам о вчерашнем несчастье,— отозвался маршалок.

— Ой, на бога, если б вы только видели...

— Воображаю,— вставил Пигловский.

— Я только что легла в постель,— продолжала Фелицита,— и еще мечтала... ох... как вдруг... ох...— панна Фелицита приложила платок к глазам,— они схватили и... пшепрашам панство...

— Что же дальше? — переспросил Демосфен.

— Не могу... не могу...

— Вы ничего не скрывайте,— заметил Пигловский.

— Ах, я все открою!..

— Але панна все про себя,— раздражился маршалок,— есть более важные потери! Пусть панна сядет и расскажет нам подробно все, что знает о графе!

Фелицита пробормотала, обращаясь к Розалии:

«С позволения панского»,— и опустилась на пододвинутое ей кресло, но тут же вскочила с громким стоном.

Это движение вызвало невольный смех во всех присутствовавших.

— О, панству смешно,— всхлипнула Фелицита,— а каково-то было мне?

— Я думаю, несладко,— согласился Демосфен,— но не в том речь...— Что знает панна о графе?

— Рыцарь... красавец.

— Э! О красоте его мы уж слышали довольно. Не знает ли панна, что случилось с ним?

— Матка боска! Он, видно, погиб! Когда он с нашей шановной паней оставался в этом покое один, было уж за полночь, пани ласковая отпустила всех слуг и велела потушить всюду огни... Только я одна не спала... мечтала... и прислуши...

— Да уведите прочь эту дурищу, от нее вы не дознаетесь ничего! — вскрикнула истерично Розалия.— Вы теряете только время, вместе с ним и наши пенензы!

— Правда, правда! Панове, проше... В погоню! Искать... ах! — заметался растерянно маршалок.

— Правда! Гайда до дела! — произнесли Демосфен и Пигловский, подымаясь с мест.

Демосфен подошел к Розалии и, приложившись губами к ее ручке, добавил тише:

— Пусть крулева наша успокоится и простит: ведь все мои недоразуменья — только следствие любви к нашей богине и желания напасть на скорый след графа.

Демосфен осмотрел все флигеля, сараи, чердаки, сеновалы, кусты в саду, ров, но нигде не нашел ни трупа графа, ни каких-либо следов борьбы или пятен крови. Нужно было найти гнездо разбойников, и тогда только можно было выпытать у гайдамаков, что они сделали с графом. Для увеличения сил ротмистр послал в Гуты и за остальными уланами, оставшимися там под начальством молодого корнета.

По приказанию маршалка все крестьяне, не исключая баб, девушек и даже детей, были согнаны в одну кучу, за браму, и тут-то обнаружилось новое обстоятельство: добрая треть крестьян маршалка, и именно самые рабочие здоровые силы, покинули ночью село. Это обстоятельство привело пана маршалка в окончательное бешенство. С дикою злобой набросился он на

оставшихся беззащитных людей, требуя, чтобы они объяснили ему, куда девался граф и куда скрылись шайка Кармелюка и присоединившиеся, очевидно, к ней его хлопцы. На все эти вопросы и крестьяне, и девушки, и бабы отвечали, что они ничего не знают.

Измученный маршалок пригласил всех к обеду, и доблестное панство направилось шумною толпой во двор.

Разговор, естественно, держался на нападении Кармелюка и главным образом на непостижимом исчезновении графа.

Это ничем не объяснимое исчезновение мучительно интриговало все общество, а особенно маршалка и Демосфена: первого — ввиду пропажи вместе с графом пенензов и бриллиантов, второго же — ввиду слишком горячей заботы красавицы Розалии о своем спасителе.

Обмахивая лицо платком и отирая обильный пот с лица, добрался наконец маршалок до своего дома и поднялся на широкое крыльцо; за ним последовали остальные гости.

К обеду вышла и Розалия. Слишком долгое отсутствие ее и горячие хлопоты об исчезнувшем графе могли породить всевозможные толки, а Розалия этого не желала допустить.

Поздний обед затянулся до ночи. За громадным столом, уставленным блюдами, бутылками и множеством канделябров с восковыми свечами, сидело съехавшееся панство.

Появление красавицы хозяйки, героини дня, вызвало бурю восторга. Беспечное веселье разлилось широкою волной по обширным покоям маршалковского палаца, еще носившим следы страшного пребывания Кармелюка. Теперь все было забыто; и чувство безопасности, и роскошные яства да пития, и присутствие за столом красавицы хозяйки — все это приводило гостей в самое лучшее настроение духа.

Только маршалок сидел мрачный и молчаливый: не так его мучила пропажа дукатов,— они составляли ничтожную часть его имущества,— гораздо ощутительнее было исчезновение шкатулки с бриллиантами.

Веселый ужин близился уже к концу, когда в покой вошел один из слуг с подносом в руке, на котором лежал запечатанный конверт. Слуга подошел к хозяину

с низким поклоном. Маршалок взял конверт с подноса и прочел вслух:

— «Доношу до сведения вашего, пане маршалок, что разбойники, заключенные в литинской тюрьме, уже освобождены мною и присоединены к моему отряду... Остаюсь ваш вечный доброжелатель Карм...» Кармелюк! — вскрикнул маршалок и уронил письмо на тарелку.

С минуту все молчали, пораженные этою неожиданной и бесконечно дерзкой выходкой.

Первый пришел в себя Демосфен.

— Сто чертей! — крикнул он, ударяя с такой силою кулаком по столу, что вся посуда кругом громко зазвенела.— Да он смеется над нами, этот подлый хлоп! А что, пане ротмистр, не прав ли был я, когда сомневался, что отправленный в Литин разбойник был Кармелюк?.. Когда бы пан ротмистр не поторопился отправить гайдамаков в Литин, мы бы не потеряли напрасно целого дня, а теперь он успел уйти от нас. Но, панове,— Демосфен простер руки к собравшимся за столом панам,— или мы уж не шляхтичи больше, что позволяем быдлыську издеваться над нами!? Где этот пес, что привез сюда письмо? — крикнул Демосфен слуге.

Энергичный возглас Демосфена, его пламенный взор и вспыхнувшее от негодования лицо привели в себя панство.

— Верно! — закричали кругом.— Сюда этого посланца! Раскатать его так, чтобы и чертям было тошно! Где ж этот посланец?

— Он уехал,— ответил слуга.

— Как? — прорычал Демосфен, подымаясь с места и перегибаясь через стол, от чего стул его с грохотом повалился на пол.— И он уехал!? И мы опять не имеем в руке нитки, чтобы поймать этого негодяя? Да как же вы выпустили его, сто дяблов вашей матери! — накинулся он на слугу, забывая, что говорит в присутствии дамы.— Почему не задержали его?! Снюхались с гайдамаками, думаете продать панов? Так не дождетесь же! Запорю вас всех на смерть!

— Милосердья, вельможный пане, милосердья! — Слуга упал на колени и, захлебываясь слезами, заговорил: — Да разве я знал... Разве мог думать?.. Ведь и все вельможное панство...

Впрочем, вспыхнувший во всех концах стола разго-

вор отвлек на этот раз Демосфена от мысли немедленно наказывать крестьян.

Закипели всевозможные предложения, планы и проекты. Каждый старался представить самый верный способ поимки негодяя. Было уж очень поздно, но никто не думал расходиться; неслыханная дерзость Кармелюка вызвала всеобщее оживление. Одни бутылки сменялись другими, и вместе с каждою переменою вин росла и удаль панства.

Часы на камине уже давно пробили полночь, когда в столовую вошел дворецкий, держа в руках драгоценный ларец и большой запечатанный конверт.

— Ясновельможный пане,— произнес он, подходя к маршалку.— Слуга графский привез от графа этот ящик вельможной пани, а лыст панской милости.

Розалия вспыхнула.

— От графа? Значит, граф...— вскрикнула она, невольно вскакивая с места, но тут же, ухватившись за сердце руками, со слабым стоном опустилась в кресло.

— Что с пани? Пани дурно!? — засуетились подле нее соседи, наливая в стакан воды, вина и бросаясь со всех сторон к Розалии.

— Нет, нет, панове, не беспокойтесь,— заговорила со слабою улыбкой Розалия, открывая глаза,— это пройдет... от неожиданности... Знаете, ведь я... Мы все были уверены, что граф... что мои бриллианты,— поправилась она поспешно,— что мои великолепные бриллианты пропали навеки... и вдруг они здесь! Целы... Ах, и ключик тут... Отоприте!..

Ближайший кавалер поспешил повернуть ключик и открыл ларец.

— Все, все здесь, целы! — крикнула Розалия с искусственной радостью и, повернувшись к Демосфену, добавила уже с неподделанным торжеством: — А что пан теперь скажет? Может ли трус, злодей возвратить такие драгоценности?

— Пшепрашам, пани,— развел руками Демосфен.— Я теряюсь.

— Но письмо, друг мой, почему же ты не читаешь? — продолжала Розалия, обращаясь к мужу.— Там, должно быть, есть указания насчет наших денег.

— О так, так,— всполошился маршалок.— Но где же мои очки?.. Эй вы, кто там?!

— Если пан ласкавый позволит, то я могу прочесть лыст,— обратился к маршалку Демосфен.— Секретов нет?

— О, натурально! — произнес важно маршалок, передавая пакет Демосфену.

Соседи подвинули к нему два канделябра. Все насторожились.

— «Ласкавый пане! — начал читать Демосфен.— Вам, должно быть, уже известно, что супруга ваша поручила мне и все ваши бриллианты, и все пенензы в количестве 10 000 червонцев, которые я благополучно привез в надежно укромное место... Рассудивши же благоразумно и вспомнивши, что сии червонцы суть ни что иное, как кровь и пот ваших бессчастных рабов, я решил дать им более разумное употребление. Что же касается бриллиантов и других драгоценностей супруги вашей, то, осведомившись добре, что они составляли ее приданое, я возвращаю их ей назад в благодарность за приятно проведенное время...»

— Кармелюк! — крикнул вне себя Демосфен. Но голос его покрыл пронзительный женский вопль.

Розалия закатила глаза и без чувств упала на кресло.

XXVI

Стояли чудные дни южной осени. Солнце ласковыми лучами обливало и соломенные крыши села Овсянников, и обступившие их садики да левады, тронутые в мягких изгибах листвы брызгами золота, и нивы пшеницы, среди которых кое-где виднелись уже отливавшие бронзой нарядные копы. Все, при блеске освещения и прозрачной чистоте воздуха, горело и искрилось богатством красок и форм, но среди этих красот природы не видно было движения жизни: наклоненный от тяжести колос грустно шуршал, на отавах и сенокосах не видно было ни круторогих волов, ни овечьих стад, ни коней; по улицам не колыхали возы, да и во всем селе царила зловещая тишина,— словно оно вымерло... Только на широком дворе пана Хойнацкого теснились молча угрюмые толпы народа... У конюшни совершался приезжей комиссией, состоявшей из комиссара пана Сварчевского, асес-

сора пана Сливицкого, писаря да депутата дворянского пана Янчевского, розыск об убийстве помещицы Доротеи Хойнацкой, а также о грабеже ее добра и поджоге. Свидетели допрашивались с пристрастием, для чего лежал здесь же целый ворох лозы и несколько пар ременных канчуков и тройчаток. Большинство селян бежало в леса, а здесь стояли лишь старики, хворые бабы да подростки, попавшиеся панским объездчикам в руки. Хойнацкий укрылся в своих хоромах. Они сейчас были пусты и носили мрачный след, оставленный смертью... Большие зеркала в зале завешаны были черным флером, в таких же чехлах висели люстра и бронзовые консоли...[51] В парадной передней стоял приземистый стол, заваленный исписанными листами и чистою бумагой; на нем возвышалась белая фаянсовая чернильница с множеством дырок для перьев и такая же громадная песочница.

— Гей, кто тут? — крикнул Хойнацкий.

На зов его выскочила из дальних комнат бледная, с заплаканными глазами Фрося. Слезы испортили ее грим, а испуг исказил черты лица, и оно выглядело комично.

— Ой пане коханый! — завопила она.— На что так катуют людей? Ведь они отомстят.

— Сто перунов! Это не я, Фросю,— вздрогнул пан.— Ой пан Езус! Комиссия их раздратует, а меня не спасет... то правда... Я хотел было откупиться, так пан Янчевский на дыбы...

— Але, мой пане, мое ясное солнце, мой бриллиант неоценный,— рыдала и ломала руки панская фаворитка,— спасайте себя и меня!.. Пану Янчевскому чужая шкура не мулит... Добре он защитил покойную пани, так, брунь боже, и моего доброчинца... Они и меня еще возьмут на мордерство. Я ведь нарочно тогда, чтоб скрыть от пани мою любовь к вам, давала понять ей, что мне нравится проклятый кацап, а теперь рятуйте меня или убейте своею рукою... От пана и смерть будет люба...— И она упала к ногам своего покровителя и обвила их руками...

— Не плачь, Фросю, встань! — засуетился Хойнацкий, стараясь поднять поскорей покоевку: не так он сочувствовал ее горю, как боялся скандала, потому что Фрося могла и его впутать в эту историю.— Я не позволю им тебя тронуть...

— Ой пане, рятуйте! — И горничная хотела было ему броситься на шею, но Хойнацкий уклонился от этой ласки.

— Что ты? С ума сошла? Войти могут... Ну, тише. Я приму меры...

Но не успел печальный вдовец окончить своей реплики, как появился на пороге пан Янчевский и воскликнул с трагическим пафосом:

— О, милости, милости! Як ваши скутки (о любовь, любовь, как твои последствия)!

— Hony soit qui mal y pense! * — перебил его смущенный хозяин.— Девчонка страшится, что ее возьмут на допрос с пристрастием... Ну, понятно, ревет и валяется в ногах, а пан уж бог знает что...

— А если б и «что», то, далибуг,— это в порядке вещей... Никакого позора, а один восторг! Гм!.. Рожица недурна... и есть перспективы... Если пан позволит, то я могу стать на его позицию... Хо-хо!

— Не до шуток, пане,— отрезал Хойнацкий.— А меня все это следствие раздражает... Я хотел было откупиться, да пан запротестовал.

А в парадную переднюю вошел пан асессор со своим писарем; комиссар же оставался еще на допросе.

— Ну что, как на селе, успешно? — спросил вкрадчиво асессор, нагнувшись к своему писарю и озираясь робко во все стороны.

— Что ж, ваша милость,— ответил тот, глядя на свои сапоги,— на селе неважно! Пусто по хатам и коморам... все припрятано и уведено... да и касательно прочего усмотреть можно, что крестьяне обобраны паном до нитки.

— Усмотрел! Хе-хе! Ты же конфисковал их или тоже не потрусил (обыскал)! — вскрикнул тревожно асессор.

— Все, что попадалось под руку,— и сало, и пряжу, и полотна, и вереты, и намисто, и куры... Котов только не трогал...

— Еще бы!.. А пенензы (деньги)? Хе-хе?!

— У одной только бабы нашел десять злотых... Берегла в скрыне на свои похороны... Уж я их всех стращал всякими карами... Ничего!

---

* Ганьба тому, хто погано про це думає *(франц.)*.

— А допрашивал ли секретно, конфиденциально, не страхом лякаючи, а ласкою прельщаючи?

— Допрашивал... Говорят, что убитая пани была люта, как ведьма... И что теперь на ее место покоевка... А эта покоевка была до злочинства полюбовницей муляра, товарища Кармелюка, а что самого муляра пригласил пан... Никого и в двор не пускал, а муляра допустил и в покои... Еще говорят, что пани командовала паном, а что пан страшился своей жены... Так тут я слабым розумом не разберу, а пан асессор кое-что может себе и выудить...

— Хе-хе! Да ты молодец,— поощрил своего писаря асессор и стал тереть с плотоядною улыбкою свои цепкие руки,— в твоем розыске целый клад... И я тебя награжу... Сие мы обмыслим рачительно.

В это время раздался на крыльце хриплый голос Пигловского, сопровождаемый басом пана комиссара.

— Что же, пане, дело есть зело путанное и весьма темное,— рычал комиссар.— Конечно, это разбойничий подвиг Кармелюка, но крестьяне в этом шельмовстве запутаны, и чтобы распутать все и попасть на следы злодея... а может быть, и многих злодеев, довлеет причинить много беспокойств панству, и так как этими беспокойствами не вернешь утраты, ибо, что с воза упало, то пропало,— то, по-моему, надлежит пану Янчевскому повернуть дело так, чтобы предать его воле божьей... Иначе я неукоснительно приступлю... Шановный депутат наш весьма строптив и необачен, а закон бдит... Лучше пусть пан вельможный посоветует своему приятелю... знаете... гм... «Суха ложка рот дере...» и «мзда * наша — хлеб наш насущный...»

— «Мзда наша...» Хе-хе! — повторил сладким, приторным голоском пан асессор, показываясь в дверях кабинета.— А на земле закон есть святыня... несокрушимая и неопалимая даже золотоносным огнем. Гм! Будем же стоять, мой товарищ, несокрушимо и твердо, не искушая егомосци и не искушаясь также никакой панской лаской.

Комиссара удивил такой фортель асессора, и он переспросил его с недоумением:

— Так приступать без того... без всякой?..

---

* Нагорода, подяка.

— Ох-ох-ох! Приступать! — вздохнул асессор и поднял очи вверх.

Пан Пигловский поспешил позвать в зал хозяина и Демосфена.

— Прежде всего, шановный пане,— начал мягко, но веско асессор,— я должен вам поставить на око, что из розыска оказалось же, крестьяне справедливо заподозрены паном в соучастии с гайдамаками, но понеже здесь допрос их неудобен, поелику они многое показать имеют на пана, а страха ради затаивают, то посему мы и порешили с паном комиссаром арестовать всех заподозренных и отправить в Каменец для вящего розыска...

— Панове! — вскрикнул Хойнацкий.— Вы разорите меня вконец! И без того все хлеба осыпаются, ибо половина хлопов в бегах, а если вы другую еще арестуете, то хоть все запали...

— Да и позвольте, панове! Я протестую... Liberum veto,— поднялся Янчевский.— Разве подлое быдло может показывать против шляхетного пана? У быдла ни прав, ни голоса нет!

— Если бы крестьяне за свои обиды искали, то правда,— заметил кротко асессор,— но в розыске о злодеянии всякий — свидетель... не для обвинения пана, конечно, а для разъяснения злодейского деяния...

— Согласно статуту,— вставил комиссар.

— Нет, не согласно,— загорячился Янчевский,— вы и говорить что-либо про пана не можете им дозволить, иначе вы сами будете подзадоривать быдло на бунт... Я об этом отпишу пану маршалку и губернатору.

— Что ж пан так сразу...— побагровел от досады и смущения комиссар.

— Панская воля. Пусть рапортует,— прервал комиссара асессор.— Нам еще приятнее... Мы мирно и дружно желали вести справу, но коли нет миру...

— Да сто дяблов и ведьм! — вскрикнул Янчевский.— Вы хотели снять с него шкуру!

— Обресть заслуженную мзду! — поправил умильно асессор.

— Господа! Прекратим лучше споры,— заговорил Пигловский,— и поговорим миролюбиво...

— Да я с полной охотой...— отозвался Хойнацкий.

Демосфен демонстративно поднялся и вышел из зала.

— Для судейской справы,— начал Пигловский,— нужно хлопов отправить в Каменец, а моему дорогому соседу они нужны для уборки хлеба... Нельзя же его, ограбленного збойцами, еще вконец разорить? А посему закон может или закончить здесь розыск, не отрывая от панских работ хлопов, или, на крайность, отложить розыск до полного окончания работ.

— Панские резонные речи,— умилился асессор,— весьма приемны для уха,— улыбнулся асессор.— Одначе закончить здесь розыск возможности не имеется, поелику злодейство есть весьма великое, не так ли? — обратился он к комиссару.

— Н-да... само собою...— отозвался тот.

— Но отложить допрос... указуя необоримые и чрезвычайные причины... мне кажется...

— Весьма возможно... Хо-хо-хо! — перебил одобряющим рокотом комиссар.

— Ну вот, панове, и отлично,— обрадовался Пигловский.

— Да, да... пусть и так,— подхватил хозяин.— Хотя лучше было бы...

— Я вчера предлагал панской милости сие рассуждение... теперь же таковое невозможно,— вздохнул асессор,— не надлежащим путем уже веден розыск, многое неподобающее занесено уже в ответные пункты... и тому подобное... Ох-ох-ох! Но вот в отношении отлагательства... сие возможно; но вместе с тем сопряжено со многими затруднениями для нас, с излишними издержками, с неизбежной потратой и труда, и времени, и грошей, поелику оное отлагательство мы имеем всецело принять на свои плечи, на свой страх, на свою ответственность, отписываясь зело хитро.

— Н-да, отписываться прийдется,— поддержал товарища комиссар,— а посему желательно и возмездие...

— Так будем говорить откровенно,— предложил Пигловский.

— Весьма и весьма,— потер руки асессор.

Начался торг. Обе стороны горячо и долго защищали свои интересы... Но соглашение все-таки состоялось. Хойнацкому пришлось заплатить за отсрочку ареста крестьян довольно крупную сумму. Асессор, получая сребряники, с искренним сожалением заметил:

— Ей-богу, мне жаль панских пенензов, потому что

это лишь оплата наших убытков, и этим вельможный пан себя не заспокаивает, неразрушимо... Вчерашняя моя пропозиция (предложение) была выгоднее... но пан депутат...

— Да он ради слова, чтоб орацию сказать,— вставил Пигловский.

— О элоквенция! — вздохнул асессор.— А между тем она попортила справу... Все-таки дело теперь неукоснительно должно идти, и, покончивши за хлопов, я приступлю, за позволением пана, к допросу его милости касательно некоих обстоятельств.

— При чем же я? — всполошился Хойнацкий и побледнел.

— Егомосць не при чем... но пан может дать довлеющие сведения. Примером: каким родом попал сюда муляр, кто его рекомендовал?

— Я сам его встретил у брамы... муляр был крайне нужен...

— Как же пан, при своей подозрительности... Все показали — и хлопы, и челядь, что пан даже своих добрых знакомых, соседей, не пускал в свой двор без опросу и обыску... и вдруг с незнакомым совсем мужиком, даже не здешним, а поступил так странно.

— Н-да,— протянул комиссар октавой.

— Мне крайне... неотложно было,— путался Хойнацкий, чувствуя, что непослушная дрожь охватывала и его голос, и тело.

— Видите ли, неоконченная брама давала доступ... разбойникам,— пояснил Пигловский.— Ну, большая опасность, естественно, допустила меньшую...

— Да, эта брама меня сводила с ума...— пробормотал Хойнацкий.

— Допускаю,— продолжал асессор,— но неужели не нашлось среди хлопов и панских подданных простого муляра?..

— Не нашлось...— перебил Пигловский

— Хе-хе! — И пан асессор переглянулся со своим товарищем многозначительным взглядом.

— Н-да,— протянул комиссар.— Хлопы и окружные обыватели свидетельствуют, что в Овсянниках и теперь есть три-четыре муляра и весьма искусных... Один даже может ставить самые затейливые грубы.

— Но я боялся своих хлопов...

— Были на то, быть может, какие-либо конфиденциальные причины?

— Да как же хлопам верить? Это — гадюки!

— Но если хлопы — гадюки, то почему чужие лучше?

— Мои особенно!

— Вероятно, пан или пани их знатно дразнили?

Хойнацкий закусил язык, но Пигловский поспешил ему на выручку:

— Пан асессор допытывается уже о не подлежащем: отношения дидыча к своим подвластным священны, и никто их касаться не может... Это раз, а второе — нанятый муляр был вовсе не хлоп, а вольный кацап...

— Священных прав я не касаюсь, бронь боже,— возразил покорно асессор,— но для обозначения виновности крестьян ведать надлежит, были ли они совращены злодейскими подговорами вышереченного убийцы и вора Кармелюка или же сами, питая в душе зверскую месть, призвали сюда гайдамаков... Вельможный пан, полагаю, сам согласится, что интересы правосудия этой сведомостью зело затронуты... Но, и минуя сие, мне все-таки для следствия нужно знать, по каковым причинам сей мнимый муляр, оказавшийся разбойником, не токмо не был окружен каким-либо дозором, но даже был допущен в покои, где и ночевал.

— Непостижимо! — развел руками комиссар.

— Это не я допустил, не я...— встрепенулся Хойнацкий.— Это жена... горничная ей сказала... Она Фросе верила... ну и согласилась.

— Фрося... Это горничная?

— Так, пане.

— И не хлопка, а вольная?

— Да, я ее отпустил на волю,— отозвался Пигловский.— Она прежде была моею хлопкой.

— А за что, если позволит пан полюбопытствовать?

— Гм... вообще... за заслуги...— смешался, видимо, бывший ее повелитель.

— Пшепрашам, пане,— извинился асессор,— я ничего не касаюсь... чту священные права, а вельми паче семейные тайны, но мне нужно знать, обладает ли сия девица душевными качествами, которые могли бы вселить покойной жертве доверие к своей наемнице?

— Гм... что касается души...— начал было Пигловский.

— Обладает, обладает,— поторопился уверить следственную комиссию хозяин.

— Надо допросить ее — и квита! — порешил асессор.

— На бога, панове! Не терзайте не повинной ни в чем девушки! — взмолился Хойнацкий.

— Кого это? — смутился и депутат.

— Да Фросю...

— Как? Почему? Какое отношение ее к этому делу? — взбудоражился депутат.

— А такое, шановный пане депутате,— ответил с ласковым подобострастием пан асессор,— что это главная свидетельница, а может быть, и пособница, что мы лишь от нее можем осведомиться о местонахождении злочинца и его товарища, с каковым видится близость девицы.

— Скажу — даже осязается,— зарокотал комиссар.

— Дай, пане, покой! Все это вздор! — вспыхнул Янчевский.

— Ох-ох-ох! — покачал головою пан асессор.— Отклонить сию девицу от ответа, значит идти явно, пане, против закона, сиречь покрывать разбойника и стать на его сторону, быть его пособником... Мыслю, что сие пану депутату, каковому вручена защита шляхетских жизней и добр, не довлело бы.

XXVII

— Я считаю горничную Фросю пособницею злочинства! — гаркнул комиссар.— Так, пособницей, соучастницей... И если пан хотел писать егомосци маршалку, то я тоже пошлю эстафетой рапорт губернатору и пану председателю суда.

— Да я не препятствую, панове, мне что,— опешил Янчевский.

— Неужели вы ее, бедную, будете допытывать с пристрастием? — сокрушался Хойнацкий.

— Она призывается сейчас как свидетельница,— улыбнулся асессор,— но весьма правдоподобно, что она сразу станет и обвиняемой!.. Касательно свидетеля, зависит от комиссии: дать ли веру его словам, или подкрепить их пристрастием... Но от обвиняемого станут требовать неуклонного опроса с пристрастием, разве токмо

последний во всем чистосердечно и безо всякого ухищрения повинится.

— Это ужасно! — шептал побелевшими губами Хойнацкий.— Несчастная девушка!.. Она может... по глупости... она со страху...— А в голове его стучало между прочим: «Ведь она со страху может черт знает что наболтать и меня запутает с головой...»

— Да что так пан за нее заступается? — заметил язвительно комиссар.— Ведь она хоть и выпущена на волю, а все же хлопка... и способна на всякую пакость... Вот пан увидит... Я настаиваю привесть ее неукоснительно и взять под стражу да пройтись лозой по конфиденционным участкам, а за лозой подсыпать и канчуков,— тогда развяжет она язык... ого-го!!

Хойнацкий беспомощно смотрел на своих приятелей; но они, видимо, придавлены были острым поворотом дела и сразу не нашлись как защищаться; даже отважный Янчевский, забыв свое красноречие, кусал лишь досадливо ус.

— За позволение пана! — прервал тяжелое молчание асессор.— Я имею нечто сказать! — И он указал Хойнацкому рукой на кабинет. Хозяин последовал немедленно за своим гостем.

Заперши дверь, асессор обстоятельно объяснил Хойнацкому, что дело приняло неприятный характер и может быть для хозяина весьма и весьма опасным. Следствие уже навело на многие факты, а горничная, очевидно, их подтвердит и под пристрастием еще откроет новые обстоятельства...

— Перед судом выяснится следующее,— говорил нежно асессор: — жена не любила мужа, а муж боялся жены и желал от всей души ее смерти; у жены была горничная, она приглянулась мужу, и он сделал ее своей наложницей, а тогда уже они придумали злодейскую штуку: муж пригласил какого-то бродягу, а горничная подучила его убить свою пани... Вместе-то и ухлопали... а на Кармелюка лишь свернули... Я не утверждаю, вельможный пане, чтоб это так было, но в следственных бумагах это будет стоять слово в слово...

По мере того как асессор говорил, у Хойнацкого волосы вставали дыбом и ужас охватывал железными лапами его тощее тело.

— На матку найсвентшу! На раны пана Езуса! Тут

правды нет и слова... Ни я, ни горничная ни при чем... Я боготворил покойную жену... Это был ангел небесный, клянусь...

— Верю, верю,— умилился асессор,— но в бумагах...

— Ой, что ж мне делать? Пане, рятуй!

— Мой дорогой! — умилился до слез асессор.— Как мне жаль пана! Вчера бы все пустяком могло кончиться, а сегодня комиссар докопался... и он дешево не уступит... Все испортил вам пан Янчевский. А теперь... огласка пошла... Теперь закрыть дело — значит, самому стать под дыбу... Значит, коли уже падать, то хоть с доброго коня.

— И розыска больше не будет, и все дело...

— Предается воле божьей... Так и постановление, и конклюзии напишем... а все опросы сожжем.

— Сколько? — спросил наконец Хойнацкий.

— Десять тысяч золотых.

— О-ой!—схватился он за голову и опустился в кресло.

Как ни просил Хойнацкий о сбавке мзды, какие ни приводил резоны,— асессор был тверд, как гранит, и не уступил ни гроша. Хойницкий наконец согласился и потом даже был весьма рад... и весело пригласил всех на завтрак.

— Ну, здесь, хвала богу, покончили мы дело,— крякнул комиссар, проглатывая третью чарку березовки,— а вот на завтра переедем к панской милости.

— Ко мне? — оторопел Пигловский.

— Так, пане. Нужно будет арестовать семью Кармелюка и всех тех, кто с ней дружен.

— Гм... Этак и до всего села можно добраться! — улыбнулся Пигловский.

— Весьма и весьма.

— Однако, панове, позвольте и мне сказать слово,— поднял Янчевский правую руку и застыл во внушительной позе.— В интересах общества надлежит не только оставить семью разбойника на месте, не только не тревожить ее допросом, а даже усыпить ее осторожность и незаметно, но пыльно сторожить и держать засаду... Этот пекельный выродок любит семью... и посещает ее тайно... Дайте нам час, и мы с паном Адамом [52] поймаем в капкан зверя. Здесь, панове, вы поступили весьма остроумно и добросовестно, оставив Фросю в покое, ибо если даже заподозрить ее в любовной связи с товари-

щем гайдамака, то в таком разе нужно дать возможность последнему навестить свою коханку и накрыть на меду муху... Равным образом нужно поступить и с семьей Кармелюка, ибо здесь лежит в основании конклюзии одно лишь подозрение, а там — незыблемая уверенность и непреложность... бросим же, панове, под ноги изветшавшее правило: «Pereat mundus, fiat justitia (погибай мир, но вершись правосудие), а подымем чарки за другое: «Все погибай, лишь бы благоденствовал человек!» — и напряжем силы на благо и процветание ойчизны!

Все откликнулись шумно на речь оратора,— чарки заходили по рукам, посыпались приветствия, сопровождаемые пожатием рук и объятиями. Громче всех орал комиссар, а асессор расплывался в блаженной улыбке. Когда взрывы восторга поулегались, он обратился к пану Пигловскому сладостным голосом:

— Все вышереченное восхитительно и поучительно... токмо единое место оставлено под сомнением: как нам уверену быть, что попущения пойдут во благо, а не во зло? Где сему доказательства?

— А вот,— ответил уверенно пан Пигловский и положил перед асессором две белые ассигнации, на которых выделялись резко и римским, и арабским шрифтом цифры 50.

Асессор взглянул умильно на эти доказательства и произнес трогательно:

— Неопровержимые!

Янчевский возвратился с Пигловским в Головчинцы.

По дороге приятели обдумали совместно план дальнейших действий. Пигловский предложил было сперва запугать жену Кармелюка грозными мерами и силою вырвать у нее тайну убежища мужа, но Демосфен восстал против этого. Прежде всего он доказал Пигловскому, что, по всей вероятности, жена и не знает, где скрывается Кармелюк со своею шайкой, во-вторых, он настаивал на том, что грозные меры могут вызвать лишь упорство и в конце концов заставить и жену бежать с детьми к мужу, а если это случится, то они потеряют единственную приманку, на которую еще можно поймать Кармелюка. Ввиду

всего этого Демосфен предложил более хитроумный план: так как, по-видимому, Кармелюк уже был у жены и будет еще не раз наведываться к семье, то постараться во чтобы то ни стало привлечь Марину ласковыми обещаниями на свою сторону, а чтобы заставить бабу поверить панским словам — привести заблаговременно эти обещания в исполнение. Самим же установить между тем бдительный надзор над хатой Кармелюка.

Пигловский согласился на предложение Демосфена.

— Я у тебя и останусь,— заметил Янчевский.— Не уеду до тех пор, пока не изловлю этого бунтаря. Пусть гинет хозяйство. Товарищи — прежде всего!

Правда, у Демосфена была и другая, гораздо менее благородная цель, заставлявшая его остаться в усадьбе друга. Как ни храбрился пан Янчевский, все же он весьма и весьма побаивался остаться наедине со своими хлопами, которые хорошо помнили его зверское обращение. Боязнь эта возросла особенно с тех пор, когда фурман пана Янчевского Онысько бежал к Кармелюку. Но Пигловский, не посвященный в тайники души друга, был тронут его необычайным великодушием и, пожав горячо его руку, произнес с чувством:

— Спасибо... Не забуду никогда...

— Только, пане Адаме, надо действовать, не теряя времени,— заключил Демосфен, отвечая другу на пожатие руки.

На другой день утром пан Пигловский и Янчевский сидели в кабинете, поджидая Марину.

Пигловский медленно потягивал дымок из длинного чубука, Демосфен посасывал коротенькую трубку. Но вот двери тихо скрипнули и в комнату вошла Марина.

Со времени последнего свидания с Кармелюком она еще более побледнела, похудела, осунулась и походила теперь на изнуренную пожилую женщину. Войдя в комнату, Марина низко поклонилась панам и остановилась в ожидании панских приказаний у дверей. Тревога, мучительное сомнение сменялись на ее лице...

— Гм... неважная,— проворчал вслух Демосфен, бесцеремонно рассматривая пришедшую.

— А была не такая,— заметил Пигловский и, вынув чубук, продолжал: — Ай-ай, и змарнила ж ты, Марина! Тебя и узнать трудно. Ну, как живется?

— Ой паночку милостивый,— произнесла с трудом, кланяясь в пояс, Марина,— двое детей... я одна... насилу ноги волочим.

— Что ж так? За мужем тоскуешь?

Марина вздрогнула и с ужасом взглянула на Пигловского. Уже одно приглашение явиться к пану не предвещало ничего хорошего, а упоминание пана о муже и присутствие во дворе пана Янчевского явно грозило ей чем-то ужасным; но, к удивлению ее, Пигловский продолжал весьма милостивым тоном:

— Что ж, дело законное: за мужем скучать не грех, только коли муж того стоит, коли он хоть жену да детей своих любит, а любит ли вас твой збойца? Эй, Марино, Марино, вспомни, как я долго на свадьбу твою согласия не давал. Конечно, что говорить, бабы и девки и теперь к гайдамаку липнут! Красив он, а душа у него чернее, чем у цыгана. Я ли ему не был ласковым паном? Человеком сделал; был бы он мне верным слугой — отпустил бы вас всех на волю, о том я и ему не раз говорил, а он чем отплатил мне? Бунтовать хлопов начал против меня, против своего благодетеля...

— Когда бы вельможный пан не продавал его... а сам...— вставила робко Марина и, испугавшись своей смелости, подавила горький вздох и умолкла.

Но, к удивлению ее, Пигловский не рассердился, а продолжал так же милостиво:

— Да я и не думал продавать, ведь мне его и жаль — разумный был, бестия, и работник хороший. Я ведь хотел только по-отечески наказать его, в том и сраму никакого нет, когда свой пан наказывает, а что он загнул? При всем честном панстве мне, хозяину и пану своему, чуть не наплевал в глаза! Злобу свою потешить хотел, да не удалось! А подумал ли о жене, о детях? О том, что бросает их на муку, на горе, на голодовку, а может, и на самую смерть... Да если бы он вас хоть каплю любил, то ради вас терпел бы... А ему что дети, что жена! — Пигловский остановился и устремил на Марину пытливый взгляд.

Марина утирала рукавом глаза. Слова пана словно подтверждали те мысли, которые не раз приходили ей в голову. И исчезнувшая возможность счастья, и безотрадное настоящее наполнили ее сердце нестерпимой горечью, и слезы закапали из ее потухших глаз.

А Пигловский продолжал между тем дальше еще вкрадчивее, еще дружественнее:

— Ну, вот и дальше: соскучился он по семье, не выдержал разлуки, бежал из москалей,— то злочинство, конечно, но против казны, то не против пана; ну, и пришел бы ко мне, упал бы в ноги, покаялся бы во всем, как своему пану. Я сам отец... простил бы его, перевел бы вас в какой-нибудь отдаленный лесной хутор... подмазал бы, где следует, и жили бы, как у Христа за пазухой. А он что затеял: грабеж, разбой! Через него и вашему брату теперь хуже...

— Да дай покой, пане Адаме! — перебил Пигловского Демосфен.— Разве он из москалей для семьи бежал? Для распутства он бежал, для того, чтобы ловить дивчат и баб по лесам и дорогам да бесчестить их! Он и из москалей через бабу ушел! Да, доподлинно известно, мне о том сам капитан рассказывал: снюхался с чужою женой, муж его застукал, ну и присудили ему сто палок, а он, не будь дурнем, да и ударил на вольное развеселое житье.

Слова Демосфена впились в сердце Марины жгучей болью. Ей вспомнились слова Кармелюка о том, что он бежал из солдатчины от тоски по семье... Так вот она, тоска-то по жене!.. Как пел: «Измучился... Стосковался!» Злое и горькое чувство закипело в душе Марины. «Да, может, пан еще и брешет?» — мелькнуло в ее голове, но чувство жгучей обиды заглушило эту мимолетную мысль. «Измучился... стосковался,— повторила про себя с горечью Марина,— и она поверила... Глупая, глупая!.. Если бы вправду любил, тосковал, заходил бы, виделся... А он? Два раза заглянул за полгода! А еще звал с собой куда-то. Звал... Теперь уж и не зовет!»

И словно в ответ на эти мысли несчастной женщины, Демосфен продолжал дальше:

— Если бы за семьей тосковал, так он бы тут и прирос... Когда собака к хозяину привыкнет, так ее и колом не отгонишь, а твой збойца? Ведь он, как в песне говорится: «Где дивчыну чует, там ночку ночует, а где молодички — то там и три нички».

И Демосфен громко рассмеялся, не спуская глаз с измученного лица Марины.

А Пигловский продолжал ехидно дальше:

— Ты вот змарнила, перевелась ни на что,— ну,

значит, и не по душе ему. А подумал ли он о том, через кого твоя краса слиняла, через кого и вся жизнь твоя за ветром пошла? Ему что? Гульня, море по колено, а вам беда, вам горе, вам смерть!

Речи Пигловского снова напомнили Марине обидное восклицание мужа: «Да как же ты змарнила, Марина!» Этот возглас и тогда невыразимо больно резнул ее по сердцу. Теперь же, подогретое хитрыми словами панов, воображение придало ему еще более явный, обидный смысл,— и мысль о том, что муж погубит и ее, и детей, восстала перед ней с неотразимой отчетливостью.

— Пусть ему уж бог простит, паночку, за то, что он сделал с нами,— произнесла она, с трудом сдерживая подступившие к глазам слезы.

— Простит... Нет, молодица: бог не простит, и люди не помилуют! — заговорил торжественно и мрачно Демосфен, простирая к потолку свою длань.

И Демосфен заговорил о страшных преступлениях Кармелюка, о том, что господь уже отступил от него и силы ада овладели его душой.

— Разве он думает о том, что грех его упадет и на несчастных детей? Да зашел ли он к вам хоть раз? Думаю, и не заглянул?

Демосфен пытливо взглянул на Марину. Марина затряслась и побелела.

— Ну что же молчишь? — повторил настойчиво Демосфен.

— Да что же тут и говорить?.. Ведь первым делом должен был он прямо к тебе прийти,— поддержал товарища Пигловский,— ты и не виновна ни в чем: разве ты знала, как он домой вернулся? — произнес мягко Пигловский.— Ну уж говори правду, ведь мы знаем: был раз?

— Был...— уронила чуть слышно Марина.

— Ну, вот и хорошо, что правду говоришь... За первый раз и ничего,— ты должна была прятать мужа, а вот то, что ты и второй раз принимала его,— так уж плохо... И для тебя... и для детей твоих.

— Паночку, голубчику, не знала я ничего... не видала... Смилосердуйтесь, простите...— взмолилась Марина, прижимая руки к впалой груди.

— Не знала? Поверить трудно: слух уж кругом шел,— заметил Демосфен.

— Ой боженьку, маты божа, царица небесная! Что ж бы я, бедная, сделать могла, если бы и знала? Разве сила моя была выгнать его из хаты?

— Надо было мне передать, а я бы уже нашел способ,— заметил строго Пигловский.

— Да он всего и перебыл одну годыночку...

— Годыночку не годыночку, а за эту самую годыночку теперь пойдете вы все на погибель: и ты, и дети твои,— произнес грозно Пигловский.

— Паночку, батечку! Простите, помилуйте, пусть меня крест убьет, если я теперь хоть пущу его на порог своей хаты,— заголосила Марина и повалилась в ноги Пигловскому.— Чем же я, несчастная, винна, чем виноваты дети мои?.. Ой, не добивайте ж меня... ох, смилосердуйтесь!

— Не трать, молодица, даром слез,— остановил ее сурово Пигловский.— Теперь над тобой не моя воля, а воля суда. Я тебя для того и призвал, чтобы сказать тебе об этом. Завтра к нам приедут от пана Хойнацкого асессоры и комиссары,— они уже узнали, что семья Кармелюка у меня живет,— наденут на тебя кандалы и отправят вместе с детьми на каторгу в Сибирь.

Дикий вопль вырвался из груди Марины и, обхватив ноги Пигловского руками, она заговорила быстро, сбивчиво, с приливом какого-то безумного ужаса:

— Спасите... Смилосердуйтесь... Меня убейте, пожалейте детей... Они ж несчастные... Бесталанные сироты! Ой, вырвите лучше у меня сердце... Нет силы моей!.. Не виновна я ни в чем!.. Ничего не знаю!

XXVIII

— Верю, верю, — прервал Марину невозмутимо Пигловский.— Но судьям трудно будет этому поверить, тем более, что ты виделась дважды с мужем. Чем ты докажешь, что ты с ним не заодно?

— Чтоб я детей своих мертвыми увидела, когда я хоть что-нибудь знала, хоть в чем-нибудь была заодно! Чтоб я не дождалась святого причастия, чтоб я лишена была спасения души! — заговорила сквозь слезы Марина, ударяя себя кулаками в грудь.

— Годи, бабо, не трать дурно часу! — перебил ее

грубо Демосфен.— Закон приказывает! — произнес он торжественно.— А когда закон говорит — все должны молчать. Ну, перед тем как отправят вас в Сибирь, дадут еще тебе и детям твоим по сто канчуков.

Последние слова Демосфена совершенно сразили Марину. Обливая слезами руки Пигловского, забилась она у него в ногах, мешая клятвы с просьбами, с мольбами... Она уже потеряла рассудок и образ человека. Это было какое-то обезумевшее, обессиленное отчаянием существо.

Выждав некоторое время, Пигловский заговорил снова, но уже милостиво и ласково:

— Жаль мне тебя, молодица, жаль, а еще более жаль детей твоих малолетних и моих хлопов. Можно было бы, пожалуй, и спасти тебя, если бы ты пообещала...

— Все, что пан прикажет! — вскрикнула Марина, ловя руки Пигловского.— Собакой буду! Житье свое за пана отдам.

— Отлично! — одобрил ее Пигловский.— Ну так слушай же. Асессора и комиссара я упросил пока еще не арестовывать вас... Я их уверил, что ты — моя верная хлопка и что верность свою докажешь. А для того, чтобы доказать, что ты с Кармелюком не заодно, тебе надо сделать следующее,— и пан Пигловский начал пояснять Марине, что она должна скрыть от мужа эту беседу, а когда он придет к ней в хату, усыпив его ласкою, дать немедленно знать в панский двор, что Кармелюк находится в ее хате.

С ужасом слушала Марина план предательства, который ей излагал так спокойно и так обстоятельно пан Пигловский. Несмотря на все горе, которое приносил ей Кармелюк, в сердце ее еще тлели любовь и жалость к мужу...

— Паночку, смилосердуйтесь,— едва прошептала она побелевшими губами,— ведь он же батько детям моим!

— Батько! — крикнул грозно Демосфен, подымаясь с кресла и наступая на Марину.— Через этого батька погонят на каторгу и тебя, и твоих детей! Да мало того, еще перед каторгой снимут на твоих глазах с детей шкуру, и сдерут не так, как мы снимали, а на кобыле, с мясом, до самых костей. И ты его смеешь звать батьком! Не батько, а палач ваш,— вот что!

— Опомнись, Марина, вспомни о детях,— продолжал сурово Пигловский.— Думаешь ли ты, что своим укры-

вательством спасешь гайдамака от кары? Не спасешь! Не уйдет он на этом свете от каторги, как не уйдет на том — от пекельных мук: поймают его и без тебя. Вон уже пришли для того и москали из Каменца. Но только помни, что если поймают его без твоей помощи, тогда пойдешь на каторгу и ты с детьми. Подумай еще и о том, что чем позднее поймают его, тем тяжелее кара упадет на него и на том и на этом свете, ибо каждый день влечет за собою для него новые и новые грехи. А потому, коли ты послушаешь меня и прийдешь своему пану на помощь, то сделаешь добро и мужу, и детям.

— Паночку... милостивый паночку... Лебедику...—заговорила сквозь слезы Марина. — Да как же мне!.. Ведь он муж мой!..

— Был муж, а теперь распутник, гайдамака! — крикнул снова грозно Демосфен.— А ты что? Мать ли ты своим детям, или союзница разбойника? Добрая ли ты христианка, или заступница того, от кого отступился и сам господь бог? Хочешь ли ты спасти своих детей от каторги, от нелюдской смерти, или хочешь запропастить их с душой и с телом?!

— Ой паночку, как же мне не хотеть спасти своих детей? Не так хочу спасения душе своей... как хочу им... бесталанным... счастья и доли...— заговорила Марина, глотая слезы и останавливаясь на каждом слове.— На куски б все тело пошматувала, душу б свою отдала, лишь бы они не знали того горя, которое выпало мне на долю...

Марина закрыла лицо фартуком и горько заплакала. А Демосфен кивнул многозначительно Пигловскому, как бы говоря: «Клюнуло, кончай!»

Марина отняла фартук от лица и всхлипнула истерически.

— Да как же мне выдать, как сказать?! Язык не повернется...

— Слушай, молодице,— произнес внушительно Пигловский.— Слушай, маты,— подчеркнул он последнее слово,— и запомни то, о чем я тебе буду говорить: взяли меня за сердце твои материнские слезы, счастья хочу твоим детям. Пусть знают все, что батьком им стал не Кармелюк, а пан Кармелюка. Так вот же, слушай: если ты исполнишь мою волю и останешься моею верною слугой, то, смотри вот, эта бумага,— я передаю ее пану

Янчевскому, — он действительно передал Янчевскому большой, сложенный вчетверо лист бумаги,— здесь подписана вольная тебе и твоим сыновьям.

Восторженный вопль вырвался из груди Марины, и она упала в ноги Пигловскому.

— И ты ее получишь,— продолжал Пигловский, не отстраняя Марину от своих ног,— и не только получишь вольную, но еще награжу тебя: дам тебе и землю, и пару волов, а пока что и от панщины освобожу.

— А я еще прибавлю от себя за честный поступок и корову,— добавил Янчевский.

— И ничего тебе за это и делать не надо,— продолжал Пигловский.— А только, как прийдет к тебе твой гайдамака, прибеги во двор и скажи одно лишь слово: «Пане, дайте мне мою вольную!» Больше ничего! О муже и не упоминай. Но,— переменил он сразу тон и заговорил сурово и грозно,— не думай, что ты можешь убежать от меня к своему разбойнику! Мышь не уйдет у меня из села, слышишь? Мышь не убежит!

— Пусть я света божьего не увижу, если вздумаю уйти от пана, пусть умру без покаянья,— заговорила Марина, падая на колени.

— Но если ты вздумаешь обмануть меня,— перебил ее Пигловский, и голос его понизился до страшного шипенья,— если я только доведаюсь, что ты пересказала хоть единое слово из этой беседы Кармелюку,— тут же на глазах твоих запорю твоих щенят, на смерть закатую, собаками зацкую!

— Ой! — закричала не своим голосом Марина и, охватившы руками ноги Пигловского, заговорила, задыхаясь от ужаса: — Все... все... не обману, паночку, не обману... Спасите, не губите детей!

— Ну, хорошо,— заключил уже более мягко Пигловский,— верю тебе. Иди же и думай о том, мать ли ты своим несчастным детям, или союзница душегуба, которому нет прощенья и на небесах.

Но так как измученная, обессиленная Марина все еще плакала и никак не могла подняться с земли, то Пигловский позвонил и приказал вошедшему дворецкому.

— Подведи молодицу, да смотри передай дозорце, чтоб от панщины ее уволил.

Когда дверь за Мариной затворилась, Демосфен встал с кресла и произнес, потирая руки:

— Ну, пане Адаме, теперь только устроить добрый надзор, а баба выдаст, выдаст, как бог свят!

Тотчас же был наряжен над хатой Кармелюка и над самой Мариной самый бдительный надзор. Никто из крестьян, да и сама Марина не подозревали, что за нею и за ее хатой неуклонно следят три пары зорких глаз, а между тем верные сторожа сменялись незаметно для постороннего глаза и не оставляли бедной хаты ни на одну минуту без своего попечения. Сам Демосфен, перерядившись, принимал не раз участие в ночных обходах.

Но Кармелюк не появлялся.

Хитрые паны не оставляли Марину без своего влияния; несколько раз заходил к ней батюшка и беседовал с нею строго и наставительно о том, что она должна послушать панов, своих благодетелей, и отступиться навсегда от Кармелюка.

Паны, со своей стороны, исполнили обещание, данное Марине: ее уже больше не брали на панщину; мало того, дозорца стал добрее и ласковее и, заметив, что Марина сильно кашляет и чахнет, велел ей пригнать с панского двора корову для временного пользования, а пан приказал выдать еще от себя мешок пшеничной и два мешка житней муки.

Теперь уже и дворище, и хата Кармелюка выглядывали веселее. Пользуясь своей свободой, Марина кое-как поправила, что могла, и купила на оставленные Кармелюком деньги, осторожно, понемногу, чтобы соседи не догадались, все необходимое.

Сытые, чистые хлопчики поправились, повеселели и радовали материнский взгляд. Но самой Марине не пошли впрок ни покой, ни пища: она хирела и кашляла, а на щеках ее появились зловещие красные пятна. Впрочем, сама Марина не замечала своей болезни; постоянное напряженное состояние души отвлекало ее мысли. Часто, лежа на лавке в своей бедной, но чистой хате, Марина думала, глядя на детей, работавших тут же подле нее: «Как бы хорошо провести и остаток жизни вот так, в довольстве, в покое... и на воле! На воле!..»

Одно это слово вызывало в ее душе такое волнение, что лицо загоралось жгучим румянцем, а глаза вспыхивали, как лучины. На воле! Иметь право жить, как

хочешь, делать, что хочешь, идти, куда хочешь. Не знать ни панщины, ни истязаний панских. Ох, дух захватывает! Детки коханые, бидолашные, знаете ли, какую долю можно для вас купить одним только словом: «Пане, дайте мне вольную!» Но тут же мысль ее сделала крутой поворот, и радостное чувство сменилось мучительным терзанием. А тем временем, пока они будут раскошувать на воле... Он — муж... батько — будет изнывать в каторжной работе... всю жизнь... всю жизнь... а может, и повесят... Умрет без покаяния... Предстанет со всеми грехами перед страшным судьею. Они говорят, что и без меня поймают его... Ой, брешут, брешут они. Не звали б они меня, не манили б! Ведь он может еще уйти, спастись, одуматься... покаяться. И чтоб она предала его? А грех... Господь отступился... А пан? — Это слово вызывало в ее душе чуть ли не больший ужас. При одном воспоминании о словах панских, о том страшном тоне, которым пан произнес их, Марина вся вздрагивала, сердце ее замирало, лицо бледнело... а губы шептали: «Убьет... замучит запорет на смерть!»

— Ой детки ж мои! — вскрикнула она истерически, прижимая к своей впалой груди белокурые головки детей.— Научите меня, что мне делать? Счастья вам хочу, воли!! Ой горе, ой недоля моя!

Из всех этих противоположных чувств, терзающих сердце Марины, выступало определенно одно желание: чтобы Кармелюк не возвращался назад.

И действительно, словно чуя страдания жены, Кармелюк совершенно исчез не только из ближайшей местности, но и из окрестностей. Прошел месяц, другой. Кармелюк не показывался. Кругом стало спокойно; разбои и набеги прекратились. Начали доходить слухи о том, что Кармелюк показался то под Вильной, то под Киевом, а то под Варшавой. Паны начали успокаиваться и решили, что гайдамак, напуганный усиленными преследованиями, навсегда простился с этою местностью. Так прошел спокойно и ноябрь. Жизнь панская, взбаламученная появлением Кармелюка, стала мало-помалу входить в свое русло. Начало успокаиваться шановное панство и в Головчинцах. Энергия его, сильно приподнятая в первое время, мало-помалу улеглась; вместе с тем начал ослабевать и надзор за хатой Кармелюка, а сообразно с этим умалялись для Марины и благодеяния панские.

Один только Демосфен не остывал в своем упорстве.

— Панове,— повторял он,— баба совсем плоха, смотрите на нее,— весны не перетянет. И чтоб он не пришел хоть проститься с нею? Сто червонцев об заклад, что шельма явится, и мы его накроем!

Но Кармелюк все не являлся. Наступил и декабрь.

— Ну, пробуду у тебя праздники, пане Адаме,— решил наконец и неукротимый Демосфен,— а там и за работу. Видно, шельма скрутил себе где-нибудь голову!

— Совершенно верно,— согласился Пигловский,—да с бабой пора наконец прикончить церемонии.

Так среди хлопот и ожидания незаметно подкрались рождественские святки.

Принявши благополучно святую вечерю, все село Головчинцы погрузилось в блаженный покой праздничного вечера. Некоторое время еще бродили по селу маленькие хрещеники, разнося святую вечерю, но разыгравшаяся метель загнала и их по хатам.

Тишина и безмолвие окутали все село. Мирный, праздничный вечер коснулся и хаты Кармелюка.

Теперь она выглядывала уже гораздо веселее. Стены ее были чисто выбелены, подведенные желтою глиной, пол устилали маленькие коцы *. Подле образов, украшенных вышитым полотенцем, теплилась лампада, а под образами на стене стояли кутья и узвар. Стол был застлан чистым убрусом, и на нем возвышалась огромная миска пирогов.

Марина сделала все своими руками. Это стоило ей больших трудов. Страшный кашель и постоянная слабость изнуряли ее, но она превозмогла все, чтобы детки ее встретили праздник так же, как и другие. Ведь они так давно уже не видели такой богатой кутьи!

Теперь, утомленная непосильными трудами, она спокойно спала на лаве. Голубая прозрачная тень, отбрасываемая лампадой, падала на ее худое, измученное лицо. Оно было покойно, покойно было и в сердце Марины,— дети ее были сыты и довольны, муж не являлся и тем отодвигал от ее сердца мучительное искушение дальше, может, и навсегда. Настоящим она была довольна, а о будущем старалась не думать... Младший

* Килими.

сын, Петрусь, спал уже давно крепко и безмятежно; бодрствовал только старший сын Кармелюка — Васько.

Сегодня он хотел, как водится, пойти к крестному отцу и отнести ему святую вечерю. За это, без сомнения, последний наградил бы его шагом, а то и медяныком, но мать, испугавшись метели, не пустила его и приказала оставаться дома. А он уже совершенно собрался, даже и вечерю увязал в хустку. И что ему сделает заверюха? Разве он маленький? Слава богу — хозяин! Хлопец сделал серьезное лицо и приложился к стеклу окна.

Ему показалось, что метель несколько утихла. «Побегу взгляну, может, уже перестала»,— подумал мальчик.

Он осторожно спустился с лавы, набросивши на плечи свиточку, всунул ноги в материнские чоботы, отворил дверь и неслышно выскользнул в сени. Дверь сенная была заперта на засов. Мальчик сделал усилие и с трудом открыл дверь, за которой метель уже успела насыпать порядочный сугроб. Выглянув на двор, мальчик еще раз убедился в том, что метель свирепствовала с полной силой. Огорченный мальчик собирался уже вернуться назад, как вдруг его зоркий взгляд заметил какую-то тень, которая шевельнулась возле повитки. «Кто там?» — хотел было крикнуть Васько, но тут же затаил дыхание, словно кто-то подсказал ему, что кричать не следует. Тень между тем направилась осторожно к хате, и через минуту Васько ясно различил, что это был высокий мужчина, одетый в бекешу и смушковую шапку. Сердце ребенка забилось и от радости, и от страха.

— Ой, кто то? — вырвался у него подавленный возглас, когда пришедший поравнялся с ним.

— Цыть! — прошептал Кармелюк, хватая мальчика за руку и увлекая его за собой в сени.— Не познал батька! — И, закрывши дверь на засов, он горячо прижал мальчика к себе.— Ты, Васько, ты? Да какой же ты стал большой! Храбрый! Дай рассмотреть тебя,— продолжал он, подходя с мальчиком к открытым в хату дверям.— Сынку мой, утеха моя! — Он прижал к себе хлопца еще раз и покрыл его лицо поцелуями.— Поджидал? Выглядал батька?

— Да... нет... да! — запутался, весь пунцовый, Васько, и обрадованный, и сконфуженный лаской отца, и вдруг, вырвавшись от него, бросился стремительно к ма-

тери и закричал во все горло: — Мамо, мамо! Татко пришлы!

Крик мальчика разбудил Марину; она поднялась, села на лавке. Но, увидев Кармелюка, вскрикнула не своим голосом: «Ой лышенько!» — и вскочила на ноги.

— Марино, жинко, чего злякалась? Не узнаешь меня? Да это ж я, Иван твой, Кармелюк...

Но так как Марина стояла словно окаменевшая и на лице ее не было и следа радости, а только один ужас, то Кармелюк добавил мрачно:

— А может, не рада?.. Не в пору гость?..

— Лыхо ж, горе мое! — простонала Марина, не слушая Кармелюка, и, всплеснув руками, занемела.

— Лыхо... горе...— повторил с горькой усмешкой Кармелюк.— Спасибо, жинко, за правду. Гай-гай... А я, дурень, летел бог знает откуда, чтобы встретить с вами праздник. Измучился без вас, думал, что есть и у меня свой родной угол... Ну что ж! Ошибся и тут, старый глупец! Боишься принять и в этот святой вечер? И в эту ночь, когда добрый хозяин не выгонит и собаки из хаты? Хорошо!.. Не беда! Пойдем искать себе притулку хотя в темном лесу.

— Татко, не иди,— прошептал Васько, сильно оттопыривая губы, и крепко схватил отца за руку.

— Сынку, тоби жалко татка? — произнес Кармелюк дрогнувшим от волнения голосом.— Дитя мое милое... спасибо тебе...

При звуке этого голоса мужа сердце Марины затрепетало и льстивые обещания пана, и угрозы, и стращания батюшки — все исчезло в одну минуту перед звуком этого голоса, осталась только одна жалость к несчастному изгнаннику.

— Янко, бидолашный мой! — вскрикнула она тихо.— Зачем, зачем ты пришел сюда?..

И, прижавшись к груди мужа, Марина разразилась истерическим рыданьем.

XXIX

— Марино! Дружино моя, что тут случилось? — произнес с удивлением Кармелюк.

— Ничего, ничего! — зашептала Марина, отрываясь

от его груди и озираясь испуганно по сторонам.— Как ты пришел сюда? Видел ли кто тебя?

— Никто не видел; на дворе заверюха метет, за пять шагов человека от дерева не распознаешь. Да разве паны еще до сей поры не успокоились?

— Нет... нет... Ты не знаешь, они все видят, все слышат...

— Успокойся, голубко,— прервал Марину Кармелюк, сжимая ее горячие руки,— на тебе лица нет, ты вся горишь. Говорю тебе: никто меня не видел, я пробуду здесь с вами до света, а завтра ночью опять приду.

— До света! — вскрикнула в ужасе Марина.— Нет, этого быть не может,— надо уходить!

— Да почему же? Говори толком, Марино,— произнес уже тревожно Кармелюк,— что ж, засада какая? Ты знаешь что-нибудь?

— Не знаю... нет... Да... постой... кругом все говорят... Паны все ждут... Янчевский здесь.

— А... пан Янчевский тут!.. Значит, облаву на пушного зверя сделать хотят,— протянул мрачно Кармелюк,— окружить берлогу да и выкурить...

— Ой господи, боженьку, что ж это я? — прошептала в ужасе Марина, хватаясь за голову.

Но Кармелюк принял это восклицание за проявление страха.

— Да успокойся, Марино, жинко, — произнес он, опуская свою руку на ее плечо.— Ведь я теперь не хлоп панский, а страшный Кармелюк; стоит мне только показаться — и бросятся все паны в бегство...

— Оставь, Иване, на бога... Их много там... Молю тебя... хоть ради этих детей. Ох, ради этих несчастных!

Марине вспомнились льстивые обещания пана, и она горько зарыдала, закрыв руками лицо.

— Постой, Марино, успокойся, — заговорил мягко Кармелюк,— ведь ночь еще наша, сейчас же паны не застукают, а надо обсудить все раз навсегда.

Он сбросил бекешу и шапку, охватил Марину рукою и усадил ее на лавку. Васько все время этой сцены стоял подле отца, нахмурив брови, и усиленно моргал веками; теперь он тоже подошел к отцу и остановился подле него. Кармелюк прижал к себе сына.

— Слушай, Марино,— заговорил он спокойно,— если

паны взялись ловить меня, они не забудут и вас: не поймают меня — на вас помстятся.

При этих словах мужа Марина вздрогнула с головы до ног.

— Не жить вам здесь,— продолжал Кармелюк.— Я устроил все, чтобы перевезти вас в Бессарабию,— есть паспорты, есть гроши и кони, все... Доедем до Дзвонарей, а там ждет верный человек. Мигом переправлю вас, устрою, и заживете...

— Татку, я поеду с тобой! — прошептал с восторгом Васько.

— Поедешь, сыну, вольным будешь,— произнес воодушевленно Кармелюк и горячо прижал к себе ребенка.

— Нет, нет! — вскрикнула Марина.— Не может этого быть! Не может этого быть! — повторила она настойчиво.— Пан поймает, поймает, говорю тебе,— почти крикнула она, не давая возражать Кармелюку, и добавила шепотом: — Он следит за мной.

— Так едем сейчас, конь ждет... бери детей, а больше ничего не надо,— эта ночь еще наша.

— Ни один день, ни один час...— перебила его Марина и вскочила с места.— Уходи, уходи скорее,— заговорила она снова быстрым и прерывистым шепотом.— Христа ради, уходи... изловят тебя... замучат... и нас...

— Так, значит, отказываешься ехать,— и навсегда?— произнес мрачно Кармелюк, поднимаясь с места. — Вспомни, Марино: ведь ты жена мне и мать моим детям.

— Мать!.. Какая я мать! — вскрикнула с горьким рыданьем Марина.— Я ворог им! Я гадина проклятая. Но нет, нет, пусть все пропадает,— не могу!! Янко мой! Друже мой! — заговорила она, прерывая слова слезами.— Не могу ехать... он поймает нас сейчас... Да посмотри, какая я стала, куда мене ехать! Пора собираться в другую дорогу; ой, взгляни на меня! Ведь мне недолго осталось и жить! — горьким воплем вырвались у Марины последние слова. В первый раз эта страшная мысль встала перед ней с полной отчетливостью. Марина охватила шею мужа руками и, припавши к его груди головой, заплакала беспомощно и горько.

— Марино... Марино...— прошептал Кармелюк, прижимая к себе вздрагивающее от слез худое тело жены.

— Постой, Янко,— заговорила снова Марина, отымая голову от груди мужа и отирая слезы рукавами,—

может, не увидимся уже здесь... Прости меня... за все, за все... за мои попреки, за злобу... Я знаю, не такая тебе нужна была жена!.. Но виновна ли я?.. Ой боже мой, ведь и мне хотелось жить...

— Бог с тобою, Марино, тебе ли просить меня?.. Ты прости за то, что хоть и не по своей воле, а все же испортил твою жизнь,— произнес Кармелюк дрогнувшим от волнения голосом.

— Что было, то минуло,— продолжала, глотая слезы, Марина,— но если ты хочешь, чтоб хоть на том свете душа моя узнала покой, то поклянись мне, что ты покаешься, что бросишь душегубство. Господь милостив, Янко... Он простит, помилует... Подумай о своей душе, о детях... твой грех упадет и на них.

— Клянусь тебе, Марино,— произнес с глубоким чувством Кармелюк,— не проливал я по своей вине людской крови и не пролью, не был я душегубом и не буду; клянусь, что буду жить только для добра людям, братьям своим...

— Спасибо, Янко... спасибо...— прошептала Марина, совсем обессиленная горячим порывом.— Детей не забудь... когда оставлю их... они ведь были нашей отрадой...

— Марино,— вскрикнул Кармелюк,— пусть меня бог забудет, если я когда-нибудь забуду их! Прощаюсь с вами, но только до весны...

— На бога, Иване!..

— Не бойся, Марино, прийду за вами, но не один.

— Вечерю святую, вот она,— Марина подала мужу завязанную Васьком вечерю,— возьми с собой... это я... может, в последний раз...

— Татко! — вскрикнул со слезами Васько.— Не иди от нас... Я не дам тебя панам... Не дам... не дам!—Мальчик обнял колени отца и, уткнувшись в них головой, громко заплакал.

— Сыну мой! — прошептал Кармелюк и горячо прижал мальчика к своей груди.— Нет... довольно... Не могу! Возьми его!... Храни вас бог! — вскрикнул он, с усилием отрываясь от сына; передал плачущего мальчика жене и, закрыв глаза рукой, поспешно вышел из хаты.

С трудом сдерживая подступившие к горлу рыдания, вышел Кармелюк в сени.

Когда дверь захлопнулась за ним, в голове его невольно поднялся вопрос: скоро ли переступит он снова

этот порог? И сердце Кармелюка заныло: из глубины души поднялось темное предчувствие, что больше он уж не вернется сюда никогда...

Он еще раз оглянулся на жену, фигура которой белела слабым пятном у стены темных сеней, еще раз махнул ей рукой, нахлобучил на глаза шапку и погрузился в глубокую темноту ночи.

Сыпал снег, густой и мягкий. Крупные хлопья его беззвучно падали на землю, ложились тонким слоем на одежду Кармелюка, нависали на брови, залепляли глаза. Было тихо кругом, ни один звук не нарушал ночного безмолвия... Казалось, чья-то невидимая, но могущественная рука хотела придавить этим холодным белым саваном всякую жизнь на промерзшей земле, всякий звук, всякий порыв человеческого сердца...

Кармелюк еще раз оглянулся на свою родную хату, смахнул рукавом непрошенную слезу, нахлобучил на голову шапку и быстро зашагал вперед, стараясь заглушить хоть этим движением нестерпимую сердечную боль.

Густая сеть падающего снега закрыла все кругом белесоватою пеленой. На расстоянии десяти шагов трудно было различить дорогу; изредка мелькали сквозь эту белую мятущуюся пелену светлыми пятнами маленькие окна занесенных снегом хат. И не думая о дороге, Кармелюк пробирался вперед верным путем. Каждый поворот, каждый ровчак были ему хорошо знакомы.

Но теперь эти мелкие подробности родной местности, вызывавшие в нем золотые воспоминания детства, не обращали на себя его внимания.

Он молча шагал вперед, понурив голову, не глядя перед собой. Его мысли были там, в оставшейся за ним родной, убогой хате, теперь теплой и светлой, с кутьей и узваром у образов. Ему хотелось вернуться назад, распахнуть стремительно двери, прижать к себе больную жену, детей и сказать им сквозь слезы: «Не гоните меня, приймите назад... Ведь я же несчастный, окраденный долей батько! Я пойду завтра к пану и упаду перед ним на колени, я буду молить его, чтоб он простил меня, забыл все... Я измучился, устал, я ничего больше уж не хочу — ни воли, ни доли... Я буду работать, как верное быдло... Дайте мне только пожить здесь с моими родными сынками, поддержать их, несчастных, малых, ни в чем не повинных». Но Кармелюк понимал лучше всех, что назад

ему не было возврата. В несвязных, недосказанных словах жены, в ее лихорадочных, испуганных движениях, в том, как она поспешно выряжала его, во всем этом был какой-то зловещий смысл...

«Уж не следят ли здесь за мной? — подумал он с горечью.— Может статься... Скорей, скорей отсюда! В темный лес, в пещеры!! Лисы имеют норы, волчица сидит в своей берлоге, питая грудью волчат,— только ты один не имеешь ни семьи, ни родного гнезда! Только ты, даже в эту святую ночь, должен идти сквозь метель и ненастье дальше и дальше, куда глаза глядят, дальше от тепла, и света, и человеческого жилья!..»

Кармелюк крепко прижал к груди завернутую в хустку святую вечерю, которую жена дала ему, и тихо прошептал:

— Куда идти? Где преклонить голову?

Перед ним снова встала только что пережитая сцена, бледный, измученный образ жены, ее речи... И острая, жгучая горечь поднялась из глубины души и затопила всю грудь...

Опустив голову на грудь, молча шагал Кармелюк, не замечая ничего кругом. За ним неслись его черные думы...

Таким образом ему удалось уже выбраться за село, как вдруг его остановил чей-то хриплый пьяный окрик.

Кармелюк вздрогнул, инстинктивно схватился за нож и поднял голову.

Перед ним стоял какой-то приземистый человек, завернутый в свитку, с нахлобученной на глаза видлогой. Запушенное снегом лицо его трудно было рассмотреть, но Кармелюку показалось, что острый взгляд незнакомца скользнул внимательно по его лицу. Впрочем, через мгновение он убедился, что опасения его были напрасны: незнакомец стоял на ногах далеко не твердо и говорил пьяным, заплетающимся языком.

— Эй ты,—крикнул он хрипло,—отвечай, когда спрашивают! Чего молчишь, ишь ты, пан какой! Да не крутись, а стой ровно, сто чертей твоей матери!

Незнакомец сильно пошатнулся и чуть было не упал, но, взмахнувши руками, удержал кое-как равновесие.

— А ты, человек добрый, здорово, видно, нализался,— ответил Кармелюк,— когда в такой святой вечер чертей вспоминаешь!

— Нализался или нет — не твое дело! Что ты мне — пан или эконом? Да что мне и пан! Я самому пану плюну в очи, а ты отвечай: где Головчинцы, куда их чертяки запропастили?

Кармелюк принялся было объяснять дорогу, но пьяный не дослушал его объяснения и, сильно покачиваясь, повернул по направлению к селу и через минуту скрылся в бушующей белой пелене.

У Кармелюка отлегло от сердца.

— Заяц, травленый заяц! — прошептал он с горечью.— Даже пьяный, повстречавшийся ночью на дороге, заставляет хвататься за нож...

Кармелюк повернул с дороги и вошел в небольшой лесок, который примыкал к огромному бору, тянувшемуся на десятки верст. Пройдя несколько шагов, он громко свистнул; в ответ послышалось отдаленное конское ржание. Кармелюк вскоре вышел на узенькую тропиночку. Дойдя до повалившегося через дорогу дуба, он свернул направо и наткнулся наконец на маленькие саночки, запряженные в одну лошадь.

При виде хозяина лошадь тихо заржала и потянула к нему морду. Кармелюк сбросил с лошади попону, отвязал мешок с овсом, подобрал вожжи, уселся в сани и свернул напрямик. Через несколько минут он выехал на широкую дорогу и въехал в темный бор.

В лесу было совершенно тихо. Ни малейший ветер не долетал сюда. Стало немного светлее. Очевидно, взошла поздняя луна, но сквозь толстый слой снежных облаков свет ее проникал бледным, матовым отблеском.

Неподвижно стояли мохнатые ели, покрытие густым слоем инея и снега. Было что-то таинственное и торжественное в этой величественной тишине. Казалось, святая ночь скользила неслышною стопой и над этим зачарованным лесом. Кармелюк пустил коню вожжи и снова задумался: тишина леса навевала на душу мягкую печаль и уносила его воспоминания к счастливым годам жизни, когда он в кругу своей семьи, тогда веселой, встречал этот великий день.

Где это счастье, где эти годы тихой жизни? Куда бросила его судьба?

Нет, не судьба, а дикая злоба панская. Страшная воля их над душой человека.

— Звери бездушные! — проскрежетал вслух Кармелюк.

Кармелюк тяжело вздохнул. Дуб столетний, не прикрепленный корнями к земле, сломает буря, как же уцелеет без поддержки один человек? Слышал ли он от кого-нибудь ласковое слово, задушевное слово?.. «Слышал... слышал,— чуть не вскрикнул он.— От нее, от этой дивчыны, прелестной и чистой, мелькнувшей перед ним, как падучая звезда... Но где она... да и помнит ли о нем? Добрый, чистый ребенок с ангельским сердцем, с ясной душой! И смеет ли он думать о ней? А почему же нет? Почему не думать о солнце и угрюмому барсуку?.. Только что пользы от этих дум?.. Она уж вышла замуж и забыла свою встречу с страшным Кармелюком...» Кармелюк совсем погрузился в мрачные думы... Не подымая потупленных глаз, он ничего не замечал вокруг себя; лошадь шла тихим шагом, сворачивая по своему усмотрению на пересекавшие путь лесные дороги... Между тем поднялся ветер... Мохнатые ели сердито закивали головами, по лесу пошел глухой шум. Снежинки заметались в воздухе...

За густой стеной леса ветру негде было разгуляться, но, судя по доносившимся и сюда порывам его, видно было, что в поле разыгралась свирепая метель...

Кармелюк спохватился. Он подобрал вожжи, встал в санях и оглянулся кругом. Ему показалось, что какая-то черная тень перебежала за ним дорогу.

«Уж не волки ли? — подумал он, и бесстрашное его сердце тревожно упало.— Вот он, нежданный конец! Страшного Кармелюка, недоступного панам, доконают волки!»

Не вдаваясь в излишние рассуждения, он осмотрел пистолеты, встал в санях и свистнул.

Зловещим эхом пронесся его свист под сводами мрачного леса.

Конь прижал уши и порывисто рванул вперед.

Метель свирепела.

Теперь Кармелюк совершенно не мог ориентироваться. Он ехал просекою, но видно было, что это не была проезжая дорога, так как сани его то попадали в ямы, то наскакивали на пни.

Положение становилось опасным. Усталая лошадь несколько раз останавливалась, но, понукаемая хозяином, снова принималась пробираться вперед; сугробы

снега еще более затрудняли движение. Важно было определить время, но звезд не было видно, а потому Кармелюк никак не мог узнать: много ли осталось до рассвета?

Промучившись так часа три, он выехал наконец на верный путь.

Метель между тем утихла, ветер разогнал тучи, и вскоре небо подернулось холодным синеватым отблеском. Кармелюк начал мало-помалу различать яснее и яснее очертания лошади и контуры деревьев... Наконец рассвет вошел в свою силу. Очищенный от облаков небесный свод ушел в вышину и вспыхнул розовым отблеском отдаленной зари. Кармелюк снял шапку, перекрестился и пустил лошадь шагом. Просеку вскоре пересекла другая просека, очевидно, тоже проезжая дорога, так как на свежем снегу, укрывшем ее пушистым покровом, виднелся еще свежий след крестьянских саней, проехавших здесь, очевидно, не более часа назад. Кармелюк слез с саней, остановил лошадь и решил пройтись, чтобы осмотреть дорогу и выбрать, куда свернуть. Вдруг его остановил громкий лошадиный топот. Прямо на него неслись сани, запряженные парой прекрасных панских лошадей; в санях сидел какой-то пан, закутанный с головою в огромную енотовую шубу, на козлах сидел кучер и какой-то мужичок.

— Эй, люди добрые, а куда тут дорога на...— начал было Кармелюк, но кучер только щелкнул бичем, и сани пронеслись в одно мгновение мимо.

— Ишь ты,— прошептал Кармелюк,— трое одного боятся. Ну, значит, ехать за ними. Доеду до жилья, там и разузнаю.

Он возвратился к своей лошади и направился по следу уехавших саней. Мало-помалу лес начал редеть, и наконец, через добрый час езды, на опушке его, образовавшей нечто вроде залива, Кармелюк увидал большую двойную хату с богатыми службами, окруженную высоким частоколом; ворота были отперты. Кармелюк въехал в ворота и, проехав в широкий проезд, деливший хату на две половины, свернул прямо к длинной повитке, под навесом которой стояли разные сани. Поворачивая, он сделал такой крутой поворот, что чуть не наткнулся оглоблями на другие сани, запряженные парой добрых лошадок.

— Эй, паночку, полегче, не хочешь ли ты моим конякам высадить очи? — раздался из саней звонкий голос.
Кармелюк оглянулся.

XXX

В санях на высоко подмощенном сеном сиденьи сидела красавица молодица. Смуглое овальное лицо ее обрамляла красная хустка, повязанная низко, почти над самыми бровями, черными и густыми. Большие карие глаза смотрели весело и задорно. Пунцовые полные губы были полуоткрыты, и из-за них сверкали два ряда белых, как жемчуг, зубов. На ней был синий халат с серым смушковым воротником, перетянутый на талии красным кушаком, из-под халата выглядывали только маленькие красные сапожки. Молодица держала в руках поводья и, видимо, собиралась отъезжать. Облитая розовым светом загоревшейся зари, красавица была необыкновенно эффектна в эту минуту, и Кармелюк невольно залюбовался ею.

— А где ж ваш добрый день, паночку? Откуда бог несет? — продолжала бойкая молодица, с удовольствием останавливая взгляд на красавце. Кармелюк был одет в синюю бекешу и высокую серую смушковую шапку — излюбленный костюм панских экономов и маленькой шляхты.

— Добрый день! — отвечал приветливо Кармелюк, слезая с саней и с удовольствием разминая спину.— Заплутался в дороге, теперь и не знаю, где я?

— А где же, как не в Безверхой корчме,— усмехнулась молодица и сверкнула ослепительно белыми зубами.

— Фу-у! — свистнул протяжно Кармелюк.— Куда занесло! Досадно! Черт побери! А не знаете ли, крале, как мне выбраться поскорее на Дзвонари?

— А как же не знаю, знаю... Да тут вот так перехватиться полем...— и словоохотливая молодица начала рассказывать дорогу.— Да и мне туда ехать. Там моя корчма недалеко, хотите — проведу?

— Нельзя, надо дать коню отдохнуть: целую ночь путались. А куда ж вам так рано? Подождите малость, тогда и двинем разом.

— Некогда. Надо торопиться: целую ночь от заверю-

хи прятались, а ведь сегодня праздник великий бог дал, так полагается хозяйке дома быть.

— Мужа страшно? — подморгнул бровью Кармелюк.

— Мужа давно в москали отдала,—ответила с усмешкой красавица,— сама себе господыня.

— Ой ли? — подморгнул ей снова Кармелюк, невольно поддаваясь ее веселости.— Для кого ж к празднику торопитесь? Ведь пора еще ранняя... Одной ехать страшно.

— А мне кого бояться?

— Еще и черти на земле шатаются.

— Не только чертей, а и самого Кармелюка не боюсь,— отвечала задорно молодица.

— Го-го! — рассмеялся Кармелюк.— Да разве он уже страшнее черта?

— А должно быть, что так, коли от него все паны бегают.

— А вы побежали б?

— Я? — Молодица повела черной бровью и ответила, сверкнув глазами: — Я б его, как ниточку, вокруг пальца окрутила.

— Где там!

— Вот приведите, там и увидите.

— А приведу, ей же богу, приведу! — ответил Кармелюк, подкручивая ус.— Посмотрим, чья возьмет? Перед ним бабы как свечки тают.

— Которая растает, а которая и зажжет,— и молодица рассмеялась звонким серебристым смехом и обдала Кармелюка таким жгучим взглядом, от которого у всякого мурашки забегали бы по телу.— Только не забудьте корчмы моей — Ульяны-солдатки, шинкарки в Черном лесу... Да садитесь-ка вы лучше со мной в сани, подвезу, места хватит.

— И рада бы душа в рай, да грехи не пускают,— отвечал Кармелюк, снимая шапку и кланяясь молодице.— А в корчму заверну, и с Кармелюком,— не прогневайтесь.

— Отлично! — красавица кивнула головой. — Смотрите ж, ждать буду! — Она стегнула лошадей и выехала со двора.

Кармелюк распряг лошадь, укрыл ее попоной, задал корму и пошел в корчму. На лице его еще блуждала

улыбка. Разговор с бойкой красавицей оставил в душе его какой-то светлый и радостный отблеск. Как будто дышать стало легче от блеска ее зубов, от серебристого смеха, от горящих очей и веселой речи.

— Вот кто живет без печали и воздыхания. Эх, для таких только и жизнь! — подумал про себя Кармелюк и взялся за ручку двери.

В корчме не было никого, один только молодой жид за стойкой напряженно посматривал на двери. При виде Кармелюка он сделал какое-то неопределенное движение и тотчас же заговорил быстро и сбивчиво:

— Ой-ой! Как рано пан поднялся! Что пану? Меду, горилки или пива — все есть... Ой-ой! Все есть!

— Дай стакан горилки да закусить чего... прозяб.

— А издалека пан едет?

— Заблудился в лесу...

— Ой мамеле!.. Пан выехал ночью из дома под такого заверюка? Ой вей, такого заверюка!.. Зараз, зараз, в тен момент,— прервал шинкарь сам свою болтовню, заметив, что брови Кармелюка сердито нахмурились.— Вот горилка,— поставил он перед Кармелюком кварту,— а закусить сейчас принесу...

— Да ты не медли! — отозвался сурово Кармелюк.— Хлеба да сала,— мне скоро.

— Хлеба да сала,— повторил шинкарь с таким видом, как будо ему предложили сделать что-то самое постыдное,— хлеба да сала! У меня для пана есть чего-нибудь особенного! Чего-нибудь особенного! — повторил он, поднимая вверх указательный палец, и, быстро повернувшись, исчез из комнаты. Прошло четверть часа, половина, а шинкарь все не возвращался. Кармелюк хотел уж было встать и направиться вслед за хозяином, когда двери скрипнули и в хату вошел снова шинкарь. В миске он нес жирный кусок буженины и свежую паляницу.

— Выбачайте, пане ласкавый,— жинка где-то забросила ключи, але проше попробовать кусок этой буженины... цм... цм...— зацмокал он губами,— это чего-нибудь особенного!

Кармелюк молча принялся за еду. Между тем услужливый корчмарь поставил Кармелюку еще большой ковш пива.

Кармелюку стало жарко; тело его словно размякло совсем. Оно требовало хоть короткого покоя...

Кармелюк знал, что уже время и ехать дальше, а между тем им овладело какое-то оцепенение. Он ничего не думал, не вспоминал а только чувствовал блаженство тепла и сытости. Не спеша, достал он из кармана кисет и люльку, набил ее табаком, высек огня и с удовольствием затянулся едким дымом.

Между тем дверь отворилась. Кармелюк оглянулся, но тотчас же успокоился: в шинок вошел тощий мужичонко в заплатанной свитке и рыжей, вылезшей клочками шапке. Подойдя к стойке, он снял с головы шапку и, отвесив низкий поклон, заговорил с шинкарем о чем-то самым униженным, просительным тоном.

Кармелюк не обратил внимания на их беседу. Окружив себя облаками синего дыма, он наслаждался кейфом *. В сознании его только и оставался ясным дразнящий, огненный взгляд молодицы и ее сверкающие зубы.

Между тем разговор между мужичком и шинкарем начал принимать острый оборот.

— Ну, ты, мешигыне,— закричал еврей так громко, что Кармелюк встрепенулся и невольно прислушался к разговору,— или ты с глузду спятил, или что? Тебе наборг (в долг) ведро горилки! Тебе, паршивому харпаку?! Да кто ж тебе поверит?! Разве всякий добрый еврей не знает, что ты самый поганый, самый паршивый харпак, что у тебя нет ни поля, ни огорода, ни хаты и, кроме жены, нет никакой худобы! Ни гуски, ни даже курки! А тебе ведро горилки?.. Наборг! Ой-ой, хороший гешефт!!

— Смилуйся, Лейзар, заставлю все!

— Ты, ты заставишь! — закипятился Лейзар. — Ну что же ты заставишь? Ну что у тебя есть? Дырявая свитка, чоботы без халяв? Шапка без верху?!

— Отработаю...

— Ты отработаешь? Или, может быть, жинка твоя? Хорошая работа, добрая работа, мне такой работы не надо!

— Понемножку, Лейзар, понемножку...

— Ой вей! — взвизгнул Лейзар и даже отпрянул назад.— На что мне тот чертовый клопот!

— Да на бога, Лейзар, ты же сам батько, подумай, что же мне делать?.. — взмолился так жалобно селянин,

* Безтурботним відпочинком.

что Кармелюк почувствовал необычайную жалость к этому несчастному, оборванному мужичонку, но на Лейзара жалобный вопль мужика произвел совсем обратное впечатление.

— Что делать? — отвечал он с наглым смехом.— А поднеси всем по склянке воды. Вода — здоровый напиток. Ой вей! Куда здоровее горилки.

— А дозволь тебя, человече добрый, спросить, коли можно, зачем это тебе так нужно целое ведро горилки, что не стыдишься даже запобигать ласки у поганого парха? — вмешался в разговор Кармелюк.

— Ой паночку милостивый! — повернулся к нему мужик и заговорил, отирая полой красные глаза: — Дал господь ночью сына. Пятеро детей было у меня, и все померли... а вот послал бог радость. Обегал я все село, и никто не хочет за кума идти, а почему не хотят? Потому что бедный харпак, потому что не надеятся, что и горилки ведро поставлю... Ой боженьку, доведется дытыне моей без креста на тот свет идти...— Мужик уткнулся лицом в рукав своей свитки и беспомощно заплакал.

— Ну, не журись, друже,— произнес ласково Кармелюк,— надо помочь земляку в такой пригоде. Эй, ты, гаменово ухо! — крикнул он грозно еврею.— Довольно тебе потешаться над христианином, получай деньги,— выбросил он на стол червонец,— да тащи ему ведро горилки, да не разбавленной, а самой лучшей! А ты, брате, присядь сюда — выпей чарку! Верно, здорово промерз!

Грозный окрик Кармелюка произвел неожиданное действие на шинкаря: жид побелел как полотно и в одно мгновение вылетел из хаты, а мужичок подсел к Кармелюку.

— Ты же из чьих будешь? — спросил Кармелюк, наливая своему гостю стакан водки.

Мужичок назвал фамилию пана, отчасти знакомую понаслышке Кармелюку, и название села.

— А почему же ты в такое убожество пришел?

— Ой паночку, еще и спрашиваешь,— воскликнул горестно мужик,— видишь, какой я,— развел он руками, указывая на свою тощую фигурку,— какой я работник, а пан донимает... пять дней в неделю панщины... один день на себя, а тут еще жена полюбилась дозорцу... не пошла она на грех, и начал он нам мстить... Все отобрал: и коровку, и коней... а она, бедная, еще и хворать на-

чала... Дети пошли... да все больные... умирали... Навалил он на меня двойную работу... ну, и пошло все за ветром... посмешищем на все село стал... даже хаты поправить не могу... Эх, от такого житья можно и на грех пойти! — вырвался у него полный искреннего горя возглас.

— Не журись, друже,— произнес Кармелюк, опуская свою руку на плечо оборванца,— настанет весна, прилетят вольные птицы — кто их песню поймет, тот и волю найдет...

Крестьянин закрыл лицо руками и произнес горько:

— Эх-эх, пока солнце взойдет, роса глаза выест. Беда ведь не за горами, а за плечами. Подумайте, как я живу: даже кумом никто не хочет идти. Всю ночь жена промаялась, что уж там баба ни делала,— думали, неживое дитя родится, а оно живое родилось, только хилое-хилое... вот-вот богу дух отдаст — и никто не хочет и креста дать...

Кармелюка поразили слова мужика. А что, может, и в самом деле это рождавшаяся душа младенца не дала ему ночью погибнуть и на дорогу вывела для того, чтобы он ее в крест ввел?

— А где же ты живешь? — спросил Кармелюк нерешительно.

— Да тут за селом, на отшибе...

— Гм... а далеко ли?

— Да с версты две, не больше.

— Совсем близко, духом перехопытысь,— подхватил и шинкарь, вошедший при последних словах в шинок с небольшим барыльцем в руках.

— Да будет ли еще панотец крестить сейчас так рано?

— Конечно, неловко прийти к нему с порожними руками! — вздохнул мужик.— Надо бы дать ему карбованца или хоть два злота...* Да я побижу,— заговорил он быстро,— упаду в ноги, может, смилосердствуется: дитя хилое...

— Нечего падать в ноги,— произнес решительно Кармелюк, подымаясь с места,— найдется у нас карбованец. Я буду у тебя кумом.

— Паночку! Батечку мой! — вскрикнул с неподдельной радостью крестьянин и, схватив полу Кармелюковой

---

* Злотий, злот — 15 коп.

кожушанки, покрыл ее поцелуями.— На свет народил! От видимой смерти спас.

— Целуй руки, кланяйся в ноги милостивому пану,— заговорил радостно и шинкарь.— О вей, такому харпаку — такое счастье... Это тебе бог послал на долю твоему сыну!

— Довольно! — остановил Кармелюк крестьянина.— Едем, да только скорее, а то мне некогда, спешу.

— В минуту! — засуетился радостно мужичок, а шинкарь бросился перед ним в двери выводить поскорее лошадь Кармелюка.

— Пожалуйте, паночку, садитесь, не мынайте и другой раз корчмы моей,— зачастил он, помогая Кармелюку усесться, и запахивая ему ноги, и оправляя рядно; мужичок поместился рядом, а бочонок положил в ноги.

— Ну, готово? — спросил Кармелюк, принимая из рук шинкаря вожжи.

— Готово, готово! — отозвались поспешно шинкарь и мужик.

— Ну, рушай! — крикнул на коня Кармелюк.

— С богом, с богом! — повторил трижды шинкарь, радостно потирая руки. Лошадь рванула, и сани скользнули по сверкающей снежной равнине.

Минут через десять крестьянин подвез Кармелюка к большой хате, одиноко стоявшей за селом.

— Здесь? — спросил с удивлением Кармелюк.

Хата вовсе не походила на жилое помещение: вокруг нее не видно было ни плетня, ни огорода, ни каких-либо строений, да и стояла она в поле, версты за полторы от села.

— Здесь,— ответил мужичок, вылезая из саней, и, заметив изумление кума, поспешно пояснил: — до сих пор не могу собраться поправить свою хатку, так дозорца, дай ему боже здоровья, смиловался — позволил поселиться пока что в экономической.

— А...— протянул Кармелюк, вспомнив слова мужика,— ну, лошадь уж поставь куда-нибудь, да задай корму.

— Сейчас, сейчас... все сделаю, пожалуйте, пане милостивый.

Мужичок распахнул входные двери и, снявши шапку, поклонился низко Кармелюку.

Кармелюк вошел вслед за ним в сени, а затем и в

большую, совершенно пустую хату; в ней не было ни малейшего признака того, чтобы здесь жили когда-нибудь люди. Ни одного горшка, ни миски, ни тряпки на лаве, не было даже икон. Большая печь была холодна как лед; не только огня, но даже и золы не было видно в ней.

Кармелюк оглянулся с удивлением кругом и произнес с легким свистом:

— Гай-гай, человече божий, да как же ты живешь, что у тебя ни горшка, ни покрышки... Да где же жена?

— В той хате, через сени... Мы тут и не живем, а там,— пояснил поспешно мужичок,—да вот сейчас узнаю, как жинка, поделюсь с ней радостью... Может, и пан не откажется зайти.

Мужичок вышел в сени, затворив за собой плотно двери, и через минуту возвратился назад.

— Заснула, паночку, — произнес он тихо,— только что утихомирилась... жалко будить...

— Да и незачем, — остановил его Кармелюк.— А где же ребенок?

— Баба понесла к попу нарекать.

— Как бы она еще в церковь не потянулась,— заметил с досадой Кармелюк,— ты, брате, поспешай, мне ведь мешкать нельзя.

— В ту ж хвылю, вот только затоплю, да сбегаю за кумой, да к батюшке.

— Да попроси панотца, чтобы пожаловал сюда,— я денег не пожалею.

— Зараз, зараз!

Мужичок засуетился, притащил оберемок соломы, затопил печь и побежал за кумой.

Кармелюк опустился на лавку. Его начинала разбирать какая-то непонятная тупая досада. И зачем он согласился ехать на крестины? Не проще ли было дать мужику червонец! С червонцем он нашел бы себе и пять пар кумов. А теперь пойдет канитель! Баба, пожалуй, отправится с ребенком в церковь, поп не захочет до одправы крестить, а одправа длинная, да еще крестный ход, да еще захочет и панотец разговеться, отдохнуть. А потом набьется гостей: время праздничное... а паны в Головчинцах могут пронюхать.

— Эх, дернула меня нелегкая! — прошептал с досадой Кармелюк и, опершись локтем на стол, опустил голову на руку.— А на сердце уж так погано, точно сто

кошек скребутся там, не до людей совсем! Да и в голове что-то шумит! — Фу ты! — вздохнул он громко. — Совсем погано... и нудно как-то. Немного, кажется, и выпил: стакан водки и ковш пива, и так разобрало!

Кармелюк провел рукой по лбу и оглянулся кругом; голова его сильно болела, перед глазами начали плавать зеленые круги, все тело как-то отяжелело.

«Хорошо бы соснуть»,— подумал он, потягиваясь... и вдруг перед глазами его словно сверкнули огненные глаза молодицы и ее белые блестящие зубы...

XXXI

— Что ж это, так и в самом деле засну,— произнес Кармелюк вслух и встряхнул головой.— Ага, вот и кума,— в сенях послышались шаги,— ну, окрещу да скорее в путь.

Двери действительно отворились, и в хату вошел мужичок в сопровождении хорошенькой востроносенькой молодички, тоненькой и вертлявой.

— Вот, пане, и кума, не прогневайтесь, лучшей не нашел,— произнес он, снова кланяясь Кармелюку.

— Да лучшей не надо, где ты и нашел такую кралю? — отвечал любезно Кармелюк, подымаясь с места и кланяясь молодичке.

— Пан ласковый смеется надо мной, бедной,— потупила кокетливо глазки молодичка.

— Пусть надо мной так посмеется доля, коли брешу!

— Знаем, знаем вашего брата! — усмехнулась лукаво молоденькая кума.— А вот что с таким кумом не грех будет и чарочку выпить, так то правда.

— А тут как раз и горилка, и закуска есть! — вскрикнул весело оживившийся мужичок.— Я сейчас и принесу.

— Не годится до креста,— остановил было его Кармелюк.

Но мужичок только махнул рукой и заявил авторитетно:

— Для знакомства с кумой и по закону полагается,— и выбежал из хаты. Он возвратился с фляжкой водки и поставил ее на стол, кивнувши куме: — А ну, кумцю-голубцю, помогите закуску внести!

Через минуту на столе появились и миски с пирогами,

и колбасы, и сало, и буженина, и соленые огурцы, и бутылочка запеканки, и пшеничные паляннчки. Все это вносили и расставляли на столе мужичок и вертлявая бабенка.

— Ого-го, куме! — изумился Кармелюк.— Да у тебя и запасов припасено на целую роту солдат.

— Кума, спасибо, принесла,— закивал головой мужичок.— Сказано, как бог кинет на человека оком, так счастье ему во все окна повалит.

— Что правда, то правда! — подхватила молодичка.— Вот на рассвете забегал ты ко мне, плакался, что не хочет кумом идти, а теперь вот и Охрим, и Степан набиваются во вторую да в третью пару. Счастливый твой сынок будет, Иване!

— Фу ты господи, вот уж и не ждал, не гадал! — вскрикнул радостно Иван.— За такую новость и не грех по чарке выпить. Наливай же, кума!

— Атож, сейчас! — молодичка налила полный шкалик водки и, поставив его на тарелку, поднесла с кокетливым поклоном Кармелюку.

— Не годится, кума... ужо после креста! — попробовал было отказаться Кармелюк, но кума только махнула рукой.

— До креста только и кумиться, пане,— подморгнула она бровью,— а дорожному человеку... с дороги... это как лекарство. Ей-богу! Выпей же из моих рук, куме! — прибавила она и снова поклонилась и потупила глаза.

— Разве что из твоих рук,— согласился нехотя Кармелюк.— Да и ручки ж у вас, кума, словно у паненки: белые да пухлые, как пшеничные палянички.

При этих словах Кармелюка молодица густо покраснела и чуть было не уронила тарелку.

— Ну и кум! — произнесла она с натянутою улыбкой.— Бедовый, застыдил меня так, чуть было и посудины не разбила. Муж жалеет, к черной работе не допускает, вот и руки белые,— пояснила она.

— Значит — стоит. Когда бы и мне такая, то я бы, как в песне поется,— подморгнул бровью Кармелюк,— «целовав бы, мылував, ще й до печи куховарочку наняв!»

— Ну да и жартлывый кум, с вами и кумовать страшно,— рассмеялась молодичка, повела плечом и, повернувшись к мужичку, дала и ему чарку.

Кармелюк опустился на лавку и снова взялся за голову... Голова разбаливалась, и, несмотря на все его усилия, мысли как-то странно путались, словно что-то мутное плыло в голове.

— Слухай, кум,— произнес он вслух,— а внеси-ка кухоль воды, что-то не по себе... Голова кружится.

— Да это баба начадила здесь: всю ночь окроп грела. Я открою двери — мигом пройдет.— Новый кум Кармелюка приотворил дверь, и в хату ворвалась струя свежего воздуха.

— Ага, должно быть так, угорел...— согласился и Кармелюк, обрадованный таким натуральным объяснением своего странного недомогания.

— А вы, паночку, разденьтесь, сбросьте кожушанку, оно сейчас и отойдет! — засуетилась подле Кармелюка веселая молодичка.

— Верно, верно,— поддержал и кум,— при чаде — первое дело свобода, а мы тут положим все панские вещи.

— Пожалуй,— согласился Кармелюк. Он действительно начал чувствовать духоту. Кожушанка словно давила его, и кровь стучала в виски.

Кум и кума бросились помогать дорогому гостю. Кармелюк снял кожушанку и валенки и хотел было остаться в чумарке, но молодица запротестовала.

— А пояс, паночку? — защебетала она.— Ой-ой, да тут еще и пистоли, а в них по полпуда весу, ей-богу! Да и страшные какие! Сбросьте вы все, паночку, да и распахните чумарку... Так оно лучше будет, и от головы отляжет.

Поддаваясь ее щебетанью и желанью облегчить тяжесть и головную боль, Кармелюк сбросил пояс и пистолеты и распахнул чумарку. Молодица уложила подле него аккуратно все вещи. И действительно, он почувствовал себя будто бы несколько легче; но, вздохнув раза три глубоко, он все-таки напомнил новому куму:

— А ты, брате, бежи же скорей к попу, я ведь тороплюсь.

— Сейчас, сейчас! — спохватился мужичок и, захватив шапку, бросился из хаты.

Кума между тем подсела к Кармелюку и рассыпалась перед ним в любезностях. Она угощала его то тем, то другим, пересыпала свою речь шуточками и прибаутка-

ми, не жалела и подмаргиваний и, несмотря на отнекивания Кармелюка, заставила-таки его выпить еще один шкалик.

-- Да с вами, кума, и сидеть страшно,— усмехнулся Кармелюк и сильно покачнулся в сторону.— Так угостите, что и дитя уроним.

— Ничего, люди добрые помогут! Такой праздник господь раз на год дает, а такого кума — может, раз на всю жизнь! — Она лукаво повела бровью, рассмеялась мелким смешком и закрылась шитым рукавом сорочки.

Кармелюк уже не возражал,— он позволил налить себе еще один шкалик. Голова его заметно тяжелела, а на душе яснело... И горе, и тоска отодвигались куда-то далеко... И хотя ноги его стали тяжелые, свинцовые, но в душе появилась какая-то легкость и беспричинная веселость. Он уже не думал о том, что надо торопиться; ему приятно было сидеть здесь в тепле, не двигаться и не думать ни о чем.

Прошло очень немного времени, или Кармелюку показалось это так, благодаря веселой собеседнице, как дверь снова отворилась, и в хату опять вошел мужичок в сопровождении двух рослых крестьян.

— А вот, пане куме, еще кумовья! — обратился он весело к Кармелюку.— Как узнали, что такого важного кума мне бог послал, так полсела захотело породниться!

— Будьте здоровы, люди добрые! — приветствовал вошедших Кармелюк.

— С святым праздником, паночку,— отвечали вошедшие, низко кланяясь и сбрасывая шапки и свитки.

— А вы чего же, кумцю-голубцю, уже и приматкобожились? — подморгнул мужичок молодичке. Вообще он держал себя теперь гораздо развязнее и вовсе не имел уже такого жалкого, забитого вида, как в шинке.— Так и прилипли к нашему благодетелю! Частуйте же и других кумов... Перед богом все равны.

— Перед богом, а не перед сердцем,— усмехнулся один из пришедших — гигант с огромными черными усами, весьма походивший на панского доезжачего.

— Выдумывайте!—передернула плечами молодица.— Для меня все кумы равны... Вот сейчас и почастую всех, и пригублю.

— А может, и приголублю? — усмехнулся Кармелюк.

— Отчего же и нет? Если добрый кум, то и не грех!— отозвалась вертлявая молодица.— Кум все равно что родич!

Она встала, налила два стаканчика и поднесла их новым кумам.

— Эге, так не годится! — возразил усач. — Наливай же и старшему куму: первую чарку надо с первым кумом выпить.

Кума бросилась охотно исполнять предписание усача, но Кармелюк запротестовал:

— Спасибо за честь, люди добрые, только я уже годи, начастувался с молодичкой... Пожалуй, не попаду и в двери!

— Кума подведет,— усмехнулся хозяин.

— Не погордуйте, паночку,— заметил несколько сурово усач.

— Не погордуйте! — поддерживал его и товарищ.

— Да что там одна рюмка сделает? Все равно, что лишний сноп на воз. Добрый жернов все перемелет! — зачастила молодичка.

— Так закон велит,— добавил решительно и хозяин.

Новые кумовья стали перед Кармелюком с чарками, ожидая решения. Было неловко отказываться дальше. Кармелюк выпил и с одним кумом, и с другим и грузно опустился на лавку.

Хмель начал его разбирать. Он еще помнил, что с ним случилось будто бы что-то тяжелое, страшное... горестное, но что это было такое, Кармелюк не мог уже себе уяснить. Ему казалось, что в прошлом не осталось ничего — ни веселого, ни печального, так, какая-то приятная пустота; однако же сознание еще не оставляло его, и он смутно понимал, что начинает хмелеть, что надо торопиться ехать, пока хмель не свалил совершенно с ног.

— Хозяин, кум,— спохватился он,— а что же панотец? Когда?

— Ой паночку, не застал уже... В церкви панотец, я в алтарь вскочил, просил, чтоб согласились сейчас. Обещали... Да уже скоро и конец службы. Вон господь еще гостей посылает.

Двери действительно снова отворились, и в хату вошли трое рослых мужиков. Начались приветствия, расспросы. Кармелюка окружили стеной.

Снова заходили чарки, снова начались прибаутки,

упрашивания выпить. Но Кармелюк наотрез отказался от водки.

— Так наливочки, пане куме... Ведь это что квасок... Я с собой принесла. Наливочка хорошая, какой не найдете и в панском дворе.— Молодичка бросилась в сени и вернулась с бутылкой вишневки.— Откушайте ж, паночку, не побрезгуйте... Сама приготовляла... Такая сладкая, что губы слипаются...

— Ничего с вами не поделаешь,— согласился нехотя Кармелюк и опрокинул еще стакан наливки.

Гости разместились вокруг стола. Голова Кармелюка сильно отяжелела, ему даже стоило большого труда удерживать ее ровно на плечах. Он здорово покачнулся, провел рукой по голове и оглянулся.

«Что это? Или у него стало двоиться в глазах, или уже набилась полная хата кумовьев?» Кармелюк встрепенулся, сделал над собой неимоверное усилие, протер глаза и снова оглянулся кругом,— нет, действительно, в хате уже сидело на лавках душ десять-двенадцать мужчин, здоровых, рослых, как на подбор.

«Ге, ге... Да так, пожалуй, соберется и полсела... Надо ехать. Неровен час...» — промелькнула в голове Кармелюка слабая мысль, но тут же ее заглушили какие-то совершенно посторонние картины: жид-шинкарь, подобострастно прыгавший вокруг его саней, и залитая алым сиянием зари красавица молодица...

А гости соревновались в любезностях и радушии. Беседа кипела. Шутки, остроты так и сыпались по сторонам. Вертлявая кума не отставала от других и то присаживалась к Кармелюку и подливала ему в стакан наливки, то водружала на стол новые бутылки, то вытаскивала в сени; на столе появились уже и запеканки, и спотыкачи. Между тем незаметно для всех дверь еще раз отворилась и впустила трех новых посетителей. Войдя, они остановились подле печки и заперли за собою двери.

Один из них был здоровый мужичина среднего роста, широкий в плечах и, судя по сложению, весьма сильный. На нем был обыкновенный крестьянский костюм, но костюм этот не вполне гармонировал с холеными руками и резкими чертами лица, имевшими в себе бесспорно что-то шляхетское. И действительно, спутники его обращались с ним с особенной почтительностью.

Вошедший сделал хозяину незаметный знак и, отведя

его в сторону, заговорил с ним неслышным шепотом... Хозяин ответил таким же шепотом и сделал знак, как бы говоривший: «Не беспокойтесь, — все благополучно». Гость одобрительно кивнул головой и вмешался незаметно в толпу, окружавшую стол, за которым восседал Кармелюк.

Улучив минутку, когда веселая кума встала из-за стола, хозяин дернул ее за рукав, шепнул ей на ухо несколько слов и значительно переморгнулся. Она кивнула утвердительно, тотчас же подсела к Кармелюку и, подсаживаясь, слегка отодвинула его вещи, сложенные здесь на лаве.

Беседа закипела еще живее.

— Ну, кумци-голубци! — вскрикнула кума. — Наливайте чарки, еще по одной, вон уже баба с хрещеныком вернулась! Еще по одной! На дорогу! На здоровье крестника. Пускай сильный растет да панов топчет под ноги!

— Ишь, что загнула,— заговорили разом гости,—козырь-баба, да за такое дело нельзя и не выпить!

Все налили стаканы и начали чокаться.

Молодица налила и стакан Кармелюка, но Кармелюк отодвинул его.

— А вы что ж, куме? Ведь это не горилка, а наливка; вам же понравилась,— произнесла она, поднося стакан Кармелюку.

Но Кармелюк отстранил ее руку и ответил мрачно:

— Нет, кума, довольно... Голова разболелась не в шутку, разломало всего... Не удержусь и на ногах.

— Мы поддержим! На людях, говорят, и смерть не страшна. От компании отставать не след... Не дело! — заговорили разом кумовья и гости.

— А вы, кумо, поцелуйте пана, так разом и хмель пройдет! — продолжал усач.

Предложение его было встречено громкими шутками.

— А что ж вы думаете, не поцелую? — вскрикнула задорно молодичка, придвигаясь к Кармелюку.

— А муж что скажет? — заговорили одни.

— Да он и не узнает, да и честь ему будет! — подхватили другие.

— А что мне муж? На него и смотреть не стану. Хочу поцеловать — и поцелую!

— И дело! Целуйте, кумо! Мы закроем! — крикнули третьи.

И действительно, сорвавшись с мест, гости окружили Кармелюка плотною стеной. Молодица охватила его шею руками и крепко прижалась к его глазам губами.

Этой минуты было достаточно.

Хозяин схватил осторожно вещи Кармелюка, отодвинутые молодицей, и спрятал их под печь.

Когда вошедший последним мужик с панским лицом убедился, что оружие Кармелюка спрятано в надежное место, он выступил вперед и заявил громко:

— Нет, пане-товарище, со мной ты должен выпить хоть чарку, уж сделай милость: не откажись!

При звуке этого голоса все присутствующие сразу умолкли и раздвинулись, а молодичка, обнимавшая Кармелюка, мячиком отлетела от него и в одно мгновение вскарабкалась на печь. Как ни был пьян Кармелюк, но и его заставил вздрогнуть голос незнакомца, и в особенности его тон, настойчивый и властный, как будто кто-то сильно ударил его в затылок — и в голове его сразу стало яснее.

Кармелюк встряхнул волосами, встрепенулся, повел плечом и произнес надменно, всматриваясь в лицо незнакомца:

— А почему же это я должен выпить с тобой?

— Знакомы мы с паном, встречались не раз, свате! — ответил злобно незнакомец, отчеканивая каждое слово.

Смутная тревога зашевелилась в душе Кармелюка.

— Знакомы?—протянул Кармелюк и, желая подняться на ноги, сильным движением руки отодвинул стол; от этого резкого движенья посуда, стоявшая на столе, покатилась со звоном на пол; испуганные гости шарахнулись в сторону...

— Верю, как будто я видел где-то твою красную рожу.

При этих словах Кармелюка смуглое лицо незнакомца залилось багровым румянцем.

XXXII

— Ты угадал, подлый хлоп! — вскрикнул Янчевский, срывая с себя свитку и выступая вперед в шляхетской одежде.

Глаза Кармелюка налились кровью. Он схватился

рукой за лаву, где лежали его пистолеты,— оружия не было.

За Кармелюком была глухая стена, против него стоял Янчевский, по левую руку теснились «кумовья», а у дверей сбились густою толпой «гости».

В одно мгновенье хмель соскочил с него.

— Измена?! — зарычал Кармелюк и, как затравленный зверь, вскочил на ноги... Но тут же с ужасом почувствовал, что силы оставили его; он сильно покачнулся и, чтобы не упасть, схватился рукой за стену.

Бессилие врага доставило видимое удовольствие Демосфену.

— Да, ты узнал мое лицо, преступник,— продолжал он высокопарно, выступая на шаг вперед,— но клянусь! Узнаешь теперь и мою руку! Ты думал, что можешь безнаказанно проливать [кровь] христианскую? Жалкий хлоп! Подлое быдло!..

Но Кармелюк не дал ему окончить речи: хриплый крик вырвался из его груди, он ринулся на Демосфена и, впившись ему в шею руками, повалил его на землю.

Но Кармелюк не мог удержать равновесия и сам повалился на Демосфена.

Крик ужаса вырвался из груди присутствовавших. Опрокидывая друг друга, бросились «кумовья» к дверям, но здесь уже давили друг друга раньше столпившиеся «гости»: впопыхах все забыли, что двери были заперты изнутри.

— Пропали мы! Гайдамаки держат двери! — закричал не своим голосом подставной хозяин.

Крик его привел в полное безумие толпу: одни бросились к окнам, другие полезли на печь, третьи схватились за ножи.

Напрасно взывал к своим союзникам Демосфен, задыхаясь под тяжестью Кармелюка,— никто его не слышал и не приходил на помощь.

Между Кармелюком и Демосфеном завязалась отчаянная борьба.

Хотя Кармелюк по силе значительно превосходил Янчевского, однако и последний обладал железными мускулами и свирепою настойчивостью, теперь же, вследствие того что Кармелюк сильно ослабел, силы их почти равнялись. После нескольких минут отчаянной борьбы Янчевскому удалось подмять Кармелюка под себя. Он

навалился на него всей тяжестью и, пригнувши обеими руками Кармелюка к земле, закричал что есть мочи:

— Подлые хлопы! Низкие трусы! О каких гайдамаках кричите вы там? Это я сам запер двери. Збойца едва не задушил меня, а вы бросились все бежать, хамово отродье! Веревок сюда! Аркан ему на шею!

Ободренные криком своего господина, мнимые гости несколько успокоились и придвинулись к Демосфену; найдены были припасенные заранее веревки и кандалы.

Демосфен сидел на Кармелюке весь красный; волосы его были всклокочены, одежда изорвана и испачкана в глине; грудь его высоко вздымалась, дыханье вырывалось со свистом,— багровое лицо победителя сияло торжеством.

Лучшей обстановки для окончания орации нельзя было и вообразить, и Янчевский не мог упустить такого соблазнительного случая.

— Да,— заговорил он снова гордо,— ты узнал меня. Это я выследил тебя, подлое чудовище, чтобы лично предать в руки правосудия. Судьба твоя уже лежит на чашах страшных весов. И вот извиваешься ты подо мною, как жалкий червь во прахе! Одно движение моей руки— и дьявольская душа твоя полетит в преисподнюю. Но знай, презренный хлоп, что я не хочу пачкать своей шляхетской руки твоею черной кровью. Смерть была бы теперь для тебя милосердием, но его ты не дождешься. Прежде чем умереть, ты испытаешь все мучения, какие только может изобресть палач!

Кармелюк хрипел, и синел, и делал неимоверные усилия, чтобы освободить свои руки.

А Демосфен продолжал все дальше, и чем больше говорил он, тем более увлекался своей речью.

— Все вопли загубленных тобою жертв не заглушат тех криков, которые будешь издавать ты под ударом плетей! Божественное правосудие! — вскрикнул высокопарно Демосфен и по привычке поднял к потолку обе руки,— но в то же мгновенье полетел кувырком на пол.

В одно мгновенье Кармелюк воспользовался освобожденными руками и, швырнув врага в сторону, сам навалился на него и начал душить.

Демосфен посинел.

— Вяжите его! Аркан на шею! Наваливайтесь все!!— прохрипел он, задыхаясь в железных тисках геркулеса.

Но гости уже пришли в себя: все бросились на Кармелюка и, несмотря на страшное сопротивленье, его заарканили и связали по рукам и по ногам.

С трудом поднялся Янчевский на ноги и взглянул с торжеством на связанного разбойника. Но и связанный он был еще страшен.

Налитые кровью глаза его горели бешенством, из ходившей ходуном груди вырывался хриплый, прерывистый свист, на губах выступила пена.

— Ну что, пес? — произнес Демосфен, тяжело переводя дыхание.— Может, еще и теперь бросишься на меня, или подождешь уж раньше ката (палача)?

Кармелюк взглянул на Янчевй Демосфен злобным взглядом, от которого и неукротимый Демосфен побелел и попятился назад.

— Поймал, как подлый лях, обманом! — прохрипел с трудом Кармелюк.— Заманил, напоил... вывел двенадцать на одного. Но не радуйся! Увидимся мы еще с тобою, и тогда докончу я по-своему твою орацию.

Связанный, закованный по рукам и ногам, забитый даже в колодки, Кармелюк был отправлен немедленно в Каменец, минуя уездные городки — и Литин, и Летичев; сам Демосфен с сильным отрядом провожал телегу с преступником до губернского города и сдал его с рук на руки властям.

Кармелюк был посажен в отдельную каменную башню уцелевшей еще и поныне турецкой крепости [53] и прикован, из предосторожности, тремя цепями к стене; колодки с ног его также не были сняты.

Подвиг Янчевского был достойно оценен властями, и ему поручили пост председателя следственной комиссии по делу о разбоях Кармелюка и его шайки.

Соседние паны наперерыв стали посещать знаменитого победителя Кармелюка и приглашали его к себе на банкеты, на пиры, на охоты...

Демосфен охотно являлся всюду, окруженный ореолом неувядаемой славы победителя страшного разбойника, и широко повествовал о своем подвиге, возраставшем с каждою новою орацией до сказочных, мифических пределов... Одним словом, слава о силе, дерзости и находчивости нового Наполеона шумела и разливалась широкою рекой от Литина до Ямполя и до Черного острова.

Ободренное панство не пожалело средств на сформи-

рование отрядов и команд, отданных в распоряжение презуса для изловления остальных ватажков банд, всех гайдамаков, а также и сопричастных к бунту крестьян. Администрация, с своей стороны, усилила эти команды еще эскадроном улан.

Янчевский с бешеным рвением отдался весь охоте на людей, и вскоре все тюрьмы Литина и Летичева были переполнены захваченными крестьянами, фигурировавшими то в роли якобы гайдамаков, то в роли потатчиков, подстрекателей, укрывателей и т. д.

Розыск велся, конечно, с пристрастием, на которое ни лоз, ни плетей комиссия не жалела и отправляла признанные виновными жертвы в Каменец, имущество их, как награбленное, конфисковывалось и как-то терялось при переписке.

Между тем товарищи и друзья Кармелюка долгое время, несмотря на грозные слухи, не верили его аресту и долго еще разыскивали своего отамана по трущобам, среди болот... Только после тщетных розысков бросились они, переодетые, в Летичев и Литин, где видели уже несколько Кармелюков. Но пока Дмитрий и Андрей разыскивали, рискуя собственною шкурой, настоящего своего батька, последний сидел в каменецкой башне и давал показания каменец-подольскому суду.

На допросах он держал себя гордо, с достоинством и во всех взводимых на него преступлениях сознавался, именно — в составлении шаек, в предводительстве ими, в совершенных грабежах. Одни только убийства отрицал Кармелюк, да их и обнаружено не было, за исключением Доротеи. Но следствие об этом убийстве было замято и не дало никаких результатов.

Установлено было лишь то, что главный виновник — муляр, исчезнувший и не пойманный,— был не Кармелюк, а другое лицо, сам же Кармелюк остался в подозрении, так как не нашлось ни одного свидетеля, который уличил бы его в этом злодеянии.

Кармелюк между тем утверждал, что все свои подвиги совершал не корысти ради.

Каменецкий суд торопился окончить следствие о Кармелюке, опасаясь его побега и желая выслать скорее из края опасного гайдамака, тем более, что его как дезертира требовал и командир полка, находившегося в Могилеве, для совершения над ним полевого суда и испол-

нения приговора, по совокупности преступлений, в присутствии полка.

Кармелюк к осени был отправлен в Могилев, где полевым судом и приговорен был за совершение гражданских преступлений и за побег к семистам ударам сквозь строй и высылке, буде выдержит наказание, на каторгу.

После отправки Кармелюка в Могилев все помещики вздохнули свободно, а деятельность комиссии Янчевского окончательно успокоила панов и водворила вновь крепостные порядки. Много крестьян уже отправлено было в Сибирь, но тюрьмы все еще были переполнены.

Одни только Дмитро да Андрей избежали горькой участи многих своих товарищей и, несмотря на рискованные розыски своего батька атамана, не попадались все в железные руки Янчевского. Погибель Кармелюка обескуражила их, а Андрея довела даже до тупого отчаяния; они вынуждены были отказаться от дальнейших розысков батька и вернуться беспомощными в родные места.

Здесь встретила их Ульяна-шинкарка; она, почуяв нюхом, что они — важные птицы, выказала им свое сочувствие и вдохнула новую энергию, дав приют в своем застрявшем среди трущобы шинке.

Лесные гости поддались мало-помалу полному влиянию этой красивой, удалой и отважной женщины; она направляла и руководила их воровской деятельностью, передерживала и сбывала краденное, обещая устроить и более широкое дело, как только совершенно поуспокоятся паны и ослабнет надзор властей.

Так они и жили под охраной корчмы; занимались мелкими кражами, не брезгуя иногда и крестьянским скотом и питая в своих сердцах слепую надежду на более широкую деятельность в будущем.

Теперь же грандиозные нападения и грабежи везде были прекращены, а мелкие воровства хотя и вспыхивали то там, то сям, и якобы под предводительством Кармелюка, но не возбуждали уже переполоха, и над мнимыми Кармелюками вельможное панство смеялось.

Маршалок принадлежал тоже к комиссии, часто отправлялся то в Летичев, то в Каменец и приглашал всегда к себе на это время Демосфена, сделавшегося со времени погрома еще более близким другом семейства. Хойнацкий опять стал отважным и смелым, даже решился ездить не только на полеванье, но и по соседям без

команды; последние собирались его женить, но Хойнацкий уклонялся от уз Гименея, довольствуясь Фросей или же страшась ее ревности.

Пигловский выписал к себе старшего сына и стал вместе с ним хозяйничать и вводить заграничные усовершенствования и порядки, противоречившие патриархальным способам хлебопашества и смущавшие самые нравы соседей.

Так прошло два года, и взбудораженная гайдамаками панская привольная жизнь стала улегаться и входить в свои обычные берега.

Был теплый весенний вечер. Сумерки уже ползли со всех сторон и скучивались мраком у пней столетних дубов и ясеней, окружавших тесною толпою укромную корчму. Но, несмотря на сгущавшийся сумрак, в корчме еще не светился огонь, хотя сквозь полуотворенную дверь доносился оттуда сдержанный гомон нескольких голосов. В корчме находились действительно наши старые знакомые — солдат Дмитро Гнида и Андрей.

Солдат за это время оброс сплошною всклокоченною бородой, поглотившей совсем следы бакенбардов; на вид он постарел, и хотя браво еще держался, но прежней самоуверенности уже не было. Андрей же словно еще более возмужал, развился в своих атлетических формах, но вид имел угрюмый, и в его глазах таилась тоска.

Товарищи попивали за отдельным столом водку и закусывали ее усердно накрошенною в миску свининой и жареным в сале картофелем.

Красавица Ульяна то вбегала, то выбегала из хаты. У прилавка стояли два крестьянина, свесив головы, и с покорностью ожидали, пока угомонится хозяйка; один из них — низенький, белобрысый, прибитый нуждой — не поднимал глаз, а безнадежно глядел на свои босые, покрытые комьями засохшей грязи ноги, а другой,— более стройный, чернявый,— прищурив глаза, осматривал пытливо всю корчму и часто останавливал их на вечерявших, покачивая подозрительно головою.

Был еще в корчме Ульяниной и пятый гость; но он полулежал на лавке с блаженным выражением глаз, дымил своей люлькою и часто сплевывал; видимо, он мечтал лишь о том, как бы поскорее уснуть.

— Что ж, хозяйка,— заговорил снова более бодрый и хитрый крестьянин, когда Ульяна уселась за стойкой,— дождемся ли мы от вас ласки?

— Давай гроши, так и ласку отпущу тебе, а набор (в кредит) — нет! — улыбнулась она холодною, отчасти надменною улыбкой.

— Да где же взять тебе сейчас гроши, коли у нас до рубца оборвано; вон у него коня свели, а у меня — пару волов. Мы целехонький день вылазили по всем ярам и трущобам, и вылазили марно (напрасно); ног под собою не слышим, животы подвело, а ты ни чарки горилки, ни куска сала не отпущаешь?

— Ба, не отпускаю! — возразила хозяйка.— Вон тот, на лаве, кажется, из вашего же села, так уже и носом клюет,— так наотпускала...

— Верно! — промычал куривший.

— Да какое нам дело до того? — настаивал брюнет.— Ты нас уконтентуй (удовлетвори)... Говорят тебе: голодны как псы, а отдадим после, не бойся... У тебя же христианская душа, а не жидовская, понять ты можешь?..

— У нее бабья душа,— вставил лежащий.

Блондин только безнадежно вздыхал и переминался с ноги на ногу.

— Так-то оно так, — упорствовала Ульяна, щелкая семечки,— да ведь и мне добро с неба не падает... Тоже потеть нужно не раз... А с вашего брата часто взятки гладки... Прийдет который, плачется — ограбили, обокрали, смилуйся, мол... Жалобника-то, может, никто и не ограбил, а он просто для шахрайства (плутовства) сказку пустил — и квита!

— Да бога ты бойся... Каменная!

— Да что ты бога? Бога позывать мне не прийдется... А что каменная я, то ты брешешь: даром-то трудиться для всякого не стоит, а пришли карбованца, другого, третьего — так и погадаю, и разыщу, да и хворым еще помогаю... всякую напасть на людях и на скотине зашептываю, а ты... каменная!

— Она не каменная! — вступился захмелевший селянин.— Камень холодный и твердый... а она — мягкая и горячая!.. У!

— А ты, коли напился, как свинья, так лежи смирно! — подняла голос хозяйка.— Лежи да помалкивай, а

то я тебя так огрею, что целый год будешь вспоминать мою ласку...

— Овва! — отрезал было на ее угрозу лежавший, но Ульяна крикнула: «Ну!» — и он сразу замолк.

— Уважь их, хозяюшка,— вступился наконец и солдат за крестьян,— ведь голод не тетка, а за убыток я в ответе.

— Неужто своего не послушаешь?.. Здесь рука руку... Круть-верть — в черепке смерть! — вмешался вновь пьяный.

— Не мели и́ не тесни хаты! — направилась было с воинственным намерением хозяйка к лаве, но остановилась и бросила солдату: — Ишь, нашелся тоже ответчик,— огрызнулась Ульяна, но уже в голосе ее прозвучало больше мягкости.— Тоже на чужой счет щедр!

— Да пауку лишняя муха сеть рвет,— бросил Дмитро вскользь, отламывая большой кусок паляницы.

— А хата — покрышка,— добавил Андрей.

— Ну, уж так и быть,— встала Ульяна,— накормлю вас, знайте мою доброту, а уж там — как совесть ваша: вспомните вдову — спасибо, а забудете — бог вам судья.

— Ей-богу, вспомним,— вздохнул блондин.

— Как не вспомнить! — тряхнул чуприной брюнет.— Вот только разгорюем где карбованца — так и за советом к тебе.

— Отлично, любый мой, не пожалеешь! — И она быстро выскочила в сени.

— Черт — не баба! — сплюнул пьяный и стал снова набивать люльку.

Дверь распахнулась, и хозяйка быстро вошла, положила на другой стол паляницу, кусок сала и поставила бутылку водки.

Голодные уселись и принялись с жадностью за предложенную им трапезу.

— Слепая хата,— продолжал солдат,— хоть бы глазок поставила.

— Ночью в лесу лучше зажмуривать глаза,— ответила хозяйка.

— Да мы заткнем буркала, а то и кусок не в рот, а в нос тычешь,— возразил солдат и, поднявшись с места, стал на окна спускать подкрученные соломенные матки (род грубых соломенных штор).

Хозяйка оглянулась, прислушалась, вздула у печки

огонек и зажгла каганец. Слабый свет заструился от него и красноватыми пятнами лег на потолке и на обнаженных, до тесу задымленных стенах.

От стойки, столов, от печи и сволока расползлись в разные стороны черные дрожащие тени и наполнили неприглядную пустку мрачным трепетом.

Всем стало еще более жутко.

— Ну, времена! — заговорил после третьей чарки брюнет.— Ложись и подыхай чисто... То было надеялись на нашего батька Кармелюка, что приструнит панов, укоротит им руки... И правда, немного живились то тем, то сим... да и от пана атамана перепадало, а теперь, как его, сердечного, забрали, так от панов еще горшее издевательство пошло, да и от лесной воли обида... Значит, с двух сторон шкуру дерут, хоть ложись да подыхай!

— Ох, правда! — вздохнул Андрей и потупился.

— То было при батьке к нашему брату жалость была, а теперь свой своего грабит,— донимал кого-то брюнет.

— Заступника нет! — вздохнул белобрысый.

— Торопитесь, торопитесь, голуби! — засуетилась хозяйка, желая прервать неприятные разглагольствования гостя.— Я ведь запираюсь наглухо и ночью никого не впускаю в хату.

— Коли не хочу,— засмеялся пьяный.— А насчет батька, так это брехня,— продолжал он, пробуя встать на ноги.— Никто его не взял и не возьмет... верно! Потому — трах — и все, как груши, посыплятся. Тресь — и нет кандалов!

— Да, да! — спохватилась хозяйка.— Он тут, я сама слыхала... да и штуку встругнет иногда никто, как он!

— Ого-го!.. Еще какую штуку! — поднялся наконец на ноги лежавший, ухватившись рукой за стенку. — Дается нарочито в руки, закуют его: кандалы, цепи, колодки... а он смеется. Глядь, а они заковали бревно, а его и пальцем не тронули, чтоб я не понюхал даже горилки, коли не правда... А то вот сядет на полу в тюрьме... И лишь бы кусок крейды (мела) — напишет лодку — и фью-фью! Так и вынесется на волне... вот что, а не то что!

— Волшебник! [54] — подтвердила хозяйка.

— Ох, кабы так! — вздохнул Андрей.

— Увидишь... проявится,— кивнул головой убежден-

ный в колдовстве Кармелюка селянин,— только соберется на силах — и проявится, да! И таких вот негодяев, которые, значит, и своего брата... Гм!.. Либо таких гадюков, как бывают шинкари...

— Вон! — вскочила в запальчивости Ульяна.

Но солдат удержал ее.

— Оставь, кума, пьяный. А выряди лучше всех за фронт,— дело есть.

— Ну, черт с ним! — оборвала она.— А только вот что, добрые люди: подкрепились, чем бог послал, и «по сей мове бывайте здоровы!»

— Да, час, пора каждому в свою берлогу! — поднялся шумно Дмитро вместе с Андреем. За ними стали креститься и благодарить хозяйку оборванные крестьяне, а пьяный замотался по хате, безнадежно разыскивая свою шапку.

— Дай-ка я помогу тебе, пане-брате! — подошел к нему любезно Андрей.

В это время в сенях послышался какой-то подозрительный шорох; кто-то вошел к ним и ощупью искал двери.

Все переглянулись.

— Вот принесла нелегкая! — буркнул солдат.

Ульяна бросилась было запереть дверь на щеколду, но было поздно: на пороге уже стоял сгорбленный старец в седой бороде и нищенских отрепьях; в руках у него был длинный кий, а за плечами болталась котомка. Сразу его можно было принять за богомольца.

— Слава богу!—произнес старческим голосом странник, низко кланяясь и ища глазами иконы, как бы перекреститься.

— Вовеки слава! — ответила недовольным голосом Ульяна.

Странник, не привыкший к темноте, ничего еще пока не видел и стоял у дверей, протирая глаза.

— Именем Христа, пана Иисуса, прошу приюта,— поклонился он снова Ульяне и сразу притих, словно найдя в ней что-то странное.

— Что бог послал, диду, приймите, а ночевать у меня негде,— ответила сухо хозяйка и подала нищему кусок паляницы.

— Пусть бог вам, пани, отплатит,— вздохнул дед,— а мне бы отдохнуть хоть на часочек... Я с курами

встану... А теперь вот просто ступить не могу — так подбил ноги и намучился в долгой дороге.

— Рада бы, да не могу,— развела руками хозяйка.

— Да мне хоть бы под лавкою здесь,— обернулся странник назад и встретился взглядом с Дмитром.

На лице его мелькнуло недоумение, он подался шаг вперед и тихо вскрикнул, но тут же спохватился и поникнул, согнувшись на палку.

— Что с вами, дедушка? — изумилась хозяйка.

— Так вот в ногу кольнуло... и в бок,— ответил растерявшийся странник.

При крике старика солдат вздрогнул и с расширившимися глазами стал прислушиваться к его голосу; при смущении речь странника потеряла свою старческую хриплость и зазвучала яснее.

— Диду, откуда вы? — подошел к нему быстро Дмитро и, взявши старика за руку, стал зорко всматриваться в его лицо.— Вы упадете от усталости... вот сюда присядьте да подкрепитесь хоть чаркой горилки.

— Как бывало в лесу темной ночью! — произнес с улыбкой дед и сжал крепко руку солдата.

— Когда птичьи гнезда разоряли? — переспросил солдат.— Да лучшего сокола утеряли...

— А сокол-то либо мертвым падет, либо к птенцам возвратится,— ответил старик тихим, но совсем звонким и молодым голосом.

При звуке его голоса солдат вскочил с места, пригнулся к лицу старика, и радостный вопль вырвался у него из груди.

— Эх, жив бог — жива душа, а хозяйка хороша! — вскрикнул он громко, чтобы замять прорвавшееся волнение, и добавил, стукнув кулаком по столу: — Эй, хозяйка, что же ты камнем стоишь: поднеси-ка бедному страннику чарку, а то свалится...

— Да ну его! — огрызнулась сердито Ульяна.— На всякого проходимца добра не настачишь.

— Порожняя у тебя бутылка, что ли? — заметил сурово солдат.— Не скупись, да крепись, а свадьба сладится — и угощение будет...

— Ты с ума спятил? — уставилась она на солдата глазами.

— Запри на замок кухню; коли в курятнике свой пе-

тух, так чужие драку поднимут. А что, ребята, — обратился он к крестьянам,— волоките-ка хмельного да уносите ноги, потому что дед ненадежен... помрет, так всех нас потянут и такого насыпят, что и в год не расхлебаешь. Знаете, ведь эти клятые комиссии, чтоб им добра не было, сколько они перемучили нашего брата! Только попадись в зубы выродкам!

— Наказание господнее! — простонал белобрысый.

— Чтоб они передохли! — выбранился брюнет и стал помогать размякшему земляку найти двери.

Между тем Андрей, услыхав воровскую речь солдата, его замешательство и какую-то зародившуюся в хате тревогу, сам всполошился, подсел к деду и стал подозрительно всматриваться в его лицо.

Дед потихоньку сжал его руку и тем увеличил еще больше смущение простоватого Андрея.

Когда солдат уже выпроводил гостей и запер за ними на засов въездные ворота, Андрей, всмотревшись наконец в глаза старика, вдруг вздрогнул и раскрыл от ужаса рот.

— Узнал? — шепнул тихо старик.

— Батьку мой! — вскрикнул безумно Андрей и бросился на шею старику.

— Тише! — прошипел дед и сжал ему до боли руку.

В это мгновенье вошел в хату Дмитро и бросился обнимать Кармелюка.

— Не бойся... тут свои!

Андрей в свою очередь с криком: «Батько мой!» — стал сжимать в своих мощных объятиях странника.

— Задавите! — улыбался счастливо «дед», делясь поцелуями и объятиями с друзьями.

— Да кто это? — всполошилась Ульяна, растерявшись вконец.

— Кто?.. Батько наш и атаман, Иван Кармелюк! — провозгласил торжественно солдат. — Воскрес-таки! Ур-ра!!

Ульяна стояла как ошеломленная и чувствовала, что под ней колеблется земля.

— Скидай, друже мой, к бесу эти лохмотья,— у нашей кумы найдется кое-что из мародерского, да и личину долой,— заговорил после бурных излияний радости солдат.— А ну, кума, налево кругом... марш! Да к одеже еще тащи сюда разного провианту — и для зубов, и

для глотки... Праздник вѐдь какой! Человек из мертвых воскрес... Да какой человек!

— Не хвали уже так меня, друже,— вставил Кармелюк.— Перехвалишь!

— Ни, боже мой! Сама потом узнаешь, красотка, что хоть выверни свет наизнанку, а лучшего не найдешь!

— Куда! — махнул рукой Андрей.

— Ой? — сверкнула глазами Ульяна.

— Не верь, пани,— потряс отрицательно головой Кармелюк.— А вот что он сказал — красотка, то правда... и что другой такой не найти, то тоже не брехня...

— Ого-го-го,— загорелась от удовольствия хозяйка.— Старый дид, а язык — жжет, что огнем...

— Тащи-ка одежу, там увидишь, что с дида станется...

— Вечерять, титочко, дайте батьку скорей,— вмешался Андрей,— а то плетете языком, а батько голодает...

— Зараз, зараз,— засуетилась Ульяна,— для дорогого гостя ничего не пожалею! — Она выбежала и скоро вернулась с целою охапкой разного рода польской одежи.— Примеряй, пане, что прийдется, а я побегу по хозяйству еще!

Кармелюк выбрал по своему росту венгерку и прочее, сорвал бороду, умылся и стал снова, как и был прежде, красавцем. Неволя, болезнь и длинная, тяжелая дорога заставили молодца похудеть, но эта худоба придавала его лицу еще более моложавости и красоты.

— Молодец! — воскликнул довольный солдат.— Такой же... Словно вчера расстались...

— Эх, не такой, брат,— вздохнул Кармелюк и нахмурился.— Много пропало здоровья...

— Похудели батько,— уныло заметил Андрей.

— Наживем! — махнул рукой солдат.

В хату вскочила Ульяна.

— Ой мамо моя! — вскрикнула она, взглянув на Кармелюка, всплеснула руками и остолбенела.

— А что, узнала, пани? — улыбнулся ласково бывший дед.

— Боженьку мой! Да это тот самый пан, что я встретила года два тому назад у жидовской корчмы.

— Он и есть! А пани господыня и за два года не забыла?!

— Господи, что же это? — шептала Ульяна, не отводя

очарованных глаз от Ивана.— Я думала — шляхтич какой... панок... а он, выходит, Кармелюк... Вот счастье! И в голову не могла себе взять... по ночам не спала... Про Кармелюка-то слыхом слыхала, а в глаза не видала... и невдомек... А оно, выходит, не дидыч, а наш славный атаман... Ну и чудеса!

— Спасибо за ласковое слово... Уж коли признаваться для первого знакомства, то и я не раз проклинал красуню, что ко всем моим мукам прибавила еще тоску...

— Ге-ге, друже,— ударил Кармелюка по плечу солдат,— такой же: прямо с фронту — и спуску нет!

— Довольно уже! — махнула рукой сконфуженная хозяйка.— Я вот зараз соберу вам вечерю.

Через несколько минут на большом столе, застланном чистой скатертью, красовалось уже несколько объемистых фляг с березовкой, перцовкой, вишневкой и черным пивом, шипела на сковородке яичница с салом, стояла миска с холодной свининой, а другая с свежим творогом и сметаной.

— Прости, дорогой пане! Что бог послал...— пригласила с пленительною улыбкой хозяйка Кармелюка и его товарищей.

— Да, дай бог и богачу такой ужин! — польстил Кармелюк.

Все уселись. Хозяйка поднесла гостю первую чарку.

— Чего же пожелать нашему любому пану атаману? Ну, счастья, здоровья, славы, удачи... Нет, еще вот чего: чтобы при нем было такое верное да щырое сердце, какое бы не допустило поставить ему западню, какое бы кинулось на самого дьявола, себя бы отдало ему в зубы, а дорогого бы друга закрыло...

— Козырь-молодица,— усмехнулся солдат,— хотя и в наш огород закинула камешек...

— А что ж, и правда,— заметил Андрей,— не уберегли...

— Сам виноват, попался на удочку,— улыбнулся Иван,— да еще попался, как дурень, а дурня и в церкви бьют... Ну, будет и на нашей улице праздник! — оборвал он и обратился к хозяйке: — Спасибо тебе за это сердце и за твою ласку, любая хозяюшка! Уж коли б такое сердце для проклятого богом нашлось, то я бы вставил его в раму и глядел бы, пока не потухнут глаза... Эх, вот чего я б пожелал: чтоб эта счастливая минута тянулась и

чтоб умереть так, сидя между друзьями и не сводя глаз с такой чаровницы...

— Э, что про смерть, пане, гадать,— произнесла пылавшая от восторга хозяйка,— цур ей! Живой про живое думает!..— И в глазах ее сверкнул такой жгучий огонь, что и Кармелюк почувствовал, как его сердце вздрогнуло и кровь забила ключом...

— Ой-ой, хозяюшка! Гостя-то витать надо, да и нас забывать тоже не след,— укорил солдат.— У меня на радостях и в горле пересохло... и нутро подвело...

— Простите, милые! — сконфузилась Ульяна и налила Дмитру и Андрею по чарке.

— Ну, на здоровье! — крикнул солдат и опрокинул в рот чарку.— Нам только первую для закона, а там уже мы и сами пойдем на штурм... Эх, друже мой, любый Иване! Что это за хозяюшку послал нам господь,— так другой и не надо... Окромя того, что краля писаная и хозяйка хорошая, да это еще начхать, а вот человек она завзятый, просто герой, а не баба! В битву ли ее на неприятеля пусти, так и усом не поведет... а и нашего брата за пояс заткнет... Огонь, а не баба, вот что!.. Хныкать не станет, а из беды выручит... себя не пожалеет, а выручит... Клад, да и только!

— Да что это далась я всем на хвалу? Или сегодня святого похвальника? Ну, так и я пану атаману скажу, что таких верных друзей, как эти двое,— на редкость... О чем ни говорят было, а речь непременно сведут на дорогого батька... Я с ихних слов многое о панской жизни узнала... а вот это славное одоробло, а разом и дитя, так тосковало о своем батьке до слез.

— Спасибо, спасибо! — говорил растроганным голосом Кармелюк и жал своим друзьям руки, а хозяйке выражал свою признательность и взглядами, и пробившимися наружу порывами взволнованной и опьяненной души...

XXXIII

Шумно и весело тянулась вечеря. Хозяйка угощала, упрашивала, сама придавала к чарке охоты, а гости отдавали должную честь и напиткам, и снедям. Когда голод был утолен и усталые челюсти стали ленивей работать,

а лишь заходили по столу чарки да кухли, то солдат обратился к Кармелюку:

— Ну, расскажи же нам, любый друже, какую беду ты пережил и как от нее избавился?

— Эх, лучше бы ее и не поминать,— вздохнул Кармелюк и провел рукой по лбу, словно желая стереть горькие воспоминания, — да как не поделиться с друзьями?! Про то, как меня этот дьявол подвел, как напоил дурманом и полусонного одолел целым десятком, а то и двумя своей челяди,— вы, конечно, слыхали... И челядь, вероятно, болтала, и сам идол хвалился.

Слушатели молча кивнули головами, и Кармелюк продолжал:

— Ну, так бросили меня связанного на телегу и помчали... Я уже не помню, как и куда,— так меня разобрала в дороге отрава... Опомнился я уже чуть ли не в каменецкой тюремной больнице... а оттуда уже через неделю перевезли меня в башню, что у турецкого моста... посадили и приковали тремя цепями в какой-то клетке... Просто-таки замуровали живого в каменном гробу... Если б и цепей не было, то расправиться и протянуться в этой дыре нельзя никак. Только и добра, что хоть высокая была, или мне это так казалось, но окна не было видно, а куполок чуть-чуть лишь светился... Восходило ли солнце, стояло ли высоко в небе, или садилось — знать я не мог... Сначала догадывался, а потом потерял и догадку — все одно: глухие сумерки — да квита! Только ночь немного отличалась черною тьмой... Но так как мне настояще заснуть было невозможно, то я сначала ночи три не смыкал глаз, а потом изнемог и все уже дремал, не разбирая, ночь ли то, день ли? Так вот и спуталось все в голове... Выпускали меня из этой дыры... вот хоть и на допросы, так тоже в какие-то темные мешки, где и день и ночь фонари не тушились... так что и света божьего, и солнца красного я, почитай, больше года не видел... Как не ослеп, уж не знаю... Рассказывать вам про нелюдскую муку, какую терпел, я не стану: и не расскажешь ее, а только тоску наведешь... Одно — кости сначала так ломило, что сам бы их размозжил, а потом тело одубело и я стал мало чувствовать... Словно бы не мое... а деревянное... даже двинуть рукой и ногой мог с трудом... а другое — нудьга (тоска)... Господи, боже, какая нудьга! Нет горшей муки на свете! Как бы там

тело ни болело, так это пустяк, а вот когда душа болит, так это уж пекло!

— Сердечный мой! — вырвалось у Ульяны, и она смахнула рукой набежавшую на ресницу слезу.

— Гм... да! Знавали и мы эту тетку! — вздохнул солдат, а Андрей упорно смотрел в землю и тяжело дышал.

— Все о вас, о своих, думки в голову лезли... впивались в сердце, как пиявки, и сосали кровь... Эх, одно у меня было желание — прикончить поскорее эти муки... И сначала я только об этом и думал... но не было способа; попробовал удавиться цепями, но коротки, да и руками владеть было не вольно... Оставалось одно — извести себя голодом, но это средство чересчур долгое и противное... да и почему-то надежда шептала в ухо: «Подожди!» Это все сначала, а потом и думать-то перестал — задеревенел мозг! И знаете, любые, это меня радовало, что, мол, не буду чувствовать мук на тортурах (пытках), а стану еще в глаза палачам смеяться... Но вот что: на тортуры меня не ставили... Я уже во всем, что на меня плели, им винился и все чужие грехи на себя брал,— и не ставили... Должно, бумага пришла из полка и казенного тела они портить не смели, а обязаны были в целости предоставить его командиру... Эх! Налей-ка, хозяюшка, хоть питья какого, либо что, чтоб залить горечь!

— Своими руками подавила б их, проклятых! — вскрикнула хозяйка, сверкнув с такою злобой глазами, что даже Андрей гаркнул:

— Собаки!

Кармелюк выпил залпом протянутый Ульяной стакан и, вздохнув глубоко, продолжал:

— Так вот, водили меня на допросы, а потом и перестали, потому что не к чему было; и стал я совсем каменеть в своем каменном склепе да ждать с радостью хоть кары, хоть смерти...

И вот в один день отковали меня от стены и повели, но только не в камеру, где допрашивали, а через двор — к смотрителю тюрьмы. Тут я, братцы, в первый раз после скольких месяцев солнце божье увидел и сразу ослеп... Просто почернело все и закружилось в глазах, а слеза так и заливает. Довели меня под руки, и смотритель, либо кто еще, уж я не видел, прочитал мне бумагу, что я отправляюсь с конвоем в свой полк, в город Моги-

лев, где находится военная комиссия и где я предан буду полевому суду,— туда, мол, пересылается и весь розыск по моим несметным злочинствам. И знаете, как ни страшен полевой суд,— потому, либо расстрел, либо сквозь строй,— а я был ему рад: хоть придется размять кости в дороге да надышаться воздухом и наглядеться еще раз на родные поля... Ну, мы и пошли; закован я был по рукам и ногам, а казалось, что я вольный, как птица, двигаться мог,— вот что дорого,— и на душе было даже радостно: не сырой склеп, не могила, не тьма, а тепло, свет, грабовые леса, золотистые нивы, красивые овраги и зеленые-зеленые, как ярь, луга, а окромя всего — живой люд,— то по дороге на волах либо конях, то по полю с косами, серпами,— наступали как раз жнива... Ну, идем мы, часовые по бокам, сзади подвода, а над нами синее, бездонное небо, и коршуны в нем кружатся... Ну, на ночь, как водится, на этап; паскудства всякого там вволю, да летняя ночь коротка... Так-то, почитай, мы месяц брели до этого Могилева... Вот когда я уже очутился в Полесье, то сжалось сердце... Пошли нескончаемые болота да озера... Мокро все, сухого места не найдешь... Только уж под самым Могилевым прочистилось; появились открытые поля, холмы и даже к Днепру — небольшие горы... Но самый-то Днепр не киевский, а маленький, так что наш Днестр с ним поспорит; у самого Днепра и стоит Могилев; город-то сам больше, чем наш на Днестре, но место наше красивее. Ну, привели меня это в полковую канцелярию, а там и командир наш.

— Ага,— говорит,— попался, гусь лапчатый. Вот я тебе покажу, как дезертировать для разбоев!..

— Слушаю,— говорю,— ваше высокородие.

— Содержать его на гауптвахте под строжайшим караулом, в цепях! — крикнул полковник.— Коршун ведь с крыльями...

Посадили меня и скоро-таки повели на суд; ну, полевой суд идет скоро, не томят по крайности: «Сутки пречь—и голова с плеч!» Прочитали все мои злодеяния в нашем крае, да еще полковые и побег добавили, да и приговорили к семистам палям сквозь строй...

Андрей и солдат мрачно молчали, устремив с ужасом глаза на своего батька.

Кармелюк замолчал, склонив на грудь голову; по

высоко поднимавшейся груди его можно было судить, сколько в ней поднималось скорби при этих воспоминаниях. Длилось тяжелое, мучительное молчание. Ульяна снова села и устремила на Кармелюка полные печали и жажды мести глаза.

Наконец Кармелюк глубоко вздохнул, встряхнул головой и обвел всех глазами...

— Что зажурились, друзья? А, дорогая хозяюшка?.. Эх, сердце же у тебя! — И он быстрым движением сжал ее руку.

Ульяна вспыхнула и улыбнулась.

— Сижу ведь среди вас, значит, что было — прошло, а что будет — единому богу известно. Во всяком разе, больше копы лыха не будет,— произнес он весело и, опорожнив добрую чарку вишневки, продолжал оживленно: — Вернувшись на гауптвахту, я стал расспрашивать солдатиков, как долго протянется время до исполнения приговора, до экзекуции? Ну, мне и объяснили, что приговор еще будет утверждать начальник корпуса, а пока отошлют к нему и обратно, то протянется времени немало — наименьшее месяц... А потом стали меня утешать еще тем, что генерал вообще смягчает наказание... Обрадовался я и ободрился совсем; не смягчение кары меня тешило, а то, что есть время исполнить свою заветную думку, а думка была одна — наложить на себя руки, не дожидаясь милосердия, потому что семьсот ли шпицрутенов, шестьсот ли, либо даже пятьсот — все единственно. Ну, задумал я крепкую думу; вида не показываю, даже песни пою, хотя и здесь я был в цепях, и за мной глаз десять следило, а все же легче было добрать способу, чем в каменецкой дыре... У меня было припрятано еще на воле между подошвою и подстилкою в каждом чоботе по тридцати червонцев. Когда меня схватил этот аспид Янчевский, то одежи он не срывал, а помчал сразу в Каменец, а там хотя и осматривали одежу, а никому в голову не пришло пороть сапоги. Отсидел я в Каменце, не снимая их, а потом сидел на гауптвахте... Ну, эти червонцы и сослужили мне службу: был там в одной смене солдатик один, землячок, простоватый такой, а душа добрейшая, жалел он меня, разговаривать позволял... Стал рассказывать я ему про семью свою, и у него, видно, тоже семья горевала, смотрю — слова забирают его за сердце, по глазам вижу. Вот

я и осмелился: «Семья моя,— говорю,— через месяц осиротеет, останется без куска хлеба, так можно ли передать тебе последнюю мою волю... исполнишь ли ее?» — «Как же б я не исполнил,— отвечает,— коли это святое дело!» — «Спасибо, пусть тебя бог наградит! Так я тебе доверяюсь, как брату: у меня в подошвах спрятано шестьдесят червонцев, помоги мне достать их,— возьмешь себе десять, а остальные семье... Помоги снять чоботы да прихвати нож, чтоб распороть мог».— «Хорошо,— говорит, после смены...» — «Только вот что,— я ему,— сделай так, чтоб самому быть в тот час на другом посту: если приметят, накроют, так ты не в ответе, и нож положи где-нибудь, только не свой, а какой-либо новый,— и никто не доведается...» — «Так, так»,— согласился он и устроил все по моему желанию. Я дождался второго дня и ночью освободил себе руки,— это ведь я умею делать, как бы мне не заковали руки,— ну, освободился, нашел нож да, перекрестившись, и всадил его по рукоятку себе в грудь.

— Ой! — взглянула Ульяна и закрыла руками лицо.

— Что ты! Батьку! — воскликнули вместе с ней и товарищи.

— Да не пугайтесь! Смотрите: жив и здоров... Никто, как бог! Думал к нему идти на суд, а он не принял пока, а еще вызволил... да! Как это ударил я себя, все в глазах замутилось, исчезло... очнулся я уже в лазарете... Оказалось, что я ножом маху дал — сердца не тронул. Ну, все же признали доктора, что я смертельно ранен, что мне не выскочить. Ну, а там в полку поднялся, как после узнал я, целый содом, забили тревогу, следствие: кто да что? Каким образом? «Знать, мол, не знаем и ведать не ведаем...» Бились они бились и плюнули; мой солдатик не пострадал, и это меня страх как обрадовало, и еще больше то, что сам помирать должен. Ну, лежу это я, лежу, кашляю кровью, а помирать-таки не помираю. Проходит месяц, другой; доктора руками разводят, а фельдшера так даже лаются, отчего я не помираю и койку задерживаю... Раза два уже распоряжались было, чтоб ночью сейчас же в мертвецкую, потому — доходит, а мне, как на зло, к утру лучше. Валандались они так со мной, почитай, месяца четыре, наконец, объявили, что я буду жив... заживет моя рана. Как услыхал я это, так у меня все и похолодело; то лежал себе покойно, даже

смеялся в душе, что, мол, как ни хлопочите, а съедите дулю, а то опять про шпицрутены стал думать, беспокоиться... Да, затосковал я снова, ох, как затосковал! Уж и сам командир заходил, ободрял меня; журить-таки журил, а и ободрял тоже: «Теперь,— говорит,— тебе наказанья на теле не будет, сам ты себя наказал, а пойдешь лишь в арестантские роты. Смотри же, не наглупи!» Стал я тогда, братцы мои, думать, как бы мне вырваться на волю; уж одно — либо снова нож в сердце, либо к вам!.. И такая меня нудьга обняла за родною своею стороной, за своими лесами, за своими кровными людьми, за вами, друзья, такая тоска, что сердце билось до боли... Лежу это я, и все перед моими глазами, все, все стоит, как живое... как будто слышу ваш голос... как будто веет на меня от болота влажною прохладой... Эх, так бы, казалось, сорвался с койки да и полетел к вам, а тут грудь забинтована, сил нет, да и смотрят за мной фельдшера, сторожа... Время идет, вижу я, что стал поправляться, что, пожалуй, мне скоро прийдет срок и на выписку,— вижу и чуть с ума не схожу. Понимаю, что из больницы бежать куда легче, хоть и то возьми: ни тебе кандалов на руках, ни колод на ногах, да и самый надзор послабее, особенно в камере труднобольных,— и понимаю я это все, и ничего не придумаю, руки от злости кусаю себе, а ничего изобрести не могу...

XXXIV

Кармелюк продолжал свою скорбную повесть.

— Стали уж меня из больницы отпускать на прогулку, конечно — отдельный дворик за больницей и с двумя часовыми... Похаживаю я да присматриваюсь по сторонам. Кругом высокая каменная стена, ни фортки, ни какой-либо пристройки, через какую бы можно хоть по крыше выбраться... Расспрашиваю, бывало, и у сторожей моих: «Что, братцы, ужли вам и ночью покоя нет?» — «Ночью-то главная работа,— говорят.— И возле ворот сторожи, и кругом ограды ходи...» — «По сменам, конечно?» — спрашиваю. «Да кой черт, тут настоящей очереди не соблюдают»,— отвечает Семен Лубков. А я уже с ними познакомился,— один был Семен Лубков, а другой Иван Стружев. Я им на водку давал, так и беседовать со мною

любили. Вот этот самый Семен Лубков, когда меня первый раз пустили на прогулку, так принес мне и мои сапоги... Я обещал поблагодарить его добре, он согласился, нарушил, значит, правило и принес, потому — одежа выдается арестанту только при выписке. Ну, я сейчас распорол подошву — и ему два червонца, а остальные деньги в мешочек да на шнурок и на шею... Вот через этого самого Лубкова я тайком и землячка вызвал в госпиталь и отдал ему обещанные десять червонцев. Обрадовался, глазам своим не верит: страху-то он сколько набрался и полагал, что я обманул его насчет червонцев,— а тут и взаправду дукатики в руку... Ну, и вышел он от меня словно хмельной... Так вот и говорю я, что этот солдатик Семен приятельствовал мне и любил поболтать... «Ну,— говорит,— очереди здесь не соблюдают, почему и трудно урвать часик сбегать даже к своей разлапушке Матрене...» От него я мало-помалу про все лазаретные порядки доведался, да толку было мало: порядки-то выходили строгие... надзор большой... А через ограду перелезть — нет способа: сажени две вышиной... Я было думал подкупить Лубкова и стал приговариваться,— так ни приступу; ну, я и прикусил язык... на время, конечно, потому что надежды еще окончательно не терял... Так вот и тянулись дни за днями. Повеяло наконец и весною; снега сбежали, на дереве почка набухла, береза выпустила сережку... И мне уже пошла полная порция: значит, через неделю, через две — выписка... И рвет мое сердце на волю весенний этот дух, и наседает, как осенний туман, безысходная туга. Лежу на койке, закрою глаза — и мне мерещится лес зеленый, свежий, пахучий... А то перед глазами раскинется золотая нива пшеницы... Колос шумит. Вверху голубое небо... Ветерок этот ласковый повевает, скошенным сеном пахнет... дышать вольно! А открою глаза — темница, стоны больных и кругом неволя... И такая тоска сдавит в железных тисках мою грудь, что слов нет выразить эту муку... Эх, мои други! Только в тюрьме, на чужбине родятся такие слова!

Кармелюк тяжело перевел дыхание и провел рукою по глазам.

— Так вот, лежу это я на койке, терзаюсь... Бьет меня лихорадка, а ничего не придумаю... только голова болит да в висках ломит... Под весну стали поступать в нашу камеру все больше тифные... Их клали в другом

конце камеры, а я на своем конце оставался уже один, так как больные, что лежали вместе со мной, выписались. Вот раз вечером при обходе и говорит доктор фельдшеру: «Вот этот, что в углу, через час, через два будет готов,— так его немедленно отсюда в мертвецкую вместе с койкой, а то зараза; так моментально в мертвецкую! Ну, а ты, Кармелюк,— подошел он ко мне,— молодцом... через три дня выпишем из больницы...» Ушел это доктор, а у меня все помертвело в груди... и ждал же этой выписки, а как услыхал про нее, так и затрясся... Через час снова пришел к нам фельдшер, осмотрел этого больного и ворчит, ругается: «Дышет еще, дьявол... Ему-то все равно, а ты не спи! Эй, Семен! — крикнул он.— Семен! Неужели ушел к своей шельме? Ну, наклепают же тебе зубы, коли что! Выскочил, словно белены объелся...» Но Семен оказался в лазарете, и фельдшер притащил его в нашу камеру. «Вот,— говорит,— тебе приказ: как только номер 15 дух выпустит, немедленно его вытащить с койкой, понимаешь — немедленно, а потому тут возле койки и ложись спать да и прислушивайся...» — «Помилуйте, ваше бродие,— отвечает Семен,— тут духота, воздух сильный... а я две ночи, почитай, не спал... Позвольте мне, ваше бродие, лечь в сторожке, а я буду наведываться...» — «Не рассуждать! — аж топнул фельдшер ногою.— Мне для тебя не спать, что ли? Здесь ложись — и баста! А когда номер отойдет, меня не беспокоить,— кликни Ивана. Да памятуй, что это приказ главного врача!» — и ушел... «А чтоб вы повыздыхали, черти!» — выругался Семен и со злостью шинелью да фуражкой об пол... «Знаешь что, Сеня? — отозвался я.— Ложись вон на ту свободную койку, а я за тебя буду следить: по целым дням ведь сплю, так мне посторожить — пустяковина, а тебе, бедному, и отдохнуть нужно».— «Спасибо,— отвечает.— Посторожи, брат, а у меня уж и моченьки нет...» И вправду-таки был изнурен. Как только свалился на койку, так и захрапел, хоть за ноги тащи... Лежу я, прислушиваюсь к больному,— дышит еще, тяжело так, а дышит... Гомон и в лазарете, и на дворе стих... и в нашей камере стало как в могиле... Лежу я... на сердце у меня такая вага, словно жерновом придавило, а в голову стучит одна думка: «Через три дня выпишут, а через четыре под строй поведут...» «Да не удавиться ли здесь?» — мелькнула у меня мысль, но по-

чему-то после ножа... она мне показалась досадною... Больной между тем как-то странно вскрикнул и затих... Я вскочил взглянуть на него и споткнулся на шинель сторожа, так как в камере было почти темно,— одна только лампада перед образом и освещала ее. Споткнулся я на шинель, чуть не упал, и вдруг словно молнией озарило меня: «А что если накинуть эту самую шинель на плечи, а фуражку на голову, да прямо к воротам... благо, что и сапоги мои тут под койкой...» Только минуту, не больше, простоял я столбняком и сразу решился. Нарядился я, братцы мои, в один миг солдатиком и прямо на главный двор; иду себе смело да еще покрикиваю: «Семен, куда ты, черт, завалился?» Конечно, на мой зов никто не откликается: Семен у меня дрыхнет, а в дворе, как на кладбище, тихо... Это меня ободрило, и я отчаянно смело подошел к воротам и постучался в фортку. «Кто там?»— откликнулся сторож. «Иван Стружев».— «Что тебе?» — «Не видал ли, дядюшка, Семена Лубкова?» — «При мне не выходил, разве до моей смены... а что?»—«Да у нас,— говорю, а сердце в груди только бух, бух, бух...— У нас,— говорю,— больной помер, так главный врач приказал тотчас же вынести, а его, дьявола, нет; верно, у своей Матрены прохлаждается!» — «Ха-ха! Вестимо!» — засмеялся сторож. «Так пропустите, меня, дядюшка, его позвать, а то влетит ему!» — «Сбегай, сбегай!» Я ухватился руками за воротину, чтобы не упасть,— так у меня закружилось в голове и от радости, и со страху. Заскрипел засов, полуотворилась на цепи фортка; я натянул пониже фуражку, приподнял воротник шинели, словно бы озяб со сна, и, нагнувшись, вышел наружу. «Проворней же! — говорит сторож.— А то мне ночью выпускать и своих заказано».— «Я, дядюшка, мигом!» — крикнул я — и в ноги... А сторож еще похваливает: «Так, молодцом, живей!»

— Ловко! — заметил Андрей, широко улыбаясь.

— Уж так ловко, что только руками разведешь... Ха-ха! — рассмеялся Дмитро.— Утром-то, полагаю, какая потеха поднялась в лазарете! Ой, дуй их горой!

— А дальше-то как, мой орле? — воскликнула захваченная рассказом Ульяна.

— Что дальше, моя любая? — улыбнулся Кармелюк и ожег ее в свою очередь взглядом.— Завернул я за угол да и пустился не к городу, а к лесу, что зараз же чернел

над Днепром... Бежал я до лесу что есть духу, и только вскочивши в густую лещину, повалился на землю и с полчаса отдыхал. Потом уже вольнее стал пробираться внутрь, перебегая прогалины и просеки... На рассвете я вышел на какую-то дорожку и наткнулся на мужичка; он дремал на аккуратной повозочке, а в нее была запряжена крепкая лошаденка. Сначала я было хотел спрятаться в кусты, а потом рискнул остановить мужичка.

— Гей, пане-брате, куда едешь? — крикнул я.

— Га?! — кинул он спросонья.

— Куда,— говорю,— едешь?

— На ярмарку, в Трубайск, господа служба.

— Вот и отлично: меня тоже посылает туда мой ротмистр.— Коня ему и тележку под вещи нужно купить...

— Да я сам,— говорит,— еду туда продать свою.

— Так будем сватами,— обрадовался я, и мужик тоже рад. Ну, поторговался я для проформы и ударил по рукам. Мужик приглашает меня в свое село могорыч запить; но я отказался, а попросил его продать мне еще свою свитку: на нем была белая свитка, а сверху кожушок: «Солдатская,— говорю,— шинель ветром подбита, а теперь еще по утрам приморозки, так под шинель была бы свитка в самый раз...» Продал он и свитку мне за три карбованца... Расспросил я его еще про дороги и, попрощавшись, сел на тележку да и покатил себе паном... Досталось-таки в первый день коняке: только раз у какой-то лесной корчмы подкормил; раздобыл у жида себе шапку да и махнул дальше... На второй день уже спокойнее ехал, даже в местечке каком-то купил себе две пары одежи и добрался без всяких пригод до Проскурова... Ну, тут уже нужно было быть осторожней: мог кто-нибудь и признать,— я, на беду, по дороге постригся и побрился, а то в больнице было во какую бороду отрастил, да не терплю только ее... Ну, стало быть, опять нужно было иметь для отвода бороду; вот я перерядился нищим дедом, смастерил льняную бороду да и двинулся именем Христовым к родным местам... По-настоящему даже не знал, где бы разведать про вас, мои друзи, про своих; думал в своем селе разведать, а вот меня и привел господь прямо к своим, да еще к каким, самым близким моему сердцу, самым что ни есть кровным!

— Головы за тебя! — крикнули Андрей и Дмитро.

— Ну, так и я же всякому другу вет за вет!—вскрикнул опьяненный бурной радостью Кармелюк, обнимаясь со своими друзьями.— Ну, а пани позволит... по дружбе... по-приятельски... как товарища... посланного богом?

— Еще бы! — поддержал Дмитро.

Ульяна стояла с минуту, зардевшись и потупивши в землю глаза, потом сверкнула ими и воскликнула:

— Что ж? Коли друзья, так друзья! — и звонко, горячо поцеловалась с атаманом.

— Ур-ра! Бей с фронту! Выпьем теперь за здоровье нашего батька, за его избавление, за нашу радость! — крикнул Дмитро.

Ульяна бросилась всем наливать полные стаканы, и все стали пить здравицы друг за друга с шумными восторгами, соединенные одной любовью, одним порывом... А теплая, полная неги ночь незаметно плыла и приближала время к рассвету.

— Ну, пора и по дворам! — промолвил наконец Дмитро и решительно поднялся со скамейки.— Атаман еще и после болезни неважно окреп, да и натомился в дороге... а мы все бражничаем.

— Давно ему пора отдыхать; уже, кажись, светает,— затревожился и Андрей,—а где же батьку постелят?

— Здесь, здесь! — засуетилась хозяйка.— В этой хате просторно.— Я сдвину две-три скамейки...

— Во-во,— потянулся Дмитро,— наша хозяйка — золото, ублаготворит как следует... Ну, добранич! Идем, верзило, в свой хлевец...— И Дмитро, ухватившись для равновесия за плечо Андрея, вышел за ним по ломанной линии из хаты.

— Стой, молодица, — заговорил Кармелюк, когда остался с Ульяной сам на сам,— я не неженка, привык больше на сырой земле либо на голом камне вылеживаться, так для меня не труди своих ручек...

— Что ты, пане? Чтоб я допустила своего дорогого гостя валяться, как наймыта? — запротестовала она и сильными руками подхватила скамейку.

— Да стой же, любая! Брось! — И Кармелюк взял ее за руку.— Почем ты знаешь... может быть, мне приятней быть у тебя наймытом?

— Моему пану? Моему атаману? Моему батьку да быть наймытом? — ужаснулась Ульяна и вдруг вся сму-

тилась, зарделась полымем и закрыла длинными ресницами свои очи.

— Ну, в батьки-то еще рано,— улыбнулся Иван,— в батраки, в наймыты к такой крале — и то за счастье!

— Не жартуй! — произнесла она глубоким грудным голосом и вдруг вздрогнула, побледнела и опустилась на скамью, словно подстреленная птица.— Тебе, пане, шутки, а мне не до них,— уронила она.

— Слушай, моя красуня! — заговорил пламенно Кармелюк, не выпуская дрожавшей руки Ульяны.— Не жартую я... а хочу сразу, как новому моему другу, высказать все, что кипит вот здесь,— указал он на грудь,— потому что не могу удержать непослушного слова, не могу потушить полымя... Лучше сразу высказать все, чтоб не путаться, да и оборвать либо дать вольную волю!..

— Не нужно, батьку! — вскрикнула тихо Ульяна.

— Нет, нужно... Сразу... просто... чтоб не было ни сучка, ни задоринки! Полюбилась ты мне, как только я тебя впервые увидел... мало сказать полюбилась: тавром врезалась в сердце, и тавро это выжгла своими очами... Не брехал я, коли говорил, что ко всем моим мукам ты додала еще найгоршую! Врезалась и стоишь вот перед моими глазами, пышная, сильная да красивая; как писаная картина, и прямо смотришь мне в душу... а очи твои и жгут, и ласкают, и нежат... Сладко мне смотреть в них и больно; какая-то непонятная сила влечет меня, тянет к тебе, и я чую, что новые кандалы ломают мою волю, въедаются в сердце и сковывают душу... Эх, Ульяна! Кандалы эти были страшней и мучительней тех, что рвали в кровь мое тело!

— Ой мамо моя!—воскликнула Ульяна, схватившись руками за голову.

— Когда я было прикончил с собой, — продолжал он,— то правда, что ждал лишь одного забытья... только бы поскорей из головы да из сердца все вылетело, исчезло... и нутро у меня занемело, а вот как увидел тебя, как услышал твой голос, так все раны мои сразу раскрылись и залились горячей, как огонь, кровью... Люблю я тебя! Кохаю, как никого еще, кажись, не кохал!

— Как никого? — ухватилась она цепко руками за плечо атамана и, нагнувшись, вперила в него свои жгучие, полные кипучей страсти глаза; грудь ее высоко под-

нималась и вздрагивала при вздохе; возбужденное лицо пылало огнем, из уст вырывалось жаркое дыхание...

— Да, как никого! Любил я свою жену глубоко, сильно, но эта любовь была спокойна и тиха... А ты во мне подымаешь какую-то бурю, кипятишь кровь, туманишь голову, опьяняешь какими-то чарами...

— Не чарами, а своим сердцем,— заговорила она порывисто,— потому что и оно, как пьяное, рвется к тебе... Стой, выслушай! — остановила она властным голосом порывистое движение Ивана.— Ты еще не знаешь меня... Я ведь страшная... Не ведьма, нет, а чую в себе какую-то силу: уж кого я полюблю, так не то что жизнь свою отдам за него, а никакой муки нету такой, какой бы я испугалась ради своего коханца... Всю себя за него, до остатней капли крови, до последнего вздоха!

— Орлица моя! — вскрикнул Кармелюк, привлекая к себе красавицу.

— Стой, еще не все! — выскользнула она из объятий.— Всю себя отдам, да, всю,— но тому, кто и меня верно любит... Зато ж если узнаю, что коханец мой меня дурит и за мое щырое сердце еще смеется,— не остановлюсь я ни перед чем, а отомщу ему, отомщу! Жартовать, может, и я жартовала в своей жизни не раз, кружила и парням, и женатым головы, даже тешило меня поиграть с дурнями... А это потому, что я до сих пор никого не любила... Никого,— подчеркнула она,— но если покохаю... А потому-то я и говорю тебе: не жартуй со мной... Чую сердцем, что люблю тебя!

— Да ты мне еще милей во сто крат с своей грозьбой! — воскликнул Кармелюк и поднял к себе порывисто молодицу; но она снова, как змея, ускользнула от него и крикнула хрипло, словно пересохшим от зноя голосом:

— Погоди, послушай! Тут ведь жизнь горит...—И она зачастила торопливо, боясь, что кто-то или что-то помешает ей высказаться.— Я ведь не здешняя, а из-под Киева... Панской крепостной была... И служила даже малый час при покоях панских. Пан хотел сгвалтовать, так я ему покусала руки... А пани, узнавши про то, еще меня ж и выпорола, ну, я подожгла им ток и клуни... Выждала час, когда все свезут на ток, и подожгла... Почти через год... На меня и подумать не могли... А потом вернулся в наше село москаль Мыхальчук, старый уже, а карбованцев накопил и вздумал жениться. По-

нравилась я ему; он к пану — купить, значит, меня; пан запросил триста карбованцев. Тот заплатил и на другой же день обвенчался со мной. Меня-то даже и не спрашивал, люб он мне или не люб? Какая там у крепостной воля? Повели — и квита! Но, по правде сказать, я была даже рада: кохать-то я никого не кохала, а воля все же и нашей сестре люба... Ну, прожила я со своим стариком года два, привыкла к нему; но вдруг его деревом пришибло в лесу, и осталась я молодою вдовой. Как только это я овдовела, так мне и посоветовали добрые люди уходить из наших краев,— бо паны, мол, могут снова начать мстить мне. Распродала я все и, не дождавшись панского нападу, подалась в Подолию, сняла здесь корчму и зажила припеваючи. Кто цеплялся ко мне, так или гнала в потылыцю, или жартувала... Но никого до сей поры еще не любила! Так вот какая я! — закончила она, переводя порывисто бурное дыхание.

— Какой я шукал, какая мне снилась,— задыхался от восторга атаман.— Сильная, пламенная, отважная. С такой орлицей не потонешь в болоте, а взовьешся превыше ходячего облака!

— Так ты меня и такою, какой я есть, любишь, и моей любовью не брезгаешь, и меня не зрадышь? — вцепилась она руками в его плечо и, выгнув трепетавшую грудь, впилась в его сверкающие глаза полными истомы глазами.

— Люблю! Кохаю!

— И нераздельно отдашь мне всю свою жизнь?

— До последнего вздоха.

— Так бери ж меня! — вскрикнула она страстно и прильнула к нему вся...

XXXV

После лишений и мук тюремной жизни свобода, приволье, красота родной страны и бешеные ласки Ульяны повлияли на Кармелюка каким-то чудодейственным образом. Каждый день, казалось, приносил ему новые силы, здоровье, новую черту красоты.

Взгляд, осанка, движения, голос его — все изменилось. Он приоделся в раздобытую Андреем излюбленную одежду и теперь снова походил на того красавца атама-

на разбойников, один вид которого кружил голову женщинам... Кармелюк и не оглянулся, как промелькнули в этом сладком бездействии две недели. Однажды, сидя за дружескою беседой с Андреем, солдатом и Ульяной, Кармелюк произнес, тряхнув удало кудрями:

— Ну, братцы, отросли у сокола снова крылья,— пора и за работу!

— Пора, батьку! Измаялись без тебя! — встретили с восторгом заявление атамана товарищи.

Ульяна тоже не сморгнула.

— Работать так работать! — подхватила она с увлечением.— После будней и праздник лучше! За здоровье же нашего атамана-сокола, братцы! — налила она свой стакан, подняла его высоко и вскрикнула: — Пусть растет и ширит свои крылья!

Восторженные крики Дмитра и Андрея встретили ее тост.

— Эх, Ульяна, огонь-баба!—крикнул солдат, чокаясь с ней стаканом.

— Добрый товарищ, люблю таких! — произнес с чувством Кармелюк, опуская свою руку на ее плечо.

— Верный и незрадливый! — добавила Ульяна, обдав его сияющим жгучим взглядом, и, обратившись к остальным товарищам, тотчас же заговорила деловым голосом: — Только прежде чем начинать дело, панове, нужно найти надежное убежище.

— Искать не надо! — перебил ее весело Андрей.— Я вот, блуждая без толку это время по лесам, нашел в глуши такую стоянку, что как бы ни приду[мы]вал, как устроить ее получше,— не надумался бы! И от корчмы от нашей недалеко.

— Отлично!.. Значит, и маркитантке [55] нашей далеко ножек топтать не придется! — моргнул Кармелюк Ульяне.— Ну, покажешь,— осмотрим все купно... Да только как бы наших орлят поскликать?

— Правда, батьку! — подхватил Дмитро.— Но и об этом не печалься: я уже пустил лепорт, что сокол отращивает подрезанные напастниками крылья... Отзываются дети... Дай срок... Через неделю места будет у нас двадцать-тридцать голов, а там...

— Услышат о нас и долины и горы! — заключила восторженно Ульяна.

После этого разговора решено было приступить к делу

немедленно. Труд разделили: Андрей взял на себя отыскать и приспособить к обитанию виденное им убежище, а солдат занялся отысканием былых членов шайки. Кармелюк пока не принимал никакого участия в этих хлопотах и отдыхал на попечениях Ульяны. С возвращением прежних сил мысль его тоже все чаще и чаще возвращалась к прежней жизни. С особенной яркостью возникла перед ним картина его предательского ареста. Это воспоминание жгло несмытою обидой его сердце и в тюрьме, теперь же, когда он снова находился на свободе, жажда отомстить Демосфену буквально не давала ему покоя.

— Эх, други, братцы,— говорил он не раз своей компании, когда товарищи ему предлагали то тот, то этот план нападения,— не будет душа моя знать покоя до тех пор, пока не помщусь над этим дьяволом, проклятым Янчевским!

— Помстимся, еще как помстимся! — поддерживали товарищи.— Его в первую голову!

— Я сама ему, клятому, своими руками разорву глотку! — вскрикнула и Ульяна.— Вот только попадется!

— Не попадется, сердце, а поймаем! — поправлял Кармелюк.

— Поймаем, поймаем! — запальчиво повторила Ульяна.— Я уже всем своим жидкам накажу, чтоб разнюхивали, куда и когда он будет ехать; накроем его и тогда уж отчитаем ему по-своему!

— Спасибо, коханая! — произнес с чувством Кармелюк, сжимая руку Ульяны.

Теплый летний день клонился к закату. В лесу, в глубоком овраге, ложился уже сумрак и чувствовалась вечерняя прохлада, но наверху солнце еще сияло, обливая горячим золотом высокие купола леса. На дне оврага, окруженного сплошной стеной нависшего граба, копошились люди. Андрей колол дрова и подбрасывал их в разгоравшийся костер или мешал в кипевшем над ним котелке большою ложкой. У входа в пещеру, обозначавшуюся нависшими гранитными глыбами, лежал, запрокинув под голову руки, Кармелюк. Ульяна, пышная и словно еще похорошевшая, то выбегала из пещеры, то снова скрывалась в ней, перекидывалась веселым словом с Андреем, брала ту или иную вещь и снова убегала в пещеру.

Атаман лежал молча, охваченный каким-то элегиче-

ским настроением; его задумчивый взгляд тонул в глубокой лазури, следя за нежными облаками, чуть подернутыми розовым отблеском, которые словно из глубины ее выплывали.

Кругом было необычайно хорошо. Свежая, молодая листва покрывала деревья легкою, прозрачною сеткой, сквозь которую еще просвечивали черными силуэтами их темные стволы. Густая трава, устилавшая все дно оврага, казалась каким-то зеленым бархатным ковром, из глубины которого выглядывали большие головки желтых одуванчиков. Недалеко от пещеры срывался с вышины тоненькими хрустальными струями небольшой ручеек и змеился по дну оврага, прыгая по камешкам серебряною нитью... Мелодичный шум от падения воды придавал всей местности какую-то задумчивую, чарующую прелесть...

— Эх, воля, золотая воля да родная сторона! — вырвался наконец громкий вздох из груди Кармелюка.

Андрей оглянулся с любовною улыбкой на своего атамана.

— А что, замучился, занудился, батько?

— Не так замучился, как занудился. Вот за этим самым небом, за этим ковром зеленым, за этим шумом лесным, зеленым весенним шумом! Эх! — Кармелюк глубоко вздохнул и, встряхнув головой, приподнялся и сел на керее.— Натерпелся я через этих аспидов! Ну, доберемся ж! Отблагодарим и мы им за все!

— Да и мы без тебя хоть и были на воле, а воли не знали. Ныкали (шатались) по пущам да оврагам, как отара без чабана!

— А что делали?

— Правду сказать — доброго мало... Перебивались так себе, пробавляясь больше грабежом...

— Оттого и воли не чуяли! Разве воля в разбое да в грабеже?.. Разве для того я скликал вас? Эх, братья... А вы — и имя мое заклеймили, и своему брату немало горя принесли...— Кармелюк глубоко вздохнул и задумался.

— Прости, батьку,— произнес после небольшой паузы Андрей.— Сами знаем, что виноваты, да мы без тебя, как слепцы без поводыря.

— Слепцы без поводыря... — повторил задумчиво

Кармелюк.— А знает ли верную дорогу и сам поводырь?..— заметил он задумчиво и умолк.

Наступило снова молчание, на этот раз более долгое.

— Вот что еще, Андрию,— заговорил снова Кармелюк,— не знаешь ли ты чего о моей семье? Не бывал ли в Головчинцах?..

— Не слыхал ничего... Правду сказать, старался в Головчинцы не заглядывать...

— Гм... надо будет мне самому съездить—разузнать...

— Нет, батьку, уж как себе хочешь, а туда мы тебя не пустим... Пошли меня, я слетаю...

— Куда? Зачем? — раздался звонкий голос Ульяны, и разгоревшаяся красавица появилась в темной пасти пещеры.

Андрей смущенно замолчал и отошел в сторону, но Ульяна не обратила на это внимания; заметив, что Кармелюк уже сидит, она подсела к нему и весело защебетала:

— Уже проснулся? Встал? Чего же зажурился, о чем призадумался? — заговорила она, пригибаясь близко к его лицу и заглядывая в глаза.

— Вспомнилось старое... — ответил уклончиво Кармелюк.

— Цур ему и пек! Нашел о чем думать! — вскрикнула Ульяна.— Старый бурьян — с корнем вон!.. Начинаем новое житье: сладкое, вольное, веселое... Усмехнись же, атамане любый, да поцелуй меня крепко, вот так, вот так! — обвила она шею Кармелюка руками и крепко прижалась к нему пылающей щекой.— Я заслужила благодарность! Какое лижко устроила я тебе да как прибрала твою оселю! Ха-ха!.. Лучше, чем светлица у пана,— и надежнее и веселее! А ты, Андрию, уже и ложку отбираешь? Готов кулиш? Может, вечерять будем, голубе, а? — нагнулась она снова к Кармелюку и любовно заглянула ему в глаза.

Появление Ульяны, ее веселый звонкий разговор сразу внесли с собою струю какого-то беспричинного веселья и подняли общее настроение.

— Вечерять так и вечерять,— ответил Кармелюк.

— Ну вот, отлично,— отозвалась оживленно Ульяна.— Тащи сюда кулиш, а я накрою на стол да захвачу из нашего погреба доброго меду.

Она живо вскочила с места, юркнула в пещеру и че-

рез минуту возвратилась с белою скатертью под мышкой и темною заплесневевшею бутылкой в руке. В одну минуту она покрыла траву скатертью, нарезала хлеба, разложила ложки и поставила три толстых стакана, затем поставила и миску, полную дымящегося ароматного кулиша. Все уселись по-турецки вокруг скатерти.

— А что, панове, не лучше ли, чем в панских палатах? — вскрикнула весело Ульяна.— Под ногами — шелковый ковер, над головой — свод зеленый, а тут льется и лучшее вино разливным ручьем. Наливай же стаканы, Андрей, выпьем за лесное приволье, за веселое пожиfoundedванье!

Все оживились и принялись с аппетитом за поданный ужин.

— А что, подает ли слух нам Дмитро? Привел нам шестерых, да как пошел опять, так ни слуху ни духу! — обратился к Андрею Кармелюк.

— Подает,— ответил Андрей, отхлебывая из ложки.— Явтух вот говорил, что поутру сегодня принес жид Иоська известие, будто нашел Дмитро и фурмана, и Олексу, а с ними и Гололобова, и Кнура — душ десять, да и спешит к нам.

— Прекрасно: их десять да нас восемь,— на первый раз довольно.

— А когда на челе станет орел,— поддержала Ульяна,— тогда начнется не наша работа.

— Да, не ваша,— произнес задумчиво Кармелюк и замолчал.

Между тем Андрей закончил есть, отер ложку о траву и закурил люльку.

— Слушай, Андрию,— обратилась к нему Ульяна,— ты пойди смени Явтуха да Свирида и пришли их повечерять, пока кулиш не остыл.

— И то,— согласился Андрей и, поднявшись с места, скрылся в лесной чаще.

Ульяна обвила шею Кармелюка руками и привлекла к себе.

— О чем задумался? — произнесла она, прижимаясь к нему.

Лицо Кармелюка приняло жестокое выражение, брови сдвинулись мрачно и грозно.

— Ульяна! — произнес он с видимой душевной болью.— Ах, этот дьявол Демосфен не идет у меня из

ума ни днем ни ночью... Не могу забыть кровавой обиды... А-ах! — прохрипел он, отстраняясь от Ульяны и сжимая до боли свои руки.— Не буду знать покоя, пока не задавлю, проклятого, своими руками...

— И схватим, схватим его скоро! — продолжала с злорадством Ульяна.— Долго ждал, друже, немного осталось! У-ух! Побелеет же он как крейда (мел), когда столкнется с твоим лицом!

— Спасибо, Ульяна! Спасибо, друже,— произнес с чувством Кармелюк и, сжав руку Ульяны, встал и прошелся в волнении.

Слова Ульяны вызвали в нем рой ненавистных воспоминаний. Ульяна молчала, понимая и чувствуя настроение своего кумира.

Солнце между тем спряталось совсем за лесом, и глубина оврага наполнилась прохладною мглой. Послышался тихий треск ветвей, и к костру подошли Явтух с Свиридом.

— Хозяйка,— обратился он к Ульяне,— там пришел дядько один. Просит погадать... значит, насчет пропавших волов... Привести, что ли?

— Приведи. А ты, атамане, уйди пока что в пещеру,— отозвалась Ульяна к Кармелюку.— Незачем лишним глазам тебя видеть.

Кармелюк настолько погрузился в свои мысли, что Ульяне пришлось дважды объяснить ему, в чем дело; тогда только он кивнул утвердительно головой и ушел в пещеру. Опустившись на приготовленное ему Ульяной ложе, Кармелюк, чтоб отвлечь себя от жгущих его сердце воспоминаний, стал присматриваться к тому, что происходило извне.

Явтух возвратился в сопровождении крестьянина, глаза которого были предусмотрительно завязаны платком. Между тем Ульяна уже расположилась у полупогасшего костра с пучками разных трав в руках... Приведенный крестьянин изложил Ульяне, что с неделю тому назад уведена у него неизвестно кем пара волов, и просил ее погадать ему: пропали ли его волы, или могут еще отыскаться? Ульяна заставила его положить ей на ладонь полтину серебра и, бросив в огонь пучок каких-то трав, от которых над огнем взвился столб белого удушливого дыма, объявила, что волы еще не пропали и при умении и желании могут отыскаться. Тогда начали торг

насчет того, сколько надо заплатить, чтобы гадалка указала, где и как искать волов. Ульяна требовала пять рублей, а крестьянин ссылался на свое убожество, просил уступить; Ульяна настаивала на том, что гаданье это очень трудное и опасное и может навлечь на нее кару от нечистой силы... Наконец сошлись на трех рублях. Тогда началось гаданье с проклятиями и приговорами. Ульяна подбрасывала в костер то одно зелье, то другое, то произносила страшные заклинанья, то тянула словно загробным голосом какие-то непонятные, загадочные слова; промучив так в продолжение десяти минут крестьянина, она наконец объявила ему:

— Ты должен во второй день первой квадры * отправиться из дому до восхода солнца, захватив с собой кусок страстной свечки и кусок холста, на котором спускали в могилу гроб годового ребенка; пойдешь к Чертовой гребле и сядешь там под сухим, разбитым грозой дубом, и когда зайдет месяц, расстели тот холст, сядь на него, зажги страстную свечу и читай молитву Ивану-воину до тридцати и семи раз,— тогда к полуночи увидишь своих волов, пасущихся на лугу; набрось им на рога налыгач, с которым простоял всю обедню, и веди без страха домой.

Получив от крестьянина условленную плату, Ульяна отпустила его, приказав ему не оглядываться и не говорить никому ни слова о гаданье, иначе оно теряет свою силу. Вся эта сцена произвела на Кармелюка крайне неприятное впечатление.

— Так вот как ты гадаешь? — произнес он, выходя из пещеры, когда крестьянин удалился.— Ну, теперь уже такие гаданья бросить надо!

— Теперь уж только приворот-зелье давать буду! — рассмеялась весело Ульяна, не понимая тона Кармелюка, и, подойдя к нему, горячо обняла его.— Только на всех ли приворот-зелье силу имеет? — прошептала она, впиваясь в губы Кармелюка горячим поцелуем.

— Для тебя и зелья не надо! Ты — вся огонь! Полымя! — ответил Кармелюк, прижимая к себе красавицу.

В это время за спиной их снова послышался треск раздвигаемых ветвей.

---

* Першої чверті місяця, коли місяць тільки настав.

— Кто там? Зачем? — окрикнула неизвестного с досадой Ульяна, отстраняясь от Кармелюка.

— Я,— ответил Свирид,— жид Иоська из Гончарей ждет в корчме... хочет сказать что-то, говорит — важная новость!

— Иоська из Гончарей?! — вскрикнула радостно Ульяна.— Сейчас буду...

— Что там еще? — встревожился Кармелюк.— Вокруг тебя все какая-то тайна?

— Знаешь, какая? — засмеялась она вызывающе.— Про этого дьявола Янчевского, наверное, жид вестку принес. Я ему наказывала, что как только он проведает, что аспид поедет через какой-либо соседний лес, то чтобы сейчас же дал знать; он и пообещал сам явиться... Ну, вот и пришел!..

— Так беги же скорее и назад ко мне — бурею... У меня не хватит сил дождаться этой радости!..

XXXVI

В томительном ожидании Ульяны шагал Кармелюк по ущелью, то присаживаясь к костру, то принимаясь снова за свою однообразную прогулку. Андрей оставался с ним, но у Кармелюка не шло с языка слово: настойчивое требование еврея и обещание сообщить какую-то важную новость, предположения ушедшей Ульяны — все это взволновало его до крайности. Да и Андрей также, по-видимому, разделял нетерпение своего начальника.

Хотя Кармелюк прекрасно знал, что раньше как через два часа Ульяна не могла возвратиться из корчмы, но возбужденные нервы превращали каждую минуту в вечность. Время тянулось нестерпимо долго... «Отчего Ульяна не идет? Об Янчевском ли сообщил ей еврей? А может быть, принес известие о готовящемся на нас нападении? Кто знает?.. Но если о моем заклятом враге? О!..» — повторял себе беспрестанно Кармелюк. И при одной мысли о близости возможного мщения у него дух захватывало в груди; но вместе с тем, стремясь всем сердцем, чтобы оправдалось предположение Ульяны, он старался уверить себя, что появление еврея знаменует совершенно противное. Впрочем, чем дальше тянулось время, тем

больше росло нетерпение Кармелюка; несколько раз порывался он броситься в корчму, и Андрею стоило немало труда отклонить его от этого рискованного шага.

Наконец чуткое ухо Кармелюка различило шорох быстро приближающихся шагов.

Через минуту из заросли вынырнула Ульяна в сопровождении Олексы.

— Ну что?.. Про Янчевского? — бросился к ней Кармелюк, а за ним и Андрей.

— Угадал, угадал! — вскрикнула Ульяна, сияющая и запыхавшаяся от быстрой ходьбы.

— Что же, что?..

— Сейчас! Передохну!.. Бежала! — произнесла она с трудом, придерживая рукой трепетавшее сердце, и опустилась на колоду.

— Да что же? Что? Одно слово? — не унимался Кармелюк.

— Янчевский завтра вечером выезжает к Пигловскому,— выпалила с торжеством Ульяна.

— Что? Завтра? Кто сказал?! Как узнала? — вскрикнул, загоревшись от радости, Кармелюк.

— Жид Иоська прилетел сказать...

— Обманывает? Подкупили? Как мог узнать?

— Верно. Он не соврет; он давно мне служит... Да и какой ему расчет? Янчевский и ему залил сала за шкуру, а у нас он заработать может...

— Правда, хозяюшка, правда,— поддержали Ульяну Андрей и Олекса.

— Ну, постой, говори же, где жид узнал? Как? Когда? — забросал Ульяну вопросами Кармелюк.

— Он принимал сегодня у Янчевского пшеницу; проклятый скупец додержал ее до такой поры!

— Го-го! Так и третьего года ссыпанная в ямах гноится,— не удержался Олекса.

— Ну, так вот,— продолжала Ульяна.— Когда он принимал эту самую пшеницу, а выдавал ее пан...

— Пан такой скаред, что никому не поверит! — вставил снова Олекса, но Кармелюк перебил его строго:

— Ну!

— Ну вот, когда Иоська принимал пшеницу,— продолжала Ульяна,— прискакал к пану гонец Пигловского, доезжачий,— Иоська признал его, — и передал Янчев-

скому письмо; тот прочел его, велел благодарить пана и сказать, что выедет завтра вечером.

— Куда же?

— Да к пану же Пигловскому: гонец от него письмо привез.

— Значит, Пигловский приглашал его к себе?

— Не иначе; Иоська говорит, что на послезавтра съезжаются к нему на облаву паны...

— Ага, так... так... Должно быть, на волков,— проговорил скороговоркой Кармелюк.— Но постой... В чем он поедет?

— А Иоська слыхал, как пан приказал кучеру на завтра повоз готовить!

— Да какой? Натачанку, или каруцу, или берлин?

— Да не все ли тебе равно? Мы его и по лицу узнаем.

— Так-то так, а все-таки,— причмокнул досадливо Кармелюк,— да, вот еще, какою дорогой он поедет? Вот от Гончарей до Головчинцев не один шлях.

— Шлях не один! Конечно, можно ехать и на Гуты, и на Гнилое, и на Грабовый кругляк, а только мы всегда ездили на Гутов лес,— заговорил оживленно Олекса,— дарма что там версты две надо болотом проплутаться, но летом болото пересыхает, а зато вся дорога лучше и ближе: лесом перехватиться, а там уже миля — не больше.

— Правда, правда, — воодушевился Кармелюк. — Я и забыл, что ты, любый друже, можешь нам это растолковать. Через Гутов лес, мне бы это и на думку не впало.

— А там еще в лесу есть такое местечко, что ну! Гора, а под горою сразу маленький мосточек... Засесть — так никто не вырвется.

— Отлично, други... Приглашаю ж и я вас на облаву на старого волка. Помогите мне поймать его, отомстить за себя...

— Головы положим, батьку! — вскрикнули разом Андрей и Олекса.

— Спасибо, спасибо, друзья, братья мои! — произнес с чувством Кармелюк и затем добавил в раздумье: — Только маловато вас, вот что досада. Всех восемь, а пан, наверное, с вершниками ездит.

— Да, берет душ шесть, больше для почета,— заметил Андрей.

— Гм... душ шесть, да кучер с казачком — восемь, да

сам пан, а может, и еще кто — десять. Восемь на десять, положим...

— А меня разве ты не считаешь, атамане,— произнесла Ульяна, выступая вперед с горящим лицом,— или ты думаешь, что я струшу либо не сумею всадить ненавистному дьяволу нож в сердце?

— Ульяна, так ты думаешь? — изумился Кармелюк и невольно залюбовался вызывающим, прекрасным лицом воодушевившейся разбойницы.

— Не думаю, а решилась,— перебила его Ульяна,— делить с вами одну долю, дарма что я баба, а за тебя, атамане, горло всем перерву!

— Орлица! Атаманша наша! — вскрикнул в восторге Кармелюк, привлекая к себе Ульяну.

— Ура! На погибель врагам! — заключили Олекса и Андрей, подбрасывая вверх шапки.

На другой день еще с полдня все товарищи с Кармелюком и Ульяною во главе залегли в указанном Олексой овраге; действительно, для засады трудно было подыскать более подходящее место. Дорога, по которой должен был поехать Янчевский, пролегала через частый Гутовский лес. Это была узкая лесная дорожка, малопроезжая. Гутовский лес расположен был и по горам, и по топким ложбинам и славился множеством вепрей. В том месте, где засел Кармелюк с товарищами, дорога спускалась с довольно крутой и высокой горы в узкую долину и тут же снова подымалась в гору. Почва в этой узкой долине, тянувшейся поперек леса, была топкая, болотистая и была покрыта непролазною лесною зарослью, в которой весьма легко было спрятаться от непрошенного глаза.

Этим прикрытием и воспользовался Кармелюк. У подножия самой горы, с которой должен был спускаться Демосфен, сочился по топи небольшой ручеек; через него был переброшен утлый бревенчатый мостик; стоило только разобрать или хоть расстроить этот мостик — и спускавшийся сверху экипаж должен был непременно или опрокинуться, или увязнуть в болоте. Все это обеспечивало удачу задуманного дела.

Товарищи спокойно лежали в глубине чащи, поджидая желанного гостя, и пока что закусывали захвачен-

ными Ульяною паляницами и засушенною колбасой. Стреноженные и оседланные кони паслись тут же, невдалеке.

Только Кармелюк не ел и не говорил ничего, изнемогая от ожидания и нетерпения, хотя беспокоиться было нечего: были приняты все меры предосторожности, чтобы не пропустить Янчевского.

За лесом, версты за две, на пригорке, с которого видны были на далекое пространство вся долина и пересохшее болото, стоял с добрым конем Олекса и, при первом появлении экипажа, должен был лететь известить товарищей. Разобрать мостик было делом одной минуты, а по расчету всадник должен был опередить повоз по крайней мере на полчаса.

Наконец настала ночь. Взошел месяц и осветил ровным светом узкую лесную просеку. Волнение Кармелюка возросло до крайних пределов.

— Передумал... не поедет... избрал другую дорогу! — твердил он себе, покусывая губы.

Нетерпение атамана передалось и Ульяне, и товарищам. Все молчали... Наострившийся слух жадно ловил малейший шорох... В ночной тишине леса ясно раздавался звук падающей сухой ветви или шелест листа. С каждою минутою напряженное настроение возрастало.

Кармелюку казалось, что он не может уже вынести этой душевной пытки... Как вдруг чуткое ухо его различило донесшийся издалека какой-то звук, мерно повторявшийся...

— Скачет! — вырвался у Кармелюка хриплый шепот. Все выскочили.— Тише! — прохрипел Кармелюк и снова замер... Замерли и все присутствующие.

Слышно было только, как шумела кровь в ушах. Но вот оборвавшийся на минуту звук раздался снова, на этот раз вполне отчетливо и беспрерывно.

— Скачет, скачет! — заговорили все сразу, и в это время до слуха их донесся отдаленный протяжный свист.

— Олекса! — крикнул Кармелюк.— За работу, дети!

В одно мгновенье сорвались все с места и бросились к мосту. Еще конь Олексы только показался на горе, а работа была уже окончена.

В разных местах моста гайдамаки выдернули бревна и свалили в беспорядочную кучу, так что мост представлял теперь ряд зияющих дыр, разделенных кучами

бревен. Перила его были также предусмотрительно сломаны. В лучшем случае экипаж должен был мгновенно опрокинуться.

— Осторожно! — крикнул Андрей спускавшемуся Олексе.— Готово!

— Далеко? — бросился к нему Кармелюк.

— Версты четыре! — отвечал Олекса, соскакивая с коня.

— Он?

— Никто иной. Оттуда, из Гончарей.

— А всадников сколько?

— Кажись, только два.

— Га! Попалась мышка! — заскрипел зубами Кармелюк и обратился властным голосом к стоявшим вокруг товарищам: — Вы,— отделил он трех душ из шайки,— засядете с Андреем с той стороны, а я с остальными — с этой. По первому моему свисту бросайтесь по одному к коням, по два к повозу. Арканы, веревки есть?

— С нами, батьку,— ответили хором гайдамаки.

— Не убивать никого без крайней нужды. Всех перевязать и тащить в лес,— там дам распорядок, а наипаче живым связать мне Янчевского. За него каждый из вас мне ответит головой... Я сам учиню над ним суд и расправу.

Компания разделилась и скрылась в прилегавшей к дороге заросли. Через минуту лесная дорога была снова тиха и пустынна. Озаренная лунным сиянием, она спускалась и снова подымалась на гору, словно широкая размотавшаяся лента, и только в узкой долине тонула в глубокой тени, наполнявшей ущелье и скрывавшей в своем покрове и разрушенный мост, и притаившихся людей...

Но вот наконец вдали послышался дружный топот быстро бегущих лошадей... все ближе, ближе... и на верху горы показался фаэтон, запряженный встяжь четверкою буланых коней. Впереди и сзади коляски скакало по верховому.

— Он, он, наши кони! — шепнул Кармелюку Олекса, выползший на животе к краю леса.

Кармелюк сжал до боли его руку и с силою отдернул Олексу назад. Экипаж начал спускаться. Сначала кони шли тихим шагом, но, не доехав до подошвы горы, кучер пустил лошадей; они подхватили рысью, и почти в

то же самое время раздались громкий треск, крик перепуганных людей и властный окрик Кармелюка: «Стой!»

Но и без этого окрика экипаж не мог сдвинуться с места,— одна из лошадей свалилась в канаву, а колеса увязли в проломах моста; экипаж накренился и почти повис над канавою. Кучер и форейтор попадали с козел, По первому свистку Кармелюка разбойники выскочили и окружили экипаж.

— Кто естесь? — крикнул в ответ Кармелюку один из всадников, сопровождавших экипаж, обнажая саблю.

— Кармелюк! — ответил громко Янко, выступая вперед.— Эй, хлопцы, вяжите их!

В одно мгновение оцепеневшие от ужаса всадники были стащены с лошадей, связаны по рукам и ногам и отнесены в лес; та же участь постигла и форейтора с кучером. Кармелюк приступил к экипажу; прячущаяся в глубине его фигура, наполовину скрытая приподнятым верхом, не подавала ни малейших признаков жизни.

— А ну-ка выходи, пане! — заговорил напряженным от сдержанной злобы голосом Кармелюк.— Померяемся теперь силами... Сам на сам... Своим товарищам я не прикажу арканить тебя, а самолично расправлюсь. Что же струсил, как заяц!.. Читай орацию! Узнал, небось, меня?!

Жалобный стон донесся из глубины экипажа. Дикий ужас охватил Кармелюка.

XXXVII

— Спускайте верх! — закричал Кармелюк не своим голосом.

Верх с грохотом опустился, и перед разбойниками предстала ужасная, тощая фигура с лысою головой, острым красным носом, торчащими тоненькими усиками и трясущейся от ужаса челюстью. Фигура тряслась на корточках на сиденьи экипажа, прижимаясь с такою силой к его спинке, словно бы хотела пройти сквозь нее.

— Хойнацкий! — вскрикнул в отчаяньи Кармелюк.

— Я... я... литосци! Милосердья! Я ниц... нигды...— бормотал Хойнацкий, но Кармелюк не дослушал его.

— Шельмовство! Обманул проклятый жид! — зарычал он.

— Нет, батьку, не обманул,— перебил его Андрей,— а значит, дьявол поехал другою дорогою!

— Но наши кони,— вмешался в разговор Олекса,— ведь это наши кони!..

— А! Кони Янчевского? — заговорил с горячечною быстротой Кармелюк, хватая Хойнацкого за руку.— Где взял ты этих коней?

— Купил, як бога кохам!

— Лжешь!—крикнул громовым голосом Кармелюк.— Нарочно подстроил все, чтобы спасти своего приятеля! Ну, хорошо, теперь и заплатишь за него своею шкурою!!

— Милосердья, вельможный пане, милосердья! — завопил Хойнацкий и шлепнулся на дно коляски на колени, но так как коляска висела, перегнувшись с моста, то Хойнацкий соскользнул вниз и полетел бы в болото, если б его не схватила за шиворот железная рука Кармелюка. Как ошпаренный цыпленок, мелькнул Хойнацкий в воздухе тощими ножками и опустился на мост.

— Нет, не уйдешь! — набросился на него Кармелюк.— Захотел спасать своего преславного Демосфена, так расплачивайся теперь сам! Гей, хлопцы! Лозы сюда... огня!..

— Вельможный пане, помилуй! Смилосердься! — залепетал Хойнацкий, ползая у ног и стараясь поймать полу Кармелюка.— Я умру, я не выдержу... у меня и так едва держится дух... Что я тебе когда сделал? Чем досадил? А через твою ясную милость нет мне житья на свете!

— Через меня нет тебе житья на свете?

— А так, так, проше пана!.. — продолжал Хойнацкий.— Хоть вспомни и сам: разве я хотел покупать твою милость? Бронь боже! Меня даже в пот бросало, когда я смотрел на тебя... А покойница затвердила свое: «Куплю да куплю, гарный хлоп, разумный хлоп!» Сколько раз молил я ее: «Ой любуня, годи... на черта нам тот хлоп сдался, лучше пять дурных хлопов, чем один разумный?» Ой, як бога кохам,— правда! А она свое да свое!! А когда ты, вельможный пане, стал служить у нас... в покоях,— поправился он быстро,— разве я тебе хлеба жалел, разве я не был добрым господарем? Если и делал выговоры, то не по своей воле; насядет, бывало, покойница — и скажу, а самого лихорадка так и трясет, как взгляну на твои руки. Да и в москали тебя жена отдала, а не я: ведь весь маенток был ее... а против такой жены

что я мог? Езус-Мария! Да я и спать перестал, как поселился ты у нас в доме... Ой, разве я себе того лыха желал? Да мне лучше видеть холеру в своих покоях, чем твою вельможную милость!..

Жалобный лепет Хойнацкого и его невыразимо комическая фигура слегка умиротворили бурю в душе Кармелюка, ему вспомнились дни, проведенные в Овсянниках, жалкий образ пана Хойнацкого, трепетавшего при одном слове своей ужасной супруги, и злоба в его сердце уступила место игривому настроению.

— Разве бы я не заплатил вельможному панству за то, что оно изволило понапрасно потрудить себя? Но чем же я теперь заплачу? Что я имею? Я сам теперь стал беднее хлопа... Несчастья мои пошли с того часа, как вельможный пан имел честь вступить лакеем в мою господу... Скончалась покойница! — Хойнацкий глубоко вздохнул и, подняв глаза к небу, добавил примиренным тоном: — Ну, на это я не ропщу... Не иду против божией воли, и если ее непорочная душа понадобилась пану богу, то что же я, бедный муж, могу? Только преклонить перед божественным промыслом колени, тем более, что по духовной покойная Доротея все мне оставила. Но горшая беда сталась потом,— физиономия Хойнацкого жалобно искривилась,— налетели на меня судьи, асессоры, комиссары, обобрали до нитки... Стали уверять, что я сам убил свою покойницу ради наследства... я принужден был отдать все, что было, лишь бы избежать кары...

— Вот это так штука! — расхохотался Кармелюк, а за ним и остальные разбойники.

— Вельможному панству смешно,— продолжал Хойнацкий, отирая рукавом глаза,— а мне-то как... Через это все потерял я — и пенензы и вшистко... вот даже и эти кони... Ведь я не заплатил за них, сором сказать — напрокат взял у пана Янчевского, чтобы мог ездить, как подобает благородному шляхтичу...

— Гай-гай! — усмехнулся Кармелюк.— Ну, жаль мне тебя, пане господарю. Так и быть,— на этот раз прощаю. Не надо лозы! Правду сказать: овчинка не стоит выделки. Мы не комиссары, обдирать не станем, а только люди дорожные, и гроши нам сейчас нужны, так ты ссуди, что можешь, а мы потом тебе отдадим с лихвой.

— Ой вельможный пане! — вскрикнул и обрадованный, и испуганный Хойнацкий.— Хоть все карманы вы-

верни — сам увидишь, что нет ни шеляга... Были у меня последние десять тысяч злотых, и те занял, ох, почти гвалтом занял судья литинский... Дал вексель, але что мне с того папера?.. Не могу и требовать, боясь напомнить ему, чтобы снова не начали донимать асессоры да комиссары.

При последних словах Хойнацкого по лицу Кармелюка скользнула удалая улыбка.

— А есть ли у тебя тот вексель?

— Есть, всегда с собою вожу.

— Ну и отлично! Давай же его сюда, да не бойся... не бойся, говорю! Так как через меня ты столько убытка понес, то надо и тебе помочь. Деньги я получу с судьи [56] и по-товарищески, как след, отдам половину тебе, а половину возьму себе за труды, потому что без моей помощи не видать тебе их, как своих ушей!..

Дрожащими руками вынул Хойнацкий из кармана бумажник, достал оттуда сложенную вчетверо бумажку и подал ее Кармелюку. Кармелюк быстро пробежал ее.

— Получим! — произнес он вслух.— Только смотри, для этого ты должен сделать следующее: прежде всего сядешь со мной в повоз и подчинишься тому, что я тебе стану приказывать. Не бойся, зла тебе никто не сделает.

— Ой, делай что хочешь, пане милостивый... пощади только мне живот! — простонал Хойнацкий и клюнул красным носом в землю.

— Фу! Да и нагнали ж тебе холоду комиссары! — усмехнулся невольно Кармелюк.— Повторяю же тебе: не бойся, ничего тебе не будет, и это — первая кондиция; вторая же вот какая: когда ты вернешься назад в Овсянники, то чтобы до самого воскресенья не говорил никому ни слова о том, что случилось здесь. Сем дней, слышишь, только семь дней помолчи, а там звони, сколько хочешь. В воскресенье получишь и деньги. Но если ты,— заговорил грозно Кармелюк,— до воскресенья заикнешься кому-нибудь хоть одним словом, то не только пенензов не увидишь, но и спину твою так испишу, что месяц будешь лазить на четвереньках...

— Ой, литосци! — завопил Хойнацкий и распростерся ничком на мосту.— Все, все... как пан хочет...

— Подымайте, братцы, вельможного пана да вытащите скорей повоз... Надо спешить, а пока что отведите

егомосць туда, в холодок, да посторожите, чтоб не случилось с ним чего. Ульяна, ты, как хозяйка, забавь как-нибудь вельможного пана да принеси закусить...

Двое разбойников отвели в сопровождении Ульяны Хойнацкого в лесную чащу и остались там сторожить его, пока остальные занялись спасением лошадей и экипажа.

К счастью, экипаж понес незначительные повреждения, и через полчаса общих усилий уже все было готово к продолжению путешествия.

— Ну, ведите-ка пана сюда! — скомандовал Кармелюк.— Ты, Чапля, да Гололобый, да Левшак, останьтесь пока что подле спарованных пташек, оттащите их подальше в лес, а мы пришлем за ними подводу. Ты, Олекса, полезай на козлы, на старое место, Андрей — за казака, а вы,— обратился он к остальным,— садитесь на коней и скачите подле нас, чтобы и мы ехали, как подобает благородным шляхтичам. Держи на корчму, Олекса, а ты, Андрию, оглядывайся по сторонам.

В это время к экипажу подвели Хойнацкого.

— Ну,— Кармелюк сделал грациозный жест,— проше пана. Пан, как поважный господарь, сядет на главном месте; а Ульяна, как пани, рядом с ним... не прогневайся, пане, что с мужичкою сидишь, взгляни на нее — сыщешь ли такую и среди ваших вельможных пань? А сам я сяду против вас, как и подобает панскому эконому. Ну, что же, пане? Или не слушаются ноги?

Действительно, омертвевший от ужаса Хойнацкий не мог сдвинуться с места. Кармелюк поднял его и сунул в глубину экипажа.

— Смотри же, пане,— произнес строго Кармелюк,— ни слова, кого бы не встретил! Ты спишь? Слышишь? Я добра тебе хочу, и если будешь делать все то, что прикажу,— помогу тебе больше, чем твои соседи, а если хоть в чем ослушаешься — суд у меня короткий. Ульяна, ты возьми пана за руку да смотри за ним; вот тебе пистолет; и если он вздумает крикнуть или хоть пошевельнуться — спускай курок!

— Ради бога! — взмолился Хойнацкий, отодвигаясь в сторону.— Я ниц... нигды... Ой пани, проше... ведь пани не знает... может стрельнуть... Ой!!

— Не стрельнет, не бойся,— усмехнулся Кармелюк, опуская Ульяне на колени пистолет.— А теперь еще я завяжу тебе очи, чтоб лучше спалось... Ну, вот так!

Кармелюк завязал несчастному Хойнацкому глаза, прислонил его к спинке экипажа и скомандовал громко:

— На коней, хлопцы, трогай!

Бич щелкнул в привычной руке Олексы; лошади дружно подхватили, и пышный панский повоз закачался и стрелою полетел на гору...

Литинский судья Иозеф Сливинский, растучневший за последнее время до чрезвычайности, сидел в своем кабинете, по-видимому, сильно озабоченный: уже одно то, что он не спал раздетый в постели,— а время было послеобеденное,—показывало, что какая-то необычайная тревога выбила его из обычной колеи жизни... Чего больше? Он даже забыл сменить неудобный мундир на мягкий халат, сидел в глубоком вольтеровском кресле с высокою спинкой, снабженной с обеих сторон закругленными изголовниками, сидел согнувшись, а не покоился, как всегда, в полудреме, запрокинувшись назад. Лысая голова Сливинского с широкими складками на затылке тонула теперь в стоячем воротнике мундира; в зубах судьи торчал длинный чубук потухшей давно трубки, перед ним лежала какая-то бумага, от которой он не отводил глаз. Сросшиеся широкие брови были наморщены, заплывшие жиром глаза злобно таращились, да и вообще раздутые ноздри и осунувшееся лицо его напоминали разъяренного бегемота. Судья сопел, отдувался, схватывал иногда эту бумагу, перечитывал и опять клал перед собой, произнося хриплым голосом отрывочные, бранчивые фразы:

— Лайдак, шельма! Не может быть!.. Но из полка бумага... Какие меры?.. Где?.. А чтоб на вас ведьмы насели... чтоб на вас рубца сухого не осталось! Опять пойдет, отдохнуть нельзя будет ни минуты... А тот презус [57] не едет да и не едет: орацию, наверно, где-нибудь держит... А чтоб вам, всем ораторам, языки попухли и забили самую глотку!

Последние пожелания судьи относились, конечно, к Янчевскому,— к нему-то он послал гонца еще с утра и ждал пана презуса с нетерпением, но последний все не являлся...

Отворилась из внутренних покоев дверь в кабинет, и в нее вошла кошачьими шагами жена судьи, пани Ага-

та; она была все так же прелестна, только щечки ее стали пухлей и бюст развился роскошней...

— А ты, мой котик, и не спал после обеда, а я все ждала,— запела она сладким голоском, в котором слышались и жалоба, и досада.

— Не до того,— буркнул угрюмо судья,— тут черт знает что заваривается опять... А ваш дьявольский Демосфен не едет да и не едет...

— Как? Кто? Что? — встрепенулась пани, и взор ее заискрился вспыхнувшим любопытством.

— Да что? Опять проявился каторжный Кармелюк!..

— Гм...— протянула разочарованно пани,— эти Кармелюки надоели... Обрадуешься интересу, а они все фальшивые!

— А ты, моя дурнюню, хотела б настоящего? — И судья коснулся рукою нежного, кругленького подбородка своей жены, и его суровое, даже дикое лицо расплылось в жирную улыбку, а узкие глаза совсем спрятались под припухшими веками.

— А конечно! — засмеялась пани Агата, запрокинув свою головку, причем золотистые пряди ее волос рассыпались и сбежали с плеч светлою волной.

— Ах ты шельмочка! — И пыхтевший судья потрепал ее по щечке широкою и объемистою дланью.— Ну, коли у тебя азарт, так радуйся: теперь уже проявился не фальшивый Кармелюк, а подлинный... Вот из его полка бумага получена, извещают, что бестия не захотел киев и перед самою карою удрал, да и удрал, конечно, в свою сторону, где и прежде гулял, а это значит — к нам, по соседству...

— Ой, как весело! — всплеснула руками Агата.

— Весело? Вот как начнутся вокруг грабежи да разбои, да польется шляхетская кровь,— посмотришь, как будет весело... Придется облавы делать, ловить в капканы этого хлопского зверя...

— Прелесть! И я на облаву поеду, непременно, непременно!..

Судья только махнул рукой.

— Да! Непременно... Вот и мне самому придется отправляться да и попасть под нож збойцы... А? Весело?

— Конечно, веселее, чем так! По крайней мере, будешь хоть чувствовать жизнь: страх поднимет энергию,

красавец разбойник заставит сердце биться скорей... Прелесть, восторг!

— Да с чего ты взяла — красавец? Рожа, дьявольская рожа, и баста!

— Расскажи! Мне пани Розалия передавала...— протянула заманчиво Агата, прищурив плутовски свои глазки.

— А ты мне поменьше интимничай с Розалией! Я бардзо (весьма) уважаю панство Фингер и пани Розалию считаю прелестною, но... но... во всяком разе, она не есть добрая католичка... в голове ее французский ветер гудит... Вон была какая-то история с таинственным графом...

— Ха-ха! С Кармелюком!

— Ну это еще... мало что брешут... это невероятно... А вот болтают теперь и про пана Янчевского...

— Что ж, и пан Янчевский сильный, ладный... С ним не может поспорить ее туша маршалок!

— Но, но...— запыхтел с хрипом судья.— Так, по-твоему, можно дородного мужа менять на всякого сильного проходимца?

— Ага! Испугался, котик? — захохотала Агата и стала щекотать своими тонкими пальчиками изгибы упитанной, мягкой шеи своего супруга.

Судья, зажмурив в истоме глаза, откинулся на кресле и стал сладостно, со свистом дышать...

— Да! — спохватилась Агата...— Неужели ради этой бумажки и твоего презуса, пана Демосфена, будет отложен сегодняшний карточный вечер?

— Неудобно же...

— Ни за что! Не смей!! — топнула ножкой с сильным раздражением пани судьиха. — Для меня дябелка — единственное развлечение, и я пригласила уже обычных наших гостей.

— Хорошо, ладно, моя пупонька!

В это мгновение отворилась задняя дверь и появившийся в ней казачок провозгласил:

— Какой-то вельможный пан желает видеть егомосць по делу.

— Кто такой? — вздрогнул судья.

— Первый раз вижу... Приезжий, полагать надо... Подъехал четверней встяж, к воротам встал, а коней и повоз отправил в корчму.

— Странно...—повел плечами судья.—Однако проси!

— А я побегу переоденусь,— засуетилась Агата и проскользнула живо в свою дверь.

XXXVIII

Минуты через две вошел в кабинет литинского судьи согбенный старик; он опирался на палку, так как ноги его дрожали от слабости; длинная седая борода обрамляла бледное симпатичное лицо, внушавшее сразу доверие.

Судья торопливо поднялся со своего кресла и с особенною почтительностью протянул обе руки своему гостю; последний отрекомендовался помещиком Волынской губернии, дидычем Рудневского Ключа, паном Кшижановским. Усадив гостя в свое вольтеровское кресло, судья предложил ему трубку.

— Я весь к панским услугам,— произнес он, подсаживаясь поближе к своему посетителю, раскуривавшему с усилием трубку.

— Весьма благодарен шановному пану и прошу тысячу извинений за беспокойство, которое я имел смелость причинить егомосци,— заговорил на изысканном польском языке гость.— Дело вот в чем: я давно хотел приобресть маенток в благословенной Подолии... Но это было в мечтах. Не имея в здешнем крае знакомых, я не знал, к кому обратиться, а покупать кота в мешке, да еще с завязанными глазами, считал неудобным... Но меня выручил наконец из затруднений мой хороший знакомый, даже добрый приятель, граф Ржевуский; он дал письмо к здешнему помещику пану Хойнацкому, что в Овсянниках, и последний обворожил меня своею лаской... У него было столько несчастий... Этот зверь Кармелюк, это исчадие ада, разграбил его... убил супругу, небесного ангела, которого пан не может забыть...

— Что касается убийства пани Доротеи,— нахмурил брови судья,— то это дело темное... преданное земным судом единому суду бога, а что касается Кармелюка, то вельможный пан справедливо выразился, что это — исчадие ада... И это исчадие ада снова на воле и снова нас будет дарить кровавыми презентами.

— Езус-Мария! — всплеснул руками задрожавший со страху старик.— Меня главным образом удерживали

дома ужасы, царившие в нашем крае... Я выбрал наконец спокойное время... и нарвался как раз!..

— Да, к сожалению, не могу я пана утешить... Нас вот предупреждают, чтобы мы бестию изловили... Но, тысяча перунов! Распусти всех чертей, так и они этого дьявола не поймают: это стоголовая гидра!

— Матка найсвентша! — закрестился старик и с таким ужасом стал озираться во все стороны, словно бы здесь, в этой комнате, был спрятан разбойник.— Нет, бог с ними! Поскорее к себе! Покончить все — и домой!

— Я бы тоже советовал,— всколыхнулся судья и вытер шелковым платком обильный пот, выступивший на его лысине.

— Так вот к делу,— заторопился волынский пан.— Я было задумал приобресть Хойнацы... Они мне приглянулись сначала, ну, стал торговать и вероятно бы согласился в цене, но там мало воды, а я привык к ней... Между прочим, пока шли переговоры, пану Хойнацкому понадобились деньги, и я ссудил ему небольшую сумму, как вдруг прилетела эстафета из дома,— нужно ехать, а у пана Хойнацкого не нашлось денег, и он дал мне вместо них панский вексель на десять тысяч злотых...

— Мой?! — даже подскочил в кресле судья.— Ах он... и это называется по-шляхетски! Давал мне на два, на три года... И вдруг до году плати! Да позвольте... Какой вексель? Дворяне не имеют права...

Гость остолбенел:

— Да как же? Пан говорил... Вот...— вынул он листок с гербом,— и написано: «По предъявлению...»

— Знаю, знаю... Но дальше стоит: «...сей расписки»... Значит, это даже не заемное письмо, а простая расписка... Но дело не в том: конечно, и по ней я плачу, но только, на слово гонору, был уговор отдать через три года...

— Но и пан Хойнацкий поставлен в безвыходное положение... Он уверял, что у пана судьи всегда найдется такая пустячная сумма.

— Напрасно, напрасно... Чем считать в чужих карманах, смотрел бы за собственным да берег бы его лучше от хамки... Да, скверный у него характер... Я не предполагал... Он в руках горничной, и это злочинство—темное, темное дело!

«Ого! — подумал Кармелюк (конечно, это был не кто

иной, как он сам). — Не хочется судье отдавать деньги, и за это влетит врагу моему в самый раз».

— Простите, шановный пане,— продолжал он громко,— но мне крайне деньги нужны... Я должен, не медля, лететь на Волынь... да и, по правде сказать, мне до панских отношений нет дела...

— Так... так...—и судья, нагнувшись над столом, стал барабанить по нему пальцами...— но у меня денег нет!

— Как нет? — испугался старик.— Ведь расписка по предъявлению: пан обязан платить...

— Во-первых, на нет — и суда нет,— заговорил сухим тоном судья,— во-вторых, срок платежа по сей расписке — дело спорное и медлительное, а в-третьих, самая уплата может производиться в весьма отдаленное время.

— На бога, пане, я того ничего не знаю в российских законах; дал деньги «на малый час» на слово гонору — и теперь что же? Я должен их выбросить, что ли? Мне ждать нельзя... Прийдется обратиться к жиду: и пан Хойнацкий, и пан судья — верные плательщики.

— Но жид с пана сдерет рубль за рубль...

— Ну это слишком, пане... а, конечно, прийдется ему уступить...

Судья призадумался: жид воспользуется случаем, а ему от того будет не легче. Неожиданный и непредвиденный платеж возмутил его страшно, и он думал одним резким отказом отделаться сразу от непрошенного кредитора; но возможная переуступка векселя жиду смутила судью и навела на другую мысль: нельзя ли самому воспользоваться уступкою и заработать порядочный куш?

— А сколько бы пан уступил? — спросил он после раздумья.

— Да для скорейшего выезда я готов бы потерять тысячу злотых.

— Хе-хе! За такой пустяковиной не погонится ни один жид...

— Ну, две тысячи... Конечно, не больше...

— Навряд ли,— покачал головой судья.

— Так я обратно уеду к Хойнацкому и потребую сатисфакции, коли он шляхетского слова держать не умеет.

— Не волнуйтесь, шановный пане,— заговорил мягким голосом судья, придержав рукою поднявшегося бы-

ло гостя.— Хойнацкий тоже не виноват: у него, бедняги, теперь сухо, как в Аравийской пустыне... Он хотел, вероятно, землею рассчитаться, а пан раздумал,— ну вот... Я пану откровенно скажу, что у меня в этот момент нет тоже пенензов, а то бы я шановному гостю моему с великою радостью... Разве вот что? Да, это совершенно верно; пан здесь не имеет знакомых, а жиды с незнакомым... ой-ой!

— Так что же? — спросил нетерпеливо Кармелюк.

— Гм... Вот что...— тянул судья, следя внимательно за выражением лица своего кредитора.— Я бы обратился к жидкам для себя, мол... Конечно, они с меня заломить слишком не посмеют... Хотя убежден, что и с меня попросят уступки тысячи три-четыре... а потому лучше подождем: у меня сегодня собираются на дябелку, может, кто из сельских тузов к нам прикатит... ну и раздобудем, право! Я и шановного моего гостя прошу остаться пополевать на зеленом поле:督 пополируем себе немного кровь... раздавим несколько жбанов меду, венгржины... а, мой коханый?

Кармелюк несколько минут молчал. «Вот,— думал он,— попутала нелегкая увязаться в эту историю: и денег, очевидно, не отдаст, и еще какой-нибудь дьявол меня признает, ну и будет скверно!.. Эх, покончить как-нибудь... или просто плюнуть да давай бог ноги!»

— Благодарю вас, шановный пане, за ласку,— заговорил он решительно,— я и сам дябелку считаю шляхетною забавой, но сейчас мне не до нее: первое — для забавы необходимы наличные деньги, а оставаться в одном ожидании их — неудобно, второе и главное — мне нужно спешить домой... А потому, если можно немедленно,— подчеркнул Кармелюк,— получить деньги, то хорошо... Я готов уступить уж три тысячи, или что... а если нет, то я немедленно еду к Хойнацкому, а оттуда в Каменец, предъявлю иск — и домой...

— Пане ласковый... пшепрашам,— засуетился возбужденно судья,— все средства употреблю... пошлю сейчас за жидками... И в полчаса... Я совершенно сочувствую пану... Конечно, с наших проклятых мест полы урежь, да уходи...

— Да и меня, старика, смущает этот гадючий выплодок, чертов сват Кармелюк...

— Хо-хо!! Именно чертов сват и ведьмин зять! — за-

смеялся судья.— И пан не знает еще, какая это бестия? Всякого проведет, ужом из рук выскользнет...

— А бей его нечистая сила! — стукнул Кармелюк палкой.

— Конечно, знаете, нападает больше на дурней...

— Ха-ха! Конечно, конечно... А вот попался бы мне!

— Да и у меня бы, проше пана, не сорвался с крючка... Го-го! Проше!.. Так я зараз... Пошлю... И с помощью божьей...

— Только поторопите жида... Да прикрикните на него... Вы же судья...

— О, ма ся разумець... Так я в момент.— И судья, несмотря на свою дородность, вылетел из кабинета пижоном.

Кармелюк остался один. Сумерки сгущались. В зале уже лакеи приготовляли карточные столы; в соседней комнате слышался какой-то подозрительный шорох... С каждою минутой в душе Кармелюка росла тревога, и какое-то предчувствие словно шептало ему: «Беги—тебя ждет ловушка!» Наконец Кармелюку стало ясно, что лукавый судья пошел не к жидам, а к городничему за солдатами.

«Да что же я за дурень, чтоб ждать? Нет, уж второй раз кумом не буду...» — и Кармелюк решительно схватил свою шляпу и направился торопливо через залу в переднюю; но здесь встретил его хозяин и снова вернул в кабинет.

— Достал,— заговорил судья, запыхавшись,— но что это стоило! Ой матка найсвентша, что это за проклятый народ — жиды! Сверх четырех тысяч содрал... Я уже пять сотен своих доложил... Наскреб, где только мог... Так вот все пенензы... Шесть тысяч, если пан позволит?

— Гм-гм! Это вроде Кармелюка...

— Совершенно верно,— согласился судья,— так если пан решил, то прошу расписку...

Кармелюк достал бумажку, положил ее на столе. Судья осмотрел ее.

— Да, моя рука... Моя расписка... Ну, прошу пана, вот шесть тысяч золотых... высыпал он из объемистого кошелька солидную кучу червонцев...— И надеюсь, что пан доставит мне огромное удовольствие провесть с нами сегодняшний вечер... Як бога кохам, выезжать ночью — это безумство: тут кругом нашего города невылазные

болота и трущобы... На каждом шагу может встретиться Кармелюк.

— Ха! Вряд ли он мне встретится...—засмеялся гость.

— Однако!.. Ой, пшепрашам пана! — вдруг засуетился судья, поворачивая то на ту, то на другую сторону расписку.

— Пан Хойнацкий ничего, кроме этой бумажки, не вручил?

— Нет... а что?

— Как же так? Он не сделал передаточной надписи... У меня ведь нет юридического следа, что эта расписка принадлежит теперь шановному пану?

— Да она у меня в руках... значит, моя... а пан порвет ее — значит, рассчитался с Хойнацким — и квита!..

— Хе! Так-то оно так... а пан, выходит, плохой юриста... Конечно, эта расписка домашняя... порвал ее — и шабаш... Но...

В это время в зале послышались уже два-три голоса, среди которых звучал и серебристый женский: «Если пан судья еще занят, так я зайду к милейшей пани Агате».

У Кармелюка побежали за спиной мурашки; он с нескрываемым раздражением переспросил у судьи:

— Ну... так что же? Какое «но»?

— Но мой задушевный приятель... эта честнейшая и правдивейшая душа,—подчеркнул судья иронически,— пан Вицентий может сказать, что он просто потерял эту бумажку, а платить не поручал...

— Цо-о? — поднялся Кармелюк не по-стариковски и грозно надвинулся на судью.— Пан мне второй раз не выскажет таких предположений!

— На бога, пане! — струсил судья и отступил от него на шаг.

Кармелюк взял со стола вексель,— еще крючок для скидки?

— Баста! Я прошу у пана извинения за турбацию,— произнес он надменно, протягивая руку к шляпе...

— Простите, простите, вельможный пане,— заговорил беспокойно судья, касаясь ласково руками до пол своего гостя,— я пану совершенно верю... это я.. зная гнусную натуришку своего приятеля... Любит обещать много, а еще больше брехать... Но что с воза упало, то

пропало... Пан совершенно прав... Получите деньги... Позвольте сюда мою расписку — и квита!

Кармелюк еще постоял мгновенье в раздумье, но потом махнул рукой и, неохотно и не считая, стал прятать в свой карман деньги...

— Пан, надеюсь, не гневается за слово?

— Нет, пане... Пролетело уже,— улыбнулся гость.

— Ну, в доказательство доброго распоряжения, пусть пан же доставит мне неизреченную честь провести этот вечер с нами... Клянусь святым Марцелом, опасно ехать... А на зорьке... с богом! Я еще дам провожатых... Нет, я таки пана моею судебною властью не пущу на явную гибель... Наконец, сейчас целым хором, с моей женой и пришедшими гостями, стану просить...

«Ах, чтоб тебя раздуло горою, каторжная туша!» — злобствовал в душе Кармелюк и, видя, что никак не сможет от него отделаться, прибегнул к следующей уловке: — Ваша необычайная любезность и гостеприимство меня победили... Э, куда ни шло: трахнем стариной! Только позвольте, пане, на четверть часа... переодеться... я по-дорожному... а у вас дамы...

— Не стоит, пане... Я так рад! — И судья, обняв гостя, трижды облобызался с ним.

— Нет, уж позвольте! Я мигом...— сказал настойчиво Кармелюк и направился торопливо через залу в переднюю, шепнув хозяину, чтобы после представил его гостям.

Судья провожал гостя до самого крыльца... Но как только они вышли из дома, в ворота въехал экипаж и зацепился колесами за тумбу...

— Ах ты шельма, лайдак! Кармелюк чертовский! — послышался вдруг резкий голос, и сидевшая в натачанке фигура соскочила энергично на землю.

— Пан Янчевский! Наш славный Демосфен и презус комиссии, которого я жду не дождусь...

Кармелюк замер на месте. Он оглянулся кругом: выхода не было... Нужно было идти прямо на своего смертельного врага...

XXXIX

Матушка деражнянская возвратилась с дочкой благополучно домой, и все пошло старым порядком. Несколько

времени в доме батюшки и за столом, и в кухне потолковали о необычайной встрече матушки и Олеси с Кармелюком, но вскоре эта тема истощилась и потеряла интерес новизны. Незамысловатая жизнь сельского священника снова вошла в свою колею.

Только для Олеси все словно изменилось кругом. Все казалось ей теперь чуждым, далеким, и мелкие радости ее крошечного мирка не занимали ее. Слушала ли она сказки старушки няньки, ходила ли с девчатами по лесу, работала ли, или стояла на молитве в церкви,— мысли ее всегда были заняты красавцем героем, ослепившим ее своими великими замыслами, своею беззаветною удалью и мужественною красотой. Сотни раз перебирала она в своей памяти все малейшие подробности встречи с Кармелюком, и в глубине ее души какой-то робкий девичий голос шептал ей, что в словах героя звучала не одна простая любезность, а в глубине его чудных глаз светилось нечто большее обычной ласки...

Не давая сама себе отчета в том, Олеся ждала и ждала Кармелюка. Ждала его и вечером, и днем, и темной ночью, и на заре...

Окончив свои дневные работы, она спешила на край садика и, склонясь на плетень, устремля[ла] задумчивый взгляд на убегавшую вдаль кремнистую дорогу, тонувшую в багровых лучах заходящего солнца, и ждала, и ждала... Не вынырнет ли из столбов золотистой пыли могучая фигура всадника? Не подлетит ли он к ней на взмыленном коне?

В лесу она забиралась с дивчатами в самую глубину с тайной надеждой увидеть Кармелюка. Ночью при малейшем стуке в ворота она вся вздрагивала, садилась на постели, а сердце колотилось, трепетало в груди и стучало: «Он, он!»

Любовь и мечты опутали все существо девушки какою-то золотою волшебною сеткой, отделившею ее от внешнего мира.

Но время шло, а Кармелюк все не появлялся. Напряженное ожидание сменялось в душе Олеси глубоким отчаянием.

«И откуда она забрала в голову, что Кармелюк приедет сюда? — твердила она себе, с болезненною горечью разбивая свои радужные мечты.— Почему должен он помнить о ней?.. А его слова? Его клятва возле тюрь-

мы?» — шептала вслух Олеся, печально поникая головкой над своим шитьем.

Так чередовались в душе девушки надежда и сомненье и своею вечною сменой поддерживали и раздували прорвавшийся в ее сердце огонек. От этой постоянной тревоги Олеся сразу возмужала и из робкой, застенчивой девочки превратилась в прелестную девушку, грустную и задумчивую. Она никуда не ездила, отказывалась навещать соседей. Единственным развлечением ее была беседа с дивчатами об удалых подвигах Кармелюка. Девушек не надо было искусственно возбуждать: Кармелюк и его подвиги были у всех на устах.

Из этих разговоров Олеся узнала, что Кармелюк происходит родом из села Головчинцев, где у него остались жена и двое детей.

Это неожиданное сведение наполнило сердце девушки непонятною, но острою горечью. Собственно, мечтая о Кармелюке, Олеся желала только одного: видеть его, слышать его голос, иметь возможность окружать его самою нежною заботой, жертвовать за него своею жизнью. Конечно, всем этим мечтам не могла мешать наличность жены Кармелюка, но Олеся все же чувствовала глубокую горечь и обиду.

«А я еще думала, что он приедет к нам,— повторяла она себе.— На что я ему? Станет ли он и думать обо мне?! У него есть жена; она будет заботиться о нем, она отдаст за него свою жизнь... А я?.. Бедная я, глупая дивчына, не нужная никому!»

Но доводы рассудка не останавливали порывов сердца, и мечты Олеси все так же неизменно неслись к Кармелюку.

Впрочем, известия об его подвигах стали все реже доходить до затерявшейся в лесах Деражни и вскоре совершенно прекратились.

Настала зима. Дороги завалило снегом. Еще реже стали долетать в засыпанный снегом домик батюшки вести из внешнего мира. Как вдруг на самое крещенье пришла в Деражню страшная новость, поразившая всех: Кармелюк предательски схвачен и отправлен в тюрьму!..

Ужас, и горе, и страшная тоска охватили Олесю; от неожиданного душевного потрясения она заболела.

И матушка, и нянька решили, что девушку сглазил недобрый человек. Приводили разных баб-шептух и зна-

харок; выливали на воск, вышептывали, выговаривали, переводили Олесю через порог... Батюшка служил молебны, но ничего не помогало. Олеся хирела, желтела и становилась все молчаливее.

Более всего ее мучила страшная тоска, впившаяся в ее сердце.

Медленно охватывало душу девушки сознание, что она любит Кармелюка всем сердцем, всей душой.

«Как бы помочь ему? Как спасти его?» Эти мысли терзали беспрерывно Олесю, но чем чаще толпились они в ее голове, тем ярче сознавала она свое полное бессилие, тем теснее охватывало ее беспросветное отчаянье.

Наконец пришло известие о предназначенной Кармелюку каре и об отсылке его в полк. Весть эта словно прихлопнула всю душевную жизнь Олеси тяжкой крышкой гроба. Мыслям о помощи и спасеньи не оставалось больше места. Неизвестно, как бы перенесла Олеся это тяжелое испытанье, если бы не надежда, упорно не желавшая умирать в молодом сердце. «Он вернется, вернется, вернется!» — твердит в ней чей-то настойчивый голос.

«Вернется! Вернется! Где им удержать его!» — твердили вслух и нянька, и девушки, и приходившие к батюшке крестьяне, и даже приезжие священники.

Еще больше способствовало этой общей уверенности то, что в действительности от времени до времени в Деражню прилетало тревожное известие: Кармелюк вернулся.

Лихорадочный восторг охватывал Олесю; дни, недели она не жила, а пламенела. Но вслед за короткою радостью наступало разочарование,— оказывалось, что проявившийся разбойник был не настоящий Кармелюк, а назвавшийся его именем один из членов его бывшей шайки, что самозванец уже пойман неустрашимым Янчевским и предан суду.

Так жила Олеся, переходя от радости к отчаянью. Прошел год, потянулся другой... Видя такое болезненное состояние дочери, матушка и батюшка, посоветовавшись со своими соседями, решили прибегнуть к самому радикальному средству: выдать Олесю замуж. В женихах, конечно, недостатка не было. Но когда Олеся узнала о решении родителей, она пришла в такое бурное отча-

янье, что добрые старики тотчас же сдались и отложили все помыслы о сватовстве до тех пор, пока кто сам не приглянется дивчыне.

На этот счет Олеся успокоилась. Но известия даже о мнимом бегстве Кармелюка приходили в Деражню все реже и реже и наконец совершенно прекратились.

А время шло! Два раза стаивал снег, два раза одевались поля и леса новой зеленью, и печаль совершенно подружилась с молодой девушкой.

Был теплый весенний вечер. На краю поповского садика, примыкавшего к большой проезжей дороге, стояла Олеся, склонившись на высокий плетень, густо поросший барвинком, дерезой и другими ползучими растениями. Она задумчиво глядела вдаль, но в этом взгляде не было ни ожидания, ни надежды...

Проводить вечер здесь, на краю сада, вошло в привычку девушки,— здесь как-то вольнее дышалось, уходила далеко скучная сутолока рабочего дня и тихая печаль беспрепятственно охватывала ее душу. Безо всякой мысли и мечты следила Олеся за убегавшею в розовую даль дорогой, как вдруг ее внимание привлекли две необычайные фигуры, появившиеся из-за угла. Это были пан и пани — Розалия и Демосфен.

Красавицы, разодетой в дорогой современный костюм, огромную шляпу, подвязанную лентами под подбородком, и тончайшую белую мантилью, облегавшую ее плечи, Олеся не узнала, но Янчевский был ей несколько знаком: она видела его проезжавшим через их деревню и слышала, что это—главный герой панства, победитель Кармелюка. Пан и пани шли пешком. Это необычное явление поразило Олесю. Сердце ее екнуло, предчувствуя, что с появлением этих господ связано что-то роковое.

Паны говорили. Олеся замерла у плетня и стала прислушиваться к их беседе. Ни Янчевский, ни Розалия не обратили внимания на русую головку, выглядывавшую из-за зеленой изгороди; правда, зелень маскировала ее, но, и помимо этого, она ничем не отличалась от сельской дивчыны и не могла внушить ни малейшего опасения.

Розалия и Демосфен шли, тесно прижавшись друг к другу, как люди совершенно близкие. Янчевский вел красавицу под руку и ежеминутно нагибался к тонкой

ручке, покоившейся на его руке, покрывая ее поцелуями.

После ужасного скандала, произведенного письмом Кармелюка, Янчевский первый пришел в себя и тотчас же начал растолковывать и пану маршалку, и собравшимся панам, что в письме негодяя, несмотря на грубую хлопскую наглость, нет для шановной пани ничего оскорбительного... Конечно, подлый хлоп был поражен любезным приемом, который оказала ему, как графу, «наша крулева», что же касается возвращенных бриллиантов, то Янчевский объяснил это тем, что хитрый грабитель побоялся сбыть эти вещи, ибо они легко могли навести на его след, и потому возвратил их назад, предполагая, что, ограбив высокошановного шляхтича, он при помощи своей низкой хитрости сможет вырвать у него и драгоценнейшее достояние дворянина — честное имя!

— Но благородные люди верят благородству других и чтут женщину как святыню! — высокопарно заявил Янчевский.

Гости, тронутые громовой речью Янчевского, тотчас же бросились к маршалку, выражая свое сочувствие и готовность отомстить за честь пани.

— Панове! Милости прошу у вас: предоставьте это мне! — заявил гордо Янчевский.

Лежавшая в обмороке Розалия слышала всю речь Янчевского. И когда последний с помощью маршалка перенес бесчувственную красавицу в будуар, она наградила его теплым пожатием руки.

Несколько поцелуев, две истерики, один обморок — и Розалия убедила супруга в своей полной невинности. Но с Демосфеном дело обстояло несколько иначе.

Защищая красавицу, Янчевский рассчитывал заслужить ее благодарность и заполучить ее в свои руки, сам же он был вполне уверен, что Кармелюк писал в своем письме правду и что неприступная красавица в действительности расточала подлому хлопу те ласки, в которых так долго отказывала ему.

Розалия сразу почувствовала, что Янчевский знает истину и хочет при помощи этой истины держать ее в руках, и ловкая женщина сразу же приняла верную тактику. Словно поддаваясь невольному влечению, она стала оказывать Янчевскому все больше и больше знаков

внимания и в несколько недель так обсахарила упрямого Демосфена, что он уверовал в невинность своей обожаемой крулевы. Розалия совершенно подчинила его себе: он смотрел ее глазами, слышал ее ушами, думал ее мыслью. Таким образом, в руках красавицы очутились два преданных раба, расположенных друг к другу. Хотя последнее было сделано отчасти и помимо желания Розалии, но, во всяком случае, Янчевский во всех отношениях превосходил ее почтенного супруга, а, во-вторых, поимка Кармелюка и другие подвиги окружили Янчевского ореолом неувядаемой славы, и честолюбию красавицы весьма льстило, что всеобщий кумир был ее верным псом, почитавшим за величайшее счастье лежать у ее ног.

Итак, появившиеся на дороге фигуры вели между собою такую беседу.

— Крулева моя, богиня моя! Ты не можешь себе представить, какой ужас охватил меня, когда я услышал эту страшную новость; я вспомнил, что вы гостите у Пигловского, и, презирая всякую осторожность и призыв судьи, бросился сломя голову, чтобы предупредить вас и привести тебя домой. И рыцарь твой неужели не заслужит за это никакой награды? — заключил Янчевский, бросая на красавицу пламенный взор.

— Прежде чем обещать награду, надо убедиться в том, что рыцарь мой не сделался снова жертвою ошибки,— отвечала Розалия с искусственной улыбкой.— Уж столько раз толковали о том, что Кармелюк вернулся, и каждый раз оказывалось, что это был какой-нибудь глупый хлоп, называвшийся его именем.

— Але, злото мое, теперь не остается уже ни малейшего сомнения в том, что проявившийся здесь Кармелюк есть тот подлинный разбойник, которого я собственными руками передал в руки правосудия.

Увлеченные своею беседой, Розалия и Демосфен не слышали того подавленного восторженного вопля, который раздался в садике священника.

— Прежде всего — получена формальная бумага, что Кармелюк бежал из полка, что разбойника проследили до самого Проскурова, что оттуда он бросился в наши места... Я и направился было к судье, но встретил по дороге эконома, который клялся всеми святыми, что встретил Кармелюка, а он его знает прекрасно... Значит, правда — он здесь... Я бросил тогда судью и все на све-

те... а вспомнил свою зорьку... и приказал свернуть с дороги да и скакать к пану Пигловскому...

Здесь паны завернули за угол по направлению к домику батюшки.

Олеся сжала руками свое трепетавшее сердце и замерла в благодарственной молитве. И радость, и слезы, и слова молитвы — все смешалось в ее ошеломленной душе. Несколько минут стояла она так, прислонившись к плетню, не имея силы двинуться вперед. Наконец ей удалось овладеть своим волнением, она вспомнила, что гости направились, по-видимому, к ним и что из их беседы можно узнать еще что-нибудь о Кармелюке, — в одно мгновение отерла она с лица радостные слезы и бросилась к дому.

Она застала уже панов сидящими на лавочке в саду, окружавшем крошечный домик ее отца; мать стояла перед ними и с низкими поклонами просила войти в хату.

Янчевский наотрез отказался принять это приглашение; он объяснил, что они посидят здесь только одну минуту, что экипаж их сломался, но его обещали в кузне тотчас же исправить и что пан маршалок немедленно подъедет за ними, но что если у матушки найдется стакан холодного меду и ломоть доброго хлеба, то он с удовольствием подкрепит свои силы.

Обрадованная возможностью услужить чем-нибудь вельможному пану, матушка бросилась со всех ног исполнять желание своего высокопоставленного гостя и пригласила Олесю следовать за собою.

Но на этот раз Олеся не послушала матери. Войдя в сени, она притаилась за дверями и стала прислушиваться к беседе панов.

— Но расскажи же мне, каким образом и где встретился эконом с этим дьяволом? — обратилась Розалия к Демосфену.

Янчевский начал рассказывать слышанную из уст Глевтюка историю встречи его с Кармелюком.

Затаив дыхание, с разгоревшимся от волнения лицом, прислушивалась Олеся к рассказу Янчевского; несмотря на все «лестные» эпитеты, которыми снабжал пан прозвище Кармелюка, она ясно видела новое доказательство его благородства и беззаветной удали.

Кто знает, что чувствовала в действительности Розалия, слушая рассказ своего рыцаря! Бледность сменялась

на ее лице теплым румянцем, но тонкие губки были плотно сжаты, и это придавало ее лицу гневное выражение.

Два различных настроения сталкивались в душе красавицы: с одной стороны — злоба на подлого хлопа, который так хитро обманул ее и вырвал у нее своими чарами признанье в любви, с другой стороны, вставало полное неги воспоминание о душной летней ночи и о кипевшем страстью красавце, несшем ее, Розалию, на руках,— и это воспоминание умеряло злобу в сердце пани. А, да все это было бы ничего! Кармелюк давно уже вышел из хлопства, и кто знает, не ближе ли он был к пану Пигловскому, чем к своему отцу? [58] Но поступил он по-хлопски — написал мужу, и этого нельзя простить никогда!

Последняя мысль и заставляла Розалию нервно покусывать свои губки.

— Ты не бойся, ангел мой,— заключил тихо свой рассказ Янчевский, сжимая незаметно ее руку,— клянусь честью, не больше как через неделю я поймаю его и приведу к тебе!

— О да! — произнесла с жаром Розалия, сверкнув глазами.— Я сама хотела бы ему отомстить! Ах, если бы пан знал, как напугал меня тогда этот подлый хлоп, сколько заставил пережить!

При этих словах красавицы Демосфен весь побагровел.

XL

— Не будет той кары, которой я не придумаю! — прохрипел он, с силой ударив кулаком по деревянному столу, вкопанному на одной ножке в землю.— Теперь уже я его не передам москалям. Сам расправлюсь с ним, своими руками слуплю с него шкуру! О, я припомню ему эту проделку!..

— Герой мой! — пропела томно Розалия.

— Но награда?..— здесь голос Янчевского понизился до шепота, и как ни напрягала своего слуха Олеся, а не могла разобрать, что шепчет пани пан, склонясь к ее розовому ушку.

В это время послышался из комнат голос матушки. Олеся поспешила на зов и вскоре появилась вслед за

матерью и двумя девушками, нагруженными посудою и подносом с бутылками и стаканами.

Выйдя в сад, матушка начала с низкими поклонами расставлять перед гостями все яства и пития, которые только отыскались в ее хозяйстве. Олеся помогала матери.

Но на этот раз Демосфену [не] удалось как следует удовлетворить свой аппетит.

Послышался лошадиный топот, и к воротам батюшкина двора подкатил великолепный дормез маршалка, запряженный встяж четверкой крупных лошадей. Лакей соскочил с козел, распахнул дверцы и почтительно высадил маршалка, который за последние два года еще более расползся и отяжелел.

— Ну что? Надеюсь, ничего особенного? — крикнул Янчевский.

Маршалок не сразу ответил на вопрос приятеля.

— Фу ты, душно! — передохнул он и тяжело опустился на лавку; затем вынул из кармана платок, отер им лоб, помахал им себе в лицо и только тогда, не обращая ни малейшего внимания на поклоны матушки и Олеси, ответил: — Самый пустяк, пане, кузнец уже наладил, можно и ехать. Но своею ужасной новостью ты меня словно обухом по голове. Не знаю, что и делать? Дать знать москалям?.. В Каменец ехать?.. Ох, у меня вся кровь бросилась в голову!..— Маршалок развел руками и затем принялся снова обмахивать себя платком.

— И в Каменец пока ехать не надо, и москалям давать знать незачем,— возразил Янчевский.— Хорошо уберегли они его!

— О,— маршалок побагровел.— До сих пор не могут избавить нас от разбойника!

— Вот потому-то мы и должны сделать это сами.

— Сами, сами! — загорячился маршалок, и изо рта его забрызгала слюна.— Что же, пан думает, что я сам, в мои лета и при моем сане, должен гоняться за збойцей по лесам и болотам? Но об этом после... А вот скажи, как ехать теперь? Скоро ночь... дорога лесная... Не остаться ли нам до утра здесь?

— Бронь боже!—воскликнул поспешно Демосфен.— Здесь, среди хлопов? Что это тебе, пане, пришло на ум? Мы доедем сейчас до Вишенек и переночуем у пана Станислава. Оттуда и разошлем гонцов по всем соседям.

А мне нужно лететь вихрем к пану судье... принять тоже меры... Нам надо сплотиться всем и действовать общими силами. Жаль, что Хойнацкого нет... И где его носят перуны? Сейчас бы пригодился... Ну, конечно, ты, пане Адаме, и по летам своим, и по своим доблестям достаточно послужил отчизне, и мы должны щадить твою жизнь для...

— Спасибо, спасибо, друг...— пробормотал тронутым голосом маршалок, сжимая Янчевского.— Но я всегда готов... жизнь за шляхетство и отчизну... только помоги мне припрятать жену в безопасном месте... ее... ее... она не вынесет...

— Я отвечаю своею жизнью за жизнь нашей крулевы. Но нам надлежит соединиться всем, призвав к тому и верных слуг, выследить немедленно берлогу проклятого пса, окружить ее со всех сторон и устроить знатную облаву! Судя по рассказу панского эконома, видно, что у шельмы нет еще ни денег, ни людей, а потому, если мы не станем терять часа и немедленно приступим к делу, то, ручаюсь своей честью, через неделю дьявол будет опять в моих руках!

— О так, так! Ты не только Демосфен, но и Соломон наш! — воскликнул с восторгом маршалок.— Але не будем тратить часу,— добавил он, боязливо оглядываясь по сторонам.— До Вишенек верст восемь... Смеркает...

— Так, так,— согласился поспешно Янчевский и, встав с места, предложил руку Розалии.

Панство направилось к экипажу; матушка последовала за ними с низкими поклонами.

Олеся осталась в саду. Бурная радость, охватившая ее, сменилась смертельным ужасом.

«Спасти! Спасти его во что бы то ни стало! Предупредить!» — Эта пламенная мысль охватила в одно мгновение все ее существо.

— Так, так... не теряя времени, дать знать об опасности... о затеваемой ловушке...— зашептала вслух девушка, стискивая до боли руки.— Но как дать знать? Куда дать знать?..

Олеся похолодела. Она подняла голову и с ужасом оглянулась кругом, как будто надеялась найти в окружающей природе ответ на вставший вдруг перед нею ужасный, неразрешимый вопрос.

Кругом все было тихо и безмолвно.

Глубокий стон вырвался из груди Олеси, и, заглушая рыдания, она упала лицом в траву...

Минуту простоял Кармелюк в нерешительности, одну минуту, но она показалась ему вечностью... Экипаж стоял все еще у ворот, Янчевский неистово ругался и доказывал своему кучеру, что он, Фабиан, и глуп, и ленив, и ехиден, как гадина, что его, подлого хлопа, следует тут же выпороть, да так, чтобы всю шкуру спустить... Янчевский своею польскою речью желал убедить кучера в справедливости этого мероприятия, но последний упорно молчал и, видимо, не соглашался с мнением своего господина, а последний входил еще в больший азарт. Любопытная челядь судьи сбегалась со всех сторон, привлеченная криком пана презуса, и, обнажив головы, останавливалась в почтительном расстоянии... Миновать эту пеструю группу не представлялось возможности. Нужно было идти прямо чуть ли не на самого Янчевского, стоявшего у фортки, и идти при полном лунном освещении... Голос судьи: «Позвольте, пане, я вас и познакомлю» — вывел Кармелюка из оцепенения и заставил броситься в самый огонь. Насунув на лоб шляпу и подняв воротник плаща, Кармелюк устремился вперед, словно не расслышал судьи; к счастью, Янчевский в это мгновение рассматривал старательно ось и не обратил внимания на проходившего пана...

Когда же тучный судья, запыхавшись, подошел близко к Янчевскому, то почтенного гостя, которого он желал представить, не было уже видно...

Судья поспешил увести Демосфена в свой кабинет; там встретила его и жена судьи, пани Агата; в легком воздушном наряде, в локонах и приподнятой на высокий гребень прическе она была пикантна и обворожительна. Янчевский при виде ее размяк и подлетел к ручке.

— Я на пана сердита! — протянула руку судьиха, откинув голову назад.

— О горе! Чем мог я прогневать пышную королеву?

— Какая я королева? Эй пане, не лукавь! — засмеялась Агата и погрозила Янчевскому пальцем.

— Правда, пшепрашам! — спохватился словно испуганно Демосфен.— Не королева, а богиня... Клянусь це-

лым Олимпом! Зевс при пани Агате и не посмотрел бы на Клио...

— А пан, если б был Зевсом? — прищурила глазки Агата.

— Разогнал бы всех нимф и богинь...

— И даже Данаю?.. — подчеркнула она.— Правда, на земле она носит имя, подобное розе...[59]

Янчевский покраснел, но через минуту оправился и ответил шутливо:

— Роза, пани, прекрасный цветок, хотя и с шипами, и это не новость, но чтобы лилия имела скрытые шипы, так это поразительно.

— А пан бы желал, чтобы все цветы не имели шипов?

— Натурально!

— Да полно вам жартовать,— прервал наконец словесную схватку судья.— Дело серьезное... можно даже сказать — чрезвычайной важности... так не до шуток. Вот бумага про этого аспида Кармелюка! Я пану презусу сообщил позавчера и ждал еще вчера егомосць... да вот на превеликую силу... Где пан был?

Янчевский на минуту смешался.

— Услыхав про эту новость, — начал он, — я тоже должен был принять некоторые меры... известить нужных людей об осторожности.

— Даю слово,— захохотала Агата,— что пан был у маршалка и сообщил пани маршалковой, скрепя сердце, опьяняющую радость.

Густая краска покрыла щеки Янчевского; глаза его заискрились.

— Пани ошиблась,— бросил он со злостью.— У панства Фигнер я не был, а был у пана Пигловского, это — primo, а secundo — весть про появление разбойника не может быть радостною.

— Панство Фигнер гостили, я знаю, как раз в это время у пана Пигловского,— это primo, а secundo...— протянула Агата и, заглянув близко в глаза пану Янчевскому, расхохоталась и убежала.

— Шалунья,— заметил добродушно судья.

— Гм... да... Но с раздвоенным язычком,— добавил не то шутливо, не то ехидно Янчевский.

Судья поморщился и поспешил изменить тему беседы:

— Поговорим лучше о Кармелюке, а то гости нам помешают... У меня ведь сегодня дябелка...

— О? Это, пожалуй, заманчивее, чем пересуды о псе...

— Заманчивее, когда не боишься, что сзади тебя хватят за икры.

— Стреножим зверя! — крикнул хвастливо Янчевский.— Я имею верные вести, что он тут, вблизи, прячется в трущобах. Поставим капкан и поймаем... Раз уже был он в моих руках, так и другой раз не увернется!

— Но где его искать?

— Нужно обшарить все ближайшие леса, и сделать это немедленно, пока он не успел еще набрать банды... Я предлагаю, пане судья, устроить общественную облаву,— всем вырушить!

— Ну где мне?! — откликнулся на кресле побледневший судья.

— Почему же? — возразил презус.— Маршалок наш не худее пана судьи, а пойдет... Но прежде всего вот что: нужно известить всех соседних панов, экономов, посессоров и дозорцев о Кармелюке и потребовать, чтобы они зорко осматривали свои леса... и при малейшем подозрении дали бы сейчас сюда знать, а второе — нужно найти верного шляхтича из загоновой шляхты, заплатить ему хорошо, чтобы он прикинулся хлопом и поступил бы в банду к Кармелюку, а потом, разведавши все, донес бы нам и провел бы к его логовищу!

— Досконале,— потер руки судья,— вот эта мысль мне весьма по душе и плодотворнее всяких извещений соседей: они если боятся Кармелюка, или не хотят двинуться с места, или жалеют на общее дело гроша,— а только всегда эти извещения прячут в шуфляду... И только когда припечет беда. поднимают лемент...

— Да, равнодушие к общественным интересам губило всегда Польшу,— заключил сентенциозно Янчевский.

В дверь кабинета впорхнула снова Агата и заявила тоном, не допускающим возражений:

— Довольно! Все уже собрались... Стол раскрыт... Вы про этого графа успеете еще наговориться...

— Вот она — настоящий презус и командир,— развел руками судья.

В зале было шумно. Местная администрация и аристократия уже разгуливала из угла в угол в ожидании карточной битвы или останавливалась выслушать какую-либо тревожную новость. Среди собравшихся гостей находились и городничий, и смотритель тюрьмы, и моло-

дой Рудковский — секретарь комиссии, и две-три дамы. После взаимных приветствий хозяин, окинув взором гостей, обратился к Агате.

— А что, пана Кшижановского все еще нет?

— Не вижу,— оглянулась Агата.

— Странно, обещал в минуту вернуться,— процедил недовольно судья, а потом заговорил громко: — Я вам, дорогие гости, приготовил сегодня сюрприз — волынского карася... Карась икристый... Несколько тысяч злотых... Сам видел...

— О? — потер руки маленький, шаровидный городничий.— Как же это я, хозяин пруда, и не ведаю, какая ко мне приплыла рыбица?

— Да, щука маху дала! — улыбнулась, прищурив глазки, Агата.

Смотрительша тюрьмы захохотала и, обняв рукою стан судьихи, стала с нею о чем-то перешептываться.

— Да где же он? Познакомьте, пожалуйста, поскорее!..— отозвался смотритель.

— С его карманом...— добавил Рудковский.

Все засмеялись.

— Я сейчас пошлю за ним,— засуетился судья,— он в корчме... Пошел переодеться...

— А пока он явится, мы начнем... Времени терять нечего! — попросила гостей Агата, охваченная щемящим волнением.

Игра началась и сразу приняла азартный характер; у игроков заискрились глаза, а лица запылали румянцем; игра всех приковала к столу... В зале воцарилась тишина, прерываемая лишь отрывистыми сухими словами назначаемых ставок. Через четверть часа на пороге появился лакей и объявил, что пана Кшижановского нет в городе.

— Как нет? — всполошился судья.

— А так, вельможный пане,— ответил посланный,— изволил выехать из города пан Кшижановский.

— Каким образом?!

— Жид говорит, что пан заезжий, когда пошел к егомосци, то не велел отпрягать лошадей, а когда вернулся, то бросил жиду десять злотых, вскочил в коляску и пустился из города вскачь...

— А, Перун его забей! Это он так удирал от дябел-

ки! — возмутился судья.— Этакая скареда... старый брехун! А как расписывал, что любит страшно азарт... Вот бестия! Сказано, что из литвина — одна скотина!

— Да откуда пан его выдрал? — полюбопытствовал городничий.

— Явился по делу... имение хочет приобресть в нашем крае.

— Так он, значит, не уйдет,— заметил смотритель.

— Не уйдет, не уйдет,— засмеялась Агата,— мы с пани маршалковой удержим!.. А пока досыть... иду пець... угол... на... пе...

Игра снова вспыхнула...

Было уже довольно поздно. Два раза прибегала покоевка сообщить по секрету хозяйке, что ужин готов, что повар беспокоится, а пани Агата все не желала прервать игры... Но вот снова отворилась дверь и появившийся лакей сообщил:

— Пан Хойнацкий!.

XLI

Все приподняли головы, повернув их к двери; пан судья со своею супругою поднялись с места; Янчевский встал тоже приветствовать своего дорогого приятеля... и вот появился у дверей Хойнацкий, но не сам, а два пахолка вели его под руки.

— Боже! Что с паном? — протянул руки судья.

— Пан болен? — пропела участливо пани Агата.

— Что с тобой, Вицент? На тебе лица нет! — затревожился Демосфен.

Действительно, жалкая фигура пана Хойнацкого могла возбудить не только сострадание, но и смех: одежда на нем была изорвана, вся в грязи; сам он был бледен как полотно; крупные капли пота, смешавшись с дорожною пылью, грязными линиями бороздили его исцарапанное лицо; сбившиеся волосы лепились беспорядочными космами на висках, а на затылке торчали; полоумный взгляд пана был неподвижен; спина его казалась сломанною; ноги и руки дрожали... Было очевидно, что если бы пахолки выпустили пана из рук, то он растянулся бы колодой...

Забросанный вопросами, Хойнацкий молчал, тяжело

переводил дыхание и смотрел тупым, испуганным взглядом...

— Да что с тобой, друже? — подошел ближе Янчевский и тронул его за плечо.

— Кармелюк! — произнес наконец со стоном Хойнацкий.

— Кармелюк?! — раздался дружный крик в зале, и все, словно от электрического удара, сорвались со своих мест и окружили несчастного гостя.

— Тебя встретил, ограбил... искалечил, быть может? — затревожился Демосфен.

— Матка найсвентша, спаси нас! — взвизгнули дамы.

— Дайте пану напиться вина, он еле на ногах держится,— заметил судья.

Пани Агата бросилась распорядиться.

— Ты не ранен? Не искалечен? — допытывался Демосфен.

Хойнацкий отрицательно закачал головой, он не мог произнести ни слова. Его усадили, дали ему стакан холодной воды, а потом добрую чарку арака. Последний произвел на пана благотворное действие. На бледном лице его показался румянец, в глазах появилось оживление... Наконец он оправился и произнес уже более спокойно:

— Я голоден.

— Так милости просим, дорогое панство, в столовую! — пригласила всех обрадованная хозяйка.—Я дорогого гостя под руку поведу... Мне наш славный пан Демосфен поможет... Ведь мы же с паном друзья!.. Я так рада, так рада, что пану Вищенту, т. е. лично его особе, не причинил этот разбойник вреда...

— О, посмел бы он только! — возразил уже с заносчивой смелостью пострадавший.

— Дайте ему прежде всего подкрепиться,— прервал судья,— а потом пан расскажет о своей любопытной встрече с этим дьяволом...

Гости шумно заняли места за столом. Первое щемящее впечатление, произведенное словом «Кармелюк», несколько выветрилось и уступило место лишь любопытству да призывам желудка. Все набросились молча на предложенные щедрою хозяйкой всевозможные снеди и пития. Хойнацкого угощала сама хозяйка, а роль виночерпия исполнял усердно Янчевский. Ужин шел молча и торопливо, пока не заговорил пан Вицент.

— Ну, дорогое панство, теперь я, благодаря радушию прелестной хозяйки, совершенно оправился, да, совершенно... Я приехал сюда и едва мог стоять на ногах... но не со страха, не от перепуга... Бронь боже!.. а просто от голода... Почти три дня не было роски во рту...

— Но пан видел, действительно видел Кармелюка?— спросил тревожно судья.

С минуты приезда Хойнацкого его не покидало беспокойство, а, напротив, все росло и росло.

— Как пана судью вижу!

— Какой же он? Какой? — трепетала от нетерпения и любопытства Агата.

— Огромный... гигант... глаза горят... голос... Нож... Одним словом... но, впрочем, шляхтичем выглядит... пресличный. Ну, со мною обошелся не только любезно... но даже, можно сказать, с полным почтением. Слово гонору... Конечно, мой вид внушает...

— Так что его пан мог принять и за графа? — протянула Агата, бросив украдкой на Демосфена многозначительный взгляд.

— За графа?! Пшепрашам, пани кохана... ночью трудно разобрать... Хотя как же? Хлоп — и за графа?..

— Да расскажите, пане, лучше по порядку! — отозвались две дамы.

— Именно, и пообстоятельней,— заметил Янчевский.

— Не пропускай ничего,— добавил судья.— Как? Где и что? Нужно доподлинно знать, настоящий ли это Кармелюк?

— Настоящий!.. Кармелюк, я сразу же узнал его! — заговорил, запинаясь от охватившего снова волнения, пан Хойнацкий.— Да от одного взгляда его...

— Промочи еще глотку... вот хоть медом,— посоветовал Демосфен,— да вспоминай все спокойно... Теперь ты среди друзей, в полной безопасности.

— Да, конечно, конечно,— отхлебнул тот из сунутого ему келеха,— а мне что? Ого-го! Я ему так отрезал — побледнел даже, бестия... Но жаль, что я был один.

— Это чрезвычайно важно,— прервал судья.

— И близко от нас? — всполошился городничий.

— По порядку все... все! А то только портите интерес! — промолвила капризно судьиха, стукнув о тарелку ножом.

— Пшепрашам, пани кохана! Вот как было,— начал Хойнацкий, проглотив добрую половину келеха меду.— Еду я к Пигловскому... конечно, на твой хутор...

— И не заезжаю, конечно, к приятелю, по врожденному свинству,— вставил тем же тоном Янчевский.

— И не заезжаю к приятелю из деликатности,— подчеркнул Хойнацкий,— так как уже было поздно,— это раз, и так как в корчме мне сказали, что приятель выехал из дому,— это два. Ну, так вот, не заезжаю и в корчме на ночь не останавливаюсь, хотя меня и жид, и мои пахолки попугивали Кармелюком, но мне нужно было экстренно.

— Даже экстренно? — улыбнулся Янчевский.

— Нет, не то, а до правды,— смешался Хойнацкий.

— Да не мешайте, пане презус,— заявила нетерпеливо Агата,— а то перезабудет, вспомнив экстренность...

— Нет, пани, экстренность не уйдет,— хихикнул рассказчик и продолжал деловым тоном: — Так вот, несмотря на упрашиванья, я крикнул: «Плевать мне на Кармелюка!» — и покатил к Гутовому лесу... Ночь теплая... месяц светит... катит моя четверка... Я дремлю в коляске... Переправились мы благополучно через болото... поднялись на горку и покатили лесом... И вот там, в лесу, есть тоже крутой спуск в овраг, а в овраге мостик.

— Это недалеко от меня?.. Я знаю это место!—перебил Демосфен.

— Да, не дальше мили,— продолжал Хойнацкий.— Так вот, не знаю почему, но, кажется, шельма фурман не сдержал лошадей; слышу я сквозь сон, что подхватили кони, и вдруг — тр-рах! Мостик проваливается, экипаж набок, и я повис в воздухе.

— Ай! — вскрикнули дамы.

— Но не успел я прийти в себя,—продолжал рассказчик,— как появилась масса вооруженных людей... Масса, да, панове, масса! Мне казалось, что каждое дерево превратилось в гайдамака, каждый куст — в ведьму, и все это бросилось на меня... И это так и было; среди разбойников виднелись и разбойницы с ножами и пистолетами — это верно!

— Ах, как это интересно!—всплеснула руками Агата.

— Чтобы очень было интересно — не скажу,— улыбнулся Хойнацкий.— И если бы на моем месте был кто другой, то умер бы сразу от страха, особенно когда по-

дошел к коляске атаман... Но я не растерялся, а гордо ему крикнул: «Кто естесь?» — «Кармелюк, вельможный пане,— отвечал атаман дрогнувшим голосом.— Но я,— говорит,— попросил бы почтенного добродия выйти из экипажа, а то совсем опрокинется в болото»,— и вежливо протянул мне руку... Ну, на вежливость и я, как добрый шляхтич, отвечаю вежливостью; но выйти мне почему-то трудно... Так он меня на руках вынес... як маму кохам, вынес и поставил на лунный свет... А потом как крикнет: «Это не тот дьявол, не собака Янчевский!»

— Ах он бестия! — крикнул Демосфен и побледнел как стена.

— Да, так и крикнул... Ты извини меня, друже!—бросил взгляд на своего приятеля пан Хойнацкий.— Потом, помнится, подскочила к нему какая-то ведьма... стал он ругаться, каждое слово его как молотом било по сердцу... но не по моему,— спохватился рассказчик,— я даже спросил его, как он смел снова вернуться? А он так вежливо мне ответил: «А сосчитаться нужно кое с кем... Ну что ж,— говорит,— коли ошиблись, нечего делать, поедем, вельможный пане, все-таки! Вместо твоего фурмана,— говорит,— сядет мой... потому что твоих людей мы перевязали... Прошу усердно,— молит,— извинить меня, но осторожность в каждом деле нужна.... Садись, пане, рядом с моею паней». Я взглянул, а в экипаже на первом месте сидит уже какая-то ведьма с огромным пистолетом... не ведьма, правда, а красавица... но наводящая ужас... Я сел рядом и прошу ее, чтоб она опустила эту игрушку, но она громовым голосом мне ответила, что если я издам какой-либо звук, так она мне выпалит в висок... Конечно, я замолчал,— какая же мне радость подставлять шляхетский лоб подлой хлопке?.. Сижу я под дулом... не могу сказать, чтоб спокойно... конечно, не дуло меня устрашает, а то, что хлопская рука смеет держать благородное оружие...

Одобрительный гул пронесся оживленно среди слушателей.

— Да, это обидно, — продолжал Хойнацкий. — Ну, покатили мы по неизвестным дорожкам и перед светом остановились в страшной трущобе... у какой-то корчмы... Кармелюк мне и говорит: «Я еще попрошу извинения у вельможного пана, но нам на первых порах нужны деньги... так дай взаймы на слово гонору...

— На слово гонору... Ах он бестия! — вскипел Янчевский.— Шельма, лайдак, хлоп сатаны, и еще смеет опираться на гонор!

— Да... Ну, а коли опирается на гонор, так я ему отдал: «На,— говорю,— пане, вот все, что у меня есть».

— И сам отдал? Да еще назвал паном? — возмутился Янчевский.— Я бы ему такого пана задал!!

— А вот увидим! Заметь, что ведьма держала над виском дуло... Потом Кармелюк вежливо предложил мне полезть в погреб, извиняясь, что на время, из предосторожности, должен меня лишить свободы, и прибавляя, что через два дня к моим услугам будут и мои лошади, и экипаж, и все полученное, что я должен буду еще неделю хранить молчание о случившемся, а потом уже могу поехать хоть к самому дьяволу-презусу и передать ему, что с ним, подлым комедиантом,— прости на слове,— посчитается Кармелюк...

— Посмотрим! — вскрикнул Янчевский, но в голосе его прорвалась непобедимая дрожь. И как ни старался он затушить медом тревогу, но она проскальзывала в побледневшем лице.

— Сунул он мне на прощанье в карман тот пистолет, который ведьма держала, говорит: «На память от моей красавицы!» — и, пожелав всего хорошего, запер надо мной ляду... Остался я один в темноте... Начала меня бить лихорадка... Вероятно, от сырости... Сидел я, сидел... и меня охватила тоска... невыносимая... сердце мучительно сжалось... холодный пот выступил на лбу... волосы поднялись... Я стал осматриваться кругом и заметил, что в одном углу погреба лежала лестница; ту, на которой меня опустили вниз, ведьма убрала, а про эту, вероятно, забыли. В продолжение целого дня я прислушивался,— вверху было тихо, ни один звук не долетал ко мне, хотя и в ляде, и вокруг нее были порядочные щели. Долго я поверял это все и стал наконец убеждаться, что меня бросили в глухой, нежилой корчме одного... Это меня и обрадовало, и настрашило... Я приставил лестницу, поднялся неслышно к ляде и стал прислушиваться: ни единого звука, только по временам чирикали где-то очень близко, чуть ли не над лядой, воробьи... Это меня еще больше уверило, что людей в корчме не было. Тогда я начал осматривать щели ляды и потихоньку дергать; оказалось, что она была не на зам-

ке, а на щеколде... Отворить ее было легко... Я было хотел сейчас же воспользоваться свободою, но побоялся: мог быть вблизи где-либо часовой!.. С страшным нетерпением стал я ждать вечера... и вот наконец щель потемнела... Через полчаса я уже был в сенях корчмы. С ужасом я оглянулся,— было пусто, но какая-то тень прошмыгнула во двор... мне показалось — собака... Думаю: подымет лай, и меня накроют; но я нащупал пистолет и мысленно поблагодарил ведьму... Наконец, когда уже совсем погасла заря, я выполз на дорогу... Лес чернел... мрачный, угрюмый... страшные мохнатые тени надвигались со всех сторон, и казалось, что в непроглядной тьме горели везде какие-то дьявольские глаза, горели, кружились и налетали на меня огненными колесами; я перешел дорогу и бросился бежать... ветви меня хлестали, задерживали... рвали одежду... но я, сжимая в руках пистолет, смело шел вперед и вперед... Поднялся месяц... Лес наполнился таинственным светом... погони не было... пошли вперемежку поляны... я их перебегал... и наконец наткнулся на какую-то дорогу и на хлопа в повозке... От него я узнал, что близко Литин... Я приказал ему везти меня поскорее в город, пообещав хорошую плату... которую и попрошу у пана судьи.

Судья был мрачен как туча и ничего не ответил своему гостю, словно не расслыхал его слов; но Янчевский поспешил заявить:

— Мой кошелек тоже к твоим услугам... Но прости мне, мой друг... а в твоем рассказе много, знаешь... того, что рождает напуганная фантазия, а правдивого словно мало... Эта изысканная вежливость и при вежливости — твоя податливость... Потом, знаешь, этот погреб... Сам отдаешь деньги...

— Да ведь пистолет у виска! Это не шутка, пойми!— вскрикнул задетый Хойнацкий.

— И это все могло тебе причудиться!..

— Причудиться? Да вот он в кармане! Гляди! — И Хойнацкий выхватил из кармана длинный кусок... сухой колбасы.

В первое мгновение все даже шарахнулись в сторону, но, присмотревшись, разразились неистовым хохотом. Хойнацкий сам, взглянув на это оружие, онемел и, раскрывши рот, стоял столбняком. Его комическая фигура с протянутою колбасой вызвала гомерический хохот; сам

судья, забыв свое мрачное настроение, едва мог удержать руками колыхавшееся чрево.

— Панове! Я сохраню этот знаменитый кусок колбасы,— произнес торжественно Демосфен, взявши из руки приятеля напугавшее его «оружие».— Я сохраню его и укреплю на памятнике сего мужа как символ неустрашимости и доблести героя...

— Что же тут... ночь... разбойники... ножи... ружья...— путался сконфуженный Вицент.

— Да что вы смеетесь? — заступилась за своего гостя Агата.— При такой обстановке всякий бы из нас испугался не то что колбасы, но и кукиша... За здоровье пана Вицента; убежал ведь от таких злодеев, чтобы нас известить,—так за его храбрость!—подняла келех судьиха.

— Нех жие! — крикнули все оживленно и стали чокаться с смущенным паном Хойнацким.

— Но много ли у пана было денег? — спросил судья с тайною целью разрешить щемившее его недоразумение; он все время сидел как на иголках, ожидая с минуты на минуту, что Хойнацкий заговорит об его расписке, но последний молчал, и судья начал успокаиваться на том, что эпизод с распискою не имеет никакого отношения к Кармелюку, а все-таки ему хотелось в том убедиться...

— Денег в кошельке, который я отдал Кармелюку, почти не было,— ответил печально Хойнацкий.— Но там был... Да! — спохватился он тревожно.— Я и забыл... Это самое важное, что заставило меня поспешить сюда... Ради бога, молю, пане судья, не плати никому по своему документу, который был выдан мне тобою на взятые у меня взаймы десять тысяч злотых!

— Как?! — вскочил судья и остолбенел на месте.

— В чем дело? — заинтересовался Янчевский.

— А в том,— заговорил торопливо Хойнацкий,— что Кармелюк нашел в моем кошельке документ пана судьи и сказал, что он получит деньги с половины... так я молю, чтоб пан не платил...

— Я уже заплатил,— произнес хриплым шепотом судья, опускаясь на стул...

— Что ж это? Протестую, панове!.. Я не давал ни поручений, ни полномочий...

— Но приехал от пана почтенный старик, шляхетный пан, знающий всех,— бормотал судья.

— Так кто же был этот пан? — возопила Агата.

— Очевидно, не граф,— подчеркнул Демосфен,—а сам Кармелюк...

Агата закрыла руками глаза; все гости с ужасом уставились на тяжело дышавшего судью...

Прорвавшись в ворота, волынский пан бросился спешно к корчме; он не шел, а почти бежал, забыв свою сановитость; не входя в корчму, он сел в запряженный экипаж, сунул корчмарю талер и крикнул фурману:

— Гайда! Чтоб не встретить еще Кармелюка ночью!

— Ой-ой! — закачал жалостно головой еврей.— Лучше бы было ясновельможному пану переночевать здесь...

— Знаю, да неотложное дело...— буркнул пан и повторил фурману: — С богом!

Взвился бич, щелкнув, лошади с места рванули, и повоз, закачавшись на высоких рессорах, покатил грузно к заставе. Миновав греблю, Кармелюк крикнул Андрея, сопровождавшего экипаж.

— Слушай, ты возвратись незаметно в город да поезжай в другую корчму, а оттуда проберись как-нибудь к судье во двор и наблюдай зорко за этим шельмой Янчевским; как только достоверно узнаешь, куда он поедет, лети вихрем к нашей корчме и извести меня, а то снова ускользнет, дьявол!

Без погони, без особых приключений Кармелюк к рассвету подъехал к Ульяниной корчме. На последней просеке встретила его сама хозяйка.

— Господи! — всплеснула она руками.— Насилу дождалась своего ясного сокола! Что я выстрадала, что вынесла мук, целую ночь тебя дожидаясь! Сердце мое рвалось на куски, тоска гнула к земле... Все мне разные ужасы лезли в голову: то что тебя, моего голуба сизого, схватили, то будто тянут на дыбу...

— Радость моя, счастье мое! — промолвил, задыхаясь от сладкого волненья, атаман и сильною рукой поднял Ульяну и усадил возле себя в экипаж; она обвила его шею руками и замерла, прижавшись к груди своего возлюбленного; пламенные поцелуи, бессвязный шепот восторга прервали на время слова...

Наконец, успокоившись, заговорил Кармелюк.

— Твои предчувствия, моя рыбко, чуть-чуть не оправ-

дались: наскочил было я у судьи на самого Янчевского... Просто око на око... Нельзя было мимо пройти... Уже даже подумал было: капут; коли узнает, так пырну кинжалом — и квита!

— Ой лышенько! — скрикнула Ульяна.— Что же сталось бы с тобой! Ведь там челяди сила, а ты был один.

— Да я уже о себе и не думал: «Хто ма висеть, той не втоне!» Чему быть, тому не миновать... Но только, конечно, живым бы в руки не дался!

— И погубить себя из-за кучи злотых! А обо мне и не подумал! Ведь я бы тоже себя прикончила! Раз сказала, что ты мне теперь — вся жизнь, другого слова не будет... Нет, я тебя больше со своих глаз не спущу... Где ты — там и я! В огонь, так в огонь, в пекло, так в пекло! Но разом, вместе!

— Голубко, горличко моя! — прижал ее порывисто Кармелюк.— Нет, не голубка, а орлица с сильными крыльями и железным клювом! Такой орлицы, такого товарища я и искал... Теперь мне и море по колени!

— Нет, и отвагой жертвовать чрезмерно не следует: ты ведь и помимо меня для всех нужен...

— Спасибо, коли и твоя думка такая.

— Конечно, а потому на такое безумие я тебя больше не пущу... охвачу ноги руками... и не выпущу,— разве убьешь! Скажешь, нужно было денег,— пустое! Деньги раздобывать можно и с ножом в руке... а если подставлять свою голову — так в завзятой схватке, при криках да гиках, при зареве пожара...

— Ишь какая ты! Огонь — не баба! — воскликнул Кармелюк, поцеловал ее в голову и замолк, погрузившись в раздумье.

Экипаж между тем ехал тихо, переваливаясь, то натыкаясь на пни, то попадая в рытвины; тропинка извивалась среди дремучего леса и для такого рыдвана была почти непроезжею. Ульяна, выдвинувшись из экипажа, зорко следила за фурманом и указывала ему дорогу...

— А что, о Дмитре нет вестей? — спросил после долгого молчания Кармелюк.

— Как нет! — спохватилась Ульяна.— Я и забыла тебе сказать: он уже здесь и привел с собой четырнадцать молодцов... Есть между ними и старые — Явтух, твой земляк, Михайло из Сокиринец, еще кто-то, а то новые... Славные такие, завзятые!

— Вот так виват! — встрепенулся радостно Кармелюк.— Прибыло нашего полку... Теперь двинем! А где ты только этот народ разместила?

— Часть, более знакомых Дмитру, у себя в корчме, а остальных в ближайшей балке... Туда же, в нашу пещеру, никого не пустила: ее пусть знают лишь верные наши друзья.

— Отлично! Ты настоящая атаманша, тебе и булаву в руки...

— Не булаву, а такого велетня ненаглядного! — воскликнула она страстно и обожгла Кармелюка огненным поцелуем...

У самой корчмы встретил своего атамана Дмитро Гнида и отскочил было от экипажа, увидя в нем престарелого пана; но Кармелюк расхохотался и вывел своего друга из недоумения.

— Фу ты, волк его зарежь, не признал! Вот так машкара! Стало быть, околпачил ляхов? Резон, друже мой... А мне тоже по эскадрону благодарность... Приволок, кто находился в дезертирстве, а то и новых воробьев наловил...

— Слыхал, слыхал, брате! А пока что — гайда в корчму; ты, Ульяна, угости нас, чем бог послал,— со вчерашнего сниданка и роски во рту не было... Так вот, за вечерею, или лучше сказать за сниданком, расскажешь мне, Дмитро, про все, а я вот уже тоже расскажу про свою удачу...

Ульяна, радостная, бодрая, живо бросилась в корчму и кладовую собрать своему идолу все, что у нее было под рукой.

— Вот это дело,— потирал руки Дмитро,— а то без пана атамана красотка наша пребывала в тоске да бегала по лесу, а у меня в животе давно уже барабаны били тревогу.

Насытившись, Дмитро рассказал, как он случайно встретил Явтуха наймытом в Гутинской корчме у жида, как через Явтуха доведался еще о двух волках-сиромахнцах, а потом они вместе бросились по ближайшим селам и хуторам да навербовали целую дюжину,— все народ хороший, закаленный в беде...

Кармелюк был в восторге: он некоторых из навербованных знал лично, а другими, со слов Дмитра, был доволен. С своей стороны атаман рассказал друзьям про

известную нам сцену у судьи и добавил, что отчаивался было получить с него хоть копейку, да уступка четырех тысяч соблазнила скареда.

— Да, кстати,— вспомнил Кармелюк,— а где же мой половинщик Хойнацкий? Ему по уговору следует отдать половину...

— Ой мамо! — всполошилась Ульяна.— Я и забыла про него... Пришел Дмитро с дружиной — нужно было их разместить, позаботиться о харчах, а потом тревога отшибла у меня память. Ай-ай! Ну что если Ярема не кормил и не поил пана,— ведь уже третий день...

— Так полезай, любко, скорей в погреб да вытащи несчастного...— обеспокоился Кармелюк.

Ульяна бросилась в сени, а через минут пять возвратилась расстроенною и объявила, что пана в погребе нет: ляда, мол, прикрыта, затычки нет, к ляде приставлена лесенка... а в погребе — ни духа!

— Удрал! Как же это его сторожил Ярема? — возмутился Кармелюк.— Если такая у нас стража, то гадина Янчевский может нас сонных накрыть...

Все взбудоражились. Приведен был сонный Ярема. Глуповатый малый на все расспросы отвечал, что он не знает, что в погребе делалось, так как туда не лазил, а не лазил потому, что не было приказано; поэтому са́мому он не носил пану ни хлеба, ни воды, а ходил все то вокруг корчмы, то заглядывал в сени, и даже спал на дворе под поветкой.

— Значит, ты и проспал пана? — спросил с досадой Кармелюк.

— Должно быть, батьку, проспал,— отвечал спокойно Ярема,— спать ведь полагается человеку...

— Так чего ж ты на ляде не лег? — раздражился Кармелюк.

— Не догадался,— улыбнулся Ярема.

— А почему же не замкнул ляды?

— Замка не было... Я заткнул колышком пробой... Ведь он с той стороны не мог вынуть...

— А вот, выходит, вынул...

— Да... Выходит... Тут без нечистой силы не обошлось...

— Не она ли ему подала в погреб и лестницу?..

— А что вы думаете?

Дальнейшее следствие выяснило, что Ярема говорил

правду: он не способствовал побегу — вынутая лестница лежала на месте, а внутри погреба, вспомнила Ульяна, лежала другая, про которую и забыли... Невинность Яремы была восстановлена, но вместе с тем была обнаружена и поразительная его глупость, убедившая всех в том, что Ярему никогда нельзя ставить на стражу, а можно лишь по его атлетическому сложению употреблять как стенобитное орудие.

— Ну черт с ним! — успокоился Кармелюк.— Прозевал так прозевал; больше тебя не поставлю на стражу. А что до пана, то побега ему нелья поставить в вину: голод не тетка, а видимая смерть страшна... Если он отправился к себе, то и прекрасно... но если он удрал, чтоб жаловаться на меня до срока, то ему ни повоза, ни коней не видать, как своих ушей.

— Это верно...— заметил Дмитро.

— Да и вообще отдавать не след,— сказала резко Ульяна: — голову свою подставлял под обух, и чтоб еще делиться? За какую ласку? Что обещал? Это жарт, насмешка... Ведь пан не то слова, а и клятвы не держал... Так что с ним церемониться!

— Я свое слово ставлю выше панского,— заметил с достоинством Кармелюк и стал делать распоряжения относительно новобранцев...

— Ну я, Дмитро,— сказал он последнему,— полезу в свою квартиру отдохнуть немного, а ты уже тут наблюдай... И если прилетит Андрей,— в ту ж минуту волоки его в мою пещеру... да... еще...

— Идем уже, сокол мой! — заторопила Ульяна.— Дмитро все тут досмотрит...

— Будь покойна, атаманша,— все исполню... Отдохни себе на приволье...

Под вечер прискакал к корчме Андрей и был отправлен немедленно в атаманское логовище; Дмитро поспешил туда же... Ульяна изготовила обед, неоднократно выбегала на тропинку к корчме посмотреть Андрея, которого атаман ждал с болезненным напряжением, и теперь она первая крикнула: «Идет!» Кармелюк выскочил и на бегу закидал Андрея вопросами:

— А что, разведал? Выехал? Куда? Когда? Где теперь?

— Разведал, батьку,— крикнул, запыхавшись от быстрого бега, Андрей.— Выехал... к себе... на хутор... се-

годня наверняка будет ночевать у себя дома... а завтра...— думает фурман,— поедет на обед к маршалку...

— Так сегодня он дома? Проехал ли теперь уже лес?

— Я видел, как он поворотил на свой шлях... потом я полетел сюда сломя голову... Только все-таки вряд ли его можно перенять!

— Куда там! — отозвался Дмитро.

— А! Будь я проклят! — закричал в бешенстве Кармелюк и ударил шапкой оземь.— Что же это! Опять ушел! Смеется надо мною все пекло, что ли? А?!

— Не проклинай себя, орле мой! — бросилась к Кармелюку в суеверном страхе Ульяна.— Чего тревожишься? У нас столько теперь силы, что не к чему поджидать этого крота ночью в лесу, а можно просто отправиться в самую его нору и там сцапать его на месте да и добром его еще поживиться!

— А что думаешь, пане атамане,— обрадовался Дмитро,— баба ведь угодила в самый раз!

— Коли же не в самый,— подхватила Ульяна,—коли мне подлинно ведомо, что у Янчевского челяди во дворе не наберется и пятнадцати человек, а хуторян — жменя, да и они ненавидят своего пана... Я уверена, что можно найти среди них и помощников... хоть таких по крайности, которые хитрым способом нам откроют ворота... Есть же у них во дворе и родичи, и кумовья, сваты...

— Да что искать далеко,— спохватился Дмитро,— у меня в новобранцах есть два дезертира из хутора... так мы их вперед парламентерами... и без штурма крепость возьмем, будь я под фухтелями *, если не так!

Кармелюк, пораженный этим предложением, сначала молчал и только переводил с одного на другого глаза, а потом, подавив охватившее его волнение, произнес порывисто:

— Так можно ударить и захватить зверя в логовище?

— Можно! Еще как! — ответили возбужденно Дмитро и Ульяна.

— Эх, друзья мои! Какая же это мне радость! Так живо! Не терять ни одной минуты!

---

* Фухтель — плазкий бік шаблі, а також удар плазким боком шаблі.

— Труби в поход! — подкинул вверх шапку Дмитро.

И все стремительно бросились — кто в балку, кто в корчму, кто на поляну за лошадьми, а кто в пещеру за оружием.

XLII

Янчевский возвратился в свой хутор еще в обеденное время и сейчас же разослал четырех гонцов по соседям; он извещал их о прибытии в здешние леса Кармелюка и, кроме того, писал, что так как завтрашний день будет днем рождения маршалка и к этому дню в маршалковские палаты стекалось все окрестное панство, то нужно будет сообща обдумать план поимки разбойника. К пани Розалии он отправил особое интимное послание с изъявлением пламенной готовности быть ее защитником, но с некоторыми недосказанными предостережениями...

Кончив с перепискою, он занялся осмотром двора, опросом челяди и хуторян: не слыхать ли чего про Кармелюка и про его шайку, но, не добившись никаких сведений, распорядился усилить дворовую стражу, вооружить ее и приготовить все к выезду. Челядники все были, по-видимому, бодры, и никакой опасности не предвиделось, да и трудно было предположить ее: укрепленный двор Янчевского мог выдержать осаду и серьезного отряда.

Вечером поздно сидел Янчевский в своем кабинете и не отправлялся спать, хотя уже давно прошло урочное время; на душе у него было непокойно, в голове неотвязно вертелось обещание разбойника-грабителя отомстить ему, и эта мысль отгоняла сон. Кабинет, освещенный одною сальною свечкой, выглядел мрачно. Огромный камин, возвышавшийся почти до потолка, зиял широкою черною пастью и бросал по сторонам зловещие тени. На стенах висели ковры, украшенные всевозможным оружием; при сумрачном освещении эти арматуры казались чудовищными пауками. За столом, где сидел Янчевский, через два длинные окна смотрела на него непроглядная ночь. Кругом царила щемящая тишина; только изредка слышалось, как в соседней комнате в буфете что-то грызла шустрая мышь.

Все это еще усиливало тяжелое настроение пана Янчевского и навевало на его душу какой-то холод.

Не спавший лакей несколько раз отворял тихо дверь, желая проверить, не ушел ли барин; но последний все еще сидел, откинувшись головой на кресло, и к чему-то робко прислушивался; наконец лакей отворил шумно дверь и доложил пану, что явился дворецкий — наиболее близкое и доверенное лицо.

Пан обрадовался.

— А что, вацпане, все благополучно? — спросил он дворецкого.

— Благополучно, вельможный пане, все благополучно.

— И никаких подозрений нет ни относительно челяди, ни относительно хуторян?

— А бронь боже!

— Значит, спать можно спокойно?

— Беспечно, вельможный пане, спокойно... Вот только...

— Что такое? — встрепенулся Янчевский.

— Вот только, вельможный пане, два гарнца дерти пропало...

— Чепуха, — засмеялся Янчевский. — Рассыпал, что ли?

— Нет, пане. Запарила Ивга на ночь собакам, и кусок старого сала я дал еще, чтобы сдобрить запару, а вот же ни один пес не захотел и языком лизнуть, так и стоит...

— Почему?

— Да кто их знает, скучные псы какие-то, хвосты опустили...

— Это неладно! — затревожился пан.— То-то я не слышу лаю... ведь Гайдамак и Гультяйка, бывало, спать не дают; их опасно было с цепи спускать, а вот тихо, словно все вымерло.

— Верно, пане, а все псы спущены с цепей... Да и на вечере многих челядников не было...

— Где же они? — вскрикнул Янчевский.

— На хуторе, должно быть... там же у них родня... Вот я бы вельможному пану посоветовал не допускать челяди родниться с этим быдлом.

— Да, да... Это соображение имеет цену. Гадюкам верить нельзя. Я бы их всех выдавил, если бы можно было найти рабочие руки...

— Да, кругом панские хлопы... А эти, наши, шипят за последние экзекуции.

— Пся крев! Однако все это странно, чтобы не сказать больше, и собаки не отравлены ли?

— А то как же? Конечно!.. Одна уже вытянулась...

— Га?! Что же ты молчишь? Ведь это недаром? — побледнел и стал тревожно прислушиваться Янчевский.

— Конечно, недаром: вот и замок у брамы сломан...

— Как сломан?!

— А так: я иду, а ворота только на крюке. «Что такое, — кричу, — где замок?» — «Поломан», — говорят. «Где воротарь?» — «Пошел к ключнику за другим замком». — «А где ключник?» — «У кумы на хуторе»...

— Сто перунов! Это черт знает что такое! — закипятился Янчевский.— Почему же ты мне не донес в тен момент?

— Да я вот послал за воротарем на хутор, а оказалось, что хутор весь пуст.

— Как пуст?! — поражался больше и больше хозяин.

— А так, пане: почти все разъехались — то в поле, говорят, то в лес...

— Да это бунт! Это стачка! — вспыхнул Янчевский.

— Похоже,— почесал затылок дворецкий.

— Езус-Мария! Что же это? Пойдем осмотрим все! Нужно принять меры...

— А нужно, потому что, когда я шел к пану, то слышал на хуторе подозрительный шум.

— Как же ты говоришь, что благополучно, что на хуторе никого нет? Да ведь это гвалт?

— Когда посылал, не было... А вот кто его знает...

— На! — Янчевский сунул в руки дворецкого пистолет, сам схватил со стены дубельтовку и, не обратив внимания, заряжена ли она, поспешно вышел из кабинета; он затворил все внутренние ставни, запер на засов с черного хода дверь и отправился через столовую, гостиную и зал в парадную переднюю, где на деревянном диванчике дремал безмятежно являвшийся в кабинет лакей... Пан прикрикнул на него грозно за то, что он дрыхнет и не запирает парадных дверей.

— Запираю, вельможный пане, падам до ног... Вот только впустил пана дворецкого...

— Впустил и нужно было зараз же запереть... А ну погляди-ка, вацпане: если только не запер, то я ему шкуру спущу.

Дворецкий со свечой вышел в сени, Янчевский поставил свою на стол и с ружьем наперевес задержался в передней.

Но едва вошел в сени дворецкий, как неистово крикнул: «Збойцы»! — и вслед за криком раздался неожиданно выстрел.

Янчевский замер на месте, потеряв способность движения; сквозь слабый свет, проникавший в отворенную дверь из передней, он заметил, как дворецкий уронил свечу, как на него накинулась какая-то женщина и как вслед за нею ввалились в сени еще три мужские фигуры.

— Собака! Стрелять вздумал? Так вот же тебе! — прошипела женщина, и в то же мгновение поднялась рука ее со сверкнувшим кинжалом и стремительно упала на горло дворецкого; из-под нажатой руки брызнула алая кровь; послышался клокочущий хрип, и верный раб Янчевского со стоном повалился на землю. Какой-то стройный мужчина,— не то эконом, не то пан,— схватил женщину за плечо и, нагнувшись, простонал:

— А-а! Что ты сделала?

— Убила! Раздавила змею! — крикнула запальчиво женщина.— Не ранен ли ты, атамане-орле?

— Нет,— глухо ответил мужчина.— Но кровь...

— Собаке собачья и смерть! — раздался третий, более грубый, голос.— А атаманше — слава!

Янчевский словно очнулся; перед ним, в десяти шагах, стоял, несомненно, Кармелюк со своею шайкой. В порыве охватившего бешенства Янчевский поднял дубельтовку и машинально спустил оба курка; брызнули искры, но порох не вспыхнул — или отсырел, или его вовсе не было.

Кармелюк ринулся на Янчевского, но последний успел бросить в него ружье и шмыгнуть в боковую дверь к своему кабинету. Замахиваясь ружьем, он свалил свечу, а потому в темноте удобно мог скрыться, даже двери успел засунуть задвижкою, а другие, в зал, были прежде заперты. Янчевский на мгновение остановился и услыхал зычный голос атамана:

— Огня сюда! Света! Ломайте двери и окна! Заходи



М. Старицький серед українських письменників.
Фото 1903 р.

с черного хода! Кругом дома вартовых, чтоб мышь не ушла!

Янчевский бросился сломя голову в кабинет, чтобы оттуда в креденсовой отворить ляду и опуститься в погреб; там он, во всяком случае, был в относительной безопасности: погреб, во-первых, разделялся на несколько рукавов, а, во-вторых, один из них имел тайный выход далеко за усадьбою, в глухом овраге. О сопротивлении, конечно, нельзя было и думать: очевидно, дворня вся или изменила ему, или изменнически была перевязана, а то и умерщвлена, как дворецкий. Янчевский добрался ощупью до креденсовой и стал на полу шарить и искать ляды. Шум и треск возрастали кругом, то слышно было, как подавалась под ударами дверь, то доносился стук падения оторванной ставни, то в разбитое со звоном окно врывались дикие крики врагов...

У Янчевского руки дрожали, холодный пот покрывал его, сердце тревожно стучало в груди, и цепенеющий ужас парализовал силы...

— Где эта ляда, пане Езусе?.. Ведь тут же она была, тут,— и исчезла! О матка найсвентша, помоги мне! Найди!.. Где же она, где!? Ой, тысяча перунов! Уже выломали стенные двери... отрывают здесь ставню... Рятуй! — шептал он побелевшими губами, ползал по полу, не будучи в состоянии ориентироваться в знакомой до последнего гвоздика комнате. Но вот случайно колено его наткнулось на выступ ляды... Еще мгновение — и он спасен... Он ухватился дрожащими руками за железную крышку и не мог поднять ее... «Боже! Что же это: забита?» — вскричал он, позабыв, что ляда закрывалась на задвижку. Наконец и задвижка найдена; он потянул ее изо всех сил, но в противоположную сторону. А между тем двери на черном ходе с треском упали, с другой стороны разъяренные крики наполняют зал, гостиную, врываются в коридоры... Но вот и задвижка отсунута — только поздно: со звоном и треском упало окно в креденсовой, в отверстии показались дула... но дверь со стороны коридора еще не подавалась... Несчастный Демосфен, потерявшийся окончательно, ворвался снова в кабинет... Устремлявшийся со всех сторон ад поднял у него последние силы, но куда укрыться, где спастись? Каждое мгновение — вечность... Уже в креденсовой послышался топот ног... и блеснули сквозь щель огни.

— Пропал! In manum tuum, Domine *,— начал шептать отходную Янчевский... и вдруг увидел камин... В один миг он бросился в него и, опираясь руками и ногами о выступы кирпичей, на сильных мускульных [руках] поднялся в трубе до самого ее изгиба. Едва он успел это сделать, как в кабинет ворвались несколько человек и сразу набросились на шкафы, столы и комоды — отбивать их и грабить.

В темную трубу долетали до Янчевского отрывки возгласов, приказаний и бурного говора: «У дьявола денег не густо! Тащи серебро и шандалы, где что ни попадется!» — «А одежду?» — «Бери, связывай! Вон еще сундук и шуфляда... Ломай!.. А какие ни на есть паперы (бумаги) рви на клочки и швыряй вон в камин. Нужно сжечь их...»

«Что же это? — замелькали, как раскаленные искры, в голове Янчевского мысли.— Или заживо превратиться в окорок, или отдаться на зверские пытки?..»

И стынет у него сердце, замирает душа, а мускулы теряют свою упругость; но он все-таки держится в трубе, хотя и чувствует, что долго такого напряжения не вынесет. Кроме всего, и дышать ему все труднее и труднее: стертая со стенок трубы сажа поднялась столбом и наполняет его легкие. Наконец кто-то входит в кабинет и начинает раздраженным голосом окрикивать:

— Вы здесь занялись грабежом, а не помогаете искать этого шельму! Чтобы был он зараз у меня под ногами! Он в этом доме: я сам его видел! Ищите! Осмотрите и крысиные норы!

— Да он, верно, на горыще (чердаке),— раздался чей-то, будто женский, голос.

— А где остальные? — спросил, очевидно, атаман.

— Забирают коней, да провизию, да кое-что по амбарам.

— Все забирают... а мне этого дьявола не дают в руки...— И слышно было даже в трубу, как Кармелюк заскрежетал зубами.

— Да не тревожься, батьку,— отозвался женский голос,— все перетрусим, найдем... Нас здесь в доме четырнадцать — довольно, а на дворе только шестеро...

— А там, по крайней мере, крови не пролито?

---

* В твоїх руках, господи (*лат.*).

— Даром никто не поднимет штыка! — ответил какой-то грубый голос.

— Обыскать снова все покои, все кладовые и присенки! — скомандовал недовольным, гневным голосом Кармелюк.— Снаружи поставить стражу, хоть по одному вартовому с каждой стороны. В доме на два покоя вартовый... А мы тогда на горыще.

— И если не найдем нигде, если он спрятался гделибо в потайной стене,— тогда подожжем с четырех сторон дом! — крикнула женщина.

— Ура! — подхватил грубый голос.

С шумом двинулась толпа по другим комнатам. В кабинете осталось один или два человека — не больше. К Янчевскому доносились лишь шелест складываемого платья да шорох бумаг. Кто-то охапками швырял их в камин.

— А что, подпаливать их, Явтуше? — раздался почти в трубе голос.

— Постой, уже все разом,— ответил от письменного стола другой...

Ожидание копчения убивало у Янчевского последние силы; он уже чувствовал, что не удержится больше в трубе... раза два он кашлял в кулак от удушья и только благодаря стоявшему везде шуму не выдал себя... Но от напряжения он потерял лучшие точки опоры и, несмотря на нечеловеческие усилия, скользил и медленно опускался вниз.

Наконец снова явился сюда атаман.

— На эти два покоя останется вартовым Явтух, а ты, Свирид, ступай караулить снаружи, вот с этой стороны! Живей осмотреть, и если не найдем, то пустить «червоного пивня» — и гайда назад... Тут мешкать нельзя... Только вот что, мои друзья, уходить нужно разными шляхами, в разные стороны, чтобы сбить их... Я с Свиридом и Михайлом буду в Кругляке, туда явишься и ты, Дмитро, с Андреем для рады, а ватагу перепрячьте в смежных лесах.

— А меня забыли? — отозвался женский голос, и в нем задрожала обида.

— Я про орлицу и не поминаю. Где я — там и она.

— Пока жива! — крикнула радостно женщина.

И все направились в коридор.

У Янчевского исчезали последние силы, он уже за-

метно стал опускаться; легкие, наполненные сажей, не пропускали воздуха, его душил кашель, голова кружилась, ему слышался лишь отдаленный гул или вой в потемневшей трубе.

— Вот не зажег тогда бумаг, а теперь свечу унесли. Хоть бы кресало добыть, потому что спалить все эти паперы, спалить все документы необходимо. Что это сопит или стонет? — встрепенулся Явтух и стал прислушиваться: в темноте подкрался к нему суеверный ужас.

— Это, кажись, там, в трубе! — И Явтух подался несколько к двери, не решаясь войти в кабинет.— Уж не нечистая ли сила? А что ты думаешь? С нами крест святой!..

В это мгновенье Янчевский закашлялся и, потеряв равновесие, грохнулся из камина черною массой и покатился к ногам Явтуха. Перепугу последнего не было границ: не помня себя, он закричал:

— Черт! Кто в бога верует, рятуйте! — и стремительно бросился в коридор...

Янчевский воспользовался этим мгновеньем и поспешил шмыгнуть в погреб, успев даже закрыть за собою ляду. Он почти свалился вниз с лестницы и ощупью стал пробираться по знакомым ему ходам...

XLIII

В роскошной усадьбе пана маршалка царствовало послеобеденное фарниентэ *. На огромной террасе, спускавшейся широкими ступенями к утопавшему в цветах саду, расположилось многочисленное общество. Был день рождения самого хозяина. К этому дню, по давно установившемуся обычаю, съезжалось все окрестное шляхетство. На этот раз гостей было относительно немного,— очевидно, всех настрашили слухи относительно возвращения Кармелюка, разнесшиеся с быстротою молнии по всему уезду.

Все же на террасе находились: пан маршалок, его супруга, пан судья со своею обворожительною подругой, Пигловский с сыном Алоизом, Бойко, молодой кавалер Рудковский и еще несколько шляхтичей.

---

* Дозвілля, відпочинок *(італ.)*.

На легких столиках стояли чашечки с черным кофе, вазы со всевозможным вареньем, графины с винами, ратафиями, бутылки с ликерами, араками и целые ряды разнокалиберных рюмок.

Панство отдыхало после сытного и утомительного обеда и, попивая легкими глоточками кофе и ликеры, наслаждалось природою. Из сада навевал легкий ветерок и доносил нежный аромат розы и жасмина; все кругом дышало спокойствием, красотой и негой; трудно было поверить, что над полями тяготеет томительный зной.

Кавалеры группировались возле прелестных дам; более почтенные гости сидели отдельной группой поближе к каменной балюстраде, окаймленной зеленью плюща, и потягивали из длинных чубуков ароматный дым турецкого табака. Разговор и в той, и в другой группе шел о Кармелюке и его последней проделке. Пан судья в десятый раз передавал, как он был обманут ловким и бесстыдным негодяем, а пани Агата, наоборот, уверяла своих слушателей в том, что она сразу же почувствовала, что прибывший — вовсе не шляхтич, а простой хлоп, и даже намекала на это мужу, но, конечно, он не счел нужным послушать жену, и вот теперь за все поплатился несчастный Хойнацкий.

Хотя в обеих группах господствовала одна тема разговора, но настроение было разное, и тогда как почтенные patres patriae * с ужасом толковали об угрожающей опасности и о необходимости выезжать всем из деревень, молодежь весело шутила, проектировала охоту на Кармелюка, посполитое рушенье под предводительством прелестных дам, так как негодяй не боится ничего, но, по словам знающих людей, перед взглядом красавиц пасует. И Розалия, и Агата охотно поддерживали эти шутки; и хотя при более или менее неловком обороте разговора Розалию бросало и в жар и в холод, но никто не замечал волнения красавицы, так как история с графом была забыта и перетолкована Демосфеном совсем по-другому.

Пани маршалкова принужденно и весело болтала с Агатою, и посторонний наблюдатель мог бы без малейшего сомнения убедиться в том, что Розалию связыва-

---

* Дослівно: батьки батьківщини (*лат.*).

ла с паней Агатой самая бескорыстная и истинная дружба. А между тем обе крулевы панства в действительности чувствовали друг к другу далеко не дружелюбные чувства. Сегодня же Розалия была сильно еще не в духе: помимо появления в их местности Кармелюка и воскресших с этим воспоминаний о мнимом графе, было еще одно обстоятельство, интриговавшее всех гостей, хозяина и более всех — Розалию: Янчевский, никогда не пропускавший этого дня, на этот раз не явился.

— Держу пари на сто злотых,— настаивал Рудковский,— что наш славный презус, не говоря никому ни слова, бросился по следам подольского Ринальдино и, прежде чем мы соберем свои полки, он снова приведет его к нам на цепи, как медведя!

— Ну нет, пан Демосфен не захочет нам нанести такой обиды,— запротестовала Агата, надувая губки,— ведь этим он лишит нас такой редкой забавы: охоты на разбойника! О, право, это прелестная, неслыханная забава!

— Немного рискованная, найпаче для наших прелестных дам,— заметил молодой Рудковский, стоявший за креслом Агаты.

— Ну так что же? Qui ne risque, ne gagne! * — запрокинула назад головку Агата, улыбнувшись лукаво и многозначительно своему кавалеру, и, нагнувшись к Розалии, тотчас же добавила: — Правду ли я говорю, душка Розюта?

— О, совершенную! Только риск и придает веселье всякой забаве и утехе,— поспешила поддержать подругу с веселою усмешкою Розалия, несмотря на то что в душе ее все росло и росло глухое раздражение против своего возлюбленного, посмевшего вдруг не явиться в этот день.

Маршалок не меньше своей супруги сетовал на отсутствие приятеля.

— До правды,— говорил он, разводя руками,— того никогда не было... чтобы он пропустил такой день: ведь он у нас в доме как свой человек... Мы делим с ним все... И вот, не пославши ни слова...

---

* Хто не ризикує, той не виграє! *(Франц.)*

— Совершенно непостижимо,— поддерживали хозяина гости.

— А по нынешним временам так и вовсе кепсько! — заметил Пигловский.— Шельма Кармелюк никогда не пропустит нашему славному Демосфену своего ареста. Может быть, он для того и явился в наших местах, чтобы отомстить Янчевскому, и потому наш коханый Феликс поступил безрассудно, отправившись один домой, без должной команды...

— То так... то так! — закивал головой маршалок.— О, сколько раз я говорил ему: «Феликс, ради бога! Тебя погубит твоя беспечность!..»

— И вполне возможно, что негодяй притаился где-нибудь по дороге,— продолжал Пигловский.

— Дай покой, пане! — воскликнул Бойко, на этот раз не дремавший, а прислушивавшийся к общему разговору.— Да неужели же этот бестия будет ловить нас по дорогам среди белого дня, как кухар цыплят?

— Опасности надо смотреть прямо в глаза,— заметил мрачно Пигловский,— и если до сих пор нет нашего славного...

В это время стеклянная дверь во внутренние покои отворилась. На пороге появился казачок и возгласил громко:

— Его милость пан Янчевский!

— Янчевский! — вскрикнули вместе все присутствующие.

— Наконец-то, наконец-то...— заговорил радостно маршалок, с несвойственной для его фигуры быстротой подымаясь с места и направляясь к дверям.— Ах ты зра...— но маршалок не докончил своего дружеского упрека: крик изумления, смешанного с ужасом, вырвался у него; он поднял руки, как будто бы перед ним предстало какое-то невиданное чудовище, и застыл на месте.

Все всполошились, сорвались с мест и обратились к двери.

— О боже! Что же это с паном?! — вскрикнула Розалия, а за нею и остальные.

В дверях стоял Янчевский, но его трудно было узнать: изорванная одежда, его лицо, руки, волосы — все было до такой степени перепачкано в саже и пыли, что

даже теперь, при дневном освещении, он казался каким-то ужасным чудовищем.

Янчевский с трудом сделал несколько шагов и, упав в изнеможении на первое попавшееся кресло, произнес беззвучно:

— Ограблен... Сожжен... Пущен по миру...

— Кто? Что? Когда? Как? — раздались со всех сторон участливые и тревожные возгласы...

— Кармелюк!

Крик ужаса вырвался у дам и пробежал по рядам гостей, столпившихся вокруг Янчевского. И вслед за этим криком на террасе наступила мертвая тишина. Все с ужасом смотрели на Янчевского, и никто не решался спросить его о подробностях страшного происшествия.

— Видите, панове, как близок я был к истине! — произнес после долгой паузы Пигловский.— Но, дорогой Феликс, во всем этом страшном несчастье самое лучшее то, что [ты] сидишь теперь здесь, с нами, здрав и невредим; что же касается потери имущества, то здесь уместно будет вспомнить московскую пословицу: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Мы же, я смело говорю это от лица всех собравшихся здесь, мы все готовы пожертвовать для тебя не только нашим имуществом, но и жизнью, так как ты пострадал из-за нас!..

— О так... все... без изъятья! — заговорили кругом паны.

— Выпей же, друг мой, стакан вина,— Пигловский налил и подал Янчевскому стакан,— и расскажи нам, как и где случилось с тобой это несчастье?

Янчевский молча поднял стакан, молча осушил его и протянул Пигловскому; Пигловский снова наполнил его. На этот раз Янчевский потянул уже медленно влагу большими глотками. Осушив стакан, он глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла.

— Ну, пане Феликсе, что же случилось, на бога... не томите нас! — воскликнули вместе Розалия и Агата.

Однако прошло еще минут десять, прежде чем Янчевский получил дар слова. Наконец он откашлялся, сел ровнее и, извинившись перед панством за то, что принужден говорить сидя, начал свой рассказ.

Все замерли и понадвинулись к Янчевскому, волнуемые одновременно и жгучим любопытством, и холодящим ужасом. Никогда еще перед Янчевским не было более сочувственного настроения аудитории, никогда еще для потоков его красноречия не было более заманчивого содержания. И, несмотря на страшную физическую усталость, Янчевский превзошел себя. Он не жалел красок; к своему действительно безысходному положению прибавлял еще, сколько мог, ужасных осложнений; на самых страшных местах рассказа останавливался и обводил публику таким ужасным взором, что у всех замирали сердца. Несколько раз его рассказ прерывали возгласы не только дам, но и почтенных шляхтичей; он дошел до описания того момента, когда силы оставили его, онемевшие пальцы разжались, ноги соскользнули с выступов камней... возглас ужаса и отчаянья пролетел над сбившеюся толпой гостей. Агата зажмурила глаза и заткнула пальцами уши, а Розалия, слегка побледневшая, прошептала, не отрывая от Демосфена глаз:

— Но дале, дале!..

— Дале...— повторил за ней Демосфен, окинув мрачным взглядом застывшую в немом ужасе толпу гостей, и умолк.— Я вылетел из камина, грохнулся об пол и мысленно предал уже свой дух пану богу...— Демосфен снова сделал паузу и, насладившись смертельным трепетом слушателей, продолжал: — К счастью, при моем неожиданном падении, да еще в таком виде, охватил хлопа, стоявшего в этой комнате на часах, суеверный ужас. «Черт!» — закричал он не своим голосом и бросился из комнаты. Но этой минуты было для меня довольно. Не знаю, откуда взялись у меня силы, но в одно мгновенье я был в кредексе и бросился к ляде. Но заперта она или нет? Ух!! Холод вцепился мне лохматыми лапами в сердце... Ноги помертвели... Но я преодолел себя и бросился к ляде... Она была открыта!..

Невольный облегченный вздох вырвался из груди всех присутствовавших; Агата открыла глаза и приподняла над ушами пальцы, готовясь при каждом новом ужасе закрыть уши.

— Я бросился в погреб, опустил за собою ляду и очутился в кромешной тьме,— продолжал после минутной паузы Демосфен.— В кармане ни огнива, ни трута! А между тем нельзя было терять ни мгновенья: сму-

щенье хлопов могло продолжаться одну минуту, и тотчас же дьяволы догадались бы, какой это черт выскочил из камина, и бросились бы в погоню за мной. Надо было спасаться... Я знал, что в конце погреба есть старая потаенная дверь; она издавна, должно быть еще с гайдамацких времен, была устроена там, а во время несчастного похода Бонапарта я сам приказал обновить ее... Она открывалась на дне глубокого яра, поросшего мелкой зарослью. Надо было добраться до нее; но как это сделать в полной темноте? Погреб разветвлялся на множество ходов. Однако раздумывать было некогда. Я бросился вперед, ощупью угадывая дорогу. С четверть часа пробирался я так... Несколько раз мне казалось, что я сбился с пути, холод охватывал меня с ног до головы, потом я хотел возвратиться назад, но какой-то внутренний голос толкал меня вперед и вперед, и это послужило к моему счастью: минут через двадцать я уперся в стену. Ощупав ее, я наткнулся сразу на железные скрепы... Это была дверь... Поверите ли, панове, что от радости я едва не потерял сознания?.. Но тут же дикий ужас охватил меня в третий раз... Из глубины коридора до меня явственно донеслись перекличка и крики хлопских голосов.

— Езус-Мария! — вскрикнула Агата, затыкая ушки.

— Дале, пане, на бога! — бросила нетерпеливо Розалия.

Все кругом взволновались, но Демосфен и не думал торопиться; выдержав паузу, он продолжал:

— Голоса приближались, я надавил изо всей силы дверь, но она не открылась: она была заперта.

— Но как же ты спасся от этих збойцев? Говори, пане, скорей! Не мучь! — вскрикнул потерявший терпение маршалок.

— В ужасе я вспомнил, что все ключи остались у меня в кабинете,— продолжал Демосфен,— а голоса между тем быстро приближались! Я начал толкать двери, нажимать на них плечом... Отчаянье удвоило мои силы, но все же силы железа я не мог преодолеть! Среди хлопских голосов я явственно различал уже голос этого антихриста; было очевидно, что минут через десять они настигнут меня...

— Ай! — взвизгнула Агата.

— Как вдруг,— Демосфен замедлил свой голос,—

крики среди хлопов усилились, как будто в погреб прибыла новая толпа, и затем начали удаляться. «Очевидно, мучители мои бросились в другую сторону»,— мелькнуло у меня в голове, и тут же сразу, словно бы кто сказал мне на ухо, вспомнил, что дверь запиралась не ключом, а задвижкою... Ощупав рукой стену, я без труда нашел задвижку, потянул ее изо всей силы, задвижка тихо заскрипела.

— Ох... слава пану Езусу! — зашептали кругом слушатели...

— Через минуту я уже был на воле, в темном яру, далеко за моею усадьбой,— продолжал Демосфен.— Яр этот пересекает небольшой лес, находящийся вблизи моего дома. Рассчитывая, что если разбойники нападут на мой след, то бросятся дальше в глубину разыскивать меня, я со всею возможною для меня быстротой бросился назад к опушке и, выбрав здесь наиболее развесистое дерево, вскарабкался на него и решил спрятаться в листве, но судьба вознаградила меня за все мученья: на вершине липы,— это была липа,— оказалось большое дупло, в котором я и поместился удобно и безопасно. Увы! Мне пришлось видеть собственными глазами зарево пожара моего родного гнезда. Я молча смотрел на него, как Нерон на пожар Рима [60], и не мог ничего сделать! — воскликнул горестно Янчевский и умолк.

— Але что так сокрушаться о доме! — перебил его досадливо Пигловский.— Слава богу, что сам цел остался, но разбойники,— не видел ли ты, пане, убрались они? Искали тебя? Или остались там?

— Мимо меня никто не проходил... Должно быть, погоня направилась по ложному следу... Я просидел до позднего утра в дупле, не смыкая глаз и ежеминутно ожидая погони, и когда день, по моему расчету, приблизился уже к хлопскому обеду, спустился из моего убежища, выбрался на дорогу и, избегая леса и села, бросился, сколько было моих сил, по большой дороге к вам... Верст за пятнадцать от вас, возле Мытищ, мне повстречался мальчишка, скакавший на крестьянской лошадке; я отбил у него лошадь, вскочил на нее без седла и вот примчался к вам.

XLIV

— Неслыханное злодейство! Надо принять самые энергичные меры! Это бунт! Гайдамаччина! Дать знать в Каменец, чтобы двинули сюда все войска! — послышались возгласы со всех сторон.

— Нет, панове,— остановил всех маршалок,— прежде всего мы должны укрыть в неприступные места свои семейства и имущества, ибо никто из нас не гарантирован даже на один день от нападения этого злодея.

Слова пана маршалка были встречены одобрительным шепотом; но в это время Демосфен простер свою руку и произнес внушительно:

— Панове, прошу слова!

Все моментально умолкли.

— Панове,— заговорил он, приподнимаясь в кресле,— прежде всего прошу вас соблюсти все предосторожности, чтобы то, о чем я хочу вам сказать сейчас, не сделалось достоянием наших хлопов — змей подколодных, готовых предать нас ежеминутно этому извергу и грабителю. А посему, любезные панове, прошу вас, станьте в некотором отдалении, как бы для прогулки в саду и в покоях, чтобы оградить нас от наших шпионов.

Когда распоряжение Демосфена было приведено в исполнение, он поднялся с кресла и заговорил, понижая голос:

— Панове! Я обращаюсь к вашему шляхетскому гонору и старопольскому мужеству. Само провидение, собравшее нас здесь в таком числе, дает нам возможность поймать немедленно злодея. Он здесь, он уже в наших руках. Надо только окружить его, связать и расправиться своим власным шляхетским судом!

И Демосфен рассказал окружившим его слушателям о распоряжениях Кармелюка, которые он слышал из камина.

— Итак, панове,— заключил Демосфен,— разбойник с двумя своими достойными сподвижниками сидит в Кругляке, который примыкает к Гайдамацкому лесу... Нам надо окружить Кругляк, устроить облаву — и зверь в наших руках. Панове! Юноши польские! Неужели вы откажетесь принять участие в этой почетной облаве?!

Слова Демосфена были покрыты восторженными криками не только молодежи, но и поважного панства.

Представлялся действительно редкий случай поймать безо всякой опасности страшного злодея. Надо было собрать не менее шестисот-семисот крестьян, но по подсчету оказалось, что, не обращаясь за помощью к дальнейшим соседям, собравшиеся здесь гости могли выставить нужное количество хлопов, сверх дворовых слуг и надворных команд, которые должны были составить кавалерию. Для того же чтобы хлопы вполне убедились в том, что затевается облава на зверя, Пигловский предложил захватить с собой и своры собак. Решено было разослать немедленно молодых шляхтичей в экономии всех окрестных помещиков, большинство которых находилось налицо, с приказом собраться всей дворне и всем крестьянам, и под предводительством шляхтичей двигаться ночью, соблюдая всякую осторожность, к Кругляку.

— Для того же чтобы бестии не успели при помощи какого-либо дьявольского обмана вырваться из леса,— заключил Демосфен, понижая голос,— то приказать всем крестьянам, а также слугам и командам надеть свитки и подпоясаться зелеными поясами. Но чур! Это распоряжение, панове, надо держать в глубочайшем секрете и отдать приказ только тогда, когда хлопы соберутся на дворище. Мы имеем дело с врагом, который злобен и хитер, как истинный дьявол, и, что еще важнее, который имеет в лице каждого подлого нашего хлопа самого верного слугу. Что же касается нас, то, чтобы избежать нового обмана, надо и нам иметь отличие, известное только нам, и я думаю, что наши прелестные дамы найдут возможность украсить нас одноцветными кокардами.

Предложение Демосфена встретило всеобщее одобрение. Розалия, а за ней и Агата заявили категорически, что и они намерены принять участие в облаве. Маршалок сначала начал было противиться этому желанию, но потом, сообразив, что во всяком случае безопаснее находиться вместе со всею компанией, чем сам-друг с женой,— согласился, заметив, однако, что во всяком случае дамы останутся с ним в карете и выйдут из нее только тогда, когда зверь будет уже затравлен...

Не теряя ни минуты времени, все тотчас же принялись за дело, и, благодаря предусмотрительности Демосфена, никто из слуг маршалка не догадался, что

панство затеяло охоту не на волков и кабанов, а на людей.

Целую ночь никто из панов не ложился спать. Еще ранний рассвет чуть тронул холодною синевою небесный свод, а к Кругляку потянулись, соблюдая всевозможную осторожность, темные, волнующиеся ряды крестьян, вооруженных дубинами, вилами, топорами, пиками и даже ружьями. Впереди, как и за ними, выступали верхом под предводительством панов дворовые слуги и надворные команды.

Тихо, неслышно поползли со всех сторон к лесу, словно муравьи, темные вооруженные толпы, смыкаясь вокруг него тесным, непроходимым кольцом.

Между тем Кармелюк, не предвидя никаких опасностей, спокойно отдыхал с Михайлом в глубокой заросли Кругляка. Лес этот в действительности представлял наилучшее место для убежища немногих людей, а вместе с тем и самую удобную местность для облавы. Густой, заросший, он стоял в стороне от проезжей дороги и заполнял собою довольно большую круглую котловину, версты две в диаметре; самое дно ее покрывала глубокая болотная топь. Пробираться по этой топи, поросшей в иных местах камышом и кустарником, а в других — представлявшей совершенно жидкую трясину, покрытую кочками, мог только человек, хорошо знакомый с местностью; но таковых было немного, ибо лес был необычайно дик и пользовался дурною славой. Зато дикие кабаны в изобилии наполняли его; теперь же в их обители засел Кармелюк.

Место, в котором он укрылся, находилось в самом центре болота; здесь в болото врезывалась узенькая, но длинная полоска твердой земли, оканчивавшаяся небольшим островком, заросшим со всех сторон лозняком, очеретом, вербами и напоминавшем по своей форме большое гнездо. В этом-то гнезде и укрылись Кармелюк, Явтух, Ульяна и Михайло. Было в лесу еще и другое убежище — при верхнем конце болота, под огромным сводчатым камнем, образовавшим из себя нечто вроде защищенной с трех сторон пещеры. Но остров, на котором остановился Кармелюк, был безопаснее,— в весеннее время к нему совершенно нельзя было добраться, теперь же дойти к нему можно было только лишь по скрытому в камышах перешейку.

На поле уже начался рассвет, но в глубине лесной чащи было еще совершенно темно, и только верхушки деревьев начинали вырезываться резче на фоне чуть-чуть посветлевшего неба. Кармелюк и Михайло спали, а не знавшая усталости Ульяна вместе с Явтухом стояли в разных местах перешейка на варте и прислушивались к дремавшей тишине леса. Еще с полночи сменил Михайла Явтух, но усталость не давала себя чувствовать казаку. Последняя его оплошность, вследствие которой Янчевский улизнул из их рук, не давала ему покоя и грызла бесплодною злобою его сердце. Вдруг чуткое ухо его услышало какой-то слабый, заглушенный треск. Явтух быстро оглянулся по направлению его и замер, впившись глазами в поредевшую тьму.

С минуту все было тихо, затем послышался снова слабый шелест, и вдруг зоркий глаз Явтуха ясно различил какую-то черную массу, тихо приближавшуюся к нему. Это не был кабан, это было существо, сознательно, со всей возможной осторожностью пробиравшееся к убежищу Кармелюка.

Не теряя мгновения, Явтух стремительно бросился к подползавшей фигуре, схватил ее своими жилистыми руками за плечи, и не успел пойманный крикнуть, как Явтух взвалил его себе на спину, а подбежавшая Ульяна заткнула ему скомканным платком рот. Явтух потащил схваченную жертву в убежище к Кармелюку.

Но шум разбудил еще раньше и Кармелюка, и Михайла.

— Что там? Что сталось? — произнес негромко Кармелюк, выходя из заросли.

— Поймали шпига, батьку! — ответил шепотом Явтух.

— Шпига?! — воскликнул Кармелюк.— Ну, тащи же его сюда.

В глубине заросли, обступившей густою стеной весь островок, свалена была лучшая часть добычи, захваченная с собой Ульяной Здесь же еще тлели угли от догоревшего костра, валялись остатки ужина, лежало сложенное в кучу оружие.

— А ну-ка, Ульяно, зажги лучину, посмотрим, кого приволокла ты к нам с Явтухом? А ты, Михайло, иди сторожить!

Михайло немедленно удалился на пост, а Кармелюк, сорвав с себя пояс, связал им руки пойманного.

Ульяна зажгла щепку и поднесла ее к лицу незнакомца. Кармелюк близко нагнулся к нему, но лицо страшного разбойника произвело самое неожиданное впечатление на незнакомца.

— Батьку атамане!.. Ох, слава богу,— заговорил он радостным, прерывающимся от волнения голосом,— а я уже думал, что попался кому другому в руки... Ой, не хотелось на старости лет без покаяния умирать!

Радостный тон деда поразил Кармелюка и Явтуха с Ульяной.

— Да ты кто такой, откуда? Почем знаешь меня? Зачем пожаловал сюда? — заговорил изумленно Кармелюк, внимательно присматриваясь к лицу тощего старичка, стоявшего перед ним на коленях.

Старичок добродушно усмехнулся.

— Как на все, батьку, отвечать, то надо говорить, может, и до полдня, а времени терять нельзя — некогда. Взгляни на меня, присмотрись: может, вспомнишь дида, который приходил к тебе с другими маршалковскими мужиками просить о помощи еще года два, а то и три тому назад.

— Года три тому назад... С маршалковскими мужиками... Может, может... Только не вспомню что-то...— произнес раздумчиво Кармелюк, потирая рукой себе лоб...

— Ну, пригадаешь в другой раз, сынку, а теперь не до того... Собирай своих да беги скорее из этого леса.

— Что? Как? — вскрикнули разом Кармелюк, Явтух и Ульяна.

— Паны собрались обойти тебя, застукать здесь, облаву устроить... Янчевский перед ведет...

— Янчевский? Где ж он взялся?

— Вчера перед вечернею порой прискакал на панское дворище, черный, как сажа, оборванный, как жебрак (нищий).

— Проклятье! — вскрикнул бешено Кармелюк.— Вырвался, гаспид, на мою голову!

— Не трать, батьку, даром слов,— перебил его тревожно старик.— Спеши скорее из леса. Янчевский собрал со всех хуторов, сел, деревень и панов, и мужи-

ков; через полчаса обложат весь лес, и тогда уже мышь не вырвется из него.

— Да как же он узнал, что я здесь? Кто мог сказать, что я здесь?

— Не знаю, а только идут они все сюда, с ними одних мужиков душ шестьсот, коли не больше, а панства, а слуг... Беги скорее, батьку,— поймают, свяжут опять...

— Правда, правда, Иване,— заторопилась Ульяна, почуяв роковую опасность...

— Атамане, батьку...— начал было Явтух.

Но Кармелюк схватил старика за руку и заговорил грозным, зловещим тоном:

— А скажи ты мне, добрый человече, откуда ж ты дознался, что я приютился на сей раз в этой пуще?

Старик спокойно выдержал впившийся в него взгляд Кармелюка и отвечал:

— Не дознался, а додумался. Когда я проведал, что паны вдруг раптом сгоняют на облаву всех крестьян с вилами да с топорами, мне сразу почуялось что-то недоброе: на какого, мол, зверя в такую пору и такую облаву, такую силу собирают? Как услыхал, что к панам прискакал Янчевский и что ты побывал у него ночью, так и сразу догадался, на какого это зверя полюют... И решился я известить тебя, батьку наш родной! Только нельзя было дознаться, куда идут? Никто ничего не знал. Вот я смешался с загонщиками да и пошел на панский двор и там только, когда уже тронулись с места, дознался, куда идут. Схватил коня да охляп (без седла) и прискакал.

— А правду ли ты говоришь, старче? — произнес медленно Кармелюк, не отрывая глаз от лица старика.

— Богом пресвятым клянусь!.. Хочу спасти тебя... Если сейчас еще пойдешь за мной, можно спастись через перемычку в Гайдамацкий лес.

— А скажи мне, человек добрый, как это Янчевский дознался о том, что я засел в этом месте? — продолжал недоверчиво Кармелюк.

— Иване, Иване, не расспрашивай, дид говорит правду!..— схватила Ульяна Кармелюка за руку.— Янчевский мог услыхать все, когда сидел, запрятавшись в своем покое в трубе...

— Верно, он мог услышать все и подослать сюда к нам кого-нибудь, чтобы выманить на опушку!.. Ну-с,

диду, извини: пу́ганая ворона и куста боится,— обещаешь ты нас провести, так не взыщи, если я тебе, про всякий случай, аркан на шею наброшу, и если ты вздумаешь крикнуть или...

— Делай как хочешь,— перебил Кармелюка старик,— только торопись, потому что вместе с вами пропаду и я.

Кармелюк набросил на шею старика аркан, приказал Явтуху держать его крепко и при малейшем подозрительном движении старика, при первом возгласе в одно мгновение захлестнуть петлю. Руки деда были связаны за спиною; за ним шла Ульяна, так что если бы старик и вздумал бежать, то это ему не могло бы ни в каком случае удасться. Кармелюк пошел впереди.

В лесу уже достаточно посветлело и можно было без труда различать дорогу.

Все шли молча, соблюдая чуткую осторожность: сухая ветвь не треснула ни у кого под ногой. После получаса такого напряженного передвижения Кармелюк остановился.

— Стойте здесь,— обратился он к своим спутникам,— дальше идти опасно, я влезу на дерево и осмотрюсь. Глядите за дидом в оба, и если что...

— Будь покоен, батьку,— ответили вместе Ульяна и Явтух.

Быстро вскарабкался Кармелюк на вершину дерева и взглянул в ту сторону, где Кругляк разделялся узкой полосой просеки с неисходимым Гайдамацким лесом. Взглянул и вскрикнул глухо: вдоль всей опушки леса с этой стороны чернела сплошная извилистая полоса.

«Поздно! Обошли!» — эти два слова ударили его по сердцу, как два тяжелых удара молота. Но Кармелюк не растерялся. Сознание смертельной опасности и безвыходности своего положения как бы удвоило его силы и вмиг пробудило всю неслыханную энергию героя.

«Обошли ли весь лес, или только заняли это место, самое удобное для бегства, и подослали к нам старика, чтобы выманить нас сюда на опушку? — начал он быстро соображать.— А если и бежать — уйти невозможно: кругом со всех сторон лес окружен степью... верст на пять ни хутора, ни села... У панов кони... бесспорно, они расставили кругом стражу... Но так или иначе, надо бежать!» Кармелюк быстро спустился с дерева.

— Иуда! — набросился он на старика.— Так вот как ты хотел спасти нас? Вывести на опушку леса прямо в зубы панам?

— Святый боже! — воскликнул с непритворным ужасом старик.— Они обошли уже лес? Ну, так теперь мы все пропали! — добавил он беззвучным, полным отчаянья голосом.

— Пропали, да, может, не все,— прошипел Кармелюк, вырывая из рук Явтуха веревку. Но вдруг до скучившейся группы людей явственно донесся слабый звук рожка. Все молча переглянулись... Веревка выпала из рук Кармелюка...

— Панове,— произнес он дрогнувшим голосом,— загонщики сошлись. Облава началась.

XLV

С минуту все стояли неподвижно, подавленные ужасным открытием, и только властный окрик Кармелюка «Назад!» вывел их из столбняка.

Осажденные бросились вслед за Кармелюком к покинутому убежищу. Через четверть часа они были уже там. Дед прибежал вместе с ними. Теперь было уже очевидно для всех, что он пришел сюда не для того, чтобы предать их панам, а для того, чтобы предостеречь от страшной опасности.

— Ну, диду, прости,— произнес Кармелюк, тяжело переводя дыханье,— не поверил я тебе сразу — научило горе и своих людей бояться, а вот теперь и ты пропадешь с нами.

— Что там обо мне! Я и так намаялся на свете! Думай, батьку, как самому спастись? Янчевский не помилует...

— У! Стонадцать чертей! — вскрикнул Кармелюк, сверкнув налившимися кровью глазами.— Лучше самому дьяволу брошусь в зубы, но ему ни за что!! Слушайте,— обратился ко всем он,— хотите ли вы отдаться сразу ворогам в руки, или согласны попытать еще раз лукавую долю?

— Кому охота лезть самому под кнут! — улыбнулся дед.

— Приказывай, все сделаем,— произнесли отрывисто Явтух и Ульяна.

— Так слушайте ж,— заговорил Кармелюк коротко и глухо,— всякий, кто попадется в лесу, будет схвачен панами: они нагнали людей, осмотрят всякое дерево... Отсюда уже не уйдешь... Для того, чтобы спастись, надо выбраться на опушку.

— Так, батьку,— согласился Михайло.— Но как выбраться? Кругом загонщики.

— Самим присоединиться к ним!

— Але! Ведь они стоят все на опушке; когда увидят, что мы идем из глубины, сразу бросятся... да и узнают.

— Переодеться!

— Во что? — перебила Ульяна.— С нами вся панская одежда...

— Да и то, батьку,— добавил старик,— когда двинулись мы с панского двора в дорогу, я заметил, что на всех не только хлопах, а и на командах сверх другой одежи надеты были черные свиты и зеленые пояса.

Злобная усмешка искривила губы Кармелюка.

— Хорошо придумал, дьявол,— поспешил он,— но стойте, стойте! Это нам может послужить и на руку. Да! Видите,— продолжал он уже спокойнее,— нам надо только добыть их одежу, прорвать цепь, окружившую лес, и тогда мы на свободе... Ну, я беру это на себя, и если вы исполните все, как я вам скажу, мы одурачим Янчевского, слышите — одурачим наигоршего дьявола, а вместе с ним и всех панов.

— Говори, батьку, скорее,— произнесли нетерпеливо слушатели.

— Я переряжусь старым мужиком,— дид даст мне шапку и свитку,— взвалю вязку дров на плечи и пойду на опушку...

— Святый боже! Прямо в руки катам! — вскрикнула Ульяна.

— Мы и так в их руках,— остановил ее холодно Кармелюк.— Я пойду к степи... Янчевский сторожит, должно быть, на самом опасном месте — на просеке... Даст бог, не узнают...

— Как не узнают? — горячо возразила Ульяна.— Ты столько раз их дурил, что они в каждом настоящем

диде, да не только диде, а и бабе будут теперь подозревать Кармелюка...

— Оно так,— чесал затылок атаман.— Я последний раз был у них дидом, ну, а все же нужно решаться, иначе — скрут (безвыходное положение).

— Коли рисковать нужно и панов дурить, то пойдешь к ним не ты, а я! — вскрикнула с отвагой Ульяна.

— Ты? Что тебе в голову пришло?

Кармелюк уставился на нее.

— Тебя сейчас же схватят, как мою сообщницу. Ведь Янчевский видел, что убила его дворецкого баба, которая со мной рядом шла.

— Да, видел; там была баба, а здесь пойдет хлопец! Выслушай меня, атамане, времени мало... от этого зависит все. Паны знают, что ты можешь перекинуться и дидом, и ксендзом, и магнатом; но чтобы мог ты перекинуться в малого хлопца — этому не поверит никто. Когда я обрублю свои косы и надену штаны да свитку, увидишь,— буду казаться малым хлопчиком, и никто не заподозрит, чтобы такой молокосос мог быть в шайке Кармелюка.

— Молодица говорит правду,— заметил старик,— так будет вернее.

— Ей-богу! — повторил Явтух.

— Нет! — вскрикнул Кармелюк.— Не будет того; там каждую минуту опасность... Смерть... Она не найдется... проговорится... Я не пущу тебя.

— Иване! — перебила его сурово Ульяна.— Помнишь наш уговор: с тобой и в огонь и в воду! Не удерживай же меня: я не из плохих... Неужели ты думаешь, что если они поймают тебя, то помилуют меня? Все равно всех, а особенно меня, ждет пытка и смерть, делай же так, как вернее и лучше. А за меня — не бойся. Я справлюсь! Заманю... Вот увидишь!

— Да заметь еще, пане атамане, и то, что в этом и для нее самой единственная возможность спастись от пекла,— так не препятствуй! — заметил дед.

После недолгого спора Кармелюк вынужден был согласиться.

Когда Ульяна удалилась в чащу и затем возвратилась, одетая в костюм, снятый у деда, все ахнули невольно, до того она помолодела, уменьшилась в росте. Теперь ей нельзя было дать на вид больше тринадцати

лет. Широкая свитка, подпоясанная поясом, и грязные, оборванные штаны, подобранные до колен, маленькие, загорелые ноги — все это придавало ей вид бедного мальчишки, одетого в отцовский костюм.

— Вот только косы; руби скорей, Иване,— встряхнула она головой, и по плечам ее рассыпались черные как смоль, волнистые и длинные пряди.

— Положи голову на пень! — скомандовал Кармелюк.

Ульяна приклонила голову и собрала все волосы в густой жгут; Кармелюк взмахнул кинжалом, и в одно мгновение длинные косы отделились от головы молодицы, Ульяна вскочила на ноги и встряхнула головой; черные кудри рассыпались в беспорядке вокруг ее лица; теперь она еще больше походила на удалого шалуна-мальчишку.

— Ну, готово,— произнесла она, нахлобучив на лоб рваную шапку деда.— Прощайте.

— Постой! — остановил ее на минуту Кармелюк, крепко прижав к груди, и произнес отрывисто: — Помни и берегись!

— Не бойся. Коли вывернусь, то и себя, и вас спасу, а коли влопаюсь, то живою в руки не дамся!

— Орлица моя! — обнял ее снова атаман. — Слушай же подробно, как и чем их одурить; мы без тебя тоже приготовим им западню и добудем одежду загонщиков.— И он стал торопливо и тихо излагать ей свой план, а потом закончил: — Коли будет удача, беги тотчас в Гайдамацкий лес, а наш знак — крик пугача.

— Будь спокоен, все исполню... Ну, прощай! — Ульяна наскоро обняла Кармелюка, взвалила себе на плечи вязанку валежника, приготовленную уже Михайлом, и скрылась в лесной чаще.

Лес действительно уже был оцеплен со всех сторон тесным кольцом загонщиков; за загонщиками стояла другая, более редкая цепь, состоявшая из надворной команды и дворовых слуг да охотников, вооруженных ружьями и пистолетами; среди них, недалеко друг от друга, стояли вооруженные с ног до головы шляхтичи, а за этой цепью, на некотором расстоянии от опушки леса, размещены были верховые стражники — для того, чтобы ловить Кармелюка, если бы ему, паче всякого чаянья, удалось прорваться сквозь цепь.

Как и предполагал Кармелюк, Янчевский с избранными воинами занял самое опасное место — узкий проход между двумя лесами. Пан маршалок же остановился на опушке, примыкавшей к степи, куда, по всякому соображению, Кармелюк не стал бы бросаться.

Вокруг рыдвана маршалка толпилось приличное количество всадников; лошадей из рыдвана не откладывали, чтобы иметь возможность при малейшем смятении обратиться в бегство; но, несмотря на все эти предосторожности, пан маршалок замирал от страху. Розалия не захотела сидеть с ним в карете и стала на опушке леса рядом с паном Рудковским... Она, собственно, не давала себе отчета в том, что делалось с ее сердцем, но она испытывала необычайное волнение, непохожее, впрочем, на то, которое могла бы вызвать опасность. В зеленом охотничьем костюме, с кинжалом и пистолетом за поясом, в большой шляпе с спускавшимися на плечи перьями Розалия была обольстительно эффектна, и юный пан Рудковский просто таял в присутствии красавицы, не зная, чем угодить ей и как проявить перед ней свои рыцарские доблести.

— Ну что, пане, поймаем ли мы нашего разбойника, или он нас поймает? — обратилась Розалия к своему кавалеру.

— Ха-ха! — отвечал с самодовольной усмешкой Рудковский, молодцевато покручивая свои усики.— Если бы он был действительно колдуном и сумел бы перекинуться в зайца, то и то, пшепрашам, пани, шельме не удалось бы уйти из наших рук!

— Но чего ж мы стоим и ничего не делаем?.. Сгораю от нетерпения...

— Я разделяю чувства пани... Облава — это потеха холодных натур... Сойтись с врагом в поле, броситься за ним в погоню, ринуться очертя голову в бурю опасностей...

— Но когда же начнется эта облава? — перебила патетическую речь кавалера Розалия.

— А вот сейчас дадут сигнал, и тогда начнем углубляться в лес, постепенно стягивая кольцо, при этом по дороге будут осмотрены каждая норка, каждое дерево.

— Ах, как все это медленно и скучно,— вздохнула Розалия, покусывая от досады свои прелестные губ-

ки.— И право, в этом ничего нет шляхетного... Семьсот на трех-четырех! Фе!

— О ясновельможная пани,— вспыхнул до ушей Рудковский,— если бы не долг повиноваться предводителю нашей облавы, я тотчас бы ринулся в глубину чащи,— либо вывел бы связанным збойцу к панским ножкам, либо остался бы там сам.

— Неужели? — усмехнулась Розалия и взглянула недоверчиво на вспыхнувшее лицо заносчивого юнца.— И пан не побоялся бы встретиться с Кармелюком?

— Естем, пани, уродзоный шляхтич польский,— ответил гордо Рудковский,— и ничем не заслужил от пышной пани такой образы (обиды).

— О пане ласкавый,— усмехнулась Розалия,— в том нет никакой образы,— к сожалению, нужно признаться, что наши шляхтичи, и самые славетные, боятся Кармелюка, как выходца с того света.

— Пшепрашам, пани, не все шляхтичи похожи на пана Хойнацкого!

— Гой! А молодая шляхта отважится пойти на Кармелюка один на один?

— Если только того пожелает богиня, красавица, крулева наша, то я сам забуду и долг, и повиновение,— заговорил пламенно Рудковский, но Розалия перебила с снисходительною улыбкой пылкие излияния юноши и произнесла милостиво:

— Крулева этого не потребует, потому что знает, как Кармелюк отважен и силен,— это лев, и она не захочет рисковать так безрассудно жизнью молодого храбреца.

— Клянусь святым патроном *,— вскрикнул горячо Рудковский,— сегодня пани убедится в том, что молодость — не помеха отваге и что подлый хлоп силен только хлопскою хитростью, но удаль благородного шляхтича ему незнакома!

— Не знаю,— задумчиво протянула Розалия,— сегодняшний день покажет, прав ли мой молодой рыцарь?

Польщенный донельзя приветливыми словами красавицы, Рудковский припал к ее ручке пламенным поцелуем, с твердым решением отличиться сегодня во

* Покровителем (*лат.*).

что бы то ни стало и обратить на себя внимание богини.

Нежную сцену прервал вдруг неожиданный шум:

— Стойте! Держи! Лови! Не пускай! — закричали загонщики, и вслед за этим послышались какие-то жалобные всхлипыванья и возгласы:

— На бога! Не буду!! Ой господи!

В одно мгновение Рудковский отпрянул от ручки красавицы и ринулся как лев к толпе загонщиков, обступивших кого-то. Он увидал с удивлением небольшого мальчишку — грязного, оборванного, но вместе с тем удивительно хорошенького. К смуглому лицу Ульяны и коротким волнистым волосам шел как нельзя лучше мужской костюм. И теперь никто бы не мог заподозрить женщину в этом замарашке-мальчугане. При виде молодого пана мальчишка в ужасе повалился ему в ноги.

— Кто естесь?! — набросился на него грозно Рудковский.

— Хлопец... из... села... села...— запнулась Ульяна и вдруг сообразила, что не знает ни одного ближайшего к этой местности села. Сердце ее сразу упало, и холодный пот побежал змейкою по спине... Но, к счастью, сам молодой пан вывел ее из затруднения.

— Из села, из села! — перебил он ее.— Сам вижу, что не из города! Да что ты здесь делал? Как появился?!

— Ой паночку ласкавый, простите, больше не буду! Мать больна... в горячке конает... солома вся вышла... не на чем и окропу (кипятку) согреть... Я подумал: «Боже милостивый! От того ведь пану кривды не будет, если я сухих гилячок (ветвей) соберу, чтоб матуне...»

— Что!!! — заорал Рудковский, наступая на мнимого мальчишку.— Как ты смел здесь красть панский лес?

— Не лес, не лес, паночку, самый лом, вот хоть посмотрите: одни гилячки да патычки.

— Молчи, щенок! — перебил Ульяну грозно Рудковский.— Пустить вас в лес, так вы и дубы с корнями повытащите... И все это пойдет за гилячки да патычки... А ну-ка, хлопцы,— крикнул он загонщикам,— всыпьте ему с двадцать лоз, чтобы знал, как красть панский лес!

— На бога, пане, помилуйте! — вскрикнула Ульяна с неподдельным ужасом и бросилась к ногам Рудковского, нащупывая в то же время за рукавом кинжал.

«Покончу сразу с ним и с собою!» — мелькнуло в ее голове. Но мысль, что труп ее выдаст обман и что кумиру ее выпадут на долю пытки и смерть, заставила ее снова умолять паныча.

— Ой господи!.. Ой боже! Спасите, помилуйте... Поми-луйте!.. Я все... все,— вопила она не своим голосом, впиваясь в ноги Рудковского; но ужас мнимого хлопца еще больше прибавил охоты молодому герою.

— Не хочется?— расхохотался он.— Вот и слично,— другой раз отобьет охоту. Всыпьте же!

Гайдуки бросились и схватили хлопца за плечи.

— Пустите... смилосердитесь... помилуйте! — забилась Ульяна как безумная в руках гайдуков, но гиганты держали ее крепко и еще меньше своего начальника были расположены к милосердию.

«Что ж это? Позор... погибель?!» — сверкнуло молнией в голове Ульяны, и она рванулась бешено из рук палачей; но последние крепко держали, словно в железных тисках, свою жертву.

— Не уйдешь, шельмец! — хохотали злорадно мучители, скручивая назад освободившуюся было на мгновенье левую руку хлопца.— Не уйдешь! Ишь как извивается, словно уж... А ну стягивай с него свитку, чтобы не мешала...

— Пропала! — завопила в порыве отчаяния Ульяна, выдавая себя еще больше; но поляки во время борьбы не обратили внимания на ее обмолвку. «Теперь не дадут и покончить с собой...» Обезумев от ужаса, она стала кусать гайдукам руки, чтобы при этом маневре освободить хоть на миг свою правую и пырнуть себя в сердце кинжалом...

— Ах ты щенок! Кусаться? — зарычал укушенный гайдук.— Ломай ему руки... За горло дави... Срывай все...

— Царица небесная! — прошептала, теряя последние силы, несчастная и, закрыв глаза, ждала пытки...

XLVI

— В чем дело? Отчего так кричит этот хлопец?

Ульяна открыла глаза и увидала молодую, красивую пани.

— Да это мальчишку поймали: тащил из лесу хворост,— ответил Розалии Рудковский.

— Но отчего же он так кричит и рыдает?

— Приказал ему всыпать двадцать лоз, так он нежится и боится... Ничего! Потерпит немного, и шкура вырастет новая!

— Это первое проявление шляхетской храбрости? Потешаться над мальчишкой? — заметила с презрительною улыбкой Розалия.— Нет, я не позволю бить мальчишку; он такой жалкий и хорошенький... Да и вина его не велика: вязанка хворосту! Пфу!!

— Но если позволить хлопам брать хворост — распустишь их! — оправдывался сконфуженный шляхтич.

— Какой скаредный! — пожала руками Розалия.— Пан лучше может воспользоваться им: расспросить мальчишку про разбойников. Ведь если он собирал хворост, то он их видел, быть может.

— Вельможная пани соединяет в себе два образа — и Киприды, и Паллады! — воскликнул Рудковский, проклинавший в эту минуту свою опрометчивость и сгоравший желанием загладить невыгодное впечатление и чем-нибудь отличиться.

Уже при первом появлении пани маршалковой гайдуки приостановились, считая неприличным производить порку в присутствии вельможной пани. Не слыша себя от радости, прислушивалась Ульяна к диалогу красавицы с Рудковским; она боялась верить неожиданному спасению, но надежда ее оправдалась.

— Назад! Пустите его! — крикнул Рудковский гайдукам.— Эй ты, блазень, иди сюда да поблагодари вельможную пани, что спасла тебя от заслуженной кары! — подозвал Рудковский мальчишку, призывно махнув рукой.

— Пусть вас бог благословит, ясновельможная пани! — вскрикнула от души Ульяна, и лицо ее залилось густым румянцем.

— Да, право, хлопец хоть куда! — заметила Роза-

лия Рудковскому.— Выпрошу себе в казачки. Но пусть же пан порасспросит его.

— О, ма ся разумець! — ответил важно Рудковский и сделал хлопцу знак приблизиться.— Слушай ты,— заговорил он грозно,— ясновельможная пани спасла тебя от кары, но этого мало; если ты вздумаешь солгать мне или обмануть меня на полслове, то я безо всякой жалости повешу тебя на первом суку; если же будешь говорить правду, то не только позволю тебе забрать с собой эту вязанку хворосту, но еще и награжу тебя.

— Ой паночку... Все, как на духу... все, только что пан хочет! — воскликнула Ульяна, предчувствуя счастливый исход дела и употребляя все усилия, чтобы скрыть охватившую ее радость.

— Итак, отвечай, во-первых, далеко ли ты заходил в глушину леса?

— Туда, в самую чащу... к болоту...

— А вышел откуда?

— С той стороны... Набрал хворосту да и хотел назад... забежал уже на опушку, вдруг вижу — кругом паны и люди; я шасть в другую сторону — там тоже, в третью — и не пробраться, прямо стеною стоят; думал здесь выскользнуть и вот попался...

— Следовательно, исколесил весь лес?

— Ой, чисто весь лес, паночку, ног не чую!..

— Хорошо! Ну, а скажи по правде, да, слышишь ли, по правде,— повторил грозно Рудковский,— не встречал ли ты кого в лесу?

— Ой паночку... видел! — Ульяна сделала самое глупое лицо, оглянулась кругом и произнесла боязливо: — Там, на болоте, дидько шевелится.

— Что ты еще выдумываешь, дурень! — прикрикнул на хлопца Рудковский.

— Ей-богу, паночку,— продолжала с жаром Ульяна,— вот чтобы я своей мамы не видел, когда он там не сидел, да не один... Я как глянула...— поперхнулась и остановилась в ужасе Ульяна.

— Что-о? — протянул Рудковский.

— Как глянула, говорю,— поправилась Ульяна,— на меня эта нечистая сила... так я от страху чуть к земле не присел... Да вспомнил молитву... отошло... Ну, я и давай бог ноги!

— Постой ты, дурень,— перебил Ульяну Рудковский,— а видел ты лица этих дяблов?

— Видел, паночку, видел... Одного из них вот так, с ног до головы видел. Я под кустом залег, а он вышел так из заросли, что средь болота, стал и прислушивается...

— А какой же он из себя? — произнесли разом Рудковский и Розалия.

— Высокий, куда выше пана; одежа на нем дорогая и лицо такое красивое: усы и чуприна русявые, а глаза... вот хорошо не разглядел,— будто синие...

— Да ведь это он! — вскрикнула Розалия, и лицо ее покрылось горячим румянцем.

— Кто «он»? — переспросил Рудковский.

— Да Кармелюк же...

— Ой матинко! — всплеснула Ульяна руками в притворном испуге.

— Разве вельможная пани знает его? — переспросил Розалию живо Рудковский.

— Что за вопрос! — оборвала резко Розалия.— Конечно, видела в былое время не раз у соседки... и пан Янчевский так часто описывал мне его,— румянец пани Розалии разлился до самых ушей.— Але, пане,— вскрикнула она живо, желая переменить тему разговора,— ведь у нас в руках есть возможность поймать немедленно гайдамака.

— И, клянусь честью, мы ею воспользуемся! — произнес с жаром Рудковский и обратился к мальчишке: — Слушай! Ты знаешь то место, где тебе явился дидько?

— Знаю, знаю.

— И можешь нас провести к нему?

— Ой паночку, я вам лучше расскажу, а сам... ой, страшно! — заговорила Ульяна с притворным ужасом.— На них ведь можно только со страстною свечкой идти... а у пана...

— С нами тебе нечего бояться: при виде нас у самого твоего дидька свечи в глазах запрыгают... Вот, на тебе талер.— И Рудковский швырнул Ульяне серебряную монету, которую та ловко поймала в шапку,— доведешь — получишь вдвое, а вздумаешь убежать — шкуру...

— Ой, нет, нет! — взвизгнула Ульяна.

— Прекрасно! — перебил ее Рудковский и обратил-

ся к своим слугам: — Панове, а кто из вас пойдет со мной за Кармелюком?

— Первая я! — ответила задорно Розалия.

— На бога! Разве богине красоты место среди дебрей, болот? — всполошился Рудковский.— Да и меня съест пан маршалок!

— А, значит, пан боится за себя, чтобы не попасть на снеданок к малжонку (мужу)? Так для кого же он растрачивает свой пыл?

— О, за одну улыбку пани я готов лечь костьми! — вскрикнул восторженно пан Рудковский.— Но здесь для пани будет не то что неудобно или опасно, а просто невозможно пройти... Взгляните на мальчишку: вся одежда у него изорвана, а ноги по колена в грязи...

— Хорошо... Я уступаю,— ответила, подумав, Розалия,— но с единственным условием, что пан мне даст обещание на слово гонору, что он приведет ко мне Кармелюка живого, неискалеченного!

— Клянусь всеми богами Олимпа! — поднял руку Рудковский.

— Слично (отлично). И пусть пан еще намотает себе на усик, что убитый десятью, а может быть, и сотней один человек возбудит у меня к пану только презрение...

— Пусть крулева будет покойна и вспомнит мои слова,— отвечал Рудковский, сверкнув страстно глазами.— Сама судьба посылает мне случай убедить в моей преданности пани, и, клянусь, прежде чем наши соратники дойдут до половины леса,— Кармелюк будет уже здесь, у панских ног, и я отдам всецело мой трофей в руки нашей божественной повелительницы!

Ввиду этой панской клятвы Розалия милостиво обещала юноше обождать его на опушке.

Ближайшие загонщики все до одного вызывались сопровождать молодого пана, но Рудковский не захотел брать с собой хлопов, а отобрал душ восемь из дворовых слуг и в сопровождении Ульяны бесстрашно бросился в глубину леса. Ульяна не шла, а летела,— главная и самая опасная часть плана была выполнена вполне успешно. Забыв свою роль глуповатого и трусливого хлопца, она смело шла впереди отрядика, рассматривая и подбрасывая полученную монету.

— Тише, ты! Ишь расходился как! — оборвал ее

один из гайдуков, рыжий гигант, которого, по мере удаления от опушки, начинала покидать первоначальная храбрость.

Этот тихий окрик привел в себя Ульяну. Она сразу присмирела и возвратилась к своей роли. После получасового путешествия, сопровождавшегося всевозможными предосторожностями, Ульяна привела наконец ляхов к узенькой тропинке, скрытой в камышах, соединявшей островок с твердою землей.

— Там, там,— зашептала Ульяна, вытягивая руку по направлению к острову, и попятилась за спину гайдуков.

Все остановились, и вдруг одинаковый ужас сразу охватил всех: они одни в лесу, отделившись от отряда... перед убежищем Кармелюка, а кто знает, сколько там засело гайдамаков? Мальчишка видел троих, но их может быть и тридцать три!

— Нет, так наобум лезть нельзя...— прошептал Рудковский.— Надо вперед послать лазутчика — высмотреть, сколько их там. Панове, кто полезет первый?

Гайдуки молча переглянулись между собой и замолчали: никто не имел охоты на этот геройский подвиг.

— Да вот мальчишка пусть полезет,— заметил наконец тихо рыжий.— Ему и сподручнее всех; опять, если его и заметят, то ему ничего не станется...

Все сразу ухватились за предложение рыжего. Ульяна начала отказываться, изображать ужас... целовала руки пану, просила смиловаться над ней и не посылать ее в страшное кубло, но при первой угрозе Рудковского покорилась своей участи и поползла между камышей. Забравшись на остров и убедившись в том, что товарищи уже успели спрятаться, Ульяна возвратилась назад и объявила Рудковскому, что гайдамаков на острове уже нет, но что там — чего, чего только не навалено! Желтые и белые гроши, одежды панские и оружие... Это сообщение, а особенно его вторая часть сразу подняли настроение духа преследователей. Уже давно в народе носились легенды насчет несметных богатств, которые Кармелюк припрятывает в разных местах; воображение заиграло в алчных сердцах.

— Да ты не брешешь ли? — переспросил хлопца нерешительно Рудковский.

— Вот чтоб я домой не вернулся, коли не правда,

чтоб я восхода солнца не дождался, чтоб я...— начала было божиться Ульяна, но Рудковский перебил ее:

— А хорошо ли ты все осмотрел кругом?

— Всюду вылазил, осмотрел и лозы, и очерет.

— Ну, так веди. Панове,— повернулся он,— взведите курки и по одному за мной.

На острове встретило поляков небольшое разочарование: денег оказалось немного (их нарочно рассыпал Кармелюк для приманки), но зато всюду валялось оружие и одежда Янчевского, которую тотчас и признал Рудковский. Это доказывало, что в убежище действительно скрывался Кармелюк, а что разбойник покинул его не больше как час тому назад, доказывала куча тлеющих углей с разбросанным вокруг них картофелем. Осмотрев все, Рудковский остановился в нерешительности посреди пещеры.

— Но куда же девался шельма? — произнес он вслух.— Уйти не мог. Может, он засел где-нибудь по дороге, чтобы перехватить нас.

— Нет, нет,— вмешалась Ульяна,— если их здесь нема, то я знаю, куда они спрятались. Никто не догадается, а я знаю...

Так как слова мальчишки раз уже совершенно оправдались, то и Рудковский, и гайдуки отнеслись теперь к нему с полным доверием.

— А почем же ты знаешь? — спросил все-таки пан.

— Я в этом лесу бывал не раз — то за ягодами, то за грибами,— зачастила Ульяна,— и тут на болоте, никто не знает, никто никогда и не догадается, хоть весь лес перешарить да перерыть, есть камень бо-о-льшущий, а под тем камнем лаз — пещера, я там раз пригоршню грошей белых нашел Они туда ушли... Ей-ей, туда!

— Может статься,— заговорили гайдуки,— мальчишка шустрый.

— А где же этот камень? — спросил Рудковский.

— Здесь, на краю болота... Болотом пройти, так никто и не увидит, и не услышит... А из лазу один только выход... Всех их можно перестрелять.

Заманчивая перспектива накрыть Кармелюка и перестрелять всю его шайку снова завладела воображением Рудковского, тем более, что из слов мальчика видно бы-

ло, что это нападение не угрожало им никакой опасностью.

— Смотри же,— произнес он уже благосклонно,— доведешь — так получишь еще талер, а нет...

— Всех перестреляем, як бога кохам! — воскликнула Ульяна, потирая руки, и глаза ее сверкнули неподдельною радостью.

— Ну, а куда же идти?

— Да вот так, навпростец, болотом,— ответила Ульяна.— Только надо раздеться и подкачать штаны,— местами придется по пояс брести.

— Ну, а ты что ж, в свите полезешь? — отозвался рыжий, осторожно снимая свои, видимо новые, сапоги и отставляя их к сторонке.

Все, не исключая и самого Рудковского, последовали совету Ульяны и, сняв свитки, пояса и сапоги, а некоторые и шляпы, сложили все в камышах на берегу.

Началось новое путешествие. Ульяна сама хорошо не знала дороги через болото и потому не раз проваливалась по пояс. После доброго получаса самого мучительного перехода Ульяна свернула в густо разросшиеся камыши и, пробравшись сквозь эту густую заросль, осторожно высунула голову и тотчас же испуганно юркнула назад.

— Ну что? — спросил ее тихо Рудковский.

— Ой пане, там они! — шепнула Ульяна с притворным ужасом.— Рушныци видно.

Слова мальчишки повергли всех снова в холодный ужас... Однако Рудковский превозмог себя и, слегка раздвинув камыши, подставил глаза к образовавшемуся отверстию; ему представилась следующая картина: саженей на сто от них, на краю болотной топи, подымалась огромная бесформенная глыба гранита и словно врезывалась узким мысом в болото; с тылу она казалась сплошным серым камнем, но со стороны болота, и именно с того пункта, откуда наблюдал Рудковский, можно было ясно рассмотреть концы ружейных дул, направленных, видимо, из пещеры на болото; выставлялись еще подбитый гвоздями сапог, высунувшийся както неосторожно из зеленой стены, и согнутая спина человека в синей чумарке, притаившегося, видимо, на пороге пещеры...

Рудковский выпустил камыш из рук и невольно подался назад...

Не было сомнения — разбойники были там; их разделяли только сто саженей!.. Но уже по одному беглому взгляду Рудковский убедился сразу в том, что их было там не три, а гораздо больше: одних дул он насчитал пять, а кто знает, сколько гайдамаков притаилось в глубине пещеры?..

Положение Кармелюка было самое выгодное: с трех сторон его защищала гранитная стена, а единственное небольшое отверстие, ведшее в пещеру, защищали пять, а может быть, и целый десяток ружейных дул, и так как брести к пещере надо было по болоту, то ясно было, что, прежде чем отряд Рудковского успеет приблизиться к ней хоть на пятьдесят саженей, Кармелюк перестреляет их всех до одного. Явное смущение овладело всеми.

— Не сидеть же нам здесь до тех пор, пока сойдутся загонщики? — произнес сумрачно рыжий гигант.

— И выходить отсюда страшно: какой-нибудь пустяк может выдать нас! — заметил другой.

— Остается одно,— прошептал Рудковский,— послать хлопца, чтобы звал к нам подмогу. Тогда и слава останется за нами, и мы избежим видимой опасности.

XLVII

Предложение пана Рудковского несколько успокоило воинов. Ульяна же едва могла скрыть свою радость при таком неожиданном повороте дела.

— Только пустить его одного,— добавил Рудковский,— пожалуй, чкурнет из лесу, а мы останемся здесь сидеть до ночи.

— Убей меня бог, паночку, если я сейчас не брошусь к пану...— Ульяна чуть-чуть не сказала: «пану Янчевскому», но замялась и пробормотала скороговоркой: — да вот к тому, который там... здесь...

— Да он не знает, к кому броситься,— заметил рыжий.— Опять же, ему и не поверят...

— Верно,— согласился Рудковский.— Пусть кто-нибудь из наших пойдет с ним. Да вот ты, Фелициан! —

кивнул он рыжему.— Смотри же, нас останется тут только десять, в лучшем случае — по два на одного гайдамака. Гони сюда побольше загонщиков с нашей стороны, да только тише, чтобы не вспугнуть... Скорее, понимаешь?

— В минуту,— ответил гигант, весьма довольный тем, что может так или иначе отделаться от ужасной атаки.

Тихо, почти неслышно побрела назад Ульяна со своим спутником. Сердце в груди у Ульяны прыгало и билось от восторга. «Спасены... и он спасен!! Опять свобода, радость, воля!» — шумело в голове. Она употребляла над собою неимоверные усилия, чтобы скрыть свою радость и сохранить притворный ужас... На этот раз путешествие прошло благополучно, и минут через двадцать они достигли заросшего очеретом берега, где оставили свои одежды. Ульяне снова пришлось сорваться раза два и упасть плашмя.

Дойдя до берега, Ульяна набросила на себя первую попавшуюся свитку, подпоясалась зеленым поясом и собралась уже идти, но, оглянувшись, увидала, что спутник ее и не думает одеваться, а с самым недовольным видом шарит руками в очерете.

— Пане, а пане? Да что же пан не одевается? — обозвала его тихо Ульяна.

— Хорошо-то одеваться, когда не во что,— буркнул сердито рыжий.

— Как не во что? Да вот же сколько одежи!

— Сколько одежи! Стану я одевать чужие лохмотья! Моей нет!

При этих словах гайдука сердце Ульяны остановилось, краска сбежала с лица, руки и ноги похолодели...

— Чоботы новые, кафтан, шаровары тонкого сукна,— продолжал сердито рыжий, обшаривая местность.— Все тут положил, тут, своими руками, и вот — нет ничего... Ведь не иголка! Никто же взять не мог... Сто тридцать чертей, в кафтане еще пять талеров было... Хорошая облава!

И, словно не доверяя своей памяти, он перешел к общей куче и начал перебрасывать вещи.

— Не мое, не мое! — повторял он за каждой штукой.— И сапоги не мои, и это не мое...

Ульяна стояла ни жива ни мертва, не зная — на что решиться, что предпринять? Бежать было безумно, ударить ножом — рискованно да и неудобно.

Рыжий схватил между тем последнюю штуку и, швырнув ее об землю, закричал, обращая к Ульяне багровое от бешенства лицо:

— Нету! Говори же, какой дьявол мог захватить здесь мою одежду?!

Отчаяние возвратило Ульяне рассудок.

— Да чего пан на меня так вызверился? Я ж чем виноват? — заговорила она плаксивым тоном.— Я ведь впереди всех шел... Может, кто из панских товарищей захватил вещи да и перепрятал их в другом месте, в кустах... Ведь не все лезли разом в воду!..

Объяснение мальчишки показалось рыжему весьма правдоподобным, тем более что он полез в воду одним из первых.

— Может статься,— проворчал он сердито.— Да далеко ж не занесли... здесь где-нибудь засунули...— И он направился было к кустам, чтобы обшарить всю заросль, но мальчишка решительно воспротивился этому намерению:

— Ради бога, пане, скорее, надевай что попало, потом свое отыщешь, оно ведь не уйдет... Я не останусь здесь ни минуты... я сам убегу... Ой господи! Да ведь те гайдамаки, что мы так застукали, спрятались где-нибудь за кустом и поджидают нас, того и гляди бабахнет из-за дерева... Ой матинко! — заголосила она громко, вытирая глаза рукавом.— За что же я погибать должен?

— Цыть, ты, идол! — дернул рыжий со злостью Ульяну за плечо.— Благодаря тебе в эту трущобу залезли!

— Да разве я хотел сюда идти? Сами приказали... Ой, что мне теперь от матери будет!.. И свитку дидову порвал, и штаны пропали,— продолжала Ульяна тем же тоном и, взглянув из-под рукава, с удовольствием заметила, что рыжий поспешно натягивает на себя чьи-то сапоги и свитку.— Ой, отпустите меня, паночку: пропали мои дрова, и батько больно бить будет!

— Да замолчи ты, чертово падло,— прошипел с бешенством рыжий,— а то я тебя по голове так тресну, что и ноги протянешь! Ну, иди,— толкнул он с такой

силой Ульяну в плечо, что она чуть-чуть не упала на землю.

Но этот толчок показался Ульяне самою нежной лаской. Она отняла рукав от глаз и бросилась бежать. Отбежав саженей на двести от болота, Ульяна приложила руки трубою ко рту и закричала что было силы:

— Сюда! Нашли! Нашли!!!

Пока Ульяна вела сцену с Рудковским, Кармелюк с товарищами тоже не терял даром ни минуты. Покончив с устройством мнимого логовища, он занялся преобразованием своей наружности. Надо было пользоваться тем, что было под рукою. Первым делом Кармелюк смешал растертый порох с соком молочая и густо вымазал себе этой смесью волосы и усы. От этой «помады» светлые волосы его приняли сразу какой-то грязно-бурый цвет и скомкались на голове жесткими вихрами. Усы Кармелюк подрезал и растрепал, так что они не стлались теперь двумя волнистыми прядями вокруг его полного красивого рта, а торчали на губе бурою щетиной, подобно усам моржа. Затем он нарезал сырой картофельной шелухи и начал натирать себе ею кожу. После двух-трех минут такого втирания кожа его потемнела и приняла грязно-коричневый оттенок. Уже от двух этих операций лицо Кармелюка сильно изменилось; когда же он натер еще глаза луком, так что они стали совершенно красными, словно пораженные трахомой,— то Кармелюк совершенно преобразился.

Но это было еще не все. Кармелюк обладал удивительною способностью совершенно изменять свою фигуру, осанку, голос, интонацию и даже черты лица. И когда он встал, согнув спину, втянул голову в плечи, оперся на палку, расставивши как-то неуклюже ноги, свесил уныло голову и распустил губы, то весь он до того преобразился и до такой степени напоминал какого-нибудь придурковатого деревенского вахлака, что Михайло не мог удержаться от восхищения.

— А ей-богу, батьку, должно быть, ты и вправду с чертями знаешься! Вот убей меня, не то что ляхи, а я и сам не признал бы тебя!..

— Не кажи гоп, пока не перескочишь! — остановил его Кармелюк.

Покончив с гримировкой, Кармелюк с товарищами залегли в ближайший ров, присыпав себя листьями и

всяким ломом. И как только ляхи удалились вслед за Ульяной в глубину болота, они переоделись в брошенную загонщиками одежду и притаились в заросли.

По своей неизменной привычке к франтовству, Кармелюк захватил новенькие сапоги и новенькую одежду рыжего гайдука и тем чуть-чуть не привел все дело к роковой развязке...

Забившись в гущину, с тревожным ожиданием поджидал Кармелюк с дедом и Михайлом условного крика Ульяны; хотя по первому началу видно было, что она вела успешно дело, но Кармелюк прекрасно знал, что в таких рискованных случаях является множество неожиданностей, случайностей, и надо много гениальности, находчивости и присутствия духа, чтобы справиться со всем. Тысячи мыслей и образов, одни ужаснее других, терзали его... Но вот вдруг из глубины лесной до них донесся ясно радостный, торжественный крик Ульяны: «Сюда! Нашли! Нашли!!!»

От радости и неожиданности Кармелюк вдруг почувствовал страшную слабость во всем теле.

— Слава богу! — прошептал он, осеняя себя крестным знамением.

— Вовеки слава! — повторили за ним набожно дед и Михайло.

— Ну, теперь, братцы, за последнюю работу! — вскрикнул удало Кармелюк, вскочил на ноги и расправил могучие плечи.

Глаза его сверкали. Ульяна была в безопасности, а для него начиналась игра, рискованная и опасная, как танец среди воткнутых в землю ножей; но этот-то риск и доставлял удалой душе Кармелюка жгучую, острую радость.

— Вы бегите прямо на Янчевского, к лесу, и старайтесь сдвинуть его в глубину, а я побегу по опушке... Смотрите же в оба... А там, в лесу, сигнал наш — крик совы.

Товарищи сжали друг другу руки и с громкими криками: «Нашли, нашли!!» — бросились в разные стороны.

Еще не добежав до опушки леса, Кармелюк услышал оживленный шум и отрывистые крики... Видимо было, что жгучая новость успела уже распространиться. Вскоре перед ним замелькали и фигуры загонщиков.

— Сюда! Скорей! Скорей! — закричал во весь голос Кармелюк, бросаясь прямо на движущиеся впереди фигуры.

— Хлоп от пана Рудковского! — раздалось где-то подле него.

— Где? Кто? — переспросил другой голос.

— Да вон где бежит.

— Позвать его сюда!

— Эй ты, хлопе, постой, пан зовет! — раздалось с разных сторон вокруг Кармелюка.

Кармелюк остановился.

— Сюда, сюда! — закричало ему несколько голосов. Надо было идти на пана.

«На пана так на пана!..» — решил про себя Кармелюк.

Из всех панов единственный Янчевский представлялся ему опасным, но этот пан, звавший его к себе, не мог быть Янчевским.

Кармелюк сбросил шапку, осунулся, сгорбился и смело пошел на зов.

— Ты от кого? — услыхал он молодой голос. Голос показался атаману Янку знакомым; он взглянул из-под нависших бровей и увидел, что с ним разговаривает молодой Алоиз Пигловский.

«Фу ты, дьявол, и надо же было так напороться!» — вскрикнул мысленно Кармелюк, но не потерял присутствия духа и ответил спокойно:

— От пана Рудковского.

— Правда, что накрыли Кармелюка?

— Как же... там гайдамаков с полсотни.

— А ты куда бежишь?

— За подмогой — к пану Янчевскому.

— Ну, торопи же его, а вы за мною, хлопцы! — крикнул своим воинам Алоиз Пигловский.

Загонщики со своим предводителем пробежали мимо Кармелюка. Он даже не ожидал, что сможет так легко отделаться от встречи, сулившей ему серьезные осложнения.

— Всему помогают черная свита и зеленый пас, придуманные дьяволом для нашей погибели! — прошептал Кармелюк с веселой улыбкой.— Спасибо ж тебе, друже любезный, за добрую услугу. При встрече отблагодарю!

Теперь Кармелюк находился почти в полной безо-

пасности. Случай помог ему прорваться сквозь цепи загонщиков. Только встреча с Демосфеном, хорошо знавшим его в лицо, могла выдать его, но Янчевский ни в каком случае не мог появиться здесь.

Минут двадцать прождал Кармелюк, чтобы дать возможность загонщикам углубиться в лес, а затем двинуться с спокойным сердцем вперед, приближаясь к узкой перемычке, разделявшей Кругляк от Гайдамацкого леса. По дороге его окликнули еще два-три раза, но встречи эти были совершенно незначительны и только лишний раз убедили Кармелюка в том, что вид его не внушает никакого подозрения. Таким образом он добрался наконец до крутого выступа леса, за которым уже виднелась желанная перемычка.

Демосфена не было,— путь был свободен.

Кармелюк широко вздохнул, размашисто перекрестился, вышел из заросли и направился прямо на переезд к Гайдамацкому лесу. Кругом не было ни души. Чувство бурной радости охватило Кармелюка; он припустил шагу, как вдруг из-за выступа леса послышался быстрый топот и на узкий перешеек, разделявший два леса, вынеслась прямо на Кармелюка молодая амазонка. От бешенства Кармелюк на мгновение замер на месте, послав мысленно амазонке крепкое слово; он хотел было юркнуть в лес, но это было уж поздно: дама заметила его.

— Эй ты, хлопе, поди сюда! — крикнула она, осаживая коня.

«Подойти разве, пырнуть ножом, да и гайда в лес?» — мелькнуло в голове Кармелюка, но тут же он принужден был отказаться от этой мысли: из-за леса выехали два вооруженных с ног до головы конюха и остановились на приличном расстоянии от пани. Делать было нечего: надо было подойти к барыне, начинавшей проявлять явные признаки неудовольствия.

«Ну, кривая, вывози»,— шепнул про себя Кармелюк, сбросил шапку и, приняв вид глуповатого, косолапого вахлака, приблизился к амазонке.

— Почему не идешь сразу, когда зовут? — встретила его суровым окриком всадница...

— Бо не чув,— ответил Кармелюк, неумело кланяясь, почесал в затылке, и вдруг, взглянув в лицо красавицы, стройно сидевшей в седле, он с ужасом увидел,

что на него глядит сама супруга маршалка, пани Розалия.

«Ну, беда! — мелькнуло в его голове, словно холодная змея проскользнула.— Баба узнает, узнает, как бог свят!»

— Быдло! — прошипела с презрением Розалия.— Но где же пан Янчевский с своим отрядом?

— Та поехали туды! — промычал Кармелюк самым равнодушным, глуповатым тоном.

— Куда «туды»? — переспросила его раздраженно Розалия.

— Та в лес же...

— Значит, правда, что поймали Кармелюка?

— Та поймали ж!

— Где же?

— Там... на болоте...

— Где «там»?

— В лесу... в самой пуще.

— А ты же откуда?

— И я оттуда...

— Куда же ты шел?

— Гм... позвать всех остальных...

— Позовешь потом, а теперь возьми коня за повод и проведи меня туда, к болоту.

— Что? — вскрикнул невольно Кармелюк.

— Не слышишь, что ли? — вскипела гордая красавица.— Бери, говорят тебе, коня за повод и веди к остальным!..

Кармелюк замер.

XLVIII

«Как, вырвавшись с таким смертельным риском из ужасного капкана, снова идти туда, прямо в зубы врагу, и именно в эту минуту, когда, быть может, уже открылся ужасный обман?!» — пронеслось в голове Кармелюка. Это было сверх человеческих сил — вырваться из пучины и утонуть на бережку!

— Пани ласковая... да бойтесь бога, можно ли вам ехать туда? — заговорил он в волнении своим натуральным голосом.— Там целая куча гайдамаков, а Кармелюк зверь, дьявол: он не щадит никого — ни женщин,

ни детей... Хоть и поймают его паны, так он перекинется ужом и таки выскользнет из панских рук, а повстречавшись с паней, всадит ей нож в спину или...

— Лжешь, хлопе! — перебила гневно Кармелюка Розалия и, сверкнув глазами, добавила гордо: — Я Кармелюка не боюсь! Веди! Не заставляй меня повторять дважды приказа.

Кармелюк взял коня за повод... Он даже не давал себе отчета в том, что он делает... Бежать было бы немыслимо... Если бы конюхи даже не попали в него, то выстрелами привлекли бы других, и тогда риск обрушился бы не только на него, но и на его товарищей, очевидно, не успевших еще углубиться в лес... Машинально повел он коня, смутно надеясь, что в лесу ему удастся отвязаться от красавицы. К счастью, пройдя с конем несколько шагов по опушке леса, Кармелюк наткнулся на просторную тропинку, куда тотчас и свернул. Лишь только они углубились в лес шагов на двести, до слуха их явственно донеслись громкие крики множества голосов...

— Что это? — спросила Розалия, слегка побледнев.

— А вяжут разбойника,— ответил живо Кармелюк; его вдруг осенила самая смелая мысль.— Теперь пани может ехать беспечно... Да и вообще такой красавице бояться Кармелюка нечего,— добавил он задушевно,— да и сам Кармелюк не забывает никогда женской ласки...— И, не дав красавице опомниться, Кармелюк пустил повод и тихо крикнул: — Гайда!

Лошадь понеслась в галоп.

Конюхи, ехавшие в отдалении, не слыхали разговора пани с мужиком, но, заметив, что она подняла коня в галоп, поскакали за нею вслед.

Кармелюк остановился в сторонке, пропустил мимо себя всадников и, лишь только они скрылись в лесной чаще, бросился со всех ног к Гайдамацкому лесу.

Розалия как-то не обратила внимания на последнюю фразу мужика. «Неужели поймали, неужели вяжут?» — завертелось у нее в голове, и жалость не жалость, а какое-то близкое к ней чувство защемило в сердце красавицы.

Она прискакала к болоту как раз в ту минуту, когда Янчевский, соскочив с коня, кричал Рудковскому:

— Как? Пан осадил с час уже назад шельму и до

сих пор не берет его?.. Да ведь он мог сто тысяч раз уйти, прорваться...

Рудковский уже выбрался из болота и стоял на кочке против пещеры. Штаны его были высоко подвернуты, тонкие ноги, рубаху и все тело покрывала липкая грязь... Шапку он потерял где-то, и сбившиеся в комья волосы торчали как-то бессмысленно над головой. Вид его был вообще весьма комичен и далеко не соответствовал воинственному выражению лица и грозно поднятому ружью.

— Он не мог прорваться,— ответил заносчиво Рудковский,— на дороге стоял я с горстью храбрецов...

— Которые боялись и подступить к шельме! — перебил злобно Демосфен.

— Не боялись, а смело ждали подкрепления! — вспыхнул Рудковский и вдруг заметил подскакавшую к берегу Розалию. Лицо его из красного сделалось багровым.— А теперь справимся и сами! — выкрикнул он нарочно громко и, преодолевая свой страх, бросился прямо через болото к пещере.

— Нет, пусть пан отдохнет еще в камышах! — крикнул Янчевский и тоже бросился ко входу пещеры.

За ними двинулись сплошною толпой загонщики, слуги и паны... Демосфен и Рудковский прибежали почти одновременно и разом вцепились: Рудковский в сапог, а Демосфен в венгерку мнимого Кармелюка. Соперники рванули изо всей силы и чуть было не упали навзничь.

— Шельмовство! — зарычал Демосфен, подымая на воздух сложенную жгутом венгерку.

От сотрясения приставленные к ветвям кустов ружья повалились на землю. Загонщики ворвались в пещеру.

— Там нет никого! Обман! — закричали кругом десятки голосов.

Рудковский как стоял, так и застыл с сапогом в руках.

— Мальчишка, ты погубил все дело, ты выпустил злодея из наших рук! — набросился на Рудковского взбесившийся от злобы Янчевский.— Как смел ты вмешиваться в мое дело?!

— Пане! Естем гоноровый шляхтич!.. Нас привел сюда хлопец,— пробормотал с трудом Рудковский.

— А правда! Где же хлопчисько? Тащи его сюда! — закричали все кругом.

Загонщики метнулись по сторонам. Мальчишки не было.

— Ищите, ищите! Он обманул вас и станет поджидать вашей погони! — продолжал вне себя Демосфен, топая в остервенении ногами.— Он теперь смеется над дурнями, которых сумел провести вот этою свиткой!

Янчевский швырнул о землю венгерку Кармелюка. От сильного удара венгерка развернулась и, к вящему изумлению толпы, из нее вывалились: шитая женская рубашка, юбка, фартук, корсетка, монисты и отрубленные косы Ульяны...

— Баба! — вскрикнула Розалия.— Баба обманула всех! — И, задыхаясь от смеха, она упала на луку седла.

Дня через три Кармелюк с Ульяной, Андреем и Михайлом благополучно возвратились в свое старое гнездо. Дмитро с остальными людьми давно уже с тревогою поджидали атамана, так как и до лесной корчмы дошли слухи о панской облаве. Когда же они увидали Кармелюка и услыхали из его уст рассказ о необычайном спасении, то восторгам не было конца.

Это новое доказательство исключительной находчивости и отваги атамана подняло еще выше авторитет его в глазах и без того слепо преданной ему шайки, а подвиг Ульяны заслужил ей прозвище атаманши.

Отдохнувши денек после пережитых волнений, Кармелюк приступил к дележке добычи. Все ценные вещи, заполученные в усадьбе Янчевского, были сложены уже в погребах корчмы, а провизия — в лесных ямах и импровизированных засеках.

Обделивши поровну и деньгами, и вещами всех членов шайки, Кармелюк приказал Андрею отвезти половину всей суммы денег крестьянам Янчевского и раздать их. Это распоряжение Кармелюка возмутило и изумило Ульяну.

— А им же за что давать деньги? — обратилась она с досадным недоумением к атаману.

— А как же ты думаешь, сердце, зачем мы нападали на Янчевского?

— Чтобы отомстить ему!

— Для этого достаточно было бы поднять его на веревке... А зачем мы захватили у него и деньги, и все добро?

— А что же, оставлять разве было его собаке? — вспыхнула Ульяна.— Если мы не станем брать, так на какие средства и жить будем? Да и сам-то он заработал, что ли? С мужиков надрал...

— Вот это правда! — заметил наставительно Кармелюк.— Если Янчевский надрал денег со своих мужиков, то их добро им и возвратить должно.

— А нам же какая до того печаль? Разве мы им няньками приставлены? Они молчат да гнутся: «Бери, мол, пане, что хочешь», а мы за них головы подставляй!..

Кармелюк хотел было возразить Ульяне, но его перебил Дмитро:

— Нет, мать командирша, батько атаман прав: надо и мужикам необглоданную косточку бросать, и они нам пригодятся; первое — помощь насчет фуражировки, второе — указуют дороги, третье — и некруты из них важные бывают, а в случае беды кто выручит — мужики! Так перепрячут, что ну! Уж это верно! Атаман правду говорит!

— Вот видишь, Ульяно, Дмитро — старый солдат, а и то правду больше разумеет, чем ты, а ведь ты женщина, и сердце у тебя должно быть добрее...

На том и кончился короткий разговор, но он оставил долгий след в душе Кармелюка. Впрочем, разжевывать и обдумывать высказанные друг другу мысли не было времени: для Кармелюка развернулось обширное поле деятельности — деньги, провизия и верные люди — все теперь было у него в изобилии. Слух о возвращении Кармелюка быстро распространился между крестьянами; они почти ежедневно приходили в корчму Ульяны с просьбой защиты от панского насилия.

Кроме реальной силы, находившейся в руках Кармелюка, имя его было окружено таким множеством сверхъестественных легенд, что одно слово «Кармелюк» приводило в смертельный ужас и парализовало всякого храбреца. После каждого грабежа Кармелюк отдавал большую часть добычи местным крестьянам.

И каждый раз Ульяна не могла удержаться, чтобы

не сказать по этому поводу несколько неодобрительных слов...

— Эх, соколе мой! И охота тебе разрываться? — заметила она.— Всех ведь не накормишь и не оденешь... Наделишь их, а возвратятся паны, найдут у крестьян награбленное и с них же по две шкуры сдерут...

— Так что же, по-твоему, делать? — обрывал ее Кармелюк.— Себе все забирать?

— И себе, и тем, которые с нами идут... ну изредка и другому помочь...

Но замечания Ульяны оставляли только в душе Кармелюка досадное чувство, а на действия его не производили никакого влияния.

Популярность Кармелюка росла. Всякий шел к нему смело со своим горем и нуждой.

— Да что ты им веришь, батьку,— замечала с досадой Ульяна, крайне недовольная этими вторжениями,— все это они лгут о своей бедности... Понравилось, небось, чужими руками жар загребать... А чего сами не идут к нам на подмогу? Хитры тоже, дарма что дурные! Нашли себе попыхачей!

Но последние слова Ульяна произнесла так уже прямо с досады: с каждым днем шайка Кармелюка пополнялась новыми членами. Все, что было в селах самого молодого и смелого да сильного, спешило к нему.

И это желание Кармелюка расширить свою шайку крайне не нравилось Ульяне: она имела в виду только разбой и грабеж, а такое многолюдство только осложняло дело и не приносило ему никакой существенной пользы.

— Соколе мой,— заговорила однажды нежно Ульяна, прижимаясь к могучей груди атамана,— уж не слишком ли много набираешь ты людей?

Они сидели с Кармелюком у входа своей пещеры; голова Кармелюка покоилась на коленях красавицы, а глаза задумчиво следили за мелкими облаками, плывущими в глубине голубого неба. Кругом царствовали дивная тишина и прохлада...

— Довольно было бы с нас и полсотни верных людей, а то куда уже перевалило за сотню! Да кто их еще знает и откуда они, и что они? Наберем так на свою голову всяких шпигов?

— Я принимаю только своих! — ответил Кармелюк, не отводя от неба глаз.

— Своих! — повторила с насмешкой Ульяна.— Только оттого и свои, что православные, ну да разве трудно на час тремя пальцами лоб перекрестить? Да и свои бывают хуже чужих,— продадут за дукат и ридного батька... Вот и вчера, зачем ты принял этого кривого — Луку?.. Никто его из наших не знает, а я припомнила, что видала его как-то с паном одним,— за форейтора он ехал! Только тогда у него оба глаза целые были...

— Ну так что же? Олекса у самого Янчевского кучером был, а найди ты душу вернее.

— Э, что Олекса! Олексу сразу насквозь видно, а у этого шельмы даром что один глаз, а так присматривается, словно хочет всю душу пробуравить.

— Вот не возлюбился тебе кривой! — усмехнулся Кармелюк.— А может, он потому к нам и пришел, что на панской службе око потерял. Тяжело мужикам, а дворовым еще тяжелее. Я это знаю, Ульяно!

— Знаешь ты много,— нахмурилась Ульяна.— Тебя через твою доброту проведет всякий дурень! Соколе мой,— заговорила она нежно,— прошу тебя, не бери ты этого Луку: вот чует мое сердце, что...

— Нет, Ульяна,— перебил ее Кармелюк,— мало ли что кому привередится? Человека по тому судить нельзя; если бы кто сказал о нем что плохое, а так, по бабским приметам, поступать невозможно!

— Да зачем он нам, разве мало рук? Ей-богу, их уже и так слишком много, трудно и перепрятывать.

— А кто же прячет под полу добытую саблю, Ульяно? — отвечал Кармелюк.

Ульяна плохо поняла смысл этой иносказательной фразы, но почуяла, что здесь кроется что-то недоброе.

— Ну так не кормить же их даром? Разбить на части и посылать на работу! — продолжала она.— Вон Шмуль говорил мне,— а он уже все знает,— что пан Бойко держит в коморе деньги и что денег у него тысяч десять, а золота, а серебра! Команды всего душ восемь... и будет ли? Пошли Дмитра с хлопцами; управятся и без тебя.

— Опять ты за свое, Ульяно! — произнес досадливо Кармелюк.— Не для грабежа и разбоя толкнула меня

сюда доля, а для того, чтобы помочь людям выбиться из польской неволи...

В это время вблизи послышались шаги и из-за угла показался Андрей.

— А что, все благополучно? — обратился к нему живо Кармелюк.

— Слава богу, батьку,— ответил Андрей,— а вот вспомнил я... еще дня два тому, а может, и больше... дал мне один дид какую-то бумажку тебе передать... а я и забыл, засунул ее в шапку... Может, что и нужное...

— Где же она? — произнес живо Кармелюк, подымаясь с места.— Эх, как же это ты так, Андрей! — укорил он товарища.— Ведь даром никто не станет бумажки пересылать!..

— Виноват, батьку! Ей-богу, виноват, совсем из головы вышло, вот сейчас прилег на шапку, слышу — шуршит что-то,— заговорил Андрей, выворачивая и доставая из-за подкладки сложенное в несколько раз, измятое и засаленное письмо.— Я — туда, вот и вспомнил...

Но Кармелюк не дослушал его оправданий. Выхватив письмо из рук, он сорвал конверт и развернул бумагу... Пробежавши несколько строк, Иван невольно отстранил от себя лист, и густая краска залила его лицо.

— Не может быть!..— вскрикнул он и с жадностью принялся за чтение.

XLIX

Ульяна стояла подле Кармелюка и сразу же заметила волнение, охватившее его, лишь только он прочел первые строки письма.

— Атамане, что сталось? — спросила она встревоженно.

При этом вопросе Ульяны Кармелюк видимо смешался, скомкал письмо и сунул его в карман.

— Ничего! — ответил он небрежно.

— Приказу никакого не будет? — спросил Андрей.

— Нет, ступай!

Андрей отправился восвояси.

— А письмо же от кого? — продолжала Ульяна.

— От старого друга.

— От старого друга?.. Что же он пишет?..

— Да ничего интересного..

— Отчего же ты так покраснел и вскрикнул? — В голосе Ульяны явно прозвучало недоверие.

— Да оттого, что обрадовался.

— Чему?..

В глазах Ульяны запрыгали ревнивые огоньки.

— Тому, что жив он и здоров...

— И, может, зовет к себе? Обманываешь ты меня, Иване... Скажи правду: от кого письмо? — вспыхнула Ульяна.

— Вот пристала, ей-богу,— усмехнулся натянуто Кармелюк.— Да говорю ж тебе: от попа одного, то бишь,— запнулся он,— от солдата... моего полка... хочет к нам...

— Неправда твоя! — вскрикнула Ульяна, и черные глаза ее засверкали.— Обманываешь ты меня, не хочешь сказать правды!.. Слушай, Иване, ты знаешь: я ревнива, как дьявол... От одной думки о том, что ты можешь меня разлюбить, ум у меня мешается... сердце разрывается... На вот, послушай! — Она взяла руку Кармелюка и приложила к своей бурно вздымавшейся груди.— Видишь, кровь вся кипит... Люблю тебя больше души своей! — вскрикнула она, обвивая его шею руками и страстно прижимаясь к его груди.— Не мучь же меня, скажи мне: это письмо... его писала женщина?!

— Нет,— ответил Кармелюк, уже овладев собой.

На минуту по лицу Ульяны разлилось спокойствие, но затем в глазах ее снова вспыхнул тревожный огонек.

— Ну так дай мне его! — произнесла она.

— Зачем оно тебе? Ведь все равно ты не сможешь и прочесть его.

— Все равно дай! — повторила настойчиво Ульяна.

— Нет, ты это оставь, Ульяна! — Кармелюк нахмурился.— Письмо мое, и никому я его не отдам.

— А! Не отдашь?! — вскрикнула Ульяна, и глаза ее сверкнули, как у кошки.— Значит, не от друга письмо... значит, нашел себе другую, лучшую...

— Вот посыпала уже, видно, баба всегда останется бабою: «нашел другую, лучшую»... Эх ты,— перебил ее Кармелюк и взял ласково за руку.

Ульяна вырвала свою руку.

— Дай письмо! — произнесла она хрипло.

— Я сказал уже тебе...

— Значит, не хочешь говорить правды? — прошептала красавица, задыхаясь, и близко пригнулась к Кармелюку.

— Как же я заставлю тебя поверить!

— Ну так я дознаюсь сама! — прошипела Ульяна.— И дознаюсь!..

Охваченная бурною волной общего смятения и злобы, Розалия как-то забыла о странном поведении своего провожатого. Ее только донельзя тешили ловкость и неслыханная отвага Кармелюка, сумевшего вывернуться из такого безвыходного положения и провести всех панов. Но когда она возвратилась домой и осталась одна в своей опочивальне, перед ней воскресла вдруг вся последняя сцена от слова до слова, и сейчас же пани обратила внимание на странность поведения мужика, о котором она совершенно забыла под влиянием шумного дня. Почему этот глуповатый мужик сказал напоследок такую странную фразу: «Такой красавице нечего бояться Кармелюка, и он не забывает никогда прелестных очей!»

Откуда мог глупый мужик додуматься до таких слов, да и как посмел он сказать такие слова пани? И почем он знает, забывает ли Кармелюк прелестные очи или нет? Розалия отбросила свесившийся на лоб локон и уставилась открытыми глазами в ночную тьму. Непонятное волнение охватило ее при воспоминании о странном поведении глупого мужика.

«Да он потом оказался и вовсе не таким глупым, как это мне показалось сначала,— продолжала Розалия свои размышления.— И глаза его, и осанка — словно все переродилось, а потом, зачем он хлестнул коня, а сам ушел? И куда?.. Когда возвращались все с облавы, я внимательно осмотрела все лица — его не было среди загонщиков. А голос?.. Да что это?.. Она слышала, слышала уже этот голос!.. Матка свента! Да ведь это был он, сам Кармелюк!» — вскрикнула тихо Розалия и, поднявшись, села на своей постели. По всему телу ее словно пробежала теплая волна; сердце забилось часто. Теперь вся картина предстала перед ней в

новом освещении и все поступки и слова мнимого дурня нашли себе объяснение.

Да как он узнал ее сразу? Теперь она припоминает, как он смешался, взглянув на нее. «Кармелюк не забывает прелестных очей»,— повторила Розалия про себя, и сердце ее сладостно сжалось.— А ведь она чуть-чуть не погубила его... Но какая отвага? Глазом не сморгнул и пошел за нею прямо в пасть врагам. Нет, такого удальца она еще не встречала никогда! Только с ним была там баба...— припомнилось ей через минуту открытие, сделанное Демосфеном.— Кто она ему? Жена, сестра или просто разбойница? Гм!.. Зачем он брал ее с собою? — В сердце Розалии шевельнулась досада: — А может, она случайно попала сюда. Простая, глупая хлопка, разве она может прельстить такого героя?»

До самого света не спала Розалия, припоминая свою встречу с Кармелюком, а под утро ей приснилось, что Кармелюк переносит ее в лесной чаще через быстрый ручей и, прижимая к себе, шепчет на ухо: «Кармелюк никогда не забывает прелестных очей!»

Возвратившись с облавы, пан маршалок на другой же день начал делать распоряжения для немедленного переезда в Каменец, но, к удивлению своему, встретил со стороны супруги решительный отпор. Конечно, Розалия мотивировала свое мнение тем, что во всяком случае безопаснее оставаться дома, чем двинуться в путь, не зная еще, куда бросится теперь Кармелюк.

Демосфен поддержал Розалию. Последнее происшествие и особенно неудача с облавой хотя и сбили несколько его заносчивость, но усилили злобу и желание отомстить во что бы то ни стало ненавистному хлопу. И так как Демосфен и Розалия, мнению которых маршалок привык подчиняться, стояли на том, что надо оставаться дома, то маршалок отложил сборы. Храбрости ему придавало еще то, что в доме его, ввиду полного разорения собственного гнезда, поселился и Демосфен, все еще, несмотря на последние неудачи, окруженный ореолом победителя Кармелюка, и несколько молодых шляхтичей, добровольно отдавшихся в распоряжение Янчевского; они образовали из себя нечто вроде отряда добровольцев, задавшихся целью уничтожить страшную шайку разбойников.

К глубокому сожалению Рудковского, он не мог примкнуть к этому отряду бессмертных, так как Демосфен до того был зол на него, что только всеобщие усилия удержали его от какого-нибудь крайнего поступка, да и, кроме этого, ужасный промах Рудковского сделал последнего посмешищем в глазах панства, и все потеряли доверие к его воинским способностям. Но это только еще более подзадорило пылкого юношу: он поклялся так или иначе поймать Кармелюка, поднять себя в глазах общества и покорить тем гордое сердце Розалии...

Между тем через некоторое время до усадьбы пана маршалка дошло известие о том, что Кармелюк проявился в соседнем уезде,— это несколько успокоило его. Но Демосфен не унимался.

— Не верьте, не верьте шельме, панове! — повторял он при всяком случае.— Подлая лиса нарочно заметает следы и показывает фальшивую дорогу. Он послал туда кучку своей рвани, чтобы успокоить нас, а того и гляди вынырнет здесь где-нибудь и застанет всех врасплох!

И Демосфен действительно бодрствовал.

Изо дня в день рыскал он сам и рассылал своих верных адъютантов по соседям, уговаривая их не бросать своих усадеб и собираться всем, могущим носить оружие, да примыкать к нему. Эта лихорадочная деятельность Янчевского была весьма на руку Розалии, так как близкое и постоянное присутствие взятого сверх желания любовника начало с некоторого времени особенно тяготить красавицу. Впрочем, за исключением этой неизбежной неприятности, Розалия не могла теперь пожаловаться на скуку. Жизнь в усадьбе текла шумно, весело и даже бурно. В доме маршалка образовалось нечто вроде главного штаба. Молодежь стекалась сюда для борьбы с Кармелюком, соседи — для того, чтобы услышать свежие новости, дамы — для того, чтобы повеселиться. Хлебосольный маршалок принимал своих гостей по-старинному... Вино лилось рекою, музыка не умолкала, а красавица Розалия украшала и оживляла пиры; разговоры большею частью вертелись на Кармелюке.

Однажды, возвратившись с одной из своих рекогносцировок, Демосфен вошел в зал, где собравшееся об-

щество проводило время в веселой болтовне, и торжественно объявил:

— Панове, радуйтеся и веселитесь: теперь уже гайдамак в наших руках!

— Как? Что? Почему? — посыпались со всех сторон вопросы.

— Неужели поймали? — вскрикнула Розалия.

— Еще не поймали, но поймаем, и это верно так, как то, что я, Янчевский, стою перед вами!

— Почему? — вскрикнули все вместе.

— Найден способ!

— Какой? Кто сказал, кто придумал? — все находившиеся в зале кавалеры и дамы окружили Янчевского.

— Придумал я, а какой способ — не скажу никому, пока не приведу сюда шельму, закованного по рукам и ногам.

— Но, пане, почему же? Ведь мы никому не скажем! — защебетали дамы...

— Если пан не скажет, то я просто умру от любопытства!..— пропищала одна из паненок.

— Позвольте, позвольте, я угадала! — вскрикнула жена судьи.— Пан Демосфен наш узнал коханку Кармелюка и подкупил ее, чтобы она выдала злодея.

— Бронь боже! — ответил гордо Демосфен.— С хлопами я не стану входить ни в какие сношения.

— Ну так другое!.. Я знаю, знаю! — запищала другая паненка.

Со всех сторон послышались всевозможные предположения, догадки, но Янчевский стоял среди дам, как утес среди вспенившихся волн, и стойко выдержал этот натиск...

В зале все оживились, и всюду пошли толки, предположения.

— Но мне ты ведь скажешь? — шепнула Розалия Демосфену и незаметно увлекла его на террасу.

— Нет, моя крулева! — ответил тихо Демосфен, страстно прижимаясь к холеной ручке красавицы.— Не скажу и тебе.

— Но почему же? — Брови Розалии гневно сжались.

— Не могу, моя радость!.. Одно неосторожное слово, даже полслова... и все погибло... Ведь стены теперь имеют уши, а двери языки...

— Так, значит, ты не веришь мне?..

— Верю, верю... Как своему сердцу, но на весах лежит спокойствие целой губернии, и потому...

— Не скажешь? — перебила его Розалия.

— Карай меня как хочешь,— Янчевский склонил драматически голову,— но я останусь честным солдатом.

— Хорошо же! — шепнула зловещим тоном Розалия.— Ты вспомнишь не раз о своих словах!

На другой день Розалия переменила тактику: она попробовала ласками выпытать у Янчевского дразнящую тайну, но, несмотря на все ее ухищрения, Янчевский оставался тверд, как каленая сталь, и это еще более интриговало и бесило Розалию.

Впрочем, этот раз красавице не пришлось долго терзаться; прошло дней десять после описанной сцены, засидевшееся долго после ужина панство уже собиралось на покой, когда дверь столовой отворилась и в комнату вошел дворецкий и подошел к Янчевскому.

— Вельможный пане,— произнес он, низко кланяясь,— какой-то человек спрашивает панскую милость!

— Кто? Откуда? Зачем? — произнес резко Демосфен.

— Он не говорит о себе ничего,— продолжал тихо дворецкий,— он велел передать только панской милости вот это и сказать, что он ждет пана у ворот.

При этих словах все сразу умолкли и с любопытством воззрились на принесенный предмет; это было старинное чугунное кольцо с тайным масонским знаком [61].

Глаза Янчевского загорелись. Он взглянул на кольцо, открыл крошечный медальон, заключавшийся в нем... Невольный торжественный крик вырвался у него, он порывисто вскочил с места и направился к дверям.

— Ради бога, Станислав! [62] Остановись!.. Тебя хотят поймать в ловушку! — вскрикнул маршалок.

— Нет, панове! — отвечал Демосфен, сверкнув очами.— Клянусь отчизной,— теперь меня не поймает никто!..

Кое-как Кармелюку удалось успокоить ревнивыс подозрения Ульяны; пожар был потушен, но не совсем: ревнивому воображению красавицы дан был тол-

чок. Прежде она совсем не интересовалась прошлым Кармелюка — сознание настоящего счастья переполняло ее сердце и заслоняло собою все — и прошедшее, и будущее. Теперь же Ульяна начала расспрашивать стороною о прошлой жизни Кармелюка и без труда узнала от Андрея, что атаман женат, имеет двое детей, что прежде они жили с женою душа в душу, а потом повздорили.

Этого было для Ульяны достаточно. «Письмо от жены,— решила про себя атаманша,— она зовет его к себе».

Ульяна стала подозрительна, раздражительна и даже печальна, а Кармелюк стал чаще задумываться,— не раз уходил он то в лес, то в корчму, то к шайке.

Взаимные отношения их заметно охладились: бешеная страсть Ульяны не встречала теперь такого же отзвука, а словно вынуждала ласки, и это приносило Ульяне страшные пытки и еще более растравляло подозрительное воображение. Она не оставляла Кармелюка ни на минуту, когда же он удалялся от нее — следила за ним.

— Скажи, скажи ж мне правду,— повторяла она почти каждый раз, лишь только они с Кармелюком оставались вдвоем,— я ничего не буду говорить, я только хочу узнать правду: жена написала тебе письмо?

— Я уже говорил тебе, что нет.

— Ну, так другая женщина? — продолжала Ульяна, не замечая досадливого тона Кармелюка.

— Ульяна, дашь ли ты мне когда-нибудь покой? — отвечал Кармелюк, стискивая зубы.

— Прости меня, сокол мой, орле мой! Не буду больше, не буду! — вскрикивала Ульяна, ловила его руки и покрывала их поцелуями.— Ой, так перетлело мое сердце, так измучилось. Люблю тебя! Не отдам никому! Один ты у меня, как солнце на небе!

Она сжимала до боли Кармелюка в своих объятиях и с рыданьем припадала на его грудь.

— Да что это с тобой сталось, Ульяна? Вот выдумала сама себе муку,— заговорил Кармелюк, ласково проводя рукой по ее голове,— да разве я видаюсь с кем или бегу от тебя?

— Отчего же ты стал таким печальным? — продолжала Ульяна, подымая голову и впиваясь в Кармелюка

черными, полными слез глазами.— Отчего ты не говоришь со мной? Все молчишь, задумываешься! О чем ты думаешь?..

— Эх, что тебе до моих дум, Ульяна!

— Нет, нет, скажи все. Я хочу знать, что тебя мучает, что тебя грызет?

— Что говорить! Говорить — значит, снова спорить с тобой да браниться, а я споров не хочу! Грустно и так!

Ульяна обвила шею Кармелюка руками и, задыхаясь от страсти, повторяла, мешая слова с поцелуями:

— Оставь все, брось печаль! Люби меня, как прежде,— весь свет для нас!

Но огненные ласки красавицы не зажигали уже Кармелюка так, как в былое время.

Такие разговоры повторялись чуть ли не каждый день, и чем чаще повторялись они, тем реже становились ответы Кармелюка, а это, с своей стороны, мучило Ульяну и еще больше растравляло ее ревнивое воображение. Все эти причины воздвигали между Кармелюком и Ульяною словно живую колючую изгородь...

— А слышал ли ты, до чего довело крестьян твое чернецкое добродийство (монашеское благодеяние),— заметила однажды с торжествующе злобною усмешкой Ульяна.

— А что такое? — вздрогнул Кармелюк, не поворачиваясь.

— Янчевский ловит селян и гуртами ссылает их в Сибирь.

В голосе Ульяны явно прозвучало скрытое злорадство.

Кармелюк взглянул на нее из-под бровей, и красивое, но злобное в эту минуту лицо атаманши произвело на него отталкивающее впечатление, и вдруг он почувствовал, что вся она — со своим узким эгоизмом, бурной страстью и вечным желанием покорить его волю своим корыстным целям — тяготит его и сковывает...

— А тебе же что до них? — ответил он грубо.— Твоя же шкура цела.

— Ха-ха-ха! — рассмеялась Ульяна злостным, дрожащим смехом.— Вот уже как! А прежде ты так не говорил со мною.

— Потому что не знал тебя.

— Кто же теперь наставил тебя?

— Никто, как ты сама.

— Я? И ты можешь говорить мне это? Мне, что тебе отдала и сердце, и тело, и жизнь всю, и душу? — вырвалось с диким воплем из груди красавицы.

Но Кармелюк не услыхал тона этого возгласа.

— Тело и сердце отдала, это правда,— ответил он резко,— а о душе не говори: нет ее у тебя и не было никогда!

Лицо Ульяны вспыхнуло от обиды, глаза посыпали искры.

— Нет у меня души, ну отлично! Разбойнице так надлежит,— произнесла она глухим и вздрагивающим от волнения голосом.— А какая же эта голубка с ангельскою душой отыскалась теперь? Жинка слынявая или новая полюбовница?

— Годи! — крикнул грозно Кармелюк. — Осточертело мне слушать твою грызню. Гей, Ульяно, стережись!

Но грозный окрик атамана только еще больше взорвал Ульяну.

— Нет, ты стережись, Иване,— прошипела она, стискивая его руку,— помнишь мое слово: люблю тебя больше своей жизни, но другой не отдам! Слышишь: дешево не отдам тебя!

— Пугать меня вздумала! Брось! — Кармелюк вырвал свою руку из рук Ульяны.— Если я и черта в пекле не боюсь, то тем больше не побоюсь скаженой (бешеной) бабы! Так ты это и знай!

Он круто повернулся и отправился в лес, а Ульяна как стояла, так и упала на землю.

L

В бессвязных, дышавших ревностью речах атаманши была доля правды: чем чаще закипали между ними ссоры, чем резче проявляла Ульяна свой властный и страстный характер, тем чаще вспоминалась Кармелюку Олеся. Во всем она представляла полную противоположность Ульяне. Она первая разгадала смутные порывы его души, она озарила его душу чудным сиянием, как дивная звезда глубину моря. Она не забыла его и

теперь и детскими, полными нежной любви словами спешила предостеречь его от опасности.

Каждая резкая выходка Ульяны только вызывала лишний раз перед Кармелюком дивный образ молодой девушки.

В минуту спокойного рассуждения Ульяна понимала и сама, что ее поведение лишь раздражает и охлаждает Кармелюка. Да и был ли у нее какой-либо серьезный повод для ревности? Ничего, кроме голого подозрения.

И Ульяна брала себя в руки: она снова становилась веселою, опьяняюще страстною, окружала Кармелюка заботливостью, лаской, негой, но стоило сорваться с его уст единому резкому или подозрительному слову — и вся эта искусственная работа рушилась в мгновенье: с уст Ульяны срывались горестные упреки, угрозы, Кармелюк брался за шапку и уходил в лес.

Настроение духа его еще ухудшилось за последнее время, так как брошенная Ульяной со зла фраза о том, что Янчевский ссылает в Сибирь селян, оказалась совершенною правдой. Это известие поселило мучительный разлад в душе Кармелюка, но тем горячее предался он своей деятельности.

Жаркий июльский день клонился к вечеру. Ульяна и Кармелюк сидели на пороге своей пещеры, как вдруг в глубине ущелья послышался шелест развигаемых ветвей. Ульяна и Кармелюк насторожились,— шелест раздался не с той стороны, откуда обыкновенно приходили свои, и, кроме того, в нем слышалось что-то робкое, неуверенное.

— Спрячься! — произнесла отрывисто Ульяна.

— И то,— согласился Кармелюк и, поднявшись с места, вошел в пещеру; он вытянулся на земле у самого края ее, чтобы ему было и видно, и слышно все, что происходило снаружи, вытащил из-за пояса пистолеты и положил их подле себя, готовый в одно мгновенье убить подозрительного гостя. Ульяна вытрепала из-под очипка (головной убор замужней женщины) волосы и придала своему лицу страшное выражение колдуньи. Оба насторожились. Но, к огромному изумлению Ульяны, кусты в глубине ущелья раздвинулись и на полянку выскочил худой светловолосый мальчик, крайне бедно одетый, лет десяти-двенадцати[63]. При виде колдуньи губы его невольно зашевелились и рука поднялась ко

лбу, но бедняга все-таки превозмог себя и, снявши с головы рваную шапку, направился несмелым шагом к пещере.

— Зачем пожаловал сюда? — встретила его замогильным голосом Ульяна.

— К вашей милости, титочко. Волы пропали у нас.

— Ну так что же?

— Поворожите, коли ласка ваша! — Мальчик низко поклонился.— Все кругом говорят, что если вы поворожите, то и скотинка найдется.

— Все говорят... А ты сам откуда?

— Из Головчинцев.

В пещере послышалось движенье; Кармелюк придвинулся на локтях к выходу. Ни Ульяна, ни мальчик не заметили этого.

— Кто ж тебя направил сюда? — продолжала свой допрос Ульяна.

— Я был в корчме вашей; там был только один дид какой-то; он сказал мне, что не знает, где вы, я и пошел блукать лесом и встретил дядька одного. Он расспросил меня, кто я и откуда, и показал дорогу.

— Какой же он из себя был?

— А кто его знает, титочко! Кажется, кривой...*

— Кри-вой? — в голосе Ульяны послышалась тревога.— Ага, таки чуяла моя душа... разведал,— прошептала она, в волнении подымаясь с места.

Но мальчик не понял волнения, охватившего колдунью.

— Смилосердьтесь, титочко, поворожите! Одно только у нас и было что пара волов, да угнали злые люди. Я и деньги принес...— Мальчик вытащил из-за пазухи завязанную тряпочку и достал из нее серебряный рубль.

— Ну-ну, ступай себе! Еще что выдумал: стану я за карбованец ворожить! — добавила Ульяна, чтобы отвязаться от явившегося клиента.

— Ой титочко, дал бы и больше, да нет у нас ничего... Один только достаток — пара этих волов... Хотел одежу заложить — никто не принимает... Поворожите, на бога, а я вам... я вам материны чоботы принесу.

— А почему это ты сам пришел? Не нашлось разве

* Тобто сліпий на одне око.

старших? — обратилась вдруг к мальчику Ульяна, подозрительно всматриваясь в его лицо.

— А кто ж пойдет? Нас с братом только двое, мать умерла.

— А батько?

— Батько бросил нас...— добавил мальчик тихим, печальным голосом и поник головой.

— Ой, не брешешь ли ты, хлопче! — произнесла Ульяна, впиваясь инквизиторским взглядом в лицо мальчика.— Кто твой батько?

Мальчик молчал, смущенно потупив глаза.

— Кто твой батько, спрашиваю? — крикнула грозно Ульяна и сильно потрясла мальчика за плечо.

— Кармелюк...— прошептал едва слышно мальчик.

— Ясю! Сыну мой! — раздался из пещеры потрясающий душу вопль, и, оттолкнувши в сторону Ульяну, Кармелюк ринулся к мальчику и заключил его в свои объятья.— Дитя мое несчастное... Прости своего батька за все... за все! — заговорил он с глухим рыданием, покрывая лицо хлопца поцелуями.

— Татку, батьку!! — вскрикнул и Ясь и крепко обвил руками шею отца.

— Узнал, сыну, не забыл?

— Узнал, тато! Так это правда, что ты вернулся. А мы думали — брешут люди...

— Вернулся, сынку, из тяжкой неволи вернулся и не оставлю вас теперь никогда, детки мои несчастные!..— И Кармелюк снова принялся целовать и прижимать к себе дорогое, родное существо.

Ульяна стояла в стороне и молча наблюдала за этой сценой. Такое неожиданное проявление бурной отцовской любви ошеломило ее и пробудило в душе ревнивое чувство. Она стояла здесь в стороне, совсем чужая для этих людей, слившихся в одном родственном объятии, и чувствовала, что никогда, в самые лучшие минуты, не проявлял к ней Кармелюк столько бурной и трогательной нежности, как к этому оборванному мальчишке.

— Ну, а маты ж,— продолжал свои расспросы Кармелюк,— неужели?..

— Умерла.

— Несчастная! — вырвалось с глубоким горем у

Кармелюка. Он отер слезу и, осенив себя крестным знамением, прошептал: — Царство небесное, вечный покой!

Водворилось тяжелое молчание.

Ульяна искоса посматривала на Кармелюка, и, несмотря на то, что сообщение мальчика принесло ей облегчение, вид горя атамана как будто бы доставлял ей личную обиду. Недоброе чувство закипело в ее душе и подымалось к горлу клокочущей лавой.

— Как же? Когда? — уронил после долгой паузы Кармелюк.

Мальчик начал рассказывать о смерти несчастной Марины, о том, как после ареста Кармелюка Янчевский и Пигловский велели ее жестоко избить и как после того мать не вставала с постели. Как затем пан отнял у них и лошадку, и корову, осталась только пара волов,— забыл о них, верно, дозорца. Только этими волами и жили они: нанимались к людям... Как потом еще раз приходил дозорца, хотел бить мать да гнать ее на панщину, а как увидал, что она уже еле дышит,— плюнул и пошел из хаты. Так она все кашляла, кашляла кровью, а через полгода и умерла; благословила их перед смертью и просила, чтобы не забывали за батька на часточку подавать.

— Голубка моя тихая... бездольная!..— прошептал с мучительною тоской Кармелюк и с такою силой стиснул пальцы, что они громко хрустнули.— Это я погубил тебя, я!.. А кто виноват? Кто виноват во всем? Ох, господи милосердный! — Он закрыл лицо руками и поник головой.

Ясь смущенно смотрел на молчаливое горе отца; губы его начали вздрагивать, а глаза заволокли слезы. Отец всегда представлялся в его воображении несчастным изгнанником, и вот теперь этот несчастный плачет. Плачет о бедной матери, которой уж нет, которая не вернется никогда.

Слеза покатилась по грязной щеке хлопца.

— Тату! — произнес он несмело, робко дотрагиваясь до шеи Кармелюка.

Кармелюк встрепенулся и отер рукавом глаза.

— Жалеешь меня, сыну? — произнес он с необычайной нежностью, привлекая к себе мальчика.— Ой тяжко, сыну! А может, и лучше, что господь забрал ее к

себе. Намучилась тут довольно...— Он глубоко вздохнул.— Ну, а как же вы живете?

— Титка Матрона перешла к нам, она в хате трудится, а я работаю в поле,— добавил не без гордости Ясь.

— Сам хозяйничаешь? Ох, горькая доля! Но не будет того больше! Нет! Отпишу я так панам на их власных спинах, что и небу будет жарко!.. Но об этом после... после,— добавил Кармелюк, стискивая сердце рукой.— Ты шел так издалека... утомился... проголодался, сынок мой! — Он привлек к своей груди мальчика и крикнул не оборачиваясь: — Ульяна, давай-ка нам есть!

Это было первое слово, брошенное Ульяне.

— Нет, татку, пусть уж лучше титочка погадают мне насчет волов.

— Будут у тебя волы, сынку, все будет — и деньги, и одежда, и скотинка! Если я за всех свою голову несу, то по крайности хоть вы нужды не зазнаете. Давай же есть, Ульяна!

— Поесть всегда успеем,— ответила угрюмо красавица,— а подумай о том, что надо уходить скорее отсюда.

— Это еще что? Почему? — Кармелюк повернулся к Ульяне, и на лице его ясно отпечаталась досада.

— Хлопец говорит, что ему показал дорогу кривой, значит — Лука, другого кривого нет у нас.

— Ну, так что же из этого?

— Забыл ты, что ли, обо всем, атамане? — По лицу Ульяны скользнула недобрая усмешка.— Ведь об убежище нашем знали только Андрей, да Дмитро, да два-три самых верных человека.— Значит, кривой уже дознался!

— А почему же они выболтали ему?

— Не такие люди, чтобы выболтали, да еще кривому: от него все добрые люди сторонились.

— Ну уж, пошла! Давай лучше есть, дитя проголодалось.

— Атамане, не жартуй, ведь все это недаром,— продолжала Ульяна с возрастающим негодованием.— Почему кривой здесь очутился? Ведь он ушел с хлопцами добывать фуражу. Отчего же он слонялся в лесу?

— Да, может, уже и все вернулись, ведь ушли еще третьего дня,— ответил беспечно Кармелюк,— а может,

это еще вовсе и не наш кривой: слух о твоем колдовстве далеко идет. Ну, не каркай же ты вороном, а приготовь нам лучше поесть, видишь, мальчик совсем отощал от голода.

Последнюю фразу Ульяна оставила без внимания.

— Атамане, в другое время ты не так бы рассуждал,— продолжала она.— Не ты ли сам говорил, что нужно жить ради дела нашего, а теперь из-за сына своего готов погубить и все дело, и себя? Я говорю, что надо немедленно бросить пещеру. Все здесь, слышишь,— подчеркнула она, бросая недобрый взгляд на мальчика,— все здесь не ладно...

— Батьку,— прошептал Ясь, прижимаясь к отцу и боязливо поглядывая на Ульяну,— не гони меня... Я ничего...

— Не бойся, сыну,— успокоил его Кармелюк, ласково обвил мальчика рукою и, обратившись к Ульяне, произнес строго: — Я еще атаман здесь и бабских бредней слушать не стану. Давай-ка нам есть да позови караульных.

Ульяна вспыхнула.

— Там сало и хлеб, в углу,— проворчала она, не оглядываясь, и направилась в лес.

Кармелюк усадил подле себя Ярся, достал всю провизию, какая только нашлась в пещере, и принялся кормить сына. Мальчик оживился и стал смелее,— страшная ворожка больше не стесняла его. Эту идиллию нарушило возвращение Ульяны. За нею шли Андрей и Явтух.

— А что, хлопцы, все благополучно? — встретил их Кармелюк.

— Слава богу, батьку,— ответили вместе пришедшие.

— А Дмитро с ватагою еще не возвращался?

— Нет, батьку.

— Почему же вы знаете?

— Да вот недавно прибегал дид из корчмы, говорил, что еще нет никого из наших

— А больше он ничего не говорил?

— Говорил, что приехали паны в корчму.

— Паны? Кто ж такие?

— Какие-то нездешние... Молодые все, и приехали повозом, а не верхами.

— Да, сказал так: четверо, не больше, с ними еще пани какая-то...

— А что, видишь? — вскрикнула Ульяна, и глаза ее сверкнули.— Хлопец говорил, что в корчме не было никого, а оказывается, что там сидят паны. Эй, Иване, стерегись!

— Нечего мне стеречься,— ответил резко Кармелюк.— Мой сын — не изменник и не шпион панский, так ты себе и запомни. Да и что нам до тех панов с паней?

— А зачем они пожаловали сюда?

— Видимое дело, чтобы лошадей покормить,— школяры какие-нибудь. Уж если бы они знали, что это за гнездо, так не повернули бы прямо к корчме. А чтобы совсем тебя успокоить, пошлем Явтуха и Андрея — разведать, что это за паны, сколько их и зачем пожаловали сюда.

— Ради бога, не делай того, атамане! — вскрикнула с неподдельным ужасом Ульяна.— Ты разослал всех хлопцев — кого за делом, а кого и так... А теперь хочешь еще услать и этих двух? Прошу тебя, уйдем отсюда!

— Куда? В корчму?

— Нет, в лес.

— А в лесу же какая защита? Да и от кого? Что это тебя напугали так четыре панка? Да я сам беру их на себя.

— Нет, батьку, атаманша права,— заметил Андрей,— что-то нечисто. Отчего кривой ушел, а ни в корчму, ни к нам не пришел?

— Да он, может, и искал вас в лесу. Вот напал на вас страх,— усмехнулся Кармелюк.— Ну, чтобы заспокоить всех, бегите в корчму.

— Батьку, дозволь мне остаться здесь, Явтух справится и сам,— произнес решительно Андрей.

— Оставайся, коли охота.

— Значит, не уйдешь отсюда? — спросила еще раз Ульяна.

— Незачем...

— Давно застукали в лесу?!

— Это не Кругляк,— здесь леса не обойдешь.

— Да и незачем: довольно только загородить нам выход из пещеры.

— Что же, по-твоему, ляхи будут с неба падать?

Ульяна попробовала еще раз убедить Кармелюка бежать поскорее, но ему до такой степени не хотелось расставаться с дорогим сынком и прерывать счастливой минуты, что он решительно не хотел понимать всех приводимых Ульяной резонов.

— Погубить хочешь всех нас из-за глупого мальчишки! — крикнула наконец гневно атаманша.

— Я не держу никого! Ступай, когда хочешь! — возразил ей резко Кармелюк.

— Нет, я не уйду! Если ты потерял разум и сам лезешь врагу в пасть, я стану на чатах (страже), чтобы хоть сонными не захватили ляхи! — вскрикнула Ульяна и, схвативши ружье, бросилась за Андреем.

На мгновенье в душе Кармелюка шевельнулось сознание, что Ульяна, может быть, и права, что не мешало бы, пожалуй, принять более серьезные меры предосторожности, но радость свидания с сыном была так велика, что сразу же поглотила эти тревожные мысли, тем более что видимой опасности еще не было.

Он принялся снова кормить сына, то расспрашивал его о прошлой жизни, о маленьком брате, о смерти матери, то снова принимался ласкать мальчика с необычайною нежностью и любовью.

Присутствие сына перенесло его к давнему, дорогому периоду его жизни, когда у него были еще свой теплый угол, любящая жена, дед, дорогие дети... когда он еще не был травленым волком, а жил хозяином и семьянином. И Кармелюк забыл обо всем окружающем, он только ласкал и прижимал к себе своего сына и чувствовал, что есть и у него родные, дорогие существа, привязывающие его к земле. Счастливые минуты летели.

Как вдруг Кармелюк выпустил Яся из объятий и вскочил на ноги, схватив ружье: со стороны леса, куда ушли Ульяна и Андрей, послышался громкий треск ломаемых ветвей, и через минуту на поляну выскочила Ульяна, за нею Андрей.

Лицо у Ульяны было бледно, глаза горели...

— Не слушал меня,— крикнула она,— теперь погибли: Янчевский с панами окружает нас!

LI

— За мной, сюда! — вскрикнул Кармелюк и, схватив Яська за руку, выбежал из пещеры и бросился к узеньким, едва заметным ступеням, которые были высечены в камне и вели на ту сторону оврага.

— Пусти меня вперед, батьку! — воспротивился Андрей и стал взбираться вверх, но едва только голова его выткнулась из оврага, как он стремительно повернул назад и своим быстрым движением чуть было не сбросил в глубину шедших за ним Кармелюка с Яськом и Ульяну.

— Назад! Обложили... Целятся...

Вслед за этими отрывистыми словами раздался залп из нескольких ружей. Пули пролетели над головами, но не задели никого. В одно мгновенье все сбежались на дно оврага.

— Бежим,— крикнула Ульяна,— по дну оврага! Попробуем прорваться!

Это было безумное предложение, но единственно еще возможное: хотя по сторонам оврага наверху стояли уже ляхи, но узкое ущелье еще было свободно, и можно было надеяться при необычайной быстроте и ловкости избегнуть пуль и проскользнуть при наступающей темноте в глубину леса. Но отважиться на это могли только самые опытные и отчаянные люди.

Ясько ни в каком случае не мог быть причислен к их числу.

Кармелюк взглянул вскользь на сына, державшегося за его руку, и сердце его сжалось от невыразимой боли: неужели же это дорогое дитя, только что обретенное, должно погибнуть на его глазах?

Ульяна поняла взгляд Кармелюка.

— Из-за одного не должны погибать трое,— произнесла она хрипло.— Останется здесь — погибнет все равно.

— Держись, Ясю, за мою шею,— шепнул быстро Кармелюк, схватил сына на левую руку, а правой вырвал из-за пояса пистолет.

— Опомнись! Что ты думаешь! — Ульяна схватила Кармелюка за руку.— Погибнешь сам и его не спасешь!

— Бежим! — оборвал ее Кармелюк, и в тоне, каким

он произнес это слово, почуялось непреклонное решение.— Направо, врассыпную за мной!..

Но в это время с правой и с левой сторон, со дна ущелья, закругляющегося в обе стороны, послышалось громкое перекликиванье, вверху, с обеих сторон оврага, отозвалось в ответ множество голосов, среди которых чуткое ухо Кармелюка сразу различило зычный голос Янчевского.

Лицо атамана побелело от злобы.

— Поздно,— прошептал он, спуская сына с рук.— Обошел, собака, во второй раз!

— Что ж делать? Куда бежать?! Ведь он схватит и задавит нас живыми! — вскрикнула в ужасе Ульяна.

— Живыми! Ни за что! Покуда нож торчит у меня за поясом, не поймает, дьявол, Кармелюка живым! Но,— Кармелюк сжал руку сына,— на это еще будет время. А теперь — обложил он нас, так пускай же попробует взять приступом. Заваливайте, братцы, пещеру камнями! Ульяна, черпай воду! Припаса всякого у нас довольно. Явтух с орлятами на воле! Они вызволят нас.

Эти несколько слов, произнесенные уверенным, властным голосом атамана, сразу возвратили всем уверенность и энергию.

— Я не боюсь, батьку, я буду стрелять вместе с тобой,— произнес Ясь, стискивая руку отца.

— И некого, и нечего нам бояться, сыну! — глаза Кармелюка сверкнули дерзкою отвагой.— За работу, детки, живо!..

В одно мгновенье вокруг пещеры закипела лихорадочная работа. Уверенность атамана пробежала электрическим током по нервам осажденных: казалось, сила и ловкость их удвоились. Кармелюк с Андреем и Ясем принялись таскать огромные камни, разбросанные вокруг пещеры, и заваливать ими узкий вход пещеры, а Ульяна, захвативши ведро, бегом бросилась к ручью. Минут через десять узкий вход пещеры был уже наполовину завален каменными глыбами и все находящиеся в пещере сосуды наполнены водою. Уже спешившиеся ляхи показались в глубине ущелья, когда Ульяна в последний раз проскочила с ведром воды в пещеру.

Кермелюк осмотрелся кругом. Пещера представляла надежное укрепление: единственный возможный для атаки пункт — вход ее — был наполовину завален

камнями, сверху же над входом спускалась в виде навеса огромная целая каменная глыба, под которой и проходила пещера. Сама пещера была достаточно велика и могла свободно вместить в себе душ пятнадцать.

Ввиду спускавшейся под углом каменной глыбы, вход в нее был низок и узок, внутри же она сразу расширялась и была настолько высока, что Кармелюк мог в ней стоять во весь свой рост. Укрепление, устроенное наскоро Кармелюком, давало осажденным большие преимущества перед осаждающими. Между каменным навесом и стеной наваленных каменьев оставалось не более полуаршина свободного пространства; таким образом, осажденные могли свободно целить во врага, оставаясь сами за надежным прикрытием. Припасов боевых, пищи и питья было в пещере достаточно, и осажденные смело могли выдержать осаду и в продолжение целой недели, если только...— Кармелюк почувствовал, как холодная змея поползла вокруг его груди и свернулась клубком вокруг сердца,— если только Янчевский не придумал какой-нибудь дьявольской штуки.

Последней мыслью он не поделился с товарищами, чтобы не отнять у них уверенности и надежды.

— Набивайте ружья и пистоли! — скомандовал он бодрым и удалым тоном. — Высидим мы здесь и целый тыждень, а через день, много два, вернется Дмитро с хлопцами. Вот-то, братцы, проучим панков!

Все принялись заряжать находившиеся в пещере ружья и пистолеты. Через минут десять ружья были уже заряжены и прислонены к каменной ограде.

— Батьку, а ляхов сколько набралось! — шепнул тихо Ясь, выглянув за каменную ограду.

— Ничего, сынку, ничего! Пусть только подходят поближе. Угощения хватит у нас на всех. А как ударит на них еще с тылу Дмитро с орлами, вот-то натешимся!— Кармелюк сверкнул глазами и потер руки.—Только чур, панове, зарядов задаром не терять. Бить наверняка! Ты, сынку, становись подле меня, вот так...

— Я, батьку, умею стрелять! —возразил с гордостью Ясь.

— Умеешь!? Вот и молодец, казарлюга. Смотри же, целься метко. Стрелять по команде, метить в ноги! Тебе, Ульяно, с Ясем по два ружья, а нам по три. Да за

работу ж, панове! Голов над камнями не подымать. Смирно!

Все заняли свои места и припали подле каменной стены. Десять ружейных дул выставились из пещеры и направились на панов, собравшихся кучей на противоположной стороне ущелья. Их было душ двадцать, и много еще спускалось с крутых обрывов.

— Все панки, да еще и зеленые,— прошипел Кармелюк, рассматривая в скважину собравшихся панов.— Эх, задал бы я вам хлесту, когда бы еще хоть пять орлов было в гнезде! Ну да и так попляшете вы здесь доброго краковяка!

Вдруг лицо его вспыхнуло, рука судорожно сжала курок.

— Янчевский там! — вскрикнула Ульяна.

— Вижу, вижу,—отвечал прерывистым шепотом Кармелюк и, согнувшись, прижался щекой к прикладу.— Эх, не донесет, шельма! — вырвалось у него с досадой.— Ну, была не была!

Взвился над входом пещеры синий дымок, грянул выстрел и прокатился меж горами. И в то же время среди осаждающих раздались громкие, тревожные крики.

— Не угадал! Повысил! — вскрикнул Кармелюк, когда взвившийся дымок рассеялся, и с бешенством ударил ружьем о землю.

Действительно, пуля Кармелюка только ожгла голову Янчевского и пробила ему шапку, не причинив ему никакого вреда. Янчевский стоял посреди своего отряда и держал в руке простреленную шапку.

— Так ты еще, подлое быдло, и зубы скалишь! — крикнул он, поворачиваясь к пещере и потрясая простреленною шапкою, и в то же время отодвинулся за близстоящее дерево.— А ну-ка, панове, сыпните им железного горошку!

Стоявшие впереди опустились на колена, поднялась полоска синего дыма, затрещали, захлопали выстрелы. Эхо подхватило и прокатило по ущелью сухой шум.

Но залп панский не причинил никакого вреда осажденным: большая часть пуль, не долетев до пещеры, взрыла землю, остальные же ударились о каменную глыбу, прикрывшую вход, и отскочили назад.

— Эй вы, дурни,— крикнул громко Андрей,— только глаза запорошили! А ну-ка, братцы, снимем с них шапки, пусть поклонятся низенько пану атаману!

Кармелюк подал знак. Раздался сухой треск, и грянуло сразу четыре выстрела, за ними еще четыре и потом два... Крики, стоны и проклятья раздались на противоположной стороне.

— Шесть штук упало, батьку! — крикнул громко Андрей.

— И мой грохнулся! Угодила прямо в сердце! А ну-ка еще одному! — Ульяна вскочила на ноги. Лицо ее пылало, глаза горели, движенья были быстры, порывисты. Забывая опасность, она принялась стоя заряжать ружье.

— Ульяно, присядь! Стрелять залпом! — скомандовал Кармелюк, но в это время на противоположной стороне хлопнул выстрел, и пуля с острым визгом влетела в пещеру.

Ульяна пошатнулась.

— Что, ранена?! — крикнули вместе Кармелюк и Андрей.

— Пустое,—ответила Ульяна, стискивая зубы,—оцарапало левое плечо. А вот же тебе, пес! — крикнула она, падая на одно колено, и, прицелившись, спустила курок.

Послышался страшный крик.

— Отомстила!! Отомстила!! — закричала в каком-то бешеном опьянении Ульяна и дико захлопала в ладоши.

Действительно, молодой дворовый казак, угодивший ей в плечо, теперь катался с громкими воплями по земле, держась руками за живот.

— Га! Кружишься, как муха в окропе! — взвизгнула в исступлении Ульяна.

— Ульяно, слушай команды! — крикнул на нее грозно Кармелюк.— Ложись!

Все припали к земле, и вовремя, так как в ту же минуту раздался дружный залп, осыпавший пулями каменный свод пещеры, но снова не принесший осажденным никакого вреда.

— А ну-ка теперь разом, детки! — крикнул воодушевленно Кармелюк.— Пли!

Затрещали ружья. На этот раз залп осажденных не был так удачен, как первый: настоящая тьма мешала

верности прицела, притом же ляхи отодвинулись несколько дальше. Однако все-таки два человека упали замертво.

Девять трупов произвели видимую панику среди молодых панов и дворовых слуг, составлявших отряд Янчевского.

— Сдавайся, дьявол! Сдавайся немедленно!—зарычал Янчевский.—А не то закатую без всякого суда и тебя, и твоих висельников!

— Бери же, собака! — крикнул в ответ с бешеною злобой Кармелюк.— Чего пятишься назад? Страшно подойти?

— Собака, каленым железом заткну я тебе глотку! Панове, за мной! — крикнул вне себя от ярости Янчевский и, потрясая ружьем, бросился вперед.

За ним последовали паны, но не все,— большинство осталось на месте. Снова затрещал залп выстрелов и прокатился далеким эхом по дну ущелья. Несколько пуль ворвалось в пещеру.

Среди нападающих послышались громкие одобрительные крики. Но пули, перелетев через головы осажденных, врезались в землю. Осажденные не ответили на залп.

— А что, не понравилось? — закричал исступленно Янчевский.— За мною, панове, вперед! Их там только четверо! На приступ! Мы их голыми руками заберем!

Ободренные предполагаемым успехом, отставшие воины присоединились к Янчевскому, и весь отряд с громкими криками ринулся на пещеру.

Этого только и надо было Кармелюку. С горящими взорами и замирающими сердцами поджидали осажденные приближения смертельного врага. И как только ляхи приблизились шагов за шестьдесят, над входом пещеры взвился дымок, раздался дружный треск, грянуло четыре выстрела, а вслед за ними еще четыре.

Со стороны панов трое упало замертво на землю, двое побежало назад. С громкими воплями все бросились врассыпную.

— Остановитесь! — зарычал Янчевский, стараясь остановить бежавших.— Не давайте ему времени зарядить ружья! Одна секунда — и дьяволы будут в наших руках!.. За мной, вперед!

На мгновенье фигура его ясно вырезалась в наступающих сумерках. Этою секундою и воспользовался Кармелюк.

— Целься! — шепнул он Андрею и, припав к ружью, направил дуло на Янчевского.

Но маневр его был замечен; в то же время кто-то сильно дернул Янчевского за руку. Две пули свистнули в воздухе, но Янчевский уже успел отскочить и повернуться.

Андрей промахнулся, но пуля Кармелюка все-таки долетела и впилась в ногу Янчевского, Демосфен сильно покачнулся, товарищи схватили его под руки и потащили в глубину.

— Ущипнул, батьку, здорово! — крикнули Андрей и Ульяна, радостно потирая руки.

— Пся крев!! Ты за это заплатишь мне дорого! — прохрипел Демосфен, поворачиваясь к пещере и потрясая в бессильном бешенстве кулаками.

— Заплатил бы, пан, и лучше! — ответил с дерзким смехом Кармелюк.— Когда бы не ночь, угодил бы тебе в самый лоб.

— А вот же я тебе посвечу! — зарычал вне себя от ярости Янчевский.— Гей, огня сюда и хворосту! Я их передушу всех дымом, как волков.

Кармелюк побледнел... «Ага, догадался, дьявол!»— прошептал он про себя, но, преодолев свое волнение, обернулся к товарищам, полный спокойствия и холодной отваги.

По гробовому молчанию, воцарившемуся в пещере, видно было, какое впечатление произвели слова Янчевского на заключенных. Покрытые пепельным мраком сгущающихся сумерек, лица их были мертвенно-бледны и неподвижны.

— Чего примолкли, братове? — заговорил быстро Кармелюк.— Или испугались панской похвалки!

— Нет, батьку, чего же бояться,— ответил сурово Андрей.— Коли умирать, так и умирать.

— Только выпусти нас лучше на ляхов, Иване,—произнесла прерывистым шепотом Ульяна,— ух, хоть натешимся перед смертью!

— А кто говорит нам о смерти? Успеем умереть и в другой раз, а теперь утрем еще чертовым панам носы! Пускай приходят раскладывать огонь,— милости про-

сим... угостим на славу! Сложим еще не одну кучу этого падла, воронам на снеданье!

Бодрые слова атамана а главное, веселый, энергичный тон, каким они были произнесены, сразу поднял настроение духа осажденных.

— А и правда, батьку,—воскликнул Андрей,—посветят, чертовы сыны, так еще и виднее будет стрелять!

— То-то ж! Заряжайте же скорее все ружья да пистолеты. А ты не боишься, сынку?

— Нет, батьку.— И мальчик, подавляя дрожь, горячо прижался к отцу.

Приключение с Демосфеном окончательно отбило у всех охоту брать пещеру приступом, а потому предложение его было встречено панами с шумным восторгом. Это пахло настоящею охотой. Выкуривать из ямы лису, да еще какую!

Слуги бросились тотчас же по лесу собирать хворост, а паны столпились на пригорке подле Янчевского. Рана его не была опасна. Пуля прошла мягкие части, не задев кости; однако все-таки эта рана лишила Янчевского возможности двигаться, что приводило его в истинное бешенство.

— Тащите побольше хворосту, да листа сырого, да поворачивайтесь скорее! Подлое хамье! — вскрикнул он с ожесточением.—Когда бы ринулись все сразу за мной, уж болтался бы здесь, шельма, над моей головою. Ведь там их только четверо, только четверо!!

— Но они стреляют, как дьяволы,— возразил молодой Пигловский,— за десять минут уложили десять человек.

— Потому что даете им время стрелять,— сверкнул глазами Янчевский,— а если бы бросились все сразу, то в одну минуту смяли бы эту кучку быдла. У! Сто тысяч перунов! Но теперь уж поздно! Остается только задушить их там.

— И то будет самое лучшее! — подхватили кругом оживленные паны.

— И самое безопасное!

Янчевский обратил к молодым панкам свое пылающее гневом лицо и закричал зычным голосом слугам:

— Ну, что ж стали? Тащи, наваливай, зажигай!

В одну минуту слуги собрали такое количество хворосту, которого было бы вполне достаточно, чтобы под-

палить целый город, но подойти к пещере не решался никто.

— Панове! Неужели никто из нас не покажет примера этому трусливому хлопству? — обратился Янчевский к окружающим его панкам.

— За мною, панове, вперед! — крикнул молодой Пигловский, спускаясь с пригорка. За ним с громкими возгласами последовало остальное панство.

Ободренные присутствием своих панов, слуги подхватили связки хворосту и двинулись вперед.

LII

В пещере было тихо и темно. Полусвет, падавший в узкое отверстие, слабо освещал бледные лица, замершие в ожидании врага.

Осторожно приблизились слуги панские на приличное расстояние и принялись приготовлять костер.

Кармелюк окинул быстрым взглядом свой отряд и остановил его на Ульяне. На бледном лице ее глаза горели, как черные угли, из полуоткрытых, запекшихся губ вырывалось прерывистое дыхание, по телу пробегала нервная дрожь. Дикое наслаждение разлилось во всех ее чертах. Битва воодушевляла и остервеняла ее. Было что-то прекрасное и страшное в этой женщине, опьяненной видом крови.

Сумрак уже сгустился в ущелье, но четыре пары глаз впились иглами в шевелящиеся подле костра фигуры.

— Пли! — скомандовал Кармелюк.

Грянули четыре выстрела, загоготало эхо и побежало далеко по дну ущелья. За первым залпом последовал следующий. Двое из осаждающих упали, остальные побежали с громкими криками назад.

— Чего ж бежите? Чего не зажигаете огня? А, чертовы дети! Дьявольское семя! Припекло пальцы? Припечет вас еще и не так!..— закричала в исступлении Ульяна, срываясь с места.

Андрей и Кармелюк подхватили ее крик.

Бешеное веселье осажденных взорвало осаждающих. Предводительствуемые Пигловским, ляхи снова бросились уже плотною массой к пещере. Но еще и на этот раз осажденным удалось не допустить их. Началась су-

дорожная борьба. Благодаря тому что в пещере было заготовлено много заряженных ружей и пистолетов, Кармелюк с товарищами успевали осыпать нападающих беспрерывным градом пуль.

— Заряжай ружья, пистоли! Пали! —выкрикивал отрывисто Кармелюк.

Выстрелы гремели из пещеры беспрерывно, но теперь уже пули осажденных не приносили существенного вреда осаждающим. Ночь спустилась в ущелье и наполнила его густым мраком. Это заметили нападающие и сразу же ободрились.

Появились зажженные факелы, вспыхнули костры, но так как они находились довольно далеко, то дым еще не доходил до пещеры, а подымался прямо вверх.

— Подсовывай ближе! Заходи слева, справа! — кричал вне себя Янчевский.

Двое из гайдуков бросились в лес и, вырубив огромные ветви, расширяющиеся вроде вил, принялись подталкивать ими к пещере пылающие костры. Густой дым совершенно скрыл их фигуры. Этот маневр понравился остальным, и вскоре со всех сторон к пещере двинулась цепь дымящихся огней.

С бешеною быстротой принялись заряжать ружья осажденные.

— Не удастся вам, дьяволы! Не удастся, чертовы сыны! — рычала Ульяна, как исступленная фурия, хватая ружье за ружьем.

— Пли! Пли! — кричал хрипло Кармелюк.

Выстрелы не умолкали, но большинство пуль бесцельно резало воздух, а огненная цепь сжималась теснее и теснее и приближалась все ближе к отверстию пещеры.

Она уже сомкнулась на расстоянии полутора аршин. Жар пахнул в лицо осажденным, еще не оставлявших ружей.

— Заливай,— скомандовал Кармелюк.

Ульяна и Андрей схватили стоявшие поблизости ведра и, размахнувшись, выплеснули из них воду. Ближайшая часть пылавшего хвороста зашипела и погасла. Столбы горячего белого пара поднялись в воздухе.

Но это была только минутная отсрочка.

Еще и еще раз удалось осажденным выплеснуть воду и погасить ближайшие части костра. Но вот из-за огней

поднялась огромнейшая куча хвороста и свежих ветвей с листьями и грохнулась почти у подножья пещеры.

— Сколько воды осталось?—спросил отрывисто Кармелюк.

— Два кувшина,— ответила Ульяна.

— Довольно! — произнес глухо Кармелюк.— Больше не лей.

Все замолчали и опустили ружья.

Огненные язычки запрыгали в хворосте.

Столб едкого черного дыма разостлался над костром и медленно вполз в пещеру.

Все невольно зажмурили глаза. Ясь закашлялся.

Извне донеслись громкое гоготанье осаждающих и зычный крик Янчевского:

— А что, закурили, казаченьки, люльки?!

Разостлавшись под сводом пещеры, дым начал медленно опускаться вниз, облекая серым саваном осажденных.

Нестерпимая резь почувствовалась в глазах. Слезы выступили у них невольно. В горле запершило... задавило в груди.

Ульяна невольно оборотилась назад, стараясь уловить струю свежего воздуха. В висках и ушах ее зашумело, застучало, голова закружилась... нестерпимая тошнота поднялась к самому горлу... Зеленые и красные круги поплыли перед глазами.

А между тем огонь разгорался, пламя охватывало свежие ветви, и вместе с тем дым становился все едче и гуще. Вот пламя взвилось над самой вершиной костра, и черные клубы дыма массой повалили в пещеру.

— Не могу! Не могу! — вскрикнула в ужасе Ульяна, вскакивая с места.

— Тащите оружие, воду! За мной! — произнес Кармелюк и, схватив за руку Яся, ощупью направился в глубину пещеры.

За ним последовали Ульяна и Андрей.

В нескольких шагах от входа пещера образовывала довольно широкое закругление; в этом колене сохранялись у Кармелюка всегда деньги, оружие и другие припасы. Теперь он повел туда своих товарищей.

Расчет его оказался верным. Закругление это отделялось от самой пещеры узким сводчатым отверстием, а потому дым еще не зашел сюда.

Ульяна глубоко перевела дыхание и упала в изнеможении на землю.

— Кто упал? — спросил Кармелюк.

— Атаманша,— ответил Андрей.

— Зажигай лучину!.. Ты слышишь меня, Ульяна?— Кармелюк нащупал в темноте кувшин с водой и примочил ей голову.

— Слышу,— произнесла глухим голосом Ульяна.— Ох, душит... Голова кругом идет... Сердце замирает!..

— Потерпи, сейчас будет легче! — ободрил ее Кармелюк.

— Андрей высек огня, отыскал щепку, зажег ее и воткнул в стену.

Красноватый огонь осветил низкое подземелье, в котором набросаны были в беспорядке кучи одежды и оружия, мешки с хлебом и другими припасами, бутылки с винами, сумки с деньгами.

Кармелюк поднял Ульяну, еще раз примочил ей голову, влил несколько глотков воды в рот и усадил в глубине пещеры, прислонив к земле.

Ульяна тяжело дышала. Воздух здесь был еще довольно чист, хотя издали доносился запах гари, но дым сюда еще не проникал; однако представлялось несомненным, что через какие-нибудь четверть часа, много двадцать минут, дым наполнит и это убежище и медленно задушит скрывшихся тут людей под своею страшною пеленой.

— Иване,— произнесла хрипло Ульяна,— выпусти... лучше сразу смерть.

— Куда же? Кругом огонь.

— Так убей сам...

— Погоди еще... успеем умереть, живыми не отдадимся в руки. Ясю, сыну мой, не бойся ничего! — Кармелюк горячо прижал к себе вздрагивавшего мальчика.

Все мрачно замолчали.

Красноватый свет лучины освещал четыре человеческие фигуры, прижавшиеся друг к другу в глубине пещеры и впившиеся глазами в клубящийся в проходе дым. Медленно тянулись минуты. Ничто не нарушало мертвой подземной тишины... Каждый из осужденных на страшную смерть слышал тяжелые удары своего сердца.

Но вот две тонкие струи дыма отделились от общей массы, робко скользнули в пещеру и поплыли под сводом ее, растягиваясь, расширяясь и заволакивая его тонкою сизою пеленой. За ними вплыли еще две волны, и через минуту под низким сводом подземелья уже заклубилась тяжелая серая пелена.

Огонь потускнел и замерцал расплывающимся пятном в колеблющейся массе буро-серого тумана.

— Ползет! Ползет уже сюда! — закричала как безумная Ульяна, срываясь с места.

Все встали и почувствовали подле себя холодное дуновение смерти.

— Душит, давит! — продолжала Ульяна, срывая с себя очипок и корсетку.— Убей, убей сразу!

— Ульяно, погоди, ложись на землю. Дым клубится вверху, а внизу еще воздух чист! — попробовал было удержать ее Кармелюк.

Но Ульяна уже совершенно потеряла возможность понимать человеческие слова. Глаза ее расширились, зрачки вытянулись, как у бешеной кошки. Ужас исказил все лицо ее и отнял у него человеческий образ.

— Не могу, не хочу ждать смерти! — кричала она в исступлении, разрывая ворот сорочки.— Убейте сразу! Ох, ползет сюда! Он задушит нас... Ай! — взвизгнула она нечеловеческим голосом и, закрыв лицо руками, впилась пальцами в волосы.

Кармелюк насильно уложил ее на землю, Ульяна забилась в судорожных рыданиях. Все опустились.

Между тем дым действительно наполнял тесное подземелье. Страшная толща его висела уже на аршин над землей... Кармелюк почувствовал, что начинает задыхаться...

— Что ж, простимся, батьку! — произнес тихо Андрей, подымаясь с места.

— Что? Смерть?— закричала не своим голосом Ульяна.— Я не хочу умирать! Спасите, помогите! Пустите меня!.. Он давит нас!..

— Нет, нет, титочко,— произнес вдруг Ясь, дотрагиваясь до плеча Ульяны,— его тянет дальше... туда.

— Что ты говоришь? — вскрикнул Кармелюк, сжимая до боли руку мальчика.

— Я говорю, батьку, что дым тянет туда! —Ясь махнул вперед рукою.

Глаза Кармелюка вспыхнули бешеным восторгом.

— Друзи,— вскрикнул он не своим голосом,— Ясь правду говорит — дым тянет вперед; значит, там есть выход!

Предположение Кармелюка имело полное основание: если бы дым не имел какого-нибудь выхода впереди, то, конечно, за это время он бы уже заполнил всю пещеру и задавил бы их своею страшною пеленой; между тем при тусклом свете лучины легко можно было убедиться, что главные массы дыма плыли в глубь земляного коридора, сюда же, в эту пещеру, попадали только отдельные пряди, отделившиеся от общего течения.

Дым тянуло, в том не было сомнения. Значит, выход был.

Но что это был за выход?

Была ли это узкая щель в камне, или отверстие, достаточное для того, чтобы пробраться человеку? Наконец, куда выходило это отверстие? Этого Кармелюк не мог решить. Он никогда не исследовал пещеры и совершенно не знал, далеко ли тянется она, или кончается тут же, в нескольких шагах.

Но так или иначе, во всяком случае, это неожиданное открытие давало надежду на спасение. Как слабый отблеск далекого маяка перед экипажем тонущего судна, вспыхнула надежда перед заключенными. Все приободрились. Даже Ульяна перестала кричать и впилась в лицо Кармелюка безумными, жаждущими спасения глазами.

— Зажигайте лучины! Надевайте пистоли, ножи! — скомандовал Кармелюк.— Андрей, бери воду да лучин в запас.

В одну минуту приказание его было исполнено.

Все вооружились и взяли в руки длинные зажженные лучины.

— За мной! — произнес отрывисто Кармелюк и, подняв над головой горящую лучину, смело вошел в наполненный дымом коридор.

За ним последовали остальные.

Тускло замелькали красные огоньки в густом сером дыму, медленно колебавшемся в узком подземном пространстве.

Едкий дым сразу сдавил всем горло, дыхание захватило.

— Не дышать ртом, нагибаться вниз! — произнес отрывисто Кармелюк.— Андрей, держи Ульяну!

Сам он взял за руку Яся и двинулся вперед.

Земляной коридор поднимался круто вверх; он был достаточно широк, так что два человека могли в нем свободно двигаться рядом. В нескольких местах Кармелюк даже нащупал остатки деревянных подпорок. Это доказывало, что пещера и продолжение ее были делом рук человеческих, а следовательно, можно было надеяться, что и выход для дыма не был случайною трещиной в камне. Но чем дальше подымались несчастные, тем ниже становился коридор; видно было, что земля сверху осыпалась и загромоздила проход.

«А что, если дальше он завалился совсем и представляет из себя только узкий лаз, доступный зверю?»

Эта мысль сжала сердце Кармелюка леденящим кольцом. Работать, копать в этой массе дыма не было никакой возможности! И так с каждым шагом дыхание затруднялось, сердце билось с такою быстротой, что, казалось, еще один удар — и оно разорвется в груди. Нестерпимо стучало в виски.

Душевная бодрость еще поддерживала несчастных, но она уже была не в силах бороться с явными приступами удушья.

— Не могу! — прохрипела Ульяна, падая на землю.— Идите сами, конец...

— Облей ей голову! Возьми на руки! —крикнул Кармелюк Андрею и сам покачнулся.

«Что ж это? Неужели умереть здесь и дать возможность ненавистному врагу торжествовать победу?» — мелькнуло у него с холодным ужасом в голове.

Он собрал последние силы и двинулся вперед.

Но, сделав несколько шагов, Кармелюк должен был снова остановиться и прислониться к холодной стене. Отверстие все сужалось, и дым сбивался в нем густою черною массой. Дышать было нечем.

— Сыну! — прошептал Кармелюк, судорожно сжимая руку Яся.

— Душит... батьку... душит,— послышался в ответ задавленный хрип ребенка.

С отчаяньем рванулся Кармелюк вперед, но голова его закружилась, земля ушла из-под ног... перед глаза-

ми запрыгали огни. Он широко раскрыл рот, стараясь поймать хоть глоток воздуха,— воздуха не было...

Когда Кармелюк открыл глаза, то увидал, что Андрей обливает его голову водой и старается влить ему в горло глоток водки.

Первое, что бросилось ему в глаза, было то, что воткнутая в стену лучина горела яснее и что стоящая перед ним фигура Андрея не плавала уже в дыму, а выделялась довольно отчетливо.

Он вздохнул, и грудь его наполнилась воздухом, пропитанным дымом и гарью, но все-таки воздухом.

— Что сталось? — произнес он с трудом.— Ульяна, Ясь?

— Живы. Скорей, батьку, вперед: или ветер погнал в сторону дым, или ляхи гасят костер, чтобы вытащить нас из ямы.

Кармелюк сразу очнулся.

Ульяна еще лежала с закрытыми глазами, но Ясь уже сидел, прислонившись к стене, и тупо глядел перед собой.

— Давай, сынку, руку! Скорей за мной! Господь помогает нам! — произнес горячо Кармелюк и, взяв мальчика за руку, двинулся решительно вперед.

Андрей поднял Ульяну и последовал за атаманом. Но с каждым шагом движение затруднялось; в некоторых местах Кармелюку приходилось даже проползать на коленях. Земля свешивалась с потолка перепутанными с корнями гроздьями. Страшно было сказать слово. Казалось, одно неосторожное движение — и тяжелые глыбы рухнут и задавят их под своею толщей. При одной мысли о том, какая страшная масса висит над головой, сердце невольно сжималось и холодная жуть проникала все тело.

Но несчастные пробирались вперед с неослабевающею энергией. Андрей тяжело дышал, но поспевал за атаманом. Надо было ловить секунды, пока еще можно было двигаться, а секунд этих оставалось уже мало.

— Дай мне Ульяну,— произнес Кармелюк,— ты истомился.

— Нет, батьку,— отвечал коротко Андрей,—иди сам, скорее... курит!

И без этого напоминания Кармелюк уже начал за-

мечать возрастающую снова смертельную опасность: опять запахло гарью и дымом. Но замечание Андрея словно удвоило его силы, и он рванулся вперед.

LIII

Минут пять пробирались еще молча несчастные, как вдруг Кармелюк остановился как вкопанный, и дикий крик вырвался из его груди.

Андрей покачнулся.

— Нет ходу! — произнес он хрипло.

— Воздух, воздух, брате! — закричал не своим голосом Кармелюк.

Действительно, это был чистый воздух, полный лесного аромата; свежая струя его резко выделялась среди дыма и гари, окружавших их.

Неожиданная радость сразила Андрея, страшная слабость охватила его, колени его задрожали, и он прислонился к стене, чтобы не упасть.

— За мною, брате, за мною! Уже близко! — позвал его Кармелюк и бросился вперед.

Через несколько мгновений он увидал над своей головой небольшое круглое отверстие.

— Зори, небо! — вырвался у него крик дикого, нечеловеческого восторга.

Сквозь круглое отверстие виднелся кусок кристально прозрачного неба. Крупные звезды безмятежно мерцали на нем, далекие от земного горя и земной борьбы. После черных глыб земли, страшно свисавших над головой, это было зрелище, способное вызвать слезы на глаза... Там была жизнь, свет, воздух, красота,— и они могли снова приобщиться к ним.

— Милосердный боже! — прошептал Кармелюк, невольно опускаясь на колени.

Все молча последовали его примеру. В страшной подземной норе они почувствовали подле себя присутствие ангела-хранителя, выведшего их к жизни, свету и добру.

Ульяна тоже открыла глаза и обвела всех еще бессознательным взглядом.

— Спасены, Ульяно, спасены! — крикнул Кармелюк, приподнимая ее.

В одно мгновение ужасная действительность встала перед Ульяной; в первое мгновение черты лица ее исказились ужасом, но, увидав над собою звездное небо, Ульяна вся вспыхнула от бешеного восторга.

— Жить! Жить! — закричала она и вскочила на ноги.

— Только скорее, братцы, за работу! — спохватился Кармелюк.— Дым прибывает. Андрей, вынимай нож — раскапывать дыру!

Отысканное осажденными отверстие, видимо, представляло когда-то тайный выход из пещеры, устроенный, быть может, в гайдамацкие времена; теперь же оно завалилось и было не больше порядочной миски, так что в него не смог бы пролезть и Ясь. Кармелюк с Андреем принялись с жаром за работу.

Дым усиливался; копать было тяжело и неудобно, но видимое спасение увеличивало вдвое силу и энергию Андрея и Кармелюка. Минут через десять отверстие было уже настолько расширено, что в него мог свободно пролезть мальчик.

— Ну, Ясь, можно и лезть,— произнес Кармелюк, обтирая лоб.

Дышать становилось снова трудно, но надежда поддерживала и окрыляла осажденных.

— Становись мне на плечи, сынку, как вылезешь, ложись на землю, да смотри: не видно ли где ляхов.

— Скорей, скорей! — заторопила Ульяна.

Андрей посадил Яся, и мальчик юркнул в земляную трубу. Но лишь только он занял своим телом отверстие, дававшее выход дыму, как весь дым хлынул на осажденных.

— Пролазь, пролазь, сыну! — закричал Кармелюк.

— Не могу... ой, тяжко! — послышался ответ мальчика.

Комки земли посыпались на головы оставшихся.

— Тащите его назад! — закричала в ужасе Ульяна.

Кармелюк попробовал протянуть мальчика вперед, потащить назад, но хлопец застрял в земляном отверстии и не двигался ни сюда ни туда.

Дикий, безумный ужас охватил Ульяну, ужас ее передался и Андрею, и Кармелюку,— одна минута промедления грозила смертью.

С последним усилием толкнул Андрей Яся вверх, и

вдруг тело мальчика подвинулось, кусок земли, обвалившийся при этом, здорово стукнул Андрея по голове, но проход сделался свободным. Ясь был уже в лесу.

Громкий вздох облегчения вырвался у всех присутствующих. Дым сразу же устремился в освободившееся отверстие. Но все-таки положение осажденных оставалось весьма затруднительным, так как благодаря сильной тяге дыма воздух почти не проникал в глубину.

Над отверстием показалась голова Яся.

— Мы в яру, батьку,— прошептал он,— но в каком-то другом; ляхов не видно и не слышно.

— Знаю! — вскричал Андрей.— Это яр, смежный с нашим,— гора отделяет нас, но надо торопиться: от нас к ним рукой подать.

Теперь уже дело пошло значительно скорее. При проталкивании Яся много земли обрушилось и отверстие расширилось само по себе, Ясь же еще раскопал его сверху, так что Ульяна проскользнула совершенно легко. За нею последовал Андрей; выбравшись на воздух, он еще расширил отверстие и бросил атаману веревку.

С большим трудом, но и атаман выбрался наконец из подземелья и очутился под открытым небом.

Все молча опустились на колени и осенили себя крестным знамением.

— Теперь, панове,— сказал Кармелюк после минутного молчания,— за мною все, ползком!

Все двинулись гуськом по дну оврага, сгибаясь до такой степени, что головы их почти не подымались над уровнем травы.

Вначале ветерок доносил к ним отдаленные крики ляхов; звук их был какой-то веселый, торжествующий; из этого Кармелюк понял, что они еще празднуют свою победу и не удостоверились в обмане. Но вскоре и эти звуки затихли... Беглецов окружала святая тишина спящего леса.

С полчаса ползли они так по дну оврага; наконец Кармелюк свернул направо и начал углубляться в чащу леса...

Все с облегчением расправили спины; теперь идти было легче... Несмотря на то что они уже значительно удалились от рокового места, Кармелюк приказал соблюдать величайшую осторожность.

Ни одно слово, ни один вздох не нарушали лесной тишины. Молча скользили беглецы под столетними деревьями; только сердца их усиленно бились от восторга, а звезды так ласково мерцали им сквозь спущенные ветви деревьев, и лесная прохлада освежала истомленные тела.

Через час такого безмолвного пути Кармелюк решился наконец сделать короткий привал, потому что Ульяна и Ясь уже еле передвигали ноги. У Андрея отыскался запас пищи и фляжка водки. Измученные беглецы подкрепились и отдохнули.

— Теперь, панове,— заговорил тихо Кармелюк,— мы отошли от ляхов верст на семь, если не больше... До света,— он взглянул на небо и, отыскав Большую Медведицу, произнес решительно,— часа четыре, верно. За это время можно еще далеко уйти, а лес им незнаком, Янчевский ранен, а у остальных вряд ли хватит охоты разыскивать разбойников в неизвестных пущах. Но, во всяком случае, мы должны разделиться.

— Я иду с тобой! — заявила живо Ульяна.

— Нет,— возразил серьезно Кармелюк,— и я, и ты,— ляхи тебя видели,— можем возбудить подозрение; нам надо разделиться. Ты пойдешь с Андреем, а я выведу Яся на дорогу к Жабьячему и тогда сверну сам в сторону лесом. Вы пойдете также пущами к Чертовой гребле, туда никто не забредет, а Дмитро с хлопцами должен быть уже там.

— Иване, я измучусь душой! — произнесла просящим голосом Ульяна.

— Не бойся, больше не попадусь: загорелось сердце отомстить дьяволу!

— Когда же ждать тебя, батьку? — спросил Андрей.

— До трех дней ждите безо всякой боязни, а там вернусь, бог даст...

— Три дня... Ой боженьку!

— Говорю на всякий случай, Ульяна,— может быть, придется доброго крюку дать. Ну, а теперь в дорогу...

Все попрощались и разошлись в разные стороны.

Кармелюк быстро шел по лесу, пробираясь по еле заметным тропинкам и проталинам, посматривая на звезды.

От времени до времени он брал хлопца на плечи, так как ноги бедного мальчика отказывались служить. Оста-

навливался Кармелюк на самые незначительные промежутки времени; наконец, часа через два пути, он вышел на узкую дорогу и, придерживаясь лесной чащи, пошел вдоль нее.

Вскоре приблизились они к самой опушке леса.

Кармелюк трогательно попрощался с сыном, отсыпал ему целую пригоршню золота, несколько раз рассказал хлопцу, как теперь он должен выбраться на дорогу, обещал наведаться к ним и взять их к себе, еще раз обнял и отправился в путь.

Прощанье с сыном снова перенесло его в счастливую пору жизни.

Увлеченный своими мыслями, он машинально переходил с одной тропинки на другую... Как вдруг раздавшиеся невдалеке от него звуки заставили его очнуться и насторожиться. Это были звуки человеческих голосов.

Кармелюк замер... Что это, неужели он сбился с пути и попал прямо в зубы ляхам?.. Не было сомнения, что это были поляки... Звуки донесшейся речи ясно свидетельствовали об этом.

Но где же он, в каком участке леса? Кармелюк оглянулся. Начинался рассвет, и в этом неверном освещении трудно было ориентироваться.

Но те ли это были ляхи, или другие — все равно, встреча с ними грозила роковою развязкой... Раздумывать было некогда, надо было спасаться. Голоса раздавались слева, а потому Кармелюк бросился вправо со всей быстротой, какая только была возможна в лесной чаще. Но, пробежав минут с десять, он с ужасом остановился... Первое мгновенье ему показалось, что слух начинает обманывать его, но через секунду он убедился в том, что и с правой стороны слышны также перекликающиеся голоса; голоса отзывались и за его спиной...

Очевидно, ляхи растянулись полукругом — или они собирались обходить лес, или выходили из него...

Бешеная злоба охватила Кармелюка.

«Как? Чтобы, вырвавшись из такой смертельной опасности, попасться, как глупому хлопцу, в руки ляхам, на потеху Демосфену! Нет! Ни за что! Лучше повеситься где-нибудь в чаще на дереве, чтобы не удалось проклятому врагу торжествовать победу!»

Кармелюк чутко прислушался,— оставалось только одно свободное направление.

Не раздумывая долго, он бросился вперед...

Надо выиграть расстояние, так как, судя по треску ветвей, ляхи ехали верхами, а там только вырваться из этого проклятого кольца,— лес неисходим, тропинки и пущи знакомы,— не отыщет никто.

Кармелюк припустил еще шагу. Занятый одной мыслью обогнать врагов, он не заметил, что лес начал постепенно редеть; вдруг громкий крик чуть не вырвался у него из груди, и Кармелюк покачнулся на месте: перед ним шагах в двадцати расстилалась степь. Он стал у опушки леса... В синеватом освещении рассвета видны были теперь все очертания окрестности, и Кармелюк с ужасом убедился, что запутался в лесу и теперь стоял в той стороне, где неподалеку ютилась корчма Ульяны.

Опушка леса тянулась здесь в виде выгнутой подковы, а прямо от нее шли поля сжатого хлеба, ровные, как разостланная скатерть,— здесь не было где укрыться... Броситься вдоль опушки и юркнуть в глубину леса также не было возможности, так как по краям широкой подковы Кармелюк заметил несколько людей, правда, пеших, но, во всяком случае, вооруженных, а выстрелы их могли в одну минуту созвать всю банду. Возвращаться же назад было немыслимо: преследователи приближались...

Эх, если бы он был на коне, тогда бы и погоня не была страшна! Но коня не было, а хуже всего было то, что прямо перед Кармелюком, шагах в ста пятидесяти от опушки леса, стояла карета, запряженная четвериком великолепных лошадей.

Кармелюк взглянул на нее, и вдруг глаза его вспыхнули, отчаянная мысль загорелась в нем.

В первое мгновение она появилась в виде вопроса, но уже через секунду приняла характер окончательного решения: броситься к карете, вскочить на козлы, сбросить кучера, хлестнуть по лошадям да и быть таковым. Во всяком случае, у него будет версты полторы впереди, а ускакав вдаль, отрезать постромки, вскочить на коня,— и тогда разве ветер поймает его... Но пуста ли была карета, или была занята? И кто мог быть в ней?.. Кармелюк смутно припомнил, что Явтух упоминал о какой-то даме, подъехавшей к корчме с тремя панычами. Хорошо, если она там одна, а если окружена своим

потомством или там поместили раненого Янчевского?..

Тысячи самых неожиданных случайностей могли встретить его там. Но, во всяком случае, это была единственная возможность уйти от неминуемой погони.

— Эх, была не была! — вскрикнул тихо Кармелюк и, сохраняя полное спокойствие, вышел из леса. Надо было усыпить подозрение стоявших вдали часовых, усыпить хотя на пять минут. И потому, несмотря на то, что каждая жилка его вздрагивала от желанья броситься на весь опор, Кармелюк зашагал степенно и уверенно.

Но не прошел он и тридцати шагов, как услыхал издали окрик:

— Кто идет?

— Я,— ответил спокойно Кармелюк.

— Кто «я»?

Кармелюк смутился: назвать какую-нибудь фамилию было опасно, а потому он решил ответить неопределенно:

— Свой!

— Погоди! — крикнул уже настойчивее голос, и ближайшая фигура бросилась наперерез Кармелюку.

Быстрым взглядом соразмерил Кармелюк расстояние, отделявшее его от кареты, и несколько ускорил шаг.

— Стой! Стрелять буду! — закричал часовой и схватил ружье.

Кармелюк понял, что теперь уже выигрыш зависит только от быстроты ног, и бросился опрометью к карете.

Раздался выстрел; пуля пронеслась мимо, но соседние стражи всполошились и бросились вслед за преследовавшим Кармелюка часовым. Кучер, мирно дремавший на козлах кареты, очнулся, взглянул в сторону и схватил возжи.

«Сорвалось!» — пронеслось огненною ниткой в голове Кармелюка.

Как вдруг дверь кареты распахнулась и из нее показалась прелестная белая ручка.

— Пане Читецкий,— окрикнул Кармелюка женский голос,— але проше пренцей! Тутай!

На мгновенье Кармелюк остолбенел.

К нему ли относились эти слова? Очевидно, к нему,

так как и преследовавшие его на минуту приостановились. Но что же это? Обозналась ли женщина, зовущая его... Или...

— Но отчего же пан мешкает? Прошу скорее! — продолжал настойчиво и нетерпеливо женский голос.

И вдруг Кармелюк почувствовал, что этот голос знаком ему.

А что, если это ловушка?!

Однако в три прыжка он был уже возле кареты; прелестная ручка подхватила его, дверцы кареты захлопнулись.

— Пошел домой! — раздался окрик, и не успел Кармелюк оглянуться, как лошади подхватили и карета мягко заколыхалась на своих рессорах, стрелой уносясь от леса.

LIV

В первое мгновение Кармелюк понял только то, что он спасен от неминуемой опасности, и это радостное сознание разлилось по его телу теплою волной.

Однако же, кому он обязан своим спасением?

Кармелюк тут только оглянулся. Рядом с ним сидела, откинувшись на спинку кареты, Розалия и с лукавою улыбкой посматривала на Кармелюка.

— Пани маршалкова?! — вскрикнул он изумленно.

— Пан разбойник не ожидал меня встретить?!

— Как же я мог и подумать!

— А я приехала сюда нарочито.

— Посмотреть, как затравят ненавистного гайдамака?!

— Однако, пан очень неблагодарен...— произнесла Розалия с улыбкой.— Мне кажется, что я помогла пану выпутаться из несколько неудобного положения?

— Тысячу раз прошу ясную пани простить меня, глупого гайдамака! — вскрикнул горячо Кармелюк.— Пани спасла меня от верной смерти, и я не знаю, как благодарить и пани, и счастливый случай, натолкнувший меня на еемосць.

— Отчасти этому способствовал, конечно, и случай, но отчасти и моя добрая воля, так как я приехала сюда нарочито, чтобы так или иначе помочь пану.

— Боже святый!! — вскрикнул Кармелюк.— Я ушам

своим не верю, да и чем же я заслужил такую ласку?

— Пан спас мне жизнь, и я не захотела оставаться в долгу у пана. Хотя пан поступил со мной и не совсем шляхетно,— Розалия потупила глаза,— написавши моему супругу письмо, но...

— У ясной пани истинно шляхетная душа,— вскрикнул с неподдельным волнением Кармелюк,— а я...

— Отважный рыцарь,— перебила его Розалия,— который своею неслыханною отвагой заслужил у меня полное прощенье.

— Ясновельможная пани карает меня горше всех палачей своим великодушием и благородством. Отныне я вечный раб твой, ясная пани, и если господь мне поможет, я заслужу прощенья у еемосци!

Кармелюк наклонился к тонкой ручке красавицы и с чувством глубокого почтения прижался к ней губами.

Может быть, красавица в душе и пожелала, чтобы этот поцелуй был менее почтителен, но в этом движении Кармелюка, в той манере, с которой он наклонился к ее руке, было столько благородства и истинной красоты, что Розалия почувствовала невольно, как ее сердце сладко замерло.

— Хотя иметь такого мятежного раба и не совсем-то надежно,— ответила она с кокетливою усмешкой,— но, во всяком случае, я согласна принять пана разбойника на службу, и вот мой первый приказ: пока мы еще не отъехали далеко от леса, прошу пана рассказать мне, только вполне откровенно, каким образом удалось ему спастись из этой ужасной пещеры?

Кармелюк начал рассказывать Розалии о только что пережитых минутах.

Несколько раз прерывала она его рассказ полными ужаса и восторга словами.

— О матко свента! — воскликнула она, когда Кармелюк окончил свой рассказ.— Неужели же пан не бросит дальше эту жизнь?

— Ясновельможная пани, и рада б душа в рай, да грехи не пускают! — ответил с глубоким вздохом Кармелюк.

— Но ведь можно покаяться, просить прощенья?

— Просить прощенья?! Ну, ясная пани, не поможет

это теперь. Да что о том толковать! Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить!

Между тем карета быстро катилась по дороге, оставив далеко за собою занятый ляхами лес.

Заря разгоралась. Наконец экипаж снова въехал в лес, но уже другой, раскинувшийся в стороне; верст за пятнадцать он соединялся с лесом, окружавшим Ульянину корчму.

— Теперь, пане, надо подумать о дальнейшем спасении,— заговорила Розалия, взглянув в окно кареты.— Здесь пан уже в безопасности, но мне надо возвратиться назад, чтобы не навлечь никакого подозрения.

— Совершенно верно,— согласился Кармелюк.— Пусть пани прикажет остановиться, и я выйду.

— Ай-ай-ай! Пан разбойник такой мудрый, а хочет поступить очень неосмотрительно: что же подумает кучер о пане Читецком, который ехал, ехал со мной, а потом безо всякого толку выскочил в лес? Здесь, за милю, стоит пустая корчма. Мы в ней сначала останавливались, но потом все двинулись отсюда на облаву в панский лес. Пусть пан взойдет в корчму и потом, выйдя оттуда, крикнет мне, что можно ехать назад, так как, пшепрашам, шельма Кармелюк уже схвачен и связан. Ведь пан, кажется,— Розалия бросила на Кармелюка лукавый взгляд,— умеет говорить по-польски, как истый поляк?

— Ясновельможная пани, сто раз прошу простить грубого казака,— произнес с искренним чувством Кармелюк и снова прижался с глубоким почтением к белоснежной ручке, унизанной драгоценными перстнями.

— Я уже сказала пану, что дарую ему полную амнистию!

— Я хочу честно заслужить ее.

— Я думаю, пану разбойнику будет довольно трудно исполнить свое намерение,— усмехнулась Розалия,— так как я ведь не живу в лесу.

— А пани забыла, что у разбойника Кармелюка есть разрыв-трава, что перед ним падают все замки́ и что никто ему на этом свете не страшен?

— А так, я и забыла, что пан разбойник — колдун,— протянула Розалия,— и умеет превращаться и в старика, и в графа, и в офицера...

— Но всегда остается честным казаком,— перебил

ее Кармелюк,— который никогда не забывает добра и ласки, оказанных ему.

— Верю и жду пана,— заключила Розалия и протянула Кармелюку руку.— Но мы приехали. Вот и корчма. Как я и предполагала, она пуста. Счастливой дороги. Пусть же пан разбойник бережет себя на будущее время, так как мне не всегда удастся попадаться на панском пути.

Кармелюк прижался долгим поцелуем к прелестной ручке и, распахнув дверцы, выскочил из кареты.

Хотя стоял еще только август, но погода вдруг сразу изменилась. Небо заволокло пухлыми серыми тучами, подул холодный ветер, запахло осенью. К вечеру, впрочем, ветер улегся; сквозь разорвавшиеся облака блеснули бледные розовые полосы заката. Но и серый колорит неба, и увядшие краски заката, и сухие, желтые листья, сметенные ветром на дорожки сада,— все это нагоняло на душу смутную печаль и тоску.

Именно такое настроение овладело Олесей. Она сидела одна у небольшого оконца чистой светлицы и задумчиво смотрела в свой сад. Батюшки и матушки не было дома, они поехали на храм к соседям; Олеся же отпросилась остаться под предлогом хворости. Уже вечерело, а праздничная тишина все еще покоилась над батюшкиным домом; старуха нянька и другие более почтенные слуги сладко почивали, а молодежь весело болтала у ворот. В доме было так тихо, что ясно слышалось, как жужжала у окна муха.

На коленях у Олеси лежала большая библия, но рука девушки неподвижно покоилась на раскрытых страницах, а глаза ее задумчиво глядели вдаль на светящиеся сквозь силуэты вишен и тополей розовые отблески неба.

Тоска сжимала ее сердце.

Много времени прошло уже с тех пор, как ей удалось переслать письмо Кармелюку, но он не откликнулся на него! Она знала, что Кармелюку удалось спастись, что он жил и действовал теперь на воле; она знала также, что и записочка ее должна была добраться до него, а потому, если он не откликался до сих пор, зна-

чит... значит, и не думал о ней! Этот неоспоримый вывод являлся сам собой.

Но как же, прежде он говорил с нею так ласково, так нежно?.. Э, что о том вспоминать! Ведь это было когда? А с тех пор сколько времени утекло! Ему ли, орлу, думать о бедной девушке, которую он повстречал два раза в жизни? Да, может, еще и записка ее не дошла до его рук, и он забыл даже, что она живет здесь, где-то далеко от него.

Все это взвешивала Олеся, и все это еще увеличивало тоску. Хотя бы увидать его хоть раз в жизни, хоть раз! Теперь в ее душе оставалось уже только одно это желание, и, поддаваясь ему, Олеся всеми способами старалась оставаться дома, все еще лелея почти бессознательно надежду, что Кармелюк когда-нибудь да заедет к ним.

В своей печальной задумчивости Олеся и не слыхала лошадиного топота и скрипа открывающихся ворот.

Она очнулась только тогда, когда дверь в сенцы, прилегающие к большой светлице, скрипнула и в комнату вбежала запыхавшаяся дивчына.

— Чего ты? Что сталось, Палажко? — обратилась к ней Олеся, изумленная этим неожиданным появлением и растерянным видом служанки.

— Ой панночко! — заговорила та, едва переводя дух.— Какой-то пан к нам приехал.

— Пан!? — Олеся сама испугалась этого известия. Родителей нет дома, что она будет делать с этим неизвестным паном? Как говорить с ним, чем угощать? Но к этому обыкновенному чувству застенчивого и робкого человека примешалось тут же и чувство мучительной, трепещущей надежды. Сердце девушки тревожно забилось.

— А что ж, ты сказала ему, что егомосци нет дома? — обратилась она к служанке.

— Сказала, сказала, а он только усмехнулся да и говорит: «Что ж, может, и панна не выгонит меня из хаты против ночи, дозволит переночевать?» А гарный же, гарный из себя! Ой ненько ж моя! — вскрикнула вдруг Палажка, обернувшись к окну.— Да вот он и сам идет сюда!

Олеся взглянула в окно, но увидела уже только высокую фигуру, мелькнувшую у входных дверей, и вслед

за этим в сенях раздался громкий возглас: «Слава богу!»

При звуке этого голоса Олеся вся вздрогнула, она хотела ответить по обычаю: «Вовеки слава», но слова замерли... Вскочивши с места, она сделала шаг вперед и остановилась. Что-то сдавило ее сердце и приковало ее к земле.

Между тем в сенях послышался шум снимаемой одежды, затем дверь распахнулась, и на пороге показался Кармелюк.

Олеся вспыхнула, все лицо ее просияло от радости.

— Святый боже!! —вскрикнула она, рванувшись вперед.— Пан...— она запнулась в смущении, боясь назвать фамилию Кармелюка.

— Давидович,— подсказал Кармелюк и отвесил ей почтительный поклон,— он самый. Дивчына сказала мне, что егомосци панотца нет дома, но, надеюсь, панна не откажет мне и моему коню в приеме на эту ночь.

— Господи боже мой! Пан еще спрашивает!..

— Ну так пойди-ка, дивчыно-красуне, да отдай кому-нибудь из хлопцев коня моего, чтоб выводили,— обратился он к Палажке, стоявшей у стены и с любопытством наблюдавшей необычную сцену.

Дивчына вышла.

Кармелюк подошел к Олесе и, взявши ее руку, поднес ее к своим губам.

— Спасибо тебе, панно любая, за то, что вспомнила обо мне,— произнес он с глубоким чувством.— Спасибо за ласку, за тревогу о бездольном гайдамаке.

И неожиданная радость, и ласка Кармелюка, и его прочувствованные слова — все это до того потрясло Олесю, что плечи ее судорожно задрожали, слезы брызнули из глаз, она вырвала свою руку из рук Кармелюка и закрыла лицо руками.

— Ты плачешь, панно? Дитя мое? —вскрикнул Кармелюк, осторожно дотрагиваясь до локтей девушки.— Скажи же, отчего, что сталось? Чем я обидел тебя?

— Нет, нет... ничего... я так... от неожиданности...— заговорила Олеся, судорожно переводя дыхание и отирая глаза.— Господи! Не думала... уже... не надеялась...— и вдруг, заметив, что она сказала что-то лишнее, Олеся густо покраснела и сразу замолчала.

Эта чистая, детская откровенность и видимое расположение девушки глубоко тронули Кармелюка.

— Дитя мое дорогое,— произнес он, нежно проводя рукою по загорелой, но маленькой ручке девушки,— да разве же я мог не приехать — поблагодарить тебя за заботу о том, кого день и ночь травят, как лютого зверя, паны? Некогда было вырваться. Все с смертью вперегонку бегаем! Лютует, курносая, что не может поймать. Вот и теперь приехал я сюда, потому что сердце измучилось и захотелось услышать хоть одно ласковое, тихое слово, да и то собака Янчевский чуть-чуть не задержал меня навсегда.

— Как так?

— А попросту. Нашелся среди моих орлят изменник, продал меня Янчевскому, ну тот и подкрался к моей пещере, когда я остался один с двумя-тремя товарищами. Пробовали взять приступом,— их там с полсотни было,— не смогли, так задумали задавить дымом!

И Кармелюк передал Олесе вкратце, как ему удалось обойти Янчевского и спастись со своими товарищами от неизбежной смерти...

— Эх и дорого бы я дал,— вскрикнул он в заключение,— чтобы посмотреть, как осатанел дьявол, когда увидел, что пташки снова вылетели из его рук. Да как вылетели!!

Но Олеся не разделяла удалого восторга атамана: лицо ее было бледно, углы губ нервно вздрагивали.

— Пан еще может смеяться,— прошептала она, не сводя с Кармелюка полных ужаса глаз,— да ведь это хуже смерти... Ой боже ж мой!

— А что же делать, панно? Подле такого дела ходим! Да и смерть не страшна тому, кто не раз ей в очи заглядывал. Э, да что мы стоим посреди светлицы, а панна и не просит меня садиться! — усмехнулся Кармелюк.

— Прошу пана простить меня! — спохватилась Олеся и, отодвинув от стола обитые домашними ковриками табуреты, пригласила Кармелюка сесть против себя.

Кармелюк опустился на скамейку.

— Да цур им, тем страхам! — воскликнул он.— Чего засмутилась, панночка,— продолжал он, ласково глядя на бледное личико девушки,— расскажи лучше, как

жила-поживала? Вправду сказать, думал, что уже нет тебя дома, что пошла замуж.

При этих словах Кармелюка Олеся покраснела, на глазах ее блеснули слезы.

— Я замуж не пойду! — ответила она отрывисто.

— Панна розгневалась? — изумился Кармелюк.

— Нет, за что! Но что говорить обо мне! Пусть лучше пан расскажет, где он был, что делал за это время! Господи, какие страшные слухи доходили...

— Где я был, что делал? —Кармелюк глубоко вздохнул: вопрос Олеси расшевелил в его воображении картины прошлого, и горькое чувство поднялось в груди.— Что я делал? — повторил он и подавил горький вздох.— А вот звонил кандалами с год, за шею железным ошейником к столбу приковывали. Потом отправляли в полк. Услыхал, что хотят плетьми запороть, пырнул себя ножом — да не взяло: вылежался. Посчастливилось уйти на волю. Ну, вот теперь и на воле, а ни воли, ни доли не видно! — Он вздохнул и поник головою на руку.—Была у меня семья, панно... Жинка умерла; остались теперь двое сыновей, пропадают, как дикие волчата, и не могу ничем им помочь!..

— Привези их к нам, я догляжу их! — произнесла Олеся с порывом чистого сострадания.

— Спасибо тебе, панно, за доброе желанье, да ведь они крепостные; заплатил бы я за них вдесятеро против панской цены, так ведь пан нарочито их не продаст! Э, да что о семье. Толкусь вот так без толку по свету, ищу кола покрепче, чтоб проткнуть свою голову.

— Зачем ты говоришь так? — вскрикнула горестно Олеся.— Неужели же ты оставил теперь все, к чему прежде стремился? Нет, нет, я не верю тебе! Ведь я знаю, я слышу, я вижу, что ты делаешь!

— Забыл? Нет, панно, я не забыл ничего! — ответил со вздохом Кармелюк.— Но боюсь, что пролью лишь много крови, распущу реки слез да и сам в них утоплюсь!

Кармелюк глубоко вздохнул и оглянулся кругом.

LV

На дворе еще было светло, но в хате уже заметно потемнело. В небольшие окна, уставленные горшками с цветами, проникало мало света; зеленоватый полусвет,

перемешавшийся с сиянием лампады, придавал еще больше уютности этой бедной светлице. Натертый олифою темный пол блестел; от одних дверей до других были протянуты по нем узенькие домашние кылымци. Такие же коврики покрывали и широкие липовые лавы со спинками, стоявшие под стенами, и жесткий деревянный диван. В правом углу был устроен большой деревянный киот, в котором помещались потемневшие образа, лежали священные книги и горела большая лампада; вышитые рушныки и венки украшали образа. Под образами стоял стол, покрытый грубою скатертью домашней работы; над диваном висела бандура, а над дверями — старинное изображение казака Мамая [64]. На оконцах светлицы лежали ряды краснощеких яблок; изза сволока, тянувшегося через весь потолок, торчали пучечки всевозможных сушеных трав. Пахло яблоками и кипарисом.

Все в этой светлице было просто, даже убого. Но вместе с тем во всем здесь чуялось столько покоя и незаметного счастья, что на душу всякого прибывшего сюда невольно слетал тихий мир, и хотелось отдохнуть здесь от бурных волн житейского моря, бившего прибоем где-то далеко от стен этого тихого жилища, забыть обо всем да и остаться здесь навсегда.

Тишина и мир этого скромного прибежища охватили сердце Кармелюка нежною волной, и горечь, поднявшаяся в нем, уступила место кроткой печали.

После многих лет скитаний по ярам, лесам и пещерам, после смертельного риска, нападений, битв и полных ужаса бегств,— эта тихая пристань, эта мирная жизнь показалась ему чем-то недостижимо прекрасным.

У Кармелюка были слава, деньги, сила...

А здесь? Здесь были только тишина и покой, теплый кров и уверенность в завтрашнем дне. И тут только скиталец почувствовал, что отсутствие этих ничтожных благ, которых мы и не замечаем в повседневной жизни, проводит глубокую и тяжелую борозду в жизни человека.

Но здесь, в этом мирном жилище, было что-то еще более ценное и дорогое. Здесь было счастье. Оно глядело из глаз этой чудной девушки и из каждого уголка этого осевшего от времени домишки.

А знал ли счастье Кармелюк?

В воображении Кармелюка, взбудораженном вопросом Олеси, встала вся его жизнь за последние годы: тюрьма... больница... бегство... ночные нападения... осады, облавы... Нет, счастья он давно уже не знал. Пылкая любовь Ульяны? Это было не то! В этом страстном увлечении не было того, что дает сердцу мир и полноту. И с нею он был так же одинок, как с поплечниками-друзьями. Эх, остаться бы здесь, подле этой чудной девушки, забыть обо всем, отдохнуть. Но нет, нет, что может быть общего между ним и этим ребенком?.. Ее жизнь — гармония, мир и любовь, а его жизнь — лесная пещера, да острый нож, да темная ночь, да буря людская. Кармелюк глубоко вздохнул.

— Так, панно, тяжко!— проговорил он, словно продолжая свою мысль.— Но кто уже вышел на этот путь, должен идти по нем твердо и смело, хотя бы его сердце разорвалось на клочья в груди! Он должен взять все на свои плечи и сам за все дать ответ.

Олеся вспыхнула, рванулась было к гостю и тут же смущенно потупилась; ей хотелось крикнуть ему, что она рада была бы броситься за ним в огонь и в воду, что она счастлива была бы, если бы могла разделить полноту его жизни, но девичья робость удержала ее.

— Тяжко, пане, слабому, ни на что не годному! — произнесла она тихо.— А лыцарю не должно быть тяжко...

— Спасибо, панно, на добром слове! — произнес с чувством Кармелюк.— Эх, когда бы все так думали, как ты, легче было бы дышать! —Кармелюк тряхнул головой, встал с места, подошел к стене и снял бандуру.

— Пан играет? — изумилась Олеся.

— Люблю. Играл когда-то хорошо, а теперь все недосуг.

Кармелюк возвратился на место, осторожно сдул пыль с бандуры и дотронулся пальцами до струн.

Раздался тихий, нежный звон. Он прозвучал как-то странно, одиноко в тишине, охватившей собеседников...

Но вот опытная рука пробежала по струнам, и полились звуки, печальные и глубокие, и слились с зеленоватым сумерком светлицы, наполнив ее тишину.

Кармелюк опустил голову; взволнованная душа его искала выхода. Он запел тихо и задумчиво одну из своих

дум, которые разнеслись далеко по Подолии и Волыни, наполняя сердца слушателей глубокою тоской:

Зо́вуть мене розбійником [65],
Кажуть — розбиваю.
Ще ж нікого не забив я,
Бо сам душу маю!

Олеся вздрогнула и невольно подвинулась. Это пела сама душа разбойника, одинокая и печальная; она выливала свои сокровенные думы и нерозваженные печали.

Кармелюк пел о тяжести своей жизни, об одиночестве и не понимаемых друзьями стремлениях, он пел о том, что рвет его душу и не дает ему покоя,— о горькой доле бедняков.

Вбогі люди, темні люди [66],
Скрізь вас, бідні, бачу,
Як згадаю вашу муку,
То тяжко заплачу!

Окончил Кармелюк и склонился над бандурой.

Звуки замерли и поплыли в утонувшие в сумерках углы светлицы. Еще мгновенье они, казалось, трепетали там. Но вот угасли и эти звуки. Встревоженная тишина снова сдвинулась в покое. Слышно было только, как шептал под окнами ветер в густой листве дерев.

Кармелюк молчал. Молчала и Олеся, не спуская глаз с поникшей головы атамана. Две слезы выпали у нее из глаз и скатились на грудь. Все сердце ее вздрагивало от бесконечного сострадания к Кармелюку, такому одинокому и несчастному. Но она боялась нарушить единым словом воцарившуюся тишину...

— Э, что ж это я?! Своей песней засмутил тебя совсем! — очнулся Кармелюк и, встряхнув головой, отложил в сторону бандуру.— Цур ему, этому смутку!

— Когда бы я могла хоть чем-нибудь помочь тебе, пане! — произнесла тихо Олеся.— Хоть чем-нибудь! Но что я могу, бедная, глупая дивчына?

— Ты что можешь? Ты можешь душу мою успокоить и воскресить в ней бодрость и веру! — Кармелюк взял руку Олеси.— Дозволь мне только приезжать к тебе иногда, чтобы услышать твое щырое, правдивое слово.

— Господи! — вскрикнула Олеся, просияв от сча-

стья.— Да я буду ждать пана, буду выглядать его день и ночь!

Рука атамана, державшая руку девушки, слегка вздрогнула, но он подавил поднявшееся в груди волнение и поднес руку девушки к губам.

— Спасибо, дивчыно любая, за ласку к старому гайдамаку, но как примет меня твой панотец? Не выгонит ли он меня?

— Никогда! — воскликнула горячо Олеся.— Как мог пан подумать это? Батюшка чтит пана как единственного нашего защитника!

— Спасибо и честному отцу,— Кармелюк наклонил голову,— но чтить одно, а принимать разбойника под своею кровлей — другое. Ну что, как Янчевский дознается, где я, да и бросится со всеми своими холопами сюда?

— Мы защитим тебя, спрячем, не выдадим.

— Я-то и сам с ним померяюсь, а что сделает он с вами?

— Больше смерти не сделает ничего. А если ты сам принимаешь неслыханные муки, неужели же ты думаешь, что мы не сможем умереть за тебя?

При этих словах девичья застенчивость слетела с лица Олеси; панна вспыхнула вся и взглянула на Кармелюка горящими восторгом и воодушевленными глазами.

Сердце Кармелюка вздрогнуло.

— Панно, ангел мой небесный, не стою я такой ласки! — вздохнул он невольно.

— Ты не стоишь? Разве не ты оставил все — семью, дом свой — и бросился на смертный путь лишь для того, чтобы спасти нас и наших людей от поляков?.. И нам не чтить тебя? И нам не молиться за тебя и день и ночь? И нам жалеть отдать за тебя свою жизнь?!

Эта горячая тирада была такою полной противоположностью тому, о чем твердила так назойливо и ежедневно Ульяна, что в воображении Кармелюка невольно встал образ пламенной красавицы, и вся она со своими огненными ласками, зверскою отвагой и узкими интересами при сравнении с этою чистою девушкой, одушевленной высокими замыслами, показалась ему особенно неприятной и постылой...

В это время во дворе послышался скрип отворяемых ворот и грохот въезжающей брички.

— Панотец с паниматкой!— заявила Олеся и, вскочивши с места, выбежала в сени.

Кармелюк встал и прошелся в волнении по комнате. Он сам не хотел себе дать отчета в том волнении, которое охватило его.

Ехал он сюда измученный, мрачный, озлобленный, а теперь сердце его усиленно билось; непонятная легкость чувствовалась во всем теле; пережитые муки и сомнения уносились куда-то далеко, а душа словно росла в груди, распускала крылья, и все казалось возможным, достижимым и близким. Хотелось снова и жить, и бороться, и слушать речи этой прекрасной девушки, вливающие силу и бодрость в его утомленную душу.

Двери сеней отворились, послышались шаги входящих людей. Через минуту появился в светлице отец Михаил, одетый в свою лучшую зеленую рясу, за ним огромный попович Хоздодат, разодетый со всей пестротой, доступной его воображению, за ними уже вошла Олеся.

Кармелюк поклонился издали батюшке и подошел под благословенье.

— Вечер добрый, панотче,— произнес он, склоняя голову,— может, егомосць и не ожидал встретить у себя такого гостя?

— Что не ожидал, то не ожидал,— сие верно,— ответил отец Михаил, благословляя склонившегося над его рукой атамана.— А что рад от души случаю, заведшему тебя сюда, то сие тоже паки и паки верно. Дай же обнять и облобызать тебя!

И отец Михаил заключил Кармелюка в свои могучие объятья.

— Спасибо, панотче, за ласковое слово,— ответил он, тронутый сердечным приемом священника.

Хоздодат уже давно показывал шумным вдыханием воздуха и оттопыриванием губ какое-то явное нетерпение и, поспешив воспользоваться паузой, раскатисто откашлялся.

— Дозволь и мне, доблестный вождь,—начал он торжественно, выдвигаясь из-за спины отца Михаила,— приветствовать тебя, аки Саула, филистимлян сразив-

шего, аки Фемистоклюса, погнавшего полчища персиян!..[67]

Здесь Хоздодат слегка запнулся: запас его исторических познаний истощился. Кармелюк между тем с изумлением смотрел на огромную фигуру, рокотавшую перед ним. Хотя в сумерках трудно было сразу разглядеть черты лица, но физиономия поповича, окруженная целой копной черных курчавых волос, показалась ему знакомой.

— Сосед, сын отца Семена, из Кальной Деражни,— пояснил отец Михаил,— человек певный и, как говаривали в старину, веры годный.

— Хвилозоп, Хоздодат Дерлянский,— отрекомендовался попович и громко пристукнул каблуком.

— А, пан философ! — воскликнул с веселою усмешкой Кармелюк.— Теперь-то я вспомнил тебя: ведь ты был у нас в лесу?

— Воистину так. Аки Даниил, был ввержен в львиный ров, но милостью твоею, преславный атамане, извержен на радость родителей честных, аки Иона из чрева китова[68].

— Ха-ха-ха! Да и загинаешь же ты, пане хвилозопе, по-ученому.

— Премудрость! — возгласил Хоздодат и даже поднял перст горе.

— Одначе, пане хвилозопе, что-то долгонько ты премудрость свою одолеваешь... Думаю, и прискучило,— усмехнулся Кармелюк.

— Терплю, происков вражеских ради! — Хоздодат шумно вздохнул.— Но ничего же,— продолжал он наставительно,— толците — и отверзнется вам. Корни учения горьки, да плоды его сладки.

— Так-то оно так,— заметил с добродушной усмешкой отец Михаил,— но плохо, коли плоды сии созревают лишь к тому времени, когда долженствующий вкушать их и зубы потеряет.

— Мню сам сие,— согласился Хоздодат,— но что поделаю с родителями, когда жаждет старец узреть меня в рясе? Но вопрошаю вас, людие, что ряса? Vanitas vanitatum et omnia vanitas *. Не в рубище ли ходили отцы церкви, не наг ли обретался хвилозоп Демосфен,

---

* Суєта суєт і всіляка суєта (*лат.*).

но и великие царие мира, приходящие к нему поучатися мудрости бытия?

— Ха-ха-ха! Вот куда загнул хвилозоп! Одначе вижу, что язык у тебя недаром во рту привешен,— рассмеялся Кармелюк и дружественно ударил по плечу упитанного стоика,— но, если мне не изменяет память, философ сей в бочке жил и питался лишь хлебом и водою, а ты, мосцьпане, и выпить, и закусить мастер.

— Воистину! — заявил окончательно оживившийся Хоздодат.— Но разве сие мешает добродетели и премудрости? Сказано мудрецам: «Ничто естественное не постыдно!» — процитировал по-латыни попович,— и поелику глад и жажда естественные потребы плоти нашей суть, то паки реку вам, отцы и братие, что все сие, яко яствие и питие и прочая, в благовремении совершаемая, во славу создателя плоти нашей служит.

Не только Кармелюк, но и отец Михаил не мог удержаться от громкого смеха при этом неожиданном выводе Хоздодата.

— Да ну тебя! — воскликнул отец Михаил и слегка ткнул философа в затылок.— Его, пане, не переговоришь! А прошу-ка до столу. Принять во благовремении, что бог послал. А вот и помощь!

В комнату вошла Палажка с двумя зажженными сальными свечами, а за ней матушка Меланья с полной миской пирогов.

— Прошу покорно, чем бог послал, чем бог послал,— заговорила она, кланяясь еще с порога.— Олеся, бежи, голубко, бери у бабы, что еще там есть.

Олеся с восторгом бросилась исполнять поручение матери. Вскоре на столе появились и пироги, и верызуб, и тарань, и икра, привозимая чумаками с Дону, и мед в сотах, и водки да наливки. Матушка и Олеся почти не приседали, то поднося гостям, то убирая тарелки.

— Получайте, получайте, гости дорогие! — повторяла матушка, кланяясь и поминутно извиняясь за свое неуменье да нераденье и убожество. Отец Михаил помогал угощать дорогого гостя, а философ Хоздодат важно поддерживал компанию. Беседа тотчас же коснулась Кармелюка. Атаман рассказал собеседникам о своей последней встрече с Янчевским. И матушка, и отец Михаил, а в особенности Хоздодат прерывали несколько раз его рассказ громкими восклицаниями; Олеся,

стоявшая в глубине комнаты в тени, только украдкой утирала набегавшие на глаза слезы.

Все оживились и приободрились; даже тихая матушка Меланья время от времени вставляла в беседу и свое слово. Только Олеся молчала.

Далеко уже за полночь разошлись гости и хозяева на покой.

LVI

Кармелюк долго не мог уснуть; помещенный рядом с ним Хоздодат тотчас же захрапел, но Кармелюк, несмотря на свою сильную физическую усталость, никак не в силах был забыться. Лишь только он смыкал глаза, перед ним выплывало из тьмы милое бледное личико, обрамленное пышными светло-русыми волосами, а над ухом слышался ее голос и лилась речь девушки — простая, задушевная, полная бодрости и любви...

Рано утром, едва только на краю востока показалось бледное розовое сияние, а в воздухе почувствовался острый холодок, Кармелюк встал, оделся, вышел неслышно из хаты и вывел из конюшни своего коня. Кругом все еще спали, даже батраки и пастухи не подымались. Ночные тени еще лежали на западе. Кармелюк оседлал коня, взглянул на мирное жилище батюшки, еще прикрытое сумраком рассвета, на маленькое оконце Олесиной светлицы... и задумался... Несколько мгновений стоял он так в печальной задумчивости, опершись о седло рукой... Затем глубокий вздох вырвался из груди атамана, он решительно махнул рукой, вскочил на коня и быстро поскакал к темнеющему вдали лесу для новых битв, для новых мук, для новых побед...

Возвратимся к Янчевскому, оставленному нами при зловещей пещере. Не чувствуя даже боли в ноге от столь сильных и бурных ощущений, Демосфен то и дело покрикивал на слуг, чтоб подбрасывали в костер побольше зловонного материала да придвинули самый костер к отверстию пещеры.

Теперь это было почти безопасно, так как выстрелы и всякие враждебные окрики заключенных давно пре-

кратились,— очевидно, у них вышли заряды, да и дым уже должен был задушить энергию и силу врага.

Кривой, теперь только появившийся среди осаждающих, особенно старался выслужиться перед вельможным паном: он собирал и навоз, и шкуры овечьи, развешанные недалеко от пещеры, и бросал все в огонь, а потом прикладывал ухо к трещинам в скале и ловил долетавшие оттуда слабые звуки.

— А что, тихо уже? Подохли? — спрашивал нетерпеливо Янчевский.

— Не совсем, пане,— отвечал кривой,— слышится, словно сопят либо храпят... да вот как будто шорох идет: видно, корчатся и вздыхают.

— У, падло! — шипел Янчевский, хватаясь иногда за ногу.— Хоть бы одного этого дьявола оживить... Задал бы я ему таких мук, что и небо б ему показалось с овчинку... Может быть, можно уже добивать гадюк?

— Зараз, пане! Я только подсыплю еще немного серы в костер... У меня, на счастье, два здоровых куска оказалось в кармане...

— Досконале! У тебя кавун (арбуз) не порожний! Пускай понюхают и этого курева! Расчихаются!

— Ха-ха! Именно! — засмеялся стоявший по другой стороне костра молодой Пигловский.

— Только мне кажется это лишним,— продолжал Алоиз Пигловский,— дым уже повалил из пещеры; очевидно, все закоулки ее наполнились до избытка вонным кадилом, так что прибавлять аромата не нужно... И если пан желает поскорее вытащить злодеев, чтоб примерно наказать их, то нужно избежать серы,—она никого не допустит в пещеру.

— Резон... Маешь, пане, рацию (справедливо)! Так серы не нужно! Прислушайся лучше, не притихло ль в этом чертовом гнезде?

Кривой приложил ухо к камню, потом просунулся по плечи в самое отверстие пещеры и вместо ответа долго, к общему удовольствию, отчихивался, вертел головой и протирал глаза; наконец, откашливаясь, доложил пану Янчевскому, что в пещере тихо, как в гробу.

— Долой костер! Разбрасывай! — скомандовал Янчевский и, красный, как бурак, от наносимого на него ветром жару и от внутреннего волнения, поднялся на

ноги, чтоб насладиться видом задушенного, закуренного врага.

Костер был живо разбросан, но проникнуть в пещеру оказалось невозможным: едкий дым заполнял всю ее внутренность, кружился медленно тяжелыми клубами и выползал широкою пеленой наружу.

Шляхта и слуги, несмотря на грозное приказание своего вождя, попытавшись окунуться в густую массу удушливого смрада, выскакивали оттуда обратно и не решались уже повторить опыт; сам Янчевский, бросившийся для примера в пещеру, не выдержал там и минуты и долго потом откашливался и отплевывался, хватаясь судорожно руками за грудь. Очевидно, нужно было подождать, пока выйдет из пещеры дым, а дым в ней теперь стоял неподвижно, так как не было тяги. Приходилось отказаться от желания отходить придушенного дымом врага.

Это бесило Янчевского; он осмотрел со всех сторон пещеру. чтобы пробить где-либо отверстие для выхода дыма, но кругом лежала скала и не замечалось никакой щели, так как нигде не было видно ни единой прорывающейся струйки... Янчевский в ярости готов был взорвать скалу порохом, но не было для этого приспособлений... Время между тем шло; верхушки деревьев горели под лучами уже взошедшего солнца; разбросанные головни горели и дымились вокруг пещеры, бросая на ее темное отверстие мигающие огоньки, но теперь, при свете дня, они уже не имели такого зловещего вида. Мрачный, как бурная ночь, Янчевский сидел на ближайшем камне, облокотив на приподнятые руки свою голову; остальная дружина его в живописном беспорядке лежала вокруг пещеры и ждала чуть ли не появления оттуда необычайного чудища... В лесу стояла жуткая тишина; дым не только не выползал из пещеры, но и не расходился даже в овраге, а висел над ним застывшими волнами, слегка окрашенными отблеском разгоревшейся зари.

Угрюмое молчание нарушил наконец Алоиз.

— А приглядись, пане,— обратился он к Янчевскому,— кажется, потянуло в пещеру дым.

Янчевский встрепенулся и уставился глазами в пещеру; действительно, стлавшийся вокруг нее дым пополз тонкими струйками внутрь, и это движение с каж-

дою минутой становилось заметнее; словно бы открылся где-то в таинственной глубине шлюз и потянул к себе весь дым, не только находившийся в пещере, но и сновавший по окрестности...

— Сто дяблов! — воскликнул изумленный Янчевский.— Где-то открылось отверстие и образовало страшную тягу...

— Вероятно, обвалилась земля или упал камень, но это живо прочистит пещеру,— заметил молодой Пигловский.

Все с любопытством подняли головы.

— Странно... необычайно...— качал раздумчиво головой Янчевский, следя зорко за дымом, а струйки его сливались в поток и потянулись наконец широкою сизою рекой...

— Гм! Живо прочистит! — передразнил злобно Янчевский.— Да стопакостные ведьмы, что засели в этом чертовом гнезде, будут тянуть дым со всего леса до света!

В то время среди клубов дыма, словно среди облаков, появилась на краю обрыва внезапно Розалия. Грудь ее от быстрой ходьбы волнисто вздымалась, лицо пылало, глаза сверкали каким-то жизнерадостным светлым огнем.

— Откуда, пани? С неба? — изумился Янчевский, залюбовавшись стройною фигурой красавицы. Настроение его сразу изменилось.

— Быть может,— улыбнулась она загадочно,— но попала, наверное, в пекло. Фу! Тут такой смрад и чад, что у меня голова закружилась.

— Сюда, коханая пани, ко мне,— пригласил ее восторженно пан Янчевский.— Богине ведь пекло не страшно.

— Я проведу, если позволит вельможная пани,— вскочил Алоиз и бросился к Розалии.

— Но откуда, до правды, волшебница к нам спустилась? —хотел было элегантно подняться к пани маршалковой и Янчевский, но раненая нога заставила его слегка вскрикнуть и опуститься на ближайший камень.

— Благодарю!— кивнула грациозно Алоизу Розалия и, отмахиваясь платком от дыма, продолжала: — Особенного со мной ничего не случилось, но мне надоело сидеть в карете одной у разгромленной корчмы, уже

тем более, что наступил рассвет. Кто-то из панских слуг сообщил, что наш славный герой накрыл злодеев в пещере и не замедлит со связанными дьяволами явиться ко мне. Прождала я еще немного, но победитель с побежденными не являлся. Становилось и скучно, и жутко... Мне надоело ждать, и я велела кучеру ехать к пещере. Дороги он не знал, сбился и стал колесить под лесом; наконец, к счастью, навстречу нам попался ваш шляхтич; он сказал мне, что дело плохо, что из пещеры стреляют. Мы поехали с ним назад к пустой корчме, но там слуга какой-то сказал мне, что злодей уже схвачен, и я вернулась; здесь меня встретил пан Ружинский и провел и указал дорогу. Карета осталась за оврагом, а я по оврагу да по этому смрадному дыму пробралась сюда... Ну что же, поймали?

— Сейчас вытащим всех их, как осмоленных и прокопченных вепрей, моя пани кохана! — ответил победоносно Янчевский.

— Ай! Что же это значит? — вскрикнула протяжно Розалия и закрыла рукою, словно от ужаса, глаза.

— А то, пани, что Кармелюк со своим чертовым штабом зажарен мною живьем в этой западне, но ветчину из его падла я развезу в назидание быдлу по селам.

— Фи! — вздрогнула от чувства гадливости пани и укоризненно обратилась к Янчевскому: —Неужели же пан не нашел более рыцарского способа бороться с врагом? Ведь это зверство!

— С зверем и нужно бороться по-зверски! Эти псы кусаются больно: вот сколько жертв,— указал он на трупы,— да и мне прихватил, шельма, ногу... Не стоит, пся крев, столько жизней... Ну и я задушил гадов куревом...

— Посмотрим на трофеи рыцарского подвига,— заметила свысока и с оттенком презрения Розалия и, отошедши в сторону, опустилась на плоский, с закругленными ребрами камень.

Какое-то трепетное, полное чарующей неги чувство охватило ее и погрузило в сладкое раздумье; ощущение, пережитое ею при встрече с Кармелюком, горело еще в сердце, лучилось в темных глазах и наполняло душу новым, раздражительно жгучим волнением,— она бы сказала даже — счастьем, если бы могла разобраться в своем настроении. Прежний эпизод с графом Кармелю-

ком оставил в ее груди и горький след обиды, и наркоз упоительного забвения; этот след не умалился с течением времени, ослабевало лишь чувство обиды, а яд наслаждения, напротив, рисовал подчас неотразимые образы утерянного блаженства.

Розалия чувствовала, что не могла отделаться от воспоминаний, которые отвращали ее и от никчемного мужа, и от назойливого Янчевского, но она приписывала все это капризу молодой прихоти, а не глубокому чувству. Теперь же, увидавшись снова с Кармелюком, она пережила такое глубокое впечатление, которого и не подозревала в тайниках своей маловпечатлительной души. Она была счастлива, что спасла его от ужасной опасности, и теперь только понимала, как его жизнь была для нее дорога...

Но отчего же он был так холоден с ней? Кроме глубокого почтения и раскаяния за прежний грубый поступок, она никаких душевных движений в нем не заметила... Или чувства благодарности сдерживали его порывы, или их не имелось в его сердце и там... тогда кипел лишь избыток молодых сил, а не чувства? — Розалия вздрогнула, почувствовав снова горечь обиды...— Но нет, нет! Там не было притворства. Там била ключом любовь, и разве она, коханка в полном расцвете красоты, не могла возбудить ее? Или время так изменило ее, или завяли так ее прелести? Нет, не то!

И теперь все готовы пожертвовать жизнью за ее ласки... а он? Он, вероятно, любит другую... да, любит другую, простую бабу... с ним она неотлучно находится, она была с ним на облаве; пан Ружинский говорил, что ее видели и здесь, рядом с ним, в пещере. Должно быть, Кармелюк потом уже отделился от нее и вышел тайком на опушку.

— Да, баба! И эта ничтожная тварь стоит теперь на дороге и отбивает моего героя! — вырвалось почти вслух у Розалии, и она почувствовала, что яд ревности вскипятил ее кровь и палящим огнем [ожег] ее грудь.

— Что же, лайдаки! — крикнул наконец не могший ждать дальше Янчевский.— Отчего не лезете в эту яму? Дыма не переждете, да он потянулся уже более легкий.

Все замялись. Кроме дыма, пугала еще всякого неизвестность: передушены ли душегубы, или притаились,

быть может, в каком-либо закоулке, прикрыв его камнем?

— Зараз, вельможный пане! — ответил кривой после долгой паузы.— Я вот брошу в пещеру несколько головней и освещу ее, чтобы знать, куда лезть.

Брошены были две головни и осветили мутным, красноватым светом полосы тянувшегося через пещеру дыма. Кривой, Алоиз и еще один из дворовых Янчевского с крайнею осторожностью подползли к краям пещеры и стали украдкой заглядывать внутрь. При разгоравшемся свете дня, смешавшемся с красноватым пламенем головешек, пристальный взгляд мог уловить сквозь волновавшийся кровавый туман слабые очертания сводов и ближайшие углубления и выступы скал, но глубина пещеры чернела и зияла каким-то адом. На всем освещенном пространстве не было видно ни одного трупа.

— Что же вы, черти, мнетесь у входа, а всередину никто не лезет?! — прикрикнул Янчевский.— Трусы!

— Надеюсь, что панские слова не ко мне относятся! — обиделся Алоиз и, гордо выпрямившись, стал прямо против пещеры.

— Боронь боже, пане! Я крикнул на своих лотров (негодяев).

— Дайте мне факел! — обратился Алоиз к кривому.— Я один пойду осмотреть пещеру!..

— Нет, не один, а с паном отправлюсь и я,— отозвался Янчевский.— А потом уже посмотрю, кто не пойдет с нами.

Слова Янчевского заставили вздрогнуть его дворовых и посторонних крестьян; даже молодые шляхтичи поневоле должны были принудить себя побороть страх и двинуться за Янчевским.

Кривой с двумя дворовыми, держа высоко над головой факелы, вошли первыми в пещеру и осветили ее. Обширное помещение с неправильным сводом из нависших каменных глыб и с темневшими за выступом скалы закоулками не имело другого выхода и было совершенно пусто; по оставшейся утвари, одежде и оружию можно было предполагать, что здесь жило душ семь-восемь, но в настоящее время пещера была пуста...

Янчевский велел принести больше факелов; осмотрели в пещере все до последней впадины и никого не нашли: ни задохшегося, ни убитого, ни даже кровавого пят-

на: очевидно, пули, направленные в пещеру, никого не ранили, врылись в землю или расплющились о гранит.

— Да куда же эти бестии делись? Провалились в тартарары, что ли? — вскипел Янчевский.— Ищите, или всех перевешаю! — ревел он, впадая в бешенство и остервенение.

Все бросились снова обшаривать пещеру и внутри, и снаружи— и так же напрасно: ни разбойников, ни следов бегства не находилось.

— Подайте-ка сюда факел,—отозвался наконец Алоиз, наблюдавший за течением дыма,— там, в глубине этого коридора, должно быть отверстие... Туда идет дым... Там тяга. За мною!

Подняли факел. Алоиз бросился вперед, за ним последовали остальные и Янчевский, сильно опиравшийся на руку кривого.

Расстояние, которое с таким трудом прошли беглецы в клубах дыма, было пройдено теперь преследователями безо всякого затруднения в пять минут.

Уже издали Алоиз заметил дневной свет, прорывавшийся в расширенный Кармелюком заброшенный выход.

— Вот куда они и удрали! — крикнул Алоиз.

— Где? Что?.. Куда?! — потянулся за Алоизом Янчевский.— Проклятье! Бестии! Ловить их! Гей! Лезьте в эту дыру... Разослать кругом верховых!..

Но шляхтичи и дворовые молча попятились. Никто не решался лезть в какую-то щель, где и повернуться нельзя было и где даже ребенок мог пырнуть ножом и убить наповал.

— Лезьте, дяблы! Повторять вам, что ли? — бесновался, не помня себя, Янчевский.

— В эту мышеловку хлоп не пролезет. Попробовал бы пан сам. Кричать-то горазд! — послышался сдержанный ропот.

Поднявшийся в пещере шум привлек внимание и Розалии. Она быстро вошла туда и, пробравшись без всякого страха по земляному коридору, вскоре добралась до сбившихся подле тайного выхода.

— Так никого и не нашли? И вновь они и из этого каменного гроба удрали! — вскрикнула она с притворным изумлением.— Ха-ха! До правды, не везет пану Янчевскому... Кажется, фортуна совсем повернулась к нему спиной...

— Пани смеется, и смеется колко, жестоко,— процедил сквозь зубы Янчевский, не могший скрыть и перед обольстительною Розалией своего бешенства.

LVII

— Но что я один могу сделать, когда нет у меня достойных помощников? Я не говорю о быдле, о наемном мещанстве: оно всегда было трусливо, коварно, продажно! Плебеи были и будут презренными париями благородных граждан; этим низким тварям доступны лишь животные ощущения: голод, боль, опьянение, дикая похоть; высоких стремлений души они не ведают, да к ним и не способны... Они погубили благодетельный Рим, кормивший их хлебом, тешивший зрелищами, они привлекли легионы варваров в вечный город и предали праху его величие... О бестии! О презренное быдло! Что ж удивительного, что и наши гадюки не только не послушны моим велениям, но сочувствуют еще этому шельме-разбойнику, этому исчадию ада!.. Да что о подлых тварях и толковать!

Забыв, что он и окружающие его стоят в узкой пещере, пропитанной еще запахом дыма, Янчевский дал волю своему красноречию.

— Меня поражает наша молодежь — это наследие славного рыцарства. Где ее бывшая отвага, где ее беззаветная удаль, где ее разящая храбрость, где ее доблесть, где ее всесокрушавшая сила, приводившая и мощного врага в трепет? Где она, где? O dei immortalles! * — Янчевский потряс патетически руками и обвел всех налившимися кровью глазами.— Простой хлоп, гультяй с бандой оборванцев может так устрашать наших благородных героев, что они, поджидая чуть ли не тысячного подкрепления, дают время разбойникам уйти из землянки в лесу, а здесь вот дают возможность дьяволам спрятаться где-нибудь возле этой дыры и боятся... да, боятся туда лезть добыть лотров. Что же я один могу сделать? O tempora, o mores! ** — закончил трагически Демосфен и закрыл руками пылающее гневом лицо.

---

* О безсмертні боги! *(Лат.)*
** О часи, о звичаї! *(Лат.)*

— Отчего же сам пан не покажет примера? — улыбнулась язвительно Розалия.

— Да я не могу... И ранен... И тучен! — вскрикнул с воплем Янчевский.

— Напрасно пан обобщает свои обвинения,— отозвался Алоиз, и в его голосе задрожала струна оскорбленного чувства.— Не знаю, с какой молодежью пан имел дело, но не вся она низка и труслива, да и шляхетная кровь у нее не иссякла... Я лезу, хотя бы один, в эту дыру для исследований... Гайдук, подставляй спину!

— Браво! Виват! — ударила в ладоши Розалия.

— Пшепрашам! От чистого сердца! — протянул руку и Янчевский.

— Но воздержись, благородный юноша, не испытуй напрасно судьбы! — остановила Пигловского Розалия красивым жестом руки.— Разбойников в этой щели уже нет: их и след простыл!

— Почему? — воскликнул Янчевский.

— Да потому, что, во-первых, сквозь это отверстие видно прекрасное небо, во-вторых, в него и сейчас еще тянет дым, значит, оно никем и ничем не загромождено, не закрыто, в-третьих, раз выбрались отсюда негодяи, очевидно, они не остались подле ямы поджидать вашего визита, а разбежались немедленно по лесу. Вот когда лезли по нему люди, дыму некуда было проходить, и он валил из пещеры, а как только она опросталась, так и открылась тяга. Ведь пану Янчевскому подобное положение понятно,— намекнула едко Розалия на пребывание своего поклонника в камине.

— Сто перунов! — заскрежетал зубами Янчевский.— О, подайте мне эту песью кровь! Добудьте мне этого выродка! Все отдам за его шкуру! Когда же мне пекло даст его в руки!

— Его может дать в руки пану не пекло, а я! — произнесла гордо Розалия и застыла в величественной позе.

— Пани? Моя кохана пани! Моя царица поможет мне, ее вечному рабу? — оцепенел от восторга Янчевский.

— Да, я, и без моей помощи храброму пану не удастся изловить збойцы. Наш славный сподвижник употребляет для поимки врага совсем неподходящие силы, сам же признает эти силы коварными, продажными, со-

чувствующими разбойникам,— и сам на них опирается. Во всем мире правит вашим братом женщина,— улыбнулась высокомерно Розалия,— и у этого исчадия ада, как выражается пан, есть возлюбленная, у которой изверг лежит под пятою, и нужно сказать, что эта женщина должна быть хитра и умна, как тридцать тысяч ораторов: она вас провела в лесу, она и здесь спасла своего дружка от коптильни... Так не Кармелюка нужно искать, а его подругу: простую же хлопку, лишь бы только попалась, можно и запугать, и подкупить... и новая Далила охотно выдаст своего Самсона [69]. А найти бабу я помогу, я! — подчеркнула она уверенно и властно.

— Моя богиня! — воскликнул в порыве восторга Янчевский.— Будь нашей повелительницей и упованием нашим! К ножкам твоим кладу всю мою власть и все мои дружинные силы! — И он торжественно припал перед красавицею на колени и протянул к ней свою дамасскую саблю.

— Мне очень прискорбно,— говорил в своем кабинете молодому Рудковскому, письмоводителю судной комиссии, литинский судья — член той же комиссии,— но я должен передать пану, что презус наш весьма недоволен... гм... да... весьма недоволен егомосцью за ослушание и неточное исполнение его воли...— Судья пыхтел, багровел и искрил своей трубкой.— Конечно, быть может, все это дело уладится... Мы все за пана... мы тоже поддержим... Но, понимаете ли, пока пану нужно оставить свою должность... чтоб не раздражать нашего громовержца, Перуна...

Рудковский с презрительною небрежностью слушал тираду судьи, подкручивая вверх свои усики.

— И отлично,— произнес он сквозь зубы и прищурил глаза, хотя побледневшее его лицо изобличало внутреннее раздражение,— мне доставит большое удовольствие не встречаться с этим напыщенным фанфароном*, с этим пресловутым оборонцем ойчизны... И кто ему вручил жезл маршалка? Раз удалось взять обманом пьяного Кармелюка, так он уже вообразил себя Наполеоном. Сам наделал глупостей, а на других сворачи-

* Хвальком *(франц.)*.

вает свои ошибки... Почему он на облаве не являлся сразу к скале? А?! Ждал подкреплений... храбрый рыцарь! Ну, мимо его носа и прошмыгнули разбойники... А я... я должен был двинуться вглубь, коли проводник указал гнездо гайдамаков, не стоять же мне было истуканом, как стоял со своей командой этот пустослов, этот хвастун, этот...

— Да не волнуйся, пане,— попробовал успокоить своего гостя судья,— все перемелется... мука будет...

— Не люблю фанфаронства!.. Да вот сейчас ваш Демосфен уже один действовал; я не мешал... и что же? Поймал злодеев? А? Поймал? Кукиш с маслом поймал... пшепрашам вельможного пана... Обошел с сотнею команды разбойников — бабу, дида и еще какого-то щенка в пещере... из которой и выходу не было... и пся крев ушла... проскользнула у них между рук! Ха-ха! Ловкие охотники!

— Так, так... до правды,— согласился судья, закрывая себя целыми клубами сизого дыма,— опять неудача!

— И будет с десяток таких неудач, пока разбойник не поймает самого презуса и не наденет ему кардинальской шапочки из его же, презуса, шкуры...

— Но, пане... Нельзя же такое желать своему начальству...

— Пшепрашам пана... Но я слишком возмущен... Да! И удивляюсь одному: почему вручили власть в руки Янчевскому, исключительно в его руки?.. Вы еще добудетесь не такого лыха через этого героя!

— Бронь боже! — отшатнулся на кресле судья.

В это мгновенье раздались в соседнем покое звонкие молодые голоса, и компания, состоявшая из трех лиц — жены судьи, шаловливой Агаты, пани маршалковой Розалии и Алоиза Пигловского, приехавших в гости к судье,— игриво ворвалась в кабинет, внося с собой струю жизнерадостного веселья. С Рудковским и хозяйка, и гости раньше уже виделись и, очевидно, только что о нем говорили.

— Пане коханый! — обратилась к судье Розалия.— Мне говорила Агата, будто комиссия отказывает пану Владиславу?

— Вельможная пани... не то чтобы... а тут вышло недоразумение,— смутился судья.

— Это гадко! —топнула ножкой Агата.—Слышишь— гадко!

— Некрасиво,— протянула Розалия и нахмурила брови,— я знаю, откуда этот ветер повеял...

— Заступничество таких богинь мне очень лестно и трогает мое сердце,— произнес с чувством Рудковский, положа руку на грудь,— но это место и служение пану Янчевскому меня не интересует...

— Нет, это возмутительно,— горячилась Розалия,— я этого Феликсу не прощу! Я сама упросила пана секретаря двинуться к логовищу злодея, и вдруг за то ему кара!

— Конечно, вельможная пани...— оправдывался судья.— Vox feminae — vox dei *.

— Само собой разумеется,— продолжала Розалия,— что это вздор: теперь не Янчевский состоит презусом вашей комиссии, но и довудца команд, которые будут направлены для поимки злодеев... а потому требую у всех строжайшего повиновения моей воле!

— У ножек панских! —произнес с восторгом Рудковский.

— Под пятой пани! — подхватил Алоиз.

— Раб панский! — заключил судья и хотел было приподняться с кресла, но толщина помешала.

— Без шуток! — улыбнулась Розалия.— Я взялась теперь поймать Кармелюка и докажу панству, что у женщины найдется больше хитрости и уменья, чем у хваленого вашего рода! Итак, приглашаю к себе на службу верных и храбрых; кто не с нами, тот против нас!

— Вся наша молодежь сочтет за счастье быть под хоругвью новой, прелестнейшей Жанны д'Арк! — воскликнул патетически Алоиз.

— Все! — поддержал Рудковский.— А я костьми лягу...

— Спасибо, юнаки! — произнесла начальническим тоном Розалия.— И вот я приглашаю пана Рудковского занять должность моего личного секретаря.

— Счастлив, как боги! — воскликнул Рудковский и вспыхнул весь от прилива необычайного счастья.

---

* Голос жінки — голос бога *(лат.)*.

— А мне какую должность назначает пани? — вытянулась в струнку перед новым полководцем Агата.

— Быть моим помощником,— ответила серьезно Розалия.

— О моя кохана! — обрадовалась искренно пани судьиха и стала горячо обнимать свою дорогую гостью.— Ну, а теперь я, в свою очередь, назначаю пана Алоиза моим секретарем, а вас, муженек, моим рассыльным, курьером нашего ополчения.

Все дружно расхохотались. Судья стал уверять компанию, что он будет самым исправным, даже молниеносным исполнителем велений богини; Алоиз давал присягу в верности своей повелительнице, а Рудковский был в таком телячьем восторге, что бормотал Розалии одно только:

— Унесенье (восхищение)!

Радостное настроение росло и наполняло мрачный кабинет судьи игривыми звуками; остроты, шутки, удачные сравнения перемешивались с молодым хохотом. Розалия была необычайно весела и оживлена; в ее темных глазах искрился какой-то скрытый восторг, вспыхнувший в тайниках ее души и разраставшийся все больше и больше, улыбка не сходила с ее губок и обличала прилив счастья. Действительно, со времени последней встречи с Кармелюком Розалия просто переродилась,— широкая волна новых нахлынувших чувств покрыла сразу все ее мелкие ощущения, всю скуку ничтожества интересов жизни... Сначала она почувствовала досаду, словно бы обиду за холодность Кармелюка, но потом объяснила ее высокою признательностью, сковавшей низменные побуждения, и эта почтительная сдержанность казалась ей теперь рыцарским героизмом...

Вообще ее воображение облекало личность Кармелюка в сказочного героя, обаятельного по красоте, великого по внутренним достоинствам, и будило в ее сердце новые настроения, полные фантастической прелести и неизведанных чар,— все это заставляло ее сердце радостно биться и подымало энергию жизни.

— Однако, мне нужно потолковать о деле,— заявила наконец серьезно Розалия,— а потому я попрошу у пани Агаты укромного покоя для заседания; но стены в этом покое должны быть глухи, так как наша рада будет в

полном секрете и некоторыми мыслями я поделюсь лишь со своим товарищем, а потому обещай, пани Агата, хранить тайну свято, не доверяя ее ни мужу, ни другу, ни герою романа...

— Клянусь! — ответила с пафосом пани судьиха, подняв вверх два пальца.

Как только удалились из кабинета новые командирши со своими секретарями, в него вошел неожиданно пан Янчевский; он был до того озабочен, что не заметил даже только что вышедших дам.

— Пане презус! Откуда вы? Точно с неба свалились... Вот не ждал! — изумился судья, тяжело приподнимаясь с места.— Весьма рад, что слепая фортуна прикатила на своем колесе дорогого гостя...

— Важные новости... серьезные вести...— заговорил на ходу Янчевский, прихрамывая на раненую ногу.— Пан, конечно, уж знает о нашей неудаче: вместо Кармелюка поймали только одного лотра, который оказался хлопом Пигловского. Я его пока оставил под стражей. Обсудим потом, что с ним делать. Подняла меня более важная новость; тут бы лететь, не теряя минуты, а я вот на костыле.

— Слыхал, слыхал про ваше несчастье... Ой бестия, пся крев! Но опасности, боронь боже, нет? Пан презус тоже не щадит себя и рискует своею дорогою жизнью... На этих лотров нужно послать москалей, далибуг, москалей: пусть идут псы на псов, а шляхетная жизнь драгоценнее...

— Э, пане! Что москали? Еще будут потворствовать быдлу... Вон я слыхал, что от генерал-губернатора идут какие-то распоряжения о надзоре за нами, чтоб не злоупотребляли помещичьей властью... Говорят, что и от пана Цезаря есть в таком роде указ...

— Святой Себастьян, храни нас! —вздохнул судья и, подвигая Янчевскому кресло, прибавил заботливо: — Сюда, сюда прошу... здесь удобнее... не прикажет ли пан подать для раненой ноги скамеечку?

— Не беспокойтесь, пане, я не неженка, а солдат... Так вот, видите ли, на москаля нам особенно покладаться нельзя — это primo, а secundo — нам нельзя сидеть сложа руки да ждать у моря погоды... нельзя! Вот и мне тоже лечь и возиться с ногой нельзя, а я двигаюсь... неутомимо, как ищейка по красному зверю... и сейчас вы-

нюхал важную весть: Кармелюк имеет пристанище в Деражне у тамошнего схизматского попа!..

— Что вы? — даже привстал от изумления судья.— Возможно ли, чтобы служитель алтаря перепрятывал у себя душегубов, разбойников?

— Я привез с собой свидетеля, который подтвердит мои слова... Гей, пане Зеленский, иди сюда!

Послышались из третьей комнаты тяжелые шаги, и через минуту вошел в кабинет неизвестный субъект, одетый по-мещански, коренастый, неуклюжий и кривой на один глаз. Отвесив низкий поклон, он поцеловал судье колено.

— Ну, расскажи, вацпане, где ты встретил Кармелюка? Нужно пану добавить,— обратился Янчевский к судье,— что он знает хорошо гайдамаку: служил в его банде... по моему приказу служил... это верный слуга из загоновой шляхты... Так повтори и пану судье свои показания.

— После осады пещеры, ясновельможное панство,— начал Зеленский,— после выкуривания гайдамаков я неотлучно находился сначала за пещерой на варте, а потом при костре... Вот и пан Читецкий подтвердит это... мы с ним стояли локоть о локоть...

— Читецкий, кажется, был у корчмы...— заметил Янчевский.

— Пшепрашам ясновельможного пана,— все время со мной...

— Странно,— взглянул подозрительно на кривого Янчевский,— ну, продолжай...

— Так мы простояли с ним целый день и почти целую ночь... а когда узнали, что Кармелюк выскочил из рук и что его сейчас преследовать не будут, то у меня ушла душа в пятки... Думаю: не дай бог попадет, меня так замурует, как пса... А Читецкий и говорит: «Отправляйся ко мне в Кальную Деражню». А он там и живет. Я обрадовался, что хоть живая душа со мною будет, и пошел с той думкою, что пережду первое время в Деражне, а потом явлюсь до послуг егомосци... Ой пане найсвентший, матка боска!..

LVIII

— Ну, ну, что дальше? — заторопил кривого сгоравший от нетерпения судья.

— Так мы, ясновельможный пане, и пошли... Идем и оглядываемся на все стороны: не спрятался ли за пеньком гайдамак?.. Ей-ей! Такой страх, что ужас: упадет где листок, а кажется, что кто-то на цыпочках крадется, треснет где веточка, а сдается, что уже целая банда бросилась в погоню...

— Ха-ха! Храбрые рыцари! — презрительно вставил судья.

— А что ж, ясновельможный пане, видимая смерть страшна! — почесал пятерней свою кучму рассказчик.— Ну, днем еще сяк-так, солнце светит... хоть и лес, а все же видно кругом, да и всякая нечистая сила при свете прячется... А вот как настал вечер да поднялась с каждого куста тьма и деревья почернели и стали какими-то страшидлами... лесовиками... ну, тогда и я, и товарищ почувствовали, как волос стал поднимать наши шапки... Хоть и близко была Деражня, а ночью идти не решились и подночевали под гнилою колодой, а чуть только стали бледнеть зорьки, так мы и двинулись в путь. Оказалось, что мы лежали всего около полгон (саженей двести) от опушки, а за опушкою тут же и Деражня, и став... Обрадовались мы и бегом почти двинулись в село, а как вступили в первую улицу, так и на душе прояснилось, пошли уже спокойно, шагом и стали рассуждать о том, где бы перехватить чего съестного... Потому что черево нам так подвело, что казалось, будто все кишки скрутились и приросли к спине...

Янчевский все время не слушал кривого: какое-то смутное подозрение заронилось в его душу и начинало разрастаться, облекаясь в безобразные формы, поднимая бурю в груди.

«Если кривой не врет, то Читецкий, значит, не мог провожать Розалии? Но почему же она назвала Читецкого? Значит, она врет? Или опозналась и другого какого приняла за него? — кружились в его голове вихрем мысли и не приводили ни к какому выводу...— Или обозналась, или сболтнула первую пришедшую в голову фамилию, желая скрыть настоящего проводника. Но кто бы он мог быть? Разве этот хвастунишка безусый —

Рудковский? Но я ему запретил после облавы и нос свой показывать... впрочем, ведь он мог тайно явиться туда!..»

— О, сто перунов! — вскрикнул Янчевский и, чтобы поправиться, добавил Зеленскому: — Да ты не про кишки рассказывай, а про дело...

— Пшепрашам ясновельможного пана...— встрепенулся испуганно кривой.— Я к тому и речь веду, что когда мы подходили к поповской усадьбе, то думали: не зайти ли к батюшке за шматком хлеба,— так было еще рано, только серело... Вот смотрю я через плетень и думаю себе: а хоть бы наймыт либо наймычка, на наше счастье, проснулись! Коли зырк: отворяется дверь в поповском домике, и из нее выходит какой-то мужчина... Я обрадовался, чуть не бросился к нему, да остановил меня за руку товарищ: «Стой! — говорит.— Вряд ли это наймыт, чего бы ему ночевать в горнице?» — «А к наймычке ходит»,— шепнул я. «Разве?» — засмеялся в руку пан Читецкий. А мужчина вышел и направился прямо к стайне (конюшне),— значит, прямо к нам, потому что мы стояли за плетнем у стайни... Подходит он ближе, всматриваюсь я... Ой властки свенты! Кармелюк! Я так и присел... стал читать отходные пацежи *, а он ближе... ближе... Кармелюк, настоящий Кармелюк. Товарищ мой тоже, как посмотрел, так и упал бревном да пополз за стайню...

— А может, тебе, вацпане показалось? Со страху ведь и кот львом показаться может,— усомнился судья.

— Ой, где там, ясновельможный пане! Я Кармелюка как свои пять пальцев знаю и этого шельму, как и ясновельможного пана, познаю хоть ночью, как бы ни отворачивал морды... Он, он! Еще в стайне как заговорил к своему коню, так голос его словно за печенки меня ухватил.

— А что ж он заговорил? — допытывался судья.

— «Коню,— говорит,— мой милый! Пора в путь... Пора к трущобам и оврагам! Побыл часок человеком... Заглянул в мирный уголок, а теперь вновь к зверям, вновь под травлю этого сатаны... Эх, доля!» Ей-богу, такие слова говорил... Врезались они мне каленым железом...

* Молитви (*польське*).

— Вот это важно,— заметил судья и нахмурился.— Это, пожалуй, может служить неоспоримым доказательством, что у попа был Кармелюк... Ну, а дальше куда он делся?

— Оседлал коня, вывел за ворота, перекрестился и гайда за село в лес... Мы с товарищем зашли только на час в Кальную Деражню и сейчас же почти бегом поспешили к егомосци пану презусу передать эту весть...

— А ты действительно помнишь,— заговорил Янчевский, воззрившись мрачно и пристально на кривого,— что не разлучался ни на минуту с Читецким? Смотри, это очень важно... припомни вот с того момента, как мы обложили пещеру.

— Ясновельможный пане, на раны пана Езуса, я говорю правду! — воскликнул кривой.— Ничего я не запамятовал, да и до смерти, кажись, не забуду, как захлопали из этой пекельной дыры самострелы и как стали наши валиться... Я стоял о бок с Читецким и видел, как он побелел словно крейда (мел) и затрясся... Ну, когда ясновельможный довудца крикнул, чтобы берегли тыл пещеры, то мы с Читецким бросились за пещеру, и когда услыхали, что збойцы уже подохли, то первые с ним вернулись к костру и были уже вместе до ночи, а потом пошли к Деражне...

— И ни на минуту не разлучались, не выходили на опушку, не видели экипажа пани маршалковой?

— Клянусь!

— Ну, хорошо... Ступай!

Когда шляхтич ушел, то судья спросил Янчевского:

— Отчего этот Читецкий так интересует пана?

Янчевский вспыхнул и закашлялся, а потом уже, передохнув и подавив с усилием смущение, ответил:

— Я подозреваю стачку с разбойником...

— Неужели шляхта может помогать хлопу?

— Бедняки все, не исключая и шляхты, за него! — раздражился Янчевский.— Но что пан судья думает теперь предпринять? Ведь неоспоримо, что Кармелюка перепрятывает поп, что разбойник питает симпатию к этому уголку... и потом еще заметьте — все почти попы симпатизируют гайдамаку. Я давно хотел привлечь к

ответственности и этих бородатых схизматов, но не было факта... а теперь... теперь... нужно сразу арестовать деражнянского попа — и баста!

— На бога, пане! —испугался судья до того, что багровое его лицо пожелтело.— Не делай такого гвалту: во-первых, мы не имеем на то никакого права, мы можем только донести благочинному и архиерею, а во-вторых, у нас нет никаких доказательств преступных деяний попа...

— Как никаких? — поднялся с кресла Янчевский и сейчас же присел, ухватившись руками за раненую ногу.

— Так, никаких,— продолжал спокойно судья.— Мы только знаем, что Кармелюк был у попа, а знает ли поп, что принимал у себя разбойника, а не шляхтича-эконома, это нам неизвестно. А Кармелюк ведь и нас не раз обманывал... Так, значит, чтобы взяться за попа, и законным порядком, нужно добыть доказательства сознательного покровительства разбойнику. Для сего, полагаю, необходимо: первое, сохранить глубочайшую тайну и наказать этим обоим шляхтичам, чтобы они про встречу с Кармелюком никому ни гугу... а второе, нужно в Деражне устроить тайный надзор и даже засаду: очевидно, разбойник вернется не раз в этот приют; и, наконец, третье, не мешает допросить хорошенько того лотра, который очутился в панских руках: может, и он нам кое-что пояснит.

— Да, пан судья прав, я погорячился! — произнес нервно Янчевский.— В последнее время меня так раздражают все эти неудачи, что я начинаю терять благоразумие... Во всем видишь глупость, низость, измену. И нет такой подлости, которой бы нельзя было подозревать даже в лучших людях.

Его слова прервала Розалия, появившаяся неслышно в кабинете.

— А! —изумилась она.— И наш раненый Геркулес здесь?— Но в тоне, каким были произнесены эти слова, прозвучала, кроме изумления, и скрытая досада.— Отчего же пан не лечит свою ногу? — добавила красавица, чтобы смягчить тон первой фразы.— Ведь пуля — не шутка!

За Розалией вошел в кабинет и Рудковский, но, заметив Янчевского, отошел в дальний угол и нахохлился.

К нему приблизился, грузно переваливаясь с боку на бок, судья и стал его в чем-то шепотом убеждать.

Янчевский бросил в их сторону злобный, полный ненависти взгляд и ответил колко Розалии:

— Что пуля? Бывают раны и потяжелее! — И он холодно прикоснулся к руке Розалии.

— Понимаю: уколы самолюбия. Но я помогу пану их успокоить.

— Весь у панских ножек,— улыбнулся кисло Янчевский и потом добавил небрежно: — А пани кохана хорошо знает Читецкого?

— А что? — вспыхнула слегка Розалия, но, увидев вполне спокойное лицо Янчевского, тотчас же успокоилась.— Конечно, он сколько раз бывал у нас на охоте, стоял даже не раз с борзыми возле меня; подарил мне в прошлом году две живых серны. Отлично я его знаю. Но ведь и пан его также знает.

— Конечно, конечно... Но ведь это он, кажется, ехал с коханой пани в карете и провел ее до корчмы?

— Он! — ответила твердо Розалия и смело глянула в глаза Янчевскому.— Но зачем это пану?

— Сейчас объясню. Еще один вопросик: не упоминал ли он пани о некоем Зеленском?

— Нет, ничего не говорил... Рассказывал лишь о том, как он вместе с паном презусом осаждал пещеру и стрелял в бестию Кармелюка...

— А! — протянул Янчевский.— В таком случае все вздор: его подозревали в измене, но если он был вместе с пани, то я теперь совершенно покоен... Совершенно,— повторил он, потирая руки, и, переменив тон, произнес деланно веселым голосом: — Так, значит, вместе будем действовать? Дружно! Верно?.. — подчеркнул он, впиваясь глазами в лицо своей собеседницы.

— О, конечно! Разве же пан мог сомневаться в этом? — добавила нежным шепотом Розалия и с самой обворожительной улыбкой простерла к Янчевскому обе ручки.

— Никогда, никогда! — произнес с пафосом Янчевский и склонился к ручкам красавицы.— Поймаем гайдамака, но еще прежде шельму — его возлюбленную. О пани кохана, моя повелительница, вполне права: баба и обманет, и продаст!

Он громко рассмеялся, но в его смехе сквозь деланное веселье пробился затаенный зловещий тон...

Четыре дня поджидали Кармелюка Андрей с Ульяною у оврага.

На второй день, вечером, к ним присоединились Дмитро с Олексой и остальными орлятами. Уже по дороге к корчме они услыхали от крестьян о разгроме, постигшем их старое гнездо, и тотчас же поспешили укрыться в глубине леса, а здесь уже Дмитру не трудно было разыскать среди известных ему тайных притонов новый лагерь Кармелюка. Оставив хлопцев под начальством Олексы, он бросился на розыски и после двух неудач наткнулся наконец в третьем убежище на Ульяну и Андрея.

Тотчас же закипели вопросы, расспросы и ответы. Два раза должна была рассказывать Ульяна солдату всю историю их неслыханного спасения, и каждый раз Дмитро перебивал ее рассказ возгласами дикого восторга и изумления.

— Фу ты, сто чертей ему с фельдфебелем в зубы! — вскрикнул наконец Дмитро, с силой ударяя шапкою оземь.— Ведь это все равно, что вырвать у волка изо рта лакомый кусок! Эх, принял бы я, ей-богу, и двадцать шпицрутенов на спину, чтобы только взглянуть, как взбеленился этот собачий сын, когда увидал, что пташки вылетели из его рук.

— Ну, песня-то еще не спета,— заметила серьезно Ульяна,— мы-то вот вылетели, а как справился атаман? Не наткнулся ли, выбираясь из леса, на ляхов? С ним ведь был и хлопчисько.

— Крышка, мать командирша, крышка! Рассказывали нам люди, что именно-то атаман со всем своим кодлом из-под носа у панов ушел и что Янчевский со своею командой поехал домой лютый, как скаженый волк!

— Ну так значит батько спасся! — вскрикнул радостно Андрей.— Коли из леса здоров выбрался, так там уже его с хортами (борзыми) не накроют!

— Го-го,— поддержал и Дмитро,— отступит в полном порядке!

Ульяна чрезвычайно обрадовалась известию, принесенному Дмитром; надежда на скорое свидание с обо-

жаемым атаманом возвратила ей обычную веселость.

— А пока приедет атаман, угости-ка нас, коли есть чем, да расскажи, как справился? — обратилась она весело к Дмитру.

Солдат охотно исполнил приказание атаманши.

— Еще бы не было угостить! — вскрикнул он.— Такого винца достал, что ай-люли! Малина! — И, вытащив из-за пазухи заплесневевшую бутылку и свою неразлучную манерку, он принялся рассказывать о своих подвигах, о том, сколько грабежей они устроили соединенными силами и сколько бравых рекрутов он привел с собой.

Ульяна рассеянно слушала его рассказ; ее напряженный слух жадно ловил малейший шорох в лесу, ожидая богатырский свист атамана. Но кругом все было тихо.

— Да ты не слушаешь меня, мать командирша! — вскрикнул наконец Дмитро и добавил, подмаргивая бровью: — Все поджидаешь атамана? Небось, придет... Так я вот устрою диверсию да приведу сюда весь наш батальон, на случай приступа.

Прошла ночь, настало утро третьего дня,—Кармелюк все еще не возвращался.

Тревога начала снова мучить Ульяну; тысячи самых ужасных случайностей, которые могли встретиться атаману на пути, выплывали в ее воображении. Бледная, взволнованная, она то подымалась на пригорок, то сидела неподвижно, уронив руки, прислушиваясь к малейшему шороху.

— Да чего ты грызешь себя, командирша? — обратился наконец Дмитро к Ульяне.— Ведь спасся атаман, уж это верно, как бог свят!

— Спасся, а почему же не едет? — возразила Ульяна, поднимая на Дмитра горящие сухим огнем глаза.

— Должно, доброго крюка дал.

— Да батько же и сам говорил, чтобы три дня его здесь ждать! — вмешался в разговор Андрей.

— Ну так и тревожиться нечего,—заявил авторитетно солдат,— значит, решил заехать куда-нибудь.

— Куда же?

Но вопрос Ульяны остался без ответа. Дмитро только пожал плечами и произнес:

— А кто же его знает? Коли приказал ждать три дня, значит, недаром... Что-то удумал...

Сам того не зная, своими словами Дмитро еще больше растравил ревность Ульяны. Было только два предположения, объясняющих такое долгое отсутствие Кармелюка: или он был схвачен ляхами, или заехал куданибудь. Первое предположение исключалось сведениями, полученными солдатом; оставалось только второе, и оно подтверждалось еще тем, что атаман заранее объявил, что вернется лишь через три дня. Удаляться на такое далекое расстояние с целью замести след было и бесцельно, и безумно. Следовательно, он сразу же предполагал заехать куда-то. «Но куда? Куда? Почему не сказал ей? Почему скрыл?» — повторяла себе сотни раз Ульяна, изнывая от ревности и злобы.

Прошла ночь, атаман не вернулся. На четвертый день утром товарищи снова начали толковать о том, куда мог заехать атаман. На этот раз беспокойство охватило уже и солдата, и Андрея.

— А не повел ли он сам хлопца своего назад в Головчинцы? — заметил последний.

При этих словах Андрея Ульяна сразу вспыхнула.

— Так, так! — вскрикнула она, радостно хватаясь за мысль, поданную Андреем.— Оттого-то он и отделился от нас с хлопцем.

Это предположение, вполне вероятное, избавляло ее от нестерпимых мук ревности, но вместе с тем еще более усиливало беспокойство о судьбе Кармелюка.

Это понял и солдат.

— Ну, если туда пошел, то дело дрянь,— заметил он.— Там ведь Пигловский, а к нему может заехать и Янчевский, и другой кто, а дети, известно — дети.

— Да ведь и прошлый раз схватили батька только через то, что он пошел в Головчинцы: там его и выследил Янчевский,— добавил Андрей.

Тревога охватила всех. После короткого совета решено было, что если атаман не вернется к ночи, то Андрей с солдатом, как лучше всех знакомые с той местностью, отправятся в Головчинцы на разведку.

LIX

Уже темная ночь распростерлась над лесом, когда Кармелюк подъехал к узкому ущелью, занятому теперь Ульяною. Это было дно какой-то извилистой горной реч-

ки, забросанное огромными глыбами камней и стволами вывороченных с корнями деревьев, свалившихся с крутых обрывов. По-видимому, оно служило стоком воды только во время ливня, теперь же дно его было покрыто кучами нанесенного песку и камней. Уже издали Кармелюк заметил в этой узкой, извивающейся в глубину щели светящуюся точку — то пылал костер. Подле костра лежали на кереях Олекса, Андрей, Дмитро и еще два ватажка. Ульяна стояла далеко впереди; ее чуткое ухо давно уже различало топот конских копыт. Вся она, освещенная красноватым светом костра, трепещущая, жаждущая, вырезывалась на темном фоне ночи как олицетворение тревоги и ожидания.

Кармелюк пробирался по дну ущелья шагом, спешившись с коня. Кругом было темно, как в гробу, только мигающий вдали красный огонек указывал направление. Камни, скалы, стволы разбитых деревьев пересекали ежеминутно песчаное русло.

Молча подвигался Кармелюк, занятый своими мыслями. Только фырканье коня нарушало мрачную тишину ущелья.

— Кто идет? — послышался оклик, и из-за обломка скалы, выступавшей на средину русла, поднялся вооруженный с головы до ног разбойник.

— Свой,— ответил Кармелюк,— волк из леса.

— Атаман! — крикнул громко Гололобый, бросаясь к своему обожаемому предводителю.

Громкий крик его пронесся вверх по ущелью, и в ответ на него раздался такой же радостный женский крик: «Атаман, атаман!» И Ульяна стрелой бросилась вперед, перепрыгивая через камни и колоды.

— Ты, ты?! Янко, Иване!! Жив, здоров?! Почему не ехал? Отчего опоздал?! Замучилась дожидаясь!— засыпала она Кармелюка вопросами и поцелуями, повиснув у него на шее.

— Да пришлось заехать...—Кармелюк назвал наугад одно из отдаленных сел,— и передневать у пономаря, потому что рассыпали паны кругом погоню.

— Господи! Так и чуяла моя душа! — вскрикнула Ульяна.— Измучилась же я, сердце все перетлело!.. —И она снова бросилась к Кармелюку и, обняв его шею руками, страстно прижалась к его груди.

С некоторым усилием ответил Кармелюк на ее по-

целуй и постарался незаметно высвободиться из ее крепких объятий. Это бурное проявление любви в присутствии постороннего человека произвело на него неприятное впечатление: тут было много страсти и огня, но не было той прелестной женственности, которая так чаровала его в Олесе.

— Ну, Гололобый, бери коня, а ты, Ульяна, веди меня к огоньку,— продрог и проголодался я здорово,— обратился он к Ульяне, чтобы не дать ей заметить охватившего его настроения.

— Сейчас, сейчас, сокол мой! Все есть! Все готово!— вскрикнула радостно Ульяна и бросилась вперед.

Лежавшие у огня ватажки уже услыхали голос Кармелюка и бросились ему навстречу. После крепких объятий и всевозможных проклятий, обозначавших наибольшую степень радости, все разместились возле костра. Ульяна поставила на разостланном на земле ковре всевозможные припасы и напитки, захваченные Дмитром с собой, и сама поместилась возле Кармелюка.

Кармелюк оглянулся кругом; загоревшие, грубые лица товарищей, сияющие радостью при виде своего атамана, возвратили ему снова веселое настроение духа.

— Ну, панове-товарищи,— произнес он, наливая подставленную Дмитром манерку,— собрались мы снова все целы и невредимы на злость ненавистникам нашим. Из пазурей смерти вышли,— значит, доля еще за нас, значит, песня наша еще не спета, а будет еще долго греметь по родной стороне на страх нашим врагам, на радость нашим братьям! Пусть же эта первая чарка будет нам на здоровье, а ворогам нашим на безголовье!

Тост атамана был встречен громкими криками одобрения, все потянулись к нему чокнуться — кто шкаликом, кто серебряною чаркой, а кто и просто бутылкою. Веселый гомон разлегся над костром.

— Стойте, панове,—произнес вдруг Кармелюк встревоженно,— что ж это я не вижу между нами дядька Явтуха?

При этом имени все мрачно потупились.

— Умер? Схвачен?

Ульяна и Андрей вздохнули.

— Да что ж, пане атамане,— ответил Андрей,— должно быть, ему, сердечному, не солодко пришлось... Очевидно, схватили ляхи.

— Когда же, каким образом?

— Да тогда же, когда накрыли и нас. Ведь ты, пане атамане, послал его в корчму разведать, какая это пани с панычами к нам пожаловала? Ну, он и пошел, а назад уже не возвратился, должно быть, угодил прямо в руки панам.

— Так, так, так! —вскрикнул Кармелюк, ударяя себя по лбу.— Господи, а я-то сгоряча и забыл о нем.

— А хотя бы и не забыл,— перебила Ульяна,— что ж бы мы могли сделать? Только бы себя погубили, а ему ни в чем бы не помогли: ляхов ведь было вдесятеро больше.

Никто не возразил атаманше; все сидели, понурив головы, и угрюмо смотрели в землю.

Непривычный вздох вырвался из груди, обросшей мохом, солдата.

— А жаль Явтуха, крепко жаль: верный был фланговый, да и ротный бы из него вышел на славу!

Солдат замолчал.

Тяжелое молчание надвинулось на собеседников; тьма, стеснившаяся в ущелье, окруженном чащей леса, гармонировала с настроением собеседников.

— Эх, да что там и толковать,—вскрикнул с горечью солдат и с силою ударил шапкою о землю,— такая уж наша жизнь! Видно, всем нам один конец: болтаться между небом и землей!

— Нет, братцы,— заговорил Кармелюк,— так нельзя! Тем только мы и держимся на земле, что стоим один за другого, как брат за брата. Нельзя покидать товарища в беде, чего бы это нам не стоило: ведь они теперь на нем одном выместят всю свою дьявольскую злобу. Надо спасти его!

— Да как? Где искать его? —вспыхнула Ульяна.— Ведь если они его уже препроводили в каменецкую тюрьму, так мы оттуда не вырвем его!

— Не беда,— сказал Кармелюк.— Узнаем только, куда ляхи его запрятали, а это совсем не трудно: без хлопов паны ни с чем не справятся, а хлопы нам расскажут все, только был бы он жив, а там не будь я разбойник Кармелюк, если не будет Явтух снова с нами у огонька чарку кружлять (пить круговую).

Уверенное решение атамана привело всех снова в бодрое расположение духа. Все принялись с азартом

за еду и питье, обмениваясь веселыми шутками и остротами.

— Ну, Дмитро,— обратился наконец Кармелюк к солдату, утолив первый голод,— ты, должно быть, о нас уже все знаешь, рассказывай, как сам справился, отчего опоздал? Эх, если бы вы прибыли как раз в ту пору, нагрели бы мы здорово ляхов!

— Н-да, разбили бы наголову! Ну да всего ведь не угадаешь. Кто бы сказал, что этот кривой — шпиг панский? Положим, атаманша его сразу невзлюбила, а ведь какой, шельма, был усердный! Куда ни пошли — первый! Ну, уж перервусь я, а поймаю его, собаку,— глаза солдата злобно сверкнули,— отпишу ему так, что и другой глаз у него рогом полезет... Я ему на три темпа! А опоздал я потому, что забрался далеко,—продолжал он, переменяя сразу тон.— Идет, атамане, дело на лад! Прошел я и на Волынь, доходил до самого Кременца, ну и, коротко сказать, подогрели панов и арендаторов добре...

При этом восклицании солдата, полном самодовольного хвастовства, сердце Кармелюка болезненно защемило.

— Ну, для этого, брате, не стоило и ходить!— возразил он недовольным тоном.

— Что ты, атамане, да разве мы только жгли? Мы и добычу привезли немалую! Одних чистых денег двадцать тысяч злотых, вот что!..

— Эх, дети, дети,— произнес Кармелюк с горькой укоризной,— довольно нам уже шутки шутить: жжете вы и грабите без толку, обижаете и правого и виноватого. Угоняете иногда и мещанский скот!

— Что ж, батьку, может, и случилось когда,— ответил солдат,— да ведь от этого не убережешься. Э, да что о том толковать! Снявши голову, по волосам не плачут!

— Да и мещане бывают такие живодеры, что не лучше панов-ляхов! — вскрикнула Ульяна.— Всего ведь и не берем, на их век хватит!

— Не то это все, не то!— продолжал Кармелюк, не возражая на замечание Ульяны.— Есть у нас один общий враг, страшный враг, его надо прежде всего здыхаться! Слыхали ль вы, друзи мои, что только творит Янчевский со своей богомерзкой комиссией! Толпами

ссылает в Сибирь невинных селян. Катует не только мужчин, но и женщин, и детей.

— Смерть зверюке Янчевскому! — крикнула Ульяна.

При одном воспоминании об этом преследователе, едва не подвергшем их самой ужасной смерти, вся кровь бросилась ей в голову, глаза загорелись дикою злобой.

— Смерть Янчевскому и комиссарам! — крикнули все разбойники, потрясая саблями.

Эхо подхватило этот взрыв страшной злобы и понесло его глухим рокотом вверх по ущелью.

С минуту Кармелюк сидел молча, опустив голову, но вот он поднял глаза. Его окружали отважные лица разбойников, пылавшие гневом и жаждой мести.

— Смерть не смерть,— произнес он,— а действия этой предательской комиссии надо пресечь. Мы напишем жалобу в Петербург, изложим в ней все наше горе, будем просить милости и будем умолять, чтобы судили нас как хотят, лишь бы прислали для суда нам единоверных судей, а не наших же преследователей панов-ляхов... Ну, а пока-то наша жалоба дойдет, нам надо собраться, соединиться всем ватагам и накрыть всех судей-комиссаров.

— Гм! — крякнул солдат.— Это было бы важно: накрыть всех сразу, как кучу мух ладонью! Но ведь они собираются в городе, а не в деревне, значит — на них с одною ротою не пойдешь, а надо собирать весь корпус. А где мы такую массу народа соберем? Нет у нас такого лагеря; ведь наши становища все — ущелья, да пещеры, да леса.

— Да хотя бы и нашли место, чем мы прохарчуем всех? Где хлеба наберем? — перебила Дмитра Ульяна.

— Еще с провиантом можно было бы и уладиться,— продолжал Дмитро,— послать на фуражировку — и баста, а только ведь такой дивизии в мешке не утаишь: сейчас пойдет гомон, и пока-то мы их накроем, они вызовут войска, ну, а с русскими войсками нам не тягаться... Ей-богу, пане атамане, лучше действовать врассыпную. Зачем нам столько народа под одной командой? Ротных хватит на всех, да и добычи будет на всякого брата вволю. Разве мы не знаем, кого призвал Янчевский в свою судную комиссию? Разве мы не знаем, где проживают эти несправедливые судьи? Разве не падают перед Кармелюком все запоры, все замки? А, волк меня

зарежь, покуда еще наедет следствие, отобьем у панов охоту записываться в судьи, черт побери!

Речь солдата была резонна, это почувствовали все; Ульяну она привела в бешеный восторг.

— Так, так! — заговорила она с лихорадочной быстротой.— Они хвалились, что задушат нас дымом, как волков. Хорошо же, мы им и покажем, что мы — волки, страшные, лютые волки! Мы будем накрывать их всюду: в лесу, на большой дороге, в их палацах, в их опочивальнях, во время пира, во время сна!! Пусть перестанут верить от страха брат брату, а муж—жене, пусть не знают покоя ни днем ни ночью, чтобы кусок хлеба не шел им в горло, чтобы глоток воды останавливался во рту! Пусть гоняется за ними всюду по пятам ужас и душит их за горло холодными руками, как душил нас в пещере их страшный дым! А!.. Мы будем являться к ним нежданно в страшный ночной час, будем слушать, как они станут звать на помощь, как крики их будут замирать в пустых покоях, будем видеть, как они станут плазувать перед нами и просить рыдая: «Жизни! Жизни!..» Как кричала я в пещере, когда нечем было дохнуть. А!.. Мы припомним им все по слову, чтобы от одного ужаса глаза их лопнули во лбу и разум помутился в голове!..

От волнения и быстрой речи Ульяна стала вся багровая. Она задыхалась, слова вырывались у нее с зловещим шипеньем, искаженные злобой глаза сверкали, как глаза дикой кошки, собирающейся броситься на свою добычу. Она была страшна в эту минуту.

Кармелюк взглянул на нее, и неприятное чувство поднялось у него в груди. Он сам горел желанием отомстить Янчевскому и уничтожить его комиссию, но вид этой разъяренной женщины, дышущей дикою жаждою крови, произвел на него отталкивающее впечатление.

Но Дмитру и товарищам его и речь, и образ Ульяны, видимо, понравились.

— Молодец, атаманша!—вскрикнул залихватски солдат.— Дьявол, а не баба! Люблю таких!

Этим лестным эпитетом Дмитро верно охарактеризовал впечатление, которое производила Ульяна. И невольно при этом восклицании солдата в воображении Кармелюка поднялся тихий образ Олеси, с глазами

полными слез, устремленными на него. Он снова подавил непрошенный вздох и произнес, не глядя на Ульяну:

— Так, братцы, ваша правда: не по сердцу мне такая работа, но так будет безопаснее и вернее. Только не надо лить лишней крови; но уж проклятого Янчевского мы накажем так, что и чертям будет тошно.

Одобрительные крики разбойников покрыли его слова.

— А теперь,— продолжал Кармелюк,— пора и на покой: утро вечера мудренее, завтра обсудим, что и как начинать.

Час был поздний, а потому все с удовольствием приняли предложение атамана, тем более что и сытый ужин, и обильное питье также клонили ко сну. Олекса и другие старшие отправились к отряду, разместившемуся по обеим сторонам ущелья, над обрывами, а Дмитро и Андрей расположились тут же у костра.

Кармелюк остался также у костра.

Ульяна подошла к нему и дотронулась до его плеча.

— Иване, голубе мой, чего сидишь? Устал же ты,— произнесла она нежно,— иди, я постелила тебе там,— она указала в глубину ущелья,— отдохни, засни!

— Спасибо, сердце! — ответил Кармелюк.— Но не беспокойся обо мне, иди ложись, а я лучше останусь на этот раз тут.

— Почему?

— С этой стороны открытый выход, Гололобый может заснуть, да и провести его не трудно.

— Пустое, он не заснет, да и Андрей с Дмитром здесь. Кругом по лесу расставлена стража. Иди, голубе мой! — зашептала она, обвивая его шею руками.— Отдохнешь, успокоишься, приголублю тебя, пригорну к сердцу да и умру подле тебя! Ведь так измучилась без тебя, так стосковалась по тебе, соколе мой, орле мой, раю мой!

Руки Ульяны горячо сжали шею Кармелюка, а жгучее дыханье ее пахнуло ему в лицо. Она припала к нему и прижалась к его груди, продолжая шептать полные любви и страсти слова.

Но это проявление чувств красавицы атаманши вызвало у Кармелюка только досадное, неприятное чувство.

— Ты словно малое дитя, Ульяна,— заговорил он, стараясь скрыть свое истинное настроение.— Отдохнуть

успею всегда, а теперь надо глядеть в оба! Когда я ехал сюда, мне показалось, что кто-то следит за мной. Неужели же ты хочешь, чтоб мы снова попались?

В продолжение речи Кармелюка руки Ульяны медленно разжались и упали с плечей.

— Ради балачки с сыном и видимого врага не уважал, а ради меня невидимого опасаешься? — произнесла она глухо, еще сдерживая закипевшее в груди волнение.

— Я сирот своих, может, года три не видал. Что же ты хочешь, чтобы я и детей своих не любил?

— Я хочу, чтобы меня ты любил.

— А разве я что?— Кармелюк запнулся,— у него не хватило духу докончить фразу.

— Если любишь, так исполни мою волю, Андрей может заменить тебя.

— Эх, Ульяна, да что с тобой стало? — произнес с досадой Кармелюк.— Словно не разумеешь ничего. Тут Янчевский может накрыть, а ты намагаешься (вяжешься) с дурныцями!

Ульяна вспыхнула и мигом выпрямилась.

— Намагаюсь?! — повторила она злобно.—Нет, я не намагаюсь никому, а только,— спазма сжала ей горло,— и жартовать с собой не позволю никому! — докончила она прерывистым зловещим шепотом.

— Ну, пробач, я не то хотел сказать...— Кармелюк взял было Ульяну за руку, но она резко вырвала свою руку и отошла в сторону.

Первое мгновенье Кармелюк хотел было встать и последовать за ней; ему было жаль, что он волей-неволей обидел Ульяну, в душе его даже зашевелились угрызения совести, но это продолжалось недолго; тотчас же в сознании выплыло неясное чувство довольства за то, что эта неизбежная сцена окончилась так скоро и так благополучно. Он хотел разобраться в нахлынувших на него новых впечатлениях,— и вот он остался один.

LX

Облегченный вздох вырвался из груди Кармелюка; он протянул ноги, оперся локтем о землю, склонил голову на руку и устремил задумчивый взгляд в тлеющие угли костра.

Мысли его тотчас же понеслись к убогому домику в Деражне, к светлице, наполненной зеленоватым сумерком, к чудной дивчыне, полной чистых помыслов и задушевной любви...

Счастливая улыбка выплыла на его лице и застыла вокруг глаз и в углах рта. Он так далеко унесся своими воспоминаниями, что перестал слышать и видеть все окружающее...

— О чем ты это думаешь, атамане? — услыхал он вдруг недалеко от себя чей-то сухой голос, показавшийся ему совершенно незнакомым.

Он вздрогнул, оглянулся и встретился со взглядом двух горящих ревностью и гневом глаз, пристально устремленных на него.

Это была Ульяна. Она стояла здесь же неподалеку на большом камне с ружьем в руке и не отрывала от него глаз.

Что-то жуткое почуялось Кармелюку в этом голосе, в этой позе разбойницы.

Он передернул плечами и ответил небрежно:

— Так, ни о чем. А отчего же ты не ложишься спать?

— Стерегу табор от Янчевского... Ведь он же может накрыть нас? — произнесла с явною иронией Ульяна.

— Ну, отлично; так если ты стала на варте, так я могу и отдохнуть,— голос Кармелюка прозвучал невозмутимо; атаман завернулся в керею с головой, и минуты через две до слуха Ульяны донесся его спокойный храп.

Ульяна осталась одна. Жгучие слезы страшной обиды выступили у нее на глазах. Она оперлась руками на ружье, устремила глаза в темноту ночи и застыла в мучительной зловещей думе.

Для нее не было теперь сомненья в том, что Кармелюк нарочито заезжал куда-то, и заезжал не к семье, а к женщине, к какой-то новой коханке. Пять дней не видел, а как встретил? Обнял ли он ее, поцеловал ли он ее хоть раз от души? Остался здесь сторожить табор!

Ульяна с едкою усмешкой оглянулась на фигуру атамана, спокойно почивавшего подле костра.

Неужели же он разлюбил ее и нашел другую? Неужели же она допустит это и уступит его другой? Нет!!

Нет!! Ни за что! — чуть не вскрикнула Ульяна от прилива жгучей ревности.— Остаться одной на всю жизнь, как былинке среди этой холодной, темной ночи. Не видеть его, не быть вместе с ним и знать, что он другую целует, другую обнимает, к другой летит и думками, и сердцем, и душой!? Нет, не будет же этого! — сверкнула Ульяна глазами и с силой ударила прикладом ружья о камень.— Разве она не чаровница? Разве она не раздавала всем, кто приходил к ней, и приворот и отворот? Неужели же она не сумеет привернуть к себе опять своего сокола ясного, орла своего прекрасного? Ох! — простонала Ульяна.— Видно, приворот потерял уже свою силу! Выдохлись чары, выдохлись, развеялись... Ох!! Но есть же такие знахарки... найду! — На глаза ее выплыла слеза, но в ту же минуту гордая атаманша смахнула ее, и глаза ее загорелись сухим огнем.— Но у ней самой ведь есть в руках отворот, верный, певный! Только бы узнать, кто она, ненавистная розрадныця? Кто? Кто? А там...

Ульяна закусила нижнюю губу и устремила горящий взгляд в глубокую тьму ночи.

Кругом было темно, мертво и тихо... Тяжелые тучи заволакивали небо, кое-где среди них еще мерцали слабые, бледные звезды. Направо и налево по сторонам ущелья подымались отвесно высокие обрывы; лес темнел на них черною, непрозрачною стеной.

Озаренная багровым светом догорающего костра, фигура Ульяны резко выделялась в черной глубине ущелья. Теперь она действительно напоминала страшную чаровницу. Губы ее были плотно стиснуты, сверкающие зловещим огнем глаза впивались в глубину ночи... А страшная мысль, словно черная гадина, медленно подползала к ней и обвивалась вокруг ее тела и впивалась ядовитым жалом в ее гордое, мстительное сердце...

От литинского судьи Розалия возвратилась в свое поместье в сопровождении Агаты и Алоиза Пигловского. Это было одно из самых веселых путешествий: Алоиз всю дорогу ухаживал наперерыв за обеими дамами, которые были более чем когда-либо прелестны и оживлены; шутки и остроты не сходили с уст собеседников. Рудковский же отправился за Зеленским; он должен

был привезти его к пани маршалковой для допроса,— это и было то решенье, к которому пришел союзный совет дам и их секретарей.

Пан маршалок встретил свою супругу в большой тревоге, но при одном виде ее все облака рассеялись с его чела.

— Але янгол мой, Розюню! Что сталося с тобой? — вскрикнул он в восхищении, подходя к ручке своей прелестной супруги, которая впорхнула, как птичка, в зал, смеющаяся, оживленная, веселая.— Ты прелестнее, чем когда-либо, ты просто сияешь, как солнце!

— Ха-ха-ха!— рассмеялась Розалия, впрочем, довольным и веселым смехом.—Кажется, муж после восьми лет супружества собирается говорить мне комплименты?! Право, это очень мило и забавно! — И она милостиво поцеловала супруга в лоб.

— Но, крулева моя,— заговорил, захлебываясь от восторга, пан маршалок,— клянусь, я не переставал это делать изо дня в день в продолжение всех этих восьми лет, которые показались восемью днями. Сегодня же слова вырвались у меня помимо воли, так как, клянусь святым патроном, ты стала еще во сто крат прекраснее, чем бывала когда-либо!

— Но этого мало, пане маршалку,— подскочил к супругам Пигловский.— Наша обворожительная пани оказалась еще гением! Пани придумала, как избавить отчизну от самого ужасного врага — Кармелюка.

— Что, что такое? — воскликнул маршалок, отступая в ужасе назад при одном имени страшного разбойника.

— То, что наша пани, наша Жанна д'Арк, придумала, как поймать ненавистное чудовище, и, пригласивши для содействия нашу прелестную пани Агату, меня, недостойного подножка панского, и пана Рудковского, решила привести свой план в исполнение.

— На бога, Розюню! Да неужели ж ты задумала сражаться с этим... с этим... О матко свента... Езус пан... Моя печень не выдержит...— Пан маршалок схватился обеими руками за бок и продолжал, прерывая свои слова громкими вздохами:— Ни минуты покоя... ни часу сна... а пан консилаж * еще радит: «Никаких

* Консілаж (консиларж) — лікар *(польське розмовне)*.

турбаций!» Езус пан... Да неужели же ты, Розюню, пойдешь походом на этого проклятого дябла? Ох, эти облавы, осады — все это ни к чему не ведет. Но это пахнет кровью!— вскрикнул вдруг патетически пан маршалок, подымая руки к потолку.— Шляхетской кровью, панове!

При виде смертельного ужаса своего супруга Розалия с громким смехом упала в близстоящее кресло, но Агата поспешила успокоить маршалка:

— Успокойтесь, успокойтесь же, пане маршалку! Не предвидится ни облав, ни сражений, ни засад,— и все-таки гайдамак будет пойман.

— Именно — ни капли крови ни с нашей, ни даже с их стороны,— подхватил слова Агаты Пигловский,— и гайдамак будет пойман! И созданием этого хитроумного плана мы обязаны хитрости женской, которая — увы! — всегда проницательнее мудрости мужской.

— В таком случае... о! В таком случае,— произнес маршалок, облегченно переводя дух и проводя платком по лбу,— целую ручки прелестных крулев наших и надеюсь, что они и меня посвятят в этот план?!

— О нет! — вскрикнула Розалия, вскакивая с кресла.— И так наш секретарь сказал уже слишком много, а надо помнить, что в наших домах и стены имеют уши!

— Подчиняюсь! — Пан маршалок церемонно поклонился.— И отдаю себя в полное распоряжение наших прелестных повелительниц и верю в успех.

После нескольких незначительных фраз Розалия предложила Агате отправиться в приготовленную для нее комнату переодеться перед обедом, а сама удалилась в свой будуар.

— Ну, что нового? — обратилась она, не отворачиваясь от зеркала, к Фелиците, которая стояла за ее спиной и убирала ее волосы.— Рассказывай!..

— Ничего, моя пани дрога,— вот только пришла одна хлопка к еемосци.

— Хлопка?!

— Да, то есть она уже не хлопка, потому что пан Хойнацкий выдал ей вольную, но так как она происходит от подлых хлопов, то, я думаю, останется подлою хлопкой и до конца своих дней.

— Кто же это такая?

— А Фрося, горничная, если вельможная пани

припомнит. Она прежде была у Пигловского, а потом ее купила покойная пани Хойнацкая, и после смерти пани она осталась гоподыней у пана Хойнацкого. Конечно, люди чего не говорили по этому поводу, но, да хранит меня святая панна, осквернить невинного злым помыслом...

Панна Фелицита набожно подняла глаза к потолку в ожидании, что пани тотчас же разрешит ее от этого тяжелого обета, но Розалия сегодня не была расположена выслушивать сплетни.

— Чего же ей надо от меня? — спросила она нетерпеливо.

Фелицита подавила вздох,— она уже приготовила длинное повествование о похождениях Фроси, и вдруг пани так резко перебивает ее.

— Кто ее знает, чего она хочет от пани... Этого она не говорила мне, она только просит разрешить ей увидеть пани. Хотя, конечно, если все люди говорят кругом одно и то же, то нельзя же предположить, что все лгут. Да и пан Хойнацкий тоже, когда бы чего доброго хотел...— панна Фелицита обидчиво надула губы,— то мог бы найти себе особу шляхетную, которая, быть может, по доброте своей и в супружество с ним вступить согласилась бы, а не связывался бы с хлопкой, о которой столько говорят, что если бы только захотел слушать, то не переслушал бы всех рассказов и за целую ночь!— попробовала она еще раз возвратиться к заманчивой теме, но и на этот раз ей не удалось почесать язычок.

— Ну что же, если она так желает меня увидеть, то приведи ее,— приказала Розалия,— да только поскорее.

Разочарованная Фелицита вышла из комнаты, а Розалия оперлась локтями о туалет и задумалась; она так глубоко погрузилась в мысли, что даже не замечала своего прелестного личика, глядевшего на нее из зеркала. Тысячи самых разнообразных планов роились в ее голове, и среди них первое место занимала мысль о том, как бы ей увидеться с Кармелюком. В последний раз, когда она виделась с ним в карете, он сказал ей, что явится при первом ее зове, но как передать этот зов? Куда? Каким образом? Через кого?

В этом отношении она была вполне беспомощна. Ей некому было довериться, не от кого было ожидать совета. Даже довериться Агате было бы полным безумием. Розалия понимала это, тем более безумно было бы

довериться какому-либо хлопу, а эта глупая Фелицита в таких случаях не могла быть ничем полезною.

Приходилось действовать одной, но это равнялось полному неуспеху, а между тем она вся горела желанием увидеть героя-разбойника.

Размышление Розалии прервал легкий скрип двери.

Она быстро повернулась. В комнату вошла Фелицита, а за ней Фрося. Последняя была одета в гранатовую шелковую сукню, в кисейный фартушок, украшенный прошвами и кружевами, и в такой же беленький чепчик, кокетливо помещавшийся на самой верхушке ее фризованной головки. Хотя ей было лет двадцать семь и следы весело проведенной жизни уже обозначались на ее лице, но, благодаря прелестному личику, изящной фигурке, небольшому росту, кокетливому костюму и самой легкой гримировке, она казалась гораздо моложе и вообще напоминала собою кокетливую ловкую и плутоватую субретку помпадуровских времен [70].

Войдя в комнату, Фрося подбежала к Розалии, припала к ней и поцеловала колено красавицы.

— Встань! — произнесла мягко Розалия.— Ты хотела меня видеть? В чем дело?

Фрося уже успела оттопырить нижнюю губку, вытащить из кармана платок и придать своему личику самое печальное выражение.

— Ясновельможная пани,— заговорила она,— я пришла просить у мосци милости: пусть ясная пани возьмет меня к себе в горничные, я буду служить пани верой и правдой... Мне некуда деться, негде голову преклонить!

— Ты хочешь служить у меня? — изумилась Розалия.— Но ведь ты, кажется, получила вольную?

— Получила... но на что мне она! Куда я с нею пойду, где скроюсь?.. Ведь я только умею ухаживать за паней, одевать ее, убирать и слепо исполнять ее приказания!

Розалия невольно обратила внимание на последние слова хорошенькой покоевки.

— Но зачем же тебе и уходить куда-нибудь, и просить службы? Ведь ты живешь у пана Хойнацкого и...— Розалия на мгновение запнулась,— и тебе, кажется, было хорошо там?

— О так, вельможная пани, было,— всхлипнула

Фрося,— мне жилось там так хорошо, что лучшего и желать я не могла.

— Так в чем же дело? Прогнал тебя пан Хойнацкий?

— Бронь боже! — вспыхнула Фрося.— Пан просил меня, чтобы я осталась, посылал за мною,— произнесла она с некоторой гордостью и тотчас же добавила, потупив скромно глазки: — После смерти пани я занялась господарством в доме, и, конечно, милостивому пану будет первое время трудно без меня, но с тех пор, как этот хлоп,— Фрося подняла свой платок к глазам и заговорила уже сквозь слезы: — пшепрашам пани, как этот проклятый лайдак Кармелюк...

— Кармелюк? — перебила ее живо Розалия.— Да разве ты знаешь его?

— А как же! Ведь он тоже из Головчинцев; мы служили с ним вместе при дворе,— когда он был при панычах, то я была при на... при панских покоях,— поправилась она.

— А! — протянула Розалия, быстро комбинируя вспыхнувшие в голове мысли.— Так ты знаешь Кармелюка, но причем же он здесь, в твоих несчастьях?

— А вот причем, ясновельможная пани: когда этому проклятому, пшепрашам пани, богомерзкому псу и дяблу пришла в голову думка зарезать покойную пани, благодетельницу мою, и он привел свой умысел в исполнение, к пану Хойнацкому наехали исправники и комиссары, чтобы учинить следствие. Да простит мне святая панна, но панове эти явились к нам, конечно, не за тем, чтобы поймать Кармелюка, а с тем, чтобы набить свои кишени... они это и сделали... Несколько раз они возвращались к пану Хойнацкому и все тащили, тащили с него пенензы, а когда обобрали его так, что и двух талеров не осталось у него в кишене, тогда принялись за меня! Выдумали, о Езус-Мария, что я с этим гайдамаком зарезала свою пани!

Фрося заплакала уже непритворно.

— Конечно, на бедную девушку можно клеветать и взваливать что угодно! За меня некому заступиться, но из-за того, что я, как верная слуга,— продолжала она, глотая слезы,— исполняла все приказания своих господ, вовсе не следует, чтобы я повесилась на шею проклятому гайдамаку и хлопу, который не признает свя-

того папежа! Уж если бы я того захотела, то, пшепрашам пани, могла бы иметь лучшего кавалера. Да и за что бы я, храни нас матка свента, убила свою благодетельницу, пани? Конечно, и пан Хойнацкий, памятуя милость ко мне покойной пани, подарил мне за верную службу несколько безделушек, и злые языки не дают мне за это покоя, но и при покойной пани мне жилось не хуже, даже во сто крат лучше, чем теперь на воле.

— Так вот в чем дело,— протянула Розалия с усмешкой.— Значит, и тебе Кармелюк стал поперек дороги?

— Пусть уже ему бог заплатит за мое несчастье, хотя, конечно, в этом он и не виноват! — вскрикнула Фрося и снова заговорила с жаром: — Пусть ясновельможная пани примет меня к себе в горничные,— в доме пана маршалка панове комиссары не посмеют преследовать меня,— я же буду служить пани верой и правдой и, клянусь святым папежем, сумею угодить пани! Пусть пани спросит обо мне и пана Пигловского, и пана Хойнацкого, и пана Янчевского, он часто приезжал к нам и...

— Ну, в таком случае мне пришлось бы, должно быть, расспрашивать слишком многих,— усмехнулась милостиво Розалия,— но так и быть, я могу оставить тебя у себя; только смотри — у меня не шалить!

— Бронь боже! — вскрикнула Фрося, осыпая руку пани поцелуями.— Злые и нерадивые слуги только потому и сочиняют на меня всякие небылицы, что я умею угодить господам, у которых служу, потому что я скорее дозволю отрубить себе правую руку, чем ослушаться малейшего приказания своего господина.

При этом Фрося скорчила такую невинную рожицу, которая как нельзя лучше напоминала смиренную лисицу в монашеском клобуке.

«Хитрая, шельма, и бывалая,— подумала про себя Розалия,— но мне такую и нужно...»

— Отлично,— произнесла она вслух,— так помни же: ты остаешься служить у меня,— подчеркнула она,— моей горничною. Панна Фелицита! — обратилась она к несколько обиженной экономке,— Марысю возьмите к себе в вышивальню, а Фрося будет при мне!

Фрося еще раз поцеловала пани в ручку, Фелициту в плечо и, радостная, сияющая, выпорхнула из будуара красавицы.

LXI

На другой день в обеденную пору прилетел в усадьбу Рудковский с Зеленским. Тотчас же после обеда Розалия пригласила своих союзников в будуар и велела привести Зеленского.

Когда Зеленский был приведен, она собственноручно заперла все прилегающие к будуару комнаты и, только убедившись в том, что их никто не может слышать, возвратилась на свое председательское место.

— Пане презус, начинайте допрос! — обратился к ней Рудковский.

— Прекрасно,— усмехнулась Розалия,— я начну, но попрошу вас всех, панове, расспрашивать подробнее, чтобы выяснить все, что нам нужно знать.

— Итак, ты, вацпане,— обратилась она к Зеленскому,— служил у Кармелюка?

— Два месяца!

— И хорошо познакомился с его жизнью и всеми его обычаями?

— Как со своими десятью пальцами!

— Отлично. В его шайке есть какая-то женщина?

— Есть.

— Кто она? Откуда родом?

— Этого никто не знает, должно быть, она не здешняя, а считалась она прежде шинкаркою в той корчме, куда ясновельможная пани заезжала; она перепродавала награбленный разбойниками скот и всякое добро, но, думаю, теперь оставила это занятие.

— Хорошо... хорошо... Она находится всегда в таборе?

— По большей части — с атаманом.

— С атаманом? — подхватила Розалия.— Что ж она ему — жена?

— Нет, не жена, но дороже жены!

— Так любит ее гайдамак? — произнесла живо Розалия и невольно схватилась за сердце. Ей показалось, что какая-то острая игла впилась в ее сердце и больно повернулась там. Но, испугавшись, чтобы ее слишком

живой тон и невольный жест не дали повода к каким-либо подозрениям, она поспешно обратилась к Рудковскому: — Але, пане секретаре, что ж пан сидит и не записывает ничего?.. Ведь нам надо запомнить все до малейших подробностей: в самом ничтожном известии может заключаться конец клубка, который нам надо размотать.

— Пшепрашам, пане презус! — воскликнул Рудковский.— Виноват, виноват, забыл совсем! — И, выхватив из кармана записную книжечку, он начал быстро писать в ней карандашиком, диктуя себе вслух: — «При шайке находится женщина, которую атаман любит...» Ты говоришь, любит? — вскинул он на Зеленского глаза...

— Еще как любит! Не съест, не выпьет ничего без нее, слушает ее во всем! Куда он, туда и она!.. Ее и разбойники все слушают, атаманшею называют, все ее боятся. Так ее любит атаман, что за нее горло всякому перервет.

— Возможно ли, простую бабу? — вырвалось невольно у Розалии.

— Но ведь и сам он — простой хлоп, кого же ему и любить, как не простую бабу? — усмехнулась Агата.

— А что же, она хороша, эта гайдамачка, а? — обратился Пигловский к Зеленскому.

— Пане Алоизе, этот вопрос совсем некстати! — заметила Агата и шутливо ударила Алоиза по руке веером.

— Протестую! — Алоиз вскочил с места и заговорил тоном заправского юриста: — Вопрос сей имеет громадное значение: primo — он может служить для нас мерилом силы страсти дикого гайдамака, а secundo — доказательством того, разлучается ли сия тигрица со своим леопардом или нет, ибо если предположить, что она еще и физиономией своей походит на тигра, то уже из одной ревности не будет отпускать от себя своего Ринальдо ни на шаг!

— Так пан полагает, что только некрасивая женщина ревнива? — Агата бросила из-за распущенного веера кокетливый взгляд на Алоиза.

— Бронь боже! Как бы ни была красива женщина и как бы ни была уверена в страсти своего возлюбленного, она всегда заключает в себе неистощимый запас

ревности! — продолжал Алоиз с изысканною улыбкой.— И право, мудрецами до сих пор не решено, что сильнее: любовь ли женщины, или ее ревность! О, jalousie de femme! * Это самая страшная сила!

— Я вполне согласна с паном! — усмехнулась Розалия.— Но мы отклоняемся в сторону. Итак, вацпане, отвечай на вопрос, предложенный паном, он имеет для нас значение. Хороша гайдамачка?

Зеленский хитро улыбнулся своим зрячим глазом.

— Говорит пословица: «На вкус, на цвет товарища нет». Конечно, если бы я думал выбирать себе подругу, то выбор мой не остановился бы на такой, пшепрашам, дьяволице, но, во всяком случае, если шановное панство может вообразить себе самую прекрасную ведьму, то это будет наша атаманша: глаза ее черные, как угли, брови впились в лоб, точно пиявки, а когда она разозлится, что бывает весьма часто, то из глаз ее искры сыплются просто снопами, страшно стоять близко, чтобы не загорелась одежа!

— Или не присмалилась шкура? — подмигнул Рудковский.

— О, этого от нее можно ждать всегда! Она-то и полюбилась атаману не только за свою дьявольскую красу, а и за свой дьявольский нрав. Зарезать человека ей все равно, что доброму кухарю цыпленка! Одна на трех полезет, а как стреляет, как на коне гарцует — огонь! Атаман поручает ей часто атаманство, и уж когда она атаманит, так живым останется только тот, кто душу свою унесет.

— До правды, интересно было б увидеть эту прелестную дьяволицу! — усмехнулся жиденький Алоиз и, прищурив глаза, подкрутил свой светлый усик.

Агата бросила в его сторону гневный взгляд и с иронией заметила:

— Мы это удовольствие доставим пану, но свидание с такою огненною прелестницей может окончиться для пана не совсем благополучно...

Розалия не заметила этой сценки, она сидела, плотно сжав губы, вся поглощенная словами доносчика. Как огненные иглы, пронизали ее мозг отрывистые мысли: «Любит... доверяет... не разлучается... Слушает-

* Ревність жінки (*франц.*).

ся ее во всем... И хороша, как дьявол? Неужели же лучше ее, Розалии, первой красавицы, повелительницы целой губернии? Неужели же она не сможет вырвать ее из сердца Кармелюка?» Она глубоко перевела дух и мрачно обратилась к Зеленскому:

— Скажи, давно уже, гм... имеет у себя Кармелюк эту атаманшу?

— Но не все ли это равно, Розюню? — изумилась Агата и сделала самое невинное личико.

— Нет, не все равно!— ответила с жаром Розалия.— Потому что если это давняя связь, то она не может иметь той всепокоряющей силы, как новая, свежая, молодая любовь.

— О так, так! — вздохнула меланхолично Агата и блеснула в сторону Алоиза из-под опущенных ресниц быстрым, как молния, взглядом.

— А так как мы хотим употребить хитрость,— продолжала Розалия уже обычным шутливым тоном,— то должны узнать всю подноготную наших жертв. И так, вацпане? — повернулась она к Зеленскому. Деланная улыбка застыла на ее лице, а глаза впились в отвратительное лицо шпиона.

— Насколько мне известно, атаман познакомился с нею недавно — в начале нынешней весны...

— А...— произнесла Розалия, закусывая губу,— всего пять-шесть месяцев...

— Гм... самое горячее время,— заметил с многозначительною усмешкой Рудковский.

— Как для кого! — бросил небрежно Пигловский, и на его хорошеньком лице появилась усталая, пресыщенная улыбка.

— Так пан думает, что это уже пора охлажденья? — вспыхнула Агата.

— Для хлопа, пани, для хлопа, но не для шляхтича...

При словах Рудковского вся кровь бросилась Розалии в голову, сердце сжалось и будто остановилось в груди. Она быстро встала, отошла к окну и, распахнув его, прислонилась плечом к раме.

«Самое горячее время! — повторила она с затаенным бешенством слова Рудковского.— Верно, верно! Вот что является причиною шляхетной скромности Кармелюка! Два года тому назад... там в беседке...— взглянула она

горящими глазами в глубину сада,— он горел у ее ног как безумный, как опьяненный, а теперь, ха-ха... подносил лишь ее руку к своим устам холодно, почтительно, как покорный хлоп! Он говорил только о благодарности, но не о радости, он горестно вспоминал о прошлом, но не потому, чтобы чувствовал свою вину или благоговел перед ней, как перед святынею, а потому, что у него нашлась возлюбленная: баба! Простая баба, из-за которой и ее образ потускнел в его глазах!»

Розалия вспыхнула и почувствовала, что лицо ее снова загорелось жарким огнем. Но будь, что будет! Глаза ее гневно сверкнули, и руки впились в дорогой веер. Она заставит его полюбить себя! Хотя бы из гордости! Хотя бы для того, чтоб растоптать ее, ненавистную соперницу.

— Розюню, что же ты? — прервал ее размышления голосок Агаты.— Эти безбожники просто только мешают нам, а ты не остановишь их.

— Ну что же, теперь уж можно развязать им языки,— ответила Розалия и снова повернулась к собеседникам, спокойная и веселая.— Ужасно душно! — Она несколько раз обмахнулась веером и прибавила: — Я полагаю, допрос уж кончен.

— Как,— вскрикнул Рудковский,— допрос окончен, когда мы не узнали еще самого главного?

— Поручаю пану докончить допрос, а с меня уж довольно! Я устала! — Розалия опустилась на стоявшее у окна кресло и усиленно замахала веером.

Рудковский принялся за допрос по всем правилам искусства. Он узнал имя разбойницы и все ее приметы, попробовал узнать, где находится лагерь Кармелюка, но этот вопрос принес компании полное разочарование: оказалось, что Зеленский знал только ту стоянку, в которой Кармелюк едва не сделался жертвой Янчевского, но о том, где мог скрываться в настоящее время разбойник, он не имел ни малейшего понятия. На вопрос же Рудковского, не может ли он снова отправиться и разузнать, где устроил свой новый лагерь разбойник, Зеленский пришел не только в смертельный ужас, но и в нескрываемое негодование.

— Конечно, моя шкура неказиста,— произнес он дрожащим голосом,—но я должен дорожить ею, так как не имею другой!.. А как пан думает, что сделает с нею

не только Кармелюк, но каждый из его шайки, лишь только увидит меня? А ведь эти псы рассыпаются всюду, по всем дорогам, по всем лесам. Я боюсь даже появляться в селе, чтобы эти клятые хлопы, которые, уверяю панство, все, как один, стоят за подлого гайдамака, не растерзали меня!

— Пшепрашам, пан прав, я не сообразил,— согласился Рудковский.— Но припомни, нет ли там среди гайдамаков кого-нибудь, кто бы за известное вознаграждение — а мы уж не поскупимся! — оказался бы, гм... несколько сговорчивее и сообщительнее?

С минуту Зеленский подумал, но затем решительно заявил, что во всей банде не найдется и одного человека, способного предать атамана, что же касается их сообщительности, то все это —травленые волки, которых на мякине не проведешь!

— Глупое быдло! — заметил скептически Пигловский.

— Н-да, это слепое поклонение атаману несколько осложняет нашу задачу, но, во всяком случае,—воскликнул напыщенно Рудковский,— под командою таких прелестных предводительниц мы не теряем надежды выиграть победу! Ступай,— обратился он к Зеленскому,— когда надо будет, я тебя позову опять.

В продолжение этой сцены Розалия успела уже совершенно овладеть собой и придать своему лицу спокойное и веселое выражение, только невольное покусывание губ обнаруживало скрытое волнение красавицы.

— Ну, панове, теперь к делу,— обратилась она к своим союзникам, когда дверь за Зеленским закрылась, и, встав с кресла, заняла снова свое председательское место.— Итак, предположения наши оправдались: у гайдамака есть коханка, и, мало того, коханка эта оказывается и разбойницею, которая, быть может, еще страшнее и жесточе самого Кармелюка, а потому нам надо поймать ее как можно скорее.

— Згода,— наклонили головы Пигловский и Рудковский.

— В таком случае решайте, как это сделать?

— Ничего нет легче,— вскрикнула с детской игривостью Агата,— поймать Кармелюка, а гайдамачка явится, наверное, выручать его!

— Но, душка моя,— рассмеялась Розалия,— ведь

если мы поймаем Кармелюка, то можем уже не заботиться об его коханке. Мы ведь хотим сделать наоборот: поймать эту Ульяну, чтобы заманить Кармелюка.

— Ах, так, так! — рассмеялась Агата и по-детски замахала ручками.— Я забыла, я совсем забыла.

— И притом нам надо выманить ее из лагеря, это главное, думайте об этом, панове,— добавила Розалия.

— В таком случае я могу предложить только одно верное средство,— заявил Пигловский:— заставить гайдамачку влюбиться в кого-либо другого, и когда сей новый возлюбленный назначит ей свиданье...

— Неужели же пан думает, что она променяет Кармелюка на...

— На шляхтича? А почему же нет? — Пигловский с удивлением взглянул на Розалию и продолжал несколько обиженным тоном: — Неужели пани полагает, что среди нашего шляхетства не найдется никого, кто бы мог затмить Кармелюка?

— Бронь боже! — вскрикнула с деланным смехом Розалия.— Как могла прийти пану такая думка! Я хотела только сказать, что этой дикой женщине только и может прийтись по душе дикий разбойник, а что благородный шляхтич покажется ей тем же, чем жемчужное зерно петуху!

— Да и кроме того, чтоб увлечь ее, надо видеться с нею, для этого надо отправиться в их лагерь, а кто же решится на это? Да и вообще... увлекать хлопку...— Агата с брезгливою миной надула свои губки.— Какой же шляхтич пойдет на это?

— Совершенно верно, моя дрога! — подхватила Розалия.— Итак, предложение пана Пигловского отклоняется как непригодное к осуществлению.

Пигловский послушно поклонился и произнес с улыбкой:

— Если наши прелестные начальницы не доверяют силе мужской красоты, то я слагаю оружие.

— Ну, пан Рудковский что нам скажет? — обратилась Розалия к своему секретарю.

— Я, пшепрашам прелестных повелительниц наших, полагаюсь больше на злото, чем на любовь, и думаю, что если мы предложим этой дикой амазонке добрый

куш пенензов и пообещаем ей полное прощенье, то она согласится выдать своего прелестного Ринальдо.

— Как! — вскрикнула Розалия и даже приподнялась в своем кресле.— Вы полагаете, что любящая женщина может продать за злото своего коханца? О, в таком случае вы не знаете женщин вовсе! — заговорила она с жаром.— Если женщина любит, то для своего избранника она способна забыть все: имя, положение, совесть — весь мир! Только смерть может вырвать любовь из ее сердца, но не злото, не злото!

Воодушевленная своими словами, Розалия раскраснелась, темные глаза ее загорелись,— в эту минуту она была удивительно хороша, и Рудковский просто впился глазами в красавицу.

LXII

— Крулева наша! Я бы сказал скорее: богиня наша,— вскрикнул Рудковский с неподдельным пафосом,— потому что только богиня может так говорить о любви, но устами пани говорит уродзоная шляхтянка, простая же хлопка не способна к таким тонким, божественным чувствам, ее сердцу доступна только грубая страсть, а эту страсть всегда побеждает страсть к злоту!

— Но ведь она может всегда насытить эту страсть и без вашей помощи,— усмехнулась Агата.— Зачем ей наш куш, когда для этого ей стоит только явиться к нам со своею бандой и обобрать все наши кишени?

— Но... положим! — попробовал было защищать свой план Рудковский, но его голос был покрыт громким смехом дам.

— Нет, пане, сдавайся, наши прелестные презусы разбили нас по всем направлениям! — воскликнул Алоиз.— Но теперь, прелестные дамы, очередь за вами: что же придумаете вы?

— Что мы придумаем, то мы скажем потом! — усмехнулась лукаво Агата.— Теперь же говорите вы! Неужели же фантазия ваша уже истощилась? Пане Алоизе, ведь вы были в войсках Бонапарта?

— Я сражался с москалями, но не с женщинами.

— Кто же страшнее?

— О, всеконечно, женщина, да еще та, глаза которой покоряют всякого!

Агата весело рассмеялась, довольная комплиментом Пигловского, и шутливо ударила его по руке веером.

— Но, быть может, пан Рудковский окажется храбрее? — заметила игриво Розалия.

— Я посчитал бы себя счастливцем, если бы пани дозволила мне доказать свою храбрость. Волчицу мы не выманим ничем из берлоги; вернее и короче будет, если мы накроем ее вместе с волком в каком-либо тайном убежище, а ввиду жаркой любви этого атамана таковое должно быть у них всенепременно!

— Но это снова пахнет кровью! — возразила Агата.— Пан забывает наше главное условие.

— И притом повторяет последний замысел Янчевского,— подхватила Розалия,— который, как известно, кончился...

— Тем, что наш пресловутый презус поймал вместо Кармелюка огромную фигу! — вскрикнул Рудковский и покатился от хохота, вспомнив неудачу своего ненавистного соперника.— Но прошу тысячу раз прощенья у наших прелестных дам за грубое слово! — спохватился он через мгновенье.

— То же грозит и нам, если мы не оставим навсегда несчастной мысли схватить Кармелюка силой,— произнесла настойчиво Розалия.— Думайте и решайте только то, чем и как выманить гайдамачку из лагеря.

— Я пасую,— развел руками Пигловский.

— А пан Рудковский?

— Пусть моя пани дозволит мне собрать отряд храбрецов,— вскрикнул с жаром Рудковский,— и клянусь, или я сам погибну, или проклятый гайдамак будет болтаться на перекладине на первой ярмарке.

— Я запрещаю это, слышите! — вскрикнула гневно Розалия и, спохватившись, добавила взволнованным голосом: — Не стоит подлый хлоп того, чтоб из-за него лилась шляхетская кровь, и так ее пролито уже немало! Если грубый хлоп может действовать только силой, то у шляхтича есть еще разум и хитрость.

— Но при такой постановке вопроса и он оказывается бессильным,— пожал плечами Рудковский.

— Как? — переспросила Розалия.— Значит, вы, па-

нове, отказываетесь найти способ выманить из лагеря гайдамачку?

Пигловский и Рудковский наклонили головы.

— В таком случае,— глаза Розалии блеснули неподдельным воодушевлением,— оставьте нас одних! Мы сами найдем этот способ и тогда уже сообщим его вам.

— Воля пани! — Рудковский и Пигловский развели руками и послушно вышли из комнаты.

— Наконец-то, наконец-то мы одни! — вскрикнула Розалия, когда Пигловский и Рудковский вышли из будуара, и, опустившись подле своей подруги на козетку, она обняла ее стан одною рукой и заговорила с жаром: — О эти мужчины! На что они годны? Будь то простой хлоп или уродзоный шляхтич, умная женщина всегда обернет его трижды вокруг своего пальца! Они не смогли придумать ничего! Но мы, мы придумаем все!

— О так! — воскликнула Агата и захлопала в ладоши.— Мы сами придумаем все и тогда хорошо посмеемся над ними!

— Итак, ангел мой,— продолжала с лихорадочным возбуждением Розалия,— собери весь свой разум, всю свою хитрость: понимаешь, нам надо выманить ее из лагеря, т. е. заставить ее сделать самую неосмотрительную глупость. Скажи же мне, какая сила может заставить женщину забыть опасность и решиться на страшный риск?

— О Розюню, это любовь! — вскрикнула восторженно Агата.

— Так, ты права, моя дорогая! Любовь овладевает нами, как вихрь былинкою, и мы всецело отдаемся ее порыву. Но есть в нашем сердце чувство еще сильнее любви! — Розалия поднялась, лицо ее жарко загорелось, грудь высоко подымалась.— Это чувство ангела превращает в тигра, каждую струйку крови — в огненный поток! Оно заполняет наш ум, сердце, волю! Из-за него мы забываем все, все на свете — свое положение, прошлое, будущее...

— Это — ревность, ревность!

— Да, ревность! — воскликнула Розалия и, нагнувшись к Агате, уперлась в ее плечи руками.

Лицо красавицы было бледно, черные глаза горели, как угли.

— Ты угадала! — произнесла она с порывом нескрываемой злобы.— Ревность погубит ее.

Свежее утро принесло успокоение Ульяне и несколько рассеяло ее ночные мысли. На сцену выступили теперь более спокойные соображения. Любящее сердце старалось оправдать поступки Кармелюка и объяснить их во что бы то ни стало в благоприятном для себя смысле.

«А может быть, он и в самом деле просидел эти три дня у дьяка, может, и вправду за ним гнался Янчевский и потому только он решился провести на часах вчерашнюю ночь, а потом заснул как убитый, потому что она заняла его место, а он ей доверяет, как самому себе. Но почему же он был так холоден, так сух, не обнял, даже и не поцеловал? Устал, измучился в дороге... Ведь это может быть...— старалась убедить себя Ульяна, и так как ей хотелось быть уверенною в любви Кармелюка, то и эти рассуждения, такие шаткие при первом взгляде, начали казаться ей все более и более вероятными.— Притом ее ревность! Вечные допросы, укоры! Все это только раздражает Кармелюка и вызывает его охлаждение. Он полюбил ее за пылкий и веселый нрав,— надо вернуться к этому. Попытаться еще раз, в последний раз, возвратить его любовь, но если и это не поможет — тогда уж будет то, чему быть суждено!»

Приняв твердо такое решение, хитрая Ульяна решила все-таки проверить прежде всего слова Кармелюка; если он был у дьяка, значит, можно еще надеяться на возвращение его любви, если же не был... «Но нет, нет, он был там!» — чуть не вскрикнула она вслух и все же, положив в сторону ружье, отправилась разыскивать Довбню, которому решила поручить это дело.

Разыскав молодого хлопца, она увела его в лес и обратилась к нему с самым невинным видом:

— Слушай-ка, голубе, сделай-ка ласку и мне, и пану атаману. Вчера атаман вернулся очень зажуреный. Ему довелось просидеть два дня у дьячка в Вишеньках, — она назвала деревню, которую упоминал Кармелюк,— и там у дьяка в хате забыл пистоль свой, а этот пистоль достался ему от дида. Так вот ты, голубе, оседлай коня да поскачи скорее к тому дьячку,—это и не за горами,—

и разузнай, не забыл ли атаман у него пистоля. Только, чур, об этом никому ни слова, ни даже атаману: найдешь пистоль — тогда и обрадуем его, а нет — так незачем и жалю завдавать.

Хлопец радостно обещал исполнить все, как требовала атаманша, и, оседлав коня, тотчас отправился в путь.

Проводив его из предосторожности до дороги, Ульяна поспешила возвратиться назад; она застала Кармелюка уже на ногах.

— Ну что, голубе, как спалось? — обратилась она к нему с ласковым вопросом.

Кармелюк быстро обернулся, ожидая встретить злые, насмешливые глаза и искривленные недоброю улыбкой губы, но вместо этого он увидел прежнюю Ульяну, спокойную, веселую, а она глядела на него с самою приветливою улыбкой.

В душе атамана что-то дрогнуло. Ему вспомнился вчерашний резкий ответ, вспомнилось все, что для него делала эта женщина, и Кармелюку захотелось примириться с нею и загладить свое жестокое отношение.

— Прости, Ульяна,— заговорил он, смешавшись, и взял ее за обе руки.— Вчера я обидел тебя, ну, так, нашло что-то, не знаю... Только прости: не хотел тебе делать зла!

Давно уже не слыхала Ульяна в словах Кармелюка, обращенных к ней, такого дружеского, мягкого тона; в первое мгновенье она вся вспыхнула, ей хотелось броситься Кармелюку на шею и задавить его в своих объятиях, разрыдаться у него на груди и рассказать, как она любит его, как измучилась она, думая лишь о том, что он мог разлюбить ее, но какая-то принужденность в его речи, которую она не слыхала, но скорее почувствовала сердцем, удержала ее от этого намерения.

— Да о чем ты просишь, соколе мой, и в толк не возьму? — ответила она с самою приветливою улыбкой.— Разве мы с тобой не товарищи-друзья! Так нам ли еще всякое лыко в строку ставить! Лишь бы ты, орле мой, был весел и здоров да дело наше росло и крепло, а о пустяках тужить нечего!

Кармелюка донельзя обрадовала спокойная и бодрая речь Ульяны.

— Спасибо тебе, Ульяна, спасибо за доброе слово,— произнес он радостно, сжимая ей руки.— Давно я не

слыхал от тебя таких разумных речей. Ну, дай же я тебя поцелую за это, товарищ мой верный!

Он привлек ее к себе и крепко поцеловал.

«Нет, не то, не то!» — словно закричал в сердце Ульяны какой-то властный голос, но она поборола вспыхнувшее в ней снова ревнивое чувство и продолжала тем же живым, веселым тоном:

— Да ты еще не ел ничего! Что ж это я стою? Сейчас сварим кулишик твой любимый, вон и угли еще не погасли, а у нас и винцо хорошее припасено!

Ульяна хотела было броситься бежать, но Кармелюк ласково остановил ее за руку:

— Постой, не суетись, ведь ты не спала всю ночь! Ложись отдохни, обойдемся и без кулиша.

Рука, которую держал Кармелюк, сильно дрогнула.

— Жалеешь меня? — произнесла тихо Ульяна, не отводя от него глаз. Страстная любовь и трепетная надежда засветились в них.

Кармелюк понял этот взгляд.

— Да как же мне не жалеть тебя? — произнес он с деланною веселостью, стараясь не смотреть на Ульяну.— Разве ж ты не мой верный друг и товарищ?

Ульяна подавила горький вздох и, чтобы скрыть овладевшее ею волненье, бросилась поспешно хозяйничать.

Через несколько мгновений над огнем уже привешен был котелок. Ульяна покончила свои хлопоты и пока что присела возле Кармелюка.

— А что, Иване,— заговорила она ласково,— послал ли ты уже разведчиков, чтобы узнали, где Явтух?

— Да вот же приказал Андрею и Дмитру, чтобы выбрали да снарядили хлопцев.

— Так, так, надо спасти беднягу, хоть самим пропасть. Ведь Пигловский с него три шкуры сдерет. Да и не об одном Явтухе надо подумать, Иване.

— О ком же еще? — произнес живо Кармелюк и обратился к Ульяне.

Ульяна подвинулась к нему еще ближе и ласково взяла его за руку.

— О детях твоих,— произнесла она тихо.

— О моих сынах... ты? — Кармелюк недоверчиво взглянул на нее.

— Да, я! — продолжала Ульяна, спокойно выдержав

взгляд атамана.— Вот ты тогда разгневался на меня, когда я не хотела, чтобы ты шел вместе с Ясем, а ведь я была права: не лучше ли было мне провести хлопца, а то если хоть кто-либо в селе увидал, что ты привел его, тогда ведь детям...

— Да я не провожал его, только на шлях вывел! — перебил ее Кармелюк.

«Ага, значит, и вправду не был там!» — заметила про себя Ульяна и продолжала вкрадчиво вслух:

— А хоть и не видали тебя с сыном, так ведь всяк помнит всегда, что они твои сыны, и надо только бога благодарить за то, что до сих пор паны не повесили их где-нибудь на шляху! Там нельзя их оставлять дальше, Иване!

И Ульяна заговорила о том, что несчастные дети подвергаются у Пигловского ежедневно смертельной опасности, что надо их вырвать оттуда, держать их при себе в лагере или устроить где-нибудь в отдаленном селе; она бралась в этом помочь.

Ловкая Ульяна затронула самую больную и самую нежную струну в сердце Кармелюка, и мало-помалу между атаманом и атаманшей завязалась дружеская беседа.

Этот сердечный разговор как-то снова сблизил Кармелюка с Ульяной и словно сгладил многие шероховатости их прежних отношений.

Под конец беседы пришли Андрей и Дмитро и сообщили, что хлопцы отправились уже на разведки.

Ульяна подала завтрак, и проголодавшиеся товарищи принялись за еду с аппетитом.

В продолжение всего снеданка Ульяна старалась превзойти самое себя. Она угощала, потчевала товарищей, шутила, смеялась, принимала самое горячее участие в обсуждении дальнейших планов. С Кармелюком же держалась того же дружеского, товарищеского тона, не надоедая ему проявлениями своей любви.

Бессонная ночь и нервное, ажитированное настроение делали Ульяну еще красивее.

Тактика ее оказала свое действие: раза два она поймала на себе теплый, ласковый взгляд атамана.

Прошло дня два без особых приключений.

Ульяна примирилась с Кармелюком. Конечно, в этом примирении не было уже и тени той пламенной

любви, которая соединяла их прежде, но все же это были дружелюбные и близкие отношения, а Ульяна пока довольствовалась этим, надеясь со временем воскресить всю прежнюю любовь атамана.

На четвертый день утром прибыли посланные Дмитром и Андреем хлопцы.

У костра сидели Ульяна, Кармелюк, Дмитро, Андрей и Олекса.

Посланцы сообщили, что Явтух находится в литинской тюрьме под усиленною стражей,— кроме местных сторожей, целая рота солдат охраняет тюрьму; выхватить же его оттуда какой-либо хитростью едва ли возможно, так как тюрьма теперь выстроена новая, каменная, а Явтух, как они узнали, закован кандалами по рукам и ногам, Янчевский же и судья литинский попеременно наблюдают за тем, чтобы над узником поддерживался самый строгий надзор.

— Гм... дело дрянь,— проворчал угрюмо Дмитро.— Придется, видно, дядьку Явтуху походом пойти в Сибирь!

— Кто это говорит? — произнес живо Кармелюк и резким движением повернулся к Дмитру.— Это ты, ты, Дмитро, говоришь такое паскудство? — изумился и рассердился он.

— Да разве я что, атамане, отказываюсь, что ли? Я только вижу, что из нашей диверсии ничего не выйдет... Ну что ж — на нет и суда нет.

— Откуда ты видишь это? Оттого, что рота солдат стоит подле тюрьмы да что выстроили вместо деревянных каменные стены? Испугали тебя москали?

— Меня-то, атамане, не то что москали, а дидьки с хвостами не испугают,— отвечал обиженно Дмитро,— а только вижу я, что на этот раз мы Явтуха не вызволим.

— Да кой черт говорит тебе, что мы Явтуха не выручим? — вспылил Кармелюк.

— Свой разум... мой командир. Когда бы в другом городе дело было, так пожалуй бы и выгорело. А здесь уже во второй раз не проведем... Ну, и рота солдат тоже ведь не шутка, здесь уж бабушка надвое ворожила: кто возьмет?

— Тот возьмет, кто оглядываться назад не будет.

— Что ж, можно и не оглядываться, не повора-

чивать фронта,— крякнул солдат,— только так, зря, на вилы одна медведица лезет, да и то, когда ее обступят со всех сторон.

— Когда бы для того, чтоб спасти товарища, понадобилось не то что на вилы, а и самому черту на рога лезть, так и то мы не должны задумываться! — крикнул гневно Кармелюк.— Тот, кто боится или не верит мне, останется дома варить кулиш да сорочки мыть, а я вам говорю, что Явтух будет здесь, с нами, слышите вы все! — Он с силою стукнул саблей о землю.— Будет не дальше как через неделю здесь!

С этими словами Кармелюк, взбешенный замечаниями солдата, поднялся с места и направился в глубину леса.

LXIII

Ульяна сидела здесь же и слышала спор атамана с Дмитром, и хотя она соглашалась в душе с последним, но, не желая восстановлять против себя Кармелюка, не захотела высказаться.

— А что, думаешь, не вызволит он Явтуха из неволи? — заметил с улыбкой Андрей, смотря вслед удаляющемуся атаману.— Теперь я хоть об заклад готов биться, что через недельку Явтух будет здесь вместе с нами горилочку кружлять!

— Верно! — поддержал Олекса.— Уж коли атаман слово дал, так сделает по-своему.

— По-вашему, и небо к земле приклонит! — огрызнулся злобно солдат.— Чай, слышали, что в тюрьме под замками сидит Явтух и рота солдат к нему приставлена?! Не станем же мы тюрьму штурмом брать, по камням разносить, а солдат на свою сторону не сманим!..

— И стен разносить не будем, и с солдатами биться не станем, и сманивать их не придется, а вот будь я самый последний пес, если сам Явтух не будет рассказывать нам здесь про свою неволю! Разве наш атаман на всякие штуки не первый мастер? — вскрикнул Андрей.— Уж как он это устроит — не знаю, а только что тем дело окончится, так это верно!

— Держи карман пошире! — заметил скептически Дмитро.

— Не веришь? Каменные стены, да москали, да оковы,— думаешь, их атаману будет трудно перешагнуть? — продолжал горячо Андрей.— А вспомни-ка двор маршалка? Не был ли он обнесен каменною стеной, да еще какой? И ров кругом, и подъемный мост, и ворота на цепях да на запорах, и команды полон двор! А что же: вошли безо всякого боя и все деньги забрали. А деньги ведь были запрятаны позамысловатее, чем Явтух в тюрьме, вспомни-ка! В стене, да еще за каким-то королем Жигмонтом, черт его маму знает, которому и надавить надо было уж не помню теперь что — каблук или шпору,— тогда только открывался. Ведь если бы мы там хоть всех перерезали или семь дней думали, так ни в жисть бы не догадались. А атаман все разведал! Сама маршалкова ему все как есть рассказала, так окрутил ее вокруг пальца, что в полдня...

Ульяна слушала рассеянно разговор товарищей, но при последних словах Андрея она быстро повернулась в их сторону и напрягла свой слух и внимание.

— Те-те-те! — перебил Андрея Дмитро. — Штука! Врезалась баба — ну и рассказала все.

— Да какая же баба! Не баба, а пани маршалкова! Значит, сумел и ее провести! Прикинулся таким графом, что я и очам, и ушам своим не верил.

— О какой это маршалковой говорите вы? — вмешалась в разговор Ульяна, стараясь сохранить в голосе полное спокойствие.— Я что-то такого дела не припомню.

— Да это еще не за твою память было, а в первый приход атамана,— ответил Андрей.— Жена она маршалка Фингера из того вот... позабыл, как их село зовут. Да ты ее видела на облаве: красавица писаная!

— Еще бы,— поддержал Олекса,— за нею все паны со всей губернии гибнут! И вот же окрутил атаман...

— Потому что баба,— не унимался Дмитро,— хоть маршалкова, хоть сама королева — все они к атаману, как мухи к меду, липнут, потому что атаман на них мастак — первый сорт: какую оком накинет, раз-два — и готово... Когда бы Явтуха бабы стерегли, ну тогда бы я и сразу сказал — наша возьмет, а ведь судью литинского глазом да усом не проймешь.

Товарищи продолжали спорить, но Ульяна уже не слушала их: неожиданно пойманный ею обрывок раз-

говора вдруг открыл ей совершенно новые перспективы, о которых она почему-то и не думала до сих пор.

Ведь Кармелюк жил без нее много лет, и жил, и держал в трепете весь этот край. А она только и думала об его жинке. Что жинка! Вот какие коханки бывали у него! Даже жена маршалка могла влюбиться в него! А она, Ульяна, и не думала об этом никогда! Красавица, редкая красавица — вспомнила Ульяна виденную ею на облаве Розалию. Важная пани, первая красуня, и полюбила разбойника! Нет, положим, не разбойника, а графа,— Андрей говорит, что атаман прикинулся графом,— ну все равно,— значит, он может прикинуться чем захочет. Но ведь она узнала потом об обмане? Все узнали... А зачем же она была на облаве? Она была одна, больше не было ни одной пани. Значит, пани на таких облавах не бывают, а она поехала. Зачем? Почему? О, конечно, для того, чтобы посмеяться над обманщиком, чтобы отомстить ему! Теперь она не может любить атамана, нет, не может!

Последнее заключение несколько успокоило Ульяну, но волнение, вызванное в ее душе словами Андрея, не улегалось.

Ведь это только один случай, а сколько подобных историй могло таиться в прошлом Кармелюка.

В прошлом! В этом ненавистном прошлом, которого она не знает...

«Но нет, что это? Опять старые мысли! —прошептала про себя Ульяна и провела рукою по разгоряченному лбу. — Что было, то прошло и быльем поросло! Он будет ее любить. Снова будет, будет!» — прошептала она настойчиво и, поднявшись с места, машинально пошла вниз по усеянному камнями высохшему руслу.

Почва все понижалась. И чем дальше шла Ульяна, тем круче становились свисавшие с двух сторон обрывы, но в самом низу, верст за пять от новой стоянки разбойников, узкое ущелье мало-помалу расширялось, лес разделялся направо и налево и уходил вдаль неправильными изгибами, обнимая подковою прилегавшую к нему степь.

Ульяна сама не заметила, как дошла до этого места и опустилась на первый попавшийся обломок камня. Ей хотелось остаться одной: случайно раскрытая стра-

ничка из жизни обожаемого атамана дразнила и жгла ее ревнивое воображение.

Вдруг Ульяна услыхала невдалеке конский топот; она насторожилась и спряталась за дерево, готовая при первом появлении незнакомого человека скрыться в лесу.

Но вот из опушки леса с противоположной стороны показался всадник, и зоркий взгляд атаманши тотчас же различил, что это был не кто иной, как посланный ею на разведки Довбня.

При виде его Ульяна невольно рванулась вперед. Глаза ее загорелись, сердце встрепенулось.

— Вот кто разрешит теперь все сомнения. Раз навсегда! Раз навсегда! — вскрикнула она и бросилась навстречу хлопцу.

— Ну что? Был? Узнал? — заговорила она еще издали, приближаясь к нему.

— Да быть-то был, да не узнал ничего,— отвечал хлопец, соскакивая с коня.

— Как не узнал ничего? Почему?

— Не у кого было узнавать: дьяка нет...

— Уехал?

— Никуда не уезжал, потому что его и не было там никогда.

— Не было там никогда? — повторила Ульяна, отступая назад и устремляя на хлопца дикий взгляд.—Да там ли ты был?

— Ну да, там... в Вишеньках, разве я не знаю? — отвечал Довбня.— И не только дьяка, а там и церкви-то нет и не было никогда...

В глазах Ульяны все помутилось; кровь залила ей глаза.

— Так, значит, все ложь, ложь! — крикнула она как бешеная и, не глядя на оторопевшего хлопца, бросилась к табору назад...

Первое мгновение Ульяною овладело бешеное желание броситься немедленно к Кармелюку и уличить его во лжи и измене; она и помчалась стремглав к лагерю, оставив Довбню в полном недоумении.

Пробежав без передышки с версту, она должна была остановиться, так как дыхание ее совершенно захватило и сердце вот-вот готово было разорваться в груди.

Ульяна упала на землю. Бешенство, отчаяние и рев-

ность душили ее. Мысли ее не плыли, а кружились вихрем — оборванные, дикие, безобразные... И среди них вырывалась ясно только одна: «Все ложь, ложь! Обманул, изменил! Но теперь я поймала тебя!»

Однако невольный отдых заставил Ульяну несколько разобраться в своих ощущениях. Первая мысль, вырвавшаяся из кружившегося в ее голове хаоса, была: «Что ж дальше?»

Положим, она уличит его во лжи, назовет его изменником, лгуном, но что ж дальше?

Ульяна приподнялась с земли и, охватив колена руками, устремила вдаль ничего не видящий взор.

— Что ж дальше? — прошептали машинально ее побелевшие губы.

Дальше представлялось два выхода: или Кармелюк сумеет выбрехаться и выпутаться из щекотливого положения, или он сознается во всем и скажет ей прямо, что разлюбил ее и нашел себе другую. Что она ему? Сегодня любит, а завтра может бросить!

— О, только не это, только не это! — вырвался из груди Ульяны страшный вопль. Нет силы жить без него! Она должна вернуть себе его любовь во что бы то ни стало. Но чем вернуть? Как вернуть? Вот она прикинулась веселою, спокойной, и он стал с ней ласковее, чем прежде, а полюбил ли снова?

— Нет, нет! — вскрикнула Ульяна, и острая боль да жгучая обида закипела у нее в сердце и залила горячим румянцем ее лицо.

Перепробовала она все привороты,— все чары потеряли силу! Не поможет зелье, не поможет ничто!

Ульяна припала головой к коленам и тяжко рыдала.

Долго плакала она с такой болью, с такой силой, как будто с каждым рыданием, вырывавшимся из ее груди, отрывался у нее кусок сердца. Она начинала чувствовать и понимать, что уже ничто не возвратит ей сердце Кармелюка.

Но если она не в силах вернуть себе свое счастье, неужели же она уступит его другой? —пронеслось вдруг в голове Ульяны. Сердце ее сжалось, рыдания смолкли, она подняла голову. По щекам ее еще катились последние слезы, но глаза уже горели сухим, жгучим огнем.— Уйти по доброй воле с дороги? Отдать его другой, чтоб она упивалась его любовью, жила его жизнью?

— Нет, нет, нет! — вскрикнула безумно Ульяна и с такою силой стиснула кулаки, что ногти впились до крови в ладони рук.

Осталось у нее еще одно верное средство: вырвать разлучницу из его сердца. Есть ворожея, которая может наделить таким зельем. Полюбит ли он ее потом или нет,— но сопернице он уже не достанется! Но кто она? Надо прежде все узнать, кто она, найти ее!

Эта мысль подняла силы Ульяны. С лихорадочной быстротой принялась она обдумывать свое положение и искать из него лучшего выхода.

Итак, чтобы вернуть любовь Кармелюка, ей оставалось только одно средство — найти и уничтожить соперницу. Но как найти ее? Конечно, Кармелюк не проговорится перед нею, от него она не выведает ничего, но она может узнать кое-что от Андрея: он прост, его не трудно провести, и он же следует за атаманом неотлучно всюду. Но чтобы успеть во всем этом, надо прежде всего усыпить всякие подозрения, надо прикинуться веселою, любящею. Да, это прежде всего.

Ульяна еще раз перебрала в голове все мысли и снова остановилась на последнем решении.

С трудом поднялась она с земли, привела в порядок свою одежду и выбившиеся из-под очипка волосы и тяжелою походкой направилась к лагерю.

За этот час она вся осунулась, и если бы кто заглянул в темную глубину ее глаз, то понял бы, какую бездну горя и злобы несла в себе эта женщина, несмотря на свой спокойный вид.

В лагере наступило временное затишье.

Кармелюк молчал и удалялся от своих товарищей,— это всегда бывало с ним, когда он обдумывал какой-нибудь особенно хитрый план. Разбойники пока что спокойно отдыхали, поджидая с нетерпением и любопытством — что то придумал атаман для спасения Явтуха.

Для разведок Ульяне время было самое удобное. Хитро и осторожно принялась она выпытывать Андрея. Но, кроме нападения на дом маршалка, Андрей не сообщил Ульяне ни одного эпизода из прошлого Кармелюка, в котором женщины принимали бы более или менее выдающуюся роль. Он упомянул о том, как атаман наградил одну польскую панну, которая великолепно протанцевала перед ним на шляху мазурку, а потом

высек ее мамашу, так как та, вопреки его приказанию, рассказала всем властям о своей встрече с Кармелюком, и еще несколько подобных шуток атамана. Но все это было не то, чего искала Ульяна.

После двух-трех таких бесплодных бесед ей пришлось убедиться в том, что от Андрея она ничего не узнает, так как и он, в простоте своей, очевидно, не знает ничего.

Надо было действовать самой. Но как? От кого? Каким образом можно было узнать, кто «она»?

«Кто она?» — этот роковой вопрос терзал Ульяну день и ночь. За два дня она похудела, постарела; несмотря на видимое спокойствие, в глазах ее вспыхивал недобрый огонь и вся она словно горела от муки, нестерпимой ревности и оскорбленной любви.

Лишь только ей случалось остаться одной, мозг ее тотчас же начинала сверлить та же мучительная и жгучая мысль: «Кто она?»

Перебирая в своем уме все мельчайшие подробности их жизни и стараясь уяснить себе, с каких пор началось охлаждение Кармелюка, Ульяна вспомнила о письме, полученном Кармелюком. Этот маленький эпизод вдруг осветил и сгруппировал все ее мысли. Именно явное охлаждение к ней атамана началось со времени получения этого письма. Оно было от женщины, от любимой женщины! Она тогда сразу поняла это, и только потом Кармелюк как-то разубедил ее, сплетши какое-то объяснение, но это была ложь. Она и тогда чувствовала это, а теперь знает уже наверное: письмо было от женщины! И это была женщина, которую он знал раньше, потому что со времени его бегства из тюрьмы он не разлучался с нею, с Ульяной, ни на один день!

Эта неизвестная возлюбленная, должно быть, узнала, что Кармелюк вернулся, и написала ему письмо, а в письме, должно быть, звала его к себе. Написала письмо!.. Значит, это не была простая женщина, а грамотная, значит — пани... При этом заключении Ульяне сразу вспомнился разговор Дмитрия с Андреем, и эти два факта соединились в один непреложный вывод: письмо написала жена маршалка.

Ульяна вся вздрогнула при этом неожиданном открытии: жена маршалка, писаная красавица... О, это была страшная соперница!

Но через несколько минут этот вывод, явившийся сначала таким непреложным, начал казаться ей несколько сомнительным. Неужели же жена маршалка могла любить и теперь Кармелюка, узнав, что он — не граф, а простой разбойник? И как же она, любя его, отправилась на облаву, на которой должны были ловить его? С другой стороны, ведь письмо получил он как раз после облавы,— она увидала его, узнала и вот написала письмо, в котором звала его к себе. Так, так!.. Ульяна смутно вспомнила, что атаман упоминал о какой-то пани, которая перерезала ему дорогу, когда он уже подбирался к Черному лесу. Может, она для того и прибыла на облаву, чтобы спасти его, помочь ему! Ведь больше некому было написать! Новой возлюбленной Кармелюк не мог завести за это время, а в прошлом была только одна женщина, полюбившая атамана, а это была пани маршалкова.

«Она или не она?» Целый день провела Ульяна в обсуждении этого вопроса, а все-таки не пришла ни к какому решению. Она снова расспросила Андрея о том, кто передал ему письмо, надеясь получить таким образом хоть какое-нибудь указание на то, кто прислал его. Но и здесь ее встретило полное разочарование: Андрей сообщил, что письмо передал ему незнакомый мужик, а из какого села был тот мужик — он и сам не знал.

Новое обстоятельство еще усилило смущение Ульяны: неужели бы пани послала свое письмо к атаману разбойников через простого хлопа? Но если не пани, то кто же прислал письмо?

Душевные терзания ее достигли высшего предела. Ульяна решила отправиться немедленно к ворожее и так или иначе узнать свою судьбу. Ничто не мешало этому: в лагере пока не предпринималось ничего, так что у нее в распоряжении было дня два свободных. Урочище, где проживала старая чаклунка, было верстах в тридцати от новой стоянки Кармелюка; близились сумерки, но Ульяна решила идти сейчас же. Она сказала Андрею и Дмитру, что она должна по своим хозяйским делам отлучиться дня на два из лагеря, и, взяв с собой несколько червонцев, отправилась в путь.

LXIV

Кармелюк эти два дня почти не наведывался в свою стоянку, а бродил по дебрям в лесу; заглянет на минутку, возьмет с собой окраец хлеба да шматок сала и снова исчезнет. Молчаливое появление атамана, угрюмый его вид, какая-то растерянность атаманши смущали и Дмитра, и Андрея. Но последний объяснил это не гневом батька, а его привычкой удаляться в какое-либо глухое место при обдумываньи затеянных планов.

На третий день не вернулся Кармелюк и за провизией; это уже встревожило и Андрея, а к тому еще атаманша вышла из лагеря, якобы по своим хозяйским делам.

Наступили сумерки, а Кармелюк не возвращался; Андрей схватился было позвать Дмитра да еще двух-трех и броситься по ближайшим окрестностям искать батька, как вдруг услыхали вблизи, в самом овраге, приближающийся говор. Андрей прислушался к голосам, но среди них батькова голоса не услышал.

— Берегись!..— крикнул чей-то голос к товарищам, лежавшим беспечно в свободных позах.

Все насторожились, осмотрели оружие.

— Да вержен я буду в геенну огненную, коли имел или имею что злое на мысли! — оправдывался рокочущим баском кто-то, обнаруживающий дрожью в голосе сильный переполох.— Я знаю хорошо пана атамана, и он меня знает. Я иерейского дома леторосль... [71]

— Не лги!—грозил ему хриплый, скрипучий голос.— Дознаемся, какое у тебя дело до нашего батька, чего ты по лесу шляешься, а когда по-христиански окликают, так убегаешь! А?.. Все выведаем. Не ври! А то этою самою «леторослью» так тебя выпарим, что и до других веников вспоминать будешь!

Дмитро бросился в чащу на шум, а с противоположной стороны вышел неожиданно Кармелюк.

— Что такое? — спросил он Андрея.

— Да кого-то поймали... Говорит, что к тебе, батьку. Уж не шпиг ли? Вон как кривой собака!

— Веди его сюда, разберем! — ответил угрюмо Кармелюк и, запалив носогрейку, сел на колоде.

Бывшие здесь товарищи приподняли шапки и окружили своего атамана в почтительном отдалении.

Через минуту из-за камня в овраге показался пленник; он был связан накрепко; вся одежа его, изорванная о сучья, ветви, о шипы терна, облепленная глиною, илом и болотною ряской, представляла плачевный вид, а бледное, искаженное страхом, испачканное грязью и потом лицо, с кучей взъерошенных и прилипших клочками ко лбу волос было до того комично, что вместо сочувствия могло вызвать лишь смех.

— А подведи ближе! — крикнул атаман.— Ба, да это, кажись, знакомый... Подними-ка ему чуприну... Так и есть... Да ведь это ты, пане хвилозопе?..

— Аз, многогрешный Хоздодат,— отвечал дрожащим, плаксивым голосом пленник. Это действительно был сын деражнянского священника.

— Каким же ты чудом опять попался нам в руки? Вновь ехал с качками да гусками в бурсу?

— Где там, пане атамане! Я про бурсу, про это гемонское чистилище, иже за грехи прародителей дано есть отрокам и не вступившим еще в законный брак юнцам, я про нее и думать не хочу!.. Я давно питал к тебе, славный атамане, довлеющие чувствия и просился стать в ряды твои, под твою опеку... но тщетно...

— Против воли родительской я не порадник,— ответил с мягкою улыбкой атаман.— Восстановлять детей на отцов, отрывать их от родного крова... нет, не на то я сюда вернулся.

— Да коли я теперь извержен из лона родительского, аки Иона из чрева китова? — возопил попович.

— Выгнал батько из дома? За что? — спросил участливо Кармелюк.

— В загривок... как подобает... еще с чернецким хлебом — сиречь запечатлел родитель пятою основание спины моя... аж поточихамся аз и возлобием своим отверз двери.

— Ловко! — заметил Дмитро.

Раздался дружный хохот; Кармелюк сам не удержался от смеха.

— За что же? — поперхнулся он и потом обратился к сопровождавшим пленника стражникам: — Да развяжите, братцы, ему руки... Он же к нам пришел с приязнью...

— Мало ли что ихний брат брешет,— возразил недовольным тоном поимщик,—так и верить? Так бы можно пропустить всякого шпига... вон как и кривого!

— Да это безобидная людына,— ответил снисходительно Кармелюк,— я сам его знаю...

— Ну, коли батько знает и велит — другое дело...— все еще колебался и медлил развязывать пленника коренастый и корявый стражник.— А для чего я связал? Бо утикал, идол... Я ему кричу: «Стой, куда ты?», а он по нетрям да по болотам как шмыганет! Только по шматням его одежи и следа не теряли. Насилу уже в болоте сцапали... Загруз, потопать стал и на проби кричать...

— Как же мне было не тикать, коли погнался сей зверь за мной, аки вепрь лютый, потрясая хрюканьем воздух!

Слова поповича вызвали снова дружный хохот: фигура стражника, его хриплый бас могли действительно напоминать дикого кабана.

Поповича наконец развязали.

— Не отверзи мене от лица твоего,— произнес он тогда, сложивши освобожденные руки.— Нищ и убог, принужден питаться акридами * и диким медом, каковых здесь и не обретается, а служить тебе буду верою и правдою.

— Да теперь уже, коли батько вытурил из дому, да еще с запечатлением, то нечего делать... не пропадать же тебе в лесу...— мотнул головой Кармелюк.— Да, кстати, ты мне, как на руку ковинька... Скажи, однако, ты в глубинах мудрости научился ли хотя писать и читать рукописное?

— Весьма искусен: могу и с визерунками, подобно друку, могу и вязью, могу и на латинском, и на польском языцех, даже на российском,— хотя в оном менее тверд,— могу и прописью с наклонением литер то в сей бок, то в оный, могу и скорописью...

— Да ты, мой любый, целое сокровище! — воскликнул весело Кармелюк.— Такого мне искусного писаря и надо. Мы бы давно по всем торгам и базарам выставили наказы и объявили бы добрым людям, за что бьемся, да вот не было писаря... А сам я постоянно в гоньбе

* Акриди — сарана, що її їдять араби.

и не имел часу на это писарство. Так вот, желаешь ли быть моим писарем?

— Не токмо писарем, но и каламарем (чернильницей) даже!—обрадовался страшно попович.— Хоть веревки из меня вей, батьку, хоть поверни на оглоблю,—всякое хотение твое с сугубою благодарностью восприиму и исполню...

— Вот и отлично!.. Значит, ты теперь войсковой писарь. Слушайте, панове товариство,— возвысил Кармелюк голос,— сей попенко принят мною до гурту... за него я ручаюсь... и ставлю его войсковым писарем. Чи згода (согласны ли)?

— Згода, згода, батьку! — крикнули обступившие их товарищи.

— Что же, посвятить бы новобранца след на фронтовую должность,— заметил Дмитро,— да и вспрыснуть потом.

— Это речь до дела! — сочувственно отозвались другие.

— У нас в эскадроне так это бы сейчас ему вымазали рыло в чернила, а голову обтыкали перьями, да заставили бы съесть добрый кусок бумаги, а потом облили бы водкою,— вот и церемониал.

— Овва! — вздохнул Андрей.— А у нас ни чернил, ни пера, ни паперу!

— Вот твое слово и на руку,— спохватился атаман,— нам все это понадобится и зараз. Пошли-ка молодого хлопца какого верхом к нашему знакомому жиду в корчме, что на Ушицком тракту... недалеко, мили за полторы отсюда, знаешь?

— Знаю, знаю, батьку.

— Ну, пусть слетает и привезет, сколько захватит, писарского добра, а коли у него его найдется мало, то пусть жид сбегает в город и привезет нам его вволю!

Андрей бросился исполнять приказание батька.

— Знаете, ребята, вот что,— глубокомысленно, после паузы начал Дмитро,— чернил и, стало быть, прочей амуниции у нас действительно нет, но зато у нас есть горилка...

Попович при этом слове шумно повел носом и начал скрести себе пятерней затылок.

— Да, есть горилка,— продолжал Дмитро,— а прочий парад можно будет заменить подходящим материа-

лом, примером: лицо ему можно вымазать грязью или другим чем, в голову можно будет понатыкать репейнику, а съесть можно заставить вместо бумаги какую-либо тряпку... Ведь бумага же делается из тряпок,— так это все единственно...

— Верно, а потом облить водкою — и общий магарыч! — подхватили развеселившиеся товарищи.

С приходом этого философа общее тяготившее всех угрюмое настроение сразу изменилось на шаловливорадостное, тем более что и батько атаман развеселился, а коли лицо его просветлело, так и у всех стало на сердце игриво.

Попович стал было протестовать против такого ритуала посвящения, но всем хотелось подурачиться и выпить на радостях, а потому и начали настаивать, да и сам Кармелюк должен был принять сторону товариства.

— Слушай, пане писарю,— решил он,— не упрямься: даже кошевому при выборах клали запорожцы на голову грязь, и она текла по всему лицу, а выборный этим гордился... Это тебе честь хочет воздать товариство, значит — ты ему люб.

Слова атамана заставили поповича покориться своей участи. Его поставили на пенек, обмазали все лицо ему грязью, обтыкали голову репейником, заставили съесть, вместо тряпки, кусочек бумажки, нашедшейся, к счастью, в его же карманах; Дмитро дал ему в руки вместо пера какое-то помело и промолвил, обливая его голову водкой:

— Пусть писанье твое метет нечисть метлою и шибает в нос всем, как горилка! Ура!

Все подхватили дружно возглас солдата.

Попович все переносил терпеливо, но когда стали обливать его водкой, то он не выдержал и крикнул:

— Жажду и алчу!

Взрыв дружного хохота покрыл его вопль; атаман же сейчас ему поднес стакан водки и кусок сала.

— Ну, поздравляю тебя моим писарем!

Попович ничего не мог ответить на это приветствие: проглотив стакан водки, он только мычал и давился салом...

После атамана подошел к писарю Дмитро, затем Андрей, а за ними — остальные и стражники; со всеми нужно было поцеловаться и выпить заздравицу; послед-

него товарища уже долго держал писарь в объятиях, доискиваясь ногами точки опоры; наконец он догадался, что земля, вероятно, была пьяна и качалась из стороны в сторону, а потому поспешил усесться основательней на колоде. Впрочем, прохладная ночь, чистый воздух и молодые силы восстановили скоро в организме философа сносное равновесие, и, пока кашевары собирали ужин, он уже несколько освежел и был готов снова принять участие и в еде, и в попойке.

Вечеря прошла весело и шумно. Много было съедено галушек и вареников, но еще больше было выпито горилки. Все, начиная с атамана, были в отличном настроении духа,— шуткам, остротам и юмору не было конца; взрывы веселого смеха будили заснувшее эхо, и оно трепетно вздрагивало и перекатами погасало в лесу. Новый писарь был особенно в ударе. Ел за десятерых, пил до изнеможения, рассказывал анекдоты, расточал всем своим новым товарищам хвалы и даже после вареников стал петь. Но под конец,— а это было уже близко к полуночи,— он как-то размяк, впал в меланхолию, начал сокрушаться о своих грехах и запел трогательно, с умилением:

И в лености, и в праздности житие мое иждих,
И многое нетребное в гресе аз сотворих...
Ох, за блудные вины
Быть мне в чреве сатаны.

— Да не тужи, пане писаре, не сокрушайся,— стал утешать философа Андрей.— Чего сатаны боишься? Начхать ему на самый конец хвоста — и квита!

— Верно,— согласился Дмитро,— а то еще на рога ему какую-либо пакость, чтоб из пекла выгнали...

Но поповича это мало утешало; он все вздыхал и твердил:

— Ох, грешен я, грешен! Гореть мне в огне неугасаемом, кипеть в смоле смердоносной!

— Влить ему горилки еще, чтоб опохмелился,— кто-то крикнул,— а то нудьга его стала за сердце сосать!..

— И впрямь,— поддержал Кармелюк,— выпей и ободрись!.. Рано еще, брат, нам думать о смерти... мы еще кирпатой поднесем не одну дулю... Ты вот лучше расскажи, за что тебя панотец выгнал?

— Гм! — замотал головой попович.— За бабу...

— Как за бабу? — изумился атаман.

— За какую бабу? — спросил Андрей.

— За настоящую... Евину дщерь, иже соблазнила Адама и натворила многое множество срама...

— А ну, ну? Расскажи! — заинтересовалась компания.

— Ох, суета из сует и всяческая суета,— начал глубокомысленно попович, оживляясь мало-помалу в рассказе.— Егда по великовозрастию я был извержен из стада пасомых и в доме родительском водворен, то подпал гонению нестерпимому: родитель мой, именуя меня ежечасно «лодарем», «болдырем», «никчемою», «дурнем» и другими подобными сквернословиями, возымел непреложное намерение исправить меня гладом, жаждою и уединением... и сии меры могли бы меня ввергнуть в истощение, если бы маменька, аки тать в нощи, не приносила мне для поддержания сил пирогов и кнышей, а иногда и мокрухи... Наконец маменька же надоумила родителя, что лучше, вместо морения, женить меня на богатой деве, ибо красота моя для Евина рода неотразима...— Попович при этом откинул назад лезшие на глаза пряди мокрых волос и подкрутил свои усики.— Стали меня снова подкармливать, дали сандалии, справили брачные одежды и начали возить на разглядины и к соседним священнослужителям, и к дальним, где только обретались дщери с подобающим вношением... Но увы мне, грешному! Слепая фортуна смеялась надо мной: где имелась приятная отроковица, со сладким зраком, с лепообразным ликом, так там не имелось вношения, а где оное находилось, там дева была весьма не изрядная, отвращающая от себя всякие хотения...

— Ах ты, волк тебя зарежь! — сочувственно воскликнул Дмитро.

— Ох! — вздохнул и попович.— Вначале родитель терпел мои умозаключения, тем паче что и самые вношения не были для него любомерными, но наконец пресспе время и нашлась подобающая родителю Ева. Батюшка затопал ногами и рек: «Пора! Неукоснительно на сей выбранной мною девице женись и высвячуйся в диаконы! Не то выгоню!» — и повез... Ой, дайте оковитой, сиречь живой воды, чтобы залить горечь воспоминания...

Андрей поднес рассказчику водки.

— Ну, и приехали,— продолжал попович, проглотив залпом горилки,—по всем околичностям усматривалось, что иерейская семья была зело грошовита. Родитель мой поворачивал мне голову одесную и ошую и на все бренное тыкал перстом... Вошли в храмину... Ждем... Наконец вывели к нам и невесту... Как воззрел я на сосуд сей искусительный, так и обомлел... По становому хребту якобы муравьи побежали... Под сердцем задавило и потянуло на извержение... Ой, ой! Скудовласая, безокая, крючконосая, криворотая, многолетняя тарань, издающая на обширное пространство нестерпимое благовоние...

— Го-го-го!..— разразилась компания дружным хохотом.

— Важная краля! — закрутил головой Кармелюк.

— Омерзительнее омерзительнейшей ведьмы, воистину глаголю,— подкрепил философ,— я стоял там краеугольным камнем и не изрек ниже слова, а, возвратившись под родной кров, решительно заявил родителю, что скорее утоплюсь, чем войду с сиею тварью в законное сожительство... Ну, родитель мой рассвирепел, аки лев рыкающий, потряс меня за власы добросовестно, приложил трижды длань до ланит моих и посредством чернецкого хлеба изверг мя за двери, лиша крова и пищи...

Не успела компания выразить своего сочувствия претерпевшему философу, как вдруг в самом овраге раздался стук копыт приближавшегося во весь опор коня. Все вздрогнули и окаменели, забыв даже схватиться за оружие.

LXV

— Привез, батьку! — раздался еще издалека радостный голос, и в нем сразу узнали все молодого Довбню, посланного Андреем в соседнюю корчму.

— Тьфу ты! Налякал как, вражий сын! Дуй его горою! — выругался Дмитро.

— Именно,— отозвались другие.— И что он там привез?

— Да это батько посылал в корчму за писарскими причандалами,— так вот он слетал.

— Вот и гаразд,— усмехнулся, успокоившись, Кармелюк.— Тащи-ка все это сюда... Да подбрось кто в костер хворосту, а сюда на пень подайте еще каганца.

Когда были вручены атаману канцелярские принадлежности и принесено освещение, то он обратился к своему письмоводителю:

— А что, пане писарю, не можешь ли ты показать нам своих талантов?

— Могу, батьку,— ответил не совсем твердо попович.— Только позволь главу сию омочить влагою.

— Облейте ему, братцы, водою голову,— приказал Кармелюк.

Все бросились с удовольствием исполнять приказание атамана. Попович только ухал да фыркал. Наконец привели его мокрехонького, словно утопленника, и посадили у пня.

— Дайте же ему протереть чем глаза и руки,— заметил, смеясь, Кармелюк.— Ну, вот тебе перо, чернило и бумага... Не облей же всего водою.

— Будет сухо и зело изрядно... Но что убо писать?

— А вот что,— продолжал атаман.— В Литине есть судья, откормленный боров, коли видел его; ну, это еще бы не беда, хоть и судья он неправедный, ибо католик и только за панов руку держит, но особенно противно то, что этот боров есть член судной комиссии, назначенной для поимки меня со всеми моими товарищами и эта комиссия устраивает облавы, ловит не только нашего брата, вольную птицу, а и безвинных селян, сажает в тюрьмы, мучит и засылает в Сибирь... И вот теперь в руках у этой комиссии, значит и судьи, находится наш товарищ Явтух... Я поклялся, что отомщу всей комиссии. Теперь и идет речь о Явтухе. Нужно вот написать этому собаке-судье, что если он добровольно не выдаст нам Явтуха, то я с судьею распоряжусь так, что даже черти позавидуют... и поверьте мне, братове, на гонор, что угрозу я свою исполню!

— Важно! — заключил Дмитро.

— Так можешь ли ты настрочить это все на папере? — спросил своего писаря Кармелюк.

— Могу велеречиво и зело вразумительно...

— Ну, так и пиши... только помалу и прочитуй... Может, что исправить и добавить прийдется.

Попович взболтал в пузырьке чернило, посмотрел его на огонь, понюхал и неодобрительно покачал головой; потом выдрал из пучка перо, затемперовал (очинил), осмотрел тщательно на ногте рассчеп и, заложив перо за ухо, стал разглаживать на пне лист бумаги; но так как поверхность пня оказалась неровной, то попович оторвал от своей хламиды обрывок полы и при помощи его уладил свой письменный стол. Наконец он сам уселся по-турецки, склонил набок голову и стал усердно водить пером по бумаге. Все понадвинулись с любопытством, присев на корточки тесным кружком. Среди таинственного молчания слышно было лишь сопение писаря да скрип пера; наконец, после некоторого молчания, он поднял голову и прочел:

— «Его свиномордной милости, паршивейшему папежцу, внуку кислоокой ведьмы да задрипанного жида и отродью самого сатаны, литинскому безбожному судье и кату, пану Сливинскому послание».

Каждая фраза поповича вызывала дружное одобрение и восторженный хохот.

— Да ты, у беса, писака добрый! — ударил сочувственно писаря Дмитро кулаком.

— Досконально! Такого я и искал! — радовался Кармелюк.

— А ну, валяй ему дальше позагвоздистей! Чтобы каждое слово как спичка в нос,— понукал Андрей, ерзаясь от радости с места на место.

— Вот что пиши,— начал атаман: —«Я, Кармелюк, наказую тебе, чтоб ты сейчас же освободил Явтуха, чтоб не судил, не катовал безвинных селян и чтобы оповестил и панов — не глумиться над русским людом и обходиться по-человечески...»

— А не как с быдлом,— пояснил Андрей.

— Да жидам не давать его в руки и веры не трогать,— добавил Дмитро.

— И на панщину не гнать его ежедневно,— отозвался еще кто-то из-за костра.

— Вот-вот, все это и пиши,— подтвердил атаман, а потом, после небольшой паузы, стал диктовать: — «Так наказую тебе, псяюхе...»

— И сатанинскому отродью,— добавил писарь.

— Добре... — продолжал, улыбаясь, атаман,— «если ты не вволишь моей воли, то своим атаманским

словом ручаюсь, что не спасут тебя ни бузуверы-паны, ни их паршивые команды; поймаю я тебя, кабанье тушище, вытоплю сперва на легком огне из тебя сало...»

— И смердопакостный лой — на смазку жидовских пантофель,— добавил писарь.

— Добре,— засмеялся Андрей,— а потом нарезать с его спины пасов, на каких можно бы было вешать экономов-здырщиков.

— А живое мясо под пасами посолить для проку,— вставил солдат.

— А потом полить еще горилкою! — кто-то крикнул, давясь от смеху.

— Все, все пиши,— согласился атаман,— да еще припиши, что после пасов и огня я ему вбью гвозди под ногти и, наконец, посажу на кол... что не пожалею ни его жены, ни родных и что мести моей не избежит никто.

— Так бы им давно, шельмецам! — воскликнул Дмитро.

— Эх, важко, батьку!— отозвался Андрей, а за ним загалдела и вся компания.

Писарь, опустив голову почти на бумагу, долго еще писал, останавливаясь по временам и покусывая зубами перо.

Слова Розалии привели в восторг Агату.

— О так, так, сердце мое! —вскрикнула она.—Ревность — это самое сильное средство. Мне прежде всего пришло это в голову! Но как же мы пробудим ревность у этой Ульяны?

— Кармелюк влюблен по уши в свою бабу,— ответила Розалия,— но надо уверить ее, что он изменяет ей, что у него есть другая. Так как атаман этот и вправду часто отлучается без нее из табора, то пробудить подозрение влюбленной женщины не трудно. А для того, чтобы она уверилась в этом, мы напишем письмо к Кармелюку, якобы от его новой возлюбленной, и постараемся устроить так, чтобы это письмо попало как раз в руки Ульяне. В этом же письме мнимая возлюбленная Кармелюка будет назначать ему свиданье в каком-либо укромном местечке, в котором мы постараемся поместить засаду.

— Ах, это прелестно, прелестно! — захлопала в ладоши Агата.— Но знаешь, засаду после, а сначала нужно приручить. Знаешь, до правды, это восхитительно! — вскрикнула она, и глазки ее разгорелись.— Лес, таинственность и роман с атаманом шайки! Я бы с удовольствием взяла на себя роль героини, конечно, для блага ойчизны и секретно, чтобы помочь тебе...

Розалия остолбенела: всякой глупости могла она ожидать от Агаты, но этой прыти не предполагала.

«Вот тебе и помощница! Довольствовалась бы уже своим романом с Алоизом, а ей еще вот чего захотелось! И будет ведь лезть и мешать! Вот навязала сама себе обузу!»

Розалия подавила свою внутреннюю злобу и произнесла серьезно и громко:

— Что ты говоришь, милая? Даже и шутить так негоже. Если бы этот изверг был еще каким-нибудь итальянским бандитом,— ну, куда ни шло... Но с быдлом... Это позор!

— Ах да, конечно! — сконфузилась Агата и покраснела до корней волос.— Я пошутила.

— Я так и знала,— заключила Розалия, но в мыслях своих заметила, что с этою сумасбродкой нужно держаться поосторожнее.— Итак,—продолжала она весело,— возвратимся же к нашему плану. Неужели ты думаешь, что влюбленная женщина, получив такое письмо, не бросится очертя голову на место свиданья, чтобы накрыть соперницу?

— Без сомнения, она бросится туда, и мы ее поймаем, а за нею и проклятого гайдамаку! О моя Розюню, ты просто Соломон!

Агата обвила шею Розалии и звонко поцеловала ее.

— Но постой, постой! — вскрикнула она, отстраняясь от подруги.— Ты говоришь — письмо. Но как же она прочтет его? Ведь она, наверное, неграмотна.

— Без сомнения! Но там у них, должно быть, есть и грамотные. Да и помимо того, неужели ты думаешь, что она не найдет способа прочесть письмо, в котором будет говориться об измене ее коханца? Скажи, если бы ты получила подобное письмо хоть на китайском языке, неужели бы ты не сумела раскрыть его содержание?

— Можешь ли ты сомневаться в этом, Розюню? Я

думаю, что и хлопка-разбойница сумеет сделать это, но надо, чтобы она знала, что в письме говорится об измене коханца. А как же это?

— Ах, ангел мой, да проще нет ничего! — усмехнулась Розалия.— Довольно того, чтобы принесший это письмо заявил, что письмо от женщины,— а ведь атаманша, наверное, полюбопытствует узнать, от кого письмо,— и что доручено его передать только самому атаману в руки,— чтобы подозрение вспыхнуло. А там ревность. А когда ревность закипит в нашем сердце, тогда все: рассудок, опасность, долг,— все разлетается, как дым!

Розалия рассмеялась едким смехом, а восхищенная удачным замыслом Агата искренне делила ее веселье.

— Досконале, досконале, моя дорогая! Я, право, даже понять не могу, как это ты сумела придумать все!

— Я? — Розалия сделала самое недоумевающее лицо.— Да что же я придумала? Я только развила ту мысль, которую подсказала мне ты. Ты, мой ангел, оказалась проницательнее всех!

При этих словах Розалии Агата покраснела от удовольствия, и ей показалось, что это она действительно обдумала все.

— Итак,— продолжала Розалия,—теперь, я думаю, мы можем призвать наших кавалеров и передать им наш план?

— Конечно, конечно! — заторопилась Агата.— Воображаю, как они удивятся и разозлятся, о, всеконечно, они разозлятся,— кивнула она уверенно головкой,— когда узнают, что мы решили все!

И при одной мысли о том, как она будет поддразнивать Алоиза и как все будут восхищаться ее проницательностью, хорошенькие глазки Агаты загорелись и щечки запылали.

— В таком случае, прикажу позвать их,— Розалия дернула шнурок сонетки и приказала поспешно вбежавшей Фросе, чтобы она просила пана Пигловского и пана Рудковского пожаловать сюда.

Через несколько минут молодые люди вошли в кабинет красавицы и, остановившись у порога, с комичной торжественностью отвесили поклоны.

— Что прикажет пан презус? — спросил Рудковский.

— Панове могут занять места для выслушанья нашего решенья,— объявила Розалия и жестом королевы указала молодым людям их места.

Рудковский и Пигловский молча поклонились и сели.

— Мы ждем указаний от наших повелительниц, придумавших уже, наверное, план поимки разбойника,— произнес с некоторой иронией Пигловский.

— Пан угадал,— ответила Розалия,— мы действительно придумали способ, каким можно будет без малейшего пролития крови поймать гайдамаку, и честь этого открытия,— Розалия повела рукой в сторону Агаты,— принадлежит всецело моей подруге.

Агата вся просияла от удовольствия.

С большим интересом слушали кавалеры передаваемый им план.

— Восхитительно! — вскрикнул Алоиз, когда она окончила.— Сам Торквемада [72] не придумал бы ничего хитрее этого.

— Но только, к огорчению наших прелестных повелительниц, я должен сказать, к сожалению, что этот хитрый план не может быть приведен в исполнение,— заметил Рудковский.

— Почему это? — вспыхнула Розалия и быстро повернулась к своему секретарю.

— По двум причинам: первое, потому, что мы не знаем, где скрывается логовище этого зверя, а второе, потому, что у нас нет и человека, который бы согласился отправиться с письмом к этой красуне.

— Ах, так, так! Но, матко свента, Розюню, мы совершенно забыли об этом,— воскликнула горестно Агата— и намеревались уже...

— Добрыми намерениями, преслична пани, и ад вымощен, говорят бывалые люди, но,— Алоиз развел руками,— надо признать, что в этом деле и ваша тонкая хитрость не приведет ни к чему, и, как верно предполагает пан Рудковский, гайдамачка останется здрава и невредима в объятиях своего немытого Ромео.

— Н-нет! Она должна быть поймана! — вскрикнула гневно Розалия и с силою ударила кулаком по ручке кресла.— Поймана во что бы то ни стало. Ведь если мы

не поймаем ее, то не поймаем Кармелюка,— добавила она уже несколько спокойнее.

— За нашего вице-презуса я готов отдать и свою душу, даже больше: я готов сам превратиться в почтальона и передать разбойнице письмо, но не знаю, куда нести его, так как, при всей вашей хитрости, вы не можете написать на нем никакого адреса.

Агата надула губки и, бросив на Пигловского мимолетный взгляд, произнесла с притворною строгостью:

— Пан все шутит и шутит, а дело серьезное!

— Да, дело серьезное,— продолжала с худо скрытым раздражением Розалия,— и если мы по нашему давнему старопольскому обычаю будем проводить время в остротах, то, конечно, не достигнем ничего.

— Прелестный пан презус устыдил нас, хотя, чтобы увидеть его еще раз в сиянии благородного гнева, я готов наговорить снова сто тысяч глупостей... Но... но... но! Молчу!—вскрикнул Алоиз, поймав огненный взгляд Розалии.— Молчу и надеваю мантию гробокопателя.

Розалия через силу улыбнулась Пигловскому, погрозила ему игриво пальчиком и обратилась деловым тоном к Рудковскому:

— Пане Рудковский, неужели же и вы не видите способа открыть местопребывание Кармелюка?

— Буду стараться, но...

— Ведь вы же говорите, что все хлопы преданы Кармелюку, как своему отцу?

— Совершенно верно.

— Если это так, то они должны же знать, где он находится?

— По всей вероятности.

— В таком случае, что же мешает вам узнать от них, где Кармелюк?

— Они ни за что этого не скажут.

— Но ведь есть же средства заставить их говорить!

При этом восклицании брови Розалии нахмурились и глаза блеснули властным огоньком.

— Гм! — Рудковский приподнял брови.—Конечно, я употреблю все возможное, чтобы выпытать у них, где находится новое логовище проклятого зверя.

— Благодарю заранее,—улыбнулась Розалия.— Надеюсь, что хлопоты моего секретаря будут плодотворнее затей пана Янчевского.

При этих словах Розалии Рудковский вспыхнул как порох.

— Клянусь, что я узнаю это! — вскрикнул он, вскакивая с места.

— А мы тем временем обдумаем с паном Алоизом, кого снарядить с письмом к гайдамачке,— заявила с улыбкой Агата и, поднявшись с места, протянула руку Пигловскому.

На том и окончился совет нового комитета.

LXVI

Прошло два дня.

Рудковский тотчас же после совета прихватил с собой несколько хлопов и достаточное количество нагаек и полетел разузнавать, где может скрываться Кармелюк. А Агата же с Алоизом усердно занялись разработкой второй части плана, для чего им надо было удаляться от посторонних глаз и ушей, и Розалия, желая отвлечь мысли Агаты от Кармелюка, особенно старалась, чтобы никто не нарушал уединения ее гостей.

Сама она проводила большую часть времени в своем будуаре. Несносная мысль о том, как открыть местопребывание Кармелюка и как передать ему письмо, не давала ей покоя. Положим, теперь дело облегчалось: она могла бы передать письмо через Фросю,—во всяком случае, оправданием всегда могло служить то, что это как раз и было письмо, которое должно было возбудить ревность Ульяны. Но кому передать его? Куда? Рудковский прав: не всякий из крестьян знает, где находится Кармелюк. Положим, он полетел разузнавать, но из его хлопот ничего не выйдет. Глупый, заносчивый мальчишка! Но надо же что-нибудь придумать, чтобы переслать ему весть.

Ломая голову над разрешением этого вопроса, Розалия вспоминала о Зеленском.

А ну-ка расспросить его еще раз, может, он что-нибудь придумает. Теперь ведь никто не может заподозрить ее: она действует как президент новой комиссии.

Розалия приказала Фросе привести к ней Зеленского.

— Слушай, вацпане,— обратилась она к нему,— ты говорил нам, что из шайки Кармелюка никто не согласится выдать своего атамана. Отлично! Это нам вовсе и не нужно, но вот о чем подумай: нет ли где-нибудь вне шайки хоть какого-либо человечка, например из хлопов,— они ведь все боготворят разбойника,— который бы согласился только отнести к нему письмо, и даже не к нему, а только к гайдамачке? Это необходимо для нас, а значит, и для тебя, потому что как только будет поймана она или он, ты получишь от меня лично двести червонных.

Сумма, обещанная Розалией, в четыре раза превосходила ту награду, которую отсыпал Зеленскому скуповатый Янчевский.

— Падам до ног ясновельможной пани! — вскрикнул Зеленский и действительно бросился на колени перед красавицей, желая поцеловать ее в колено, но Розалия милостиво простерла ему руку, которую шпион жадно облобызал, и прибавила ласково:

— Встань! Если ты поможешь нам в этом деле, то можешь рассчитывать всегда на мою помощь.

— В огонь брошусь! — вскрикнул Зеленский.

— В огонь бросаться не придется, потому что мы будем действовать хитрее, чем пан Янчевский; а вот постарайся только припомнить, нет ли где такого человека, чтобы мог разнюхать, где находится Кармелюк, и передать ему письмо.

Зеленский задумался. От жадного желания угодить щедрой пани вся кровь бросилась ему в голову. Несколько мгновений стоял он молча, напрягая со всем усердием мозг, чтобы вспомнить подходящую личность, как вдруг глаза его вспыхнули.

— Есть, есть! — вскрикнул он вне себя от радости.— И не надо искать далеко!

— Так говори же: кто?

— Скажу, только...— Зеленский осторожно оглянулся на дверь и, приблизившись к Розалии, продолжал, сильно понизив голос: — Только пусть ясновельможная пани пообещает мне, что об этом не узнает никто, потому что из-за этого могут выйти такие неприятности, что мне не сдобровать, да и ясновельможной пани, и пану маршалку...

— Даю тебе слово, что из нашего разговора никто

не узнает ни единого слова,— перебила его нетерпеливо Розалия,— говори.

— Среди панских хлопов,— начал таинственно Зеленский,— есть один старик, имени его я не знаю, но в лицо узнать могу; он оказал какую-то важную услугу Кармелюку и с тех пор стал его приближенным лицом. Атаман с ним сносится, и уже, наверное, он знает, где скрылись разбойники, так как часто предупреждает их об опасности.

— Отлично, отлично! — воскликнула Розалия, вся раскрасневшись от этой неожиданной удачи.

— Но только,— продолжал Зеленский,—старик этот искренне предан Кармелюку и передаст письмо лишь тогда, когда будет уверен, что это не будет представлять никакой опасности для атамана.

— В письме не будет ничего угрожающего, напротив, оно должно доставить атаману удовольствие.

— И еще осмелюсь прибавить, что если старик получит письмо из рук моих или из рук ясновельможной пани, то он его не передаст.

— Разумеется! Об этом я уже подумаю.

— Только прошу пани пока что не выдавать старика: Кармелюк любит его, как отца, и не дай бог чего плохого... Он море вычерпает и найдет виновного!

— Будь покоен!—усмехнулась Розалия.— Пока атаман не будет пойман, никто не коснется и волоса на голове этого хлопа. А теперь вот пока что за добрую весть!

Она открыла один из ящиков туалета и, вынув оттуда двадцать червонцев, опустила их в руку Зеленского.

В глазах шпиона сверкнул жадный огонек.

— Ясновельможная пани, благодетельница моя! — вскрикнул он, ловя руку красавицы.— Располагайте мною, как верным псом!

— Хорошо, хорошо! — Счастливая Розалия милостиво усмехнулась.— Когда удастся нам избавить отчизну от этого хищного волка, получишь в десять раз столько! — повторила она свое обещание.— Старайся же помогать нам, а о том, что ты слыхал в этом покое, никому ни гугу...

— Клещами не вырвут и полслова! — произнес патетически Зеленский и, бросив подозрительный взгляд

на сияющую от удовольствия красавицу, вышел из комнаты.

Розалия осталась одна. Она заперла дверь на задвижку и, вставши с места, в волнении прошлась по своему будуару... Лицо ее пылало, грудь вздымалась высоко, все тело приобрело какую-то необычайную легкость, а сердце словно порхало в груди. Трудный вопрос наконец-то был разрешен так просто и легко. Она увидит теперь его, увидит скоро этого героя, бесстрашного, могучего, и атаман-казак, гордый и прекрасный, как бог красоты и силы, ляжет, как послушный ягненок, у ее ног по одному ее слову. Ах!.. Розалия невольно прислонилась к дверям и, закрыв глаза, запрокинула назад голову. Ее, такую холодную и недоступную, вдруг охватила необоримая страсть. Словно теплая волна, нахлынула она на нее и окатила своими лепечущими, ласкающими струями.

«Сгореть, умереть в его объятиях, а там все равно! — Розалия перевела дух и открыла глаза.— Итак, не надо же тратить ни минуты: Фрося передаст письмо». Красавица подошла к своему письменному столу, опустилась на стул, раскрыла бювар, достала из него лист бумаги, обмакнула в чернило тонко очиненное гусиное перо и задумалась. Письмо должно было быть так написано, чтобы не могло возбудить ни в ком ни малейшего подозрения, но вместе с тем Кармелюк должен был догадаться, кто прислал к нему это письмо. Но как это сделать? Что бы такое упомянуть, чтобы Кармелюк догадался, что это письмо от нее?

Розалия задумалась и машинально закусила губками конец пера. Большая капля чернил сорвалась с него и упала на сукно стола, но красавица не обратила на это внимания. Ни имени, ни фамилии, ни полуслова о прошлом нападении на их дом нельзя было вспоминать...

Какой же дать ему намек? Облава? Нет. Это может навести всякого на подозрение,— на облаве была из женщин только одна она. Карета? Да, вот это слово может напомнить ему все: карета спасла его от лютой смерти. Разве так? Розалия еще раз обмакнула перо и быстро начертала на бумаге: «Та, которой ты поклялся в карете быть верным рабом, ждет тебя...»

— Но нет! — прошептала она вслух и с досадой

отбросила в сторону перо.— Карета — не годится. Янчевский уже расспрашивал, кого она подвезла в карете. Положим, не одна же она ездит в карете, а всякая пани, да и Кармелюк может иметь сколько угодно романов, но все-таки надо придумать такую фразу, которая не бросала бы ни малейшего подозрения.

Розалия закусила губу, нахмурила брови, но, перебравши в уме несколько редакций, не остановилась ни на одной.

«Нет, это волненье мешает мне думать,— решила про себя Розалия,— надо пройтись, овладеть собою и, главное, переговорить с Фросей: эта хитрая бестия не должна подозревать, что письмо к Кармелюку будет от пани маршалковой, что она зовет его на свидание».

Розалия разорвала начатый лист бумаги, швырнула его в бювар и встала с места. Сначала она взялась было за ручку сонетки, чтобы позвать Фросю в будуар, но потом передумала и решила пройти к ней в гардеробную, где Фрося шила, и там переговорить с ней. Гардеробная была угловая, совершенно изолированная комната.

Розалия вышла из будуара, не притворив за собою дверь.

Фросю она застала в гардеробной. При виде пани Фрося испуганно [вскочила] с места.

— Ясновельможная пани звала меня? — спросила она.

— Нет, я пришла сюда рассмотреть некоторые платья. Закрой двери и вынь мне мои амазонки для охоты.

Фрося поспешила исполнить приказание своей госпожи.

— Вот эта ничего, и эта еще тоже годится,— заговорила она, рассматривая поданные платья,— а зеленую надо будет сделать новую. Предполагается много охот и всяких празднеств, конечно, если только удастся поймать этого проклятого лотра...

— О, да поможет в этом ясновельможному панству святая панна! — воскликнула Фрося, складывая молитвенно руки.

— Я надеюсь, что на этот раз нам удастся поймать его: теперь всем делом заведует не пан Янчевский, а я.

Фрося давно уже слыхала об этом, но считала своим долгом воскликнуть с восторгом и удивлением:

— Пани?!

— Я. Панство выбрало меня, и вот мы придумали такой способ, который уже во что бы то ни стало заведет шельму в капкан. Для этого и ты должна будешь принять участие в одном маленьком дельце.

— Я, матка свента! Да ведь я от радости умру! — затараторила на этот раз уже с искренним восторгом Фрося.— Такая честь! Услужить вельможному панству? Хоть в пасть этому зверю брошусь!

— Ну этого вовсе не потребуется, а дело вот в чем... только помни — никому ни слова.

— Из могилы скорей услышат его! — Глаза Фроси загорелись любопытством, она сделала несколько шагов и почтительно остановилась перед Розалией.

Розалия отчасти познакомила Фросю с новым планом поимки Кармелюка.

— Видишь ли,— заключила она,— нам надо прежде всего найти способ отправить письмо. Вот для этого я решила прежде всего послать одно письмо на пробу: дойдет ли оно до Кармелюка? Дид согласится передать его Кармелюку только тогда, когда будет уверен, что оно от благожелателя. Поэтому я решила, что лучше всего попробовать тебе передать это письмо, кстати, ты ведь из одной с ним деревни.

— Лечу! Несу!

— Постой, не торопись! Надо, чтобы старик поверил тебе, а ты — панская покоевка, поэтому не говори ничего определенного, а постарайся так держать себя, чтобы дид подумал, что ты была коханкою атамана. Ты это сумеешь разыграть?

— О, пани еще спрашивает? — произнесла с некоторою долей обиды Фрося.

— И затем дальше: ты должна дать понять старику, что твое письмо предостерегает Кармелюка от какой-либо опасности.

— Понимаю, понимаю,— закивала Фрося головкой.

— И ни слова диду о том, что тебе известна его близость с Кармелюком; как будто ты попала к нему случайно.

— Пусть ясная пани не беспокоится,— все устрою как не надо лучше.

— Устроишь ловко все — можешь рассчитывать на мою благодарность, я не поскуплюсь.

— О пани! — вскрикнула Фрося, осыпая руку Розалии поцелуями.— Ничего, ничего мне не надо! Пусть только пани убедится в том, что Фрося верная и ловкая слуга и за свою пани готова пойти хоть на смерть.

Тем временем, пока между Розалией и Фросей происходила эта сцена, к усадьбе пана маршалка подкатил Янчевский. Не подъезжая к дому, он, как свой человек, приказал кучеру заворотить сразу к конюшне. С неделю не был он уже во дворе маршалка, но эта неделя не пропала у него даром. Прежде всего он бросился к Читецкому и узнал от него, что он не только не садился в карету пани маршалковой, но даже не видел ее, так как все время не разлучался с Зеленским и стоял с ним на стороже, а потом находился неотступно при пещере. Читецкий же подтвердил Янчевскому слова Зеленского относительно того, что видели Кармелюка возле усадьбы деражнянского попа.

Слова Читецкого, подтвердив явную ложь, а следовательно, измену Розалии, взбесили Янчевского, но на этот раз он еще совладал со своим сердцем. Прежде всего он учредил строжайший тайный надзор над усадьбою отца Олеси, затем препроводил Явтуха в литинскую тюрьму и только тогда бросился к маршалку.

И во время дороги, и во время деловых распоряжений его мучил один вопрос: кто его соперник?

Только один кучер, кроме Розалии, видел неизвестную личность, севшую в карету красавицы, и вот Янчевский решился прежде всего порасспросить маршалковского кучера.

Подкатив к конюшне и приказав своему кучеру выпрячь и выводить лошадей, Янчевский выскочил из экипажа и подошел к машталеру, который при виде пана Демосфена вскочил с завалинки и почтительно вытянулся в струнку.

— А, вацпане, сюда, на минуту! —кивнул ему пальцем Янчевский и вошел в конюшню.—В последний раз, когда мы атаковали Кармелюка в пещере, не припомнишь ли ты, кто ездил с пани маршалковой за кучера?

— Я, ясновельможный пане.

— А-а, тем лучше... гм... да... видишь ли, вот что... пани маршалкова поручила мне передать одну вещь то-

му пану, который сел тогда к ней в карету и проехал до пустой корчмы, ты помнишь это? — Машталер закивал головой.— Ну вот, отлично... Так пани маршалкова просила меня передать ему одну вещь, но, правду сказать, второпях, в суматохе я забыл совершенно фамилию его, и вот... не припомнишь ли ты, кто это был?

— Не знаю, ясновельможный пане: дело было на рассвете, притом меня таки трясло, как в лихорадке, а как закричали караульщики, я и сам хотел было подобрать возжи да дать тягу, как вдруг на тот случай и подскочил к нам этот панок, и вельможная пани крикнула: «Рушай!» Я, правду сказать, не очень-то и смотрел на него, да и он будто закрыл лицо воротником.

— Ага, закрывал! — вырвалось невольно у Янчевского.

— Ма ся разумець... было свежо... да и Кармелюк, казалось, глядел из-за всякого дерева...

— Гм... так, так...— спохватился Янчевский.— Но... не можешь ли ты по крайности припомнить, каков он был из себя: ну, рост, стан... походка...— Он вынул из кармана талер и бросил его в шапку машталера.—Постарайся припомнить!

Машталер почтительно поцеловал край обшлага пана.

— Пусть пан Езус пошлет вельможному пану...

— Ну-ну, будет! — перебил его нетерпеливо Янчевский.— Припомни же.

— До послуг панских! Что он был высокого роста, и статен, и молод, это я хорошо помню.

— Высокого роста, и статен, и молод,— процедил за ним сквозь зубы Янчевский и прибавил про себя с бешеною злобой: «Тогда как Читецкий тучен и мал ростом... Ха-ха-ха! Ловко поймались вы, прелестная пани!» Но дальше! — произнес он вслух.

— И будто волосы и усы были у него чернявые и лицо словно смуглое.

— Смуглое! — вскрикнул невольно Янчевский, и глаза его злобно вспыхнули. «Рудковский! — решил он про себя.— Высок, строен, брюнет и смуглый,— он! Недаром она его и выбрала в секретари, и захотела устроить новую комиссию. Понимаем, понимаем... разъезды, заседания... деловые письма...— Янчевский злостно потер руки: — Ловко подстроено, но не на дурака

напали... А! Мраморная красавица, холодная, недоступная... променяла меня на мальчишку, молокососа! Но погодите, я распутаю или разрублю этот узел, и тогда узнаем, кто с вами ехал в карете, кто состоит новым коханцем прекрасной Галатеи!» [73]

Янчевский прошелся по конюшне и затем произнес, не глядя на машталера, голосом глухим и словно осипшим:

— Ну, по таким признакам догадаться трудно... Значит, так дело и останется, а вот скажи мне: давно ли приезжал к вам пан Рудковский? Может быть, и сейчас он здесь?

— Был, ясновельможный пане, уже два раза, а вот теперь дня два, как уехал.

— Ага... ну, так... ты ж посмотри за лошадьми: у меня кучер новый...

— Как за своим оком, ясновельможный пане! — ответил машталер и, низко кланяясь, проводил взбешенного пана до ворот, а затем возвратился в конюшню, громко крякнул и глубокомысленно заключил: — Ма ся разумець!

Слегка прихрамывая на одну ногу, потащился Янчевский к барскому дому.

Бешенство душило его.

LXVII

«Так вот как, шановная пани! — скрипел Янчевский про себя, скрежеща зубами.—Нового коханца не опасно держать в доме... Муж не заметит. А, да что он там заметит! Обленился, ожирел, ничего не видит! Но я заставлю его прозреть; только время, только время,— и вы забьетесь у меня в руках, как мотылек, шановная пани!»

С этими словами разъяренный, пыхтящий Демосфен взобрался по ступеням на крыльцо дома и вошел в сени.

Дремавший у окна лакей вскочил с места и поспешно бросился раздевать неожиданно появившегося пана.

Янчевский узнал, что пани дома, у себя в будуаре, пан маршалок почивает, и, как свой человек, прошел без доклада в гостиную. Ни в зале, ни в гостиной не

было никого, дверь же в будуар хозяйки была полуоткрыта.

Демосфен кашлянул, прошелся еще раз по гостиной, подошел к дверям будуара, попросил позволения войти, но, не получив никакого ответа, простоял с минуту у дверей, а затем перешагнул порог и вошел в будуар.

Розалии не было.

При виде этой комнаты, где все напоминало ему короткие часы блаженства, бешенство, терзавшее Демосфена, сменилось приливом тоски. Он глубоко вздохнул, отер лицо платком и, понурив голову, поплелся, прихрамывая, к окну, но, проходя мимо письменного столика красавицы, Янчевский вдруг остановился как вкопанный. В глазах его снова вспыхнула злоба, и элегическое настроение сразу исчезло.

На этом письменном столике, к которому красавица присаживалась весьма редко, все было в беспорядке: чернильница стояла открытой, еще влажное перо валялось тут же, кое-как прикрытый бювар лежал в стороне.

«Писала! — чуть не вскрикнул вслух Янчевский.— Кому? Быть может, письмо еще не вышло из дому, быть может, оно тут, близко, и он сейчас же получит ключ к проклятой тайне...»

У Янчевского захватило дыхание... Глаза его налились кровью, дрожащими руками поднял он крышку бювара, и взгляд его сразу упал на разорванный листок.

Янчевский схватил его, сложил отдельные кусочки и вдруг зарычал, как раненый вепрь...

«Та, которой ты поклялся в карете быть вечным рабом, ждет тебя»,— прочел он и в дикой злобе скомкал клочки бумаги с таким бешенством, как будто это и был ненавистный соперник.

Но в это время в соседней комнате послышались легкие женские шаги.

Надвигались холодные сумерки. Ветер мчал по серому небу разорванные тучи... Лес глухо роптал... но эта мрачная обстановка не смущала Ульяну: она была сродни ее душе. Сдвинув мрачно брови над глубоко впавшими глазами, она молча шагала вперед к

ворожке: она несла страшную муку и жгучую обиду и ждала от колдуньи последнего спасенья, мрачного, ужасного... но последнего.

Была уже поздняя ночь, когда Ульяна дошла до села, за которым, далеко на отшибе, под самою опушкой леса, стояла хата ворожки.

Пройдя спящее село, Ульяна пошла к лесу и вскоре увидала какую-то бесформенную кучу, показавшуюся ей в темноте просто стогом сена. Только слабый красный огонек, мелькавший из глубины этой кучи, доказывал, что это было жилое помещение.

С невольным трепетом приблизилась Ульяна к жилищу ведьмы. Это была полуразвалившаяся хибарка, прилепившаяся к самой опушке леса. Несмотря на свой убогий вид, она была окружена высоким частоколом из заостренных бревен.

Черный лес окружал это страшное жилище плотною, глухою стеной, страшный рокот которой словно предупреждал Ульяну о чем-то неведомом, ужасном... Но Ульяна превозмогла минутную слабость и решительно подошла к воротам. Тотчас же за ними раздался глухой рев, и два пса бросились с яростным лаем к воротам; к счастью Ульяны, ворота были заперты, а частокол был так высок, что собаки не могли бы перепрыгнуть его. Лай собак свирепел, а Ульяна стояла перед воротами, не зная, что ей предпринять. Наконец она подняла с земли первый попавшийся в руку сучок и громко постучала в ворота. На этот стук не последовало из хаты никакого ответа, как будто бы там не было ни одного человеческого существа; только лай собак усилился и слышно было, как они кинулись прямо в ворота, стараясь прорваться на улицу. Ульяна подождала с минуту и еще раз постучала, а затем крикнула громко:

— А кто там есть живая душа, пустите в хату!

— А какой там дьявол стучится да тревожит по ночам добрых людей? — послышался на это восклицание неприветливый ответ с порога хаты.

Голос, произнесший эти слова, был так груб и хрипл, что Ульяна не могла сразу разобрать, кому он принадлежит: мужчине или женщине.

— Пустите в хату, на бога, сдорожилась! — ответила она осторожно.

— Много вас тут по ночам шляется, душегубов проклятых... идите себе в село, а у меня хата холодная... нет ничего, сама сижу на хлебе и воде...— продолжал сердито голос.— За добрым делом по ночам не ходят.

— Да я, бабусю, к ворожке шла, да заблудилась,— произнесла уже смелее Ульяна, разобрав, что имеет дело с женщиной.

— К ворожке, а за какой это надобностью? — спросил уже несколько мягче голос.

— Зуб заговорить!..

— Зуб заговорить? Меня не проведешь! —проворчала угрюмо невиданная личность, и Ульяна услыхала, как кто-то зашагал, опираясь на палку, по двору, но, подойдя к воротам, баба с минуту постояла молча подле них.

«Должно быть, разглядывает в щелку», — решила про себя Ульяна.

За воротами загромыхали тяжелым замком.

Собаки, умолкшие было при появлении ведьмы, бросились при этом звоне с новым остервенением к воротам.

— Цыть вы, чертовы дети! — прикрикнула на них грозно колдунья.— Не бойся, не тронут!

С невольным трепетом переступила Ульяна порог проклятого жилья, и тотчас же колдунья засунула за нею засов и заперла ворота. Ульяна оглянулась.

В темноте ей трудно было рассмотреть и хозяйку, и ее берлогу; она заметила только, идя по дворику, что перед ней двигалось какое-то горбатое существо, сильно прихрамывавшее на одну ногу.

Ульяна вошла за старухой в хату.

— Постой, — захрипела, зашамкала горбунья, — я вздую огонек.

Она нагнулась к печи, достала из угла пучок лучин, обмакнутых одним концом в серу, и стала ухватом разгребать золу; блеснуло несколько искорок; старуха сунула среди них лучину, и вскоре кончик ее загорелся синим мерцающим огоньком; он мутно разгорался, наполняя хату едким запахом, и наконец вспыхнул ярким красным пламенем; блеск его выхватывал из мрака облупленные, серые, покосившиеся стены, выгнувшийся, почти переломленный надвое потолок и нагнувшуюся над каганцом ведьму,— именно ведьму, так как она

была отвратительна и страшна: голова ее, покрытая платком, тряслась на согнутой шее; из-под платка выбивались и свисали врассыпную всклокоченные космы белых волос; старуха опиралась одною рукою на клюку, а в другой держала каганец, освещавший лицо ее, отчего черные тени ложились вверх, обезображивая еще больше черты его.

При таком освещении лицо у бабы выдавалось особенною худобой; со втянутыми щеками, оно покрыто было сплошь глубокими, излучистыми морщинами; на заостренной, выдавшейся бороде торчали две черные бородавки, покрытые седыми клочьями; запавший рот со втянутыми внутрь губами, а из незакрывавшейся черной щели его торчит снизу наружу зеленый выгнутый зуб; над этим ртом возвышался огромный, крючковатый нос; но самое отталкивающее впечатление производили глаза и брови старухи; последние, сросшиеся в одну седую нависшую лохматую прядь, торчали на низком лбу, закрывая провалившиеся в какие-то темные ямы желтого цвета глаза; они и слезились, и сверкали злобным огнем.

— Ну, чего тебе надо, красавица? — захрипела неприятным грубым голосом ведьма, пронизывая острым, холодным взглядом свою ночную гостью.

От этого взгляда у Ульяны замирало сердце, шевелились под очипком пряди волос и пробегал по спине струйкой мороз, словно бы кто сыпал сухой снег за рубашку.

— Гм... красуня! — продолжала старуха, постукивая слегка клюкой.— По таким-то кралям и тоскует нечистая сила, гнездится она в печенке да... мутит отравой и сердце, и разум... Думки-то от этой отравы как скаженые (бешеные) мечутся во все стороны, вот как осы, потревоженные в гнезде, и ищут, кого бы ужалить... Да наперед всего и жалят свое же власное сердце, а оно от того пухнет и болит нестерпимо.

— Ох, нестерпимо! — повторила Ульяна со стоном слова зловещей старухи.

— Знаю, знаю,— заскрипела снова ведьма,— и вижу насквозь тебя всю... Кровью запекшейся облито твое сердце, аж горит на уголь... а под ним чернеет словно какая-то гадина... и норовит прокусить твое сердце и высосать из него кровь...

— Гадина, бабусю, гадина! — вскрикнула и заломила руки Ульяна.— Змея подколодная!

— Богатая ты, я знаю,— продолжала старуха, внимательно рассматривая убор Ульяны.— Дарит тебя твой коханец и золотом, и серебром, и дорогим каменьем...

— Ох, дарил, бабусю, да что в золоте да серебре?..

— Когда отвернул свое сердце!.. Хе-хе-хе! — рассмеялась злобно старуха.— Хорош он, соколик!

— Как солнце, как месяц ясный! — вырвалось с восторгом у Ульяны.

— Знаю, знаю... За ним и дивчата, и панны, и пани.

— И панны, и пани,— вырвалось невольно у Ульяны не то с торжеством, не то с ужасом.

— А ты что думала, молодичко? Есть такая краля, что полюбилась и ему!

— Ох, она уже отравила мое счастье и хочет отнять последние крохи... Хоть бы знать эту разлучницу, хоть бы ведать, где она, в какой стороне? Я бы ничего не пожалела... ни денег... ни добра...

— Знаю, знаю... денег у тебя куры не клюют, и если не поскупишься, то все досконально разведаю, призову все темные силы и дам пораду,— заговорила более мягким голосом ведьма, желая придать ему заманчивую таинственность, но он все-таки звучал каким-то дьявольским скрипом.— Ничего,— продолжала она, помахивая трясущеюся головой,— люди помнят только на минуту, а жалостны и щедры лишь на минуты: вот когда припечет им до живых печенок — тогда все обещают, только рятуй, а прошло лыхо, помогла им — и забыли про бабу, еще ведьмой лают... Так мне все люди теперь — за собак... не верю им... не терплю их! — зарычала она, сверкнув злобно глазами.— Сама от немощи и бедности вон в какой дыре голодаю, а им, жироедам,— помогай? Будь вы все прокляты!

От этого злорадного крика что-то зашевелилось в темном углу пещеры, и Ульяне почудилось какое-то глухое рычание и показалось, что в дрогнувшей тени зазмеился серый мохнатый хвост, да к тому же донесся в то мгновение из леса хохот пугача...

Ульяна слабо вскрикнула; у нее подкосились ноги и потемнело в глазах, и она упала бы непременно, если бы не стояла у лавы, на которую и опустилась бессильно.

— Возьмите, бабусю, вот... Я не хочу даром, я еще отблагодарю, не обману... только помогите! — И она протянула старухе руку с принесенными червонцами.

Знахарка с жадностью схватила золото и долго им любовалась, чмокая губами и ворча радостно, словно собака, схватившая необглоданную кость.

— Спасибо, спасибо тебе, дытыно моя, квиточка ясная, что пожалела старуху! — заговорила наконец знахарка, и каждый звук ее голоса отзывался каким-то болезненным вздрагиванием в груди Ульяны.— Вот за это я тебе и помогу... Все скажу: кто тебе в след вступил, какое тебе наврочило око, кто твои радости развеял и пятою наступил на твое сердце. Все расскажу и раду дам, как от этой лиходейки тебе избавиться и как снова себе вернуть радость, и счастье, и молодую утеху.

— Бабусю... Ничего не пожалею! — вскрикнула Ульяна и в порыве исступления поцеловала ведьме руку.— У меня найдется много золота и всякого добра — только помогите... скажите, кто она и где она!.. Сосет меня за сердце нудьга, как гадюка. Заступили мне след... раздавили мне сердце...

— Не убивайся: все снимем, все отженем на очерета, на яруги... Дай вот приготовлю только снадобье...

Старуха развела в печке огонь, придвинула к нему большой горшок, набросав в него разного коренья и зелени и наполнив какой-то жидкостью, хранившейся в особенном глечике, завязанном тщательно тряпочкой. Ульяне показалось, когда старуха лила эту бурую воду, что вместе с ней из глечика бултыхнулись и какие-то гады, вроде жаб или головастиков.

— А теперь — ну-ка выпей еще этого снадобья, увидишь свою долю! — старуха достала с полки пузырек с какою-то буро-коричневою жидкостью и, отлив немного в шкалик, дала Ульяне выпить. Ульяна сразу хлебнула горькую жидкость и невольно поморщилась.

— Горько? Не бойся, потом сладко будет! — улыбнулась зловещею улыбкой старуха и, ткнув костлявым пальцем в сторону печи, прохрипела: — Ну, смотри ж теперь, уже началось.

Как только пламя коснулось горшка, в нем раздалось зловещее урчанье, напоминавшее то звон бубенцов, то вой волков, и хата наполнилась удушливым чадом, одурявшим сразу голову.

Ульяна сидела, раскрыв широко глаза, и почувствовала, как ужас окаменял ее члены, как медленно начинала вращаться перед ней пещера ведьмы, принимая с каждым оборотом более страшный вид и более чудовищные размеры, как в голове у нее усиливался звон, а в ушах подымался шум воющей бури... Наконец к ней подошла знахарка и, встряхнув за плечо, вывела из оцепенения.

— Ну, встань, красуня,— зарычала она. Ульяне показалось, что голос у старухи стал грозным и громким.— Подойди к этому горшку, пускай обдаст тебя паром, а потом ты увидишь в нем и свою разлучницу

Желание взглянуть в лицо своему врагу подняло сразу энергию в сердце Ульяны; она собрала все силы и, шатаясь, оперлась на руки старухи и подошла-таки к стоявшему и клокотавшему на полу горшку; из пасти его подымались густые клубы желто-красного дыма, распространявшего нестерпимое зловоние. Знахарка, как бросилось в глаза Ульяне, была уже не маленькой горбуньей, а высоким скелетом, покрытым целыми клочьями белых распущенных волос; вместо глаз на ее костяке светились кровавыми огнями две ямы, а вместо зуба торчали два громадных клыка. Ведьма набросила на голову Ульяны свой платок, протянула над горшком длинные кисти рук с птичьими когтями и стала твердить заклинания.

У Ульяны что-то клубком стало под сердцем и словно какой-то шар подкатился к ее горлу, в голове так зашумело, что она не могла уже разобрать, на каком языке и что говорила старуха; ей казалось, что прорвалась над ней гребля и с страшным ревом и клокотаньем бросились в этот провал потоки бешеных вод.

— Смотри, смотри! — гремела между тем ведьма.— Вон гнездо твоего ворога... Много окон... дверей и дах высокий, а кругом муры да окопы и ворота на добрых замках... Вот по двору павою похаживает и краля... Ого, что твоя заря на небе, а душа черна, как запаска... обличье ангельское, а душа чертова... Сверху — едваб (шелк), а сысподу — бруд... грязь... Смотри, косы у нее какие, а вот словно бы зажурилась... Вот примечай: подходит к ней какой-то не то юнак, пан не пан, а лучше пана... Статный да красивый, наклонился и шепчет что-то ей на ухо...

Ульяна ничего не могла отчетливо видеть, у нее мутилось в глазах и в голове вертелись огромным колесом радужные огни... Среди них, правда, сверкали и дворцы, и башни, и писаные красавицы. Все мелькало так быстро, как в осеннем вихре мелькают пожелтевшие листья, но когда услыхала Ульяна, что какой-то юнак подходит к ее сопернице, то она почувствовала под сердцем лезвие ножа и с криком: «Это Иван мой!» — лишилась чувств.

LXVIII

Знахарка не на шутку перепугалась; она отворила сейчас же дверь, подтянула свою клиентку к струе свежего воздуха и брызнула ей в лицо холодною водой, но все-таки пришлось ей повозиться долгонько, пока пациентка открыла глаза и стала равномерно дышать.

— Где я? Что это было? — подала наконец голос Ульяна и стала усиленно тереть рукой себе лоб; у нее голова была тяжела, как котел, а тело мучительно ныло, словно оно было раздавлено колодой, а кости размозжены в ступе.

— Да у меня, у знахарки,— ворчала мягко старуха,— ты смотрела на свою змею-разлучницу, к которой коханец твой, Иван твой, сердцем лежит. Перелякалась, теперь уже все прошло, и больше не тревожься... Я и лыхо твое как рукой сниму.

— Ох бабусю,— простонала Ульяна, с трудом поднимаясь с порога двери, на котором она лежала,— рятуйте!

— Да вот порятую, и, как сон, все пройдет... Вот на тебе зелья в торбинке, всыплешь все это в пляшку горилки, заткнешь ее добре, чтоб дух не развеяло, и поставишь в печь на ночь, чтоб горилка настоялась, станет она густо-червоной... Это тебе и будет настоящий приворот... Я-то и за очи буду ворожить и насылать на твоего коханца к тебе любовь, а к твоему ворогу ненависть... Ты вот и должна будешь приходить ко мне и сообщать, как мои наговоры действуют,— это непременно... И вот тогда только, когда заметишь, что злодейка-тоска все сидит в его сердце, тогда дашь чарку

привороту,— твой-то заснет, и со сном все у него вылетит из головы... А вот это порошок из сушеных змеиных яиц для твоей разлучницы. Коли она не кинет твоего Ивана и будет цепляться к нему, как будяк к одежде или смола к чоботу, то вот всыпь этот порошок ей в какое-либо питье или страву, и поверь, что гадюка эта больше уже не привяжется. Знай, коли ежели что, так про меня ни гугу...

— Да что вы, бабусю. Чтоб мне заципыло, коли я что...— поспешила успокоить старуху Ульяна,— а за ваше зелье и ваши заговоры я не то что ничего не пожалею, а в ноги вам поклонюсь...

— Ну, гаразд... Иди же, иди, пока еще не прошла ночь,— заторопила свою гостью старуха,— чтоб чужое ворожье око не попортило... А на подкрепленье выпей вот этой настоянки чарочку... и закинь свою журбу за спину,— все будет, как твоя душенька бажает.

Ульяна выпила рюмку какой-то хмельной настойки и, ободрившись несколько, пошла обратно пустошами, минуя далеко село.

Одна только мысль засела ей гвоздем в голову: по всем приметам это должен быть двор маршалка — и муры, и окопы, и палацы, как говорил и Андрей, да и красавица ни кто, как сама маршалкова... или, быть может, еще какая другая краля сидит там...

— Нет, во что бы то ни стало нужно самой пойти в этот двор и власными очами все увидеть, во всем увериться,— вскрикнула она среди леса и своим громким голосом вспугнула какую-то заснувшую птицу.

Между тем Янчевский снова загорелся нервною лихорадочною деятельностью, но она уже направлена была не к розыскам и поимке Кармелюка, а совершенно к другим целям. Предложение Розалии стать во главе охотников за неуловимым разбойником сначала обрадовало очень Янчевского, не нанося чувствительного удара его самолюбию: во-первых, присутствие красавицы, да еще возлюбленной, на облавах придавало им особенную прелесть, во-вторых, в походах—a la guerre, comme a la guerre—всегда имелось больше свободы для интимных бесед и секретных совещаний, в-третьих, при удаче, последнюю все-таки приписали бы, наверное, ему,

опытному в кампаниях, а предводительшу польстили бы, как женщину, похвалами за ее геройство.

Так вот, сначала, говорю, Янчевский был в восторге от предложения Розалии, но потом все изменилось, так как в ход событий вторгнулся неожиданно новый фактор — ревность.

Это чувство пробудилось у Янчевского впервые у судьи, где он поймал во лжи героиню своего сердца, с горячностью бросился проверить это обстоятельство и убедился, что в карете с Розалией ехало совершенно другое лицо, по показанию кучера маршалковой, можно было предположить в нем Рудковского. Самый выбор его Розалией в секретари после заявленного неудовольствия Янчевским был, конечно, сделан на зло ему, а неоконченное письмо, которое он случайно прочел в будуаре, указывало на бурю необузданных чувств, заставляющих его возлюбленную поступить бестактно и дерзко... Охваченный жгучим пламенем ревности, толкавшим его на всякого рода безумия, Янчевский, как рассвирепевший раненый тигр, стал метаться с места на место, разыскивая доказательства, устраивая засады, подкупая сыщиков, и все не на Кармелюка, а на Рудковского. Одно слово «месть» сверлило его сердце и пепелило до исступления мозг.

От маршалковой, порасспросив хорошенько кучера и задобрив, с тонкими намеками, остальную прислугу, Янчевский полетел снова к судье: нужно было сделать в тюрьме формальный допрос пойманному разбойнику... Но, главное, нужно было подкупить прислугу, чтобы ни одно письмо, адресованное ли в комиссию, или Рудковскому лично, на его квартиру, не попало бы ему в руки прежде, чем прочтет его сам Янчевский... Неполная уверенность, кому адресовано письмо, не давала ему забыться ни на минуту; он поклялся себе употребить все средства, шляхетские и не шляхетские, а перехватить это письмо, да и, кроме того, иметь вообще в руках ключ к переписке своей возлюбленной с новоизбранным секретарем.

— Без переписки у них дело не обойдется,— ворчал он, кусая себе губы и обгрызая усы,— новые ревнители общественных интересов попадутся в мой капкан неизбежно!

Явтух не проговорился на допросе ни одним словом:

он не знал, где находится Кармелюк, и не принадлежал к его шайке, а случайно по дороге попал в корчму, где и был схвачен. Янчевский хотел было начать допрос с пристрастием, но остановился, узнав, что Явтух принадлежит пану Пигловскому.

— Чтобы не обиделся еще, что я его быдлом распоряжаюсь,— заметил он судье,— особенно если взаправду окажется, что хлоп попал случайно.. И мне бы он еще был нужен...

— Так, может, написать ему, чтоб он сам приехал или бы прислал позволение поскребти эту бестию? — предложил судья.

— Да, это наилучше... Я бы и сам охотно к нему поехал, да у меня есть здесь неотложное дело... Кстати, не знает ли пан судья про Рудковского, где он? Я погорячился тогда... А у него есть в руках кое-какие сведения... И мне бы он еще был нужен...

— Отлично, пане наш Демосфен; до правды, у него есть в голове смалец, и он будет полезен... Вот только не знаю, где он? Все время я его не видел... Не у нашей ли красавицы маршалковой за есаула? Ведь она его завербовала в свой полк... Бедовая эта пани Розалия, далибуг,— продолжал судья, тяжело двигаясь от тюрьмы к своему дому,— завербовала всех для своей химеры... И мою пани заполонила, оставила меня соломенным вдовцом... Где теперь рыскает моя ненаглядная зорька, и в толк не возьму... Души у меня нет, что она одна рискнет куда ехать...

— Ну, пани Агата достаточно благоразумна и запаслась, вероятно, верным оруженосцем,— улыбнулся едко Янчевский...— Да, химеры, шалости от безделья, жарты,— продолжал он сухим, полным яда и затаенной злобы тоном...— Все эти жарты как забавы, как убивание времени были бы пустяками, если бы в каждом жарте не было двух концов: в одном —веселье, а в другом — злостная пакость... Недаром говорит пословица: «Жарты жартами, а хвост набок»...

— Да ведь пан сам одобрил сначала предложение пани маршалковой.

— Как забаву, как потеху... Но если в детской игре кроются совсем не особые намерения, не детские шутки...

— Какие? — всполошился судья и, побледнев, насколько это было ему возможно, остановился.

— Да я вообще говорю,— замялся Янчевский,— нельзя же прихоти наших дам доверить серьезное общественное дело, так сказать, спокойствие нашего края?

— А! — вздохнул судья, раскачав свое чрево...— Куда же вы? Заходите обедать ко мне... Оттрапезуем похолостому... и медку хлебнем... найдется и заплесневевшая бутылочка.

— Да я вот зайду лишь к Рудковскому, узнаю, долго ли он?

— Доконале... Так я шановного пана жду... Да, кстати, тащите с собой и секретаря.

Через полчаса возвратился Янчевский и объявил, что Рудковского нет в городе и что хозяйка, где он квартирует, ждет его не сегодня-завтра.

— Ну, нечего делать, прошу шановного пана... Стол уже накрыт, и мы вдвоем лишь будем обедать.

Когда выпили по рюмке-другой старки и слуги, подав первое блюдо, почтительно удалились к дверям, судья, не отходя от столика с закуской, сообщил таинственно Янчевскому:

— Я из Варшавы получил письма... Наша аристократия, во главе которой стояли князь Чарторыйский и граф Замойский, а вместе с ней и вся шановная шляхта тяготятся московским ярмом.

— Еще бы,— согласился Янчевский...— Вот и эти разбойники, вместо примерного наказания, вызывают у российской администрации запросы касательно наших отношений к быдлу и говорят, чему трудно поверить, что будет указ, ограничивающий наши права... Но что с этим северным медведем поделать?

— На каждого зверя есть своя западня...

— Вот об этом и толкуют в Варшаве... Формируют силы... Встречают сочувствие и в соседних державах... Конечно, перед московским правительством нужно себя заявить наивернейшими подданными, чтоб усыпить. Ну, об этом мы потолкуем наедине за келехом меду... А теперь гайда до борщу с бараниной и колбасами....

Пыхтя и отдуваясь, судья подошел к своему креслу и, прежде чем сесть, развернул салфетку, чтоб завязать ее у шеи, но только что поднял он ее со своего прибора, как из салфетки выскользнул какой-то пакет и отлетел к ногам Янчевского.

Увидя пакет, Янчевский стремительно бросился к не-

му, полагая, что поймал как раз послание из будуара.

— Что там? — спросил оторопевший судья.

— Какая-то бумажка... быть может, у меня из кармана,— говорил торопливо Янчевский, отходя к окну и рассматривая украдкой пакет.

— Нет, кажется, это у меня из салфетки...— заметил недоумевающий хозяин.

— А вот увидим.

Янчевский осмотрел пакет; он был грубо и неуклюже скреплен и запечатан, вместо сургуча, сгустком смолы, в которую был воткнут кончик пера; на другой стороне конверта был написан полный адрес судьи.

— Нет, это егомосци письмо... господину литинскому судье,— сказал он разочарованным голосом, подходя к столу.— Вероятно, какая-нибудь просьба от хлопа или мещанина...

— Так читай, пане... Со мной очок нет...

Янчевский разорвал конверт, развернул лист бумаги и, взглянув на первые буквы, побледнел как стена.

— Что там? — заколыхался тревожно судья.

Янчевский взглянул на подпись и, уронив лист на пол, вскрикнул дрогнувшим голосом:

— Сто перунов! Письмо от Кармелюка!

Чрево судьи заколыхалось, он весь побагровел и, уронив на пол салфетку, грохнулся в кресло.

Хотя уже было почти за полдень и осеннее солнце ярко освещало будуар пани маршалковой, но хозяйка его еще не была одета, а сидела у зеркала и убирала свою голову, то есть, собственно говоря, над прической трудилась новая наперсница Фрося, а сама пани, облеченная в роскошный белый пеньюар, сидела лениво в кресле, устремив куда-то в пространство усталый, задумчивый взор. В последние дни, по причине тревог и раздражения нервов, Розалия страдала бессонницей и засыпала иногда лишь на рассвете.

Неразрешенные вопросы,— пошел ли дед с письмом, не перехватили ли этого посланца, получил ли, наконец, Кармелюк ее приглашение и как к нему отнесся,— стояли перед ней неотходно и гнали сон от ее очей; мучительное желание разрешить эту неизвестность и жгучее нетерпение увидеть Кармелюка с каждым днем охва-

тывали больше и больше ее пылавшую грудь, а препятствия поднимали в ней бурю страстей, терзавших ее до потери самообладания. За последние пять дней Розалия похудела и побледнела; бессонные ночи положили под ее веками легкие синеватые тени и зажгли лихорадочным блеском глаза. Хотя все это и придавало особую томность и прелесть ее красоте, но зато вызывало и опасение. Ее здоровье страшно тревожило пана маршалка, и он стал надоедать супруге расспросами о ее здоровье, что бесило ее и заставляло избегать его посещений. Вместе с мужем подпал, как известно, под немилость красавицы и Янчевский; но если первый изменение характера своей жены приписывал болезненной раздражительности, то последний на нем обосновывал еще крепче свои мрачные подозрения. Когда в последнее посещение Янчевский поймал начатое письмо Розалии, это мрачное подозрение перешло уже в полную уверенность в то, что красавица изменила ему и нашла себе нового любовника. Неожиданное открытие привело Янчевского в дикую ярость, но, услышав шаги Розалии, он сделал над собой невероятное усилие и овладел своим гневом. Лоскутки письма он все-таки успел поспешно сунуть в карман, чтобы сохранить улики для своей будущей мести. Демосфен задался целью во что бы то ни стало открыть нового возлюбленного Розалии и уличить изменницу да и опозорить ее навсегда. Для этого ему надо было усыпить в Розалии малейшее подозрение. Поздоровавшись с кислой улыбкой с хозяйкой и ответив на ее вопрос, что чувствует себя совершенно прекрасно, Янчевский поговорил еще минут шесть о самых незначительных вещах, спросил мельком, как идут дела новой комиссии, и встал, чтобы откланяться; когда же Розалия удивилась такому короткому визиту, то Демосфен объяснил, что заехал только по дороге на несколько минут покормить лошадей, остаться же дальше не может, ибо у него скопилась масса всевозможных дел и хлопот, которые требуют немедленного разрешения. В действительности же, как мы видели, Янчевский рвался в Литин, чтобы перехватить письмо, которое, по его соображениям, было только что отправлено пану Рудковскому.

Несмотря на все просьбы маршалка остаться и погостить в доме хоть до утра, Демосфен стоял на своем

и прибавил еще, что не надеется увидеться с дорогими друзьями раньше как через недельку-две...

Розалия хотя и выразила с своей стороны сожаление гостю, но в душе была крайне рада избавиться хоть на две недели от надоевшего воздыхателя.

Янчевский вышел из покоя, но перед отъездом успел повидаться наедине и с Фросей.

— Ба! Старая знакомая! — удивился он.— Откуда и когда здесь?

— Недавно...— смешалась камеристка,—тут служу...

— А вдовца кинула?

— Что ж, наговоры... Такое плетут...

— А меня не признала? Забыла?

— Пан меня давно...

— Моя коханая, вижу, зацуралася совсем?.. Вспомни-ка те минуты блаженства, которые уносили нас в рай?

— Ой пане, для чего напоминать бедной кобете то, что она утеряла навеки,— вздохнула Фрося, стыдливо опустив глазки.

— Ну, положим, коханка первая меня променяла... да я за то не сержусь: вольная пташка вьется там, где ей любо, и не любит сетей... Но старую-то дружбу можно сохранить, ведь говорится же, что старый друг — лучше новых двух, а старый мед пьянее и крепче... За дружбой всегда может прокрасться и любовь...

— Ой, где там, пане? Разве я не знаю... Куда мне и ровняться? Только сердце мое растревожилось, а оно и без того ныло и болело за паном...— И Фрося бросила из-под нависших ресниц вызывающий огненный взгляд на Янчевского.

— Спасибо, спасибо,— заторопился тот серьезным деловым тоном, желая отклонить настроение своей собеседницы,— но вот что, во имя старой дружбы, могу ли я на тебя положиться и быть уверенным, что моя коханка не изменит мне в моих интересах, как изменила в любви?

— Пане мой, любый, не кривите душой,— погрозила кокетливо Фрося,— а покойная пани Доротея?.. Ну... ну... Я не буду вспоминать... а в верности пану клянусь и маткой найсвентшей, и ранами пана Езуса, и всеми святыми...

— Ну, ладно Скажи же мне, душко, часто ли здесь бывает Рудковский?

— А, это секретарь пани?.. Так, так... Бывает-таки... и пани делает ему поручения...

— Какие же?

— Да всякие...— Фрося взглянула плутовскими глазами на Янчевского и засмеялась.

— Всякие,— протянул Демосфен, не сводя острого, почти злобного взгляда со своей собеседницы,— и каждый почти день здесь толчется?

— Нет, не каждый; он уже не был у нас дня три. Там что-то такое... Пан маршалок недоволен, что пани чересчур много занимается делами, что ли...

— Гм! Так и этот заметил, что чересчур много занимается? — хихикнул Янчевский.— А теперь пани, вероятно, пересылать стала письменные приказания своему секретарю?

— А певно,— улыбнулась Фрося.

— Ну да, без того дело идти не может, отношения, резолюции... Ну, как везде,— произнес со сдержанною злобой Янчевский.— Так вот что... гм... так как и я ведь все же еще к этой комиссии належу, так ты того... заметь, когда пани маршалкова пошлет какое письмо к Рудковскому, и дай мне знать... Разумеешь, для того, чтобы и я не отстал от дела и чтобы этот щенок не опередил меня...

— Разумею, разумею! — кивнула головой Фрося, не спуская игривых глазок с багрового лица Янчевского. Перед ней начинала уже распутываться понемногу тайная интрига, связавшая всех членов маршалковского палаца.

— Ну да... тебе ведь разжевывать не надо... Так вот тебе на расходы.— Янчевский опустил в руку Фроси три червонца.

LXIX

— Зачем же, пан... Я и так... с дорогою душой... Всякое желание пана! —запротестовала было Фрося, но деньги спрятала в карманчик своего фартука.— Стоит пану только сказать слово...

— Гм... гм...— откашлялся Янчевский...— Ну, постарайся же... Я знаю: у тебя острые глазки и чуткие ушки... Я вернусь, может, и скоро... Не пожалеешь о том,

что возобновила со мной старую дружбу...— Он потрепал Фросю по щечке и тотчас же выехал со двора.

Все это происходило дня четыре назад. По отъезде Янчевского Розалия отправила с Фросей к деду письмо и стала ждать.

Несомненно, думала она, что раньше ответа быть не может как через неделю, но тем не менее нетерпение ее росло с каждым днем и до того расстраивало нервы, что она не могла выдержать спокойного бездействия и на четвертый день сама поскакала на любимом своем Арапе в поле рассеять в бешеной скачке гнет давивших ее ощущений, а главное, поискать в заветном дупле ожидаемого страстно ответа. У опушки дремучего леса, примыкавшего к маршальским владениям, на углу, недалеко от фигуры (фигурами в Подолии называются высокие кресты с распятием, которые ставят на перекрестках), рос один громадный дуб; его-то и назначила в письме к Кармелюку Розалия местом, куда должен был он бросить ответ; за этим ответом и помчалась Розалия, но ничего не нашла ни в дупле, ни за корой; правда, еще было рано и ожидать его, но тем не менее отсутствие письма от своего нового кумира опечалило пани маршалкову.

Огорченная до глубины души, она, возвратясь с прогулки, не вышла ни к обеду, ни к ужину, не захотела даже видеться с мужем, сказавшись больной, и все время провела в мучительной тревоге, разрешавшейся иногда досадными, раздражительными слезами; она не могла предположить, чтобы Кармелюк не пожелал даже ответить на ее призыв,—он мог уклониться от свидания, не будучи уверен в чистоте ее намерений, но написать ответ мог безопасно... Розалия стала приходить к такому заключению, что письмо ему не передано,— или дед не рискнул пойти в его лагерь, или его поймали и вырвали письмо из рук... Последнее обстоятельство могло бы принести и ей большие неприятности; хотя письмо было написано в крайне неопределенных выражениях и имя Кармелюка в нем не стояло, но попадись оно в руки Демосфена, знавшего ее прежнюю тайну, последний бы сумел его прочесть по-своему и выудить между строк истину.

— Слушай, Фросю,— обратилась она к своей доверенной покоевке,— скажи мне откровенно: дид с

удовольствием и решительно взялся отнести письмо в лагерь гайдамаков или мялся и вилял?

— С большой охотой, ясновельможная пани, як бога кохам! — ответила уверенно Фрося.— Я ему так и про себя, и про все рассказала, что он не усомнился и на крохотку... А когда я добавила, что от этого письма зависит самая жизнь атамана, так как я подслушала у подлых панов,— пусть мне дарует моя благодетельница пани грубое слово,— но у этого быдла, если не выругать пана, нельзя заслужить никакого доверия... Так вот, когда я это диду сказала, то он сейчас же схватился с места, не взял даже талера, обиделся... право: «Я,— говорит,— для батька атамана даром, без грошей потрудиться могу; не буду спать, роски в рот не возьму, пока не вручу в власные руки этой цидулки!»

— Это хорошо,— вздохнула успокоительно пани.— Видишь, как его все любят,— значит, заслужил... Но почему же нет... Да... Нет от дида известий?.. Ведь могли его схватить?.. Ты никому не передавала про это ни слова?

— А забей меня Перун, коли я и полсловом обмолвилась,— храбро ответила Фрося, но все же покраснела немного и поторопилась перевести разговор к прическе,— не поднять ли выше начосы?

— Не нужно, слично и так,— заметила нетерпеливо Розалия и стала продолжать снова допрос,— так ты утверждаешь, что дид доставил?

— А как же: я ведь вчера его видела... только что вернулся и передал, говорит. Атаман его очень поблагодарил...

— Да? Досконале! — обрадовалась Розалия. — Но почему же ты вчера не передала мне этой новости?

— Потому что пани возвратилась в недобром гуморе... больной... Я боялась обеспокоить...

— Наоборот, ты бы меня успокоила,— улыбнулась ласково пани и велела подать себе амазонку. «Если так, то, конечно, он не смог еще ответить, но сегодня уже можно ждать... и, судя по благодарности диду, он письмом был доволен»,— мелькали в голове пани радостные мысли; она вся просветлела, лицо ее вспыхнуло снова румянцем,— поторопившись одеться, она послала Фросю приказать оседлать поскорей лошадь, а сама отправилась успокоить и усыпить лаской своего супруга...

Фрося выскочила на крыльцо, чтоб кликнуть дворовую девушку или казачка, передать приказ барыни на конюшню, и заметила, что у ворот шумно толпилась вся дворня; она то затихала, то временами разражалась дружным хохотом. Заинтересовавшись, что могло собрать у ворот и потешать целый двор, Фрося подошла потихоньку к толпе и увидала, что среди нее стояла цыганка и ворожила; иные протягивали к ней свои руки, а другие острили, вызывая сочувственный смех у сбежавшихся зрителей. Цыганка, судя по тембру свежего голоса, была еще молода; но наверченный большой ярко-красный платок так закрывал ее голову, что не было возможности разглядеть черт лица. Цыганка стояла согнувшись, опираясь на клюку; но в говоре ее, заметила Фрося, был почти незаметен типичный акцент.

— Будешь счастливый и уродливый (пригожий),— пророчила цыганка молодому парубку.— Вот положи только на руку еще пятак, так увидишь... Тебя все дивчата любят, а одна, с мышиными глазками и кострубатой косой, так готова след твой целовать.

— Го-го! Это смердючая Гапка! — крикнул кто-то в толпе.

— Ага! Именно! Не кто, как она: и нечеса, и кислоокая...— заметил молодой форейтор и вызвал одобрительный смех толпы.

— Повесь ты ее себе на шею! — выругался сконфуженный парубок, выхватив сердито свою руку из рук цыганки.

— И в самом деле, чего ты, дурню? — остановил парубка за плечо старый повар.— От судьбы не уйдешь: Гапка так Гапка... Вот поженитесь, дружно будете носить свиньям помои, а в своем гнездечке разведете собственное багно. Ты вот послушай, цыганка расскажет, что вы еще вместе с красуней будете делать.

Совет любимого дворней юмориста был встречен с восторгом и вызвал целые раскаты дружного хохота.

— Да приведите сюда поскорей Гапку! —продолжал громко повар.— Вон на том смитныку цыганка и благословит их!

Парубок вырвался от повара и, отплевываясь и отругиваясь, вынужден был скрыться.

В это время заметила Фросю кухарка из людской и шепнула толпе:

— Пани господыня!

Все притихли и почтительно расступились: известно, что фавориты часто бывают страшнее и опаснее самих господ.

Цыганка воззрилась на пришедшую. Если б платок не лежал у нее низко на лбу и не закрывал своей тенью глаз, то Фрося заметила бы, каким адским огнем они вспыхнули и злобно впились в лицо пани. Цыганка вздрогнула, наклонилась вперед, словно приготовляясь к скачку, как тигрица, но через мгновение она, видимо, овладела собой и, сгорбившись еще больше да прихрамывая на ногу, подошла робко к Фросе.

— Ой красавица моя писаная! Словно зорька на небе ясная! Да перед такой красуней все зори гаснут и сам месяц-князь затуманился,— идя навстречу, заговорила, низко кланяясь, цыганка.— Протяни мне, пышная пани, свою белую ручку да не пожалей бедной калеке карбованца, а то и дукатика: всю правду расскажу — и что с тобой было, и что с тобой будет, и по ком у тебя сердце щемит, и кто по тебе, красавице, сохнет... А коли что понадобится, так и зелье у меня всякое есть, и слово заговорное найдется... На золото, на радость, на слезы, на погибель... и на приворот, и на отворот — все найдется... только не прийми во гнев, а дозволь взглянуть на твою нежную ручку и положи на нее добрую грошину,— не поскупись!

Фрося оглянулась. Вокруг них стояла толпа. Предложенное цыганкой гаданье страшно заинтриговало Фросю, но она боялась разоблачений как прошлого, так и будущего, а потому и ответила уклончиво:

— Тут неловко...

— А правда, пани, правда... Зачем простоте знать панские секреты, а их найдется много,— закивала трясущейся головой цыганка, опираясь всей тяжестью на клюку, и потом, обернувшись назад, крикнула:

— Эй вы, зграя,— назад!

Толпа нерешительно и нехотя стала отодвигаться; в задних рядах послышался сдержанный ропот.

— Дозволь мне в твой палац; запремся в покое, и я все тебе, что только маешь на мысли, и всякие думки чужие, и всякое сердце вот как на ладони раскрою. Ой, вижу я и теперь уже много! — заговорила, подвигаясь вперед и едва волоча ногу, старуха.

— Нет, зачем в палац,— уклонилась Фрося.— Здесь вот у ганка (крылечка), под липами, нас никто не услышит, а там пани...

— А! — вскрикнула цыганка.— Там и пани... Молодая еще?

— Молодая.

— И красивая?

— Еще бы... Впрочем, как кому.

— А моя любая, коханая — панна еще?

— Угадай! — ответила с кокетливой улыбкой, прищуря глаза, Фрося.

Цыганка бросила на нее пронзительный испытующий взгляд...

«У! Вижу я тебя насквозь, чертова кукла! — вихрем закружились в воспаленном мозгу Ульяны — то была она — проклятые мысли, поднимавшие в груди ее едва сдерживаемую бурю бешенства.— Она, верно, она! И рожа смазливая, выхоленная, и хвостом вертит, и в глазах чертики... Ну, стой же ты, змея подколодная, дай только увериться!»

— А панна, кажись-таки панна,— сказала наконец громко цыганка,— рука уже все покажет начистоту...

— Так, панна,— подтвердила и Фрося, забыв прибавить к этому слову «покоевка».

— Протяни же ручку,— захихикала цыганка,— не бойся... Все, что сама ведаешь, и от меня узнаешь, а чего не знаешь — доведаешься... Только не поскупись... Коли что впереди будет негоже, то мы и отведем, а доброе да желанное привернем...

С некоторой суеверной робостью протянула руку Фрося и положила на нее десятизлотку.

— Ой, щедрая ты, моя сличная панно! — заговорила цыганка, спрятавши поспешно монетку, и стала рассматривать пристально влажную и дрожащую руку.— Дай тебе боже всякого счастья и удачи, чтоб тебя любили и не разлюбливали, а чтоб сама ты сердцем не чахла... Плюнула и растерла, плюнула и растерла... Эге-ге-ге! Да ты, панно, уже любила... Прости на слове... А из песни, у нас говорят, слова не выкидывай...

Фрося вспыхнула до маковки, от внезапного смущения у нее проступили на глазах даже слезы, но она постаралась замять свое настроение звонким смехом.

— Так, так,— продолжала цыганка дрожащим от

сдержанной злобы голосом.— У тебя и теперь есть коханец... Пан не пан, а, пожалуй, и всякого пана заткнет за пояс... Золота у него, что половы; захочет — так и на ветер пустит его целый ворох... Статен, как дуб, а красен, как месяц... Руки в самоцветах, а ноги в крови.

— Ай! — вскрикнула Фрося, закрыв руками глаза.— Я знаю, про кого... неужели... и ты...

— И я знаю,— перебила шипящим голосом гадальщица и, схватив снова за руку Фросю, сдавила ее до того сильно, что панна взвизгнула:

— Ой больно!

— Раскрыть нужно ладонь, пани,— проворчала цыганка, несколько овладевая собой.— Еще не все... вот слушай,— стала она цедить слово по слову, пронизывая ненавистным взглядом свою мнимую соперницу.— Любила ты прежде и крутила многим, панно, головы... Был уже раз такой случай, что чуть и своей головой не поплатилась...

— Не нужно, довольно,—прошептала с ужасом Фрося, стараясь вырвать свою руку из рук цыганки.

— Ага? Правда ведь? — засмеялась злорадно цыганка.— Пережила, видно, такой страх, что и теперь не опомнишься... только знай, что у твоего нового коханца есть подруга... она его без души любит... да и он ее тоже; с панной только балуется, а ту настояще кохает... и знай еще, панно, что та, другая, так лиха и люта, как стонадцать чертей с копой ведьм... и что она своей разлучнице не подарит, а оддячит (отблагодарит)... хоть бы она выше хмары сидела либо на дне моря лежала, а оддячит так, что и подумать страшно... от одной думки и поседеть можно...

— Не нужно, досыть! — дрожала Фрося как лист осины и старалась заткнуть себе пальцами уши.

— Любая моя, красавица редкая, не тревожься,— продолжала шептать цыганка, удерживая за рукав Фросю.— Есть у меня всякий способ в помощь тебе... Нужно тебе дать приворот... Да добыть к нему из-под его пяты любысток... Так тогда только про тебя и думку будет держать в голове... А ту свою зацурает... А то можно еще и забутку ей дать... Я все смогу для панны, только дозволь прийти.

В это время кликнули Фросю к вельможной пани, а цыганка стала расспрашивать пришедшую покоевку про

панов, про их жизнь и про всякие интересовавшие ее мелочи; из расспросов она узнала, что Фрося только покоевка и прибыла сюда недавно...

«Ага! Она, она! — решила в своем уме Ульяна.— Ворожка правду сказала!»

Между тем Фрося, бледная, перепуганная, вошла в будуар пани маршалковой и должна была прислониться к косяку дверей, чтобы не упасть.

— Где ты пропадала? Передала ли мое приказание? — накинулась было на свою горничную Розалия, но, заметив, что она едва стоит на ногах, спросила с тревогой: — Да что с тобой? На тебе лица нет!..

— Простите, ясновельможная пани... гадалка...

— Что? Какая гадалка? Где? — изумилась и встревожилась еще больше пани.

— У нас... вон там... цыганка... старая карга...— заговорила Фрося, тяжело переводя дух,— но все знает, как по пальцам... и что было, и что будет... Мне такого нагадала... Ой панна найсвентша!

— Да что, расскажи толком?

Фрося передала все гаданье, скрывая прошлое; но к настоящему прибавила для украшения еще и своего много.

— Да это она говорит про Кармелюка! — вскрикнула под конец рассказа Розалия и в свою очередь побледнела.

— А так, ясная пани, так...— кивнула утвердительно головой Фрося,— про него... Я и сама подумала...

— Значит, эта цыганка Кармелюка знает, коли говорит и про его любовницу!

— А знает досконально... всю подноготную знает.

— Гм! — протянула Розалия и, приложив украшенный дорогими кольцами палец к своим губкам, призадумалась на мгновенье.— Слушай, Фрося,— заговорила она после раздумья,— твоя цыганка заинтересовала меня... она, видно, настоящая знахарка и добрая ворожка... Зови ее сюда... в свою комнату, пусть она и мне погадает... Не говори только, что я пани, посмотрим, угадает ли?

— Зараз служу пани,— ответила Фрося и бросилась поспешно исполнять желание своей госпожи.

Розалия вошла в комнату Фроси, чистенькую, убранную с кокетством, но все же сохранившую типичный

характер жилья прислуги; вместе с собой пани внесла и тонкий аромат благовоний. Накинув на голову, якобы по-простому, черную кружевную косынку, оттенившую еще больше сверкающую белизну ее кожи, пани подвязала каким-то шнурком свой пышный пеньюар и, взявши щетку в руки, стала ожидать с некоторым волнением цыганку-ворожею. Фрося не замедлила ее ввести.

LXX

Сгорбившись, ковыляя и стуча клюкою, цыганка с трудом вошла в комнату и долго стояла, тяжело дыша, словно бы от усталости, а между тем рассматривая пристально свою клиентку. Из короткого разговора с горничной Ульяна уже знала черты лица барыни, цвет ее волос, рост, фигуру, а к тому еще она выудила от своей собеседницы некоторые факты из ее жизни, например, про друга дома Янчевского, распоряжавшегося здесь часто на правах барина, и про предполагаемого нового возлюбленного; кроме того, в голове гадалки гвоздем засел и рассказ Андрея про графа и его подвиги.

— Ну, погадай мне, цыганка, только скорей, потому что пани вот-вот проснется и мне влетит, если я не буду стоять у дверей,— прервала наконец молчанье Розалия.

— Дай руку,— прошептала старческим голосом цыганка и, наклонясь низко, словно подслеповатая, стала ее рассматривать пристально; потом вдруг, как бы пораженная неожиданным открытием, она вздрогнула, поцеловала стремительно руку и выпустила ее с испуга.

— Ой вельможная пани, грех обманывать старую калеку,— заговорила она укоризненно и подобострастно.— Не покоевка — пани, а над всеми вельможными панями найясновельможнейшая... Солнце ясное красит небо и греет землю, а пышная пани красит свет и греет людские сердца краше и горячее солнышка... Ой, как греет, иные даже жжет!.. Дай мне свою цукровую (сахарную) ручку, моя найяснейшая пани, я тебе всю правду и про минувшину, и про будущину скажу...

— Коли ты такая угадчица,— улыбнулась, зардевшись от похвал цыганки, Розалия,— то вот рука: пога-

дай... Только не льсти, а говори мне правду,— ведь если что и неприятное предстоит впереди, то лучше о том знать, чтобы остеречься.

— Так, так, моя ясочка поднебесная,— заговорила цыганка, снова облобызав протянутую ей душистую руку,— щыру правду, только правду... а ни выдумок, ни прикрас у меня на языке нет, карай меня сила божья! Да и поганое коли бы я увидела что, так противу всякой погани у меня есть и средство... Бояться-то ни мне, ни ясной пани нечего... Вот только коли вельможная красуня требует от меня правды, то пусть не прогневается, если в гаданье выпадет какое негожее слово...

— А бронь боже! — успокоила цыганку Розалия.— Говори все, что тебе на ум ни взбредет,— я не обижусь.

— Вот и отлично... Так я погадаю на золоте... На золоте, да еще на червонном, вернее всего гаданье выходит.

Розалия положила с снисходительною улыбкой на руку червонец. Мнимая цыганка посмотрела на руку, на золото, взяла червонец и, поплевавши на него трижды, проговорила:

— Ой, хорошее золото, доброе золото — и под слюной блестит; вот так и твоя жизнь, пани, будет яснеть, какой бы лиходей ни задумал на нее плюнуть или начхать... Вот только этот дукатик тебе не годится уже держать при себе... его нужно будет закинуть...

— Да возьми, возьми себе его,— засмеялась Розалия.

— Спасибо, вот так спасибо,— обрадовалась гадалка и поскорей запрятала червонец в карман.— Будешь счастливая, будешь уродливая (красивая, удачливая)... Вон за спиной у тебя стоит много, много светлых да радостных дней... Куда ты ни ступала своею ножкою, доля везде перед тобой кылыми (ковры) стлала, а все кругом тешилось тобой и не жалело себя для твоей утехи... Бились из-за тебя все, а доскочил тебя наизнатнейший, и села ты в золотом кресле превыше других... Все минулое твое тянется светлою, червонною лентой... Только вот в одном месте на ней чернеет пятнышко... какая-то досада... и досада, и отрада, и какая-то чаровная утеха, сердечная роскошь до забытья, а вместе и горе до слез...— последние слова цыганка произнесла

отрывисто, с подчеркиванием, не сводя с Розалии пытливых очей.

Пани маршалкова слушала молча болтовню гадалки, с небрежным вниманием, но последние слова ее озадачили, и она, боясь разгадать смысл их, почувствовала подступавшую к ее сердцу тревогу. «На что она намекает? Неужели?» — мелькнуло в ее голове и отозвалось легкою дрожью, пробежавшей по телу. Розалия невольно побледнела, и это не укрылось от глаз Ульяны.

— Нежданно-негаданно, — продолжала она, повышая голос и отбивая каждое слово,— залетел когда-то в палац твой ясный сокол... А и красавец же был, да пышен, что и словом не сказать и пером не списать, а и знатен же был, как ясноосвецоное панство... Кто б же не загляделся на такого красеня, чье бы серденько не затрепетало на его медовые речи?.. А вышел-то обман и зрада: вместо чистого золота оказалось в крови опачканное железо... вместо медовых речей оказалась отрута, а вместо дяки (благодарности) за ласку —обида, обман!

Розалия вспыхнула до корней волос, а потом вдруг побледнела и отдернула руку.

— Досыть! Или ты действительно чертовски ґадаешь, или знаешь больше, чем следует даже знахарке,— бросила она нервно и нахмурила брови.

— Прости, яснейшая пани,—забормотала старуха,— сама же просила, чтобы правду открыть, так я все, что увижается, и говорю... И много еще есть впереди... любого для тебя, а ты отняла руку...

Розалия простояла несколько мгновений неподвижно, закусив губу, а потом снова решительно протянула руку, промолвив сухо:

— Кончай!

— Вот только не разберу и я, что это за сокол? — покачала головой Ульяна, присматриваясь зорко к руке.— Словно бы он уже не сокол, а орел белозорец... распустил широкие крылья и носится над землей да клекотом собирает орлят... Вижу их целые стаи, только все они супротив его, словно мухи... а все же вон налетают на шуляков, на кобцов, на сов и бьют их, раскидывают хыжие гнезда... Только вот сердце у этого орла кто-то сглазил, попортил... А может, и обман грызет его неутолимой грызотой, и не выходит у него из думок

пышная лебедка... И сидит эта лебедь, почитай, за облаком, не долететь к ней и на сильных крыльях, не досягнуть ее даже думкою, а вот у него, дурного, сердце горит по ней, этой лебедке, а оттого и опускаются крылья...

— Ха-ха! Горит, говоришь? — постаралась небрежным тоном скрыть свое необычайное волнение пани, но это ей не совсем удалось...

«У! И у этой змеи горят очи, словно угли, а сердце трепещет так, что мало из груди не выскочит,— кружились вихрем в голове Ульяниной мысли,— неужели же эта польстилась? Нет, невозможно; та скорее,— та из простых, с той стороны, где и он, а эта... О, будьте вы обе прокляты!»

— Горит,— ответила наконец с тяжелым вздохом цыганка.

— А лебедка?

— Ну, лебедка за хмарами... да и сердце у нее прихотливое, балованное... Может и забиться из примхи (прихоти)... а чтоб оно за таким птахом, что у нее под ногами, да побивалось, так от роду-веку... Вольное оно, как ветер,— сорвет одну былину, сломает другую, колыхнет третью и бросит под ноги, а унесется за хмары...

— А орел силится тоже подняться за хмары?

— Гм... только не подняться ему так высоко... а вот голубка, на что малая и нежная птица, а если у нее нестерпимо заболит сердце, то от тоски да от грызоты она сможет набраться силы и найти эту лебедку даже за хмарами...— Последние слова как-то зловеще прошипела гадалка и закашлялась...

Маршалкова вздрогнула и бросила, с своей стороны, пронзительный, злобный взор на цыганку; в душе ее промелькнуло какое-то подозрение: откуда бы цыганка могла узнать ее сокровенные тайны, но потом она успокоилась на том предположении, что эпизод с графом общеизвестен, а цыганка могла ему придать свою окраску, чтобы поразить гаданьем и высосать от клиентки побольше денег; но Розалии и в голову не пришло, чтобы под видом этой старой калеки, задыхающейся ведьмы скрылась молодая красавица.

— Занятная ты, гадалка, и умная,— сказала она после раздумья,— говорить складно умеешь, можешь и настращать, и разогнать скуку, только зараз тебя не пе-

реслушаешь... Заходи когда еще побрехать, посмешить меня... а зелья мне твоего не нужно: я здорова, и весела, и вольна, как рыба,— это ты угадала! Вот тебе за труды...— И Розалия опустила в черную руку старухи еще червонец.

— Благодетельница моя, щедрая да ясновельможная... Спаси господь твою душеньку и даруй тебе всякую радость, чего только побажаешь... и птичьего молока, не то что! — стала благодарить, низко кланяясь, цыганка, и, пока не угас звук шагов ее, слышались ее причитанья.

Когда Фрося вошла доложить барыне, что Арап уже оседлан, то застала ее в возбужденном состоянии: щеки у пани пылали, глаза сверкали восторгом, грудь высоко вздымалась.

— Слушай, Фрося,— заговорила порывисто пани,— цыганка, до правды, брешет ловко и может быть нам полезной... Заинтересуй ее, чтобы она снова пришла... Понимаешь?..

— Понимаю, понимаю... ясная пани... Разорвусь для вельможной... след ножек имосци целовать буду... себя не пожалею,— тараторила камеристка, провожая свою госпожу.

Полная радужных надежд и любовного настроения, Розалия поскакала к заветному дубу и к неописуемому восторгу нашла в дупле его свернутую небольшую цидулку. В ней стояла одна только фраза: «Через два дня или провалюсь в самое пекло, или буду к вечеру в бурдее (землянке), что за оврагом, в глубине леса, прямо от фигуры...»

В предместье Литина, над живописным обрывом, среди роскошных, разложистых лип, стоял небольшой домик с ганком и высокой соломенной крышей; с одной стороны перед домиком лежало открытое поле, а с другой — по крутизне сбегал к блестевшему внизу пруду кудрявыми куполами густой сад. Этот домик принадлежал молодому еще Годзевичу, бывшему секретарю повитового суда, оставившему почему-то рано служебную карьеру. Злые языки говорили, что он вынужден был выйти в отставку потому, что не умел с начальством делиться взятками, а сам Годзевич свали-

вал вину на судью, преследовавшего его, как русского и православного. Так или иначе, а секретарь должен был оставить суд и, не имея шансов на другую службу, купил себе этот домик и стал частным ходатаем по делам, не упуская случая писать и ябеды на своего врага, которого всей душой ненавидел. Вместе с судьею он терпеть не мог и всех панов-католиков, и должностных лиц, которые были в то время из поляков[74]. Всякая проделка Кармелюка с панами тешила озлобленного отставного повитчика, и он, потирая руки, приговаривал всегда при этом злорадно: «Молодец Кармелюк! Так им, каторжникам, и надо!»

Раз вечером, во время описываемых нами событий, Годзевич ловил в пруде своем раков; но только что он забрел под кручу, как прибежала с горы курносая девчонка и объявила, что приехал к нему какой-то важный пан.

— А чтоб его черт побрал,— выругался он.

Годзевич, не торопясь, доловил раков, отнес на кухню и, переодевшись, наконец вышел в свою светелку-салоник с серьезным видом; но едва он присмотрелся к посетителю, как вскрикнул оторопело:

— Ой мамо, кто это? Невже Хоздодат?

— Аз многогрешный,— ответил весело посетитель.

— А бодай тебя! Жив, здоров? — И хозяин радостно заключил своего гостя в объятия.— Мы уже тебя похоронили было. Приезжал на той неделе мой шурин, сестринец, а твой батюшка... Говорит, что ты как в воду упал...

— О лукавый старец, да не простит ему Саваоф! Не он ли меня посредством заушения и чернечего хлеба вытурил из дома родительского, а теперь обо мне еще печется!

— Да что ты? За что?

— Совет нечестивый лжемудрецов решил, что я по статуре и великовозрастию годен более для продления рода человеческого, чем для науки.

— А! Каторжные! В мое время они были снисходительнее и во втором даже классе держали брадобрейцев... Но где же ты теперь обретаешься? Быть может, женился?

— Ох, сие обстоятельство стало для моего духа тлетворным и нарочито меня погубило,— вздохнул искрен-

но Хоздодат,— избрало бе сердце мое девицу, вспылавши к ней всеми чувствиями и вожделениями, но родитель отверг мое хотение и наказал мне пояти в спутницу жизни хотя и богатую, но омерзительную потвору (урода), и когда натура моя не могла подняться на такой подвиг, то он воспылал гневом несправедливым и изгнал единородное чадо свое из храмины.

— Жестоко и несправедливо, то правда,— после минутного раздумья отозвался Годзевич,— но все-таки где же ты, злосчастный, пристроился? По роскошной одежде видно, тебе пофортунило?

— Пофортунило... да как, что вернуться вспять не токмо в родительский дом, но даже и к жизни, статутом дозволенной, мне, грешнику сущу, уже невозможно... И я воистину для вас всех есмь усопший.

— Да что ты за вздор мелешь?

— Право! Только прошу тебя... держи мое бренное существование в тайне.

— Признавайся — ты знаешь, что я тебя люблю: и родич, и в бурсе одной были... Ну, в чем же дело? — произнес с участием и сжимая крепко руки племяннику Годзевич.

— Я поступил,— с усилием проговорил наконец Хоздодат,— к Кармелюку писарем...

— К Карме...— вскрикнул пораженный хозяин и замер на полуслове, раскрыв рот и выпучив глаза.

Длилось напряженное, роковое молчание. Годзевич тяжело дышал, озираясь со страхом кругом, а гость тихо вздыхал, поникнув виновно своею головой...

— Да ведь ты покончишь в Сибири или на дыбе...— заговорил наконец не на шутку встревоженный Годзевич,— брось поскорей, пока не сцапали, эту службу... Переселись ко мне, а там подумаем...

— Хто мае высить, той не втоне! — ответил пословицей Хоздодат.— А Кармелюк есть зело достойный и любвеобильный до униженных и оскорбленных, он карает токмо саддукеев и фарисеев, да и то души христианской не губит... Хулы всякие на него изрыгают и лжу возводят несправедливо... А я познал его сердцем и реку вам, что он меня жалеет пуще отца моего по естеству, и я именую от души моего покровителя батьком. Батька ли изменит мне и оставит?

— Ох бесшабашная голова! Да и я сам, хотя и не

знаю Кармелюка, а душевно к нему расположен... И меня вельми радует, когда он панов и жидов шарпает... а все же, хотя я сердцем и склонен к сему гайдамаке, а головы за него своей не подставлю,— голова, пока на плечах, и мне самому нужна.

— Да я и свою голову ценю не в динарий, а в несколько, может быть, талантов, но... суженого конем не объедешь... Ну, да что об этом! Вот вскоре от Кармелюка многие лихоимцы, стяжатели, злочинцы и чревоугодники получат заслуженную мзду — и таковую, что будет по стогнищам града слышен их скрежет зубов.

— Вот если б он проучил наших! — даже потер руки Годзевич.

— А что? — небрежно спросил Хоздодат.

— Да такого аспида, как наш судья, такой гадюки и свет не видал! Я уже про себя молчу, а он целые сотни безвинных селян катует и ссылает в Сибирь, а жидков, каких сцапают за передержку награбленного, так только обдерет и пускает на волю... Тут еще такой же негодяй — презус этой комиссии Янчевский, да и другие паны — такой же масти... и городничий — тоже подлюга!

— Так вы, дядюшка, судии не жалуете? — переспросил Хоздодат.

— Ненавижу, в ложке б воды утопил... и если бы довелось отомстить ему, почел бы себя счастливейшим человеком...

— А обретаетесь ли вы, дядюшка, с городничим, с тюремным смотрителем в должном общении и ведаете ли порядки всех ихних лжесудьбищ?

— Еще бы — изо дня толчешься... Зубы проел... по позвам (тяжбам) и контроверсиям (возражениям),— даже моего врага посещаю...

— Ну, так велелепно! Будете довление имати — и увидите врага своего низверженным... Но рука руку моет... только о сием впоследствии, а найпрежде всего вопию гласом велиим: алчу и жажду!

— Зараз, мой любый... и раки, и вареники будут, да и караси в сметане,— попались случайно...

— Так попадутся и градохранители... — засмеялся Хоздодат,— но раки и рыба любят плавать,— добавил он предусмотрительно.

— Знаю, знаю: для них будет поставлена и настоянка, и простая, и наливок гатунков (сортов) четыре!

— О сердобольный и великомудрый мой дядюшка! — воскликнул торжественно Хоздодат.— Как я счастлив, что под кровом сиим обретаюсь!

Годзевич обнял по-родственному своего гостя и велел немедленно подавать вечерю...

Годзевич оставлял у себя племянника на ночь, но последний исполнить его просьбы не мог: ему нужно было спешить с радостными вестями к своему патрону. Прощались родичи и новые друзья весьма трогательно: они долго обнимали друг друга, долго топтались, покачиваясь на месте, клялись в верности и посылали проклятия врагам...

LXXI

Когда первый ужас и оцепенение от полученного письма прошли, судья немедленно послал гонцов к городничему, к начальнику инвалидной команды, к смотрителю тюрьмы и даже к пану пробощу *, чтобы все собрались немедленно к нему на совет по чрезвычайной надобности. Сам же он от тревоги и нервного потрясения сразу потерял силы и не мог ничего придумать.

Янчевский, взволнованный и пораженный дерзостью гайдамака, сам ощущал лихорадочные приступы страха, но тем не менее укорял в малодушии судью, ободрял его тем, что это вздорное, нелепое запугивание подлого гайдамака доказывает его бессилие, разражался каскадами классической отборной брани. А судья почти бесчувственно полулежал в кресле и стонал от сильной головной боли; Янчевский положил ему салфетку, смоченную водою, на лысину; тонкие струйки воды побежали на грудь и за спину судьи и вызвали сильную дрожь, но он ничего не ощущал, а только бормотал побелевшими губами: «Ой, рятуйте! Под твою опеку... Найсладчайший пане! Отдать... отдать и бросить все... ну его!» Напрасно Янчевский, для поднятия собственного духа, горячился и утешал судью, подносил даже водку; последний был безутешен, не хотел пить и весь пре-

* Ксьондзу.

давался отчаянию. Когда сбежались на его призыв городские власти, то застали хозяина на том же месте, окутанного в одеяла, с салфеткой на голове. Нетронутый обед стоял на столе: Янчевский, для поднятия храбрости, прикладывался только к старке.

Начались толки. Письмо переходило из рук в руки. С каждым новым прочтением его впечатление усиливалось и повергало судью в бо́льший ужас; не только старка, но и перцовка, рекомендованная врачом, не могли согреть представителя правосудия, и он не переставал скрежетать зубами и рычать от потрясавшего его озноба, прерывая иногда свои стоны жалобною, слезливою просьбой к собранью: «Ой, рятуйте, панове! Пропал!»

Хотя Янчевский и старался уверить компанию, что дерзкий, ругательный тон письма показывает лишь грубую шутку беззубого врага, но тем не менее все собравшиеся были другого убеждения и видели в письме полную уверенность в исполнении угрозы: над судьей и над ними издевался и грозил карою не тявкающий щенок, а рыкающий лев... И, несмотря на то, что гости и без приглашения хозяина прикладывались к старке, к агрусовке и к перцовке, общее настроение не прояснялось.

— Первое что, панове,— заявил наконец городничий,— это с места же погнать в Каменец губернатору эстафету, чтоб его превосходительство прислал сюда войско.

— Да, да,— согласились все,— в тен момент, не теряя минуты.

— А вслед за первою эстафетой,— добавил смотритель,— послать вторую и третью, что город, мол, в опасности... казначейство...

— Так, так! — подхватил ксендз.— Нужно попугать москалей...

— А в городе нужно учредить патрули дневные и ночные,— советовал капитан.

— Да известить еще окрестных панов, чтоб прислали свои команды,— добавил Янчевский,— это я возьму на себя, а пан городничий пусть предпишет обывателям, чтоб поставили возле каждого двора стражу... Свои же шкуры будут защищать, бестии!

— Мещане и попы не боятся за свои шкуры,— заме-

тил голова магистрата,— лишь панству да уряду придется платиться.

— Oremus, Domine! * Избавь нас от опеки! — вздохнул, поднявши глаза вверх, пробощ.

— Да,— горячился Янчевский,— всех пан городничий еще должен снабдить оружием.

— На бога, панове! Где я возьму?.. У меня и у инвалидной команды нет его полностью: во многих вместо сабель — одни ножны, а вместо курков и кремней у ружей — деревянные закрашенные болванки.

— Панове! На бога!— прошептал судья.— Подумайте о моем спасении... А может быть... выпустить этого хлопа? На черта он?

— Что ж... конечно... да это и дрянь какая-то неважная...— заметил несмело смотритель.

— Гм... да... пока нет у нас сил, город бы был огражден от опасности,— согласился голова магистрата.

— Неловко только как будто...— почесал себе голову городничий.

— Показать себя трусами... черт возьми! — возразил капитан.

Янчевский начал целую бурную орацию против такого позорного предложения.

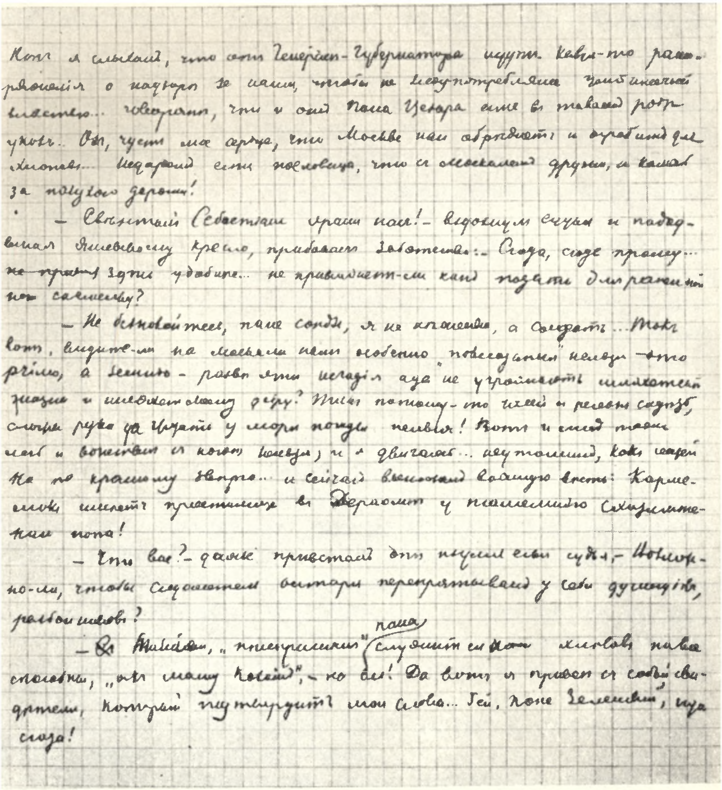
— Как! До чего мы дожили? О tempora, о mores!— кричал он.— Неужели мы пали так низко душою, что подлый хлоп, пся крев, будет повелевать нами, а мы падать до ног его и исполнять его каждое слово? Если так, если наше славное рыцарство выродилось в трусов, то ему не о воле помышлять, не о золотой свободе, а подставлять под нож свою шею, подставлять добровольно и сознательно... Да, наконец, панове, выпускать из-за своих шкур злодея — это преступление!

Речь Янчевского произвела отрезвляющее впечатление, и все загалдели, что выпустить гайдамака нельзя, несмотря на угрозы лотра.

— Так рятуйте меня, панове,— возопил судья.— Защитите!.. Ой, угрозы шельмы — не жарты! Поставьте хоть вокруг моего дома стражу... инвалидов... Пане капитане, я ничего не пожалею... Ведь на меня ж первого... Этот разбойник... У меня жена, вы знаете... могут быть дети. Что без меня с ними будет! На ме-

---

* Просимо, господи! *(Лат.)*



Фотокопія сторінки автографа роману М. Старицького «Разбойник Кармелюк».

ня ж и озверился этот кровопийца за то, что я защищал ваше добро и не потурал бунтарям, разбойникам, так защитите ж и вы меня!

— Успокойся, пане судья, защитим,— сказал уверенно городничий и приступил к обсуждению практических мероприятий для защиты города и его обывателей от дерзкого нападения гайдамака.

К концу заседания военного совета и судья несколько просветлел: предпринятые меры и воскресшая уверенность властей в своей силе отчасти успокоили и его. Он долго, впрочем, не отпускал от себя приятелей, угощая их до отвала, а при прощании просил, чтоб остался кто-нибудь ночевать в его доме.

Все обещали завернуть, управившись с своими делами, и успокаивали судью, что эти три дня тревожиться ему нечего, а там прийдет помощь, да и вообще, в конце концов, это пустая выдумка негодяя. Тем не менее эти успокоения действовали на судью мало; оставив у себя для переговоров о деле тюремного смотрителя, он повел с ним такую речь:

— Слушай, мой любый пане! Гладко-то они стелют, а как доведется нам спать? Ведь из-за этого одного хлопа лотр грозит нам тортурами, разбоем и местью... Именно нам, потому что мне он будет мстить за то, что я сужу, тебе, пане, за то, что держишь, а нашему презусу за то, что схватил гайдамака... Но если б мы даже ушли от рук злодея... Ну, бежали б, что ли, то во всяком случае этот дьявольский выплодок будет стремиться вызволить своего приятеля, и кому-кому, а тебе его нападения не избежать...

— Ох, мой доблестный пане, разве я этого не чувствую,— вздрогнул смотритель.

— Так не устроить ли пану добродзею такой штуки, чтоб этот гайдамака ушел сам из тюрьмы — и баста?

— А мне-то что нагорит? Самому сесть на его место придется...

— Ну, мы заступимся...

— Хе-хе! Как и защищать такого смотрителя, у которого арестанты убегают из тюрьмы... Напишите мне требование, так я этого хлопа пришлю к вам, а вы его отправьте с одним провожатым к Пигловскому — и квита! Поверьте, что они оба убегут в лес.

— Неудобно после такой орации нашего презуса и общей опинии!..

— Ну и мне-то самому...— развел руками смотритель.— А если хотите и себя, и меня рятовать, то дайте мне в руки хоть что-нибудь... По правде сказать, я на эту хваленую помощь и не надеюсь: поболтали, поболтали, расхрабрились за чаркою, а там заснут и забудут... да и на эстафеты эти, знаем мы, как ответят... А три дня пройдет, и наша шкура трещи...

— Ой, и не говори, пане!

— Так пусть егомосць подумает... И мне хоть малую бумажечку: «С получением, мол, сего препроводить мне неукоснительно»... А я рад всею душой для ясновельможного...

— Хорошо, подумаю,— вздохнул безнадежно судья.

Долго он ходил по своему кабинету, ломая голову, каким бы образом благовидно отделаться от этого арестанта, и наконец вспомнил прежний совет Янчевского. Немедленно же он написал Пигловскому,— чтобы тот, как дидыч, потребовал от комиссии возврата ему хлопа для допроса оного на месте,— и отправил письмо эстафетою.

Это, казалось, успокоило судью, но с наступлением ночи снова стал к нему подкрадываться со всех углов ужас, а из приятелей никто не вспомнил обещания, и ему пришлось самому вместе со старым слугою коротать тоскливо бесконечную ночь. Только поздним утром заснул наконец судья, да и то тревожно, с кошмарами. А с наступлением дня он принялся с необычайною энергией следить за исполнением мероприятий, перекочевывая от одного знакомого к другому; но все они, хотя и выказывали в глаза своему приятелю сердечное сочувствие, хотя и возмущались дерзостью лотра, но тем не менее сторонились от обреченного на кару, как от зачумленного, и забегали к нему лишь на минуту, и то днем, а вечером никто и глаз не казал.

Впрочем, угрозы Кармелюка подействовали и на сонных обывателей, и на бесстрашных представителей рыцарской шляхты. На другой же день по улицам Литина загремели трещотки и послышались на перекрестках окрики: «Смотри!» Сабли у инвалидной команды были отточены, в некоторых ружьях вместо деревяшек были вставлены кремни, пожертвованные жидками, и

восемь вооруженных стражей стало вокруг дома судьи; Янчевский полетел по соседним помещикам, сам вооруженный с макушки до пят и в сопровождении шести вооруженных всадников, но уже ездил днем, а вечером укрывался где-нибудь в более защищенном месте.

Так прошло три дня, и хотя из Каменца была получена успокоительная эстафета, что войска будут немедленно посланы, горожане проникались все большею и большею паникой, не говоря уже о судье, который от тревоги, бессонных ночей и непобедимого отчаяния весь осунулся и почернел. Полученный им через сутки ответ от Пигловского, в котором тот отрекался от своего хлопа и предоставлял комиссии право распорядиться с ним по желанию, хотя даже и повесить, лишил судью последней надежды и довел до тупого оцепенения.

В конце концов судья решил было просто уехать из города, хотя бы к пану маршалку, где находилась его жена и где он ожидал больше защиты; но самый переезд совпадал с третьим роковым днем и подвергал его ужасному риску... Смертельная тоска уселась на его груди отвратительною жабой и стала немедленно высасывать из его сердца кровь...

На третий день зашел в писарню комиссии за какими-то судебными справками Годзевич; он вел дела некоторых мещан, попавшихся или в укрывательстве гайдамак, или в перепродаже награбленного добра. И прежде, как мы знаем, судья относился к нему враждебно, а в последней роли ябедник стал ему особенно ненавистен, и судья не только не принимал его, но и не позволял даже входить в канцелярию; сведения из нее он получал по продолжительной волоките, и то по настоянию высшего начальства, которое ходатай забрасывал своими жалобами и донесениями.

Узнавши о приходе Годзевича, судья обрадовался хотя враждебному, но все же живому человеку: в последний вечер его не посетил никто из знакомых, а слугам своим судья не доверял... И пришлось ему одному в пустынных покоях переживать ужасы... Немудрено, что он обрадовался теперь и Годзевичу и велел пригласить его к себе.

Смущенный неожиданностью, Годзевич вошел в кабинет судьи и остановился молча у дверей. Судья гос-

теприимно ему сказал: «Витам пана!» — и хотя не предложил ему руки, но попросил присесть.

— Благодарю! — ответил озадаченный гость.

— Вацпан, вероятно, за какой-либо справкою? — продолжал любезно судья.— И все на мою голову... ох, ох! Но у меня в канцелярии теперь беспорядки... и пан, очевидно, жаловаться имеет... Но что я поделаю? Нет у меня хорошего, дельного, работящего письмоводителя... Ох, как я жалею, что пан ушел... Был бы теперь, как у Христа за пазухой.

— Ясновельможного пана была воля отправить,— заметил с сдержанною злобой Годзевич.

— Ах, правда... И как я об этом жалею,— вздохнул судья.— Все злые языки, наговоры... Мы ведь тоже не святые... А теперь я сам, як маму кохам, сознаю, что такого исполнительного, разумного письмоводителя, как пан, трудно найти... Ну, насчет там грешков, так один только бог без греха.

Годзевич смотрел широкими глазами на своего бывшего начальника и не верил своим ушам. «Что это он, смеется надо мною или хочет что выпытать? Язык-то сладкий, как мед, а под языком, верно, яд! Ишь, глаза бегают! А верно, я ему нужен... или предчувствует... или, быть может, пронюхал?» — вертелись у него мысли. Последнее предположение его испугало, и он, почувствовав внутренний трепет, не нашелся что ответить.

— Если бы пан пожелал,— продолжал вкрадчиво судья,— то я бы мог похлопотать, чтобы вновь пана — в повитовые...

— Приношу благодарствие ясновельможному пану,— замялся, еще больше растерявшись, Годзевич.— Только теперь я уже имею хлеб на другом поле... И, по благословению божиему, хлеб мой не скуден... А от добра, говорят, добра не ищут...

— Рад за пана,— ответил высокомерно и сухо судья. Он рассчитывал, что предложение его вызовет у бывшего секретаря слезы умиления, а потому отказ его показался ему обидным и, главное,— разрушал его план. Но, помолчавши некоторое время, судья пересилил свое настроение.

— Мне бы справочку...— начал было гость.

— Так, так,— перебил его хозяин,— вот в том-то и дело, что я без рук... А загордился пан... Видно, до

правды, нашел себе легкий хлеб... Ну и, овшем...* я рад... А вот все-таки услуга за услугу: я пану сам найду всевозможные справки, а пусть за это пан и мне поможет в отписке...

— Готов служить ясновельможному...

— Так приходите вечером, пане, на чашку гербаты (чаю),— несказанно обрадовался судья,— поработаем, повечеряем... И как пану далеко домой, то я усердно прошу и переночевать у меня... пан холостой, я знаю, а я теперь соломенный вдовец... так мне и приятнее будет иметь пана у себя гостем.

Уж что-что, а это приглашение не могло и прокрасться в голову Годзевича, притом оно не соответствовало выработанной им программе, а поэтому он до того растерялся, что долго стоял истуканом, раскрывши комически рот. Судья со снисходительною улыбкою ждал ответа.

— Ну что же, пане?

— Пусть меня извинит ясновельможный,— начал наскоро с запинкой гость,— ласка панская меня ошеломила... Я не знаю как... эта честь... не по мне...

— Я прошу,— подчеркнул судья настоятельно.

С минуту еще подумал Годзевич и сообразил, что можно остальное уладить, а это приглашение будет на руку: отличный отвод.

— Целую панские колени. Мне, подлому, это такая честь,— заговорил он,— что я и не знаю... Если на то панская воля, то я до послуг и, управившись днем со своими делами, неукоснительно вечером буду...

— Отлично! — вскрикнул судья и стал крепко жать ему руку.

На третий день к вечеру была получена из Каменца эстафета, что эскадрон драгун отправлен в Литин форсированным маршем и что вскоре будет послано еще пять рот пехоты для поимки разбойников. Весть об этом разнеслась мгновенно по городу и ободрила всех обывателей, даже судью; он только просил городничего послать и на окраины города полицейских огласить эту новость, пояснив, что войска ожидаются к ночи. Расчет судьи был верен: Кармелюк, имея среди мещан и бедных обывателей своих союзников, наверное, сейчас же

* Звичайно.

будет извещен ими и не только откажется от безумной мысли напасть на город, но даже постарается убежать со своей шайкой подальше, ввиду наступления войска.

Годзевич пришел к нему в сумерки в более веселом настроении духа; он тоже полагал, как и судья, что слух о войсках перепугает вконец злодеев, что мелкие мещане окрестностей, сочувствующие этому зверю, уже переполошились,— он сам видел, как двое всадников понеслись куда-то в поле.

Судья был чрезвычайно рад своему посетителю, угощал его, затягивал чаепитие и натащил много вздорной переписки, лишь бы задержать его работой до полуночи и оставить у себя ночевать. После чаю Годзевич, по просьбе хозяина, обошел стражу, дал ей по чарке водки, так как вскоре ожидалась ночная смена, и объявил судье, что околоточный настаивает, чтобы отпустили людей ввиду переутомления; судья попросил гостя сбегать к городничему, чтобы тот ускорил смену, и через четверть часа Годзевич донес ему, что он не успел и дойти до полиции, как встретил смену и установил ее вокруг дома.

Судья, осмотревши ворота, калитку, ставни и двери, крепко ли все заперто, продрог совсем и поспешил возвратиться в свой кабинет. Старому слуге и молодому, сильному повару он приказал находиться неотлучно в прихожей и бодрствовать, а всей остальной дворне велел собраться в людской и быть наготове по первому зову явиться на помощь.

— Нестеты (увы)! — воскликнул трагически судья, опускаясь в кресло.— На этих обывателей плохая надежда... Что за преступная беспечность? Только лишь получили известие, что высланы войска, и тотчас успокоились, опустили руки... Заметил? Ни фонарей, ни обхода... Все спит в городе мертвым сном!

— Да, ясновельможный пане, непостижимо!—вздохнул Годзевич.— Но не поздно ли утруждать себя... может быть, я бы пришел утром?

— Нет, нет,— запротестовал испуганный судья.— Я не хочу и на маковое зернышко спать... Мы будем работать... и пана я прошу подночевать у меня...

Годзевич поблагодарил униженно судью за приглашение и принялся за работу.

Время тянулось тяжело и тоскливо; мертвую тиши-

ну нарушало лишь отчетливое тиканье стенных высоких часов, изредка отбивавших печальным звоном часы.

Вот уже пробило одиннадцать, и вдруг в парадную дверь кто-то постучал уверенно, смело.

LXXII

Судья вскочил с кресла и замер в ужасе. Стук повторился. Судья побледнел как стена и ухватился за косяк двери. Годзевич выказал еще больше страха и стал искать места под столом, где бы спрятаться...

— Не отворять! — крикнул, задыхаясь от волнения, судья, но вместо крика из стиснутого горла вырвался у него какой-то хрип.

— Да, да, не отворяйте! — завопил Годзевич.— Узнайте, кто там? Гей, Себастьяне, Виценте!

— Да что они не откликаются? — растерялся еще больше судья.

— Пойдем, пане, посмотрим,— предложил Годзевич,— ведь дверь кованая, дубовая... затворы железные... кругом стража и тревоги никакой не слыхать... Вероятно, свои, а мы....

— А может быть,— успокоился несколько и судья: соображения Годзевича были правдоподобны.

Они вошли в переднюю и застали двух верных слуг спящими. Годзевич стал их расталкивать, но добудиться не мог; кто-нибудь и поднимал из них голову, но удержать ее не мог,— она безвластно опускалась на грудь и своей тяжестью увлекала на деревянный диван и все туловище слуги; очевидно было, что эти преданные челядники или хватили через край хмельного для храбрости, или были чем-то опоены.

А стук между тем повторился в третий раз.

— Кто там? — окликнул смело Годзевич.

— От городничего к пану судье,— ответил какой-то молодой голос.

— Не отворяй! — прошептал судья...— Удостоверься... есть форточка.— Опершись руками о стол, он тяжело дышал и шептал какие-то заклинания или молитвы.— Расспроси!

Годзевич отворил крохотную форточку и заметил, что впереди стояла статная фигура, а за последней — еще двое вооруженных людей.

— Что нужно городничему в полночь? — спросил Годзевич.

— А вот письмо возьми, пане!—ответил ближайший.

Годзевич принял письмо, присмотрелся к нему и сказал успокоительно:

— Рука городничего, смотрите!.. Напрасно мы переполошились... Будь они прокляты!..

— Ох! — вздохнул с облегчением и судья.— Читай!

— Просит, чтобы дал пан приют непременному члену, прибывшему из Каменца вместе с отрядом... и офицеру; что у егомосци совершенно пустой теперь дом,— переночевать только, а завтра он разместит по обывателям... теперь же ночь,— все это проговорил быстро Годзевич, почти не смотря на письмо и не поднося его к свету.

Судья не обратил внимания на такую странность, а переспросил с детской радостью:

— Так отряд уже здесь, в Литине?

— Здесь, здесь... для начальства ихнего и просят приюта... Так впустить?

— И овшем... я так рад... только стой! А если это не они? — запнулся после порыва судья.

— А кто ж бы это мог быть?.. Вон и ваш стойчик Кравчук... разговаривает с инвалидом... Ха-ха! Пан добродий уже чересчур... подозрителен... Ведь если бы что, так не стояла б спокойно так стража...

— Да, да... Это так... я чересчур...— бормотал судья,— но вот под сердцем что-то сосет...

— Это бывает,— заметил как-то злорадно Годзевич,— от огорчения... Вот и меня так же сосало, когда выгнали... и остался я без куска хлеба... Так впустить? Неловко гостей держать перед запертой дверью...

— Ох пане найсвентший! Впускай!

Щелкнул замок, взвизгнула щеколда, звякнул тяжелый железный болт, и дверь распахнулась.

В нее быстро вошли трое не знакомых судье людей; они были вооружены. Стоявший во главе стройный, красивый мужчина был в венгерке и мог быть принят в сумерки за гусара, но его товарищи были одеты в чумарки — того времени костюм охотников или экономов. Один быстрый взгляд на вошедших смутил судью и поверг его в панический трепет; он поднял руки к Годзевичу и замер в такой позе, а Годзевич тоже, словно

пораженный неожиданным ужасом, закрыл лицо руками и замер...

— Все ли свершил? Разослал ли послания? Усыпил ли кустодию? — спросил незаметно шепотом у Годзевича третий гость, вошедший последним.

— Все! — ответил Годзевич и закрыл плотнее глаза.

— А москали когда?

— Завтра вечером.

Этот таинственный летучий обмен мыслей произошел в тот момент, когда снова запирали дверь на болт. Если бы судья был даже в спокойном состоянии, то за лязгом железа он не мог услышать ни слова.

— Ну, пане ясновельможный, наш славный и почтенный судья,— заговорил наконец, вежливо раскланиваясь, первый из вошедших,— честь имею репрезентоваться: Иван Кармелюк!

И до этой рекомендации судья дрожал уже, как Каин, предчувствуя что-то недоброе, но произнесенное рекомендовавшимся имя поразило его, как громом...

С криком «Литосци!» он хотел броситься перед страшным атаманом на колени, но не устоял и растянулся у его ног грузною колодой.

— Поднимите его,— сказал презрительно Кармелюк,—да вспрысните водой, а то, встретив дорогих гостей, он ошалел от радости...

Пока приводили судью в чувство, напившаяся прислуга была для большей безопасности перевязана: этим распорядились Дмитро и Хоздодат,— они-то и вошли вместе со своим атаманом в покои судьи. Хоздодат, между прочим, еще спросил у Годзевича:

— А приказ тюремному смотрителю готов?

— Вот,— подал ему за спиной сложенную вчетверо бумагу Годзевич,— и печать, и номер, и подпись городничего... Только нужна еще подпись судьи... Да свяжи же и меня... а то посчитают соучастником... и заткни мне платком рот, чтобы не мог звать на помощь.

Через минуту Годзевич лежал связанным по рукам и ногам под столом, а во рту у него торчал скрученный жгутом платок, позволявший ему с трудом дышать и слабо стонать.

Когда привели судью в чувство, то он, в порыве отчаяния, попробовал было крикнуть, но голос

оборвался, а подбежавший Дмитро ударил его кулаком в нижнюю челюсть... Судья только всхлипывал и окровавленными губами шептал: «Литосци, милосердья, на бога!»

— Ты извини, справедливый судья, за грубость обращения моего кошевого,— заговорил мягко атаман,— сам виноват... затеял было кричать... Успокойся: хоть горло перерви, а никто к тебе не придет на помощь,— город крепко спит, патрулей, ввиду прихода вызванных тобою войск, уже не поставили, стража вокруг твоего дома не инвалиды, а мои гайдамаки, челядь твоя перевязана, и, кроме всего, ты сам так закупорил двойными ставнями дом, что хотя бы все мы принялись кричать во весь рот, никто бы нас не услышал... Да и не пошляхетски, пане добродию, принимать так старых знакомых... Ведь я же, помнишь, продал тебе сходно вексель Хойнацкого?..

Судья только стонал, выпуча глаза, и ломал в отчаяньи руки. Вид его был и комичен, и жалок, но исказившиеся от ужаса черты его лица, безумный взор, обличавший готовность на всякого рода унижение, рабская мольба — не вызывали к нему участия, а будили, напротив, чувство презрения.

— Переведите его вельможность в кабинет,— обратился к своим Кармелюк,— там удобнее и приличнее будет толковать с почтенным хозяином и главным членом знаменитой комиссии.

— Невинен... невинен!..— бормотал судья, едва передвигая ноги.

— Чего же ты, пане, смущаешься? — продолжал Кармелюк, когда судью усадили в кресло.— Ведь ты же меня, очевидно, желал у себя иметь гостем, потому что, в противном случае, ты бы мне зараз прислал Явтуха, а коли не прислал, значит, соскучился по мне... Ведь Кармелюк своего слова не пускает на ветер!

— Ой матка боска Ченстоховска! — всхлипывал судья.— Я не мог... не моя власть... не моя сила... Все бери, только даруй... жизнь... у меня жена... без памяти меня любит... пожалей хоть ее!

— А ты жалел несчастных, неповинных селян, схваченных проклятой вашей комиссией, и схваченных беспричинно? — возвысил Кармелюк голос, и в металлическом звуке его не слышалось уже ни жалости, ни

пощады.— А? Жалел ли ты сирот, детей и несчастных вдов? Не драл ли ты и в повитовом суде с живого и мертвого шкуру?

— Не я... Комиссия... Что я один? Зеро (нуль)! Я брошу все... Сейчас же... В тен момент...

— Нет, ты не бросишь! — крикнул грозно атаман.— Ты примешь заслуженную кару и будешь в комиссии и повитовом суде творить суд милостивый; иначе, если ты кинешь и поставишь на свое место другого пса или кого-либо засудишь, то, клянусь всем святым, я посажу тебя на кол! И знай, что слово мое — кремень и что никто, никто не защитит тебя от моей кары!

Судья только трясся всем телом и издавал жалобные стоны.

— А вот ты говорил, что не мог Явтуха выпустить,— громил Кармелюк,— так это ты брешешь! Подпиши сейчас же эту бумагу! Я мог бы тебе и не говорить, что в ней заключается, но по-приятельству сообщу: это приказ о немедленной передаче ночью же, под стражей, Явтуха пану Пигловскому; стража будет моя и, вместо Пигловского, приведет узника в мой стан... А вот подпиши еще и эту бумажку: в ней ты объявляешь заподозренных крестьян свободными от заключения... так как они доказали свою невинность... Только заруби себе на носу, что если ты завтра или потом отречешься от этой бумаги и признаешь, что она подписана вынужденно, то я с тебя живого сдеру шкуру!

— Все... все...— давился словами судья,— только жизнь... даруй... на раны пана Езуса!

А пока обезумевший от ужаса судья подписывал дрожащею рукой подсунутые ему бумаги, Дмитро, кликнувши в помощь к себе Андрея, обшаривал дом и брал все ценное, что попадалось ему в руки.

— Плохая контрибуция,— ворчал Дмитро, отбивая комоды и ломая шкафы,— всякой дряни и амуниции вороха, а грошей нет! Запрятал куда-то, собака! У такого скареда их должны быть целые сундуки, скрыни... а вот, волк его зарежь,— не найду... Придется попросить, чтобы сам показал.

Хоздодат же, присев на корточки перед связанным дядюшкой, благодарил его за помощь:

— Батько атаман так выхваляет тебя, дядюшка, что и словес на сие у меня бракует; велия мзда тебя ждет,

а к ней в дачу и сердца наши! И городничего отвлек из города навстречу мнимых москалей, и отменил он местную стражу, благодаря ухищрению твоему, и смотритель упрежден — бдит и ожидает приказа, тоже дякуючи тебе, и бумаги скомпонованы зело правдоподобно, а подписи содеяны искусно и хитро... Вот только смущается сердце мое, чтобы тебя, неповинного агнца, не взяли под подозрение... Положим, вервии и плат в устах свидетельствуют о гвалте, но я мыслю, что сего мало... Будет лепей и достойней веры, если мы тебе всыпем горячего уголья за халявы (голенища) либо спишем прутьями спину, а то можно вырезать ремня два из твоей шкуры — для очевидности.

Несчастный дядюшка вытаращил глаза на своего племянника и безнадежно стал отрицательно мотать и стучать о пол своей головою.

— Гей, Хоздодат! — раздался из кабинета голос атамана.

Секретарь сорвался на ноги и стремительно бросился в кабинет.

— В тюрьму я отправляюсь с Андреем, возьму с собою четырех человек,— отдал распоряжение атаман,— а ты с Дмитром, управившись здесь, соберешь расставленных по переулкам наших,—всех пятнадцать, помни,— и осторожно, по одному, по два человека, под видом ночной варты, отправишься на предместье — сначала в тюрьму, на всякий случай, а потом к саду пана Годзевича, где стоят наши кони... Оседлаешь их и будешь ждать... Разумеешь?

— Понял, батьку! — ответил попович.

— Да вот еще, кстати, и Дмитро здесь,— продолжал Кармелюк,— произнесите вы над этим лантухом суд... Меня называют разбойником, а я еще даром не пролил и одной капли христианской крови, а стоял лишь за несчастных да бедных и голову за них верно сложу, а он занапастил и замучил даром сотни людей, я и не говорю уже, что на нас, вольных птиц, скликает войска и меня собирается сквозь строй гнать.

— Повесить собаку! — крикнул Дмитро.

— Нет, будет время — повесим,— возразил Кармелюк.— Я хочу еще, чтобы он поправил свои лиходейства и освободил невинных страдальцев..., а потому жизнь ему я дарую... но так как нельзя же оставить без

кары его злочинств, то оставь ему памяткового: спусти немного сала и подари еще червони чобиткы!

Осунувшись в кресле, полулежал безвладно позеленевший от страха судья; глаза его бессмысленно были устремлены в одну точку, крупный холодный пот струился по жирному, лоснящемуся лицу, рот был открыт в ужасной судороге, а по шее размазывалась широкими клейкими потоками кровь. Вряд ли судья и сознавал, что его ждет... он был полумертв.

LXXIII

Возвратилась Розалия домой и обрадованная, и озадаченная странным содержанием записки: «...или буду на дне пекла, или прибуду в назначенный час».

Что могло означать это странное выражение? Очевидно, этот безумец опять затеял какое-нибудь страшное, рискованное предприятие. Где, когда, как?

Хотя Розалия вполне верила в счастливую звезду Кармелюка, в его удаль, отвагу, но тревога невольно овладела ею, и тревога была тем мучительнее, что не было никакой возможности ни предотвратить опасности, ни уговорить Кармелюка оставить рискованное дело.

«Нет, нет, так не может продолжаться дальше! — повторяла про себя Розалия, покусывая в досаде губы.—Он должен бросить этот вздор, должен устранить себя от опасности!»

Впрочем, на этот раз красавице не пришлось долго терзаться страшными догадками и сомнениями.

На другой же день к полудню прискакал верховой из Литина и привез ужасную весть о страшной расправе, которую произвел Кармелюк над литинским судьей. Ужасное известие, повергшее всех в смертельный ужас, принесло, однако, тайную радость Розалии.

«А, так вот что говорили эти странные слова! — догадалась она тотчас же.— Безумец! Броситься очертя голову на такое ужасное дело... Город полон войск... Ничтожная оплошность — и сегодня он сидел бы уже закованный в тюрьме или валялся бы где-нибудь в овраге бездыханным трупом!»

При одной мысли о возможности такого ужасного

конца Розалия почувствовала, как сердце ее облилось кровью. Но, слава богу, на этот раз он жив, здоров и завтра же будет у ее ног, а там, там увидим, чья возьмет!

Она подавила вспыхнувшую в груди радость и бросилась утешать и успокаивать Агату.

За первым послом прискакал вскоре и второй... Все в доме от панов до прислуги заговорили о неслыханной дерзости Кармелюка, передавая подробности этого удалого нападения.

Агата в сопровождении Алоиза и множества прислуги отправилась в Литин лечить своего несчастного супруга; Розалия не уговаривала подругу остаться,— это было совершенно невозможно, да и, помимо того, отъезд Агаты в данном случае избавляет ее от лишней пары зорких глаз.

Весь остаток дня Розалия провела в лихорадочном возбуждении: что принесет ей завтрашнее свидание?

В карете Кармелюк оказал ей глубокое почтение, но и явную холодность; положим, многие причины объясняли его тогдашнее поведение... Но как встретит он ее завтра? Неужели же ее чары окажутся перед ним бессильными? А он, этот страшный герой, к женской красоте особенно падок.

Розалия несколько раз подходила к зеркалу и подолгу останавливалась перед ним, словно взвешивая и измеряя силу своей красы. Прелестное личико с блестящими агатовыми глазами, смотревшие на Розалию из зеркала, словно подтверждало ее слова...

«Он любит другую!.. Той, другой, простой хлопке, он доверяет все свои тайные замыслы и тревоги!..»

Но разве она, Розалия, не сумеет вытеснить соперницу из его сердца, разве она не сумеет войти к нему в доверие, опутать его сетью своих чар? Он уже и так верит ей. Если бы не верил, не согласился бы прилететь и отдаться ей в руки.

О, так, так! Он верит ей, и она еще укрепит в нем эту веру, прокрадется в тайники его души, прикинется союзницею его и даже будет ею, лишь бы завладеть его сердцем. Не Юдифь ли погубила Олоферна? [75] Не Далила ли покорила Самсона? Кто может сказать, что они были прекраснее ее? Она тоже спасет родной край, только не предательством, не убийством, а тем, что при-

кует к своему сердцу неразрывными цепями непокорного атамана. Он будет ее рабом. И кто знает, какую роль придется ему сыграть в туманном будущем отчизны?

Розалии припомнились все таинственные разговоры, которые опять начинали циркулировать между шляхтой, неизвестные личности, появлявшиеся и исчезавшие незаметно из усадьб... Ожидалась буря... а во время бури волны выносят на поверхность моря и обломки, притаившиеся на самом дне.

Тысячи самых смелых мыслей зароились в голове Розалии, но она прекрасно понимала, что прежде всего надо было приручить Кармелюка, заставить его почаще видеться с нею, сделать свидания настолько существенными для него, чтобы он сам стал добиваться их.

«Что бы такое передать ему завтра?» — раздумывала она. Ей хотелось сразу же убедить атамана в своей преданности.

В тревоге и в радостном волнении провела Розалия весь вечер и только поздно ночью уснула, не наметив все-таки того, что сообщить завтра Кармелюку.

На другой день она проснулась чрезвычайно рано. Радость душила ее. Сегодня она увидится с ним. Наконец-то побеждены все препятствия и желанный день настал!

Хитрая Фрося сразу же заметила резкую перемену в настроении хозяйки и пришла тотчас же к безапелляционному выводу, что у пани есть какой-то коханец, по всей вероятности — Рудковский. Недаром же она выбрала его в свои секретари и придумала для этого комиссию.

Дольше обыкновенного просидела на этот раз Розалия перед зеркалом, переменила несколько платьев, несколько причесок и, потратив в общем часа три на свой туалет, вышла наконец в столовую прелестнее, чем когда-либо.

В столовой давно уже сидел пан маршалок, удрученный, убитый последним известием.

Розалия весело впорхнула в комнату, милостиво поздоровалась с супругом и заняла свое место. Но не успела она налить себе чашку кофе, как рука ее, державшая кофейник, вдруг остановилась.

— Едут? — произнесла она с явной досадой.

— Едут,— подтвердил в ужасе маршалок, прислушиваясь к ближайшему грохоту.— О матка свента, ратуй нас, грешных!

— Да, от назойливых гостей! — злобно процедила сквозь зубы Розалия.

— Але, любко моя, лишний гость теперь не помеха...

— Особенно пан Янчевский!

— Что ж, сокровище мое, не будешь же ты отвергать того, что он самый доблестный и отважный из нашей шляхты?

— И что Кармелюк гоняется за ним, как кот за мышью?

Эта фраза, произнесенная красавицей самым холодным тоном, привела несчастного маршалка в ужасное смущение.

— Езус-Мария, то правда! — пробормотал он растерянно.— Но как же, ты сама, душка, не была против того, что он поселился у нас в доме?

— Да, когда я была уверена в том, что он сразу же накроет разбойника. Но когда я увидала, что не он за гайдамаком, а гайдамак за ним гоняется, как охотник за зайцем, тогда я сразу же переменила с ним обращение, и супруг мой, надеюсь, мог заметить это.

— Ох-ох! Так, так! — Маршалок закивал головой и несколько раз в отчаянии развел руками.— Но что же теперь делать? Что делать?

— Конечно, ничего грубого... Хотя бы мы сами рисковали жизнью — выгонять из дома приятеля нельзя. Но успокойся, положись во всем на меня,— добавила она мягче, опасаясь, чтобы напуганный маршалок не принял каких-либо чересчур резких мер.— Тебя я прошу только об одном: не приглашай его больше к нам,— остальное же все я устрою сама.

— И прекрасно, мое злато, делай как знаешь. Но, ох,— маршалок снова всплеснул руками и замотал головой,— как это мне не пришло в голову раньше!

В это время шум подъезжающего экипажа раздался уже подле самого окна.

— Но взгляните же — кто это? — обратилась Розалия к супругу, и так как пан маршалок нерешительно оглянулся кругом, отыскивая глазами лакея, то она добавила с презрительной усмешкой: — Уж не думаете

ли вы, что это Кармелюк подкатил среди белого дня к нашему крыльцу?

Устыженный маршалок поднялся с места, и в то же время двери растворились...

— Да это наш дорогой пан Рудковский, Розюню! — вырвался у него радостный возглас, и он двинулся с просиявшим лицом навстречу гостю.

Но возглас супруга просто взбесил Розалию: в эту минуту назойливый вздыхатель был еще более нежелателен ей, чем Янчевский. Она с досадой оттолкнула стоявшую перед ней чашку, но кружево рукава зацепилось за ее ушко, чашка полетела на пол, и кофе залило широким черным потоком белоснежный пеньюар пани.

— Sancta Maria! Я явился причиной такого неприятного происшествия! — вскрикнул Рудковский, подбегая к Розалии.

— Ничего, пустое! — улыбнулась она натянуто и метнула злобный взгляд в сторону лакея, подбиравшего осколки.— По народным приметам, это к добру.

Рудковский почтительно поднес руку красавицы к губам и произнес со вздохом:

— К сожалению, на этот раз я не могу служить доказательством правильности народной мудрости.

— Опять что-нибудь? Новые штуки Кармелюка? — вскрикнул маршалок.

— О так! Беда, говорят, не приходит одна. Вельможное панство, должно быть, уже слышало об ужасном происшествии с нашим дорогим паном судьей? Сегодня же...

— Новый грабеж?!

— Нет, благодарение святой панне, пока еще ничего, но ожидается нечто похуже.

— Что же такое? — вскрикнула в свою очередь и Розалия, крайне встревоженная сообщением Рудковского.

— А вот, проше панство, до чего дошла дерзость этого гайдамаки; проезжаю через село Куты и вижу: на воротах корчмы прибита бумага. Слезаю с брички, спешу, думаю, что это какое-либо оповещение от пана маршалка или от комиссара, что же панство думает? А? — Рудковский даже на мгновение остановился и перевел свой взгляд с Розалии на маршалка.— Это оповещение от Кармелюка!

— От Кармелюка? — вскрикнули разом и пан маршалок, и его супруга.

— Да, от Кармелюка! Только подумайте, до какой наглости дошел шельма! Этим своим универсалом он объявляет членам комиссии, что всех их ожидает в ближайшем будущем смертная казнь, и не только их, а всякого, кто бы подумал занять место комиссара и судить жестоко и несправедливо крестьян или его разбышак! И, кроме сего, объявляя судей и комиссаров кровопийцами и предателями, он призывает всех хлопов подыматься и спешить к нему, чтобы избавить родину от «хищных волков».

— Неслыханно! — выпалил с негодованием маршалок.— Кто же позволил расклеивать эти листы?!

— Очевидно, он за позволением ни к кому не обращался, но очевидно, что у него в каждом селении есть своя рука. Когда я притащил жида за бороду и показал ему, что у него висит на воротах, то парх побелел как полотно и поклялся торой, что ночью еще выходил за ворота и ничего не видел. Значит, это утром или на рассвете наклеил какой-то доброволец. Разумеется, я сорвал проклятый лист и потоптал ногами; но что же панство думает? Не успел я доехать до Млынов, смотрю — подле фигуры белеется что-то. Подъезжаю: такой же лист. А, сто тысяч дяблов, пшепрашам пани, да у него целая канцелярия, и, право, я не удивлюсь, если сегодня же увижу такой лист у вельможного пана в салоне.

Маршалок невольно взглянул в сторону зала, часть которого виднелась сквозь открытые в столовую двери.

— Но речь не в этих бумагах,— продолжал Рудковский,— а в том, что раз гайдамак обещает, то он уже и исполнит это.

— О, исполнит, исполнит!!! — воскликнул в ужасе маршалок.— Но надо же что-нибудь делать! Вызвать войска... Москалей... Я готов сам скакать в Киев.

— Успокойтесь, пане маршалку,— перебил его с таинственной торжественностью Рудковский. — Кое-что уже сделано.

— Как, пойман? Схвачен?! — вырвалось невольно у Розалии. Она приподнялась на месте, и краска залила ее лицо.

— Еще не схвачен, моя крулева, но уже след лисицы открыт.

— Не может быть!

— Моя яснейшая пани презусова, я поклялся себе, что разузнаю, где скрывается ненавистный пес, и...— и Рудковский оглянулся кругом и, увидев, что в комнате нет никого постороннего, добавил тихо: — Я выследил его логовище. Но пани презусова, кажется, недовольна моим сообщением?.. — прибавил он, с изумлением всматриваясь в взволнованное лицо красавицы, выражавшее скорее гнев, чем радость.

— Напротив, напротив,— поторопилась улыбнуться Розалия.— Пан секретарь мой по справедливости заслуживает самой пышной награды. Но все это так неожиданно... так важно... надо обдумать все... решить!..

— О пани, нечего беспокоиться. На этот раз сама фортуна явилась украсить венком славы чело нашей божественной презусовой. Москали стоят уже в Литине, завтра прийдет подкрепление; выписан, кроме того, еще новый полк из Каменца... Я скачу немедленно в Литин, беру с собой...

— На бога, пан секретарь, ведь это совершенно меняет наш план! — перебила его Розалия и, спохватившись, добавила с обворожительной улыбкой: — Впрочем, мы сейчас же это обсудим... Я только попрошу пана к себе.

— Целую ручки! — поклонился Рудковский.

Розалия еще раз очаровательно улыбнулась и скрылась в зале; но лишь только она вышла в двери, улыбка тотчас же сбежала с ее лица, она нервно закусила губу и нахмурила брови.

Сообщение Рудковского внесло вдруг страшный и неожиданный разлад во все ее планы. Логовище Кармелюка открыто. Кто бы мог думать, что этот мальчишка сумел выполнить такое поручение? Хорошо еще, что он заехал сюда, а то ведь мог двинуться прямо в Литин, захватить с собою войска и тогда — конец всему... Надо все это обдумать, предотвратить, задержать Рудковского, отговорить... или направить в другую сторону...

Розалия вошла в свой будуар и хотела захлопнуть двери, когда услыхала за собой голос супруга:

— Два слова, мой ангел, два слова!

Она оглянулась; пан маршалок, взволнованный и запыхавшийся, торопливо подходил к дверям будуара.

— Вам что угодно? — Розалия смерила супруга недобрым и холодным взглядом.

— Два слова, мой ангел, два слова!

Маршалок вошел в будуар и притворил за собой дверь.

— Но ты разгневана?

— Кажется, в такое время трудно радоваться...

— О так, так! — маршалок закивал головой.— Но, сокровище мое, по этому поводу я и пришел поговорить с тобой... Я хочу, я должен избавить тебя от этой тревоги.

Розалия быстро повернулась к мужу и вперила в него полный неприязни, холодный взгляд.

— Что там еще? — произнесла она презрительно, почти не разжимая губ.

— Видишь ли, мое золото...— начал маршалок, невольно путаясь и смущаясь под ледяным взглядом красавицы,— ты знаешь, что твоя жизнь для меня дороже всего на свете.— Он взял ее тонкую руку и поднес было к губам, но Розалия быстро выдернула руку и произнесла отрывисто:

— Дальше!

— И так как твоя жизнь для меня дороже всего, то не могу же я подвергать ее всевозможным случайностям и потому предлагаю тебе немедленно же переехать в Киев или Варшаву.

— Что-о? — протянула, выпрямившись, Розалия.

— В Киев или Варшаву,— повторил маршалок.

— Никогда! Слышите, никогда! — вскрикнула Розалия и гневно топнула ногой.

— Но, крулево моя...

— Ни слова об этом! Пан может ехать куда угодно, я же останусь здесь.

— Яскулечко моя, ты знаешь, каждый твой каприз— закон для меня, но ведь ты слыхала, что говорил Рудковский, и после этого еще хочешь остаться здесь? Зачем? Для чего?

— Ха-ха-ха! — разразилась Розалия деланным смехом.— Вот именно потому, что услыхала то, что говорил Рудковский, я и решила остаться здесь.

— Но...— начал было маршалок и в недоумении развел руками.

— Кому грозит Кармелюк? — продолжала между тем горячо Розалия.— Комиссарам, всем тем, кто задумает занять их места, и строгим судьям. К счастью, мой любый, ты не состоял, не состоишь и, надеюсь, не будешь состоять в этой глупой комиссии.

— Бронь боже! — маршалок махнул рукой.

— Ну вот, таким образом, оставаясь здесь, мы будем находиться в полной безопасности, потому что раз Кармелюк пообещал истребить всех комиссаров, то он или попадет в кандалы, или исполнит свое обещание.

— Так, так, злато мое, але...

— Никаких «але»! Отправиться сейчас в путь — это полное безумие: в лесу, в корчмах, на проезжих дорогах — вот где поджидает и хватает путников Кармелюк, дома же мы будем в полной безопасности.

— Может статься, может статься... Но ты... я думаю... теперь уже оставишь свою затею?

Маршалок произнес последнюю фразу самым вкрадчивым голосом и взглянул с мольбой на Розалию.

LXXIV

— О сердце мое,— усмехнулась уже милостиво Розалия.— Моя затея — это шутка, о ней Кармелюк ничего и не знает, но чтобы успокоить тебя, я даже могу пообещать оставить ее.

— Тысячу раз благодарю тебя, мое сокровище! — И тронутый маршалок схватил обеими руками руку красавицы и прижался к ней горячими жирными губами.

— Если тебе дорога моя жизнь, то мне твоя, мой скавронок,— дороже всего на свете,— продолжала нежно Розалия,— и я думаю лишь о том, как бы обезопасить тебя. Положись уже во всем на меня и будь спокоен... Надо только дать некоторые льготы хлопам, чтобы задобрить быдло, да поменьше зазывать к себе панов и комиссаров, и, уверяю тебя, мы будем спокойно наблюдать за тем, кто кого скорее накроет — комиссары Кармелюка или он их.

Розалия нагнулась к супругу и нежно поцеловала его в лоб.

От такой неожиданной ласки маршалок совершенно растаял.

— Ангел мой! Богиня моя! Да ведь ты свет мне открыла,— произнес он пламенно, привлекая к себе супругу.

— Ну досыть, досыть,— отстранила его шутливо Розалия.— Ступай же пошли ко мне этого дурня.

Объяснение Розалии с Рудковским окончилось также вполне благополучно. Несколько улыбок, томных взглядов — и красавице удалось окончательно убедить своего юного обожателя в том, что объявить сейчас о своем открытии — это значит только прислужиться Янчевскому: несомненно, он станет во главе войск и всю славу захватит себе, а они останутся навсегда в тени.

— Да,— продолжала Розалия, заметив, что ее соображения задели Рудковского,— славные подвиги моего секретаря похитит тот, против которого мы и подняли с паном кампанию.

— О моя крулево, спасибо за ласку! — задохнулся от сладкого волнения секретарь.

— Мы лучше сделаем вот что,— поощрила Розалия восторг своего секретаря очаровательною, многообещающею улыбкой: — предоставим Янчевскому отыскивать с москалями разбойника по лесам и по болотам, и когда они вернутся ни с чем или попадутся в руки Кармелюку, тогда уже мы сами с любым паном накроем самым хитрым способом вепря...

— Досконале! Мне это и в голову не приходило, но высокий ум моей повелительницы...

— Пан ведь еще никому не открыл точно маршрута? — перебила Рудковского Розалия.

— Точно нет,— Рудковский слегка покраснел,— а так вообще... что знаю и проведу... вот потому и не знаю, как мне выпутаться в таком случае из этого скверного положения?

— Ничего нет проще! Не ехать в Литин — и баста! Я, повелительница пана, задерживаю своего подданого и посылаю... Да, вот мысль! Пусть пан немедленно отправится к пану Пигловскому: нужно же известить нашего приятеля о предстоящей ему опасности.

— Отлично! — согласился обрадованный Рудковский.

— Так пусть же мой верный друг поспешит, чтобы не накрыл нас соперник. От Пигловского же пан залетит на денек к пану Бойко, а там возвратится ко мне, и мы окончим со славою дело, которое приведет в восторг всю Польшу!

— Лечу на крыльях бури! — вскрикнул Рудковский и, прижавшись страстно к ручке красавицы, почти выбежал из комнаты.

Уже солнце склонялось к закату, когда Розалия выехала наконец со двора на своем великолепном скакуне.

Благородное животное гордо выступало под седлом красавицы, изредка вздрагивая своей тонкой, атласной кожей. Легкая дрожь пробегала временами и по телу прелестной всадницы. Радость, нетерпенье, неуверенность подымали в ее сердце необычайное волнение.

Выехав со двора, Розалия пустила поводья коню, и конь полетел стрелою по широкой и ровной дороге. Красавица глубоко вздохнула и, когда село скрылось из вида, подняла коня в галоп.

Ветер подхватил вуаль и шлейф ее амазонки, поднял гриву коня и обвеял прохладным дыханьем разгоревшееся лицо красавицы. Глаза у нее пылали удалью и счастьем, грудь высоко подымалась,— казалось, эта бешеная скачка давала выход бурному волнению, теснившемуся в ее груди.

Там, за спиной, в золоченом палаце остался у нее старый, постылый муж, назойливый любовник, рой несносных поклонников, ложь, притворство, обман,— здесь же ждал ее красавец, герой и храбрец, каких еще не знавали доныне. Здесь ждала ее, быть может, любовь дикая, свободная, чуждая светской лжи и светских приличий, могучая, величественная и прекрасная, как любовь всей природы, созидающей мир. Все для этой любви! Все, что есть у нее ценного: имя, положение... Только раз окунуться в океан страстей без мысли о будущем, о прошлом,— а там хоть и конец!

И при одной мысли о возможности такой любви Розалия чувствовала, что какой-то туман вступает ей в голову и каждая жилка в ее теле наливается огненной струей.

Но чтобы достичь этой любви, надо прежде всего скрыть свои чувства, покорить его, напоить тем же безумием, которое теперь овладело ею! Розалия дернула коня за повод и свернула на узкую проселочную дорогу, в конце которой чернел длинною полосой лес. Минут через двадцать она обогнула фигуру и свернула на узкую тропинку.

Ей показалось вдруг, что на опушке кто-то выглянул и исчез, а потом и в просеке словно бы кто перебежал дорогу.

Сомненье заронилось в душу красавицы, но она все-таки направила своего коня в самую чащу и вскоре увидала овраг, о котором упоминалось в записке. За оврагом, среди деревьев, действительно виднелась какая-то куча,— сразу ее можно было принять только за груду хвороста и перегнившей соломы.

У искательницы приключений сердце усиленно забилось; она оглянулась кругом, раздумывая, не повернуть ли ей назад коня, и вдруг увидала статного казака, подходившего к ней. Это был не Кармелюк.

Розалия испугалась. «А что, если это засада?» — мелькнуло вдруг у нее в голове, и рука ее невольно потянула повод, но казак, заметив это, поспешил подойти к ней.

— Пусть вельможная пани встанет с коня и следует за мной,— произнес он хотя и вежливо, но тоном, не допускающим возражений.

С минуту колебалась Розалия, но выхода из этого положения не было: казак был вооружен с головы до ног... И она, подавив внутренний трепет, оперлась на плечо неизвестного провожатого и легко соскочила с коня.

Казак свистнул, на свист выскочил другой лесной обыватель и взял коня под уздцы, а провожатый обратился снова к Розалии:

— Пусть вельможная пани позволит взять себя за руку: спуск очень крут.

Розалия молча протянула руку, и они начали спускаться.

Несколько раз она останавливалась; рука ее непослушно дрожала; к волнению, овладевшему было ею, примешался теперь нешуточный страх: ну что, как этот разбойник перехватил ее письмо к Кармелюку и теперь

тащит в овраг, чтобы там прикончить? Ведь тут ни крика, ни мольбы ее не услышит никто!

Розалия двигалась автоматически; она чувствовала, что с каждым шагом ноги ее становятся тяжелее, неподвижнее, а в груди скопляется холод.

Спустившись на дно оврага, провожатый повернул направо, под нависший камень, где уже гнездился холодный сумрак...

— Куда мы идем? — спросила Розалия и не узнала своего голоса, до того он был глух и разбит.

Вместо ответа провожатый крикнул пугачем. И чуткое эхо откликнулось трижды в овраге.

— На бога...— начала было снова Розалия, но голос ее оборвался.

Провожатый повлек ее дальше; прошли камень,— стало светлее. Они вошли на чуть приметную тропинку и начали подыматься наверх. У Розалии немного отлегло от сердца, она подняла наконец глаза и увидела шагах в десяти на подъеме оврага знакомую фигуру... Да, она не ошиблась, сердце ей подсказало — это был Кармелюк.

С легким криком рванулась она от провожатого и чуть не упала.

— Что с пани? На бога! — произнес испуганно Кармелюк и, подскочивши к Розалии, осторожно поддержал ее за талию.

— Ничего, я ожидала встретить только тебя,— она бросила злобный взгляд на провожатого, но его уже не было,— словно бы он провалился сквозь землю.

— Необходимая предосторожность.

— Значит, пан не верит мне?

— Могу ли я не верить после того, что пани сделала для меня? — произнес с неподдельною теплотой Кармелюк и почтительно поцеловал ручку красавицы.

— Однако, я же решилась приехать сюда одна к страшному разбойнику, при имени которого бледнеет всякий... Одна...

— Клянусь, пани, что этому разбойнику каждый волосок на голове твоей — святыня, и скорей бы я отрубил себе руку, чем позволил бы себе или кому другому оскорбить тебя.

Но эти благодарные слова Кармелюка вызвали

какую-то глухую досаду в сердце Розалии, однако она не проявила ее, а ответила с задушевною простотой:

— Верю. Но почему же ты взял с собою стражу и не поверил мне?

— Не тебе, пани. Тебе я верю, как самому себе, но за тобой могли следить, могли послать погоню...

— Да, ты прав,— перебила Кармелюка Розалия и, опершись на его руку, стала подыматься с ним вверх по более пологой тропинке.

Невдалеке от вершины оврага Розалия увидала землянку, которая показалась ей с той стороны кучею хвороста. Кармелюк вошел в хату, как в яму, и спустил туда же на руках пани Розалию. Она прошла хату и села на лавку, указав Кармелюку место возле себя.

— Фу, измучилась я,— вздохнула она свободнее и после небольшой паузы продолжала: — Большого труда стоило мне вырваться из замка, и если бы не крайняя нужда увидеть пана, у меня не хватило бы сил, чтобы преодолеть все эти препятствия. Я приехала сюда, чтобы предупредить тебя об опасности.

— Пани! — Кармелюк нагнулся и поцеловал рукав Розалии.

— Об опасности серьезной. Ты знаешь, что в Литин вызваны уже войска и что новый полк идет еще из Каменца?

— Знаю.

— Но знаешь ли ты, что панам уже известно место твоей стоянки?

— Нет, этого не может быть! — произнес живо Кармелюк.

— Но это так. Рудковский,— ты, может, еще не знаешь такого шляхтича,— поклялся отбить у Янчевского славу и захватить тебя; и вот он разузнал, где ты.

Розалия назвала урочище и все приметы нового лагеря Кармелюка, о которых говорил ей Рудковский.

— Проклятье! Как же узнал он? Кто выдал?! Значит, завелся у меня новый шпиг! — Кармелюк вскочил с места и остановился перед Розалией. Лицо его пылало от бешеного гнева.

— Не знаю,— заметила осторожно Розалия,— он упоминал о какой-то женщине... У тебя есть в лагере женщина?

— Есть,— ответил глухо Кармелюк и прошелся в

волнении по хате. Ему вспомнились вдруг угрозы Ульяны. Лицо его приняло мрачное выражение: грозила...— Но нет, нет, на это она не пойдет! — спохватился он тут же и, остановившись перед Розалией, добавил решительно: — Нет, пани, она не выдаст нас никогда.

Розалия внимательно следила за Кармелюком; ни одно движение его не ускользнуло от нее, и в глухом голосе, каким заговорил Кармелюк об Ульяне, и в мрачном выражении его лица, и даже в той фразе, которую он произнес, ей почуялось неуловимо, неясно, что Кармелюк уже не так обожает Ульяну, как утверждает Зеленский.

— Рудковский хитер, как лиса, эта женщина могла проговориться.

— Никогда! Она не из таких, она сама проведет всякого! — возразил с жаром Кармелюк.

— Могла быть другая. Мог кто-нибудь из твоих хлопцев проболтаться бабе.

— Доведаюсь. Разузнаю! И пожалеет он, что мать родила его на свет! — крикнул Кармелюк и страшно сверкнул глазами.

— Но это после: наказать успеешь всегда; прежде всего перемени место: опасность велика,— заговорила с искренним волнением Розалия,— мне стоило много усилий отговорить Рудковского броситься с войсками немедленно туда; если не ты, то все товарищи твои были бы уже окружены.

— Так, так! —Кармелюк в волнении взъерошил свои волосы.— Но, пани, ангел мой хранитель, крулево моя! Чем, когда, как отблагодарю я тебя? — вскрикнул он и, опустившись перед Розалией на колени, горячо сжал ее руку.

От этого пожатия кровь вспыхнула в жилах Розалии.

— Зачем благодарить? — произнесла она дрогнувшим голосом.— Когда птица, заключенная в золотую клетку, видит охотника, подстерегающего свободного орла, скажи, что должна она делать? Если она еще не потеряла голоса в своей золотой неволе, она закричит ему: «Брат, спасайся! Лети на волю!»

— Так, пани....

— Я помогаю тем, кто сродни душе моей, кто может упиться тою волей, которая недоступна мне, бессильной

женщине, кто стоит за свободу и правду и карает панское насилие...

— Святый боже, мог ли я думать?

— Мог ли ты думать,— заговорила с горькою улыбкой Розалия,— что бедная девушка, купленная старым, постылым богачом, будет уважать силу денег, что юное сердце, жаждущее любви и ласки, будет чтить жестокое право одних глумиться над другими?.. О, ты этого не мог думать, потому что ты не знал моей жизни. Но...— Розалия подавила искусственный вздох и заключила, склонив головку печальным, прелестным движением,— что говорить об этом. Я — пани, значит — враг тебе.

— Зачем ты говоришь так, пани? Я враг тех, которые давят и угнетают моих братьев, но я друг честных панов. Тебе я был до сих пор верным рабом, но теперь дозволь мне считать себя твоим защитником!

Кармелюк в волнении прошелся по комнате. Розалия взглянула ему вслед, и в глубине ее дивных глаз вспыхнула на мгновенье сияющая радость.

«Клюет, клюет!» — пронеслось искрой в голове, но она мгновенно склонила головку и устремила в окно печальный, задумчивый взгляд; она не глядела, но чувствовала, что Кармелюк смотрит на нее, и волнение и радость, понятные женщине и полководцу, до того сдавили ей сердце, что даже слезы выступили у нее на глаза.

Кармелюк подошел и, остановившись перед нею, заговорил взволнованным голосом:

— Прости лесного казака за простое слово, но чую я, пани, что ты несчастна... Я должен... Я хочу помочь тебе... Скажи, кто ворог твой? Будь он выше облак небесных, я достану его!

Эти слова произнесены были без малейшего хвастовства, твердым, спокойным голосом, один тон которого давал чувствовать, что слово это не пустой звук: перед Розалией стоял действительный герой с железной волей и не ведающим страха сердцем...

Темные тени падали на лицо и на фигуру Кармелюка и придавали его образу еще более суровые и строгие черты.

Такого мужчины Розалия еще никогда не встречала среди своих знакомых, и сердце ее затрепетало, из глу-

бины души поднялась горячая волна и залила ее грудь.

«В тебе мое счастье и горе!» — хотелось ей крикнуть и броситься на шею Кармелюку.

Но она сдержала себя и, поднявши очи, обдала его, как осенним лучом солнца, глубоким, печальным взглядом и произнесла тихим голосом:

— Что говорить обо мне?

— Не веришь мне, пани? —в голосе Кармелюка прозвучала нотка обиды, нетерпенья и жажда истины.

Розалия невольно усмехнулась про себя. «А ты уже заинтересован, ты хочешь знать истину?.. Но нет, пусть образ мой останется в твоем воображеньи прикрытый флером тайны. Тайна манит, и жжет, и дразнит. Ты будешь возвращаться мыслью ко мне и вспоминать и взвешивать каждое мое слово».

— Тебе не верю? — прошептала она.— Может ли женщина еще больше верить мужчине? Но теперь не час... потом... Тяжело... Да если б ты и вырвал из моей груди мое горе, разве ты можешь ослепить мои глаза, заставить умолкнуть мой слух? Где найти такую страну, чтобы глаза не видели горя, а уши не слышали стонов? Уйти ото всех... но...— Розалия махнула рукой,— потом... Сядь здесь...— она указала Кармелюку место подле себя,— поговорим о тебе.

Кармелюк молча опустился. Вся эта сцена ошеломила и взволновала его. Едучи сюда, он был уверен в том, что исполняет прихоть романической красавицы, которой обязан благодарностью, и вдруг — ни слова о любви, ни одного кокетливого жеста! Второй раз спасает его, говорит об угнетеньях панских, лицо ее печально,— она несчастна.

LXXV

Кармелюк взглянул на Розалию и встретился с печальным взглядом красавицы.

— Теперь ты знаешь, что убежище твое открыто,— продолжала она,— дней шесть я еще могу удержать Рудковского от нападенья, но дальше оставаться там опасно. Ты переменишь место?

— Непременно.

— Так, но это устраняет лишь одну опасность, а

они растут с каждым днем. Я нарочно приняла участие в комиссии, чтобы знать ежеминутно, что и где затевается против тебя. Враги твои сильны... с каждым днем прибывают войска... опасности растут... Я боюсь за каждый твой день.

— Эх, пани, мой ангел-хранитель! — вздохнул растроганный Кармелюк,— от доли не уйдешь. А что ты, пани, жалеешь меня, так это мне еще больше режет сердце,— пожалей лучше себя, а меня,— он махнул рукой,— пожалеет и обнимет веревка.

— Не говори так! — вскрикнула Розалия.— Я не допущу этого!

Кармелюк молча поднес руку Розалии к своим губам. На этот раз поцелуй его был уже не так почтителен, а более горяч.

— Нам нужно видеться почаще,— заговорила возбужденно Розалия.— Я должна извещать тебя обо всем, но как? Куда? Нет, нет! — словно остановила она его и слегка дотронулась до его руки.— Я не хочу, чтобы ты говорил мне, где ты будешь, но укажи мне способ, как извещать тебя, когда и куда?

— Если бы я сам знал, где я буду завтра, то сказал бы это тебе сейчас, пани, ангел-хранитель мой. Но вот что! Когда уже такая ласка твоя, пани, то пиши мне и оставляй записку там же, в дубе, а я оставлю здесь поблизу одного верного человека, а может, и двух, их буду извещать каждый раз — куда иду, а они известят меня...

— Хорошо... Но еще одно...— Розалия запнулась и добавила тихо, словно преодолевая страшное смущенье,— пообещай мне одно...

— Все, что ты скажешь! — вскрикнул с жаром Кармелюк.

— Береги себя!

— Пани!

— А теперь прощай.

Розалия вырвала свою руку из рук Кармелюка и поднялась с места.

— Как? Уже?

— Стемнело... Меня могут хватиться, пошлют разыскивать.

— Еще минутку! — В голосе Кармелюка послышалось искреннее желание.

— Нельзя... До другого раза.

— Так вот что, исполни, пани, и мою просьбу: если случится что-нибудь с тобой — несчастье, горе,— если тебе понадобится жизнь верного человека — зови меня! Пообещай!

— Спасибо! — Розалия протянула Кармелюку руку, он прижался к благоухающей ручке еще раз долгим, горячим поцелуем. По руке Розалии словно пробежали огненные змейки и впились в самую глубь ее сердца.

Она поспешно отняла свою руку и вышла из хаты, за ней последовал Кармелюк.

На дворе уже стемнело, овраг чернел, а глубина его совершенно скрывалась в разостлавшейся по дну его тьме.

Розалия остановилась в затруднении над черною пропастью.

— Боже, как темно! Я ничего не вижу... Дай руку мне! — произнесла она несмело.

— Пусть пани дозволит мне лучше взять себя на руки: здесь ежеминутно можно сорваться.

— Но, может быть, можно обойти где-нибудь дальше? — заметила нерешительно Розалия.

— Овраг пересекает весь лес, я же перенесу тебя, пани, в одно мгновенье.

Красавица смущенно наклонила голову, Кармелюк взял ее на руки и начал быстро спускаться вниз.

Сильная рука его крепко держала Розалию, его волосы прикасались к ее ушку, порывистое, горячее дыхание обдавало лицо.

Кругом было тихо, безмолвно. Сквозь вершины деревьев просвечивало лишь бледное небо.

Они быстро спускались в раздвигавшуюся перед ними тьму.

Ветка куста задела Розалию, она тихо вскрикнула и невольно схватилась за шею Кармелюка.

— Не бойся, пани, держись крепче,— произнес он отрывисто и сам прижал красавицу теснее к своей груди.

Невольная дрожь пробежала по всему телу Розалии... Эта близость обожаемого человека, и тьма, и тишина, разостлавшиеся кругом,— опьяняли ее... «Чего тебе еще ждать?.. Он твой... Лови минуту!» — словно

шептал ей на ухо какой-то вкрадчивый голос. Но Розалия не сдавалась.

«Нет, нет, не это,— повторяла она про себя.— Надо его опьянить, его покорить и довести до безумия! Пусть он просит, и молит, и жаждет ее ласк,— тогда она будет властвовать безраздельно!»

Но вот Кармелюк достиг дна оврага и начал быстро подыматься на противоположную сторону. Через несколько минут он взобрался наверх и осторожно спустил Розалию на землю. Грудь его высоко подымалась, лицо горело. Быстрое ли движение, или близость прелестной женщины, трепетавшей в его руках, подняли в груди его горячее волнение, но несколько секунд он стоял молча, порывисто дыша.

Наконец ему удалось перевести дыханье, и он тихо свистнул. Тотчас же в глубине леса послышался треск и знакомый уже Розалии казак подвел ее коня.

Кармелюк подсадил красавицу в седло и произнес глухо:

— Пани, я проведу тебя до опушки.

— Отлично,— ответила коротко Розалия.

Молча двинулись они лесом. Кармелюк шел впереди, придерживая коня под уздцы, Розалия покачивалась в седле, также не произнося ни единого слова. Но если бы кто-нибудь мог осветить лесной мрак и взглянуть в лицо красавицы, тот бы увидел гордую радость, сиявшую во всех ее чертах.

Расчет Розалии оправдался. Краткое свидание с Кармелюком произвело на него хотя еще спутанное, но во всяком случае сильное впечатление. Нет-нет, а мысль его все-таки возвращалась к странной красавице пани, к ее недосказанным словам... Перед глазами его часто вставали печальные очи красавицы, хранившие в своей глубине какую-то нераскрытую тайну; когда же он надевал свою черкеску, то ему казалось, что она еще дышит тонким ароматом прелестной женщины, прикасавшейся к ней. И хотя в воображении Кармелюка все еще господствовал строгий и чистый образ Олеси, а в голову закрадывалось не раз подозрение: уж не хотят ли его поймать при помощи хитрой и красивой добродийки, но во всяком случае, когда получилась от Розалии

вторая записка с приглашением явиться, то Кармелюк с удовольствием поспешил на зов.

И на этот раз Розалия звала его недаром; ей удалось узнать действительно важную новость: Янчевский посылал от имени всей комиссии эстафету киевскому генерал-губернатору с просьбою принять немедленно самые решительные меры. Розалия узнала, когда и каким путем отправлен гонец, и поспешила сообщить об этом атаману. Держала она себя так же, как и на первом свидании, только несколько теплее. На все вопросы Кармелюка, касавшиеся лично ее, отвечала уклончиво, не раскрывая окутывавшей ее тайны, и только вскользь дала понять Кармелюку, что происходит она из бедной шляхетской семьи, что продана была против воли старому маршалку, которого она не любит и презирает ото всей души, что единственная цель ее жизни — помогать Кармелюку и отомстить... Кому? Красавица этого не договаривала. Перед прощанием Розалия предложила Кармелюку ввиду быстро несущихся событий, которые могут иметь для их дела фатальное значение, не ждать друг от друга записок, а приезжать через каждые три дня в урочное время в то же место для совместного обсуждения дальнейших мероприятий.

— Меня могут задержать,— заключила она,— но ты жди меня здесь! Если же я не в состоянии буду в тот день и на минутку вырваться из дома или если узнаю что-нибудь страшно важное раньше, то брошу в дуб записку, а пусть твой человек почаще наведывается к нему; но боже сохрани, чтобы кто-нибудь не заметил его!

Кармелюк с восторгом согласился на все. Расстался он с Розалией, еще больше заинтересованный и очарованный красавицей; но рассудок его все еще не поддавался чарам обольстительной женщины.

— Да не хитрит ли баба, чтобы запутать меня и предать в руки панов? — повторял он настойчиво, не зная, в чем найти разгадку поведения красавицы. Но на другой же день ему пришлось убедиться в том, что Розалия и говорила, и действовала искренно: он послал своих хлопцев засесть на указанном пути, и действительно гонец, о котором говорила Розалия, был схвачен, и когда Кармелюк прочел отобранные у него бумаги, то понял, какое они имели для него значение.

Этот факт окончательно убедил его в том, что пани говорит и действует искренно. Новый благородный образ печальной красавицы совершенно затемнил собой кокетку, с которою он встретился три года тому назад в доме маршалка; что же касается жалоб крестьян на жестокое обращение пана и пани, жалоб, понудивших Кармелюка сделать нападение на дом маршалка, то воспоминание о них как-то совершенно растаяло среди массы подобного рода сетований.

«Она недоговаривает чего-то. Но кто она? Быть может, тоже бывшая хлопка? — твердил он себе.— Возможно, возможно... Быть может, потому-то и принимает она так близко к сердцу его судьбу и поднятое им дело».

И так как свидания с красавицей, кроме сердечного интереса, имели для него и существенное значение, ибо давали возможность получать самые точные сведения о мероприятиях панов, то Кармелюк принялся с нетерпением ожидать назначенного для свидания дня.

Положение дел ему теперь благоприятствовало.

Тотчас же после первого свидания Кармелюк оставил лагерь, чтобы ужаснуть своим страшным судом всех комиссаров; он разделил шайку на несколько мелких отрядов, которые и разослал в разные места; с одним из отрядов отправились Ульяна и Дмитро. Сам же атаман должен был поспешить к Пигловскому, с которым он давно уже хотел посчитаться; но, прочитав перехваченные письма, подписанные председателем Янчевским и секретарем комиссии Лепинским, он сразу же переменил свое намерение.

Лепинский славился во всей округе страшным, жестоким обращением с крестьянами, и при виде его подписи Кармелюка вдруг осенила счастливая мысль...

Вторым своим свиданием с Кармелюком Розалия осталась еще более довольна, чем первым: не было сомнения, что Кармелюк начал поддаваться ее чарам, но... это досадное «но» не выходило у нее из головы.

Почему он держит себя с нею так далеко и политично? Боится оскорбить? Пустое! Можно говорить о любви и не оскорбляя женщины,— истинная страсть не может молчать. Нет, между ним и ею все-таки стоит ненавистная соперница. Положим, видно, что Кармелюк уже не так обожает Ульяну, как это утверждал Зелен-

ский. Но все-таки сознание того, что эта женщина остается там, с ним... каждый день, каждый час мучило искательницу приключений...

Пока эта змея будет там, ей, Розалии, не удастся вполне овладеть Кармелюком. Женщина может провести всякого мужчину, но женщина женщину не обманет никогда! Эта белая тигрица догадается, если еще не догадалась до сих пор, что Кармелюк ездит на свидания к женщине, и тогда — кто знает, чем кончится вся эта история? Нет, надо поскорее избавиться от Ульяны; теперь самый удобный момент! Кармелюк знает, что она, Розалия, нарочно для него приняла мнимое участие в комиссии, и если Ульяна будет поймана, он ни в каком случае не заподозрит ее в этом. А так, когда не станет этой злодейки, она всецело овладеет им; есть для его души славный выход... он может стать героем, предводителем нового, шляхетского повстанья [76]. Слава, деньги, шляхетство — все это явится само собою!

Все эти мысли обдумывала Розалия, сладко потягиваясь на козетке в своем будуаре и переживая дразнящие впечатления последнего свидания.

Сегодня она увидится с Кармелюком,— все препятствия были заблаговременно ею устранены: Рудковский прилетал вчера, но она отправила его еще в одно место, откуда он мог возвратиться только послезавтра.

«Во всяком случае, по возвращении дурня надо будет уже приняться за работу,— подумала Розалия, с улыбкой рассматривая свои жемчужные ногти.— Надо же его хоть чем-нибудь утешить, а то ведь должность почтальона может и наскучить. Да не мешало бы какнибудь избавиться и от Янчевского, но о нем, пожалуй, позаботится сам Кармелюк».

Розалия усмехнулась и, повернувшись в другую сторону, откинула головку, зажмурила глаза и погрузилась в сладкие грезы.

Мечты ее были полны такой чарующей силы, что она и не слыхала грохота подкатившей к крыльцу кареты и шума голосов вошедших в дом гостей.

Она пришла в себя только тогда, когда в комнату вбежала Фрося.

— Ой пани ласкава! Остатний час приходит! — закричала она еще с порога и, подбежав к козетке, на

которой полулежала красавица, опустилась перед ней на колени.— Кара божья! Несчастье! Погибель! До правды, лучше бежать всем отсюда!..

— Да что случилось? Встань, что ты мелешь! — изумилась Розалия и приподнялась с места.

— Ясновельможная пани знает пана Дембицкого?.. Ох! Такой сличный, красивый мужчина...

— Ну что же, что?..

— Убит! Ой матка боска, с вечера, говорят, ужинал со всеми за столом... И пошел спать в свой кабинет, а утром, когда пошли его звать до гербаты и слуга открыл двери, то увидел, Езус-Мария, что пан Дембицкий висит на веревке, а на шее у него записка: «То же ждет и всех комиссаров»,—и подписано на ней: «Кармелюк».

— Но откуда ты это знаешь? Кто сказал тебе?

— А разве вельможная пани не слыхала? Приехал пан Бойко с паней и обеими панянками да панство Пожецких с детьми... и вот нянька...

— Куда? К нам?

Взбешенная неприятной неожиданностью, Розалия вскочила с кушетки и остановилась посреди комнаты.

— Ну да, к нам! И ясновельможный пан просит пани до салона.

— Что ж это, они думают у нас остановиться?

— Не знаю, пани... они с пожитками... Я еще не успела расспросить...

Розалия злобно закусила губу и прошлась по комнате. Ничего более нежелательного она не могла себе и представить: пани, паненки! Разве под взорами этих любопытных, пронырливых глаз можно будет вырваться из дому? А тот будет ждать, может быть, уже ждет!

Но раздумывать было некогда. Розалия подошла к зеркалу, взглянула на свое разгневанное, покрасневшее лицо, поправила прическу, припудрила щечки и с самою обворожительной улыбкой вышла в гостиную.

В гостиной уже собралось все общество. Тучный пан Бойко со своею дражайшей половиной, мало чем уступавшей ему, и с двумя девицами, чрезвычайно напоминавшими долговязых гусынь. Они были уже на возрасте, но, несмотря на это, платья их не достигали длиной своей пола, а нежные белые косыночки, перекрещивавшиеся на груди и завязанные сзади пышными банта-

ми, должны были еще более подчеркивать юную «невинность» белобрысых гусынь; они были чрезвычайно похожи одна на другую: светлые волосы некрасивого тусклого цвета спускались фестонами на уши обеих паненок и закручивались по обеим сторонам их голов на высокие гребни; выпуклые серые глаза с одинаковым недоумением смотрели на свет божий, и длинные носы их чрезвычайно напоминали друг друга. Паненки вставали и говорили всегда вместе, и если одна говорила: «Ах!», вторая тотчас спешила воскликнуть: «Ох!»

Кроме семейства Бойко, в салоне сидели еще молодая пани Пожецкая со своим супругом.

— Нестеты (увы), мы потревожили нашу дорогую пани Розалию! — заметила начальница рода Бойко, подымаясь с места навстречу Розалии.

— Напротив, напротив, я не отдыхаю никогда после обеда! — ответила радушно Розалия, целуясь с обеими дочерьми.

Кавалеры поцеловали ручку красавицы, а паненки с легким писком восторга поцеловали красавицу в плечо.

— Но какой счастливый случай привел к нам в дом дорогих гостей?

— О пани дорогая, несчастье, о котором даже вспомнить страшно! — вскрикнула пани Бойко, закатывая глаза, и в ту же минуту обе паненки вытащили кисейные платочки и прижали их к глазам.

Все гости сразу, перебивая друг друга, заговорили об убийстве Дембицкого.

С притворным ужасом слушала Розалия этот рассказ.

— Но кто же убийца? — спросила она наконец.

— Да кто же, как не сам Кармелюк!..— ответил Бойко.— Он же и расписался.

— Так, так... Но он мог подкупить кого-нибудь из хлопов!..

— Что мог, то мог: этим псам доверять невозможно,— сопел и вздыхал Бойко,— но на этот раз хлопы ему не помогали... В доме несчастного пана Януария все слуги были верные католики, за исключением конюхов, водовозов и других черных рабочих, но те не имели права входить в дом, и когда утром старик дворецкий встал и по обычаю своему осмотрел весь дом,

то все было в порядке, все было заперто: окна, двери, и не только двери, но и въездная брама... Только в комнате покойника окно оказалось открытым.

LXXVI

— Но неужели же никто не слыхал крика, шума?

— Никто. Дворецкий и лакеи клянутся, что не слыхали ничего. Разбойник пробрался, видимо, через сад.

— А собаки?

— Вот в том-то и дело, что собак нашли поутру околевшими... Очевидно, среди челяди были изменники.

— И никто посторонний не входил во двор,— добавила пани Бойко.

— Непостижимо! — Розалия развела в недоумении руками.— Но неужели не нашли и следа разбойника?

— Ох, пани дрога! След-то нашли: на подоконнике отпечаталось несколько пар сапог, и между ними — след небольшой женской ноги.

— Женской ноги? — невольно вскрикнула Розалия.

— Да, женской, я сам убедился в этом. Но что пользы от этих следов? Когда слуги,— а от них уже и мы дознались об ужасном несчастии,— подняли тревогу, то ведь эти следы, по словам московской пословицы, давно уже простыли.

— И никто не бросился в погоню?

— Куда же?

— Ох, пани ласкава, до того ли было!..— перебила мужа пани Бойко.— Ведь эта смерть потрясла нас до глубины души... Покойник был нам почти родственником,— она понизила голос и добавила, наклоняясь к Розалии: — Бедняга несколько раз просил руки Юльци, но малютка так еще молода, что я все откладывала, и вот — такой кровавый конец!

— Так, так,— ответила рассеянно Розалия,— но дали ли знать властям?

— Дали, но что из того, дорогая пани? Явились асессоры и комиссары снимать допрос да опечатывать все, а тем временем гайдамак уже перекочевал, наверное, в другое место и разыскивает новую жертву.

— Ужасно, неслыханно! — воскликнул маршалок.— Мы уже не можем доверять стенам наших домов!

Разговор снова перешел на подробности неслыханного убийства.

— Но куда же панство едет? — обратилась снова Розалия к пани Бойко.

— В Киев, моя дорогая пани: оставаться здесь невозможно.

— Сколько я слыхала, Кармелюк грозит только комиссарам, а пан Бойко...

— Тоже пристал к комиссии.

— Как,— вскрикнул маршалок,— пан Северин стал комиссаром?

Бойко только молча наклонил голову, а супруга его продолжала, разводя руками:

— Что делать, что делать! Маньця, Юльця, выйдите в залу! — скомандовала она дочерям, и обе гусыни, потупив глаза, встали вместе с кресел и ровным шагом удалились в залу.— Да, дорогая пани,— продолжала Бойко,— когда имеешь двух взрослых дочерей, тогда ведь надо забывать о собственной безопасности: комиссии, съезды... постоянные сношения... притом и пан Дембицкий принадлежал также к комиссии, и вот!.. Ах, да что там... ведь это так понятно!

— О, так, так! — поспешила согласиться Розалия.— Но как же вы думаете ехать?

— А вот вместе с панством Пожецких... Днем будем ехать, а ночью отдыхать у друзей; если пани окажет нам гостеприимство, то мы переночуем здесь, а завтра рано в путь... Хуже всего, что с нами две девушки... Вы знаете, ведь этот лайдак, говорят, падок на женщин... льнет к ним, как муха к меду, а Маньця и Юльця...

Маршалок, багровый от ужаса и волнения, молча и тяжело переводил дыхание, посматривая с ужасом на свою супругу; известие о том, что пан Бойко записался в комиссию и теперь собирается проводить у них ночь, повергло его в смертный трепет...

Не меньшую злобу вызвало оно и в сердце Розалии: очевидно, сегодняшнее свидание с Кармелюком не могло состояться. Но самое досадное было то, что, по всей вероятности, ей нельзя будет даже и на минуту отлу-

читься, чтобы бросить записку в дупло дуба и отложить свидание до завтра.

Разве можно будет вырваться из объятий этих дорогих гостей, а наипаче от этих прелестных девиц с жадными, шныряющими глазами? При малейшем ее желании отлучиться из дому они самым предупредительным образом вцепятся в нее, как репейник в подол платья! Но, несмотря на все эти соображения, отказать гостям от крова не было никакой возможности, и потому, затаив в душе своей бешенство, Розалия ответила с любезной улыбкой:

— О, конечно, панство должно располагать нашим домом, как своим собственным.

В то время, как в панском салоне происходил этот искренний обмен светских любезностей, к усадьбе пана подкатил Янчевский.

Выпрыгнув из натачанки, он приказал кучеру ехать к конюшне, сам же вошел в дом.

В огромном вестибюле палаца он увидел Фросю; она болтала здесь с молодым лакеем Пожецких. При виде Янчевского Фрося тотчас же подскочила к нему и, сделав низкий реверанс, почтительно поцеловала пана в рукав.

— А-а, плутовка! — встретил ее милостиво Янчевский, освобождаясь при помощи дворецкого от пальто.— Ну, вот отлично, что ты попалась мне навстречу: мне надо умыться с дороги.

— Служу пану,— поклонилась Фрося, приглашая Янчевского следовать за собой.

Когда Демосфен очутился с Фросей в одной из комнат, предназначавшихся для гостей, то тотчас же, не теряя времени на побочные разговоры, приступил к интересовавшему его опросу:

— Ну, что? Как у вас, благополучно?

— Слава богу!

— А пани? В добром гуморе?

— О, в наилучшем!

— Все занимается своей комиссией?

— Нет, проше пана, с тех пор, как случилось несчастье с паном судьей и пани судьиха уехала от нас с паном Пигловским...

— Ну, а Рудковский тоже уехал? — перебил ее Ян-

чевский, отнимая от мокрого лица руки и вперив во Фросю свои злые глаза.

— О нет! Пан секретарь наш такой ласковый, что не забывает нас! — ответила Фрося и многозначительно потупила глазки.

— Не забывает?..

— Ну, а как же? И что бы делала бедная пани от скуки, если бы не пан Рудковский?.. Пани так рада, когда он приезжает...

— Рада? — проскрипел злобно Янчевский.

— Бардзо рада... А когда нет пана секретаря, то пани уезжает от скуки из дому, на прогулку.

— Уезжает, и пан маршалок дозволяет? — вскрикнул гневно Янчевский и даже покраснел весь от злости; но, спохватившись, добавил через минуту:— Кругом злочинства, убийства! Теперь не только женщине, но и доброму мужчине страшно выехать за ворота своей усадьбы.

— Звычайне! — согласилась Фрося.— И пан маршалок так просил паню, так молил не выезжать со двора, я сама плакала и целовала ножки нашей ясновельможной крулеве; но пани отважна, как львица, и ездит одна, даже не хочет брать с собой казака, хотя пан маршалок просил ее об этом...

— Так, говоришь, не хочет брать с собой и казака?— повторил злостно Янчевский, сверкнув в сторону Фроси желтыми белками.

— Ни за что!..

— Ма ся разумець, ма ся разумець...— закусив губу, Янчевский раздраженно потер руки и прошелся по комнате.— Может быть, за селом встречает ее провожатый?

— Кто знает? — улыбнулась загадочно Фрося.

— И часто так ездит пани? — Янчевский, едва сдерживая свое бешенство, остановился перед Фросей.

— Да больше тогда, когда нет пана Рудковского. Вот и сегодня пани, должно быть, думала ехать, приказала мне готовить амазонку, но вот гости помешали...

— Ха-ха-ха! — засмеялся злорадно Янчевский.— Не в пору гость хуже татарина... Но куда же ездит пани?

— Не знаю, ясновельможный пане.

— А не можешь ли узнать?

— Как же мне узнать, когда пани едет верхом?..

— Но, но, но! — Янчевский потрепал Фросю по

щечке.— Ты ведь хитрый бесенок, и если захочешь, то можешь выведать все... тем более... гм... — откашлялся он и заговорил с напускной серьезностью,— что я ведь хочу знать как друг, как старый друг и пана, и пани маршалковой... У женщин бывают разные капризы... но в наше время, гм... гм... надо, чтобы был поблизу верный человек.

— То так, ясновельможный пане,— согласилась скромно Фрося,— но ведь в случае чего пани может дознаться, рассердиться, а я бедная девушка... Куда я пойду, что я буду делать?

— Ну, с твоей рожицей бояться за свою судьбу нечего... Я — старый холостяк, и мне всегда нужно иметь в доме господыню, которая присматривала бы и за мной, и за моим господарством!.. Да мы же к тому и знакомы...

Фрося вспыхнула и опустила стыдливо глаза.

— Вельможный пан так ласков! — прошептала потом она, припадая к красной руке Янчевского.

— Постараешься — не пожалеешь, а это тебе на сережки! — Янчевский бросил в руку Фроси два червонца и быстро направился в зал.

— Пан Янчевский! — вскрикнули все гости, а вместе с ними и хозяева, когда Демосфен появился неожиданно в гостиной.

Если могла Розалия чего-нибудь больше не желать в эту минуту, то это именно появления своего отставного возлюбленного, и вот, к довершению всех бедствий, явился и он!

Но еще более растерялся при виде своего приятеля сам маршалок. Напуганный донельзя последним известием и соображениями супруги, он с ужасом смотрел то на приближавшегося Демосфена, то на супругу, ожидая от нее разрешения этого опасного вопроса.

Но Розалия улыбнулась.

При виде Янчевского ею тоже овладело внутреннее бешенство, однако она постаралась скрыть его, так как ни за что на свете не хотела бы разозлить Демосфена. С тех пор как она под благовидным предлогом отсоветовала ему жить в их доме, между ними установились странные натянутые отношения, но настоящего объяснения еще не было. И вот именно то, что Янчевский не приступал к объяснению, не настаивал на правах своей

любви, наводило ее на всякие тревожные подозрения. Правда, вихрь новой страсти, налетевшей на нее, затмевал эти тревоги, но каждый раз, когда она встречалась с Демосфеном, они снова всплывали в ее сознании, и к чувству антипатии и злобы примешивались еще страх и отвратительное сознание своей зависимости от этого багрового юпитера. И прошлая подневольная связь с ним, и хранившаяся в руках его тайна письма мнимого графа — все это связывало Розалию по рукам и ногам и наполняло ее сердце тоскою. Теперь же она особенно сильно почувствовала власть этого человека, и появление его вселило ей серьезное опасение. Потому-то Розалия с улыбкой протянула Янчевскому ручку для поцелуя и произнесла с дружеским укором:

— Наконец-то пан вспомнил о нас!

— О, мы все так рады, так рады! Такой счастливый случай! — заговорила поспешно пани Бойко.— Я просто боялась подумать о сегодняшней ночи... но если пан останется с нами под одной кровлей...

— Ах, и я буду чувствовать себя тогда спокойнее! Не правда ли, мой коханцю? — обратилась Пожецкая к своему супругу.— Это святая панна сжалилась над нашими малютками.

— Конечно, конечно, моя дрога,— согласился супруг.— Теперь, когда нас четверо, мы можем и защищаться.

— Но в чем же дело, шановное панство? — Демосфен смущенно оглянулся кругом.

— Разве пан еще не знает? — простонал Бойко.

— Чего?

— Ах, убийства нашего коханого пана Дембицкого! — поторопилась сообщить пани Бойко.

— Как?! Разве он убит?

— Ох, и как еще ужасно! — И пани Бойко принялась, перебивая всех, рассказывать историю таинственного убийства Дембицкого; при этом она не забыла упомянуть о том, что несчастный покойник был им почти родственник, больше чем родственник, так как многократно просил руки Юльци, но она, не доверяя молодым людям,— эту фразу маменька произнесла особенно выразительно,— все отклоняла его предложение. В конце своей речи пани Бойко воскликнула:

— Маньця, Юльця! Проше до салону! Теперь

можете быть совершенно покойны: наш славный оборонца прибыл.— И, обратившись к Демосфену, она добавила с нежною улыбкой: — Бедные девочки так расстроены, но один вид нашего героя успокоит их.

Янчевский рассеянно приложился к ручкам девиц, выплывших из зала, и обратился к самому Бойко, сидевшему в кресле в позе приговоренного к смерти.

— Но когда же это случилось? Я ничего не слыхал...

— Мудрено было и слышать,— ответил угасшим голосом несчастный комиссар,— ведь это произошло только вчера.

— Вчера?! Не может быть! — вскрикнул Янчевский.

— Вчера в ночь, это верно: я сам был там.

— Непостижимо... невероятно... невозможно!! — заговорил Янчевский, разводя руками, и в волнении прошелся по комнате.

— Да что такое? В чем еще дело?! — заволновались все присутствовавшие и сама хозяйка.

— А то,— Янчевский остановился посреди комнаты и обвел всех потрясающим, убийственным взглядом,— что в ту же ночь, т. е. с четверга на пятницу, убит в своей усадьбе Лепинский!

Крик ужаса покрыл его слова... Все пришли в смятение; даже сама невозмутимая Розалия не могла удержаться от крика.

— Убит самым непостижимым, самым ужасным образом,— продолжал Янчевский.— В доме было довольно много гостей, так как накануне господь послал несчастному пану сына и на крестины съехалась ближайшая родня. После доброго ужина все разошлись спать по своим покоям, и сам хозяин поместился рядом с комнатой пани, а с нею была и бабка. Конечно, за ужином было выпито немало, а может, подлая бабка еще подсыпала чего-нибудь в питье, когда обносила чаркой гостей; ну, словом, не успели все добраться до подушек, как тотчас же заснули мертвым сном, и никто не слыхал, что творилось ночью в доме; даже сама больная пани спала как мертвая. Когда же утром слуга вошел к пану, чтобы одевать его, то увидел страшную картину: на постели лежал сам господарь, а в грудь его над самым сердцем был воткнут по рукоятку кинжал, и тут же приколота была забрызганная кровью записка: «То же будет и всем комиссарам. Кармелюк».

— Sancta Maria, ох, рятуй нас, грешных! — пробормотал несчастный Бойко.

— Но этого еще мало,— продолжал Янчевский,— в руке покойника была зажата разорванная и изгаженная эстафета, которую мы посылали к киевскому губернатору.

Все завопили сразу.

— Малютки мои, мои несчастные птички! — повторяла Бойко, прижимая к обширной груди головы своих дщерей.— У вас нет теперь гнезда, нет крова!..

— О Езус-Мария! Ромцю... я не выдержу... я умру... спаси меня... спрячь меня! — всхлипывала Пожецкая.

Даже Розалия сидела молча, покусывая губы: это уже переходило всякие границы! Такие безумные выходки должны были вызвать серьезные меры со стороны русского правительства, а тогда, как бы ни был храбр Кармелюк, ему придется или умереть, или снова попасться в руки властей.

Бледный Бойко только тяжело дышал и втягивал, как черепаха, голову в плечи, но маршалок пришел в ажитацию.

— Разбой, убийство! Да ведь это хуже войны! — заговорил он, превозмогая одышку, и с не свойственной ему быстротой вскочил с места.— Мы отданы во власть нашим хлопам! Каждый кусок, что мы едим, может, несет нам смерть! Никто не знает, встанет ли он на другое утро! Уманщина! Колиивщина! Нет, нет, Розюню, надо бежать отсюда! Пусть себе москали делают с лотрами что хотят, но оставаться здесь... ни одного дня, ни одного часа! У этого демона все хлопы в послушенстве, а мы перед ними бессильны!

Слова маршалка вызвали у всех дам громкие рыдания.

LXXVII

— Тихо! Спокойствие, панове! — крикнул грозно Янчевский.— Надо, чтобы хлопы не знали того, что мы их боимся, иначе они и до появления Кармелюка разделаются с нами и сами!

— Ах! — взвизгнула Пожецкая и зажмурила глаза.

— Пан маршалок прав,— продолжал Янчевский,—

опасность велика: каждый байрак кишит теперь вооруженными гадами.

— А ты, мой янгол, еще ездишь кататься! —воскликнул с укором маршалок.

— Ка-ак? — Янчевский быстро повернулся к Розалии и произнес с искусственным изумлением: — Пани рискует выезжать одна?

Розалия метнула в сторону мужа взгляд, полный злобы, и ответила гордо Янчевскому:

— Я поступаю сообразно совету пана. Не хочу, чтоб эти подлые хамы заподозрили меня в трусости, присущей всем панам. Я умею смотреть опасности прямо в глаза.

— Да-а? — протянул каким-то странным тоном Янчевский, и тотчас же добавил: — Опасность опасности рознь, пани. При встрече с этими исчадьями ада ни храбрость, ни шляхетская отвага не помогут: они не задумаются ни на минуту сорвать с пани кожу, высверлить глаза...

— Ай! — вскрикнула Бойко и, закрыв глаза, откинулась на спинку кресла.— Не говори, пане, не говори!..

— Я не могу... не могу...— застонала слезливо Пожецкая.

— Да успокойтесь же, панове, на этот раз вы будете в полной безопасности,— крикнул раздраженно Янчевский,— потому что сегодня же к вечеру прибудет сюда целый полк москалей.

— Как, Феликс, ты вызвал их сюда для нас? О, тысячу раз...— и маршалок с влажными от радости глазами потряс руку Янчевского.

— Гм... да... конечно, и для вас, и для того, чтобы преследовать врага. Во всяком случае, полк будет здесь до захода солнца и расположится в лесу, возле фигуры.

— Что!? — вскрикнула Розалия, и так громко, что не только Янчевский, но и ближайшие гости обратили на нее внимание.

— Остановится возле фигуры,—повторил Янчевский, всматриваясь с злобным любопытством в побледневшее лицо Розалии,— но разве это так неприятно пани?

— Ничуть... но только... конечно... в такое время... ах! — заговорила машинально Розалия, не имея силы покорить охватившее ее волнение.— Присутствие войск

может призвать сюда шайки Кармелюка, и кто еще знает, кто кого победит? — Но вдруг она словно напала на мысль и почти вскрикнула:— Но зачем же пану помещать их подле фигуры, не проще ли и не лучше ли разместить их в нашем дворе?

— О так, так! — подхватили все женщины.

Но Янчевский, не обращая внимания на их возгласы, ответил Розалии с едва заметной злобной улыбкой:

— Если пани боится, что москали могут привлечь разбойников и в лесу, то как же пани не боится дать им место в своем дворе?.. Скажу правду: именно эти соображения и заставили меня назначить им место стоянки подле фигуры, тем более, что есть некоторые соображения... Я останусь здесь с одной ротой, а остальные разместятся там; так будет лучше и покойнее...

— Ах, пусть пан делает как знает... Эти тревоги убьют меня! — вскрикнула с искренним отчаянием Розалия, и неподдельные слезы заблестели у нее на глазах.

Она прижала платок к лицу и почти упала в кресло. Теперь для нее стало ясно, что она попалась в ужасные тиски и устроила западню своему кумиру. Она поняла, что Кармелюку грозит почти верная погибель и что нет никакой возможности предотвратить ее. Согласно уговору он будет ждать в бурдее до вечера, до ночи... а там придут войска... застукают, поймают... Муки... пытка... казнь!.. Записку? Нет, ей теперь уже не вырваться из дома... Послать некого, Фрося не пойдет и предаст. Ах, она сама, сама погубила его!

Все эти мысли встали перед Розалией в одно мгновение с ужасающей ясностью... Силы почти оставили ее, и истерическое рыдание вырвалось из ее груди.

Ввиду тревожного настроения всего общества это не показалось никому странным.

— Розюню, янгол мой... Сокровище мое! — вскрикнул маршалок, подбегая к жене.— Воды! Ой, что же делать?

В это время в дверях показалась Фрося.

— Фрося, воды, спирту! — крикнул ей маршалок.

Услышав это, Розалия открыла глаза и произнесла с усилием:

— Нет, ничего; Фрося, помоги мне подняться, прошу прощенья у панства, я сейчас...

— Мы сами! — вскрикнули сразу обе паненки,

подбегая к Розалии, и хотели было взять ее под руки, но Розалия отклонила их услуги и, опершись на руку горничной, вышла в свой будуар.

Лишь только дверь за ней затворилась, несчастная упала на козетку и, приказав Фросе никого не пускать к себе, залилась слезами.

— О Езус-Мария... Вельможная пани расстроена... но ведь гайдамак не посмеет к нам ворваться! — успокаивала Розалию Фрося, поднося ей флакон с аммиачною солью.— Москали придут, а пан Янчевский останется с нами...

— Ах, молчи хоть ты! — воскликнула раздраженно Розалия.

— Молчу, молчу, не буду и вспоминать об этом... А тут всякому ведь свое,— заболтала Фрося, чтобы разогнать мрачное настроение пани,— цыганка та, что приходила к нам когда-то, опять пришла и...

— Цыганка?..— Розалия отвела платок от глаз и быстро повернулась к Фросе.— Она здесь?

— Здесь, и просит, чтобы допустить ее к пани...

«Ей довериться, и она пойдет... спасет!» — промелькнуло в голове Розалии. Как утопающий за соломинку, ухватилась она за эту мысль и почти крикнула Фросе:

— Веди!

Легкомысленная Фрося вылетела резво из комнаты исполнять прихоть своей госпожи. Розалия вскочила с кушетки... В одно мгновение глаза ее высохли, разгоревшиеся от слез щеки вспыхнули, она подбежала к столу и, схватив лист бумаги, быстро написала на нем несколько строк; запечатав в маленький конверт записку, она зажала ее в руке и с нетерпением стала поджидать цыганку. Обычное присутствие духа сразу возвратилось к ней... Отдать цыганке записочку — это был хотя рискованный, но единственный способ спасти Кармелюка, и Розалия решилась довериться риску. В комнату вошла знахарка. По одному быстрому взгляду на возбужденное лицо маршалковой она сразу догадалась, что с паней произошло что-то особенное.

— Ну что, цыганка, как живешь? — встретила ее та приветливо.

— Ой пани вельможная, пани милостивая,— заговорила униженно старуха, приближаясь с низкими поклонами к Розалии и прижимаясь подобострастно к подолу

ее платья,— живу, как собака... Просят люди: помоги, а как поможешь, так и гонят в шею... А тут зима идет, сама больная, да еще детей куча... Дай, панейко, что-нибудь старенькое, хоть на Гарасимчика...

Розалия чрезвычайно обрадовалась этому предлогу выслать пронырливую Фросю из комнаты.

— Слушай, Фрося,— приказала она служанке,— сходи-ка в гардеробную да выбери там что-нибудь.

Цыганка рассыпалась в благодарностях и благословениях.

— Дай, пани-благодетелько, ручку,— заключила она,— дай поворожу... все сниму и развею — и заговор, и пристрит, открою, кто ворог твой, кто разлучница твоя! — И, схватив руку красавицы, она взглянула на линии ладони, потом перевела свой проницательный взор на лицо Розалии и произнесла, закивав головою:

— Ой пани, крулево моя, каламутит твое сердце страшная тревога...

— Так, ты угадала, цыганка, страшная тревога,— перебила ее Розалия и заговорила возбужденным полушепотом. — И ты можешь помочь мне, но только не гаданьем, нет. Постой, молчи,— остановила она цыганку,— я знаю: ты хитрая колдунья, тебя не провести никому! Обещай, что ты поможешь мне, и я тебя золотом осыплю, ничего не пожалею!

Глаза цыганки загорелись под нависшими клоками волос.

— Все сделаю! — вскрикнула она с жаром.

— Тише! — Розалия сжала ее плечо и продолжала тем же возбужденным, быстрым шепотом: — Сделаешь так, как я тебе скажу,— никогда тебя не забуду, вздумаешь выдать...

— Пусть мою душу выдадут пеклу нечистые силы!

— Ну смотри ж! Вот тебе записка... спрячь, спрячь ее скорей! — Розалия ткнула в руку цыганке конвертик. С жадностью схватила цыганка пакетик и спрятала его за пазуху. Сквозь грязь, покрывавшую ее лицо, выступили на щеках красные пятна.

— Кому отдать? — произнесла она хрипло, впиваясь в красавицу полными дикой злобы глазами.

— Знаешь наш лес... Черный лес, направо от шляха? — продолжала Розалия, не замечая странного взгляда цыганки.

— Знаю.

— Так там, на перекрестке, поляна... на той поляне фигура, а подле фигуры — дуб старый с дуплом, в то дупло и бросишь записку.

— И больше ничего? — В голосе цыганки послышалось некоторое разочарование.

— Ничего! — Розалия достала из шифоньерки два червонца и сунула их в руку цыганке.— Смотри же, исполнишь — никогда тебя не забуду.

— Все, все, как сказано.

— Приходи же.

— Приду, крулево! — В хриплом голосе цыганки послышалось что-то зловещее, она еще раз прижалась губами к платью красавицы и поспешно скрылась в дверях.

Лишь только «цыганка» Ульяна минула Маршалковку и очутилась одна на большой дороге, походка, фигура ее тотчас же изменились, она выпрямилась и быстро зашагала вперед... Теперь она уже не старалась скрыть овладевшего ею бешенства. Сегодня она пришла в палац с окончательным намерением убедиться в том, которая из двух ее разлучница. И вот сам случай выдал ей в руки ее врага.

Ульяна была уверена в том, что записочка, которую она несла, предназначалась для Кармелюка, она настолько была уверена в этом, что, получив ее от Розалии, не стала даже выпытывать Фросю.

Несколько раз вынимала Ульяна из-за пазухи конвертик, поворачивала его перед глазами и с дикою злобой комкала в руке, как будто это и была именно та ненавистная красавица, которую она готова была растерзать. В записке был весь узел тайны, этот узел был наконец в ее руках, и Ульяна не могла его развязать! Она еще, собственно, не решила, что делать; пойти и опустить записку в дуб, как это просила маршалкова, было бы слишком глупо. Ей надо было проникнуть в содержание этого послания, узнать доподлинно, к кому оно направляется и о чем трактует.

Ульяна догадывалась, что в нем назначалось свидание возлюбленному, но где? Когда? Как? Именно этого жаждала она узнать теперь, чтобы явиться на это свидание и накрыть нежных голубков.

Надо было прочесть письмо. Прочесть мог и солдат,

и Андрей, но, во-первых, для этого надо было потратить слишком много времени, а во-вторых, они могли передать Кармелюку, что она перехватила его письмо, поэтому Ульяна решила зайти в ближайшую корчму и попросить кого-нибудь из приезжих прочесть письмо.

Быстро шагала она вдоль дороги; ревность, злоба, жажда мести жгли ее сердце. Искаженное злобой, замазанное лицо ее теперь было страшно.

Ульяна не могла молчать, то и дело с уст ее срывались отрывистые проклятия... И если бы кто посмотрел на нее со стороны, то, наверное, принял бы ее за исступленную ведьму.

Ульяна все шагала вперед, не замечая ничего по дороге; она подходила уже к корчме, как вдруг шагах в двадцати от нее за спиной раздался грохот брички и вслед за ним зычний окрик:

— Стой!..

Не успела опомниться и остановиться Ульяна, как в плечо ее впилась чья-то железная рука.

Ульяна вздрогнула и сразу похолодела. За спиной своей она увидала багровое, злобное лицо Янчевского.

Известия, полученные Янчевским в гостиной маршалка о новой зверской проделке Кармелюка, в связи с полученным им еще раньше известием убедили его в том, что шайка разбойника не только разрослась до страшных размеров, но и проникла уже во все слои населения и грозит общим восстанием. Вскоре, пожалуй, и борьба с ним станет немыслимой, и первыми жертвами, очевидно, падут борцы...

При этой мысли Янчевский позеленел и, заявив, что нельзя терять ни минуты, распрощался с хозяевами.

Он спешил к отрядам, чтобы дать им нужные указания, а главное, чтобы собственную персону поручить их охране.

В передней догнала Янчевского Фрося и сообщила, что к барыне явилась цыганка и что барыня с нею заперлась и дает ей какие-то поручения.

Это сообщение вернуло Янчевского к прежнему настроению: чувства ревности, злобы и мести вспыхнули в его сердце с прежней силой и снова направили его энергию на раскрытие мучительной тайны.

Он заплатил Фросе, попросил ее не задерживать

цыганки, а сам выехал за околицу и стал поджидать цыганку на дороге...

Ульяна тотчас же узнала Янчевского и на основании того, что он догнал и схватил ее, она решила, что и он узнал ее. Конечно, костюм и грим сильно изменяли ее, но, очевидно, этот дьявол следил за ней и вот теперь настиг.

Несколько поодаль стояла бричка пана, и в ней сидел здоровенный широкоплечий кучер, вооруженный с ног до головы; их было двое, она одна,— но выбора не было. Ульяна дернула руку и хотела было вырвать спрятанный за поясом кинжал, но Янчевский предусмотрел ее движение:

— Бежать?! — прохрипел он, впиваясь с такой силой в плечо и руку Ульяны, что она едва не упала.— Нет, пташка, не вырвешься, а если еще подумаешь шевельнуться, так я тебя скручу по рукам и ногам, а то и подыму на гилку. Отвечай, зачем ходила ты в маршалковский палац?..

— Гадать!..— ответила Ульяна хриплым голосом.

— Гадать? Знаем мы ваши гаданья... Говори, старая ведьма, от кого прибегала? Зачем приходила?

С этими словами Янчевский бешено встряхнул Ульяну...

— Думаешь, не знаю ваших шашней? Из Литина ведь присылал соколик? Ну, говори же, а не то шкуру спущу!

Но грозный окрик Янчевского не испугал Ульяну, наоборот, при первых же словах его у нее отлегло от сердца: она поняла, что он не узнал ее и принял страшную сообщницу Кармелюка за плутоватую цыганку, а упоминанье о каком-то соколе из Литина навело ее вдруг на мысль, что записка могла быть и не к Кармелюку. Во всяком случае, спасение Ульяны было в той роли, которую приписал ей Янчевский, в противном случае он мог бы броситься обыскивать ее, а тогда бы разъяснилось многое.

Ульяна сразу же овладела собой.

— Ой паночку милостивый,— заговорила она нараспев деланным старческим голосом, ловя руку Янчевского, чтобы поднести ее к губам.— Чем же я, бедная, виновата, если пани звала меня?

— Ага! Значит, звала?

— Звала, и не один раз... все гадала...

— На чернявого? — разразился Янчевский злобным хохотом...

— На чернявого, на чернявого...

— Ну и что ж... ты носила к нему письма? В Литин бегала?

Глаза Янчевского налились кровью, он снова дернул Ульяну за плечо.

— Говори правду... смотри! Я жартовать не буду!..

— Бог меня убей, паночку, не ходила еще! Что гадать, то гадала, и пани все о каком-то чернявом тревожилась, а ходить к нему не ходила и знать его не знаю...

— Эй, не лги, ведьма! Знаешь ты его как пять своих пальцев... А сегодня ты чего прибегала?

— Пани зазывала погадать...

— Только?! — Янчевский впился налившимися кровью глазами в лицо Ульяны.

— Ой паночку, ничего я не знала и не ведала... Я думала, что гадать, а пани и не гадала, а только...

— Что?!

— Дала мне какую-то бумажку...

— А, записку к коханчику,— заревел отставной возлюбленный,— где же она?

— Вот! — Ульяна вынула из-за пазухи конвертик и передала его Янчевскому.

Жадно схватил он пакет, сорвал конверт и вынул записку.

— А-а!.. «Следят... Опасно!.. Через два дня!..» — прохрипел он, комкая записочку, и, обратившись к Ульяне, крикнул хрипло:

— Куда же тебя посылала пани,— в Литин?

— Нет, к фигуре... Бросить записку в дупло дуба...

— Вот как! Хорошо придумали голубчики, чтобы никто не догадался... Вот почему и пани не хотелось, чтобы войска останавливались возле фигуры.

Янчевский злорадно потер руки и обратился к Ульяне:

— Ну, так вот что,— в глазах его загорелся зловещий огонек.— Коли тебе велели бросить записку в дуб, так порученье надо прежде всего исполнить,— садись же, ведьма, со мной в бричку да покажи и мне это

местечко, чтобы и я знал, куда мне на случай чего письма бросать.

Ульяне ничего не оставалось, как последовать приглашению Янчевского.

Он приказал ей сесть рядом с собою и для большей предосторожности сжал руку Ульяны в своей руке.

Бричка покатила.

Молча сидели друг подле друга обманутые любовники, занятые каждый своими думами.

«Так вот отчего, пани ясновельможная, не хотелось вам, чтобы войска останавливались подле фигуры... Вот куда вы ездили кататься! — повторял про себя, задыхаясь от злобы, Янчевский.— А, мы сегодня помешали вам? Что ж делать, два дня прийдется не видеться с коханцем... Срок долгий... Хе-хе-хе... Зато уж на третий день поспешите вы, пани, на крыльях любви и как же обрадуетесь, когда, кроме нового амурчика, найдете еще там своего старого коханца!»

Злоба душила и Ульяну.

Как опрометчиво решила она сразу, что письмо предназначается Кармелюку! Теперь вот оказывается, что у вельможной пани есть какой-то коханец в Литине, и она, Ульяна, впуталась из-за этого в такую историю, из которой дал бы бог благополучно выпутаться. Несмотря на всю свою отвагу, Ульяна чувствовала себя весьма скверно рядом с Янчевским; соседство его даже несколько умеряло ее ревность и отвлекало ее мысли в другую сторону, но как ни прикидывала Ульяна, а вырваться из клещей Янчевского не было возможности.

LXXVIII

Вскоре бричка свернула вправо на проселочную дорогу, въехала в лес и остановилась возле фигуры.

— Здесь? — обратился Янчевский к Ульяне.

— Должно быть, здесь... Пани говорила, что в дубе есть дупло.

— Ну, слезай; смотри же, если ты только солгала, то на этом же дубе повешу тебя!

Янчевский тяжело спрыгнул с брички, не выпуская руки Ульяны, и почти потащил ее за собою.

У самой Ульяны ноги так похолодели, что она не

могла их согнуть. А что, если пани не так рассказала или она сама напутала? Ей показалось, что она идет по краю бездонной пропасти. Расстояние до дуба было очень невелико, но оно показалось Ульяне бесконечно длинным.

Но вот раздался зычный крик Янчевского:

— Так, есть!

У Ульяны отлегло от сердца: подняв глаза, она тоже увидала в дубе глубокое и узкое дупло.

С нескрываемым злорадством опустил Янчевский на дно дупла записочку и затем обратился к Ульяне:

— Ну-с, вельможная пани, а теперь проше до повозу!..

— Что?..— вскрикнула Ульяна и, побледнев от ужаса, уставилась на Янчевского безумными глазами.

— Не слышишь, ведьма: ступай в бричку! — прикрикнул на нее грозно Демосфен.

Ульяна упала на колени и впилась в ноги Янчевского.

— Ой паночку милостивый, за что, на что? Помилуй... дети малые... отпусти...

— Отпустить? Ха-ха-ха! — разразился Демосфен злобным смехом.— Уж не думаешь ли ты, что на дурня напала? Отпустить, чтобы ты побежала к маршалковой да рассказала ей обо всем, что произошло здесь?

— Чтоб я детей своих не увидела, чтоб... я...— начала было со слезами Ульяна.

— Молчи! — перебил ее Янчевский, топнул злобно ногой и крикнул кучеру: — Связать гадюку и бросить на дно брички!

К вечеру Янчевский возвратился в Маршалковку с ротою москалей и сообщил, что остальные роты расположились уже в лесу, возле фигуры. Это сообщение успокоило не только собравшуюся компанию, но и самую Розалию: очевидно, Кармелюк успел уже получить записку и заблаговременно скрылся; в противном случае Янчевский тотчас же сообщил бы если не о своей победе, то по крайней мере о том, что он напал на след Кармелюка.

Между тем Янчевский не говорил ничего подобного,

но был в ударе, шутил, смеялся, ухаживал за паненками и за хозяйкой дома.

Розалия тоже была необыкновенно оживлена: поведение Янчевского окончательно успокоило ее, и потому, желая загладить впечатление своей неожиданной истерики, она старалась быть как можно любезнее и милее...

Словом, хорошее расположение духа возвратилось всему обществу, и остальная часть вечера прошла вполне спокойно и даже весело.

Рано утром все гости уехали.

Маршалок хотел также во что бы то ни стало выехать вместе с гостями и с супругой в Литин, но неожиданная болезнь ее должна была заставить отказаться от этого намерения.

Вчера еще веселая, оживленная, Розалия вдруг сильно заболела. Несмотря на усиленные просьбы супруга, что теперь именно необходимо ей поскорей переехать в город, где всякая помощь под рукой, пани маршалкова окончательно воспротивилась этому, заявив, что она решительно не может двинуться с места.

Янчевский тоже, с своей стороны, поспешил уговорить приятеля не тревожить больную жену и обождать с отъездом дня три-четыре; между прочим, он обещал заехать по истечении этого времени. Эта последняя любезность вызвала энергичный протест со стороны маршалка: с необычайной горячностью начал он уговаривать приятеля не делать этого, великодушно указывая ему на то, что во время бедствий отчизны надо забывать личные симпатии, надо заботиться о безопасности края и не подвергать из-за друга опасности свою жизнь,— она-де нужна для родины.

Янчевский был и изумлен, и тронут столь неожиданным проявлением героизма у трусливого маршалка и с горячей благодарностью сжал ему руку, заявив, что любовь к другу так же священна, как и любовь к отчизне, и что он с такою же готовностью пожертвует своей постылой жизнью для верного приятеля и не оставит его в беде.

Вообще в тот день все обитатели маршалковского палаца проявили столько великодушия и благородства, сколько в другое время не удалось бы им проявить и в целый год.

Розалия призвала к себе мужа и со слезами на гла-

зах начала уговаривать его ехать немедленно в Киев или в Варшаву, обещая, как только ей станет лучше, тотчас же полететь вслед за ним.

Тысячу благородных доводов приводила она в подтверждение своей просьбы, между прочим, и то, что в последнее время разбойники направили свое бешенство вообще на уряд (начальство), а потому отъезд его, маршалка, не только обеспечит ему безопасность, но и с ее головы снимет риск...

— Уезжай, уезжай поскорее, мой ангел! — закончила она со слезами.— Тревога за жизнь твою изведет меня вконец... Я никогда не поправлюсь и не встану, если любый мой муж останется здесь...— Она схватила руку мужа и прижала ее к губам.

Предложение супруги было весьма соблазнительно: он мог немедленно отправиться с Янчевским и с русскими войсками до Литина, а там присоединиться к какому-нибудь другому. Два-три дня переезда — и он будет вне опасности. Но борьба продолжалась недолго в сердце маршалка: благородство взяло верх над трусостью.

— Нет,— вскрикнул он горячо, отрывая от ножек супруги полное, орошенное слезами лицо,— пусть лучше растерзает меня гайдамак, но я не покину тебя!

— Но, Стась, ангел мой, беги, пока есть возможность! Твоя жизнь мне дороже моей; притом я выеду вслед за тобой... Прошу тебя!

— Ни за что! — вскрикнул патетически маршалок, подымаясь с места.— Если мне суждено умереть, то я умру здесь, у твоих ног, а там...— Маршалок махнул рукой и, пошатываясь, вышел из комнаты...

— Дурень! — прошипела ему вслед Розалия, но делать было нечего.

Впрочем, душевное равновесие маршалка несколько восстановилось благодаря любезности прибывшего с Янчевским ротного командира: он согласился оставить в усадьбе пока что взвод солдат под начальством бывалого унтера.

Вечером, как и рассчитывала Розалия, прибыл Рудковский, и это еще более увеличило досаду красавицы. Сославшись на болезнь, она даже и не пустила его на глаза и провела весь остаток вечера в обдумывании того, каким образом вырваться завтра на свидание.

На другой день после обеда Розалия призвала к себе супруга и Рудковского и попросила мужа съездить в Литин за доктором; от душевного волнения, пережитого за последнее время, Розалия действительно побледнела и выглядела утомленной; полутьма же комнаты и слабый, замирающий голос еще более усиливали это впечатление.

— О Езус-Мария! В тен момент, в тен момент! — испугался не на шутку маршалок.— Но не лучше ли нам послать верхового с письмом?

Розалия болезненно вздохнула и произнесла с трудом, запинаясь на каждом слове:

— Кто поедет? В такое время... только настойчивостью... силой можно заставить выехать. Если пошлешь хлопа, он засядет в корчме, а шляхтич удерет... да, наконец, сам доктор не рискнет ехать... Без тебя никто не поедет, а и тебя одного я боюсь пускать. Я просила и пана Рудковского отправиться вместе с тобой... Ради бога, иначе я измучаюсь...

— На край света! — вскрикнул пламенно Рудковский.— Пан маршалок может даже остаться... я сам...

— Нет, нет, как же можно! — воспротивился маршалок.

— Дорогой мой, поторопись! Я чувствую себя очень дурно!

— Лечу, спешу Перуном!..— Встревоженный маршалок вскочил с места.— Пане Рудковский, идем!

Облегченный вздох вырвался у Розалии, когда дверь за ними захлопнулась.

Лишь только экипаж с Рудковским и маршалком выехал с двора, Розалия приказала Фросе ни в каком случае не беспокоить ее и, заперев изнутри двери своей спальни и будуара, выскользнула незаметно в сад.

Дойдя до конца его, она отперла своим ключом потайную калитку и вышла в поле. Узкая полоса поля отделяла лес от маршалковской усадьбы; Розалия почти перебежала эту полосу и скрылась в лесу, но за ним еще поляна, одна и другая... а там уже фигура...

Не помня себя, Розалия бежала, падала от усталости и снова поднималась, не сознавая ясно, туда ли она бежит: отчаяние утроило ей силы.

Кармелюк уже сидел в бурдее, когда Розалия появилась в дверях взволнованная, раскрасневшаяся, с

разметавшимися в беспорядке прядями волос. Она была в белом капоте, волосы ее едва прикрывала кружевная косынка. Грудь у нее высоко поднималась и вздрагивала под ударами сердца.

И неожиданное появление красавицы, и ее странный туалет, и взволнованный вид сразу же дали понять Кармелюку, что произошло что-то необычайное.

— Боже мой! Что с пани? Что случилось? — вскрикнул он, бросаясь к Розалии.

Минуты три она не могла произнести ни слова и только глубоко дышала, схватившись за сердце рукой.

Кармелюк осторожно поддерживал ее за талию.

— Едва добежала...— произнесла наконец с трудом Розалия.

— Боже!.. Пешко́м?..

Она кивнула утвердительно головой и указала Кармелюку глазами на лаву.

Осторожно подвел он красавицу к скамейке и усадил.

— О господи, наконец-то! Ты жив, здоров! — вскрикнула с восторгом Розалия, стискивая руки Кармелюка.— Что я вынесла за эти дни! Я не знала, получил ли ты записку, успел ли ты скрыться?

— Получил и скрыться успел. Который раз ты уже спасаешь меня, мой ангел-хранитель? Но чем же и когда я отблагодарю тебя за твои заботы? — Кармелюк поднес к своим губам обе ручки красавицы и прижался к ним долгим, горячим поцелуем.

— Пощади себя! Вот все, чего я прошу у тебя! — воскликнула горячо Розалия.— Для этого я и прибежала сюда, быть может, с опасностью для жизни,— продолжала она с жаром,— муж, Янчевский, Рудковский — все следят за мной! Мне надо употреблять самые страшные усилия, чтобы увидеться с тобой; но это в последний раз, если ты не выслушаешь и не послушаешь меня.

— Что же случилось, на бога?

— Постой,— перебила его Розалия,— убиты Лепинский, Дембицкий... Я знаю, это сделал ты, но я не корю тебя за это, но их смерть зовет смерть на твою голову.

— Что ж делать? — Кармелюк встряхнул головой.— Таков мой путь, пани, такова моя доля!

— Остановись, сверни с него!

— Нет, я поклялся истребить всех комиссаров и исполню свое слово. Или они, или я,— вместе нам не быть в этом крае!

— О господи! — вскрикнула горестно Розалия и в отчаянье заломила руки.— Но ведь ты погибнешь, они наводнят весь край войсками, они поймают тебя! Тебя ждут пытка, каторга, а может, и смерть.

— Не на то ли я шел? Ты же сама, пани, говорила, что моя жизнь нужна для всех; так должен ли я дрожать над нею, как дрожит старый скряга над своим сундуком?

— Но ты не должен терять ее по-пустому! — перебила его запальчиво Розалия.— К чему приведет твоя игра? Если тебе и удастся перебить всех комиссаров,— явятся новые. Ты должен примириться с настоящим...

Кармелюк взглянул пристально на Розалию и ответил сурово:

— Примириться, пани, я не могу...

Чуткое ухо Розалии уловило сразу суровую холодность, прозвучавшую в голосе Кармелюка.

— Сокол мой,— заговорила она нежно и, взяв его за руку, снова усадила подле себя,— ты должен щадить свою жизнь. Слушай,— заговорила она еще нежнее, вкрадчивее и мягче и, не выпуская руки Кармелюка из своей руки, придвинулась совсем близко к нему,— беги отсюда, я дам тебе денег, сколько надо, сколько захочешь, беги на ту сторону — в Бессарабию, за границу, но только беги. Ты будешь оттуда управлять повстаньем, я буду твоею верною союзницей, буду передавать письма, приказания — все, что ты скажешь, но только беги, пока еще есть час.

— Спасибо тебе, пани, за заботу обо мне,— ответил взволнованно Кармелюк и сжал руку Розалии.— Но кто же пойдет за мной, если я сам уйду отсюда? Если хочет командир одержать победу, он должен идти сам впереди солдат.

— Ах, это там, в открытой битве... Тогда ты и вернешься, а пока...

— Пани, сердце мое, открытая битва уже началась.

— Езус-Мария! Да чем же, как мне упросить тебя? — вскрикнула с неподдельной горечью Розалия.—

Да неужели же для тебя твоя жизнь ничего не стоит? Неужели у тебя нет ничего дорогого, неужели же ты не любишь никого?

— Эх, что о том вспоминать, пани! — Из груди Кармелюка вырвался горький вздох.— Кто вышел на такой шлях, должен забывать о счастье.

— Почему? Кто сказал тебе это? — вскрикнула горячо Розалия и продолжала с жаром: — А разве все те, за кого ты несешь свою жизнь, отреклись от своего счастья? Ведь они любят, женятся, рожают детей... Почему же ты должен отказаться от всякой радости? Одна капля благоразумия — и перед тобой раскроются новая жизнь, счастье, власть, слава.— Розалия почти прижалась к Кармелюку; он слышал аромат ее прелестной головки и чувствовал огонь ее тела сквозь прозрачную ткань, покрывавшую ее плечи и грудь.— Ты знаешь, что затевается кругом,— продолжала горячо красавица,— уйди, скройся на время, ты можешь вынырнуть снова под другим именем, никто не узнает тебя,— тогда ты встанешь вместе со своими хлопами и отвоюешь им законную волю.

— Нет, нет! — воскликнул горячо Кармелюк.— Все обман, беспомощные мечты!..

Он простер руку, как бы желая отстраниться от Розалии, но красавица продолжала с возрастающим воодушевлением, припадая к его плечу:

— Оставь упрямство, дай волю рассудку — только так ты можешь помочь народу и спасти свою жизнь!.. Если ты не уйдешь теперь отсюда хоть на время, только на время, то через неделю ты будешь схвачен, и все поднятое тобою дело погибнет, а сам ты умрешь позорной смертью на кобыле. Ох, какая же слепота закрывает твои очи! Все ждет тебя впереди: слава, власть, любовь...

— Нет, нет...— Кармелюк схватился в волнении за голову.— Все это не то, пани, не то...

— Неужели же ты не знал до сих пор радости жизни, что не ценишь ее ни во что? — продолжала Розалия, овладевая его руками.— Неужели ты не любишь никого? Неужели же ты не знал той любви, которая огнем зажигает кровь, наполняет всесильным безумием душу, которая заставляет забывать весь мир?

Розалия уже не говорила, она шептала, задыхаясь

от страсти, и огненный шепот ее, как жгучее дыханье, пробегал по лицу Кармелюка.

— О, сохрани же свою жизнь хоть для того, чтобы изведать это счастье! Поверь мне: другой жизни не будет; там ждут нас только муки, терзанье, тоска. Раз дана нам возможность насладиться счастьем,— отталкивать от себя это счастье безумно, грешно...

— Пани, пани, зачем ты говоришь мне все это? — произнес в волнении Кармелюк, чувствуя, что его охватывает какая-то стихийная сила, что земля уходит у него из-под ног, а голову наполняет горячий туман...

— Затем, что я люблю тебя! Люблю больше жизни своей! — вскрикнула Розалия.

Две обнаженные мраморные руки обвились вокруг шеи Кармелюка, и с порывом жгучей страсти припала красавица к его груди... Время исчезло в сладком чаду...

Вдруг тишину лесную прорезал резкий крик совы... за ним другой и третий...

LXXIX

— Измена! — вскрикнул грозно Кармелюк и схватил красавицу за руки, но при первом взгляде на ее лицо он понял, что Розалия не виновна ни в чем. Она была бледна как смерть, глаза ее с ужасом смотрели на Кармелюка.

— Что это значит? — прошептала она едва слышно.

— То, что нас выследили... Надо спасаться... Враги здесь...

— Неужели Янчевский? О негодяй! — И она вся затрепетала.

В это время крик повторился еще сильнее.

— О боже! Ужас... Позор... Узнает муж, я погибла... Спаси, спаси! — вскрикнула в ужасе Розалия и вцепилась в руку Кармелюка.

— Стой, пани, не бойся! Не выдам!

Кармелюк подхватил одною рукой красавицу, а другою распахнул двери бурдея и резко свистнул. Через минуту появился уже знакомый Розалии казак.

— Что там? — спросил отрывисто Кармелюк.

— Янчевский подле фигуры...

— О Езус-Мария! Так и есть! Пшепадлам! * — вырвался у Розалии судорожный вопль, и она почти повисла на руке Кармелюка.

— Один! На Кармелюка он один не выйдет. Должно быть, засада?

— Нет, батьку, осмотрели; за лесом стоит только его бричка, в ней кучер да лакей.

— Прекрасно! Значит, или ошибся паночек, или поджидает подмогу. Ну, так вот я, да Андрей, да Гнида, довольно нас... и на десятерых... А ты бери скорей пани на руки да вынеси из леса другою дорогой к маршалковскому саду, да только живо.

— Домчу...

— Прощай, пани! Доверься ему и будь покойна. Пана Янчевского мы проучим.

Кармелюк поцеловал руку Розалии и передал красавицу Гололобому на руки.

Розалия не ответила ничего на слова Кармелюка.

— Скорей, скорей! — прошептала она только и почти в бесчувственном состоянии упала на плечо казака.

Гололобый бросился бегом со своею ношей по узкой тропинке, ведшей от бурдея налево, а Кармелюк ринулся вперед; в два-три прыжка он был уже по ту сторону оврага и бросился по знакомой дороге к фигуре; не доходя полянки, к нему подбежали Андрей и Гнида.

— Поймался, батьку, волк в капкан! — шепнул радостно Андрей.— Он поджидает кого-то.

— Да не того, кого увидит! — усмехнулся Кармелюк.— Заходите, детки, с двух сторон разом, а то чтоб не бросился егомосць навтикача, как увидит нашу персону! Да передайте Сове и Пацюку, чтоб сторожили шлях дальше...

Янчевский стоял не возле фигуры, а на опушке леса, спрятавшись за одно из огромных деревьев. Он жадно смотрел на дорогу, пересекавшую поляну, и не слышал, и не замечал того, что происходило за его спиной. В записке не было обозначено место свидания, но так как записки опускались в дупло дуба, то Янчевский сразу решил, что и свидания должны происходить здесь же, возле фигуры. Но теперь его начинало уже мучить сомнение: с полчаса караулил он здесь, а между тем

* Пропала (*польськ.*).

никто не появлялся ни с той, ни с другой дороги. Правда, в записке не было обозначено время,— на это он сгоряча не обратил тоже внимания,— но потом, обсудив все и взвесив, пришел к такому бесповоротному выводу, что свидания должны были происходить ранее вечернего времени, а вот наступили сумерки, и все еще никто не появлялся.

«Уж не переменили ли место любовнички и не расхворалась ли взаправду прелестная Розалия?» — подумал с досадою Янчевский и пожалел, что он в порыве дикой ревности бросил войско, оставил его, вопреки обещанию, без провожатого, не указав места, и прискакал сюда сломя голову только с двумя слугами, на храбрость которых трудно было положиться. Положим, Кармелюк действовал в другой местности; но и встреча с простыми хлопами с глазу на глаз не сулила Янчевскому ничего приятного. Он хотел было уже выйти из своей засады и поспешить к бричке, как вдруг услыхал за своею спиной чей-то насмешливый и, как ему показалось, знакомый голос:

— Добрый вечер, куме!

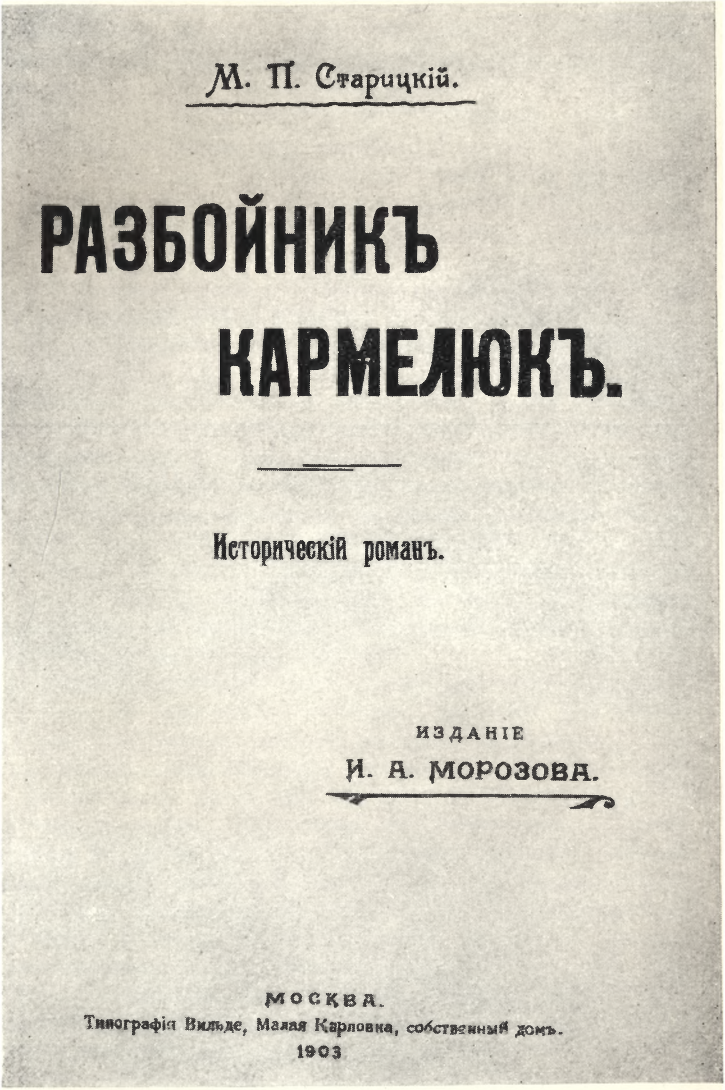
Янчевский быстро оглянулся и помертвел: шагах в двадцати от него стоял Кармелюк и злобно усмехался, посматривая на похолодевшего от ужаса врага. Первым движением Янчевского было выскочить на поляну и броситься к своей бричке, но, оглянувшись, он в стремительном ужасе увидал двух гайдамаков, спешивших к нему с разных сторон.

— Сюда! На помощь! Рятуйте! — закричал Янчевский не своим голосом, бросаясь все-таки бежать, но Андрей и Гнида предупредительно заступили ему дорогу...

— Куда же это ты, пане добродзею? — окликнул его насмешливо Кармелюк.— Не раз искал со мной встречи, а тут я сам к тебе навстречу иду, а ты удираешь! Гай-гай!.. Не по-пански, пане, поступаешь!

Янчевский позеленел и, вырвав из-за пояса пистолет, выстрелил в Кармелюка; но пуля пролетела мимо, и только эхо прокатилось по лесу. Андрей и Гнида схватили Янчевского за руки и обезоружили его. Кармелюк не сморгнул глазом.

— Свинцовой галушкой угощаешь, приятель? — произнес он насмешливо.— Ну что ж, гаразд! Иди же сю-



М. П. Старицкій.

РАЗБОЙНИКЪ КАРМЕЛЮКЪ.

Историческій романъ.

ИЗДАНІЕ
И. А. МОРОЗОВА.

МОСКВА.
Типографія Вильде, Малая Карловка, собственный домъ.
1903

Титульна сторінка роману М. Старицького «Разбойник Кармелюк» видання 1908 р.

да, почоломкаемся, как и подобает старым знакомым. Гей, панове, подведите-ка егомосць, а то у него что-то ноги шатаются: видно, с пиру поспешил к нам. Да вы повежливей, под ручки... вот так, сюда, подальше от дороги!

Гнида с Андреем подхватили Янчевского под руки и потащили его в глубину леса.

— На помощь! — попробовал было еще закричать Янчевский, но Гнида угостил его таким буханцем по затылку, что слово наполовину застряло у Янчевского в горле.

— Довольно, стой! — скомандовал Кармелюк и сел на лежавшую на земле колоду.

Гнида и Андрей остановились перед ним; оба они тяжело дышали и были багровыми от усталости.

Янчевский же казался в сравнении с ними совершенно зеленым; нижняя челюсть его непослушно тряслась, выпученные, как у рака, глаза глядели на Кармелюка с безумным ужасом, по лбу спускались капли холодного пота, и хотя он не произнес ни слова, но видно было, что ужас его дошел до последних границ.

— Ну-с,— произнес медленно Кармелюк, любуясь постыдным видом своего врага,— теперь и побалакаем по душе. Чего ж молчишь? Дожидаешь своих приспешников? Что-то не больно спешат!

— Утиклы, батьку,— иронически заметил Андрей.

— Как и пристало верным панским слугам! — усмехнулся атаман.— Значит, и ждать нам нечего. Скажи же теперь, пане коханку, что бы ты сделал со мной, если бы встретил меня вот так в лесу? — заговорил он медленно и злобно, обращаясь к Янчевскому.— Дурманом ты уже меня опаивал, в каторгу отдавал, облавы на меня делал, дымом меня душил, как дикого зверя. Как же мне теперь пошановать тебя? Чем отпотчевать? Ведь если бы я был теперь на твоем месте, ты бы придумал для меня много панских ласк. Как же мне, хлопу, быдлу, разбойнику, достойно отблагодарить тебя, вельможный пане? Нас ведь трое, а ты один,— можем уконтентовать * твою мосць...

Кармелюк замолчал и устремил на Янчевского полный холодной злобы взгляд.

---

* Почастувати *(польськ.)*.

Янчевский вздрагивал; видно было, что если бы Андрей и Гнида пустили его руки, он грохнулся бы на землю бессильною тушей; но хотя челюсть его сильно тряслась, он молчал. Зеленый, с посиневшими губами и выпученными от ужаса глазами, он все-таки молчал и не просил пощады.

— Гм...— продолжал Кармелюк так же медленно и беспощадно спокойно, смакуя впечатление своих фраз,— говори же, как мне пошановать тебя? Разорвать ли тебя меж двух дерев, или посадить на кол, или поднять повыше простых хлопов, на вершину дерева, как и подобает уродзоному шляхтичу? А может, «ощажая» твое панское тело, закопать тебя просто живым в яму? Ну, выбирай же, что тебе больше по душе! Я рад угодить тебе и отплатить за твое угощение на крестинах... Помнишь?

— Собака! — прохрипел с трудом Янчевский.— Не уйдешь от виселицы.

— Молчи, падло! — крикнул гневно Андрей и замахнулся саблей над головой Янчевского, но Кармелюк движением руки остановил его. От обиды лицо его вспыхнуло; он быстро встал и остановился перед Янчевским.

— Стойте! — крикнул он разбойникам и грозно обратился к Янчевскому, не спускавшему с него своих ужасных глаз: — Подлый хам! Ты искал всячески моей смерти, ты обманом, опоивши меня дурманом, скрутил меня и отдал на каторгу, ты выходил на меня, как на волка, с сотнями слуг и загонщиков, в пещере душил меня ты дымом, ты замучил на смерть мою несчастную жену, ты катуешь моих неповинных детей,— за это ты уже достоин страшной смерти. Но я, хлоп, разбойник, слышишь ты, панское падло? — И Кармелюк ткнул ножнами сабли Янчевскому в зубы.— Я не хочу пачкать о тебя клинка доброй сабли и дарую тебе за свои обиды твою подлую жизнь. Но ты ведь устроил проклятую комиссию и под видом розыска разбойников загоняешь в каторгу ни в чем не повинных людей,— за это ты подлежишь такой каре, какую только могут выдумать черти на дне пекла для проклятого богом Иуды! Хлопцы, решайте же вы, что заслужил этот изверг?

— Смерть! — вскрикнули разом Андрей и Гнида.

— Да чего с ним, батьку, долго церемониться? —за-

метил хладнокровно Гнида.— Поднять его на пояс; пояс у меня крепкий, выдержит.

И услужливый хлопец снял с себя длинный пояс и, завязав на нем петлю, закинул ее на шею Янчевскому.

Янчевский выскользнул из рук Андрея и грохнулся на колени...

Кармелюк с отвращением взглянул на распростершегося на земле врага и после минутного колебания обратился к своим товарищам:

— Нет, братцы, смерть для него слишком большая ласка. Пусть остается жить, пес, для посмешища всего панства да пусть теперь рассказывает всем, как разделался с Кармелюком.

Кармелюк подошел к распростершемуся на земле Янчевскому и крикнул ему, толкнув несчастного презуса в лицо сапогом:

— Слышишь ли ты меня, пане презусе, а?

Ответа не было.

— Подымите его! — приказал атаман.

Гайдамаки подхватили под руки лежавшего ничком Янчевского, и на Кармелюка глянуло мертвенно-серое лицо с мутными, остановившимися глазами.

— Слушай, ты,— продолжал Кармелюк,— ты заслужил по справедливости смертную кару, но я дарую тебе жизнь,— по крайней мере, на этот раз,— но помни, что если ты не оставишь своих дел, не перестанешь мучить людей, не оставишь навсегда свою комиссию, то разыщут тебя и на дне морском, я или друзья мои, и уж тогда придумаем такую тебе кару, какой позавидуют и черти в аду! А чтобы ты знал, каково лежать под канчуками тем несчастным, которых ты запарываешь на смерть, так мы окропим как след и твою шкуру. Гей, хлопцы, всыпьте ему канчуков добрых по сотне с двух сторон!

— Гаразд, батьку! — вскрикнули восторженно Андрей и Гнида и принялись за экзекуцию...

— Довольно! Будет с него! — остановил усердных исполнителей кары Кармелюк.— Того и смотри, подохнет... Лучше пусть чухается по субботам... Поднимите-ка его да влейте в рот водки!

Подняли бесчувственного Янчевского под руки, окатили ему голову холодной водой, а в рот влили водки... После нескольких глотков он пришел в себя, но не мог

не то что кричать, а даже стонать... и лишь с неимоверным усилием переводил свистящее, хриплое дыхание...

— Вот видишь ли, мой пане дорогой, как сладки эти канчуки, а ведь ты отпускаешь их всякому по двойной, по тройной порции! — заговорил Кармелюк.— Ничего, выдержишь... Здоровье у тебя, как у быка... Заживет... Еще, пожалуй, и скрывать станешь, что кумовья окрестили. А это не следует... Так вот еще получи памяткового: длинные у тебя очень уши... смахивают на ослиные... да и нос как будто закандзюбился... нужно исправить...

Едва ли сознавал Янчевский, что говорил ему Кармелюк: голова у него свисала на грудь... Да и Кармелюк не заставлял долго вдумываться своего клиента, а обнажил короткий запоясник и в три маха отрезал Янчевскому уши и кончик носа...

Когда маршалок и Рудковский прилетели в Маршалковку с доктором, то застали Розалию действительно больною. Ее всю трясло и подбрасывало на кровати; она не могла сказать связно двух слов и только смотрела на всех безумными глазами, а иногда выкрикивала: «Я погибла! Спаси, спаси меня!»

— Спасу, спасу, мое сердце! — повторял при этом плаксиво маршалок и прижимался к горячей руке Розалии; но лишь только Розалии попадалось на глаза жирное лицо супруга, искривленное жалостною гримасой, она дико вскрикивала и отбрасывалась на край кровати.

Пан конасляж (доктор), приказав всем дать покой больной, напоить ее малиной и приложить ей на голову лед, сам поскорей удалился в Литин, сообщив любезно пану маршалку, что у супруги его горячка...

При таком положении дел ехать куда-нибудь оказалось решительно невозможным; маршалку пришлось остаться дома; Рудковский заявил также, что ни за что не покинет пани и останется в Маршалковке впредь до выздоровления мосци королевы. Добрый супруг, тронутый таким расположением к его жене, сердечно обнял Рудковского и, прослезившись у него на плече, торжественно заявил, что если ему суждено остаться в живых,

то он никогда, никогда не забудет этой товарищеской услуги.

Впрочем, на другой день к вечеру Розалия пришла в себя. Из разговоров окружавших ее лиц она поняла, что никто не знает ничего об ее кратковременном отсутствии, и это уже сильно успокоило ее и возвратило ей ее обычное присутствие духа. На утро во дворе панском разнеслась ужасная весть, что проезжавший вчера утром через маршалковский лес управитель Хойнацкого подобрал на дороге избитого до полусмерти пана Янчевского с отрубленными ушами и носом, почти без признаков жизни, и отвез его в Литин, и что хотя там и оказали ему необходимую помощь, но что все-таки Янчевский очень болен и почти не приходит в себя.

«О, это бардзо похвально, что ему не пришла в голову мысль привезти его сюда»,— подумал про себя маршалок и добавил вслух, обратившись к Рудковскому:

— Несчастный Станислав! Он во что бы то ни стало хотел возвратиться к нам — помочь мне охранять мою дорогую Розюню. Я уговаривал его, во имя нашей святой дружбы, не делать этого, не подвергать себя опасности, но он не послушался, и вот...— маршалок поднял очи горе и развел руками.

— Дешево отделался!— добавил сухо Рудковский.— Пан Янчевский должен помнить, что он уже стар и что ему не угоняться за разбойником; но он, вопреки всему, желает сохранить за собой титул охранителя всех дам. Ну что же, надо все-таки дякувать гайдамаку за ласку, хотя, видно, он относился к нашему презусу с полным презрением, если ограничился только таким постыдным наказанием.

Пан маршалок ничего не возразил на спесивые слова молодого шляхтича...

Не успело сенсационное известие облететь весь двор, как болтливая Фрося доложила о нем барыне. Розалия выслушала его молча и крепко задумалась...

LXXX

Возвратившись в ту же ночь в свой лагерь, который представлял из себя центральное место сбора всех шаек, Кармелюк застал всех разбойников в некотором

волнении. Оказалось, что полк, прибывший из Каменца и отправившийся было с Янчевским на поиски разбойников, расположился как раз в этой местности и ежедневно высылает для рекогносцировок сильные отряды, так что, того и гляди, может наткнуться и на их лагерь.

— Завелся ли у нас дезертир, новый иуда, либо старый пес Янчевский сам вынюхал,— заключил Дмитро,— а только дело дрянь, чистая блокада! Так и кружит вокруг нас саранча, а этому супостату Янчевскому здесь все ходы ведомы.

— Ну, что до Янчевского, так он уже не скоро на помощь к войскам явится,— заметил с усмешкой Андрей.— Исполосовали мы спину ему до кости, да и уши, и кончик носа отрубили для заметки, стало быть — потаврили...

— Как? Что?.. Когда?! — вскрикнули разом все предводители шаек, окружив Кармелюка.

Кармелюк неохотно рассказал историю наказания Демосфена, заявив, что он наткнулся на него случайно в лесу. Рассказ Кармелюка вызвал необычайное волнение среди предводителей шаек и всей банды.

— Такую новость не грех и вспрыснуть, атамане! — вскрикнул с восторгом Дмитро, хлопая шапкой о землю.— Прикажи раскупорить бочонок меду, есть хороший.

— Прежде дело, приятель, а потом не дадим спуску и меду,— возразил Кармелюк.

— Верно,— согласился Дмитро.

— Ну, так вот скажи, все ли наши в сборе?

— Почитай, все, вот только Хоздодат с хлопцами не вернулся.

— Хоздодат?.. Да, да, он ведь куда поехал?

— В Кальную Деражню послал ты его, пане атамане, с гостинцем к пану Сливинскому...

— Так, так...— Кармелюк в задумчивости провел рукою по лбу. Название деревни, произнесенное Дмитром, вызвало в его памяти дорогое воспоминание, и сердце его болезненно заныло. Он провел рукою по голове, словно желая согнать налетевшую грусть, и произнес вслух: — Так, говоришь, не вернулся еще?

— Никак нет.

— Не попался бы попенко!

— Куда ему там попасться: он ведь в тех лесах,

как рыба в воде, с ним же и хлопцев трое отборных, надежных...

— Гм... так. А что же я не вижу атаманши... она ведь с тобой была?

— Да вот, вышло дело,— Дмитро развел руками.— После того как мы попотчевали Дембицкого, так порешили с атаманшей прикончить одним махом и пана Бойко, благо — жироед, а он ведь недалеко, всего верст двадцать от Дембицкого. Ну, отправились; оказалось, что сей пан комиссар в тот же день со всеми своими потрохами из села тягу дал... Забрали у него все, что можно было, да и повернули с хлопцами домой... А атаманша-то и отделилась от нас с полдороги, сказала, что надо ей к одному жиду зайти,— корчмарь он, что ли, в Овсянниках, ну, значит, хотела его кое о чем расспросить... Я и говорил, чтобы не шла она, так куда там, и слушать не захотела!

— А давно ты вернулся? — перебил его Кармелюк.

— Третий день.

— Скверно! — Кармелюк на минуту задумался, прикидывая в уме расстояние от Овсянников до нового лагеря, и снова произнес вслух: — Скверно! Должна была б быть уже тут.

— Я и сам так думаю, не попалась ли где? — согласился и Дмитро.

— Надо выручать, она ведь товарищ верный...

— Душа, а не товарищ! — горячо вскрикнули гайдамаки, окружавшие Кармелюка.

— За атаманшу головы!

— Спасибо, братцы,— ответил взволнованно Кармелюк.

Хотя за последнее время отношения его с Ульяной дошли до враждебной холодности, но во всяком случае она была не только возлюбленной его, но и верным товарищем, и он почел первым долгом своим спасти эту женщину, столько раз доказывавшую ему свою дикую любовь и свою собачью преданность.

— Спасибо, братцы,— повторил он еще раз.— Ну, да об этом обсудим еще утром, а дело только в том, что сниматься, значит, с лагеря зараз нельзя.

— Никак нельзя, батьку,— согласился Дмитро,— здесь ведь у нас и казна, и всякий фураж,— не бросить же обоз! Опять и всех людей зараз вывести трудно...

— А сколько москалей?

— Да видимо-невидимо, чуть ли не целый полк...

— Гм... так сказать, душ по десять на брата? Ну что ж, позиция у нас важная, в случае чего и осаду выдержим,— через болото ведь ни один дьявол не укусит, а с лесу загородимся да, в случае чего, навалим деревьев, устроим засеку, у нас есть, на всякий случай, для отступления и своя гребля.

— Если только не займут ее...— вставил Андрей.

— Ну, о ней только мы знаем, из мужиков даже не знает никто! — возразил Кармелюк.— Да ведь все это только на всякий случай, а речь в том, что надо москалей отсюда выманить. Они ведь без Янчевского бродят в нашем крае, как слепые. Надо, чтобы Кармелюк для них объявился в другом месте и чтоб командиру о том доложили верные люди. Все это мы обделаем завтра. На тебя надежда, брате,— обратился он к Дмитру.

— Расчуднейше! Спроворим дело в аккурате, атаман! — вскрикнул обрадованный Дмитро.

— То-то ж. Ерша с хвоста не проглотят! А теперь, правда, не грех и зубам дать работу, да и на покой! — заключил Кармелюк.

После товарищеского ужина, сопровождавшегося веселой беседой и дружной выпивкой, все разошлись спать. Для большей безопасности расставили на всех пунктах двойную стражу, и лагерь погрузился в полную тишину. Кармелюк тоже расположился отдохнуть; он был сильно утомлен и давно уже нуждался в отдыхе, но, сколько ни поворачивался с боку на бок, все ему не удавалось заснуть. Не опасность положения тревожила его,— на этот раз он чувствовал себя более спокойным и уверенным, чем когда-либо,— но его грызли глухое недовольство собой и беспричинная тоска, грызли и не давали ему заснуть. Раскаленными иглами вонзилось в его сердце и мозг последнее свиданье с красавицей, но не восторг вызывало оно в его душе, а какое-то тяжелое чувство, словно болезненную истому после угара. Образ красавицы как-то раздвоился в его воображении: с одной стороны, он видел прелестную женщину, страстно полюбившую его, с другой — из-за этого образа выступала заядлая пани и полька.

«Да, именно пани и полька,— вот и разгадка непонятного поведения красавицы: она спасает меня, преду-

преждает об опасности, чарует — все для того, чтобы перевести в свой стан. Ей надо предводителя для шляхетского дела, а свобода хлопов — мостик, по которому пани думает перевести меня... Ну, шалишь, красуня! Кармелюк ласки покупает, но души за них не продает! Вот что про Бессарабию и Молдавию толковала, на случай бы дело прикончил, чтобы там укрыться, купить и зажить вольно,— это резон... Только вдали от родины тоска... ой, какая тоска! При такой нудьге только ангел небесный мог бы навеять спокойствие... но не она! Нет, нет, не она!»

«Но она ведь любит тебя! — словно ударил ему в ухо другой голос.— Любит и доказала эту любовь: предупреждала об опасности, выдавала панские планы и посланцев... наконец, она сама несчастна... Но правда ли? Ой, что-то сердце чует, что нет! Для чего б ей так горячо стоять за панское повстанье? Ведь если паны ей надоели, то она бы должна их ненавидеть... а она... Впрочем, могла привыкнуть к панской роскоши, опанеть... Зачем она меня так горячо просила стать за панов?.. Даже мне сулила шляхетство? Эх, любит и стыдится этой любви! А, плевать я хочу на ваше шляхетство! Не подыму я за вас, мосци панове, не то что сабли, а и пальца!»

Кармелюк сердито стукнул кулаком и перевернулся на другой бок. Но и это энергичное движение не облегчило глухой досады, которая, как мышь, все скреблась и скреблась в его сердце.

«Так почему же он досадует, на кого и на что? — думал о себе в третьем лице Кармелюк.— Опьянила его краля, очаровала, ну и что ж из того? Опьянила в минуту, что ж о том вспоминать? Нет, ему было досадно, что обольстительной красавице удалось хоть на время обмануть его и уверить в своей преданности хлопам...»

Он злобно плюнул в сторону и перевернулся на спину, заложив руки под голову. Нудная тоска медленно выползла из его сердца и разостлалась по груди... «Чего же нужно ему? — продолжал Кармелюк.— Души чистой, ласки дружеской, сердца верного? — злобная усмешка искривила его губы.— Как раз разбойнику впору толковать об этом! Бери, что плывет под руку,— вот и весь сказ!»

Но грубое заключение не нашло отклика в сердце

атамана. Перед его глазами встали обе женщины, окружавшие его: страшная разбойница Ульяна со своей безответной, но страстной и дикой любовью, и красавица пани, вкрадчивая и обольстительная, как змея, но и неверная, как гадюка... Каждая из них знала только свою страсть и свои личные интересы, и каждая по-своему старалась оторвать Кармелюка от его деятельности и заставить его жить только для своей любви. Неприятное чувство поднялось в душе Кармелюка при воспоминании об этих женщинах. Даже в их жгучей любви не хватало женственности и ласки, которые умиротворяли бы взволнованную, мятежную душу атамана.

«Друга, души чистой и нежной,— вот чего не хватает тебе»,— снова выплыла тоскливая мысль...

Она выплыла без слов и без образа, но сразу же наполнила сердце его чувством горечи и одиночества и понесла мысли Кармелюка к тихому домику, к светлице, озаренной сумраком лампады, к девичьей головке, склонившейся над книгой у окна... И при одном этом воспоминании тихий мир разлился в душе Кармелюка... Слова Олеси, ее движенья, улыбка ее и вся она с окружающей ее обстановкой встали перед ним, как живые; какой-то вкрадчивый голос словно шепнул ему, что девушка только и думает об атамане. Ему неудержимо захотелось поскакать туда и окунуться хоть на день в этот тихий, чарующий мир. Но тут же злоба и презренье к себе закипели в сердце Кармелюка.

— Цыть, волк несытый,— прорычал он сквозь зубы и сильно ударил себя в грудь кулаком,— над тихою хатою пусть витают святые ангелы, а ты, гайдамаче, вынимай свой нож да кончай, что начал! — Он протянул руку к близко стоявшей фляжке с водкой и, припавши к ее горлышку губами, осушил бутылку почти до дна, нахлобучил на глаза шапку, завернулся поплотнее в керею и заснул наконец тяжелым, мучительным сном.

Утро принесло с собой много хлопот. Еще до света отправил атаман Дмитра с частью шайки, давши им предварительно подробные инструкции, как обмануть и отвлечь москалей, сам же отправился осматривать местность, так как решено было пока что оставаться ядру шайки на прежнем месте. В некоторых местах леса Кармелюк велел прокопать рвы, в других — нава-

лить стволы деревьев, в третьих — устроить прикрытые ветвями и листьями ямы. Затем он осмотрел потайную греблю, проведенную гайдамаками через непролазные болота, окружавшие лагерь с другой стороны, поставил здесь верных людей и вернулся назад.

Все время атаман действовал бодро и энергично, но вместе с тем недовольство и тоска, овладевшие им вчера, не покидали его и сегодня. Возвратившись назад в лагерь, он отрядил Олексу с несколькими хлопцами в Овсянники разузнать там об участи, постигшей Ульяну, и снова отправился осматривать все работы, стараясь усиленными хлопотами заглушить грызущую его сердце тоску. Вечером, когда гайдамаки собрались у костров для ужина, Кармелюк услыхал вдруг радостный крик и шум, приближавшийся к тому месту, где сидел он с Андреем, дядьком Явтухом и другими более доверенными лицами.

— Что там такое? — спросил удивленно Кармелюк.

Андрей мигом сорвался с места и через две минуты возвратился радостный, сияющий, помахивая издали шапкой.

— Атаманша вернулась, батьку! — закричал он еще на бегу.— Да вот она и сама!

Все вскочили с мест. Действительно, из-за деревьев показалась толпа разбойников, впереди которых выступала Ульяна. Тотчас же товарищи окружили атаманшу.

— Где была? Что случилось? Как попалась? — засыпал Кармелюк вопросами свою бывшую возлюбленную.

— Янчевский поймал,— ответила Ульяна.

— Янчевский? — вскрикнул Кармелюк, а за ним и все остальные.— Когда же? Как?

— Дня три тому назад...— и Ульяна передала свою встречу с Янчевским, умолчав о том, почему и где нагнал он ее...

— Да как же ты ушла от него? Как вырвалась, несчастная? Куда отправил он тебя? Пытал ли? Допрашивал? — заговорили все сразу.

— Не пытал, потому что, на счастье, не узнал меня. Я переоделась цыганкою и хотела под видом цыганки пробраться в Овсянники и узнать у челяди, где проживает теперь Янчевский, а тут он как раз по дороге и схватил меня, наверное что-то почуяв во мне; хотел обыскивать, да спас бог,— торопился он куда-то; завез

меня в село, в холодную бросил, приставил сторожей и велел стеречь, чтобы я никуда не ушла. Обещал приехать. Стала я осматриваться, как бы убежать,— нельзя: под окнами и у дверей караульные. Два дня пробовала я их подкупить,— деньги со мной были... Куда! И не слушали... На третий день попался один сговорчивее других... взял, что у меня было, и выпустил меня, Ну ж теперь попадется мне собака Янчевский, уж доберусь до него!

— Ему уж заплачено, друже, с лихвою! — усмехнулся Кармелюк.

— Как, ты поймал его?

— И щедро угостил,— отблагодарил за крестины!

— Будет теперь помнить не то что до новых веников, а до самой смерти,— заметил со смехом Андрей.

Кармелюк рассказал Ульяне, каким постыдным способом наказал он Демосфена.

— Мало! — возразила мрачно Ульяна, выслушав рассказ атамана.— А где же ты поймал его?

— Сам на меня напоролся. Ехал один с двумя слугами в бричке.

— Гм...— откашлялась Ульяна, но более не спросила ничего.

Ночь прошла без тревоги. На другой день лазутчики принесли известие, что москали все еще стоят в этой местности. Кармелюк занялся еще усерднее хлопотами по укреплению лагеря. Он умышленно старался поменьше оставаться с Ульяною: появление ее в лагере еще больше осложнило его душевное настроение. Впрочем, Ульяна держалась в стороне и не приставала к Кармелюку со своей любовью; мрачная, молчаливая, она только взглядом следила за ним, и этот взгляд, находивший Кармелюка всюду, порождал в нем тяжелое, болезненное чувство. Он нарочно назначил Ульяне отправиться в отдаленную часть леса присмотреть за сооружавшимися там укреплениями, а сам обошел более доступные пункты. Уже близился вечер, когда Кармелюк возвратился назад.

Первым ему попался навстречу Хоздодат.

— А, пане писарю! — приветствовал его радостно Кармелюк.— Вернулся!.. Ну что? Благополучно?..

— Слава богу, что напал сразу на тебя, пане атамане!

— А что так спешно понадобился я? Случилось разве что-нибудь?

— Ничего, а только я с кралей приехал, достойной песни Соломона... Дожидает твою милость.

— С кралей? — Кармелюк запнулся и побагровел. «Неужели она рискнула сюда? Как? Значит, шпионит?..» — всплыли у него в голове мысли.— Но с какою же? — докончил он с трудом фразу.

— Да с поповною Олесей из Деражни, отца Михаила дочкою. На дороге ее встретил, одна к тебе ехала на натачанке... Узрел я ее, так сам испугался: кругом и москали рыщут, да и наш брат гайдамака, ну...

— Да где же она? Веди скорее! — перебил его Кармелюк и вдруг почувствовал, как сердце его сжалось от жгучей радости и надежды.

— А там под горою... дожидается...

— Так чего же ты еще болтаешь?! — вскрикнул Кармелюк и, не дожидаясь своего секретаря, сам бросился вперед.

LXXXI

— Ишь, бабы! — проворчал неодобрительно Дмитро, когда Кармелюк с Хоздодатом скрылись в глубине леса.— Ну и липнут же они к атаману — как мухи к меду. Просто отбою нет, как от блох...

— Только голову батьке морочат...— отозвался угрюмо Андрей.

— Что морочат так морочат, верно,— для этого ведь и создана баба!.. Да это бы еще не беда, а дело в том, что куда баба нос сунет, да еще не одна, так там уже не жди добра. Скрутят они голову атаману!

— Сохрани бог!

Оба замолчали. В это время в глубине леса показалась из-за деревьев Ульяна.

— Вон, одна справа, другая слева,— проворчал сердито Дмитро, скосив глаза в сторону приближавшейся атаманши.

— Когда бы не дозналась,— прошептал Андрей.

— А чего с ними церемониться? Когда бы на меня— взял бы я их всех за косы да друг о дружку фронтами, пока бы носы все не расквасили,— и шабаш!

Смирно! Знай свой черед! Верховодить никоторая не моги...

— Не всякую и за косы возьмешь...

— Всякую! Хоть бы она и под облаками сидела... все равно баба...— Дмитро сердито плюнул.— Вот так: плюнуть и растереть. Вот и все!

Ульяна быстро подошла к разговаривающим. Несколько слов из речи Дмитра долетело до нее, и она сразу догадалась, что этот разговор так или иначе касается и ее.

— О чем вы говорили? — спросила она.

— Да так, ни о чем...— поторопился небрежно ответить Андрей.

— О какой-то бабе, я слышала.

— А хоть бы и о бабе,— огрызнулся Дмитро,— разве у нас монастырь, что о бабах говорить заказано?

— О какой? — повторила настойчиво Ульяна.

— Да что ты ко мне пристала? Тебе-то что до этого? Духовник ты мой, что ли?

— Не скажешь, ну и не надо,— произнесла Ульяна холодным, зловещим тоном и, отойдя в сторону, опустилась на пень.

Дмитро взглянул внимательно на ее лицо и покачал серьезно головой.

— Эх, пани атаманша, дуришь ты...

— Научи разуму.

— Брось, говорю!..

Губы Ульяны искривила злобная усмешка.

— Скоро брошу! — ответила она спокойным, угрожающим тоном.

Олеся в это время сидела в глухом углу заросшего лесом ущелья.

Чтобы охранить девушку от возможных неприятностей, Хоздодат поставил неподалеку от нее двух гайдамаков.

На плечи девушки был наброшен простенький салопчик, голову ее покрывал белый платочек, и в этом скромном наряде она казалась еще миловиднее и моложе. Она была бледна и взволнована, но это делало ее лицо еще более одухотворенным.

Холодные лучи заходящего осеннего солнца скользили по золотисто-пурпурным вершинам леса, спускавшегося с трех сторон к подножью долины. Окруженная

этою величественною декорацией, одинокая молодая девушка производила трогательное впечатление.

Кармелюк уже издали увидел ее, и необычайная, почти отеческая нежность сразу наполнила его сердце. Он добежал до Олеси, схватил ее за обе руки и произнес с захватывающею душу радостью:

— Панна, голубка моя, каким образом прибыла ты сюда?

При виде Кармелюка бледное личико девушки покрылось нежным румянцем.

— Я наняла из дому подводу, точно не знала, где егомосць, думала — люди укажут, да вот, на счастье, повстречалась с паном богословом, и он на своей подводе подвез меня сюда.

— Но, боже мой, как же отпустил тебя батюшка?

— Меня никто не отпускал. Я уехала сама.

— Дитя мое, подумай только, что могло ожидать тебя? Как ты могла решиться?

— Ах, что толковать обо мне,— перебила его Олеся даже с некоторою досадой.— Мне надобно было предупредить тебя: отец привез ужасное известие. Я думала прежде послать письмо, но как, куда, с кем? И я решилась отправиться сама. Атамане, беги скорее отсюда: москали знают место твоего убежища и знают, где находится та гребля, которую ты устроил в болотах!.. Но ты не слушаешь меня? — произнесла она горестно, всматриваясь в взволнованное лицо атамана.

— Нет, слушаю, панна, и не знаю, как мне отблагодарить тебя за то, что ты сообщила нам. Не тревожься, проведем мы так москалей, как и куцому не снилось. Пане писарю,— обратился он к Хоздодату,— отпусти людей, а сам побудь на стороже, чтобы не напоролся кто.

Хоздодат тряхнул многозначительно головою и скрылся с разбойниками в лесу.

— Не знаю, как и благодарить тебя за то, что ты сообщила, и за то, что решилась на безумную отвагу и приехала сюда,— повторил тихо Кармелюк, не выпуская рук девушки.— Ох, панно, зиронько моя ясная, когда бы ты знала, что ты делаешь с моей душой! — Глубокий вздох вырвался из груди атамана, и грустная тень набежала на его лицо.— И радостно мне

видеть тебя, так радостно, что и сказать о том не умею, а вместе с тем и несказанная мука терзает сердце.

Олеся подняла на него испуганные глаза и побледнела.

— Да, пекельная мука,— продолжал порывисто Кармелюк.— Когда вот сидишь в кабаке, в грязи, полупьяный, и вокруг тебя такие же пьяные, злобные лица, а кругом — дикий смех, да брань, да площадные шутки, так в этом хмельном чаду и не замечаешь своей грязи и накипевшей на сердце крови! А вот как увижу тебя, чистую, святую, так и почую сразу, что Каин я, Марко Проклятый [77], зверь несытый, что нет мне ни прощенья, ни порады. Что не жить уж мне никогда человеческой жизнью. И такая мука выплывает со дна души, такая тоска защемит в сердце... Эх!..

Он не договорил, махнул рукою и опустился против Олеси на камень.

— Не Каин ты, не зверь! Ты заступник наш,— вырвалось с воплем у Олеси; она закрыла лицо руками, и плечи ее задрожали.

— Жалеешь меня?..— произнес тихо Кармелюк, устремляя грустный взгляд на девушку, и почувствовал, что какой-то комок остановился у него в груди и затруднил до боли дыханье.

— Больше души своей жалею! — воскликнула горячо Олеся и, отняв руки от орошенного слезами лица, судорожно сжала их.— Сердце бы свое разорвала, жизнь бы отдала!

— Ангел мой! Солнышко мое ясное! — вскрикнул Кармелюк и горячо сжал руки девушки.— Да сто́ю ли я, потонувший в грязи и крови, сто́ю ли я, проклятый богом, хоть единой твоей чистой слезы?

— Не говори так,— перебила его полная ужаса Олеся.— Нужно всех жалеть!

— Заступница моя родная, утешить хочешь?.. А если б ты знала... Ведь я в последнее время и кровь проливать стал... Не выдержал! Месть опьянила и за людей, и за себя... Но ты встала?.. Уходить хочешь?.. Подожди! Подари мне еще часочек... Ведь я один-одинешенек в шумной толпе... а как это тяжело, когда бы ты знала! — Кармелюк подавил вздох.— Вот только когда увижу тебя, словно солнце взойдет в моем сердце...— Он взял обе руки девушки и, прижавшись к ним

лбом, произнес совсем тихо: — И заживают раны, и вера воскресает... И хотелось бы слушать тебя, забыть обо всем да так и заснуть, занеметь навеки.

— Боже мой, боже! — словно простонала Олеся, опускаясь на камень.— Отчего же ты к нам не приехал? А я ждала, выглядала...

— Разве есть у меня своя воля? Крутят меня вихорь и заверюха, швыряют из стороны в сторону... Охотятся за мной, травят псами паны... Да и к чему шматовать свое сердце?.. Полетишь к вам, словно в святой воде, омоешь свою душу и не знаешь потом: в прорву ли сторч головой кинуться, или окунуться снова в эту адскую жизнь? Э, да что это я все о себе да о себе... Налил горькой, так и нужно выпить до дна!

Олеся положила свою вздрогнувшую руку на сжатый кулак Кармелюка и произнесла тихо:

— Не будь жесток, лишней крови не лей!.. Прости, что я, глупая, говорю так тебе... Почему ты совсем не тот, что был прежде? Что случилось с тобой?

— Был пир, а теперь наступило похмелье, а при нем невеселые думы навалились камнем на сердце, и когда не с кем поделиться ни горем, ни думами, когда маешься один-одинешенек в целом мире, тогда и мука не по плечам становится, и отчаянье охватывает холодом душу.

— Разве у тебя нет ни одного друга, ни одной близкой дорогой души? — спросила Олеся так тихо, что и сама не расслышала своих слов, но Кармелюк понял их и, взяв в руки холодную, вздрагивающую руку девушки, сжал ее в своих богатырских ладонях.

— Друзей по ковшу у меня много, а по сердцу, по душе нет ни одного... Эх, проклятый я, проклятый! — вскрикнул он с воплем отчаянья.— Один-одинешенек с беспросветною тоской...

— Нет, ты не один.— Олеся вспыхнула.— Я клянусь...— но волненье оборвало ее речь.

— Один, везде один,— продолжал мрачно Кармелюк,— и бьюсь как рыба об лед, и погибну или под пулями, или под шпицрутенами,— все равно один. Вот только когда с тобой сижу, так сдается, что есть и у меня родная душа... Э, да что там! Волку — волчье житье!

— Что ты? Зачем ты? — заговорила с какой-то

вспыхнувшей радостью и со слезами Олеся.— Ох, если бы это так было! Если бы я могла хоть чем-нибудь облегчить твою долю, я бы жизнь свою отдала, душу б за тебя положила!

— Что ты говоришь? — вскрикнул Кармелюк, сжимая руку девушки.— Ты? Ангел чистый? За меня, разбойника, убийцу, грабителя?..

— За несчастного...

— Нет, нет, ты не знаешь меня... Я не достоин мизинца твоего, я страшен сам себе. Ты отшатнешься от меня, заглянув в мое сердце! Я не смею коснуться тебя моими оскверненными руками... Уходи, уезжай! Забудь меня, как забыли меня бог и люди!..

— Никогда! —вскрикнула Олеся.— Скорее мое сердце замрет в груди, чем я забуду тебя!— И, схватив руку атамана, она припала к ней и облила ее горячими слезами.

— Дитя мое, счастье мое! Ты еще целуешь мою руку?! — вырвалось с жаром у Кармелюка.— Но нет, нет,— заговорил он, отшатнувшись поспешно, и сжал свою голову руками,— разбойник я, но честный казак. Не возьму чистого сердца! Тебя влечет жалость к бездомному бродяге!.. Не жалей меня, не согнет тоска мои плечи... а коли согнет, туда и дорога! Ты же еще молода, тебя ждет счастье, радость...

— Зачем ты смеешься надо мной? — перебила его горько Олеся.— Какое счастье может ждать меня вдали от тебя? Я ничтожная, глупая, никому не нужная девушка...

— Ты — ангел!

— Так дозволь же мне умереть за тебя!

— Святый боже! Неужели же ты любишь меня, гайдамака? — прошептал Кармелюк, привлекая к себе вздрогнувшую девушку.— За что? На что? Куда могу я повести тебя?

— Хоть на каторгу, хоть на смерть, только не отталкивай меня от себя!

Олеся вся задрожала от нахлынувших рыданий и припала к Кармелюку головой на грудь.

— Счастье мое, радость моя, друже мой единый,— заговорил Кармелюк, покрывая поцелуями руки и лицо девушки.— Что же дам я тебе за твою чистую душу?

— Свое горе, свои муки!

Олеся обвила шею Кармелюка руками и с горькими слезами прижала к своей груди буйную голову казака...

Кармелюк с Хоздодатом и еще тремя казаками провели Олесю за границу лесов; он хотел провожать ее до самого дома, но она упросила его отпустить ее с паном богословом, самому же возвратиться назад.

Возвратился Кармелюк в лагерь поздней ночью. Все уже спали, только Ульяна сидела неподвижно у потухающего костра, как олицетворение мрачного, безмолвного горя. Она внимательно взглянула на Кармелюка, и Кармелюк почувствовал невольную жуть под острым взглядом ее очей. От Ульяны не ускользнуло, что с атаманом произошло что-то необычайное...

— Откуда так поздно? — произнесла она коротко.

— Выезжал посмотреть, не расположились ли где поблизу москали... Отчего ты не спишь?

— Не спится.

— А я утомился здорово.

Кармелюк завернулся в керею и растянулся возле костра. Он не спал, но ему хотелось избавиться от расспросов Ульяны. В душе его было так восторженно хорошо! Мысль о том, как ему разделаться с Ульяной, сомнения насчет возможности новой жизни еще не приходили в голову; в душе царило только одно сознание дивного счастья, верилось во все доброе, святое... Теплые слезы выступали на глаза атаману, а душа его словно расправляла крылья и неслась куда-то далеко-далеко, в неведомую голубую даль...

Сладкий сон наконец убаюкал казака, и приснилось ему, что он снова стоит на коленях перед Олесей, положив ей голову на грудь, и говорит ей о своих долгих и тяжких страданиях, о муках, которые терзают его душу, а она ласково проводит рукой по его голове и тихо плачет над ним, и каждая слеза девушки смывает пятно с его души, и все легче становится у него на сердце.

Проснулся Кармелюк поздно; он еще не вполне очнулся от сновиденья, как почувствовал уже, что с ним произошло что-то необычайное, несказанно-радостное.

Сияющий, счастливый, вскочил он на ноги и энергичнее прежнего принялся за работу. Тотчас же призвал он к себе ближайших товарищей — Андрея, Дмитра,

Явтуха и Ульяну — и познакомил их со своим новым замыслом. Надо было, по мнению Кармелюка, устроить в противоположной стороне болота новую плотину, а старую, о которой разведали москали, разорвать во многих местах — ближе к середине болота, чтобы, в случае появления неприятеля, допустить его до половины болота, а тогда, когда люди и лошади начнут тонуть в приготовленных засадах, ударить на них с двух сторон; но чтобы и этот новый план не был передан москалям, Кармелюк предложил товарищам сменить часовых на гребле и стать на варте самим, а на помощь для работы пригласить трех-четырех вернейших людей.

Разбойники с восторгом ухватились за новый замысел Кармелюка.

— Важно! — не удержался от радостного возгласа Дмитро.— Ну ж, команда, налево кругом марш.

Выбранные атаманом разбойники направились вместе с Ульяной к гребле, сам же Кармелюк, желая отвлечь внимание разбойников от новой работы, отправился с ними в противоположную сторону леса.

Радостная энергия атамана передавалась всем его подчиненным: все вокруг него горело и кипело сегодня. Он и распоряжался, и сам работал наряду с другими, но мысли об Олесе не покидали его.

И все ему казалось сегодня возможным и доступным! Нет, он не бросит святого дела! Сама Олеся не хочет того. Он обвенчается с нею, перевезет ее в Бессарабию, а вместе с нею перевезет и своих одиноких детей. Он будет прилетать к ним, наведываться, и опять у него будет свой теплый угол, своя дорогая семья. Будет сердце родное, чистое и святое. А тем временем придет резолюция на его жалобу; там вникнут, сжалятся над участью хлопов, а потом еще разуверятся и в панах... И, быть может, ему еще суждено будет дождаться желанной воли, отдохнуть от кровавой резни и познать тихое счастье возле дорогого существа.

Ульяна стояла на часах по эту сторону гребли. Обрывок вчерашнего разговора Дмитра с Андреем, странное исчезновение атамана, его радостный вид — все эти данные составили в ее голове неоспоримое убеждение в том, что Кармелюк отлучался к своей новой возлюбленной. «Неужели же сюда осмелилась прийти? При мне, на моих глазах? — повторяла про себя Ульяна.—

Смеешься надо мной? А, собака! Не знаешь же ты, на чью дорогу вступила!»

Как раскаленная лава, кипели в сердце ее бешенство и ревность; и тем сильнее были муки Ульяны, что она их не поверяла никому и молча вынашивала в своем озверевшем сердце. Она сама не могла бы теперь определить, какое чувство говорит в ней сильнее: любовь ли к атаману или ненависть к сопернице? Что разлучница ее маршалковская покоевка Фрося, Ульяна решила уже бесповоротно и так же бесповоротно решила избавиться от нее. Теперь она только обдумывала, каким образом покончить с нею.

LXXXII

Погруженная в свои страшные думы, Ульяна и не заметила, как к ней подошел один из молодых гайдамаков.

— Пани атаманша,— произнес он,— пришел какой-то старик к твоей милости, говорит, что нужно ему немедленно увидать тебя.

— Где же он?

— Да там, наверху.

— Стань здесь, на моем месте.— Ульяна передала ружье гайдамаку и бросилась со всех ног по тропинке на вершину горы, где, собственно, и находился лагерь разбойников.

Она застала там старика, обличье которого показалось ей весьма знакомым.

— Ты ко мне, диду? — обратилась она к нему, оглядываясь по сторонам.

Никого вблизи не было, только в отдалении небольшая группа гайдамаков хлопотала над приготовлением ужина.

— К тебе, молодица.

— Я будто видела тебя где-то?..

— А на облаве.

— Так, так.— Ульяне сразу вспомнился старичок, предупредивший их об опасности во время облавы.— Что ж тебе надо?

— Письмо принес тебе.

— Мне? От кого?..

— От маршалковской покоевки Фроси. Они с атаманом из одного села; вместе у Пигловского во дворе были, вместе и к Хойнацкому перешли. Девушка добрая, золотой души, об атамане, как о родном брате, хлопочет; что услышит в панских покоях — сейчас передает. Я недавно приносил от нее письмо атаману.

— А-а, приносил? — вырвалось невольно у Ульяны.

— Приносил, приносил, и атаман благодарил и поберегся. А теперь послала она к тебе с письмом.

— Обо мне, значит, знает! — прошипела сквозь зубы Ульяна, едва скрывая свое бешенство.

— А как же,— продолжал старик, не замечая настроения Ульяны.— «Беда, говорит, большая грозит, да атаман не поверит, насмеется, а она,— значит, ты,— говорит, осмотрительная да разумная, все обдумает и по-своему повернет».

— Спасибо красуне за ласку,— процедила сквозь зубы Ульяна.

Она сразу почуяла, что письмо соперницы трактует не о замыслах панов, а о чем-то другом, более жгучем.

— Ну, и тебе, диду, спасибо за службу.

— Не за что. А где же атаман?

— Его нет в лагере, выехал,— ответила поспешно Ульяна.

— А хлопцы говорили, что здесь.

— Врут, только что выехал,— повторила настойчиво атаманша, опасаясь, как бы старик не увиделся с Кармелюком и не рассказал ему о письме.— Да и ты, диду, не мешкай, спеши назад, а то как раз могут окружить москали.

Так как старик был уже достаточно напуган своим невольным участием в облаве, то, услышав мрачное предостережение атаманши, поспешил удалиться.

Ульяна с дикой злобой зажала конверт в руке; так, значит, это она, Фрося, и в первый раз прислала письмо Кармелюку, выманивала, вызывала, и опять прислала сюда этого старого дурня...

И никто, никто не сказал Ульяне об этом!

— У, псы проклятые! — прошипела она, оглядываясь с ненавистью в сторону хлопотавших у костра разбойников. «Но кто прочтет письмо? Как бы не вышло опять истории, как тогда с Янчевским? Могут передать

атаману». Ульяна начала перебирать в уме, кому бы из шайки она могла довериться, и вдруг заметила среди кашеваров молодого Довбню; он уже два раза исполнял ее поручения и был грамотен.

Ульяна отозвала в сторону хлопца и заговорила с ним вкрадчиво и ласково:

— Слушай, хлопче, сделай-ка мне одну услугу: на вот, я давно спрятала тебе на гостинец,— она сунула ему в руку несколько червонцев,— ты разумный и спрытный хлопьяга, тебя не грех и ватажком назначить, и я о том скажу атаману, только вот что: прочти ты мне этот лыст, да только никому о том ни гугу, разумеешь?

— Разумею, разумею.

— Смотри же, я тебе верю, а обманешь — мы ведь с тобой видимся не в последний раз.

— Да накажи меня бог, пани атаманша, разве я дурень какой.

— Ну смотри же.

Ульяна передала хлопцу письмо и жадно впилась в него глазами.

Разбойник разорвал конверт; в нем лежала короткая записка:

«Соколик твой, который был и моим коханцем, нашел себе теперь новую полюбовницу и сегодня будет с нею миловаться в бурдее, что в маршалковском лесу за фигурой. Коли хочешь полюбоваться на голубков, приходи туда в предвечернюю пору. Покоевка маршалковская Фрося».

Гайдамак сложил бумажку, поднял глаза и невольно отшатнулся, до того ужасно было изменившееся лицо Ульяны.

— Ну, отлично,— произнесла она с усилием, вызывая на свое лицо улыбку, но вместо улыбки черты ее исказила страшная, зловещая гримаса,— дай же сюда письмо, да смотри: никому ни слова! Ступай к своей работе, а я пойду поищу атамана.

Озадаченный и содержанием записки, и видом атаманши, Довбня отправился назад к своей компании, а Ульяна повернула в ту сторону, где должен был находиться с остальными разбойниками Кармелюк.

Она уже не шла, а бежала, как бешеная кошка. Теперь в сердце ее горела только жажда мести; эта

жгучая жажда пламенем охватила ее, и в ней погасло все: любовь, рассудок, совесть. Ей надо было только убедиться в том, действительно ли отправился Кармелюк на это свидание, а тогда броситься по его следам, притаиться за дверями сладкого убежища влюбленных и, когда они упадут в объятия друг другу, ворваться неожиданно и на его же глазах вонзить прелестнице нож в сердце.

Вскоре Ульяна наткнулась на группу разбойников, прокапывавших ров.

— Где атаман? — обратилась она, задыхаясь, к одному из них. Безумный вид атаманши сразу поразил гайдамаков.

— Что случилось? —заговорили все, бросая заступы.

— Ничего. Где атаман?

— Да выехал только что.

— Выехал? — злорадная усмешка искривила рот Ульяны.— Куда же?

— А кто его знает, кажись, на Березовку.

— Ага, на Березовку! — Лицо Ульяны исказилось; она быстро повернулась в глубину леса...

В полдень все гайдамаки, за исключением часовых, собрались на обед; пришли и Кармелюк, и Андрей с Дмитром.

— Ну что, как дело? — обратился к ним тихо Кармелюк.

— К вечеру, батько, все будет готово.

— А Ульяна там осталась?

— Да нет... Ушла куда-то.

— Ушла? Что же это... с поста ушла?.. Куда же ушла она? — произнес громко Кармелюк. Неприятное предчувствие охватило его.

Тревога атамана передавалась и Андрею,— он многозначительно переглянулся с Дмитром и обратился к сидевшим вокруг казанков разбойникам:

— Панове, не видал ли кто атаманши?

— Да к нам же прибегала она, непевная какая-то,— ответил один из разбойников, копавших ров.— Спрашивала, где атаман.

— А я видел, как и коня выводила! — ответил другой.

— Коня? — всполошился Кармелюк.— Значит, уехала куда-то?

— Должно быть, что так. Стрелой понеслась,— подтвердили гайдамаки.

Кармелюк поднялся с места. Настоящее беспокойство овладело им. «Уж не дозналась ли про Олесю? — промелькнуло в его голове.— Эта бешеная кошка может в один миг погубить дитя!..»

— Да что же случилось? — произнес он вслух.— Почему ускакала атаманша?

— Стойте, а дид же какой-то приходил к ней,— отозвался один из кашеваров,— письмо, что ли, какое-то приносил... Да вот, Довбня, атаманша тебя отзывала зачем?

При первых словах этого разговора Довбня, почувствовавший нешуточное смущение, принялся усиленно за еду; теперь же он совершенно оторопел, но на этот раз товарищ выручил его из беды.

— Письмо? Я видел, видел! — вскрикнул разбойник, упоминавший о том, что атаманша выводила коня.— Когда пани вскочила на лошадь, то обронила бумажку; я поднял ее и закричал ей вслед, да она уже не услышала... Да вот, позвольте, вот он, этот папирец! — вскрикнул гайдамак и вытащил из-за голенища сапога скомканную записочку Фроси.

— Давай! — Кармелюк почти вырвал ее из рук разбойника.

Лишь только пробежал он первые строки письма — лицо его покрылось багровыми пятнами.

— Измена! Западня, ловушка! — закричал он вне себя.— Догнать безумную! Коня!

Между тем в доме маршалка снова собралась оживленная компания — опять появилась прелестная пани судьиха, а за нею и Алоиз Пигловский.

Литинский судья был избавлен своими судьями от истязания огнем, так как добровольно отдал свои ключи и не скрыл от экзекуторов хранившихся в доме денег; он только получил суровое возмездие за свой суд и две недели пролежал в горячке, покрытый ранами от плетей. Но к концу второй недели горячка прошла, язвы стали подживать и всякая опасность минула. Со стороны нападения гайдамаков судья огражден был теперь

и словом атамана, и военными отрядами, прибывшими из Каменца.

Агата все время ухаживала за мужем; и хотя несчастной жене усердно помогал во всем верный друг дома — Алоиз, но тем не менее привыкшую к рассеянной жизни женщину взяла под конец одурь, и она написала Розалии письмо, в котором извещала ее о восстановлении здоровья своего супруга и, кроме того, жаловалась подруге на тоску.

Розалия немедленно ответила пани судьихе и пригласила ее приехать к себе, так как сама она лежит больная в постели, а тут еще полон дом гостей.

«Кроме того,— приписывала она в конце записки,— нам пора, мой ангел, закончить начатое дело. Все подготовительные меры мною уже произведены,— остается только конец. Потому-то и спеши к нам со своим секретарем, памятуя поговорку: «Le fin couronne l'oeuvre» *.

Любящая подруга встревожилась страшно болезнью дорогой Розюни; она даже принималась несколько раз плакать, но вместе с тем обнаруживала такой ужас при одной мысли о возможности оставить больного мужа, что последний вынужден был сам упросить своего ангелка навестить почтенную пани маршалкову. Уговорив наконец супругу, судья обратился с сердечной просьбой и к своему обожаемому другу Алоизу — проводить его драгоценнейшую жемчужину в Маршалковку и защитить ее в дороге от всякого зла.

Агата не замедлила прибыть со своим секретарем в дом маршалка, где остановились на время майор и два корнета присланного из Каменца отряда.

После ужасного происшествия с Янчевским Розалия пролежала дня три в постели, не допуская почти никого к себе и упорно отказываясь от врачей. Заходивший после усиленных просьб муж находил, что его «яскулечка» бледнеет с каждым часом и что в глазах ее появился какой-то подозрительный блеск. В действительности, кроме физического потрясения, Розалия ужасно мучилась душой: чувства страха, ревности, боязнь обличений и преследований со стороны одураченного лю-

---

* Кінець вінчає справу *(франц.)*.

бовника теребили ее нервы и не давали ей ни минуты покоя.

Долгие часы своего уединения она проводила в обдумывании того, как бы ей выпутаться из неловкого положения, в которое ее поставили неожиданные обстоятельства. Наконец она взяла себя в руки, встала с постели и приказала призвать к себе мужа. Порасспросив его для начала беседы о последних новостях, она посоветовала мужу пригласить офицеров прибывшего отряда остановиться в их доме, устроить у них, так сказать, штаб-квартиру. Она объяснила мужу, что, лишившись Янчевского, москали будут бродить теперь, как слепые, что им необходимы указания людей, знакомых с местностью, а такие указания могут давать им лишь они да пан Рудковский. Главное же, пригласив в свой дом господ офицеров, они, хозяева, могут быть вполне уверены в своей личной безопасности: с офицерами ведь прибудут караульные, вестовые, дневальные, денщики, словом, двор наполнится вооруженными людьми, и Кармелюк станет бежать от него, как дьявол от ладана...

Про себя же Розалия имела еще два довода для приглашения москалей в свой дом: прежде всего, пребывание начальства вдали от команд, в богатом доме, где все будет предоставлено к его услугам для приятного препровождения времени, непременно затормозит дело преследования Кармелюка и даст возможность последнему спастись бегством; а второе, не менее важное,— то, что, будучи всегда вместе с офицерами, ей легко будет узнавать все их планы, мероприятия и передавать о них заблаговременно обожаемому коханцу.

Выслушав высказанные супругой соображения, маршалок пришел в неописанный восторг. Он расцеловал сто раз ручки Розалии и отправился приглашать дорогих гостей. С своей стороны, и господа офицеры, которым вовсе не улыбалась перспектива постоя в деревенских хатах, с удовольствием приняли приглашение важного магната, и таким образом палац маршалковский, пребывавший некоторое время в тишине и безмолвии, снова оживился веселым звоном бокалов, звуками музыки и громом застольных речей.

На дворе уже сгущались ранние осенние сумерки; сеял мелкий дождик; было холодно и неприютно. Но

окна маршалковского палаца сияли веселыми огнями.

Все приемные комнаты были роскошно освещены множеством восковых свечей. Фрукты, вина, наливки стояли на столах и столиках; панство недавно перешло в салон после роскошного и надолго затянувшегося обеда. Кроме офицеров, гостил сейчас у Фингеров и старый Пигловский, обеспокоенный долгим отсутствием своего сына Алоиза; последнего, впрочем, не было на этот раз в гостиной.

Лица гостей были возбуждены и оживлены; не менее возбуждены были и лица прелестных дам, особенно Розалии; хотя она за все время обеда и не прикоснулась ни разу к рюмке вина, щеки ее пылали, глаза горели каким-то внутренним блеском; она то и дело теребила свой тонкий раздушенный платок и подходила к окнам, то всматриваясь, то прислушиваясь к долетавшим извне звукам. Но осенний день быстро догорал, и зоркий взгляд красавицы не мог ничего рассмотреть в надвинувшемся со всех сторон на дом сыром, промозглом мраке.

Наконец, утомленная тревожным ожиданием, она опустилась в кресло у окна.

Бравый майор заметил, что восхитительная хозяйка дома одна, подошел к ней, гремя шпорами, и остановился у ее кресла.

— Прелестная пани маршалкова все всматривается в окна,— произнес он с улыбкой по-французски, покручивая завитой ус,— как будто вельможная пани боится появления наделавшего шума разбойника?

— В присутствии наших доблестных защитников я не боюсь ничего,— ответила по-французски же Розалия с изысканной любезностью,— но напрасно пан майор относится так легкомысленно к разбойнику: ужасные дела его доказывают, что это — личность, обладающая необычной силой и властью.

— Гм, дерзкий грабитель действовал везде подкупом и обманом, но при мне он не успеет проявить свое нахальство... И право, если бы пани маршалкова не удерживала нас в своем замке, как нимфа Калипсо Одиссея [78], я бы давно уже выудил этого дьявола из болота, в котором он застрял, и привел бы сюда, как медведя, с кольцом в губе.

— О, только, пожалуйста, не сюда! — воскликнула с притворным ужасом Розалия.— Мне кажется, я умерла бы при одном взгляде на этого страшного горлореза!

— Пани преувеличивает [79] обаяние этого негодяя,— усмехнулся снисходительно бравый герой.— Правда, ему удалось произвести несколько крупных грабежей и убийств, но ведь он действовал всюду при помощи слуг панских, дворни и мужиков — в этом и секрет его успеха, сам же он не имеет в себе ничего ужасного, просто — беглый солдат...

— Однако,— перебила с натянутою улыбкой майора Розалия,— встреча его с несчастным паном Янчевским доказывает противное: ведь он только отомстил ему, а не ограбил, да и пошел, как видно, один на один!

— Но откуда же это видно, что он пошел один на один? — изумился майор.

При этом замечании Розалия смутилась и нервно закусила губу; но офицер продолжал, не замечая впечатления своих слов на красавицу:

— Наоборот, способ казни, придуманный для несчастного пана, доказывает, что разбойник был не один: не мог же он сам и держать, и пороть пана,— очевидно, были помощники. А вот каким образом сам презус ваш напоролся один на шайку — это мое почтение!

LXXXIII

Услыша фамилию Янчевского, маршалок и Пигловский поспешили присоединиться к собеседникам.

— Ах да, наш несчастный пан Янчевский! — подхватил со вздохом маршалок.— Скажите, дорогой пане майоре,— дотронулся он до рукава офицера,— мы ведь до сих пор не знаем: не известно ли вам, что понудило его отделиться от войска и броситься одному очертя голову в лес?

— Совершенно непонятный поступок,— майор развел в недоумении руками,— достопочтенный пан провел нас, мы уже почти выведали, где засел проклятый разбойник, и вдруг узнаем утром, что пан Янчевский ускакал с двумя слугами неизвестно куда и обещал возвратиться только к вечеру.

— Несчастный! — вздохнул маршалок. — По всей вероятности, он спешил к нам... Но почему он бросился

в тот лес?.. Ты, пане коханку,— обратился он к Пигловскому,— кажись, видел его на дороге; не объяснил ли он тебе своего странного поступка?

— Ничего! — Пигловский с таким же недоумением пожал плечами.— Он сказал мне всего одну фразу, что его провели и обманули и что хитрый дьявол из его рук не уйдет, да вот спросил еще о здоровье нашей дорогой пани маршалковой.

— О добрый друг, верный друг! — Маршалок в умилении поднял глаза к потолку и словно застыл в безмолвной молитве.

С первых слов этого разговора Розалия как-то неспокойно передвигалась в кресле, но когда Пигловский упомянул об обмане, она слегка покраснела и торопливо заявила:

— Если наш дорогой пан Демосфен говорил о том, что его обманули, то речь шла, конечно, о Кармелюке. Этот негодяй — мастер на проделки такого рода: он умеет подделывать и почерки, и печати, и так как он давно уже ищет пана Янчевского и ненавидит его больше всех, то, по всей вероятности, и измыслил какую-нибудь шутку, чтобы выманить пана Демосфена в наш лес.

— Совершенно верно! — воскликнул маршалок.— Ох, как ты верно рассудила обо всем, моя крулева.

— Весьма, весьма правдоподобно,— поддержали майор и Пигловский.

— Я переговорю с ним об этом...

— Боже тебя упаси, мой друг...— перебила поспешно Розалия супруга,— разве можно напоминать нашему доблестному герою о таком ужасном событии?..

— Так, так! Бедняга ужасно страдает,— подтвердил Пигловский,— он сказал мне, что у него осталась теперь одна цель в жизни — отомстить врагам.

— За этим дело не станет. Завтра же изловим бродягу и первым долгом пропишем у него на спине список всех его злодеяний,— заявил майор.— Он уже обойден, он в наших руках, и я бы взял его даже сегодня, если бы наш милейший пан Рудковский, обещавший провести лесными трущобами отряд, чтобы отрезать отступление у шайки, не отлучился на это время... А кстати,— обратился он к Розалии,— не может ли ясновельможная пани объяснить мне, куда понадобилось ее секретарю

так экстренно уехать и зачем он взял у меня полсотни гусар?

— О нет,— усмехнулась лукаво Розалия.— Этого мы не можем объяснить пану до завтрашнего дня.

— Да, да, ни за что, это наша тайна! — подхватила присоединившаяся к компании Агата и даже погрозила страшному москалю пальчиком.

— Вот как!

— Так, значит, и прелестные пани помогают нашему счастливчику?

— Они хотят окончательно заинтриговать нас,— усмехнулся Пигловский.

Только маршалок не обнаружил интереса к таинственным словам Агаты, а тревожно засопел и взглянул с ужасом на Розалию.

— Во всяком случае, в тайне нашей не заключается ничего ужасного, пане,— заметила с грациозною усмешкой Розалия.— Завтра вы узнаете все, и пан майор не пожалеет о том, что ссудил на день нам отряд гусар.

— Вся моя команда к услугам панским.— Бравый майор ловко звякнул шпорами и поклонился Розалии.

— О, нам не нужно всего отряда, мы при помощи одной горсти подарим вам, панове, такой дорогой подарок, о каком вы даже и не мечтаете! — Агата по-детски надула губки и окинула всех торжествующим взглядом.

— Пани решительно хочет заставить нас умереть от любопытства!

— Но я, на правах отца, спрашиваю наших прелестных повелительниц,— добавил с шутливым поклоном Пигловский,— что вы сделали с моим сыном? Куда вы послали его?

— Нет, нет, как ни расспрашивайте, не скажу,— это тайна, а женщины их умеют хранить,—затараторила Агата,— и вот, чтобы вы не выпытывали меня, я ухожу в самый дальний угол и молчу, молчу, молчу!

Она отпорхнула от Розалии и в сопровождении майора и старика Пигловского удалилась в глубину гостиной.

Вскоре туда же за хорошенькой болтушкой последовали и остальные офицеры. Один маршалок остался подле Розалии.

— Розюню, ангел мой...— прошептал он, наклоняясь к ней,— неужели?..

— Ах, успокойся, на бога! Простой жарт — и больше ничего,— ответила досадливо Розалия и, вставши с места, остановилась у самого отдаленного окна, выходившего в сад.

Она прижалась горячим лбом к холодному стеклу и застыла в тревожном ожидании.

Внешнее спокойствие и кокетливая шутливость, которую она проявляла с гостями, бесконечно тяготили ее. Нервы ее были напряжены до последней степени: сегодня она много поставила на карту и с нетерпением ждала теперь результата затеянного дела...

Этот план она вымучила в своем сердце, а после рокового свидания с атаманом он стал ее жечь неугасимым огнем... «Но удастся ли Рудковскому поймать Ульяну? А если сорвется?»

И как отнесется к этому Кармелюк? Не подумает ли он, что это она, Розалия, устроила засаду его любовнице? Но нет... дело обставлено так, что на нее не может пасть ни малейшего подозрения: паны и комиссары придумали эту дьявольскую шутку. «Но все-таки он может подумать... Нужно объяснить ему... Но как, как, куда ехать, как увидать Кармелюка? Почему же он не позаботился об этом? Да, в самом деле, почему он не позаботился об этом? — повторила она настойчиво.— Ему ведь совершенно легко это сделать. Пятый день она не видит его, не знает о нем ничего, а он и вести никакой не пришлет!»

Розалия скомкала в руках тонкий батистовый платок.

Ведь он поддался ее чарам, потерял рассудок... Не мог же он так охладеть за один день?.. О нет, нет, это та, ненавистная соперница, мешает ей во всем! Она, как кошка, следит за ним повсюду, как кошмар, преследует его. А может, опять пробудила в нем остывшее чувство, упоила его своею бешеной страстью? У, ненавистная!..— Розалия закусила до боли губу, и снова, при одной мысли о том, что эта женщина находится там, вблизи Кармелюка и, быть может, разделяет его ласки, кровь бросилась ей в голову и бешеная злоба запылала в сердце.

Поскорее, поскорее избавиться от нее, и тогда конец всем мукам!

Розалия отвернулась от окна и оглянула гостиную.

Маршалка не было в комнате... Среди гостей, окружавших Агату, слышались веселый говор и серебристый смех красотки.

Розалия прислушалась; ни со двора, ни из сада не слышно было никакого шума.

«Ах, сумеет ли только этот хвастливый мальчишка обделать дело? Отчего до сих пор не едет?» — прошептала она с раздражением и снова задумалась, но теперь мысли ее приняли другое направление. История с Янчевским начала принимать острый характер... Янчевский упоминал о каком-то обмане... Неужели догадался, проведал? Положим... Но каким образом? Что могло ее выдать? Записка? Но она написана измененным почерком и адресована неизвестно кому. Да и кто мог указать ему, где спрятана записка? Цыганка?

Розалия нахмурила брови... Да, досадно, что она доверилась ей. Всех остальных легко уверить в том, что это проделка Кармелюка, но Янчевского не проведешь. Однако, если цыганка и выдала ее, то, во всяком случае, теперь, после сегодняшней облавы на Ульяну, можно будет смело уверить и Янчевского, что записка эта брошена была для того, чтобы заманить разбойницу, что его недоверчивость и подозрительность и вовлекли его в беду. А самым лучшим оправданием ее, Розалии, может служить то, что она лежала больная в постели и не выезжала со двора... Но Кармелюк не в пору расчувствовался,— продолжала свои рассуждения Розалия.— Ах, зачем это он отпустил Янчевского? Не проще ли было не показываться ему на глаза — или уж коли наказать его, то как следует,— вырвать навсегда жало у змеи! Все это так глупо! Таким узлом оплелись вокруг нее все нити, что теперь уже трудно их и распутать... Но все это вздор,— лишь бы только он, несравненный да любый, был с нею, а тогда, что нельзя будет распутать, то можно будет и разрубить!

Розалия отошла от окна и направилась было к окружавшим Агату гостям, как вдруг до ее слуха явственно донеслись со двора шум, крик и хлопанье бичей.

Агата тоже услыхала это.

— Едут, Розюню, едут! — вскрикнула она и побежала к подруге.

От тревоги и напряженного ожидания пани маршал-

кова побледнела как бумага и ухватилась руками за спинку кресла.

В эту минуту в соседней комнате раздались громкие шаги, двери распахнулись, и в зал ввалились забрызганные грязью Рудковский, Алоиз и еще несколько молодых шляхтичей; лица всех сияли торжеством; вслед за ними выглянула из-за двери и лукавая, радостная рожица Фроси.

— Ну что? Как? — бросилась к ним Агата, но ее голос заглох в громких криках: «Vivat, vivat!» — с какими вошли в зал шляхтичи.

— Vivat! Наш славный презус! —выкрикнул Рудковский, подбегая к Розалии.

Дружный хор подхватил его возглас.

Находившиеся в зале гости столпились вокруг обеих дам.

— Поймали? Схватили? — произнесла быстро покрасневшая Розалия.

— Пани презус — наш первый герой,— продолжал с восторгом Рудковский,— все произошло так, как рассчитала пани: поймана разбойница, а вслед за нею поймался и Кармелюк! — выпалил он.

— Кармелюк пойман?! — крикнули все находившиеся в зале, не веря своим ушам.

— Лежит связанный под охраной москалей...

Розалия пошатнулась... и, цепляясь за ручки, медленно соскользнула в кресло...

Медленно подвигалась партия арестантов по широкой дороге, тянувшейся к Ярмолинцам — последнему этапу перед Каменцем.

Впереди ехала телега, окруженная двумя рядами гусар. На телеге лежал Кармелюк; руки и ноги его, в тяжелых кандалах и наручниках, были прикованы к бортам телеги; шею охватывал железный ошейник, от которого шла короткая цепь, прикрепленная к поперечной перекладине воза. Благодаря всем этим предосторожностям, Кармелюк мог делать только самые ограниченные движения, но теперь у него, казалось, не хватило бы сил и на них. Гордый атаман лежал на соломенной подстилке, покрывавшей дно телеги, неподвижною грудой; лицо его было бледно, глаза полуза-

крыты, правая нога, завернутая в окровавленные тряпки, вздулась и распухла, как колода. Шагах в двухстах от телеги двигалось и звенело цепями другое плотно сбитое каре, окруженное растянутыми рядами пеших солдат-инвалидов.

Арестанты двигались душ по пять в ряд. Их было всех человек сорок. Компанию составляли разнородные элементы: беглые с каторги, и осужденные преступники, и подследственные по разбойничьим делам крестьяне,— последние составляли большинство. Некоторые шли с кандалами на руках и ногах, иные же были еще прикованы друг к другу.

У нескольких лица были украшены отвратительными клеймами, возбуждавшими, впрочем, чувство почтения у меньшей арестантской братии; у других же только выбритые половины голов указывали, для каких мест предназначались эти одетые в серые халаты люди.

В среднем ряду четырехугольника двигались три существа, резко отличавшиеся от остальных. Они не были не клеймены, ни бриты, на них не было даже арестантской одежы, и, несмотря на то, что они представляли, очевидно, в этой компании случайно пойманных птиц, все спутники относились к ним с искренним почтением.

То были Ульяна, Андрей и Явтух; они шли в одном ряду, бок о бок, так как конвойным и в голову не приходило, что эти птички — из одной клетки.

Арестанты шагали молча, понурив головы, изредка перекидываясь отрывочными фразами; долгая дорога истомила всех; только окрики конвойных да лязг железа нарушали тишину.

За арестантами лениво тянулись две телеги, нагруженные жалким скарбом переселенцев.

Ряд конных солдат замыкал это печальное шествие.

Впереди же его, подальше от гусар, окружавших телегу, ехали рядом два офицера. Один из них был молодой корнет в ментике *, захвативший Кармелюка, другой — штабс-капитан, начальник конвоя, сопровождавшего партию арестантов, двигавшуюся этапным путем к Каменцу. Сегодня оба отряда случайно встретились по

---

* Ментик — коротка накидка, яку носили гусари, облямована хутром, прикрашена шнурками і петлями.

дороге, и так как обоим лежал путь на Ярмолинцы, то начальники решили соединиться для большей безопасности, а также для того, чтобы скоротать вдвоем скучное время дороги.

Ульяну и Андрея с Явтухом корнет поместил в центр штабс-капитанской партии, а Кармелюка отодвинул на значительное расстояние вперед. И таким образом они двинулись в путь.

Уже приближался вечер. Лошади обоих офицеров медленно двигались по вязкой грязи, пристававшей комьями к их копытам. Увлеченные своей беседой, оба начальника не слышали ни неприятного чавканья грязи под ногами, ни отдаленного скрипа телеги, ни моросившего холодным туманом дождя...

Они отпустили коням повода и предоставили умным животным выбирать аллюр по собственному усмотрению.

— Д-да,— заметил штабс-капитан, казавшийся совершенно полинялым перед молодым, цветущим и франтоватым корнетом, сопровождавшим Кармелюка,— не мешало бы и по рюмочке. В этакую-то погоду целый день на коне... Черт побери, тьфу! — Он сплюнул на сторону и передернул с дрожью плечами.— Да хотя бы было что вести, а то самый плевый багаж: воры, да бродяги, да конокрады! Вот вам, сударь, дело другое. Слепа фортуна. Да-с, слепа. И как вы это умудрились поймать такого бобра?

— А сказать вам по правде, и сам не знаю как,— усмехнулся добродушно молодой корнет,— просто сам, шельма, попался мне в руки, по мужицкой поговорке: «Коли бог даст, так и в окно подаст». Дело было вот как.— Корнет передвинул на сторону ментик, поправил на голове кивер и начал: — Как я уже вам докладывал, задумал там один панок поймать вон ту бабенку,— любовница она разбойника, что ли? Ну, подослали там к ней кого-то, чтоб выманил, и устроили засаду. Узнаем,— идет дело на лад, клюнуло. А место мы выбрали самое секретное... Куренек малый в лесу, кругом чаща, а с тылу да с правой стороны овраг, поросший кустарником, да такой скрытый, что хоть целый эскадрон в нем спрячь — не увидят. Расставил я цепью секрет, спе́шил десятка два моих молодцов, и засели мы, ждем. Вижу, баба на коне проскакала мимо моего фланга;

остановила коня, соскочила да ползком, крадучись к куреню, а в курене-то и засел тот панок со своими помощниками. А тут вдруг раздался опять топот, и недалеко. Кто-то летит во весь опор, да так летит, что земля даже вздрагивает. У меня, знаете ли, немножко екнуло и стало комочком под ложечкой. «Ну,— шепнул своим,— стой, братцы, смирно!» Притаились мы, а конь-то все ближе, ближе, как будто на нас. Как вдруг слышим треск, а за ним грохот. Этак шагов за сто от нас сорвалось что-то и грохнулось на дно оврага. Бросились мы туда, видим: лежит конь, бьется — сломал себе спину, а под конем разбойник какой-то; конь ему прижал правую ногу и правую руку; силился он, но никак из-под коня выбраться не может. Окружили мы шельму, глядим,— молодой да красивый... Присмотрелись,— батюшки светы! Да ведь это не кто, как соловей-разбойник, Кармелюк! «Сдавайся, шельма!» — кричу ему, а он собрался наконец с силами, поднял голову да как швырнет в меня левой рукой кинжалом... Но бог спас: кинжал застрял только в эполете. Вскипел я. «Связать собаку да надеть на него кандалы и ошейник!» Бросились мои молодцы, насели, отняли у него оружие. Добро еще, что лошадь пса придавила, а то он бы и одною рукой так дрался, что пришлось бы нам с ним повозиться. Ну, мы надели ему на руки и на ноги кандалы, а на шею ошейник, стащили с него коня, поставили шельму на ноги, но не стоит, падает: поломал, должно быть, ноги...

LXXXIV

— В рассуждении побега сие обстоятельство для вашей особы весьма благоприятно,— заметил штабс-капитан и, взглянув с завистью на удалого корнета, добавил снова: — Да, все фортуна, слепая-с фортуна. И для амбиции вашей лестно, и у начальствующих лиц сие событие вызовет надлежащее благоволение. Ведь этак можно сразу махнуть и в поручики, а не то сделать вольт — в столицу, в кавалергарды... Да и панство не оставит без сатисфакции. Привалило вам счастье, государь мой! Только смотрите теперь, как бы не ушел пес! Он на это ведь дока.

— Не уйдет! Я его так приковал, что будь на его

месте сам дьявол, и то бы ему не вырваться из цепей; да и нога у него размозжена; остался-то всего один перевал, а там сдам — и с передков долой!

— Верно, но ведь осталась еще шайка: могут учинить неожиданную атаку, отобьют.

— Не удастся!— корнет уверенно махнул рукой и продолжал самодовольно: — Берлога этой шайки была уже мною обойдена. Но лишь только майор наш узнал, что Кармелюк и его сообщница схвачены мною, он отдал мне приказ препроводить их немедленно в Каменец, а сам с остальными солдатами бросился, чтобы накрыть сразу всех ос в гнезде. Думаю, что они теперь или лежат связанные, или тянутся уже где-нибудь за нами. Чисто, в три темпа обделано дело!

— Так-с... А где же вы еще тех двух захватили?

— Да тоже, почитай, сами напоролись на нас. За Баром они переходили дорогу, а как увидели, что целый эскадрон идет,— давай наутек. Ну, мы их-то живо нагнали: у нас лошади были свежие, а у них загнанные; послали мы шельмецам вдогонку пару пуль,— под одним коня убили, а другому плечо оцарапали, ну и схватили. Кто их знает, что за бродяги? Денег в карманах у них нашлось немало. Клянутся, что, опасаясь Кармелюка, вооружились с ног до головы, но я не дурак: зачем бежали?

— Конечно, все счастье-с. Э-эх! Натура дура, судьба индейка, а жизнь копейка. Копейка-с, государь мой! Забросят вот так человека в грязь и топят в ней... и грош ему цена! — Он оборвал свою мрачную речь, передернул плечами под потертой шинелью и заключил:— Хотя бы уже скорее привал: не грех и рюмку пропустить.

— А вот и отдохнем: будет и мадерка, и все прочее. Можно будет и в штосик трухнуть! — воскликнул весело торжествующий корнет и ухарски передвинул на голове кивер.

Оба замолчали: корнет — предвкушая заманчивую прелесть отдыха и кутежа, штабс-капитан — злобно помышляя о несправедливости судьбы, посылающей глупым молокососам аппетитные куски и оставляющей в тени и забвении других, достойных внимания.

Конвойные, окружавшие телегу с Кармелюком, ехали молча ввиду близкого расстояния от начальства; но

солдаты, сопровождавшие остальных арестантов, позволяли себе перекидываться отдельными фразами. Арестанты также время от времени обменивались отрывочными сообщениями на своем воровском языке.

Явтух, успевший еще раньше ознакомиться с этим жаргоном за время своего пребывания в литинской тюрьме, познакомил с ним и Ульяну, и Андрея; впрочем, это делалось весьма осторожно: товарищам было весьма важно убедить окончательно штабс-капитана и корнета в том, что они если и подозрительные бродяги, то вовсе не причастны к шайке Кармелюка. Это давало им возможность находиться вместе с Ульяной и думать вместе с нею о том, как бы спасти атамана.

Корнет был прав: Андрей и Явтух напоролись на него почти по собственной воле.

Когда Кармелюк полетел как бешеный вслед за Ульяной, Андрей и Явтух тоже отправились за ним, а временное начальство над отрядом само по себе перешло к Дмитру. Уже доскакав до места катастрофы, Андрей и Явтух не застали там никого и поняли, что атаман схвачен, связан и что его уже везут куда-то.

Тотчас же бросились они по следам и действительно, не больше как через час, настигли отряд, сопровождавший Кармелюка, и тут-то поняли, что бросаться отбивать атамана у такой сильной стражи было бы полным безумием.

Первой мыслью их было возвратиться тотчас же в лагерь, собрать шайку и поспешить немедленно на выручку своему батьку, но, приняв в соображение, сколько времени придется им потратить на это, а главное то, что раз шайка двинется, то непременно вызовет преследование со стороны расположившегося поблизости отряда гусар, они поняли, что догнать войско и отбить у него атамана силою было почти невозможно, и потому решили отдаться сами в руки начальника конвоя, чтобы попасть вместе с атаманом в тюрьму и по мере сил способствовать его побегу. Эта мысль преследовала их день и ночь. Шестой день тащились они так, останавливаясь для коротких привалов, но и во время короткого отдыха товарищи не могли заснуть. Мысль о побеге сверлила их мозг, впиваясь все глубже и глубже, призывая на помощь всевозможные соображения и расчеты, но сами они не могли ничего придумать, а войти с Кармелюком

в какие-нибудь сношения не было никакой возможности, притом же, к довершению своего отчаяния, они узнали из разговоров конвойных, что у атамана повреждена нога.

Между тем отряд хоть и медленно, но все же приближался к Каменцу; и Андрей, и Ульяна, и Явтух прекрасно знали, что из каменецкой крепости не ускользнет и мышь.

Сегодня же на последнем привале к ним присоединилась неожиданно большая партия арестантов. Многие из них знали Кармелюка не только понаслышке, но и лично, а у Явтуха сразу же отыскалось несколько недавних знакомцев. Во всяком случае, почувствовав себя в большой компании, друзья воспрянули духом, а новые союзники, узнав, что с ними везут и славного атамана Кармелюка, прониклись героическим духом.

Близость ночлега приободрила и окружавшую арестантов команду.

— А что, ваше благородие, дневка будет? — обратился молодой солдатик к седому фельдфебелю, шагавшему рядом с ним с правого фланга.

— Устал, молодчик?

Фельдфебель повернулся к вопрошавшему и сердито взглянул на него из-под нависших бровей.

— Ног не слышу!

— Что же тарантас не приказал заложить?

— Да кого же закладывать, коли и своя пара не везет!..

— И горло пересохло. Молочка бы — прочистить горляночку,— добавил сиплым голосом шагавший рядом с молодым почтенный солдат в черных баках.

— Молочка! Эй, смотри ты, Федоров, как бы капитан из тебя самого масла не выжал!

— Пущай и выжимает, а разве это порядок, что уже третий день дневки не видим?

— Да будет вам дневка, а может, и две. Чего шумите, иродовы сыны?

Солдаты замолчали, но весть о том, что в Ярмолинцах предполагается дневка, невидимой молнией распространилась среди партии.

Ульяна подняла голову и с тайной надеждой оглянулась кругом.

Со времени своего ареста она страшно изменилась: похудела, почернела от горя и сразу постарела на много лет. Мысль о том, что вследствие своей дикой ревности она дала завлечь себя в ловушку и погубила Кармелюка, терзала ее, и если бы теперь для спасения все же любимого ею атамана понадобилась ее жизнь, Ульяна с восторгом отдала бы ее.

Арестанты уже не шли унылою толпой. Мысль ли о дневном отдыхе, или какое-либо другое соображение ободрило их, только лица их оживились и движения стали легче, быстрее.

— Чего хромаешь, дядюшка? — обратился Явтух к шагавшему с ним рядом заклейменному арестанту — низколобому, широкоплечему человеку с холодными голубыми глазами, угрюмо смотревшими из-под нависших рыжеватых бровей.

Он почитался у присоединившихся арестантов старостой и пользовался большим почетом, как каторжник, успевший бежать с каторги.

— Сапог плох, к ночи распороться может,— ответил каторжник, не глядя на Явтуха.

Но эта фраза, произнесенная самым бесцветным тоном, произвела необычайное впечатление на всю партию.

Никто не оглянулся в сторону собеседников, но все стали напряженно прислушиваться к их беседе.

— А разве дратвы не хватит зашить?

— Дратва-то есть, и длинная, а шило хоть и новенькое, да тупое.

— Гвоздей можно раздобыть в городе.

— В этом-то? Чертма!

— А где же в сапоге изъян?

— В левом заднике.

— Ну а кожа же как, еще держит?

— Кругом держит, крепкая, вот только здесь здорово повытерлась, да и лубок я вырвал сам.

— Давно?

— В запрошлом году. Больно жаль сапога, хотел и вовсе его бросить.

— Что же это ты, дяденька, с дырой его оставил.

— Да я ветошкой заложил.

— Надо бы колодку подыскать,— вмешался в разговор Андрей,— да прибрать к ноге ловкую онучку,— последнюю фразу он произнес с незаметным ударением.

— Сам знаю. Да как? — каторжник блеснул белками в сторону Андрея.

Никто не ответил ничего.

— Как подогнать?.. Придумай... Скорей... Нужно...— прошептала, задыхаясь от волнения, Ульяна и незаметным движением стиснула горячей, как огонь, рукой руку Андрея.

— Цс...— прошипел тот, отвернувшись в сторону,— будет привал — обдумаем... Милостив бог...

Как сообщить о новом замысле Кармелюку и, главное, как удостовериться в том, насколько искалечена его нога?

Эти два вопроса не выходили из головы Андрея, Явтуха и Ульяны, молча шагавших друг подле друга. Но не только друзья Кармелюка ломали свои мозги над разрешением этих двух неразрешимых вопросов — и каторжанин, и каждый член шайки думали об этом. Одно сознание присутствия в их компании Кармелюка удваивало силы арестантов. Им казалось всем, что стоит только Кармелюку познакомиться с их замыслом и принять начальство над ними — и никакие конвои не сдержат их; ведь он, как характерник, сумеет и глаза отвести, и сон навести, и даст всем разрыв-травы для поломки кандалов и замков; все он сможет — придумает такое, что и черту не снилось!

Но как ни перебирала честная братия всех способов сношения с Кармелюком, ни один не представлялся сколько-нибудь возможным.

Нечего было и думать о каком-нибудь возгласе или разговоре. Прежде всего, расстояние, отделявшее телегу от партии, делало это совершенно невозможным, да не было сомнения и в том, что малейшая попытка в этом роде была бы прекращена в самом начале. Что же касается передачи какой-либо записки или какого-нибудь условного знака, то ввиду двойного кольца стражи, окружавшего телегу, и строжайшего запрещения корнета приближаться кому-нибудь к этому живому укреплению, этот способ надо было исключить из подлежащих обсуждению. Можно было бы, конечно, подкупить кого-нибудь из стражи, но для этого надо было иметь возможность хоть в продолжение двух минут переговорить с ним с глазу на глаз, но эта-то возможность и не могла ни в каком случае представиться арестантам.

Словом, надежда приобщить Кармелюка к своему плану ускользала все больше и больше из головы Андрея и его товарищей. Оставалась впереди только тюрьма. Конечно, если бы в этой тюрьме пришлось оставаться более продолжительное время, то можно было бы много чего придумать, но что можно было сделать за одну ночь?

— А может, в сапоге сыщется и онучка на больную ногу? — обратился наконец Андрей к клейменному старосте.

— Поищем. Эх, кабы передышка денька два, можно было бы и ногу подлечить, и сапог переделать...

Собеседники снова замолчали и погрузились в свои размышления.

Между тем партию начали обгонять телеги со всякой живностью, натачанки, брички,— почувствовалась близость большого местечка. И вскоре действительно показались на узкой и длинной лощине, среди крытых гонтою и черепицею крыш, кресты двух пышных костелов, а дальше — под горой, среди беленьких, крытых соломою хат, тонувших в дымке обнаженных садов,— высился и крест православной церкви. На другой стороне местечка, за пологим холмом, виднелись белые стены и красная крыша тюрьмы.

— Ну-с, вот и кончен дальний путь,— пробудился от своих угрюмых мыслей штабс-капитан,— отогреемся и, так сказать, отведем душу.

— Д-да-с, попытаем и фортуну! Только вот что: остановим наш этап. Пусть передохнут солдатики да подкормятся малость, а то тюрьма вон черт знает где, совсем за местечком, в степи, там ведь ничего не достанешь.

— Это верно,— согласился капитан,— тут вот базар, и провизией запастись можно.

— А в тюрьму надо послать немедленно вестового, чтобы очистили особую камеру для моего гуся, да и всех ваших спутников нельзя мешать с другими.

— Да, да, конечно...— спохватился штабс-капитан.— Следует поторопиться, а то эта возня в тюрьме убьет много времени. Да вот и для ваших бродяг надо истребовать отдельную камеру.

— Для этих-то? — корнет презрительно усмехнул-

ся.— Ну, это уже лишняя роскошь: посидят они, капитан, и с вашими господчиками.

— Не советую-с: кто их знает, что за люди.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся корнет прямо в лицо капитану.— Кажись, уже и вас охватила кармелюкская горячка. Будьте покойны, не нашли мы у этого quasi * колдуна ни разрыв-травы, ни шапки-невидимки. Из тюрьмы-то уже не уйдет.

По поблекшему лицу капитана пробежала желчная гримаса.

— Как знаете, сударь,— произнес он, пожимая плечами,— смотрите только, чтобы потом не пожалели.

— Не придется! — усмехнулся самоуверенно корнет и, оборотившись назад, дал приказ остановиться.

— Да, я еще забыл справиться: найдется ли в городе достаточное количество фуражу?

— Вряд ли,— усомнился капитан,— местечко дрянь, настоящая грязная жидовская дыра, а экономия есть одна верст за восемь, там, наверное, достать можно и овса, и сена... а в здешнем панском дворе навряд...

— Вот увидим.

Когда партия остановилась и верховые были посланы и в панский двор, и к начальнику тюрьмы, корнет обратился к своему спутнику:

— Не желаете ли взглянуть на сего пленного Бонапарта? Не бойтесь, закован...

— Я, сударь, француза не боялся, а не токмо лесного разбойника,— вспыхнул капитан.

— Ну, ну, я ведь шучу,— протянул корнет снисходительно и, повернувши коня, пригласил капитана следовать за собой.

«Молокосос! Щенок!» — прошипел про себя капитан, поворачивая коня за молодым баловнем судьбы.

Офицеры остановились у телеги Кармелюка. Он взглянул на них тусклым взглядом и тотчас же закрыл глаза.

— Плох,—произнес капитан,—нога-то, должно быть, сломана. Вы бы отпустили ему хоть шею, а то ведь так можно и живым не довезти.

— Выдержит...— начал было корнет, но затем, передумавши, добавил: — А впрочем, снимите с него ошейник, пусть передохнет.

---

* Нібито (*лат.*).

LXXXV

Арестанты уселись вдоль дороги в ожидании приказа двигаться в Ярмолинцы.

Между тем весть о том, что у предместья стоит большая партия, распространилась на базаре; тотчас же на дороге показались торговки с корзинами, наполненными булками, пирогами, жареной рыбой, студнем из свиных ног и другими подобными лакомствами.

Торговки хотели было подойти прямо к цепи, окружавшей партию, но сердитый фельдфебель прикрикнул на них и указал им место подальше. Женщины разместились в некотором отдалении, почти против конвоя, окружавшего телегу Кармелюка. Тотчас же к ним начали подходить солдатики и покупать пищу; они торговались, балагурили, обменивались шутками — словом, отводили душу за время долгого и скучного пути.

Пришли и денщики офицеров — закупить провизии для начальства, расположившегося поодаль на разостланной на земле бурке, и, поскаливши зубы, тоже отошли.

Андрей молча наблюдал за этими сценами; казалось, какая-то новая мысль начинала формироваться в его голове.

Вдруг он быстро обернулся к своим товарищам; в глазах его вспыхнул яркий огонь; все черты лица загорелись воодушевлением.

— Есть, братцы-голуби!..— произнес он быстро.— Благословите провиант закупить.

— Покупай! Проси их благородие,— загалдели кругом арестанты.

— Что ты задумал? Скажи? — шепнула Ульяна и впилась в руку Андрея.

— Цс! Молчи... Слушай! — ответил едва слышно Андрей и обратился к ближайшему солдату с просьбой передать фельдфебелю, что партия желает закупить провианта и просит их благородие, чтобы он дозволил ему произвести эту покупку.

Андрею показалось, что прошла целая вечность, пока солдат сходил к фельдфебелю, пока собрали деньги и пока, наконец, пришло разрешение. И только когда он в сопровождении двух часовых направился к группе торговок, тогда только вздохнул он свободно и даже

поднял было инстинктивно руку, чтобы осенить себя крестным знаменем, да спохватился вовремя...

И вот они остановились у ряда торговок. Андрей оглянулся на мгновение в сторону гусар, окружавших Кармелюка, словно измерил глазами расстояние,— оно было невелико...

— Пироги! Бублики! Састены! Рыба печеная! Ноги свинячие! — загалдели сразу все торговки, протягивая к Андрею образцы своего товара.

Андрей взглянул скептически в одну корзину, в другую...

— Ге-ге-ге! Что же это за товар? — произнес он насмешливо и протяжно свистнул.

— Чего свистишь, идол? Чертей, что ли, скликаешь? — оборвал его сурово конвойный.

— Не по губе их мордородию либо не по карману,— заметила иронически жирная торговка с красным, огрубевшим от ветра лицом, в засаленном фартуке и большом платке, перекрещенном на груди.

— По губе ли, по затылку ли, а только нечего покупать, тетенька,— произнес громко Андрей.— Нам нужно много, нас ведь сорок душ и одна форменная баба.

Последнюю фразу он громко выкрикнул, с особенной гордостью.

— Были бы деньги, а хватит здесь, чтобы заткнуть ваши пельки... Докупай вот у меня рыбку печеную, свежая рыбка. Гуртом все дешево отдам!

Торговка вынула жареную рыбу и подала ее Андрею. Тот взял ее в руки и принялся пристально рассматривать хвост.

— Да что ты ее с хвоста смотришь! — рассердилась жирная баба.— Ты вот жабры смотри! Вот и печеные, а красные.

Она приподняла хрящ, прикрывающий жабры рыбы, и ткнула ее почти в лицо Андрею.

— Да что ты мне жабры в глаза тычешь, когда у ней в хвосте изъян!

Последние слова Андрей выкрикнул нарочно громко.

— У твоего батька, дурню! — плюнула сердито торговка и вырвала из рук Андрея рыбу.

Замечание жирной бабы вызвало громкое одобрение среди солдат.

— Ишь ты, босой, ирод, а еще перебирает! — продолжала расходившаяся баба.

— Ну что ж, титко. Сапог плох, а умеем ходить по горох,— подмигнул Андрей весело багровой бабе.—А коли помогут ноги, так и в гречку через пороги!

— Ловко! — поддержали присоединившиеся к группе солдаты.— За словом в карман не полезет.

Все оживились; но шутка арестанта не умилостивила разгневанную матрону.

— Так бы он скоро за деньгами в карман лез! — продолжала она.— Ишь ты, чертов сын, рыба ему не свежая! Да ел ли ты когда такую, бродяга чертовый? Она у меня сегодня еще на сковороде прыгала, как не прыгнет и добрый казак вприсядку. Прямо из воды!

— А мне нужно такую, чтоб из рук выпорснула и в воду ушла! — перебил ее с громким смехом Андрей.

— И ушла б, ушла б, когда бы я ее сразу не вынула из невода.

— Ге-ге, дырявый же тут у тебя невод, баба! — заметил скептически Андрей.

Слушатели громко рассмеялись, но торговка окончательно взбеленилась.

— А ты почем знаешь, какой он? — закричала она, подбочениваясь.— Видел ты его? А? Видел? Говори!

— Покойная бабка говорила, что сиживала в нем и прорвала... Да отойди ты, сатана! Цур тебе! — отмахнулся от торговки Андрей.— Я ведь только горюю, что щуки нема.

— А зачем тебе щупак? — заговорила другая торговка.— Вот линьки, вот караси, вот окуни, а тут и таранька найдется.

— Без щупака не выходит дело! Ну, давайте обе, заберу все,— поторопился заключить Андрей, заметив, что первая торговка приняла воинственную позу.

— Так бы и сразу, а то пошел! — одобрила торговка.

После короткого торга в цене сошлись. Торговка громко высморкалась на сторону, отерла грязные пальцы о засаленный фартук, вытащила из-под него затертый гаманец и приняла деньги.

— Постой только, а куда же я заберу товар? — Андрей в недоумении развел руками.— Нет ли у тебя корзины какой или ряденца?..

— Корзина себе нужна, а рядно, пожалуй, уступ-

лю,— согласилась торговка, вынимая из другой корзины сложенное в несколько раз рядно.

Глаза Андрея загорелись.

— А выдержит ли?

— Это рядно? — даже обиделась торговка и, тряхнувши, развернула его перед Андреем.— Да оно не то что весь наш товар, а тебя выдержит!

— Ну, ссыпай уже! — произнес скороговоркой Андрей.— Некогда!

— А ноги, ноги, дядечку, жирные свинячие,— подбежала к Андрею третья торговка, молоденькая, краснощекая, с широким вздернутым носом.

— Назвала дядечком, так нельзя обидеть тебя,— усмехнулся Андрей,— за ноги-то мы и беспокоимся... Коли есть рядно, кидай их туда, заберем и ноги на плечи! — вскрикнул он ухарски.

За одною торговкой протеснились к Андрею другая и третья, и вскоре все бабы столпились вокруг веселого шутника-арестанта.

А Кармелюк между тем сидел в возу, придерживаясь закованными руками за его щабли, и жадно ловил долетавшие до его уха обрывки разговора арестанта... И лицо его уже не было бледно, а глаза загорелись огнем.

Между тем молодой корнет оказался гораздо предусмотрительнее, чем можно было ожидать по его хвастливому разговору. Когда издрогшая и промокшая до костей партия добралась наконец до этапа, стоявшего в отдалении за местечком, он попросил капитана приказать партии обождать за воротами, пока окончательно не устроит Кармелюка.

Телега с атаманом въехала в тюремные ворота, которые тотчас же и заперли.

Офицеров встретил смотритель этапа — худой человечек, небольшого роста, лет пятидесяти, с седоватыми волосами, зачесанными на виски, и несколько подозрительным красным кончиком носа; держался он с доброй солдатской выправкой и говорил с словоерами. После обычных формальностей корнет обратился к смотрителю:

— Ну что, отыскалось ли в этапе достойное помещение для моего гуся?

— Мешок-с! Птица не вылетит! — ответил смотри-

тель.— Не пожелаете ль взглянуть? Пожалуйте-с! У меня везде-с чистота, порядок... Строг, но — справедлив.

— Не пожелаете ли полюбоваться и вы?..— обратился корнет к своему попутчику-товарищу.

— Пожалуй,— согласился капитан.

Офицеры вошли в обширный мрачный коридор, из которого шли двери направо и налево.

— Извольте-ка взглянуть-с, освидетельствовать,— обратился к офицерам смотритель, постукивая ключами по стенам коридора,— не камень, железо-с. Постройка не нынешняя... Прежде был палац, да вот сконфискован и под моим надзором приспособлен. Этап-с не этап, а просто золотая клетка... Крепкое дно-с!..

Офицеры вошли в предназначенную для Кармелюка камеру. Капитан и корнет одобрили помещение.

— Тут какой-то молодец... с бубновым тузом-с... [80] вздумал было подпилить решетку-с... так я... хе-хе! замуравил окно... Стена-с! Лбом прошиби, шельма!

Корнет одобрил находчивость смотрителя и велел ввести Кармелюка. Последний попробовал было сам слезть с воза, но, несмотря на все свое желанье, не смог ступить на ногу, так что в камеру его внесли на руках четыре солдата.

Пока солдаты несли его через коридор, атаман внимательно рассматривал все; но лишь только до слуха его долетел разговор офицеров, как тотчас же глаза его сомкнулись и лицо приняло безжизненно-мертвое выражение.

— Ге-ге, что ж это случилось с сим соловьем-разбойником? — изумился смотритель.—Отощал? Ослабел?

— Да нет, нога у него, кто ее знает, поломана, что ли,— ответил корнет.— Свалился он в канаву и под коня.

— Гм, неважно-с,— заметил смотритель.— Этак ведь можно и становой хребет переломить-с. А позвольте взглянуть-с?

Кармелюка уложили на нары.

— Открой ногу! — скомандовал конвойному корнет.

Солдат размотал тряпку, прикрывавшую ногу Кармелюка, поднес сальную свечку, и столпившимся перед атаманом офицерам представилась ужасная картина: вся нога несчастного атамана, от лодыжки до колена, распухла как колода и во многих местах была покрыта

глубокими разрывами, внизу же, около железного браслета, перетягивавшего ногу, опухоль имела зловещий сине-багровый, почти черный цвет и настолько свисала на щиколотку, что почти закрывала все железо.

Смотритель взглянул на ногу, многозначительно покивал головой и объявил офицерам, что перелом и антонов огонь несомненны, а потому, желая хоть на короткое время продлить жизнь атамана, надо немедленно снять кандалы.

— А насчет бега вы не извольте беспокоиться, сударь,— заключил он.— Вы, видно, мало еще знакомы с нашим делом,— а я на нем собаку-с съел и крысою закусил: ни кандалы, ни цепи, ни ошейники к побегу этим господчикам не препятствуют. Думаете, и сей бы гусь, кабы у него только нога была цела, не сбросил бы кандалов? Го-го! На наших бы глазах сбросил бы, вот таким же манером, как мы сбрасываем сапог-с. Да-с, тюрьма да конвой — сии твердыни — преграды непреодолимые, а кандалы и прочие ухищрения — ерунда-с! Вот,— стукнул он снова в стену,— пари: раскуйте их всех и дайте им хоть стальные долота и напильники в руки,— не уйдут-с! Как бог свят, не уйдут-с!

Корнет согласился с мнением смотрителя и, обратившись к конвойному, приказал расклепать и снять с арестанта кандалы и дать ему горячей пищи. Офицеры вышли из камеры. Смотритель собственноручно запер замок.

— Ключики-с у меня хранятся,— заметил он, следуя за офицерами по коридору,— и никому ни на минуту: строг, но справедлив...

Во дворе к корнету подошел вестовой и, держа руки по швам, отрапортовал:

— Ваше высокоблагородие, у помещика в городе фуражу не оказалось; из экономии, по случаю ночного времени, достать не могут!

— Болван, чем же я лошадей кормить буду?

— Не могу знать, ваше благородие.

— А у мещан ты спрашивал?

— Никак нет, ваше благородие.

— Что же ты, ослятина, сам не догадался везде расспросить?.. За рукав тебя водить, что ли?

— Никак нет, ваше благородие; я то догадался, да

и они догадались: куда ни пойду, открещиваются, как от беса, говорят, нет ничего.

— Врут, черти! — выругался корнет.— Но что же делать? — обратился он к своим собеседникам.

— Расставить солдат на постой,— посоветовал капитан.

— Нет, далеко,— покачал головой корнет,— на случай тревоги где я их разыскивать буду?

— Верно-с! — согласился смотритель.— Хотя с моего этапа и куренок не улетит, но все же... береженого бог бережет. Я вот вам посоветую поместить солдат в постоялой корчме,— здесь недалеко, за полверсты, при въезде в местечко, крытый двор, фуражу вволю и душ на десять-двадцать помещение.

— Пожалуй,— согласился корнет,— но дозвольте мне оставить здесь у вас на конюшне пять-шесть верховых, на всякий случай, знаете...

Смотритель подумал и ответил, что для шести лошадей помещения нет, а для четырех даже корм может найтись.

Затем, покончив со всеми этими распоряжениями, капитан приказал отворить тюремные ворота, и после его команды: «Четыре в ряд, марш!» — партия чинно вошла в тюремный двор.

Проверка продолжалась недолго, и вся шпанка ринулась, как настоящее стадо овец, толкая и обгоняя друг друга, занимать на нарах лучшие места.

— Ну-с, а теперь ко мне пожалуйте! — пригласил смотритель офицеров, заперев камеру и расставив везде часовых.— Недалеко, здесь же, за муром. Чайку с араком не вредно-с?

— Не вредно! —согласились обрадованные офицеры.

— Да и зеленое суконце можно будет расстелить!

Они вышли за ворота тюрьмы и повернули к небольшому домику, стоявшему здесь же в шагах пятидесяти за оградой.

В сенях их встретил денщик и помог несчастным путникам освободиться от намокших шинелей. По чистым половикам, постланным на полу, вошли офицеры в обширную комнату, исполнявшую для смотрителя роль столовой и гостиной; их сразу же охватило живительное тепло, побежавшее по всему телу и, казалось, проникшее в каждый суставчик.

В печи горели ярко дрова, бросая игривые отблески на блестящий крашеный пол. Около стены против печи стоял огромный диван с высокою загнутою деревянной спинкой и неуклюжими деревянными ручками. Перед ним на круглом столе, покрытом камчатой скатертью, шипел, выбрасывая струйки пара, блестящий, как зеркало самовар. Тарелки с грибками, селедкой и другими закусками были расставлены в симметричном порядке, а две горластые бутылки довершали украшение стола. Над диваном висел вышитый гарусом ковер, изображавший прелестную обнаженную мусульманку; здесь же, рядом с ним, висела гитара и бисерный кисет для табаку. По другую сторону комнаты виднелся раскрытый зеленый столик.

— Фу ты, благодать какая! — воскликнул невольно капитан, проводя рукой по груди.

— Н-да,— поддержал и корнет, потирая окоченевшие руки,— точно в царство Семирамиды[81] попали!.. А дождь-то, дождь... ишь, заливает!

Все прислушались. Шум дождя действительно, казалось, возрастал с каждой минутой.

— Да-с,— заключил смотритель.— Стихии разыгрались не на шутку, и ежели сей дождь до утра не перестанет, то завтра двинуться дальше нельзя будет ни в коем случае. Но приступим! — Он налил три рюмки и жестом пригласил своих гостей опорожнить их...

LXXXVI

Арестанты чувствовали себя в запертой камере не менее хорошо. После слякоти и холода даже и эта комната, угрюмая и мрачная, словно погреб, едва освещенная плошкой, мигавшею над дверью, показалась им дивным приютом. Во всяком случае, здесь было сухо и тепло; большая печь, выходившая двумя зеркалами в камеру, была жарко истоплена, да и сорок душ, сбитых в сравнительно небольшом помещении, своей животной теплотой согревали друг друга. Шум дождя, долетавший со двора, делал еще более ощутительным чувство наслаждения временным кровом и теплом. Арестанты сидели на нарах; только двое из них стояли у дверей, присматривая за «совиным окном» и прислу-

шиваясь к мерным шагам часового, гулко раздававшимся по каменным плитам коридора.

На разостланном на одних нарах рядне лежала купленная Андреем провизия, но никто не прикасался к ней. Все сидели молча, обратившись к каторжнику: он держал речь. Так как поверка уже прошла и предмет разговора был секретный, то речь велась шепотом. Подле него с одной стороны сидела Ульяна, с другой — Андрей и Явтух.

— Ну-с, братцы,— заговорил каторжник, обращаясь к товарищам,— чай, знаете, какой сокол прибыл сюда вместе с нами? Говорите же: должны ли мы его выпустить из клетки или нет?

— Должны, должны! Сказывай только, что делать? — зашумели кругом бритые головы.

— Так я и знал, братцы, что мы все будем за одно. И то: не были бы мы честными арестантами, когда бы не выручили такого брата. О себе нам помышлять нечего, наше дело впереди,— успеем всегда уйти... Смотрите ж, вперед говорю: дело не шуточное. Пристаете все?

— А то как же...

— Не звони даром, сказывай, что делать? — отвечали наклоненные головы.

— Спасибо, братцы, за атамана! — не удержалась от горячего восклицания Ульяна.— Уж когда приведет бог встретиться по вольному житью, отплатим вам!..

— Ну-ну, чего там!..— заворчали кругом арестанты, смущенные горячими словами атаманши.— Махнидралов, говори!

— Хорошо, только еще раз повторяю: помни, шпанка, объявится какой язычник, вздумает подсыпать — своими руками пришью!

— Да ну тебя к скверной ведьме, чего по сто раз приговариваешь! — выругался с ближайших нар гигант, с полуседой, всклокоченною бородой и угрюмыми серыми глазами.

— Так вот, ребята,— начал уже спокойно Махнидралов,— сказывал я уже вам в дороге, что сидел я в этой тюрьме в запрошлом году в одиночке и совсем было подпилил решетку, да неожиданно перевели в другой этап. Камера эта будет рядом с нашей, вот с этой, с левой стороны, и окно выходит по ту сторону во двор.

Решетку-то эту теперь за полчаса и младенец высадит, да к тому же, у меня там под камешком и инструмент припасен.

— Ловко, черт его дери! — одобрил с ближайших нар чей-то хриплый голос.

— А как же до этой камеры добраться? — заметил другой.— Зачнем дверь ломать — часовые услышат.

— Эх ты, собачья ноздря: «Двери ломать!» — передразнил его Махнидралов.— Разве других способов нет? Подпоим служивых, а тогда и обработаем дело; всего ведь два часа, больше не понадобится. Атамана в рядно посадим, в окно спустим, а там на дворе часовых успокоить я и сам возьмусь. Стена не высока: один другому на плечи — вся недолга. Птенчик-то желтокрылый конных на постой расставил, пешим нас в этакую слету вовек не догнать, а тут и ноченька — мать родная!

— Денег, братик-голубчик, я не пожалею... еще возьми... у меня в очипке зашиты!..— произнесла с волнением в голосе Ульяна.

— Коли понадобятся... возьму... вот хоть на выпивку.

— Малина! — вскрикнул весело чей-то молодой голос.

— Цыть, куренок ошпаренный,— проворчал кто-то посолиднее.

— Все, брат, хорошо,— заметил одобрительно Андрей,— только как водки здесь добыть?

— А если она, быть может, уже и во двор пришла да к нам на крыльцо идет? — каторжник взглянул из-под бровей на Андрея.

— Да как же ты добыл ее? Когда успел?

— Это я-то, Махнидралов? За два моря ходил, да чтобы этого щенка слепого не провел? Даром, что ли, мы под воротами стояли? Не сумлевайтесь. Водка будет, а покуда ее нет — надо разузнать, в который мешок упрятали атамана. Их здесь четыре: два насупротив, а два по сторонам от нас. Ну-ка постукайте, братцы.

Тотчас же с нар сорвались несколько охотников и принялись стучать в соседние стены.

Сначала постучали направо,— ответа не было. Тогда перешли на левую сторону.

— Вот если бы здесь атаман оказался,— важно бы вышло! — заметил Махнидралов.

Однако на стук не отозвался никто.

— Еще раз постучи, ребята,— приказал он.

Снова постучали — и снова напрасно.

Лица арестантов омрачились.

— Дело дрянь,— начал было каторжник, как вдруг от левой стены послышался слабый стук.

— Стучит!..— вскрикнула радостно Ульяна.

Все насторожились.

Стук повторился еще и еще раз.

— Стучит! — заявил решительно и Махнидралов.— Да только кто стучит? А что, как засадили там какого другого дьявола? А?..

Стук сразу умолк.

Все смущенно замолчали.

— Расспросить часового,— заявил наконец Махнидралов.— Ну, мать атаманша, теперь-то и вынимай свои денежки!

Ульяна быстро подпорола очипок и, вынув из него два червонца, сунула их в руку каторжника.

— Довольно?

— Тяжеленькие,— подкинул их тот на руке,— развяжут болтало! — Ну, ребята, нишкни!

Он взял в другую руку жареную рыбу, паляницу и подошел к маленькому окошку, проделанному в дубовой, окованной железом двери.

Все припали на нары; казалось, вся камера погрузилась в сон, а замершие на нарах фигуры застыли в тревожном ожидании окончания переговоров Махнидралова с часовым.

Шепот каторжника долетал отрывками до их слуха, но ответов часового нельзя было разобрать.

Впрочем, совещание длилось недолго. Минут через пять каторжник возвратился назад, злобный и недоумевающий.

— Не берет, чертов сын! — заявил он коротко уставившимся на него бритым головам.

— Денег не берет? — прошептали даже с каким-то ужасом товарищи.

— И не взглянул... Кремень, а не человек!

— Что же делать? — прошептала упавшим голосом Ульяна, беспомощно оглядываясь на Явтуха и Андрея.

— А може, он и не в этом доме упрятан? — заметил гигант с всклокоченною бородой.

— «Не в этом доме»! Эх ты, борода! — передразнил его Махнидралов.— В каком же другом болоте был бы он, коли не в этом? Нас то, дура-головка, за воротами нарочито оставили, чтобы мы не разведали, куда атамана упрячут. Здесь он. Да ты, мать, не бескуражься,— обратился он к Ульяне.— На водку надежда. Услышит дух — не выдержит. Да вот, кажись, и она, голубушка.

Действительно, у форточки, проделанной в двери, послышался какой-то шорох.

Каторжник подбежал к окну и увидал пожилого солдата с черными баками.

— Ну что, дяденька, раздобыл? — прошептал он.

— Получай,— ответил коротко солдат, просовывая в форточку одну за другой четыре зеленые бутылки.

— Пятую себе оставь,— указал Махнидралов на пятую бутылку.— Попотчуй и тех, что на дожде мокнут.

— Дело,— мотнул головой солдат.

— О чем шепчешься? — подошел в это время к двери часовой.

— Да вот кипяточку партии принес.

— Знаем мы этот кипяток. Смотри!

— А что ж, братец, продрогли мы до костей, погреться не грех,— заметил заискивающим тоном каторжник.— Чай, и твоей милости не душно. Пропустил бы стаканчик чайку? А? Мы ведь с нашим удовольствием.

— Резонт,— поддержал солдат.— В этом-то коридоре, ровно как в погребе... Одна печь на весь коридор и топится.

— Ну, ну, ты... помалкивай! — прикрикнул на солдата строгий часовой.— Смотри, как бы начальнику не доложил, а ты — брысь! — повернулся он к Махнидралову.— Коли что взял, полезай под нары — и молчок...

— Ишь, старовер [82] проклятый! — проворчал сердито солдат, удаляясь от старого часового.

Махнидралов подождал, пока служивый скрылся, и снова обратился с приятным предложением к суровому аргусу, но тот так грозно прикрикнул на него, что каторжник едва не уронил своих бутылок и поспешно скрылся в глубине камеры.

Все присмирели и с минуту нерешительно переглядывались друг с другом.

— Старовер! — наконец прошипел Махнидралов.— Ну встретимся как-нибудь с тобой по вольному житью!..

— Что ж теперь? — прошептала снова Ульяна.

Никто не отвечал.

Дело, казавшееся сначала таким легким, начало неожиданно наталкиваться на самые неожиданные осложнения...

— Солдат сболтнул, что печь в коридоре одна топится,— заявил наконец угрюмо каторжник,— значит, атаман здесь, рядом с нами; это он к нам отзывался... не стали бы его морозить... Должно, хотят довезти живьем.

— Так, так! — зашептала радостно Ульяна.— Научи же, голубь, что делать?.. Братики родные, помогите вывезти атамана на волю!.. Помогите, родные: ведь его на смерть закатуют, замордуют, ведь ему сто смертей зададут, а он за вас головы своей не жалел... Ой братики! Все добро, все золото вам отдам, батрачкою наймусь!

— Эх, матушка! — крикнул Махнидралов.— Это мы по вольному житью за деньги работаем, а в неволе по чести живем. Слыхала: все порешили за атамана головы положить, да что делать? Вещь ясная! Пробраться к атаману в камеру, высадить решетку и вынести его сквозь окно, да как в камеру пройти? Никак втихомолку дьявола не пришьешь, — блеснул он глазом в сторону часового, — а при нем из камеры не выдерешься. Вот и стоп!

— Спросить бы атамана, он придумает все, со дна моря вынесет! — заметил Андрей.

— Верно, верно! — поддержал Явтух и другие.

— «Спросить»,— передразнил их каторжник.— Еще короче сказать ему, что решетка подпилена; так он, может быть, и без нашей помощи ухитрился бы уйти. Да как сказать? Вот вы о чем маракуете! Двери начнем ломать — часовой услышит, подымет тревогу. Стена каменная, ее за ночь не разберешь...

Все снова насупились... Загадка начинала казаться неразрешимой. Ульяна с мольбой и с надеждой переводила глаза с одного лица на другое, но все сидели молча...

— А через печку? — крикнул вдруг тихо Явтух.— Ведь она, должно быть, и в его камеру выходит.

Махнидралов быстро повернулся к Явтуху, и лицо его просияло.

— Верно, старина! Ишь ты, ведь все смотрели, и никому в голову не пришло, а он додумался!.. Ну, братцы, подставляй спины, остальные ложись на нары да блюди за «оком».

В полутемную угрюмую комнату снова влетело оживление. Со страстной горячностью ухватились арестанты за новую идею. Мысль освободить знаменитого атамана, а может, с его помощью освободиться самим, вспыхнула ярким огнем в их мрачном существовании и зажгла воодушевлением все сердца.

В этом желании слилось все: и гордость арестантская, и проснувшаяся снова удаль, и страстное желание выпустить на волю дорогого батька, и жажда свободы, и жгучее желание устроить неожиданную неприятность начальству.

Каторжник взобрался на плечи седоватому гиганту и, открыв душник, заговорил в видневшуюся над ним дыру.

Все замерли в ожидании.

Махнидралов помолчал и затем снова повторил свой маневр.

Опять все насторожились.

— Может, не слышит... громче попробуй,— прошептал Андрей.

— А может, не в силах и встать,— простонала Ульяна и до боли стиснула свои руки.

Махнидралов почти крикнул в трубу.

Опять наступила тяжелая, томительная минута ожидания.

Как вдруг каторжник обратился к товарищам и произнес торопливо и радостно:

— Говорит, слышу...

Облегченный вздох пронесся по камере. Подавленное всхлипыванье вырвалось из груди Ульяны, и, обессиленная горячей радостью, она почти упала на ближайшие нары.

— Что говорит? — раздалось сразу несколько нетерпеливых голосов.

— Тише... не разберу,— прошептал каторжник, не отрываясь от душника.

Все застыли.

Долго стоял Махнидралов, припав ухом к душнику, наконец снова повернулся к камере и заявил смущенно:

— Не разберу. Гудит что-то, а что — не разберу. Полезай кто другой.

— Я,— вырвался Андрей,— я голос батька и сквозь воду услышу!

Он быстро вскарабкался на плечи товарища и припал к отдушине.

Долго стоял он так, то выкрикивая в трубу короткие фразы, то припадая к ней ухом; наконец и Андрей повернулся к товарищам и мрачно объявил, что голос атамана слышен, а о чем он говорит — нельзя разобрать ни слова.

Уныние охватило всех. После вспыхнувшей ярким пламенем надежды разочарование показалось еще более горьким.

Вызвалась еще Ульяна разобрать слова атамана, но и ее попытка окончилась полным неуспехом.

— Ну что ж... видно, не судьба... Еще и в дороге попробовать можно...— раздались в нескольких группах угрюмые замечания.

— Нет, братцы,—возразили вместе Явтух и каторжник,— коли теперь не обделаем дела, то уж в дороге — конец! Не сделаем ничего...

— А вот что: попробуем-ка еще подкопаться под стену,— продолжал Андрей.— Стена, должно быть, потом поставлена, глубоко не придется копать; у меня нож есть.

— Есть нож и у меня... И у меня! — раздалось несколько голосов.— Можно попробовать...

Но уже в тоне этих голосов слышалась неуверенность в результате нового предприятия.

Однако несколько человек, в том числе Явтух, Андрей и каторжник, принялись молча за работу.

Время шло. Никто не спал; все с напряженным вниманием следили за результатом усилий товарищей; уставших сменяли другие, но делалось это уже без одушевления, а, казалось, лишь для того, чтобы иметь возможность с полным правом сказать себе, что для спасения атамана было испробовано все, что только возможно.

Со двора доносился шум дождя, смешивавшийся с тихим шорохом работавших у стены рук.

Ульяна сидела здесь же, молча стиснув руки, и словно застыла в мрачном отчаянии. Она хотела копать землю наряду с другими арестантами, но товарищи не допустили ее, и это бездействие томило ее больше другой жаркой работы. Она уже устала бешено рваться всеми помыслами к обожаемому атаману, быть может, умиравшему в эту минуту за каменной стеной,— теперь ею овладело тупое отчаяние. Глаза ее машинально следили за движениями рук арестантов, а в голове словно гвоздилась одна и та же мысль: «Не успеют... не выйдет... не будет ничего...»

Приблизительно такое же настроение охватило, повидимому, всех арестантов, хранивших глубокое молчание.

Реакция настроения овладевала мало-помалу и копавшими яму,— молча работали они, убеждаясь с каждым выброшенным комком земли, что затея их не приведет ни к чему.

— Петухи поют... Скоро свет...— заметил наконец коротко седоватый гигант.

Это простое замечание подействовало на всех как сигнал.

— Будет,— заявил решительно Махнидралов, бросая нож,— не докопаться: стена капитальная.

— Еще аршина два копать! Не только до света, до вечера не справимся!..— подтвердил другой.

Андрей молча ткнул длинным ножом в землю и так же молча вытянул его назад: лезвие скользнуло вдоль каменной стены по самую рукоятку, и видно было, что и дальше в глубину шла все та же каменная стена. Явтух взглянул в выкопанную яму и не нашелся что возразить...

Все переглянулись.

Даже Ульяна не проронила и слова.

Тяжелое молчание водворилось в камере. Все поняли, что дальнейшие усилия не приведут ни к чему, но никто еще не решался высказать вслух эту мысль.

— Дождь лупит...— заявил вдруг тихо с нар чей-то хриплый голос.

— Ну так что ж? — отозвался другой каторжник.— Завтра не пойдем, а утро вечера мудренее.

— Это что же, по-твоему, побоятся, что мы от дождя растаем? — переспросил насмешливо первый.

— Мы-то не растаем, а дороги все распустит; такой здесь край. Уж это верно, коли дождь к утру не угомонится — не пойдем.

И снова все замолчали.

Каторжанин медленно расправился, стряхнул с себя землю и направился к печке. Все невольно повернули за ним головы.

Низкий лоб каторжника, казалось, надвинулся еще ниже на глаза; глубокая складка кожи, пересекавшая его от волос к переносице, вздулась, обнаруживая упорное решение, овладевшее этим угрюмым человеком.

Он указал знаком одному из товарищей подставить плечи, взобрался снова к душнику и, просунув в него руку, начал ощупывать что-то всередине.

— Давай нож! — скомандовал он наконец ближайшему соседу.

В одну минуту требование Махнидралова было исполнено.

Несколько душ столпились возле него, молча следя за всеми его манипуляциями.

При помощи ножа каторжник выковырял железную раму душника и, расширив таким образом отверстие, засунул в него по плечо руку.

— Идет,— произнес он, тяжело переводя дыханье, и обернулся к товарищам,— лицо его было красно от усилий, крупные капли пота покрывали лоб, но глаза каторжника глядели уже веселее.

— Эх, нет лома! Давай хоть гирю какую либо дубину!

Все в камере оживились. Тотчас же шарахнулись по нарам, и через минуту к Махнидралову протянулось несколько рук со множеством всевозможных импровизированных инструментов.

— Ну, ладно, будет... Засыпайте яму, да так — чтобы следа не осталось; остальные ложись по нарам, да духа (часового) с глаз не спускай.

Арестанты разошлись и снова улеглись на нарах; двое принялись засыпать и утаптывать яму, но несколь-

ко самых горячих, в том числе друзья Кармелюка, все-таки столпились вокруг каторжника.

К счастью, печка помещалась так глубоко в углу камеры, что часовому не видно было ее из окошечка, проделанного в дверях.

Обступившие каторжника товарищи, затаив дыхание, следили за его работой.

— Слушай, старина, пусти-ка еще меня,— не выдержал наконец молодой арестант.— Я ведь сызмальства в печниках был.

— Чего ж молчал, дьявол! — рявкнул на него каторжник, вытягивая из душника руку, покрытую кровавыми ссадинами.— Печник, печник! А не надоумил раньше ход в печке пробить. Ишь ты, хайло, соленые уши! Плевать в твои бесстыжие шары (глаза), вот что!

— Да не пришло сразу в голову, дяденька.

— Ну, ну тебя к дьяволу, полезай уже скорее, а то уморился!

Каторжник слез с плечей товарища и, отирая пот с лица, прислонился к печке.

Молодой печник принялся рьяно за работу. Минут через двадцать послышался в печке глухой шум от падения камня одного и другого, и в то же время у окошечка раздался окрик часового:

— Что за шум?

— Пучеглазый с нар свалился,— ответил сонным голосом гигант, приподнимаясь на нарах.

— Ишь ты, глот енисейский! — проворчал одобрительно Махнидралов.

— Дьявол, прямо дьявол!— раздался дружеский шепот в углах.

Минуты две в камере стояло глухое молчание, прерываемое лишь искусственным храпом.

— Полезай же, полезай скорее! — не выдержала Ульяна и дернула каторжника за рукав.

— Тише, мать, сейчас!

— Батько, батько голос подает,—перебил Махнидралова радостный шепот Андрея.

Действительно, все услыхали глухой звук, раздавшийся в печи.

В одно мгновенье Андрей вскочил на плечи товарищу и припал ухом к душнику.

— Жив, не помер,— объявил он радостно, оборачи-

ваясь к Ульяне,— нога не сломана, только ступить на нее никак не может. Спрашивает, чего так долго с печкой возились?

— Ну, всего ведь сразу не осилишь! — проворчал каторжник, широко улыбаясь.— Ты вот ему об окне скажи, пусть решетку попробует, коли сможет до нее добраться.

Андрей снова припал к душнику, но через минуту повернулся к столпившимся вокруг него товарищам и объявил растерянно:

— Батько говорит, что в камере ни одного окна нет.

— Как нет?— вскрикнул каторжник.— Куда же оно к дьяволу подевалось? Да ты не расслышал, что ли?!

— Слышу,—ответил Андрей, но все-таки припал еще раз к душнику и после короткого обмена фраз с Кармелюком снова обернулся и заявил решительно: — Нет, говорит батько,— голый мур кругом.

— Анафемы! Чертово семя проклятое!..— зарычал Махнидралов.— Это они его замуравили, подлые. Стой, пусти меня, я ему расскажу, где искать... Может, недавно... не вывели ж они, ироды, новой стены?!

Махнидралов принялся разъяснять Кармелюку, где должно находиться окно, в котором он подпилил решетку.

Долгое время из камеры атамана не слышно было никакого ответа. Наконец до слуха каторжника долетел глухой голос:

— Есть, отыскал, заложено камнями... Должно быть, недавно... Глина еще мягка...

— Ну и ладно! Выломаем! Хотим тебя освободить, атамане! — крикнул обрадованный Махнидралов.

— Трудно,— послышалось в ответ,—ступить не могу, нести меня надо.

— Есть в чем и нести. Говори только, что делать.

— Трудно.

— Нас сорок, все за тебя пойдем.

— На смерть, на муку, всюду за тебя! — вскрикнула невольно Ульяна, услыхав слова каторжника.— Скажи ему,— дернула она его, что здесь и я, и Андрей, и Явтух, что мы за него, за сокола нашего, живыми в огонь бросимся...

— Ладно, ладно, атаманша, не горячись. Теперь уже

надежда есть...— И Махнидралов передал Кармелюку в трубу слова Ульяны.

— Спасибо за доброе слово атаманше, друзьям и вам, детки,— послышался ответ.— Будем еще пировать на воле. Слушайте ж и делайте все так, как я вам буду говорить.

И долго говорил в трубу Кармелюк.

Шпанка жадно внимала долетавшим до нее словам.

А дождь все лил да лил, разрыхляя чернозем, затопляя пути.

На утро громкие окрики часового разбудили шпанку на проверку. Позевывая и протирая заспанные глаза, скатывались все с нар и начинали поспешно умываться; умывание это производилось весьма просто: каждый набирал в рот глоток воды, выпускал его на руки и этим количеством влаги омывал и руки, и лицо, а утирался краем грязной сорочки.

В семь часов утра явился на поверку смотритель. С ним следовало прийти и корнету взглянуть на главного арестанта, но ему целую ночь не везло, а под утро не хотелось прерывать счастливого пасса... Да и смотритель, как любезный хозяин, обещал сам осмотреть и, кроме того, заверил своих гостей, что из его мешка и блоха не выскочит.

Смотритель остался весьма доволен видом арестантов. Он объявил им, что ввиду непрерывного дождя партия остается на сегодня в тюрьме и что в его тюрьме арестантов выпускают только на прогулку, а так как сегодняшняя погода прогулке не благоприятствует, то они все должны оставаться в камере на замке; выход же в коридор здесь строго воспрещается, так чтобы и не просили...

Такая речь в иное время могла бы сильно взбудоражить арестантов, но в этот день шпанка отнеслась к речи смотрителя почти равнодушно.

В заключение смотритель осведомился, не имеет ли кто претензий или какой-либо просьбы.

Претензий не заявил никто, а только Ульяна обратилась к смотрителю с просьбой поместить ее в отдельную камеру. Законное желание Ульяны было тотчас же удовлетворено; смотритель даже рассердился за допущенное вчера нарушение правил и приказал перевести немедленно Ульяну в одиночку, приходившуюся против

общей арестантской камеры. Заперши арестантов, смотритель перешел в камеру Кармелюка. В этой каморке сразу трудно было рассмотреть что-либо. Стены ее были кругом наглухо заделаны, и слабый свет из коридора проникал только через небольшое окошечко, проделанное в дверях. Смотритель остановился на пороге, не зная, куда ступить, и обратился к часовому:

— Жив?

— Должно, жив, ваше благородие,— шевелится!

Через минуту глаза смотрителя привыкли к темноте, и он различил под левой стеной на нарах бесформенную груду, прикрытую арестантским халатом.

Он подошел к Кармелюку и остановился у него в головах. Глаза последнего были полузакрыты.

— Ну что, брат, каково?

— Помираю, ваше благородие... Все нутро горит... Кваску бы мне испить... да уксусу на ногу... уж не чую ее...—произнес едва слышно Кармелюк, не подымая век.

— Ну что, это можно...— согласился смотритель, не взглянув даже на ногу Кармелюка, с полным убеждением, что этот человек до вечера не дотянет.

Замкнув собственноручно двери, он приказал служителю поставить Кармелюку и уксусу, и квасу, еще раз повторил приказ часовому не выпускать никого в коридор, наказал о том и старшему и, подняв воротник шинели, отправился домой к своим гостям.

Дождь лил не умолкая, застилая все окрестности серою колеблющейся пеленой. Быстро пробежал смотритель небольшое расстояние, отделявшее его домик от тюрьмы, и с удовольствием юркнул в двери своего теплого жилища.

Только крайняя необходимость могла заставить кого-нибудь выйти со двора в такую погоду... Дорога, проходившая мимо тюрьмы, была пустынна: никто по ней ни ехал, ни шел... Часовой, и тот не шагал вдоль стены угрюмого здания, а старался прятаться за передний выступ тюрьмы, образовавший нечто вроде навеса.

Часов в десять солдаты внесли арестантам горячий борщ... Обед прошел тихо, смирно, без шуток, без споров, без лишней болтовни. Только каторжник пошептался с одним из солдат и сунул ему в руку взятый еще у Ульяны червонец. Из водки, принесенной накануне, выпили только одну бутылку, остальные две, а также

и большую часть закуплённой пищи припрятали на вечер.

После обеда арестанты снова растянулись на нарах; мерный шум дождя нагонял сон, да и надо было отдохнуть, понабраться сил: предстояла тяжелая, страшная ночь. Кто спал, а кто прикидывался спящим, но громкий храп арестантов наполнял коридор. Если бы не этот храп, смешавшийся с шумом дождя, и если бы часовой прислушивался внимательнее, то он услыхал бы легкий, но беспрерывный шорох в камере Кармелюка... Должно быть, это скребла назойливая мышь... Но мышь не тревожила часового.

Офицеры благодушествовали и не выходили из маленького домика смотрителя... После раннего сытного обеда всхрапнули немного, а затем снова присели к зеленому столику. В тюрьме было все благополучно, а потому все в глубине души были довольны тем, что дурная погода подарила им два дня отдыха.

Только перед вечером в камере арестантов стало замечаться какое-то оживление. Раза два подымался каторжник к печке и затем с довольным лицом шептался о чем-то с товарищами... Ульяна тоже зашевелилась в своей каморке,— то и дело подходила она к окошечку и с скрытым волнением посматривала на противоположную дверь, за которой заперты были сотоварищи.

— Надо дать знак бабе, что дело на лад идет,— прошептал каторжник, пробираясь к двери, а за ним последовал Андрей.

Ульяна караулила у своего окна. Махнидралов, вытащив серник, зажег его о трут и, улучив минуту, когда часовой повернулся к ним спиной, поднес огонь к форточке и выразительно подмигнул Ульяне.

Ульяна вся вспыхнула и едва удержалась от радостного возгласа. Потом, следя за часовым, проделала тот же маневр с припасенной заранее спичкой и, подведши ее в сторону часового, прихлопнула рукою огонь.

— Ну и баба,— проворчал одобрительно Махнидралов,— и согреть, и сжечь может. Откуда у нее эта сила?

— О чем сговариваетесь? — крикнул грозно часовой, до которого долетели слова каторжника.— Да и огонь словно в камере. Сейчас же крикну на обыск.

— Да что, служивый, это у тебя в шарах блеснуло; я вот смотрю, что бабенка — малина! Первый сорт! —

осклабился Махнидралов, указывая часовому на Ульяну, застывшую у окошечка.— Пусти-ка меня к ней, служивый! А?

Он подмигнул многозначительно бровью; но его фривольное движение не нашло отклика у мрачного часового.

— На место ступай! Прочь от окна! — крикнул он грозно, но все-таки невольно повернулся в сторону Ульяны.

Волненье, тревога, воодушевленье снова переродили красавицу... Следа угрюмых морщин уже не было на ее лице; глаза ее горели, как два черных алмаза, щеки пылали жгучим румянцем, из-за полуоткрытых губ сверкали два ряда зубов, крепких, острых, блестящих; каждая жилка красавицы трепетала от затаенного волнения... Часовой скользнул злобным взглядом по лицу Ульяны и проворчал сердито:

— Чего прильнула к окошку? Чего глаза пялишь? Назад! На свое место!

Снова в коридоре водворилась тишина, нарушаемая стуком мерных шагов солдата...

Быстро надвигалась осенняя тьма.

Арестанты уже не лежали, а теснились группами на нарах, тихо перешептываясь между собой.

— Проймет али не проймет? — шептал молодой печник, обращаясь к седоватому гиганту.

— А тебя уж и сейчас подмывает,— огрызнулся тот сердито.

— Что ты, дяденька, я ведь так только, для дела,— сконфузился даже арестантик.

— Напильники есть? — спрашивал тихо в другой группе Махнидралов.

— Есть! — отвечал также шепотом Явтух.

— Так вот что, братцы, сейчас после проверки — за работу. Кто сам умеет разуваться (сбрасывать кандалы), разувайся сам, а кто не смышлен, бери напильник, да только тихо... чтобы никто не услыхал. Да вот еще,— обратился он уже ко всей камере,— водки не пить, так только, для виду... напьешься уже на воле...

— Само собой... Что толковать! — раздалось кругом глухое ворчанье.

— А что, как там?

Андрей взглянул выразительно в сторону печки.

— Ну и силища ж! Сокол, а не человек...— послышались из разных групп одобрительные замечания.

— Цыц! — перебил вдруг всех каторжник.— На крыльце стучат, баланду (горячая пища) несут... Ну, ребята, не плошай!

Действительно, двери в коридоре хлопнули и в него вошли два конвойных солдата, неся на длинной палке большую деревянную лохань, полную какой-то горячей пищи, распространявшей от себя пар и запах капусты. За ними шел с ключами помощник смотрителя.

Он отворил дверь камеры, и солдаты внесли лоханку.

Каторжник нагнулся и достал из-под нар большую зеленую бутыль и небольшой шкалик.

— Ишь ты, машкара, приберег...— осклабился солдат.

— Для милого дружка и сережка из ушка!

Он налил шкалик и поднес солдату.

— Что у тебя вид хмурый?

— Да как не хмуриться! — солдат опрокинул шкалик и отер рукавом губы.— Начальство тоже! Я и на караул назначен, и лохань неси... Разве нет никого помоложе?

— Ты на караул к нам назначен? — переспросил поспешно каторжник.

— Это сюда, думаешь? — солдат повел глазом в сторону коридора.— Ну нет, сюда старикашка здешний своих только ставит,— есть у него этакие верные,— а меня в такой дождь, что добрый хозяин и собаки из хаты не выгонит, караулить двор ставит, месить грязь вдоль стены...

LXXXVII

Арестанты дружно продолжали угощать веселых и доверчивых солдат.

— Выпей на дорожку, чтобы не отморозить ножку,— сказал старшему солдату каторжник.

— И то не шутка отморозить,— проворчал старший солдат, протягивая руку к шкалику, и духом опрокинул его в горло...

— А где же закусочка наша, ребята? — обратился каторжник к товарищам.

Тотчас же вынуты были из-под нар закупленные Андреем припасы, и компания пришла в самое веселое настроение духа.

— А чай, и Ермошка не прочь немножко? — усмехнулся каторжник и поднес шкалик молодому солдату.

— С нашим удовольствием! — осклабился Ермошка и осушил шкалик.

— Поднести бы и тому? — заметил Андрей, указывая глазами на расхаживавшего в коридоре часового.

— Ни-ни, не трожь! — даже прикрикнул старший солдат.— Хмельного в рот не берет, старовер проклятый, оттого-то ему и такое доверие от смотрителя. Целую ночь здесь шагает и не вздремнет, а чтобы водки, так и... Не то чтобы пить, а одного духу ее, голубушки, слышать не может!

— Анафема! — обругался с притворным возмущением Явтух.

— Ирод! — поддержали его другие.

— А почему ты думаешь, что начальник ему так верит? — переспросил солдата каторжник, поднося ему снова стаканчик.

— Да как же,— заволновался уже раскрасневшийся солдат,— целу ночь ведь он здесь дежурит без смены — это раз, а второе,— он понизил голос и произнес, оглядываясь на всех с таинственно-торжественным видом:— у него ведь, говорят, и вторые ключи от камер хранятся.

Все кругом как-то невольно шевельнулись.

— Ой ли? — переспросил недоверчиво каторжник.

— Право слово,— подтвердил солдат.

— Ну, а насчет баб как? Тоже строг? — подмигнул выразительно Махнидралов.

— Ну этот товар он любит...— ответил с циничной усмешкой солдат.

Замечание его было покрыто взрывом соответствующих шуток.

Началась веселая попойка. Арестанты сами пили мало, а больше потчевали солдат, так что когда часовой крикнул наконец, чтобы строились на поверку, то и старший солдат, и его молодой спутник с большим трудом поднялись с мест и, заметно покачиваясь, понесли из камеры лоханку.

Поверка прошла благополучно.

Смотритель сначала не принимал участия в игре, а после обеденного отдыха соблазнился присесть к своим гостям и попытать счастья. Карта, другая, третья — увлекли его окончательно. Вскоре появились на столе бутылки, и азарт захватил всех. Ко времени поверки никто не захотел оторваться от игры, и поверку поручили произвести старому унтеру—помощнику смотрителя.

Он зашел в общую камеру, зашел к Ульяне и заглянул на мгновенье в камеру Кармелюка... Кармелюк лежал на лавке и только тяжело дышал. На вопросы унтера он не ответил: должно быть, сознание его было притуплено. Окончательно успокоенный состоянием главного преступника, унтер запер камеру, осмотрел всюду замки и пробои, еще раз повторил часовому приказ смотрителя не выпускать никого в коридор и отправился с докладом к начальству.

Громко хлопнула за ним дверь в сенях, донесся еще отдаленный шум шагов, и все смолкло.

В камере арестантов стало так тихо, что слышно было дыханье более волнующихся лиц.

Прошло с полчаса в таком напряженном ожидании; наконец Махнидралов не выдержал и громко откашлялся. В ответ на него послышался слабый кашель из камеры Ульяны, и снова все смолкло.

Часовой шагал по коридору.

— Чего стоишь у окна?! Ступай на место! — услыхали вдруг его окрик арестанты.

— Начала,— шепнул радостно Андрей.

— Скучно одной мне, служивый! — донесся до арестантов ответ Ульяны.

И хотя в словах ее не было решительно ничего особенного, но тон, которым они были произнесены, был полон такой вызывающей страсти, что даже Андрей и Явтух не узнали голоса атаманши, а седой гигант не смог удержаться от одобрения, мотнул головой и прошептал:

— Ну и баба ж! Ожгла!

— Молчи! Шуметь не велено! — оборвал Ульяну грозный часовой.

Но красавица поняла не так приказание начальства.

— Жутко, холодно мне одной,— продолжала она, понижая до шепота свой голос, ставший вдруг каким-то

необычайно мягким, певучим,— а ночь-то — как море... душу теменью мнит...

— Чего ж просилась в одиночку? — отрезал часовой грубо, но уж не так сурово.— А ты подальше, подальше от оконца.

— А ежели поближе? — подморгнула Ульяна и ожгла таким взглядом солдата, что у него встрепенулось сердце и спина вздрогнула, словно от электрического тока.

— Ну, ну... ты! — хотел было выругаться часовой, но только глазами повел на дверь Ульяны и, отвернувшись, сердито зашагал по коридору, отчеканивая каблуками повороты.

— А что ж, ты думаешь, что разбойница я?— затронула Ульяна снова часового после непродолжительной паузы, когда он поравнялся с ее дверью.— Нет, не разбойница я, а вольная птица с буйною душой,— это правда. Не была ничьей, а жила так, как мне угодно было, как моему сердцу любо было!

— Будто? — солдат снова приостановился у ее дверей.— И так-таки никакого начальника ты над собой не имела?

— Никакого, кроме вот этого сердца! — Ульяна распахнула корсетку. Под расстегнутой сорочкой ясно обрисовалась ее молодая упругая грудь... Свет от висевшего в коридоре фонаря падал на оконце, из которого выглядывало, словно из рамы, лицо Ульяны, горевшее дикой, демонской страстью.

«Эх, не два раза жить на свете, а раз! Сегодня наш час, сегодня наш день! Что там и думать про завтра!»— казалось, говорили огненные глаза красавицы.

— Вот как?.. Никто?..— мотнул солдат головой и отчего-то вздохнул.

— Да, вольная я,— продолжала Ульяна с возрастающим волнением.— Погубили родители мою душу, за нелюба отдали, а сердца не окрутили: ушла я от мужа и бродяжу, а сердце отдам разве только тому, кто мне люб будет.

— Значит, ищешь все этого любого? — моргнул в свою очередь и солдат.

— Ищу, а может, и нашла. Вот ты мне люб,— выпалила неожиданно Ульяна,—и не боюсь я сказать правду в глаза. Может, и не стоющий ты, а люб, да и квита!

— Вот как! Ишь ты...— смутился солдат и покраснел, как бурак.— Смеяться вздумала!

— Ей-богу, не смеюсь, а вот сердце мое к тебе тянет.

— Да ну тебя! — отмахнулся рукой солдат и снова зашагал по коридору.

До слуха арестантов донесся вздох Ульяны, такой глубокий, манящий, дразнящий...

Ульяна заговорила шепотом, словно в истоме:

— Да остановись... скажи ж хоть слово... или ты боишься? Или у тебя сердца нет в груди?

— Тише! — произнес шепотом часовой и стал осматриваться на все стороны. Кругом было тихо, только дождь глухо стучал о черепицу и захлестывал при порывах ветра в узкое окно в коридоре.

Часовой стал подходить к каждой камере прислушиваться, а потом закрыл на всех дверях железными заслонками форточки.

В камере арестантов стало совершенно глухо и темно. Но шаги часового неизменно звучали в коридоре, только окрики его раздавались все реже и реже и наконец совсем прекратились.

— Клюет, волк меня зарежь, клюет! — прошептал с восторгом каторжник.

Все насторожились.

Опять наступило молчание. И вот снова раздался шепот Ульяны, а вслед за ним голос часового, уже не такой суровый. Вот на минуту остановились его шаги. Послышался смех Ульяны, дразнящий, опьяняющий...

Шпанка замерла на местах, не решаясь приподняться, чтобы не вспугнуть неподатливого солдата... но шаги часового зазвучали снова.

— Дьявол, прямо дьявол! —не выдержал каторжник и даже сорвался было с места, как вдруг часовой круто повернул, и шпанка ясно услышала тихое щелканье замка...

Этот слабый звук произвел на всех такое впечатление, что многие из арестантов приподнялись на своих местах. Не было сомнения — часовой вошел в камеру Ульяны.

В коридоре было тихо, как в гробу.

— Справится ли только? — прошептал печник.

— Это наша-то атаманша? — возразил с гордостью Андрей.— Да она одна и на медведя пойдет!

— Верно, верно! — подтвердил Явтух.

— Ну, ребята, теперь терять минуты нельзя! — перебил их каторжник.

Все стряхнули с себя очарованье первой минуты и столпились возле него.

— Мечите жребий скорей: кому к Кармелюку идти, кому здесь остаться.

В одну минуту устроено было дело. Вокруг зажженного огарка сальной свечки столпились арестанты и начали тянуть из шапки заранее приготовленные из хлеба шарики.

Оказалось, что идти к Кармелюку в камеру выпало Явтуху, каторжнику, молодому печнику и еще трем арестантам.

— Теперь слушайте все приказ! — заговорил сухо и отрывисто каторжник, обращаясь к столпившимся вокруг него бритым головам, тускло освещенным сальным огарком.— Коль атаманше удастся сделать дело — ты, Андрей, ступай и спрячь часового, а сам оденься за него, ты на него больше всех лицом смахиваешь, да и голова у тебя не обрита. Ну, и шагай на часах. Мы же все, кого доля указала, айда к атаману — помочь ему в работе, а когда все уж будет готово, тогда знак вам дадим, и зачинайте вы бунт. Ты, Кожа,— обратился он к седому гиганту,— старшим будешь. Глоток не жалейте, чтобы не слышно было нашего шуму, а ты, Андрей, метнешься к начальству, известить, что — бунт, а там смекай, как вызволить бабу да самому унести ноги... А мы понесем атамана в рядне. Бунтарьте долго, ребята, чтобы подольше с вами провозились, дайте нам время дальше уйти. Пешие даже не бросятся за нами по этакой погоде в погоню, а лошади у них, сторож говорил, на постоялом дворе. Пока хватятся, пока за верховыми пошлют, а мы за это время до лесу доберемся. Ну, а там уже — шут им поможет! Ночь филипповская темна да длинна, а дождь следы до утра смоет. Памятуйте ж, ребята: будет удача, осилите часовых — бросайтесь в разные стороны по степи, направляйтесь рвами, лощинами к лесу, ну, а не возьмет ваша сила на этот раз — осилите в другой.

— Ладно, ладно...— раздалось кругом.— Понимаем дело.

— То-то ж,— начал было каторжник и вдруг остановился.

У дверей послышался шорох... Все оглянулись...

Железная форточка приподнялась, и в образовавшемся окошечке показалось бледное как полотно лицо Ульяны.

— Пришила,— прошептала она.

На минуту все занемели, но тотчас же с лихорадочною быстротой принялись за работу.

При помощи добытого Ульяной у часового ключа отперли камеру, и шесть арестантов с Андреем во главе выбрались в коридор.

Андрей вошел в камеру Ульяны, а сама она не вытерпела и, подбежав к оконцу Кармелюка, шепнула:

— Жив, батьку?

— Спасибо, друже! — ответил Кармелюк, и голос его прозвучал твердо и повелительно: — Эй, дети, за работу скорей!

Андрей уже стоял в мундире часового.

— Ловко! — одобрил Махнидралов.— С пьяных глаз и не узнаешь.. Ключ от атаманской камеры подавай!

Андрей пошарил в карманах, но ключа не нашел: или он выпал из кармана часового, когда тот свалился на пол, или смотритель не доверил его и часовому.

— Ну и черт его дери, справимся и так! — Махнидралов махнул рукой и в сопровождении своих товарищей бросился к камере Кармелюка.

В несколько минут общими усилиями им удалось оторвать пробой от дверей, и все шесть фигур скрылись за дверьми.

В коридоре стало снова так же тихо. Казалось, что здесь не произошло ничего особенного; только шум, доносившийся из камеры Кармелюка, свидетельствовал о спешной работе, производившейся там...

Впрочем, арестантам осталось немного работы: за день Кармелюк успел разобрать окно до половины.

При помощи уксуса и кваса он размочил известку, осторожно выцарапывал ее и складывал на нары, вынутый же камень вставлял снова; на случай появления смотрителя, в камере не могло быть обнаружено никакого беспорядка: камни торчали все на местах, а на

рассыпанную на нарах известку ложился сам Кармелюк.

Усиленный дневной труд обессилил атамана, и он теперь лежал на нарах, только присматривая за работою товарищей.

Она быстро подвигалась вперед.

Ветер выл, дождь хлестал, шагов часовых под стенами здания не было слышно.

Прошел час такой усиленной работы, и вот наконец дверь в коридор отворилась и Явтух объявил шепотом:

— Пора!

В ту же минуту в камере арестантов начался сначала глухой шум, а через несколько времени этот шум, смешавшийся со страшным звоном цепей, перешел в дикий рев.

Андрей схватил Ульяну за руку и быстро выбежал с ней на крыльцо.

Здесь стоял и дремал другой часовой.

— На помощь! Сюда! — крикнул ему Андрей.— Арестанты взбунтовались!..

Дремавший часовой вздрогнул и взглянул бессмысленными глазами на Андрея.

— Бунт! — крикнул ему еще раз Андрей.— На помощь!

До слуха солдата донесся из открытых дверей коридора дикий рев, и, не расспрашивая больше Андрея, он кинулся туда, а Андрей выбежал на тюремный двор, держа Ульяну за руку...

Главная опасность миновала: они были уже во дворе тюрьмы. Но на дворе вокруг здания этапа должны были расхаживать еще двое часовых, у запертых ворот также стоял часовой, да тут же помещалась караулка для конвойных солдат.

На мгновенье Андрей остановился, не зная, что предпринять, но в следующую же минуту бросился в ту сторону, где должен был находиться подвыпивший солдат. Он действительно был здесь, но только не ходил, как ему полагалось, вдоль стены здания, а стоял, прислонившись к выемке в стене, образовавшей нечто вроде ниши, и явно похрапывал.

— Ну этот не опасен,— шепнул Андрей,— если и растолкать его, так он растянется в луже... а вот тот, что сидит...

— Тот не был у нас и не пил,— ответила Ульяна.

— Гм... нечего делать... може, и он из тех староверов, какой был в коридоре...

— Так что ж? — сверкнула глазами Ульяна.— Не пропадать нам из-за падла... пришить!

Андрей мотнул головой в знак согласия и шепнул:

— Скорей! Шевелись!!

И, подбежав вплотную к часовому, он вдруг заметил, что последний встал и взялся за курок, воззрясь в кучку теней у угла тюрьмы.

Ждать было нельзя и минуты,— Андрей размахнулся ружьем и всадил ему штык в грудь.

— Ну, теперь сюда! — прошептал Андрей, бросаясь с Ульяной к высокой стене, окружавшей двор.

У стены были сложены дрова.

С быстротою дикой кошки забрался Андрей на них и помог выбраться Ульяне.

Над дровами стена возвышалась еще на аршин, вершина ее была утыкана острыми половинками черепиц, так что уцепиться за нее не было никакой возможности, но для Андрея это не составляло преград,— положив на стену полено, он стал на него.

— Окрайка на тебе? — шепнул он тихо Ульяне.

— Есть!

— Давай один конец сюда.

Ульяна подала ему конец узкого и крепкого пояса, другим же обвязала свою талию.

— Нож есть?

— Есть!

— Подожди меня здесь за стеной недалеко, я сейчас выбегу из ворот... А если не успею, то отправляйся сама к лесу... Склик — волчий вой...

Ульяна молча кивнула головой и зажала в руке острый длинный нож.

LXXXVIII

Андрей прислушался, и когда шаги часового, маршировавшего вдоль наружной стены, замолкли за углом, быстро спустил со стены Ульяну, а сам спрыгнул обратно во двор; пробежав тюремный двор, он бросился к воротам.

У запертых ворот, возле небольшой калитки, тоже запертой, стоял еще один часовой.

— Беда! — закричал ему Андрей.— Отпирай скорее начальство звать надо: шпанка взбунтовалась, двери ломят...

Ничуть не подозревая в часовом переодетого арестанта, солдат раскрыл перед ним фортку, и Андрей исчез в бушующей тьме ночи, крикнув на бегу часовому, чтобы сообщил унтеру, что в камере арестантов бунт.

— Немедленно сообщить смотрителю! Отправляйся, Шворень! — скомандовал встревоженный унтер.

— Уже побег старовер,— успокоил его часовой.

— Так за мной, ребята, в коридор, там, значит, нет никого! — крикнул унтер и бросился с тремя инвалидами в тюрьму, оставив остальных со Шворнем возле часового.

Пока арестанты выли и потрясали цепями, наполняя диким звериным ревом всю тюрьму, с задней стороны мрачного здания тихо и неслышно выползали из проломленной в стене дыры пять человеческих фигур, а затем вытащили и шестую, которую положили в рядно и, соблюдя величайшую осторожность, потащили к сложенным у стены дровам... Беспрепятственно перебрались они через стену и соскользнули на землю. В это время раздался за противоположною стеной выстрел...

— Тревога!..— вскрикнул каторжник.

— Да, пропало! — простонал Кармелюк и потом торопливо добавил: — Спасайтесь, братцы! Бросьте меня!.. Сейчас налетят коршуны...

— Нет, тебя не бросим! — прошептали другие.— Все дело из-за батька.

— Подхватывай рядно все разом — и бегом! — скомандовал каторжник.

Когда беглецы со своею ношей отошли от стены шагов на пятьдесят и стали опускаться в долинку, за стеною тюрьмы прогремел снова выстрел и раздались крики: «Лови, держи!»

Беглецы прилегли к какой-то луже.

К тревожным крикам: «Лови, держи!» — присоединился еще один голос, а потом еще один, но крики не приближались к долинке, а удалялись...

— Это Андрея отвод,— заметил Кармелюк.

— Верно,— подхватил Махнидралов.— Вперед! Теперь, ребята, наляжьте: по двое на смену.

Двое арестантов схватили рядно с Кармелюком, и все бросились бежать.

— Эх, кабы ноги!..— вырвалось невольно у Кармелюка.

— Ничего, батьку, донесем,— шепнули вместе Явтух и каторжник.

Пробежав некоторое время, Явтух и каторжник должны были остановиться и передать Кармелюка двум другим своим товарищам.

— Ветер крепчает, дождь перестал,— заметил опасливо Кармелюк, посматривая на небо.

Действительно, подул сильный ветер, и тьма стала проникаться тусклым светом.

— Не тревожься, атамане, донесем... А Андрей молодец... Когда б только сам выскочил! — отозвались одни.

— До леса не больше как версты четыре,— успокоил Кармелюка каторжник,— а те бараны не скоро очухаются...

Когда раздался выстрел, Шворень бросился на звук, и, пока окликал часового да искал его, прошло несколько минут. Потом, наткнувшись на труп, он в ужасе стал кричать: «Караул!» — и, увидав следы, бросился по ним в догоню... Только потеряв уже совершенно их в темноте, он поспешил к смотрителю. Оказалось, что начальство еще ничего не знало о бунте и что старовер и не являлся...

Начальство в ужасе схватилось на ноги.

— Подвох! Разбой! — крикнул смотритель, вскакивая с места.

За ним сорвались и капитан, и корнет, и все, рассвирепевшие вконец, бросились к тюрьме... Корнет, пробегая мимо конюшни, успел крикнуть денщику, чтобы немедленно велел гусарам седлать лошадей и его коня и лететь к тюрьме, а также послать кого-либо на постоялый двор за остальными. Смотритель скомандовал всем солдатам следовать за ними в тюрьму. Там уже ад был в полном разгаре...

Корнет, не обращая внимания на бунт, протиснулся сквозь столпившихся в коридоре к камере Кармелюка и вдруг вскрикнул не своим голосом:

— Измена! Пробои отбиты!!!

Он дернул дверь, и на него сразу пахнуло холодным и сырым воздухом. Корнет стремительно бросился в камеру разбойника и тут только увидал вынутое окно.

— Сюда! За мной! В погоню! Кармелюк ушел! — крикнул он не своим голосом и бросился к выходу.

Тем временем беглецы успели уже пройти версты две от тюрьмы. Сначала движение сильно затрудняла густая тьма: несколько раз попадали они в рытвины и ямы, падая вместе с Кармелюком, но мало-помалу тьма стала проясняться, неверный, сомнительный свет начал проникать сквозь поредевшие облака, и наконец на образовавшихся в них полыньях блеснули кусочки темно-синего неба с сверкающими звездочками и края облаков посеребрились нежным сиянием луны...

— Сто чертей! Месяц! — выругался Кармелюк и оглянулся.

Мрачное здание тюрьмы хотя слабо, но виднелось еще вдали темною, бесформенною грудой; впереди лес был не ближе; его только можно было угадать в черной полоске, обрамлявшей горизонт... Сами они находились теперь как раз в середине расстояния, отделявшего лес от тюрьмы.

— Донесем! Еще у нас добрый час впереди... а они застрянут,— прохрипел каторжник, надсаживаясь изо всех сил.

Но дело было не так легко, как казалось сначала. Благодетельная грязь, которая, по расчету арестантов, должна была затруднить погоню, не менее затрудняла и бегство: ноги беглецов вязли в грязи, вырывать их из клейкой глины становилось труднее и труднее; ветер, сгущая грязь, увеличивал ее вязкость; комки грязи облепливали до колен ноги и еще вдвое увеличивали тяжесть, которую арестантам приходилось нести. Все чаще и чаще сменялись несшие Кармелюка товарищи.

А между тем ветер делал свое дело. Сначала небольшие полыньи — одна, другая — начали мало-помалу увеличиваться, сливаться, и наконец весь край неба очистился и из-за несшейся вслед за другими серебряной пряди выплыл молодой рог луны...

Кармелюк снова оглянулся кругом, и вдруг невольный крик вырвался у него из груди; все воззрились вдаль и онемели от ужаса: по открытой равнине, теперь

освещенной луной, быстро приближались к ним пять черных точек...

— Конная погоня! — вскрикнул Явтух.

— Их пять, а нас семеро!..—прохрипел каторжник.— У кого есть ножи?

Оказалось, что у беглецов было лишь три ножа и никакого больше оружия... А погоня приближалась и была не дальше от них, как на версту.

— Ничего, справимся,— произнес каторжник, но в глубине сердца почувствовал холодную струйку.

— Бегом, ребята! — крикнул он для бодрости.

С лихорадочным усилием схватились все за рядно, в котором лежал Кармелюк, и бросились бежать; но минут через пять они вынуждены были замедлить свои шаги, а еще через пять — потащились еще более усталым замедленным шагом... Расстояние между ними и всадниками быстро уменьшалось... Уже слышны были окрики гусар, и вот раздался первый выстрел; он, правда, не задел никого, но пуля пролетела над самым ухом печника...

— Стойте, братцы,— скомандовал вдруг решительно Кармелюк. Все невольно остановились.

— Бросьте меня, дохлого,— продолжал он повелительно.— Со мной вам все равно не уйти... Спасайтесь сами!

— Ни за что! — возмутились все арестанты.

— Здохну здесь, подле тебя, батьку, а не отступлю ни на шаг! — крикнул Явтух, не выпуская из рук рядна.

— Поборемся с собаками,— попробовал было каторжник поднять у товарищей настроение, но Кармелюк решительно воспротивился этому:

— Безумные! Вы своим упорством погубите себя и меня... Ведь у них и ружья, и пистолеты, и сабли, да и сами на конях, а вы с голыми кулаками; вас или перебьют здесь, или передадут еще заплечному мастеру...

— Все одно без батька не быть нам! — воскликнул Явтух.

— Да пойми же ты, что мне они худа не сделают,— заволновался атаман,— мою голову они будут беречь пуще своей. А вот если вас перебьют, то мне уже потом и тикать будет не с кем. Так разбегайтесь зараз же в разные стороны... ради моего вызволения! — крикнул повелительно Кармелюк.

Каторжник с Явтухом, взяв рядно, кинулись на противоположную сторону, чтобы отвлечь и разделить погоню. Остальные, уложив атамана в рытвине, бросились в разные стороны...

Загремели выстрелы. Сначала они не причиняли никому вреда, но вот Махнидралов вдруг взмахнул как-то странно руками и опрокинулся навзничь...

После свидания с Кармелюком Олеся возвратилась домой словно обезумевшая: прилив неожиданного счастья до того опьянил ее, до того охватил и поглотил ее душу, что девушка стала почти глуха и нечувствительна к явлениям обыденной жизни. Ее мысли были не здесь, в скромной светлице, а там, в таинственном ущелье дремучего леса; слух ее ловил не речи кровных родных, отца и матери, а воображаемые звуки далекого голоса, неумолчно трепетавшие в ее сердце... Она не думала ни минуты о том, что ее ждет в будущем, она только чувствовала, что Кармелюк любит ее, ищет в ней помощи, и это сознание наполняло сердце девушки неизъяснимым блаженством.

Дней через пять после возвращения из лагеря Кармелюка Олеся гуляла по своей леваде, у берега пруда. Ветер был холодный; тяжелые, бесцветные тучи ползли какими-то грязными хлопьями по небу; вербы не шумели, а жалко хлестались обнаженными ветвями; тучи ворон с испуганным криком крутились над свинцовой водой и унизывали верхушки ив и осин черными точками; в воздухе пролетали быстро косыми линиями снежинки.

Олеся задумчиво шла, не чувствуя ни холода, ни уныния в болезненном стоне природы... Она шла, не оглядываясь и не всматриваясь по сторонам, вперед и вперед, оставила свою леваду и пробиралась протоптанными тропами по густым зарослям и очеретам к мельнице.

Вдруг в одном месте, обогнув большой куст орешника, она услыхала позади себя тихий оклик:

— Панночка, панна Олеся!

Девушка вздрогнула и окаменела.

— Не бойтесь, панна, это я! — повторил голос, показавшийся Олесе знакомым.

— Кто вы? — едва подала она голос.
— Аз есмь Хоздодат многогрешный! — И сквозь распахнувшиеся ветки орешника выросла перед Олесей знакомая фигура кальнедеражнянского поповича.
— Боже мой! — вспыхнула жаром Олеся. Она узнала в нем не только знакомого, но того самого товарища Кармелюка, который проводил ее на свидание с батьком и потом бережно доставил в Деражню. Она сейчас же догадалась, что он послан сюда от атамана с письмом от него, а потому прятался в зарослях. Подумав это, девушка еще более зарделась и уронила, задыхаясь от волнения:
— Что же там?
— Беда,— атамана взяли! — так и выпалил Хоздодат.
Олеся побледнела, тихо вскрикнула и пошатнулась; перепуганный Хоздодат бросился к ней и подхватил ее.
— Панна, прийди в себя, еще ведь батько жив, только нужно спасать его!.. Я на тебя именно и рассчитывал, на твое верное сердце,— заговорил попович,— так воспрянь духом и гряди!
— Да, да... ты прав,— заволновалась Олеся.— Ах, только боже мой! Боже мой! Лучше бы мне смерть! — вскрикнула она от нестерпимой боли и зарыдала.
Долго, словно осенний дождь, лились по ее бледным щекам слезы. На утешения поповича она только нервно всхлипывала, прося:
— Дай выплакаться, легче будет!
Взяв себя в руки, Олеся наконец спросила более твердым голосом:
— Где же его взяли? Как? Куда повели? Не искалечен ли?
Хоздодат подробно передал поповне все то, что сам знал и что слышал про атамана. С точки зрения его, атаман велел накопать кругом стана западни, ямы—для обступивших врагов — и поскакал сам осмотреть их, да и провалился в одну; пока он выкарабкивался из-под коня, на него наскочил отряд улан и связал лежачего, безоружного.
— Почему же вы не бросились тотчас спасать батька?
— Узнали только через день, да и обложили нас москали в нашем логовище...

— Ну и что ж?

— Там была у нас прежде гребля через болото, ну москали как-то и проведали да и направились было через нее к нам в гости... А батько это узнал,— кажись, ты, панна, об этом и сообщила ему,— ну, и велел батько ту греблю посередине разобрать, а с другой стороны устроить новую гатку. Словно предвидел все, сердечный! На другое утро стали мы думать, что это нет батька, не случилось ли, мол, чего, хотя он отлучался и прежде, а тут вдруг страшно всем стало зело, словно почуяли... К полдню прибегают к нам мужички: «Схватили батька и потащили москали скорым маршем!» Что тут делать? Как спасать? Стали мы совещаться, а тут бегут часовые, крик прошел: «Москали подступили!» Ну, Дмитро за атамана, он был у нас разумная голова! И приказал всем высыпать на разобранную греблю —будто для бегства. А те как сыпнут все сюда, да вперед, вперед... Добежали до середины — болото. Они бы и назад, да другие напирают, и начали тонуть в болоте и пешие, и конные... Мы тем временем, не будь плохи, и рассыпались по лесу, да к новой плотине. Все ушли и все с собой захватили. Ну, а тогда усоветовались рассыпаться кругом, кто куда знает, чтобы про атамана разведать, да и москаля с толку сбить.

— А куда же повезли атамана? — прервала рассказ Хоздодата Олеся.

— Должно быть, в Каменец... В Литин повезут...

— В Каменец, в Каменец... Туда панотец собирался на днях...

— Вот и отлично,—перебил ее Хоздодат,— если окажется, что в Каменце батько, то буду просить панну и родителя отправиться туда и помочь освободить от смертной кары нашего атамана.

Олеся схватилась рукою за сердце, но сила духа взяла у нее верх над мучительной слабостью; девушка провела рукой по челу, оправила волосы и выпрямилась; в глазах ее вспыхнул огонь отваги и решимости.

— Только не батюшку,— возразила она.— Отец прихилен сердцем к атаману, к его замыслам, но прихилен втайне и только втайне мог бы ему помочь... А чтобы он явно выступал за разбойника — никогда! По-моему, вам не следует и признаваться ему, что вы у атамана служите и что меня провожали...

— Да, пожалуй, панна права,— после раздумья ответил попович,— на всякий случай следует себе пути уготовати и хвостом, аки лисица, замести след... Но нужно непременно быть в Каменце и там на месте все обмыслить...

— О, я буду там! — воскликнула решительно Олеся.— Упрошу отца, найду предлог... А если бы все стало против меня, то пешком с долгой рукой (прося милостыню) по дебрям, по непромокаемым лесам побреду со зверями дикими в сопутье, а в Каменце буду и увижу несчастного...

— Не только увидишь, но и спасешь его,— возгласил патетически Хоздодат.— А нельзя ли пока что приютиться мне, панна, у твоего родителя где-нибудь на сеновале или в коморе?.. О моем участии в полчищах нашего атамана еще никто ничего не знает. Возвращаюсь, как блудный сын после странствий, токмо боюсь предстать сразу перед грозные очи родителя.

— О, батюшка примет тебя сразу, об этом не беспокойся. Идем, идем сейчас, я тебя накормлю... Батюшки как раз нет дома, но он и матушка не раз вспоминали и жалели тебя...

Не один, впрочем, Хоздодат бросился за помощью к друзьям, чтобы спасти Кармелюка от позорной казни. Розалия на второй же день после полученного рокового известия оправилась от болезни — грозившего ей нервного удара — и тотчас же объяснила окружавшим ее лицам, что неожиданный успех задуманного ею дела, а главное, ужас при одной мысли о том, что страшного разбойника могут привести к ним во двор, произвели на нее такое потрясающее впечатление. Так как, во всяком случае, только благодаря стараниям и хлопотам Розалии,— о которых она толковала и раньше,— был пойман Кармелюк, то никто не заподозрил и на мгновенье неискренности слов красавицы.

Ссылаясь на свою слабость, явившуюся следствием постоянных тревог, Розалия заявила мужу, что она согласна наконец выехать с ним из этого несчастного дома, в котором нельзя провести спокойно и одной ночи, и поселиться на время в каком-нибудь порядочном городе, хотя бы в Каменце, по крайней мере до тех пор, пока изловят остальную шайку. Муж пришел в восторг, когда услыхал, что супруга согласна исполнить его же-

лание, и предложил было вместо скучного Каменца веселую и роскошную Варшаву; но Розалия в четверть часа сумела убедить супруга, что им следует ехать только в Каменец и больше никуда.

Устроившись на единственной каменецкой площади, где стоял и губернаторский дом, Розалия словно воскресла и поспешила сделать визиты сановным лицам города и магнатам, начиная с губернатора.

Во всех гостиных, конечно, оживленно обсуждался жгучий вопрос о поимке Кармелюка и укрывавшейся от преследования его шайке. Все прославляли Розалию, удивлялись ее ловкости и дальновидности, приписывая ей одной всю славу в этом замечательном деле. Розалия скромно улыбалась, но не отнекивалась, а наоборот, подробно рассказывала своим собеседникам, как в ее голове созрел этот хитрый план и как ей удалось при помощи друзей привести его в исполнение.

LXXXIX

Благодаря неисчерпаемой теме разговора, Розалия могла выудить все новости о настоящем положении Кармелюка и о новых мероприятиях против его шайки, о предстоящем суде и страшной казни. Из расспросов и разговоров выяснилось, что шельмец притворился было умирающим от перелома ноги и антонова огня —для того, чтобы сняли с него кандалы,— и успел в своей хитрости — бежал, но его настигли и перевезли в Каменец... Оказалось, что нога у него целехонька, только вывихнута; вывих ему исправили и заточили гайдамака в турецкую крепость — в башню, что над пропастью; оттуда уже разве ворон вынесет его кости.

Далее говорили о том, что губернатор хлопочет, чтобы над этим злодеем совершена была примерная казнь, что хотя это ходатайство и затянет суд до весны, зато страшная казнь произведет впечатление на хлопов.

Все эти толки Розалия слушала будто бы небрежно, хотя с бледным лицом и с вымученною улыбкой, но в душе она испытывала невыразимые муки. Возвращаясь домой, запиралась она в своей комнате и здесь наедине предавалась бурному отчаянью.

Она любила разбойника жгучей, демонической

страстью и чувствовала, что тоска по нем доведет ее до какого-нибудь безумного поступка. В этой страшной потере терзало ее больше всего то, что она сама предала Кармелюка в руки врагов. Бешеная ревность ослепила ее; она придумала западню для своей ненавистной соперницы, послала своих адептов, и в западню — о ужас!— вместе с соперницей попался и ее возлюбленный. Все случилось как по-писаному. Сколько раз повторяла она всем, что поимка Ульяны поведет за собой и поимку Кармелюка, но никогда ни одну минуту не думала она, что это может действительно сбыться, и вот судьба насмеялась над ней!.. Она, Розалия, обожающая героя, благодаря своему хитрому замыслу, действительно предала атамана в руки палачей. Что он может теперь подумать о ней?.. Положим, она может оправдаться, свалить вину на других, но ведь это возможно только при свидании, а теперь сколько душевных мук прибавила она к его физическим мукам!

— Нет, спасти, спасти или самой погибнуть!—вскрикивала она, впиваясь руками в волосы, и вскакивала с кровати, словно порываясь на битву с каким-то чудовищем; но, постояв так, снова с отчаянием падала на кровать.

Бесконечные ночи она проводила без сна и все думала, как бы спасти своего очарователя, но ничего не могла придумать. Доверить же кому-либо свои тайные мысли и страданья она, конечно, не могла.

Не находя никакого плана для спасения Кармелюка, она думала теперь уже лишь о том, чтобы найти какой-нибудь способ переписки,— тогда все спасено. Кармелюк сам придумает что-нибудь, если только узнает, что она здесь.

И Розалия стала ездить часто прогуливаться на фольварки по Турецкому мосту, за которым на противоположной стороне высилась крепость.

Каменец прежде, во время владычества Польши [83], представлял собою неприступную твердыню. Построенный на гранитной скале цилиндрической формы, с отвесными гранитными стенами, он соединялся с плоскогорьем единственным мостом, построенным турками, захватившими было эту твердыню.

Мост этот перекинут не с полной высоты одного берега на другой, а с полувысоты; к концам моста на том

и другом берегу высечены в скале пологие винтовые спуски, а самый мост представляет узкую, вогнутую дугой, сплошную каменную стену с единственным пролетом посредине. В этот пролет протекает, прыгая по камням, речонка Смотрич, опоясывающая со своим притоком городскую скалу.

Для охраны этого моста турками выстроена была на стороне фольварков крепость, сохранившаяся отчасти и доныне. Одна сторона крепости шла от начала моста, только на десять саженей выше его, по отвесной скале, параллельной городу, и высилась с самого краю его еще саженей на пять вверх, а башни по краям ее были приподняты еще сажени на три; другая же, подковообразно выгнутая, сторона смотрела амбразурами в поле; здесь тоже были устроены две боевые башни.

Если спуститься с моста в овраг,— там устроены боковые ступени для пешеходов,— и подойти к крепости, то верхние окна ее будут висеть над пропастью саженей на двадцать пять, а башни — саженей на тридцать...

По этому мосту и стала разъезжать Розалия в надежде, что узник может увидеть ее и поймет, что она ищет средств к спасению его. Но сама Розалия не вполне доверяла этой надежде: окна в башнях были проделаны так высоко, что вряд ли к ним мог добраться колодник, тем более, что, как все утверждали в городе, Кармелюк был прикован цепями к стене и к полу... Да и, наконец, в какой из четырех башен он находился,— она не знала.

Но Розалия тем не менее ездила, кажется, с единственным желаньем взглянуть хоть на каменную гробницу, поглотившую ее кумира.

Раз она встретила на мосту рослую фигуру, любовавшуюся видом крепости, и черты лица этого человека показались ей знакомыми, но как ни напрягала она своей памяти, все-таки не могла припомнить, кто бы он был.

Наконец Розалии удалось на рауте у губернатора познакомиться с комендантом крепости.

Заинтересованная этим историческим памятником, она выразила желание осмотреть его и была любезно приглашена им.

На другой же день Розалия отправилась в крепость. Комендант показал ей все планы крепости, старинные

гравюры взятия Каменца турками[84], первоначальный вид крепости. Розалия искусно навела разговор на теперешнее значение крепости и, получив ответ, что эта крепость не имеет теперь, при совершенстве артиллерии, никакого значения, а пригодна лишь для тюрьмы, стала расспрашивать, как много последняя может вместить арестантов и где сидят опасные.

Смотритель тюрьмы сообщил любознательной пани, сколько у него теперь содержится в общих казематах и сколько в одиночных.

Розалия пожелала осмотреть лично все. Комендант дал разрешение смотрителю. Услужливый кавалер по отходе на работы арестантов показал общие помещения и потом повел Розалию по узкому коридору, в конце которого стоял часовой.

— А это куда ход? — поинтересовалась она.

— В отдельные башни, пани, для особенно важных преступников...

— Ах, это так любопытно!.. Мрачные каменные мешки, цепи... вроде как у шильонского узника... Если б взглянуть!

— Эти башни, вельможная пани, от фольварков обе заняты,— ответил с сожалением смотритель,— и по закону никто туда проникнуть не смеет, да и ключи к ним двойные: одни хранятся у меня, а другие у господина коменданта крепости, так что в отдельности никто из нас войти в башню не может...

— Какая досада! А кто же там сидит? Какие-нибудь страшные звери? У!! Хоть бы глазком взглянуть...

— Ничего, ласковая пани, нет любопытного: желтые, обрюзглые лица, мутные глаза... А кто они — мне неизвестно: приведут с приказом посадить в такой-то номер башни — и квита! Даже фамилии не сообщат; так и значится: арестант № 1, № 2.

— Неподобенство (нелепость)! — И Розалия с досадой закусила губу, бросив на своего чичероне холодный, недоверчивый взгляд. Все ее маневры не принесли никакой пользы: не только увидеть его, но даже узнать, где он заключен, не далось ей.— Уж это чересчур! — бросила она и отвернулась в сторону.

— Ой пани наймилейша! Не чересчур! — заволновался смотритель.— За этими шельмами нужно сто глаз, и те не усмотрят... Мое место самое тревожное,

небеспечное! Вот не далее как третьего дня приезжает ко мне в карете шестериком какой-то архимандрит... Почтенная физиономия... белая борода... клобук.., наперстный крест... и с ним молоденький послушник... превелебная особа. Видите ли, пани,— желает осмотреть крепость, а вместе с ним сказать слово закоренелым злодеям и тронуть жестокие сердца... Что же? «Душеспасительное дело, честный отче! — сказал я и хотел было тотчас повести особу, но вспомнил, что перед начальством нужно показать себя строгим к предписаниям, а потому добавил: — Конечно, я с живейшей готовностью... но только у нас неукоснительные правила: необходимо разрешение градоправителя, а для духовных особ, кольми паче, на сказание слова,— от его милости местного российского архиерея».— «Неужели,— изумился архимандрит,— и для моей особы такие формальности?» — погладил этак бороду, поправил крест и взглянул на своего послушника строго, а тот аж покраснел... «В предписании не указано исключений,—я ему,— но не извольте беспокоиться, наипревелебнейший отче,— я могу сейчас слетать к его превосходительству господину градоправителю и сим ограничусь».—«Ну, знаете ли, бдительный и верный страж предержащей власти,— сказал он, поднимаясь с кресла,— не хочу — говорит,— вводить вас во искушение, чтоб нарушили, любопытства моего ради, и малейшую часть от приказа. Я сам буду у градоправителя, а у его преосвященства и пребываю, так завтра уже с надлежащими соизволениями посещу!» Поблагословил меня... Приложился [я] к руке, проводил, а потом велел прибрать все в камерах да и отправился с докладом к градоправителю, чтобы самому привести разрешение к архиерею, не утруждая таких высоких персон... И что ж бы вы думали, пани? — Смотритель отступил и для эффекта сделал большую паузу.

— А что? — воскликнула Розалия, почувствовав, что у нее шевельнулось какое-то подозрительное предчувствие.

— Не был сей архимандрит ни у его превосходительства, ни у его преосвященства! — выпалил смотритель.

— Как так?

— А так, пани! Сей лжеархимандрит был шельма, гунцвот, мошенник! Я его поджидал вчера уже со

скрытыми стражами, но не явился, бестия! А еще облобызал его руку! Тьфу!!

— Кто ж бы он мог быть?

— А дяблы его знают! Быть может, из той же компании, что здесь сидит... Истинно!.. А этот послушник тоже...

— Переодетая баба? — вскрикнула Розалия и позеленела, как стена коридора. «Не вновь ли ее затея?» — мелькнула у Розалии мысль и разбудила уснувшую было ревность.

— А что вы думаете? — словно подтвердил ее мысль смотритель.— Теперь такие времена, что и себе самому не верь!

Розалия задумалась: кто бы они были? И к кому? «Да к нему же, к нему! И это твои враги: они вырвут его у тебя из рук и завезут далеко!!» — что-то кричало ей в уши, и огненными иглами эти крики впивались ей в грудь...

Смотритель, заметив дурное расположение духа у пани, поспешил рассеять его.

— Да! — словно спохватился он.— Я могу одну башню показать пани.

— Ах, пойдем, пойдем скорее! — засуетилась Розалия.

Когда они вошли в другой, такой же узкий коридор, то увидали в глубине его двух часовых.

— Что это? — засмеялась нервно Розалия.—Там для страшных злочинцев был один часовой, а здесь для пустого коридора — два?

— Пшепрашам, пани! Вот эта первая башня пуста, а другая, за углом коридора,— та занята...

— Еще более страшным разбойником? — подсказала Розалия и побледнела: она почувствовала в своем сердце словно комочек снегу, от которого побежала по ее телу дрожь.

— Да, еще более страшным,— улыбнулся смотритель,— посаженным туда недавно.

У Розалии помутилось в глазах. Вместо снега у нее теперь вспыхнул в груди огонь и залил краской лицо. Благо, что в коридоре, или, лучше сказать, в узкой и высокой щели, было совершенно темно и ее волнения никто не заметил; но все же Розалия вынуждена была ухватиться рукой за стену и переждать несколько мгно-

вений, чтоб оправиться... Потом она вдруг заговорила оживленно, желая загладить смущение:

— Не думайте, пане, что я испугалась,— ничуть! Хоть и догадываюсь, кто там...

Смотритель утвердительно опустил глаза...

— А тут, должно быть, хороший резонанс,— протянула Розалия нараспев громко и потом вдруг залилась трелью и сделала несколько звучных рулад... Затем неожиданно пропела куплет из своего любимого романса, которого года три и не вспоминала.

Смотритель не мог остановить эксцентричной выходки важной пани и восхищался лишь ее голосом.

— Ай, как высоко в камере окно, и к чему оно замазано? — вскрикнула Розалия, заглянув через порог в башню.

— К тому, пани, чтобы преступник не мог взобраться и перемигнуться с сообщниками.

— Д-да? — удивилась наивно маршалкова и, повернув лицо к часовому, добавила: — Какая, однако, странная над окном фигура, словно бурдей! — Слова «фигура» и «бурдей» она просто выкрикнула и потом расхохоталась.—Видишь, пане, как откликается в разных местах эхо! Но... довольно жартов (шуток), пойдем!

Смотритель был очень этому рад и поспешно повел взбалмошную магнатку к ее карете...

За кольцеобразною крепостью, окружавшею каменецкую скалу, влево по притоку Смотрича, идет ущелье, где добывают камень на постройку. В этом ущелье ежедневно работали и арестанты из турецкой крепости. Было холодное утро; после лившего целую ночь дождя мороз сразу обледенил и деревья, и дорогу, и камни. Нельзя было просто ступить ногою; но арестантов, несмотря ни на что, погнали на каменоломню.

Добравшись с большим затруднением до места, они заметили на куче набитого камня какую-то стонущую фигуру. Арестанты окружили несчастного; подошли к нему и часовые, и старший унтер.

Упавший был еще жив, но лежал без сознания, одежда его, скуфейка на голове, котомка за плечами обличали в пострадавшем странника-богомольца. На вид он был крепкого телосложения и молод, но в

длинных волосах, заплетенных в косичку, и в небольшой бороде просвечивала уже седина.

Унтер приказал арестанту зачерпнуть воды и взбрызнуть лежавшего. При первом прикосновении холодных капель странник пришел в себя и начал сильно стонать.

— А что, брат, расшибся? — промолвил участливо унтер.

— Помираю. Кости все поломал. Христа ради, водицы!

Странника напоили.

— Как же это тебя так угораздило? —спросил снова унтер, поддерживая голову несчастному.— Да и откуда ты?

— С Афонской святой горы, странник божий,— заговорил со стонами и передышками умирающий,—посетил многие святыни, пробирался в лавру Почаевскую, да в Каменце хотел отдохнуть — и сорвался.

— Как не сорваться,—заметил сутуловатый арестантик,— тут в ожеледь и конь не выцарапается.

— У всякого свой предел— его не прейдеши... противу воли господней не ропщи... И от смерти никто не уйдет.

Тяжелый вздох вырвался из толпы, и, словно под тяжестью его, нагнулись бритые головы.

— Что ж это он будет здесь и помирать на камнях? — обратился один старик к часовому.

— Да, оно точно,— промычал тот,— да приказа нет. В приказе, стало быть, дело: кому камни бить — бей, а кому помирать — помирай!

Умирающий застонал еще сильнее и заметался.

— Помогите мне, братцы родные, развязать котомку; последнюю волю выслушайте.

Два арестанта исполнили тотчас его желание. Странник стал рыться в рухляди, наполнявшей его котомку.

— Вот крестик золотой, в него вделан кусочек железа из гвоздя, коим прибиты были нози сына божия, распятого за нас, грешных; возьми его, служивый, себе и носи на груди,— при нем никакая вражья пуля, ни железо тебя не коснутся.

— Спасибо, спасибо, родной,— промолвил тронутым голосом унтер и спрятал за обшлаг рукава эту святыню.

— А вот такие же чудотворные крестики, только се-

ребряные, раздай и тем служивым. Помолитесь за мою грешную душу, братцы. Тоже ведь жизни за нас не щадите!

— Спасибо, спасибо! — заволновались солдаты, получая подарки.— Да ты еще не сумневайся: господь поднимет, право!

— А вот они, несчастненькие,— странник приподнялся и стал всматриваться в угрюмые лица арестантов и остановил свой пристальный взгляд на одном деде атлетического сложения,— раздай и им ладанки от святой Ульяны, великой подвижницы, и от Ивана Воина.

Старик вздрогнул и подошел после других поцеловать руку страннику.

— А теперь... Прощайте, друзья... И холодно мне... коченею...

— Да что же, господа служба! — взмолился старик.— Майте же сердце! Неужто допустить задубнеть ему, как собаке... Ведь человек же, и християнин.

— Нет... Хоть бы и отвечать пришлось, а не допущу,— сказал решительно унтер. — Ты, Спинодер, и ты, Шкарбун,— указал он на деда и на суетливого, здорового арестанта,— возьмите странника на шинель, вот, и отнесите к смотрителю... умирает, мол... А ты, Лобко, конвоируй... Коли не захочет в больницу, то попросите отнесть в соборное подворье... Там есть для странных приют... А вы гайда на работы! — прикрикнул унтер на остальных.

XC

Разбитого положили на шинель. Старик Шкарбун стал в головах, а Спинодер в ногах. Несмотря на осторожность, с какою понесли странника, он страшно стонал. Валенки арестантов не так скользили, как сапог солдата, а потому последний отставал. Дед, оглянувшись кругом, нагнулся к страннику и спросил:

— Из вольного пташства?

— Из одного гнезда...— ответил странник и застонал.

— Ловко! Что же, укусили?.. Але туман?

— Туман... Чтоб до орла подняться.

— Высоко... Чертова клетка...

— А сломать и выпустить?

— Крепко... Коршуны... Да у орла и крылья прибраны...

— Что ж, орлу дать перья птичьи, а коршуна пришить.

— Знаем, да ни смальцу, ни перьев нету...

— Вот на первый раз возьми большую ладанку и кипарисный крест...

Разговор велся шепотом и притом так, что когда спрашивал дед, то в это время странник стонал, а когда отвечал странник, то дед кряхтел, словно от натуги... Не только конвойный, плевшийся шагах в сорока, но и другой арестант не могли услыхать ни слова.

— Только с воли больше простору... а с неволи лишь щелочка,— заговорил снова дед, когда после передышки понесли снова больного...

— С воли-то соколы будут ждать... лишь бы орел знал.

— Отлично... Подойти к клетке нельзя... разве коли в карцер...

— А что ж, обмозгуй... Хлеб-то и шпанке дают... и орлу...

— Точно.

— А кто хлеб носит — любит и сало.

— Хо-хо! Сало всякому ласо.

— То-то. А как бы нам видеться?.. И смальцу, и сала не пожалеем... есть и соколы...

— Что ж... Можешь... Прийти поблагодарить еще раз за рятунок... А то послать другого верного с ладанкой на шее... Камень ломать всякому вольно.

Когда носильщики стали подыматься на Турецкий мост с каменецкого берега, то умирающий стал слезно просить не тащить его в тюрьму, а занесть прямо в соборное подворье: он чувствует свои последние минуты... Так и сделали.

Между тем Кармелюк сидел в каменной трубе, куда почти не проникал свет. Основание трубы было так узко, что человек, сидевший в ней на дне, не мог протянуться, а должен был, коли хотел прилечь, свернуться в кружок.

Узкое окно начиналось в рост человеческий от полу,

да и то до половины было заложено кирпичами, а с половины лишь мутно освещалось сквозь железные скобы. Железная дверь закрывала эту трубу со стороны коридора, но сквозь узкую щель внизу проникало все-таки больше свету, чем через окно вверху. В каменной дыре было страшно сыро и холодно: печка из коридора мало подогревала ее или просто, из экономии, редко топилась.

Сидит Кармелюк в этой зловонной дыре уже две недели; на руках у него железные браслеты; на теле пояс тяжелый, прикованный железною короткой цепью к стене; одна нога в кандале, а другая, что была вывихнута,— свободна. Боли в этой ноге Кармелюк больше не чувствует, но зато у него ноют невыносимо все кости. Только стоя может он расправить окоченевшие члены, и не будь возможности принять и этого положения, то заточенье в этой трубе было бы не пыткою, а смертной казнью.

В каменном гробу царил густой полумрак, лишь по бледному отблеску из высокого окна да по щели под дверью можно было знать — день ли за стеной или ночь. Звуки внешнего мира тоже не доходили сюда, но зато в мертвой тишине слышался отчетливо малейший шорох и писк мышей. Сначала они испугались было нового гостя и робко выглядывали из норок, а теперь попривыкали, свободно бегают, перескакивают ему через ноги или садятся перед ним на задние лапки, а передними моют свои рыльца. Кармелюк делится со своими сожителями крохами хлеба и любуется их суетливой возней. Смелость некоторых доходит до того, что они влезают ему на руки, на спину, на плечи и даже на шею. Если надоедят, атаман тряхнет плечами — и они опрометью попрячутся в норы. Во всяком случае, Кармелюку приятнее слушать мышиный визг, чем однообразный глухой шум шагов часового, словно стук забиваемых в крышку гроба гвоздей.

И думает Кармелюк в бесконечные ночи бесконечные думы, и слепая тоска охватывает цепкими когтями его сердце... И один только светлый луч озаряет омут последних воспоминаний. Этот луч — кроткое личико Олеси и взгляд, полный безграничной любви и веры в правоту его дела. Этот взгляд смотрит ему в душу, греет измученное сердце, прогоняет тоску и будит жгучее

желание вырваться из этого гроба на волю, для новой жизни, для недостижимого счастья!

И Кармелюк мучительно ждет какой-либо весточки с воли... Но никто не откликается... «Те ж, что со мной убежали,— думает он,— наверно, погибли... Не уйти им от конных... А Андрей с Ульяной? А другие? Сумел ли Дмитро защитить табор... или хоть перевести его без потерь в безопасное место? Хоть бы весточка, хоть бы отклик какой откуда!»

Но дни проходили, как ночи, однообразные, тоскливые, а ночи тянулись, как дни... Душа болела, кости ныли...

Раз Кармелюк услышал какой-то необычайный шум в дальнем коридоре; прислушался — и узнал голос Розалии, а потом по выкрикнутым ею словам догадался, что она явилась сюда с определенною целью и подает весть, что надежда на спасение не утрачена. Появление дружеского голоса среди этого холодного мрака мглы взволновало было сперва атамана радостью, но громкое напоминание о бурдее подействовало на него гадливо, даже возможность спасения за эту цену показалась ему омерзительной... Все это недавнее прошлое встало перед ним смрадным ядовитым туманом, разлагающим жизнь, а не поднимающим здоровой и бодрой энергии... «Нет! Все прочь, все мимо,— только бы *она* заглянула своими чистыми очами в мою мрачную душу!»

Но ночи потянулись опять черною лентой... Очевидно, что пани ничего не могла сделать, а может, и приезжала, чтобы посмеяться над ним. Через несколько дней Кармелюк о ней и забыл, да, кажется, у него вообще мозг стал мутиться... силы таяли...

Раз мимо двери Кармелюка повели кого-то в соседнюю башню. К нему, по крайней мере, долетел окрик часового: «Чего наклоняешься, идол?» — и ответ: «Железо поправил... С Литина въелось». И вновь крик: «Ну, дальше!»

Кармелюк вздрогнул: этот голос показался ему знакомым... и Литин... значит, земляк, а может, и из родной стаи... Но кто, кто? Отшибло память... Он стал прислушиваться; вдали звякнула дверь, щелкнул замок, раздались обратно чьи-то шаги, и снова все смолкло... Только пять или шесть мышей, игравших спокойно у его ног, вдруг засуетились и бросились к щели, бросились

и подняли между собой возню или драку; с писком они стали оспаривать друг у друга какую-то добычу... Кармелюку показалось это забавным, и он стал наблюдать, кто останется победителем, но полоска света была очень узка, а кругом лежал мрак... В редкие мгновения он мог только видеть, что война идет из-за кусочка хлеба и что целиком, впрочем, он никому не достанется, а будет растерзан... И действительно, вскоре мышки с отвоеванными порциями разбежались, и только две еще теребили что-то длинненькое,— корку или тряпочку,— да и те вскоре исчезли... Этот эпизод отвлек было его мысли, но они вскоре вернулись и закружились в его голове роем...

«Кто такой? Андрей ли? Дмитро ли? Нет, нет, но знакомый... не раз слышал... А может, случайный сосед, но чего он перед моей дверью наклонился... и напомнил Литин?.. Ведь недаром! Конвойному Литин не нужен... Он, значит, и наклонился для того, чтоб сказать: «Литин...» Ведь недаром! Так, так, свой! Но от кого? От братьев или от нее? Нет, нет, если свой — то от братьев...» Кармелюк сначала было так обрадовался этому выводу, что почувствовал, как стал согреваться, но потом башня смутила его: его посадили туда — значит, важная птица, значит, попался не по воле... а что Литин напомнил, так просто чтоб дать весть, что и он попался... Скорее всего — Дмитро; через этот камень и железо так изменяется голос... И вот после радости Кармелюк впал в еще большее уныние.

Но дня через два, в такое же приблизительно время, раздались снова посторонние шаги в коридоре, замок в дальней башне щелкнул и к двери Кармелюка стали приближаться, по звукам шагов, два человека; снова сторож или конвойный крикнул: «Чего ищешь? Вперед!» — и знакомый голос снова ответил: «Да вот, смотри, ждут...» Но другой голос перебил его криком: «Молчать!» — и шаги удалились...

«Господи! — всплеснул Кармелюк руками и вспугнул своих сожителей лязгом цепей.— Да ведь это Шкарбун! И недаром же он мимо моей двери ходит... Вот этого не пойму только, что скоро из башни выпустили... Значит, друг... и недаром же он сказал: «Ждут...» Радость ободрила Кармелюка и навеяла на него надежду; он замечтался и не обратил сначала внимания на то, что

мыши, по отходе колодников, снова бросились к двери и подняли у щели писк и возню... Но теперь это обстоятельство заставило его призадуматься: свою порцию хлеба съедал он всю, и не в это время, а позже... Если падают даже крохи, то здесь же, у кольца, а не у двери... и мыши их немедленно подбирают... Почему же они третьего дня и сегодня бросаются к двери... и отнимают друг у дружки хлеб?.. Чей хлеб? Откуда он?.. Почему он попадал сюда после прихода арестанта?.. И вдруг, словно озаренный молнией, Кармелюк вскрикнул:

— Да потому, что подкидывал его мне мой друг, оттого и наклонялся... и давал знать... и подкидывал недаром: в нем, верно, есть записочка...— И Кармелюк потянулся ползком к двери... Мыши шарахнулись, и только одна, которую он пришиб рукой, осталась на месте с беленьким клочком в зубах...

Кармелюк потянул ее к щели. Кусочек оказался свернутою в трубочку бумажечкой. С лихорадочной поспешностью развернул ее Кармелюк; оказалось, что половина ее была съедена, а другая сильно погрызена... На недогрызке стояли только следующие слова: «исполни...», «леб...», «дут» и «тогда». Очевидно, в двух записочках сообщался план, по которому он должен был что-то исполнить... И он позволил на собственных глазах съесть свое спасение мышам!

— О, проклятье! — вскрикнул Кармелюк и изо всей силы ударил лбом о стену...

Рано утром у Каменецкого спуска на мост стояла, закрывшись платком, какая-то женщина. Она обращала на себя внимание тем, что стояла тогда, когда все живое и со дворов, и с моста суетливо торопилось в город на торговую площадь. Платок, спущенный на глаза, совершенно скрывал лицо незнакомки; но тонкий стан и гибкая фигура обнаруживали в ней и молодость, и красоту. По одежде ее скорее можно было отнести к зажиточным мещанам, чем панам. Снежок порошил и белым волнующимся пологом застилал даль.

Женщина, или скорее девушка, с таким напряжением присматривалась к пропасти, что не замечала, как ее толкали прохожие и покрикивали ей: «Набок!..» Ее

обругала даже какая-то цыганка с клюкой, вся заверченная платком, когда она, засмотревшись, чуть не сбила ее с ног. Цыганка поправила платок, обернула им еще плотнее голову и лицо и, крикнув что-то на тарабарском языке высокому цыгану, заковыляла и скрылась в толпе... Девушка до такой степени поглощена была своим ожиданием, что не обратила и внимания на брань, а только, заметив что-то вдали, стремительно побежала к мосту, а оттуда спустилась по скользким ступеням вниз к самому Смотричу и остановилась у арки. Через несколько минут к ней подошел засыпанный снегом знакомый нам странник.

— Ну что? — спросила она нервно, с тревогой.

— Ничего,— ответил странник,— сиречь ничего нового. Арестант, с которым дело веду, свой брат... верный. Передал, что два раза подбрасывал батьку в хлебе уговор, да никакого ответа от него нет... А что батькова нога, говорит, выздоровела...

— Боже мой! — всплеснула руками девушка.— Все неудачи... а время идет... Видно, такая моя горькая доля!

— Не журысь, панна Олеся (это была действительно она)! Шкарбун еще попробует не один способ... Быть может, там темно... шарики закатывались... он еще попробует... деньгами я его снабдил.

— Ах, как у меня изныло все! — заломила она руки.— А тут панотец тащит меня домой... Что делать? Я и то продержала его здесь две недели... Твой отец совершает требы в Деражне; негоже утруждать его слишком... и предлога нет здесь остаться... да и не у кого...

— Еще б, панна, хоть два дня...

— Не знаю, не знаю... Просто и головы не чувствую, словно не моя... Батюшка ведь и взял меня сюда с целью познакомить с протопоповским сыном,— все это меня лагодят замуж. Ну я и показывала вид, что мне протопоповская семья люба... А коли я просила остаться, то батюшка думал, что это я для сынка, и потурал (потворствовал), а теперь нельзя больше.

— А коли не можно, то не испытуй... и верь, что все устроится, как по-писаному... друзья слетятся и выручат... Наконец, после рождественских святок панна может найти предлог и приехать...

— Ой, как мне быть! Лучше с той скалы в Смотрич!

— Помни, панна, что дух уныния есть грех,— наставительно произнес странник.— Можешь и перед святками прибыть еще... матушку упросить... Да не смущается сердце твое! Положись на нас.

Долго они еще говорили, возвращаясь назад, и панна, несколько успокоившись, попрощалась с Хоздодатом; последний свернул в узенький, не больше как в сажень шириною, переулок, отворил дверь спрятанным в подряснике ключом и шмыгнул незаметно в занимаемую им комнатку с прихожей. Дома он поспешил сбросить бороду, разгримироваться и надеть обыкновенный статский костюм.

Позавтракав смаженой литовкой и чуть ли не целой миской постных вареников, проглоченных при помощи полуштофа доброй горилки, странник, преобразившийся теперь в Хоздодата, заснул, и заснул крепко. Уже короткий филипповский день догорал, когда он проснулся, да и то не сам по себе, а от визгливых криков, долетавших к нему из соседней комнаты. Хоздодат было попробовал перевернуться к стенке и, зарыв голову в подушку, снова заснуть, но крик мешал ему. Попович открыл глаза, зажег люльку и стал слушать.

Оказалось, что хозяйка тузила своего сынка, лет четырнадцати хлопца, за то, что он убил стрелой курицу с соседнего двора, за которую заплатить нужно злот. Хозяйка требовала у сына лук и стрелы, чтобы сжечь их, а сын упорствовал и не признавался, куда их упрятал... Мать принималась чем-то хлестать непокорного сына, но последний, слышно было, защищался. Хоздодата заинтересовало, сдастся ли сынок на увещания матери или она скорее устанет. Вставать ему не хотелось, и он лежа наблюдал эту сцену... Но вдруг осенила его мысль, и Хоздодат, сорвавшись, бросился в соседнюю комнату.

Сердобольная мать, запустивши руки в целую копну волос своего наследника, попробовала потрясать голову; но сынок, схвативши сильными руками ее руки, удерживал их от движения и грозил даже укусить ее за палец.

— За что вы ему, господыня, власы потрясаете? — спросил попович, пуская из носу и изо рта клубы дыма.

— Убью, каторжного! — вопила хозяйка.— А чертовый лук спалю! Что мне от него, пане, убытков!

— Хо-хо!! Не утруждайте себя курки ради... Поелику, хотя она и есть сосуд искусительный, но тем не менее губить из-за нее рыцарское орудие не подобает. Получите, вдовице, динарий, сиречь злот, за проступок вашего сына и приготовьте лучше под сафорку поличное одного злочинства... а сынку не портите фризуры.

Врученный злот сразу успокоил вдовицу, и она, схватив добычу, стала ее потрошить.

Хоздодат взял за руки хлопца и увел в свою комнату. Для успокоения нервов он ему поднес чарку горилки и дал кусок литовки.

— Не давай матери лука,— посоветовал Хоздодат,— а то спалит.

— Го-го! Чертового батька найдет! — ответил сынок.

— А хорош у тебя лук?

— Из завяленного шелюга... здорово бьет...

— О? Я сам ужасно люблю стрелять из лука... Только вряд ли он может далеко бросить...

— Вряд ли? — оживился хлопец, задетый за живое.— Да я воробьев за копу (шестьдесят) шагов бью, а эту курку цельнул шагов за двадцать, аж перья полетели...

— Эх, люблю и я стрелять... вот пошли бы вместе... а я научу еще лучше сделать лук...

— Из чего?

— Из дубовых обручей... Только нужно выбрать большую бочку и снять с середины обруч. Если к такому луку приделать еще стальные концы, так стрела полетит вдвое дальше.

У хлопца загорелись глаза, и он пообещал назавтра рано утром пойти с Хоздодатом пробовать свой лук с тем, чтобы пан сделал ему новый и со стальными концами.

XCI

Как только мать хлопца ушла на базар, он разбудил тотчас же поповича и отправился с ним, достав с чердака коморы свое оружие. Лук у хлопца был примитивный — обрубок шелюги, натянутый простою бечевкой,

а стрелы из тростника с головками из затверделой смолы, к которым прикреплены были маленькие гвоздики остриями наружу.

— И ты этакую стрелу можешь пустить высоко? — усомнился попович.

— Ого! И не увидит пан... до хмары! — хвастался мальчик.— А на краю скалы и горобца снесу.

— А ну попробуй! — сказал Хоздодат, когда они сошли с моста к Смотричу.— Выкинешь ли отсюда выше скалы?

Мальчишка натянул лук и, вытянув вверх руки, спустил тетиву. Стрела взвилась выше берега скалы, но, по соображениям поповича, не поднялась выше башни и, остановившись на мгновение в воздухе, повернулась вниз острием и упала в речку.

— Видишь ли, сбрехал... Стрела едва вылетела за край... и не то что горобца, а мухи бы не обидела.

— То у меня сорвалось: пальцы мокрые,— загорячился хлопец.— А вот смотри! — И он с большим напряжением рванул за бечевку. Стрела поднялась несколько выше, но не достигла высоты башни.

Попович рассмеялся; мальчик был сконфужен до слез и, чтобы поправить репутацию стрелка, начал показывать свое искусство в меткости. Действительно, при горизонтальной стрельбе он попадал шагов даже на пятьдесят в шапку, а на ближайшем расстоянии и в более мелкую цель. Попович был в восторге от стрелка, но тем не менее убедился, что предельное расстояние для его оружия было пятьдесят шагов — не более... а он мечтал о другом: ему необходимо было, чтоб стрела могла на семьдесят пять шагов попадать в цель.

— Слушай, хлопче,— сказал он стрелку в заключение,— ты стреляешь отлично, но лук твой слаб. Я попробую сделать лук по-своему, и тогда мы вместе станем стрелять: я тоже начну учиться...

— О, тогда я и ворон, и галок буду бить... а может, и дикую качку!

Одним словом, хлопец был в восторге, и они, возвратясь домой, принялись за дело: хлопец бросился по дворам, чтобы найти большой дубовый обруч, а попович побрел по железным склепам искать стальной пружины.

Через два-три дня все было добыто при помощи ко-

шелька поповича,— даже бычачья шерстобойная струна,— и попович приступил к сооружению лука. Хлопец был в телячьем восторге от этого нового оружия; особенное наслаждение доставлял ему звон тетивы, сопровождаемый длинным умирающим звуком; лук был туг, и натягивать эту тетиву было трудно... Но хлопец ею звонил, упражнял мускулы и божился, что он через немного времени будет с нею справляться по-свойски.

Относительно стрел вышло было пререкание. Попович предлагал делать их из сосны и оперить с одного конца, как делают дикие, но хлопец стоял за очерет, в последнее колено которого допускал вставку соснового цилиндрика; для наконечника же стрелы непременно требовал гвоздика с остроконечной головкой. Попович предоставил ему право поставки стрел, и через день десяток их был готов.

Стрелки немедленно отправились испытывать свое оружие в ущелье за Каменцом, указанное хлопцем: оно было самое глубокое, и верхний край утеса был выше двадцати саженей, а на нем вверху росли еще и деревья.

Когда они очутились у подножья скалы и хлопец пустил стрелу вверх, то она взвилась и исчезла из глаз. Хлопец стал прыгать от радости, да и Хоздодат вместе с ним.

— Вот она! Глядите! Как иголочка! — указал он рукой на блестящую черточку, почти точку, остановившуюся в воздухе на мгновение; был солнечный день, а потому тростник отливал золотом.— Ей-богу, выше лаврской звоницы!

— Выше — не выше, а, несомненно, выше тех деревьев,— был в восторге и попович.— А давай вот что: повесим на том яворе вот эти две склеенные бумажки и станем отсюда попадать в них.

— Давай! — И хлопец бросился с удвоенным листом через боковой выход карабкаться по выступам камней и по извивавшейся опасной тропиночке вверх. Через полчаса он показался на вершине обрыва и полез по ветвям, распростертым над пропастью, на верхушку явора, где и укрепил цель. Только под вечер могли наши новые Робинзон и Пятница открыть стрельбу в цель. Хоздодат пустил стрелу, но она не попала даже и в явор, а стрелы хлопца ложились все на ветвях явора, но из десяти стрел попала в бумагу лишь одна.

Хоздодат был очень доволен результатом и, заплатив хозяйке, чтоб не сердилась на отсутствие сына, стал ходить с ним ежедневно на упражнения в стрельбе. Сам попович подвигался туго в этом искусстве, но мальчишка на третий день попадал из трех стрел одной в лист.

— Ну, этого довольно,— сказал Хоздодат,— большей точности мне не нужно... Теперь скажи вот что: можешь ли эту палочку обвернуть в бумажку, не испортится ли полет стрелы?

— Ни капли! — ответил хлопец.—Подстругать только немного палочку, чтоб не расщепила очерета,— и все!

— Так идем же домой, приготовим с бумажками стрелы... и за удачный выстрел ты у меня получишь два червонца!

В уютном будуарчике своей каменецкой квартиры полулежала на кушетке Розалия. Недалеко от нее в вольтеровском кресле сидел с чашкою кофе в руках комендант крепости. Розалия с ним особенно близко сошлась и, по привычке, немного кокетничала, испытывая сердце воина-ветерана. Лицо ее, похудевшее и бледное, носило следы пережитых житейских невзгод и отражало гнетущую ее душу тоску, но все же оно, при помощи косметических средств, было еще соблазнительно красиво. Из третьей комнаты — столовой — доносился по временам сюда веселый говор, а иногда и раскаты серебристого хохота.

— Ну, мой любый пане комендант, что доброго? — спросила Розалия, принимая на кушетке более удобную позу.

— Да что доброго, коханая пани? Ниц! — заговорил раздраженным голосом комендант.— Спят там в Киеве или в бостон * заигрались,— не знаю, а вот на три донесения господина губернатора никаких ни отповедей, ни распоряжений, ни контраверсий (возражений).

— А что?

— Да помилуйте мою душу, пани! Прислали воен-

* Старовинна гра в карти.

ную помощь — это правда, но никаких чрезвычайных мер для устрашения этих гайдамаков и хлопов не принимается. Ну, главный дьявол сидит у меня, а допросов ему не делают и к суду не приступают...

— Почему? — уронила пани словно бы с полным равнодушием.

— Да потому, что мы хлопочем о полевом суде, сиречь чтобы просто повесить шельму... А что этому дьяволу обыкновенный суд? Выдержит и полтораста кнутов, а все-таки из Сибири вновь удерет к нам на голову... Губернатор вот на днях послал неотменную просьбу, дабы повелено было не токмо его, но и всех главных вожаков судить полевым судом. Одним словом, перевешать, как собак...

— Ай! — вырвался вопль у Розалии, и она, схватившись рукой за сердце, запрокинула голову.— Проше пана... флакончик... там... на туалете...— протянула она болезненно.

— Что с пани? — встревожился комендант и бросился за флакончиком.

— Ниц... это нервы... Не могу слышать про все эти ужасы... Ведь и они люди!.. Ах, не будем злы, пане! — продолжала она.— Ведь за каждое доброе чувство нам сторицею заплатится там,— подняла она вверх свой выточенный, украшенный перстнями пальчик.— Ведь и теперь все узники у вас голодают, а мы вот... Да, кстати! Можно ли узникам прислать что-нибудь?..

— Из пищи? Конечно... Доброхотные даяния не возбраняются... Само собою разумеется, через смотрителя, не иначе... Если кто и деньги присылает на улучшение пищи, то опять-таки через смотрителя... Но клянусь, пани, что эти лотры такого сердоболия не заслуживают. Представьте себе, что при последнем побеге одна женщина из шайки этого вельзевула убила двух часовых!

— Это любовница его! — вспыхнула Розалия и сверкнула злобно глазами.

— По всем вероятиям... У гадюки должна быть и подруга жизни — гадюка!

— Но ведь она убита? При поимке же Кармелюка всех перебили?

— В том-то и беда, что эта шельма улизнула...

— Как? — даже приподнялась на кушетке от изум-

ления Розалия; лицо ее исказилось ненавистью и сразу постарело.

— А так: она да еще один гайдамак ушли другим путем и не были найдены... Могут опять появиться здесь... найти однодумцев... и помочь побегу этого дьявола... Хотя я удвоил караул... сковал бестию... но все же опасаюсь... А начальство медлит судом...

— Разве убийцы дерзнут явиться на глаза властям?

— О моя пани кохана! Эти канальи на все способны... Вот и теперь появилось в нашем городе несколько подозрительных личностей... Следовало бы хоть проследить, вышпионить... дать награду за открытие... а мне на это сумм не отпускают... Градская же полиция, известно...

— А между подозрительными личностями есть и женщина? — спросила, затаив дыхание, пани.

— Конечно... какая-то цыганка...

— Цыганка? — протянула Розалия.— Всякая цыганка подозрительна...

— Да, да, Розюню... ты совершенно права! — И с этими словами впорхнула в будуар Агата,— она приехала в Каменец навестить подругу и несколько рассеяться. Выздоровевший судья отпустил ее, поручив свое сокровище другу дома Алоизу. Агата сверкала жизнерадостностью и казалась уравновешенной.— Знаешь, что пан Янчевский рассказывал?.. Ах, моя любка, ce gu'il est drol *. Бедненький! Уши бы еще ничего: он отпускает длинные волосы для драпировки... Но кончик носа! И порядочный... Ха! Это так смешно! Демосфену-то речи нужны... а тут вместо украшения... Да, так представь, он говорил, что раз уже арестовал старую каргу-цыганку с клюкой...

— И тут видели ведьму с клюкой,— вставил комендант.

Розалия заметно побледнела.

— Так это она, пане коменданте! — вскрикнула вне себя Розалия.— Та цыганка с клюкой, что шляется здесь, несомненно — любовница Кармелюка... убийца двух часовых... Она явилась сюда, чтобы выкрасть своего возлюбленного... Велите ее немедленно схватить... заковать... растерзать...

* Який він смішний! *(франц.)*.

— Легко сказать... но нужно иметь добрых лазутчиков... а для лазутчиков необходимы пенензы...

— Для общественного блага я ничего не жалею,— продолжала с такой запальчивостью пани маршалкова, что даже белая пена садилась на ее розовые губки и слетала с них брызгами.— Нужно во что бы ни стало изловить гнусную тварь... это чудовище порока... страшную убийцу... Вот пану семьсот злотых... Распорядитесь ими!

— Вот истинная патриотка! — воскликнул торжественно комендант.— И от себя, и ото всего края сердечное спасибо!

— Браво! Браво! — захлопала в ладоши Агата.— Это будет лучшим доказательством против Демосфена... Представь себе, он вообразил, что цыганка... Ну, après... * Вообще он на тебя дуется... а может, и на всех обижен... Конечно, на всех,— стрекотала она, точно сорока,— собирается докопаться до чего-то, вывести на чистую воду... отомстить... Ну, конечно, он в негодовании за свой носик... Ха-ха. Ужасное безобразие! Но мы потолкуем... Алоиз! Алоиз! — возвысила она вдруг свой голос, заглядывая в зал.— Где пан застрял? Опять пить? Нет уже, пшепрашам! — И она выпорхнула так же неожиданно из будуара, как и влетела.

Розалия глубоко вздохнула, понюхала флакон, натерла спиртом виски и, несколько овладев собой, произнесла усталым голосом:

— У меня к пану коменданту искренняя просьба...

— Служу пани всем возможным и невозможным!

— О, это совершенно возможное: это шалость... любопытство женщины, если хотите... каприз... Вот что: вы, несомненно, любовницу изловите... и всех их перевешаете. Но до этого... до суда еще... дайте мне возможность взглянуть хоть глазком на эту парочку... Уж очень редкие субъекты... Любопытно.

— С удовольствием,— ответил комендант.

— Мерси! — уронила Розалия и протянула милостиво руку. Комендант бросился лобызать ее.

На той же самой площади, где обитали Фингеры и которая составляла аристократическую часть города, на

* Пізніше *(франц.)*.

задворках, выходивших к противоположной от моста пропасти, ютились чуть ли не пещерные постройки каменного периода; такие помещения имели характер шинков, содержались евреями и составляли приют босяков да бродяг. Главный вход в эти «таверны» был устроен не то с переулка, не то с груды наваленных в беспорядке камней или с какой-то руины и представлял каменную дыру; по узким ступенькам она вела в покосившуюся хибарку. В таких хибарках обыкновенно две, а иногда даже три стены состояли из сплошного гранита, и только четвертая, висевшая над пропастью, была сложена из камней; в ней-то и были вставлены окна. В небольших сенцах при входе всегда находилась другая дыра, спускавшаяся в погреб, из некоторых погребов были ходы и к пропасти, снабженные прикрепленными к камням узловатыми веревками, по которым, в случае крайности, преследуемые могли спуститься и на дно пропасти.

В одном из таких шинков сидели за отдельными столами несколько посетителей. Дым от люлек и врывавшийся в дверь пар, смешивавшись, наполняли красновато-сизым густым туманом низенькую трущобу; свет от шабашковых двух свечей расплывался мутными пятнами в этой мгле и не мог выделить из нее ни лиц, сидевших за столами, ни даже фигур их; последние казались темными, удлиненными пятнами, которые то ежились, то вытягивались и выпускали словно бы щупальцы.

В полумраке раздавался говор нескольких голосов, сливавшихся в неясный, глухой шум.

— Так, что путаный Шкарбун? — спрашивала тихо коренастая фигура, похлебывая из кухля плохое пиво.

— Все еще толку мало,— отвечал женский голос,— не липнет тот к смальцу: он, видишь, хорду (хлеб) раздает... так бы его на мед... да беда: очи вытаращенные, а сердце — ганчирка (тряпка)... Наш-то старается заслепить ему очи... да вот время уходит... Я бы не знаю что...

— Что ж, ни спехом, ни штурмою тут не возьмешь! Прибыл я... Башкой пожертвовать готов, а на эти пролазные хитрости смекалки нет... Эх, кабы зубов больше,— грызнули б!

— Да что, у этого дида лою в голове нет, что ли? —

раздражался женский голос, хотя заверченная в лохмотья фигура и старалась говорить шепотом.— Ведь с воли он все иметь может — и перья, и смычки, и звонила *, а вот там ничегохонько не примозгует... даже не может услышать орлиного клекота... Эх, тот бы всему надоумил!

— Верно. Только вот потерпеть надо, пока сову приручат... У него-то башка крепкая... надеи не теряй! Да и птиц, говорят, до весны потрошить не станут.

— Эх, говорят! А как пошабашат?.. Письменный сказывал, будто теперь дид на том порешил, чтобы, подмазавши кого след, втереться к шпанке, что хорду носит... Справа-то у них деется так: впереди — сова, за ней — два с лоханью, далее два с хордой в рядне, а напоследок шило... Таким манером и заходят по хлевам да по клеткам... Так вот он думает к хорде попасть и сове залить очи,— тогда он может...

— Крыса! — кто-то крикнул из-за дверей.

— Ш-ша!!— раздался голос в углу, где стояли барыла. Но вместо молчанья поднялось вдруг беспорядочное галденье; среди поднятого шума слышались то пьяные требования горилки, то ругань, то оборванная хохотом песня...

— А что же, не пустили кота? — вырезался наконец один голос из гама.

— Чего даром кота? — отвечал шинкарь.— Крыса, может, гулящая... Вот лучше бы лили в горлянку да замыкали болталку. А то и гешефт с вами плохой, и пользы мало, а одно только небеспеченство (риск).

— Закрой дыру, коли боишься! —посоветовал кто-то.

— Смотри, чтоб твою дыру не закрыли, лайдак! — огрызнулся хозяин.— Принесет мне карманщину и меня же, купца, ошукает. Разве это порядки? Ой вей-вей! Вот вчера передал мне дзыгары (часы), — добрые, вижу, золотые... Я плачу, как следует... И вдруг смотрю потом... вус? У меня самого из склада пропали золотые дзыгары! Ой гевулт! Хорошо это, честно?

Кто-то одобрительно засмеялся.

— Брешешь, жиде! — ответил, давясь смехом, обвиненный.

— Як брешешь? Цто брешешь? Ах ты паршивый

---

* І ножі, і терпуги, і гроші *(злодійська мова)*.

злодий! Босяк! Халдыга! — завизжал жид, и длинная его тень с заостренной бородкой заволновалась по стене и по потолку.

Поднялся общий гвалт, к которому присоединился и визгливый голос еврейки.

Но крик «Пацюк!» и появление новой, довольно внушительной фигуры в хибарке сразу прекратили поднявшуюся было ссору. Все притихли. Кто-то загасил свечку... и только одна еще мигала мутно-красным пятном...

XCII

— Ха-ха! — рассмеялся Хоздодат.— Чего ради, мытари и фарисеи, смутилися? Я не пацюк, а кот! А только вон там, вкруг норы, нюхает крыса... нужно бы наверх ухо да око! А пока давай, жиде, меду, коли не кислятина, а то, вернее, доброй горилки, да огурцов соленых с десяток, да капусты квашеной миску, да еще паляницу, что ли... Ставь вот хоть сюда,— указал он на стол, где сидели прежние собеседники; последние оживились, услыхав голос вошедшего, и отодвинулись, чтоб дать ему место.

— Зараз, зараз, любый пануню! — засуетился шинкарь, пришедший сейчас в хорошее расположение духа.— Вот это гость! А шнелер, балабуста (скорее, жена)! — прикрикнул он на свою хозяйку.

— Слушайте, друзи мои,— заговорил шепотом пришедший, пока евреи приготовляли и подавали закуску вместе со штофом водки.— Цыганку ищут по городу; приметы твои описаны, и листы везде прибиты. Я сам подслушал, как два шпига (шпиона) столковывались... Говорят, назначена награда... Каждая минута дорога... Уже один шпиг недаром шныряет возле этой дыры,—может и пацюков привести... Если бы тебе переодеться и выйти уже хлопцем отсюда?

— Я всегда ношу с собою одежду,— ответила женщина, очевидно, та мнимая цыганка, которую искали.

Так ты живым маршем в погреб и перемени амуницию,— посоветовал ее товарищ,— и потом скорым шагом за город. В Дубовой корчме можешь и коня купить али контрибуцией взять у жида,— и прямо к гнез-

ду... под Летичев... К Дубовой и я прибуду — маршрут тебе указать...

— Добре. А тут же как без меня? Что станется с орлом? Ой, болит мое сердце!

— Не убивайся, вдовице,— утешил ее Хоздодат; он и посещал этот притон для свиданий со своими.—Довбня и Гололобый да Лемиш остаются при мне. Все, елико возможно, сделаем, чтобы спасти батька, а ты нужна там...

— Это точно,— заключил Дмитро.— Если там не будет кота, все мыши разбегутся. Так ты, стало быть, там, а мы — тут.

А Кармелюк томился в своем ужасном заключении, томился без надежды, в тяжкой тоске.

Подброшенная ему от друга весточка сначала страшно обрадовала его; потом, в продолжение двух дней, он приходил в неистовую злобу на себя за допущенное им уничтожение,— и кем же? — мышами! — дорогой цидулки, хранившей план его освобождения; далее силился по оставшимся словам проникнуть в смысл послания, раздумывал над ними до одурения и наконец начал мстить своим врагам и избивать их десятками.

Но совершаемые казни принесли ему только лишнее зловоние, а не облегчили горечи. В конце концов Кармелюк остановился на том, что если друзья ждут от него каких-либо известий или мер, не видя ни того, ни другого, они снова подадут ему весточку.

Он успокоился на этой мысли и стал терпеливо ждать.

Но мутные дни сменялись черными, томительно длинными ночами и не приносили ему никаких вестей. Напуганные казнями, мыши разбежались по другим камерам, и теперь в его дыре не раздавалось больше ни шаловливого писка, ни суетливого шороха вороватых сожительниц, а стояла лишь глубокая могильная тишина.

Кармелюк ждал и ждал, но время словно остановилось в своем течении, принесши ему невыносимую безысходную тоску. «Хоть бы звали к допросу, но нет — не зовут. Быть может, замуровали здесь на смерть и успокоились? А друзья? Да от них ли еще была эта весточка? С воли ли она? Быть может, Шкарбуна посадили

сначала в эту башню, а потом перевели в другую... он и дал о себе весточку, да и все тут!»

Последняя догадка взяла наконец верх над остальными и черным саваном легла на душу узника.

Мало-помалу у него стали притупляться и мысли, и желания, и даже физические ощущения от боли тела, ссадин и онемения членов; тогда он погружался в какую-то бесчувственную спячку. Но иногда от этой спячки пробуждал его острый порыв отчаяния, и Кармелюк срывался, рвал на себе волосы и бился головой о каменные стены своей тюрьмы.

Раз в таком невменяемом состоянии духа он поднял с нестерпимою тоской глаза к своему решетчатому окну и вдруг услышал, как что-то ударилось о стекло.

Кармелюк вздрогнул и приподнялся. «Не птица ль с размаха ударилась? — подумал он.— Из такой пропасти добросить сюда камень никто не сможет». Но только что промелькнула в его голове эта мысль, как раздался второй удар, но уже в среднее стекло окна; со звоном посыпались его осколки вниз, и что-то длинное скользнуло вверх, ударилось о камень и, повернувшись раза два в воздухе, упало к его ногам.

— Стрела! — вскрикнул невольно Кармелюк от прилива несказанного волнения, и вскрикнул так громко, что мог бы обратить на себя внимание часового. В следующее же мгновение он схватил посланницу и спрятал ее на грудь, а потом долго прислушивался, едва переводя дыхание. Только уверившись в том, что все кругом спокойно, решился он взглянуть на свое сокровище.

С первого же осмотра Кармелюк заметил, что из последнего коленца тростника выглядывает бумажка. Он осторожно размотал ленту тонкой бумаги и, распростершись на полу, поднес эту ленточку к полоске света.

На ленте были написаны слова. Кармелюк напряг зрение, обострившееся в темноте, и прочел дрожащим голосом следующее:

— «Аз и Олеся готовы головы положить, а спасти батька. Есть еще три сокола. Выкинь через окно нам весточку. Смычки получишь через дверь. Если нет, то сообщи как?»

— Господи! Она, моя зирочка, здесь! Я не один! — и Кармелюк, изнуренный телом, истерзанный душой, не выдержал и с рыданием прижал к груди клочок бумаги.

Кармелюк до того был опьянен этою счастливою неожиданностью, что чуть не сошел с ума. Ему всю ночь виделись не сны, а стремления, грезы его души воплощались в образы, которые наполняли эту смрадную, сырую, холодную дыру райскими картинами и неизъяснимым блаженством... Только под утро он заснул, но не надолго: трепетавшее внутри его счастье будило энергию.

Проснувшись, Кармелюк первым делом припал устами к записочке, как к реликвии, и горячо помолился; потом он стал рассматривать с любовью стрелу, принесшую ему радость. Оказалось, что и другие коленца ее были не пусты. Расщепив их, он вытянул из середины несколько тонких ниток да еще иголку. В его положении это приобретение было очень важно. Вчера он хотел было написать своим друзьям, но не было хлеба и наступили скоро потемки, а теперь он стал думать, как это сделать. Прежде всего, чем писать и на чем? Конечно, других чернил здесь он и не мог достать, кроме собственной крови... а присланная бумажка, хотя и больно было ее отдать, была с обратной стороны чиста. Кармелюк выбрал из осколков стрелы один острый, напоминавший перо, сделал иголкою прокол на руке и стал набирать в импровизированное перо набегавшие капли крови и ими выводить на бумажке букву за буквою... Много времени и настойчивого труда было употреблено на писание, наконец-таки к раннему арестантскому обеду цидулка была готова; на ней стояло:

«Друг мой и ангел небесный! Вы спасли меня от самоубийства. Доставьте напильник и терпуг, для спуска полотно по частям».

Свернув эту бумажку в трубочку, Кармелюк облепил ее хлебом, так что вышел плотный шарик величиною с картечь. Теперь нужно было изловчиться и попасть этой картечью в дырочку, сделанную стрелою в стекле. Нужно заметить, что пробой, сделанный стрелою, получил неправильную форму звезды с лучеобразными расколами; образовавшиеся от этих расколов треугольники одни сваливались на пол, другие торчали внутрь.

Кармелюк попробовал освободить правую руку от наручников; это ему легко удалось, так как за последнее время он значительно похудел. Теперь ничто не стесняло движения его руки; но железный пояс, притягивавший

его к стене, мешал принять удобную для метания позу. Ему и напильник нужен был лишь для этого пояса, а разуваться и снимать наручники он хорошо умел и раньше.

Кармелюк принялся кидать шариком в разбитое стекло, но первые опыты были неудачны: шарик попадал то в стену, то в железную решетку, отскакивал на пол и закатывался в какую-либо щель. Приходилось каждый раз лазить по полу и шарить руками, чтобы найти в темноте шарик. Кармелюк не чувствовал усталости; после доброго часа упражнений он стал попадать лучше... Но когда комок ударял в стекло, то происходил резкий звенящий стук, и часовой мог его услышать... С ужасом пригибался тогда атаман к щелке, прислушивался и, только уверившись, что не возбуждена тревога, возобновлял свои упражнения... В таком рискованном и тяжелом метании самодельного снаряда прошло несколько часов... Кармелюк уже отчаивался, как вдруг неожиданно, почти в сумерках, попал в цель шарик, вышиб два обломка стекла и исчез с ними за амбразурой...

На другое утро наш узник принялся осматривать окно, можно ли через него вылезть. Ему казалось, что если даже выпилить железные перекладины, то отверстие будет настолько узко, что не пропустит даже ребенка... Впрочем, оно высоко и за толстыми стенами едва видно... Эх, если б не этот железный обруч!

У Кармелюка блеснула мысль; он приподнялся с плиты и ухватился рукою за кольцо. Плита, на которой он сидел, поднималась, и под ней открывалась каменная труба сажени в три глубиной, выходившая одним концом в пропасть; труба служила отводным каналом для нечистот... Поднявши ее, узник взглянул в клоаку; отверстие было не шире четверти аршина в диаметре и, конечно, через него мог пройти лишь новорожденный младенец, но зато здесь, под плитой, можно было хранить на привязи все, что угодно. Начальство, будучи убеждено, что из этой башни нельзя ни выкопаться, ни выкарабкаться, не осматривало помещение внутри, а только через форточку в дверях поверяло наличность узника и тем удовлетворялось. Если бы не так, то разбитое стекло было бы замечено и вызвало бы рассле-

дование причины. Кармелюк сначала этого и боялся, а после лишь ежился от холода да согревал себя гимнастикой, благо, что погода стояла тогда не по времени теплая и зима не приходила. При таких обстоятельствах разбитое стекло даже улучшило узнику условия жизни, так как помещение его стало проветриваться.

Потянулись опять дни и ночи; но они уже не убивали энергии у Кармелюка: сознание, что за этой каменной стеной и в самой темнице находятся друзья, готовые для его спасения отдать свою жизнь, уверенность, что среди них бьется ангельское сердце, любящее его, отверженного, заклейменного, проклятого,—все это наполняло его душу таким счастьем, при котором и лишения, и ужасы настоящего расходились туманом и таяли в ярких лучах надежды. Теперь он мог и терпеть, и ждать беспредельно...

А жизнь текла по-старому: никаких известий от друзей не получалось, и единственною, пока необъяснимою для узника новостью было то, что ему начали отпускать и приварок. Прежде краюху хлеба, кусок сала и кувшин воды заносил один сторож, а теперь в конце коридора останавливался обеденный отряд, среди которого слышался Кармелюку и голос Шкарбуна... или ему это только казалось... Во всяком случае, и в улучшении пищи он видел неустанные хлопоты друзей...

Наконец, в конце второй недели, уже в полные сумерки, снова звякнуло стекло и посыпались осколки; но как ни напрягал обрадованный Кармелюк зрения, а стрела вниз не падала; он обшарил руками все плиты, изрезал руки битыми стеклами, а стрелы не находил... Огорченный и разочарованный, он не спал почти всю ночь и ждал рассвета... Наконец мутный день настал, и выяснилось, что стрела, пробив последнее вверху стекло, ударилась о камень и, ослабев, соскользнула на железную решетку, где и задержалась на переплете... Нужно было хоть слабо толкнуть ее, чтобы вывести из равновесия, но чем? Бросать опять картечью из хлеба было крайне рискованно: можно было и звоном привлечь часового, и вышибить третье стекло, и тогда, при холодах, узнику предстояло бы или добровольно замерзнуть, или объявить начальству о разбитых стеклах и дать тем повод к следствию... Кармелюк освободил руки от браслетов, скинул чумарку и, свернув ее в ком, стал

попадать им в стрелу; наконец рукав зацепил ее и свалил. В стреле находилась следующая записка:

«Олеся с болью сердца поручает батька друзьям и богу. Должна выехать, но вернется... Дело хотя тихо, но идет вперед...»

Между тем у Розалии не выходило из головы разрешение коменданта раздавать арестантам булки. Как этим случаем воспользоваться, чтоб переслать своему возлюбленному записку в булке? Ведь не она же сама будет раздавать? Наконец, она не может и назначать специально для Кармелюка булку: тогда последнюю непременно разрежут и осмотрят... Что делать?

Долго ломала себе голову пани и наконец остановилась на следующем: в канцелярии ее мужа, переехавшей с ними в Каменец, находилось много исписанных бланков-отношений, предписаний, предложений и т. д. Она отобрала однородных до сорока штук и незаметно подчеркнула красным карандашом в каждом некоторые слова, ряд которых для постороннего лица не представляет никакой логической связи, а для посвященного в тайну, особенно такого умного, как Кармелюк, составит шифрованную записку... Что же касается начальства, то оно, увидя на всех сподах булок казенные однообразные бумажки, не обратит внимания, а если б и обратило, то ничего не поймет. Задумано — сделано. Розалия отметила тонко на бланках следующие слова: «вся... без остатков... сообщение... жди... хлебом... бурдее... дорожат... весенние всходы... опасны...», велела на них испечь булки и отправилась с этими даяниями в крепость.

Коменданта она не застала дома, а должна была обратиться к смотрителю. Тот встретил важную пани с подобающим почтением и велел осмотреть булки. При Розалии сделан был осмотр хлеба, и смотритель, к ее ужасу, велел содрать бумажки. Сторож попробовал содрать, но они припеклись к хлебу; тогда он стал просто обстругивать споды до мякиша.

Розалия, закусив губу, и краснела, и бледнела от злости.

— Для чего это вы, пане, портите хлеб? Почти третью часть срезываете?

— По инструкции-с, вельможная пани,— ответил, осклабясь, смотритель.

— Что ж это, против меня, пани маршалковой, инструкция? — вскинула она на смотрителя гордый, полный презрения взгляд.

— Сохрани боже! Это вообще-с... форма...

— Какая форма! — подняла голос Розалия.— Против кого? Если пан может меня подозревать, то пусть лучше велит разрезать хлебы... Может быть... ха-ха!.. я там припрятала арестантам ножи?!

— Совершенно верно, пани, разрезать некоторые на выбор следует...— И он взял хлебов пять и сам их разрезал на две и три части...

— Ну, а теперь я пану скажу, что я буду жаловаться и коменданту, и губернатору за оскорбление.

Смотритель, видимо, струсил.

— Я тут ни при чем, вельможная пани... Мне приказывают... требуют... инструкции строгие... Впрочем, я остальных булок разрезать не буду...

Розалия несколько успокоилась и произнесла с достоинством:

— Я прошу, чтобы всякий арестант получил по булке, чтоб и сидящих в одиночках не обошли и не наделили их порезанными кусками.

— Будьте покойны, пани,— кланялся виновато смотритель,— и простите: что делать — служба такая!

Розалия кивнула головой и величественно вышла из приемной,— больше ей нельзя было ничего сделать, и получение Кармелюком обрезанной или целой с бумагою булки зависело от случая... Она решила в уме повторить опыт, только обставить его получше.

XCIII

Шкарбун никак не мог подкупить сторожа; уж он его соблазнял даже десятью червонцами, но мягкий и поддающийся на всевозможные подачки сторож был по отношению к Кармелюку непреклонен. Его страшила ответственность, и он был убежден, что за пособничество к побегу,— а что сношения с Кармелюком клонились к этому, он не сомневался,— ему пришлось бы ответить головой, отклонить же ответственность было

невозможно, так как единственно этот сторож имел сообщение с башней.

Шкарбуну, впрочем, удалось закупить всю камеру постоянными угощениями. Сторож охотно носил сюда и водку, и пиво, и провизию, и даже карты; сам оставался иногда в камере, будучи не прочь кутнуть и перекинуться в «хлюста» или в «око». Таившаяся в нем склонность к хмелю стала развиваться со времени сближения с Шкарбуном довольно быстро, так что в последнее время зачастую сторож вынужден был опохмеляться и днем и являться даже при разноске обеда пьяным. Но за угощение Шкарбун только мог выхлопотать для батька прибавку хлеба и приварок, а для себя — зачисление в отряд для разноски пищи. С неделю он уже ходил и при хлебе, и при лохани, но все же сторож никого не допускал к дверям одиночных, что были заключены по башням. Только из-за угла коридора Шкарбун мог дать знать о себе батьку криком или бранью с товарищами.

Раз сторож был к обеденной разноске сильно пьян: ноги не сразу находили точку опоры, и руки дрожали. Шкарбун это заметил и насторожился. Когда отряд подошел к башне, что выходила во двор, сторож попробовал было подать в камеру воду и не мог донести ее — всю расплескал; тогда он попросил Шкарбуна подать на его глазах хлеб и воду в форточку. Далее они остановились у коридора Кармелюка.

— Прикажешь налить в миску щей? — обратился Шкарбун к сторожу.

— Прикажу! — икнул тот.

Шкарбун схватил миску, отвернул ее несколько от глаз сторожа и, положив на дно левой рукой какой-то сверток, крикнул товарищу: «Лей!»

Тот немедля опрокинул огромную ложку мутной жижицы, потом другую и наполнил до краев миску. Шкарбун подал ее скорей в форточку с огромной краюхой хлеба, потом налил в выставленный кухоль воды. Сторож за всем этим зорко следил и покрикивал:

— Только ни слова! Ни знака! Я знаю тебя...

Шкарбун на это замечание ответил радушной улыбкой и с сияющим от счастья лицом возвратился к отряду.

А дед, подавая миску, успел-таки шепнуть в форточ-

ку: «Осторожней ешь, батьку!» — и Кармелюк услыхал этот шепот; он схватил миску и едва повел ложкой, как зацепил сейчас же что-то тяжелое. Он выхватил эту прибавку к щам и поднял к свету; сквозь размоченную бумажку торчали три английских напильника, складной средней величины ножик и небольшое долото...

Радости Кармелюка не было границ: теперь-то он избавится от железного обруча и будет свободен!

Подкрепив свои силы, Кармелюк принялся сейчас же за работу. Напильники оказались отличными, и к вечеру железный пояс был перепилен. С детскою радостью сбросил с себя узник этот ненавистный обруч, снял наручники-кандалы и стал производить всякие гимнастические упражнения, не исключая даже подпрыгиваний. Эта гимнастика размяла его затекшие от сидения члены, подействовала вообще живительно на весь организм и подняла расположение духа, а главное — согрела, и Кармелюк мог теперь и днем и ночью,— особенно ночью,— отогреваться. Он приспособил распиленный пояс так, что мог надевать его словно бы с пряжкой,— без риска, что тот упадет.

На другую же ночь Кармелюк задумал сделать экскурсию к окну. Оно было высоко и начиналось амбразурою аршина за четыре от пола. Рукой достать до первых железных перекладин он не мог, веревки у него не было. Попробовал он было забрасывать свою чумарку, но она распластывалась при полете и никак не могла проскочить или ущемиться в узких промежутках решетки.

— Нет,— промолвил вслух, падая от усталости, узник,— ни беса не будет... Здесь именно веревка нужна... Сделал бы узел — и в один момент за перекладину. Но где раздобыть веревку? Где?! — вскрикнул он через несколько минут радостно.— Да из своей сорочки!

Моментально оторвал узник по пояс подол, разорвал его на несколько одинаковых полос, каждую полосу скрутил жгутом, прошил для прочности, а потом связал мертвым узлом. Получилась полотняная веревка сажени в три. Кармелюк попробовал в руках ее крепкость и, оставшись довольным, сделал на одном конце крупный узел, увязав в него небольшой камень; теперь было удобно метать таким снарядом, и Кармелюк попал узлом за переплет решетки, где тот и застрял. Кармелюк

потянул веревку, дернул несколько раз и полез к окну, опираясь о стену ногами. Добравшись до решетки, он ухватился за нее руками, пролез в амбразуру и уселся на подоконник. Он начал исследовать окно. Туловище его при входе в амбразуру помещалось свободно, но к решетке отверстие суживалось, и он с трудом к ней просунулся, а за решеткой еще была лутка... «Одним словом,— решил он,— если выпилить решетку при самом муре и выломать еще лутку, тогда возможно будет, хотя и с большим усилием, протиснуться...» Во всяком случае, это был единственный путь на волю. С этой же ночи он решил подпиливать по одной перекладине, но оказалось, что на нее мало ночи. Обратно Кармелюк полез не по веревке, а захватил ее с собою, а сам, вытянувшись на руках, спрыгнул...

Теперь Кармелюк по целым дням спал, а по ночам, когда в крепости становилось тихо, принимался за работу. Друзьям своим он снова, в шарике хлеба, послал известие, что инструменты получил и работает над решеткой... Просил, чтобы ему для спуска прислали по частям простой десятки (грубый холст), а сколько — пусть рассчитают.

Через несколько дней узник получил неожиданно вместо хлеба целую сдобную булку. С затаенной радостью он стал рассматривать этот подарок и заметил бумажку. Кармелюк стал ее внимательно просматривать, полагая, что она прихвачена с умыслом, но уже первый взгляд на казенный бланк заставил его догадаться, откуда прислана эта булка, а подчеркнутые слова уяснили ему и смысл послания.

— Опять вяжется, чертова кукла! — вскрикнул он, отбросив в угол булку.— Сама же завела в западню и лезет еще «вся без остатков». Бурдеем манит... Эх, прости ты, пани! Мне и подумать про тебя тошно... а при небесной зореньке даже грех!.. Но что значит: «хлебом дорожат»?.. Неужели она пристала к моим спасителям? О, это было бы ужасно... Но вот последнюю фразу, кажется, нужно так понять, что до весны я свободен, а с весны начнутся мои терзания... Это она могла выведать... и нужно это забить гвоздем в башку!

Время тянулось. Подпиливание шло медленно. Кармелюк, воспользовавшись булкою, заклеил ею верхнее стекло в окне наглухо, а среднее с трех сторон, четвер-

тую же оставил для корреспонденции. Теперь сделалось в башне теплее. Через неделю он получил в форточку не полхлеба, а целый, и в нем оказалось аршин пять узенького полотна. С восторгом он припрятал это полотно в свой запасной магазин и ждал второго хлеба...

Приблизились рождественские праздники, но вместо зимы стояла отвратительная погода — дожди, туманы и пронизывающая сырость. В такое время Кармелюк хорошо знал, что Подолия, особенно вокруг Каменца, становилась непроходимым болотом; это для побега было неудобно; впрочем, и подготовительной работы еще оставалось достаточно. От друзей он не получал больше запасов, но зато слышал часто голос Шкарбуна и по некоторым долетавшим словам знал, что хлопоты идут неослабно.

Накануне сочельника долетел до слуха Кармелюка какой-то громкий говор в коридоре. Один голос,—хриплый басок,— принадлежал, несомненно, какому-либо военному, а другой — женский; последний показался ему знакомым.

— Я это придумала, мой любый пане коменданте,— раздавалось сопрано,— по двум причинам: одно, чтобы наделить хоть чем-нибудь несчастных для розговин... и прибавлю... при личном моем присутствии, потому что... не гневайтесь, пане, а я не очень-то доверяю здешней прислуге: моих булок многие не получали... особенно безответные... А второе, я получаю при этом удобный предлог всех видеть.

— Ха-ха! Довольно остроумно, моя добрая пани!

— Это, как французы говорят...— отчеканило почти у дверей Кармелюка сопрано.

— Она! Розалия! — вспыхнул Кармелюк, не давая себе отчета, какое чувство взволновало его кровь.

— Да, как французы говорят,— продолжала Розалия: — L'amour est plus fort, que la mort. Cherchez... On feras tout, pour vous sauver. (Любовь сильнее смерти. Ищите! Сделают все, чтобы вас спасти).

— Я ни бельмеса, моя пани, не понимаю,— засмеялся комендант.

— Ах, я и забыла... пшепрашам! — улыбнулась Розалия и ожгла взглядом топорщившегося коменданта.

В это время сторож отворил дверь. Кармелюк схватился с своего места до того растерянно, что забыл

закрепить пояс и едва его удержал рукой. Французскую фразу он отлично понял, и хотя ему воля была дорога, но досадно было получить ее из рук Розалии; когда же отворилась дверь, очевидно, по ее желанию, то ему бросилось в голову, что разбитое окно его выдаст... и к налетевшему ужасу прихватилась еще злоба на эту женщину, подвергавшую его из-за распущенной прихоти такому страшному риску.

— Вот пани тебе, лотру, на святки дарит! — произнес высокомерно начальник.

— Честь имею благодарить, ваше высокородие! — ответил по-солдатски атаман.

— Можно две? — спросила шепотом у своего спутника Розалия и, получив ответ кивком головы, взяла с лотка одно кольцо колбасы и, присоединив к нему незаметно другое из-под салопа, подала уже узнику два.

Кармелюк их почтительно взял, но не взглянул даже на подательницу. Когда же комендант спросил его, не имеет ли он жалоб, то заключенный ответил сухим, знаменательным тоном:

— Никак нет, ваше высокородие! Здесь лучше, чем в бурдее. Я все это из головы уже выкинул...

— Ах, уйдемте! — застонала Розалия.— Мне дурно... такое ужасное впечатление...

Двери захлопнулись, замок щелкнул... и Кармелюк остался вновь один в темноте. Он взял колбасы в руки и почувствовал, что одна чрезвычайно легка, надломив ее поскорее, он увидел, что она вся наполнена бунтами крепкой тесьмы... Это ему было так необходимо, и она, эта пани, словно угадала его желание и исполнила его самоотверженно, а он за то еще оскорбил ее. Теперь к радости, вызванной приобретением самой нужной для сообщения с внешним миром вещи, присоединились угрызения совести.

На самый сочельник Кармелюк вновь получил целый хлеб и опять в нем нашел полотно; он эти два куска скрутил жгутами, скрепил иглой на всем протяжении, сделал еще узла три и получил таким образом узловатую крепкую веревку сажени в три, т. е. около десятой части всего расстояния до низу.

Таким образом каждую неделю получал Кармелюк в хлебе по пяти, шести аршин полотна. Теперь при помощи тесьмы он мог правильнее сообщаться с друзья-

ми: ему по этой воздушной почте передали и добавочные инструменты, и некоторый запас бумаги, и даже карандаш, так что прибегать к кровопусканию более не приходилось. Друзья теперь знали с точностью, как подвигается подпиливание решетки, не проснулась ли бдительность начальства и т. д. А Кармелюк тоже знал, что когда все будет готово, то Олесю известят и она явится, да и план побега был намечен...

Раз, к концу января, Кармелюк повергнут был в ужас подслушанным им разговором коменданта с смотрителем, проходившим мимо его дверей.

— Эти обе башни, кажется, очень холодны? — осведомился комендант.

— Как же-с. Печей нет. С коридора лишь идет тепло через щель в дверях,— пояснил смотритель.

— Этак можно заморозить его живьем?

— Весьма возможно... Зато покойнее...

— Гм! Положим... Но все же непорядок... Нельзя-с... Под номером приняли, под номером должны и сдать. Вот что: когда наступят морозы, то перевести его в западные башни...

Шаги и голоса смолкли.

Кармелюк немедленно сообщил об этом отчаянном положении товарищам, прося, чтобы они сторожили у скалы и всегда были готовы... По целым ночам он работал и решил только с трех сторон подпилить решетку, а четвертую отогнуть... Затем нужно было выпилить еще два куска лутки... Все это затягивало время, а январь был на исходе...

Каждое утро выглядывал в оконную щель Кармелюк,— не заснежило ли, не осел ли на деревья мороз? Но, к его радости, погода стояла теплая, ясная. Еще была опасность холодов в первой половине февраля, но во второй обыкновенно в крае уже начинались оттепели... И Кармелюк пережил это отчаянное время, успел подпилить решетку и даже с одной стороны — лутку. Полотняной веревки у него, по его соображению, было саженей двадцать, да еще имелся в запасе кусок от сорочки, который он разорвал на куски и образовал из него веревку сажени в три; значит, когда пришлют еще один кусок, тогда будет совсем достаточно... Оставалось, следовательно, томиться в этой клетке не больше недели, а там — воля божия!

Но неожиданное обстоятельство ускорило роковой момент. Был конец февраля и первая неделя поста на исходе. Погода стояла чисто весенняя. Кармелюк получил известие, что Олеся в городе, и был опьянен радостью; он дал знать, что когда начнутся безлунные ночи, спустится в пропасть, а если выпадет темная, бурная ночь, то и раньше... чтоб ему больше ничего не посылали, так как в понедельник он получит последний хлеб... Но пришел понедельник, а хлеба целого ему не дали, вместе с тем не дали и приварка... Очевидно, что-то случилось неприятное с Шкарбуном... Вероятно, накрыли... А может быть, вышпионили тех, что сторожили на дне пропасти, у его скалы?.. Эти вопросы раскаленными иглами вонзились в его мозг и точили сердце тревогой... Ко всему еще и погода, как заметил со своей обсерватории узник, сразу изменилась: подул северный ветер, показались сначала мелкие, как крупа, снежинки, а потом зачастили и более крупные... Кармелюк выбросил в окно извещение, что если не уймется снежная буря, а усилится к ночи, чтобы были готовы.

Кармелюк осмотрел окно и сдвинул с пазов долотом раму; выпилить другой лутки не было времени; в крайнем случае, он скинет чумарку и пролезет в одной сорочке. Он потом осмотрел свою веревку, прикрепил к ней запасный кусок, взял за порты складной крепкий нож, долото за пазуху, бросил все остальные инструменты и ждал... ждал, как на угольях, ночи... В заклеенное окно долетал вой разыгравшейся метели...

Когда в крепости все умолкло и, по расчету Кармелюка, время приблизилось к полуночи, он стремительно встал и вскарабкался на окно... Решетка уже была отогнута; теперь оставалось только высадить раму. Она уже была подготовлена и еле держалась. Он нажал рукой, и она высунулась, отделяясь от лутки, наружу; порыв ветра сразу приподнял ее, вырвал из гнезда и с бешеным воплем понес свою добычу по наклоненной линии вглубь... Звука падения за шумом бури не было даже слышно. Ураган ворвался через открытое окно и в башню, закрутив в ней снежные вихри... При сильных порывах ветра содрогалась даже железная дверь.

Закрепив мертвым узлом за решетку веревку, Кармелюк напряг все силы, чтобы пролезть сквозь узкое отверстие окна... Но в чумарке это было немыслимо...

Тогда он сорвал с себя верхнюю одежду, бросил ее за окно и в одной рубахе попробовал продвинуться, но напрасно: и в одной рубахе он едва-едва мог просунуть одно плечо... Схватившись за наружную часть окна и другою рукой, он стал напрягать все свои силы, чтобы продвинуться, но грудь трещала, а пользы не было. Когда ему показалось, что по коридору кто-то прошел, то он захотел отодвинуться назад, но и это оказалось невозможным: он просто застрял в амбразуре и должен был к утру обратиться в ледышку... Отчаяние удвоило силы, и Кармелюк, обдирая до крови кожу, чуть ли не ломая ребер, продвинулся-таки на вершок, а потом еще на другой... и почувствовал, что уже на свободе... Ухватившись за свою веревку руками и обвив ею ноги, Кармелюк отдохнул на мгновение; теперь только он ощутил силу ветра; его уже наверху качало, а длинный конец веревки где-то в снежном мраке метался во все стороны, как раненый и рассвирепевший змей. В этом белом мраке словно крутилось какое-то чудовище и выло над бездной; в бессильной ярости оно терзало и уносило в нее все попадавшееся ему по пути...

XCIV

Кармелюк начал спускаться. Природная сила и упражнения в продолжение месяца придавали уверенность его движениям, но чем дальше он подвигался, тем спуск становился опаснее: удлинявшийся маятник, диск которого составлял Кармелюк, увеличивал свои размахи под напором ветра; последний менял его плоскость качания и заставлял часто биться о ребра скалы... К тому же, холод насквозь пронизывал грудь несчастного узника, а главное, леденил руки... Кармелюк торопился сколько мог, рискуя сорваться вниз в каждое мгновенье... Вот последний узел... Нога ищет другого, но описывает дугу уже в пустом пространстве... Под ногами у него провал саженей на четыре-пять, судя по долетавшим оттуда звукам и по фонарям на мосту... Кармелюк не рассчитал расстояние, а главное, не принял в соображение, сколько убыло холста на узлы... Теперь он повис в виде колоссального маятника над пропастью и качался по воле ветра. «Конец! Конец всему!» — про-

неслось молнией в его застывшем мозгу, и Кармелюк, для сокращения мучений, хотел было разжать ладонь и броситься на острые камни, но окаменевшие пальцы не слушались...

А ветер с какою-то злобною силой еще больше раскачивал окаменевшего Кармелюка, обдавая его снежной пылью, засыпавшей ему уши, залеплявшей глаза... Кармелюку чудились какие-то слабые крики снизу, то замиравшие, то набегавшие, и мерещились кровавые огни, поднимавшиеся вверх и опускавшиеся к нему навстречу. Наконец среди хаоса леденящих впечатлений блеснула у него мысль: если увеличить разгон движениями тела, то не приблизится ли дуга качания к уровню моста? Напомним читателям, что мост лежал на десять сажней выше речки, а Кармелюк висел на пять сажней ниже моста...

При первых же усилиях злополучного беглеца роковая качель понеслась скорее и разгон ее увеличился... Почувствовав удачу, замерзающий напряг все силы и стал раскачиваться над пропастью в леденящем дыхании бури и в волнах жгучего снега... Ни рук, ни ног уже он не чувствовал, а только богатырской грудью со свистом рассекал воздух и втягивал шумно в себя широко раскрытым ртом иглы мороза... После пятого полета гигантский размах приблизил его до того к мосту, что Кармелюк уже заметил на нем сани и мощную фигуру с распростертыми руками у самого барьера...

— Еще, батьку, наддай, еще!..

От чрезмерного напряжения у Кармелюка захватило дыхание... Что-то молотом стало бить ему в грудь... а он все натуживался до последнего. В голове у него поднялся гул, закружились искры в глазах, или он сам закружился в вихре молний... Нет больше сил!..

Но мост мчится к нему... фонари под ним опускаются... вот... вот один у самых ног... В это мгновение чьи-то сильные руки схватили его и дернули вниз... Полотняный канат не выдержал, треснул... и обе фигуры грузно повалились на плиты моста.

Какая-то женская фигура, вся занесенная снегом, подбежала с тревогой, но лежавший под Кармелюком Гололобый успокоил ее:

— Батько на мне целехонький, а вы, панно, давайте скорее валенки да кожух.

На полуживого атамана живо натянули валенки, накинули бараний пушистый, с огромным воротником тулуп и усадили рядом с панною в сани.

— Хлебни-ка, батьку, мокрухи,— поднес Гололобый фляжку,— да й гайда!

— Благо, что такое светопреставление! — заметил кучер, едва сдерживавший крепкого кровного иноходца.— А все же довлеет бежать скорее от зла!..

— С богом! — крикнул Гололобый.—А мы нагоним...

Лошадь рванула, снег заскрипел под полозьями, сани соскользнули с моста и, выбравшись осторожно на берег, понеслись по глади в вихрящуюся мглу...

В те времена сейчас же за Турецким мостом налево тянулись кое-какие фольварки, а направо начинался, за двумя-тремя избушками, пустырь и стлался ровным плоскогорьем вперед верст на семь; дальше уже начинались перелески, а через три версты тянулся дремучий лес.

Хоздодат знал, что если они доберутся до леса, то он укроет их. Погоня могла быть опасной, пока лишь не выбрались за черту города, а там уж не поймаешь... Потому-то он и погонял доброго коня во всю прыть, придерживаясь не дороги, а только лишь направления. Единственным компасом в этом белом море ему был один ветер...

Олеся, когда сани миновали тюрьму, следила с страшным нервным напряжением, чтобы ветер не откинул воротника тулупа у ее соседа или не распахнул бы пол; она их придерживала рукой, вглядываясь в мятущиеся волны снега, прислушиваясь к вою дикой метели: ей хотелось и закутать теплее полузастывшего друга, а главное — укрыть его от врагов, которые могли гнаться за ними на крыльях бури...

Едва отъехали беглецы с версту от города, как Хоздодат заметил, что сани стали натыкаться на какие-то камни, пни или тонуть в сугробах снега... Несмотря на молодую силу коня, рысь его вскоре оборвалась и перешла в тяжелый шаг... Ветер тоже словно переменился, так что возничий, потеряв прежнее направление, не знал уже, какого держаться... Он остановился, чтобы дать отдохнуть коню и прислушаться... Сквозь посвисты ветра к нему донесся какой-то слабый звук, напоминавший

вой волков; Хоздодат приложил кулак ко рту и затрубил в ответ,— вой усилился и стал приближаться...

Кармелюк [за] все время не проронил ни слова; Олеся слышала, как он тяжело дышал и дрожал, и тоже боялась отозваться к нему словом. Теперь же на нее напал ужас при мысли, что Хоздодат сбился с дороги... Она подняла воротник своего байбарака, чтобы защищаться от жгучего ветра, и с ужасом заметила, что из белых мятущихся туч вынырнули одна, а за ней и другая конные фигуры... Олеся распростерла было безоружные руки, чтобы заслонить дорогого атамана, но Хоздодат окликнул подъехавших всадников:

— А что, крюков (воронья) не видно?

— В такую ведьмовскую свалку и сам черт не выскочит из пекла...— ответил ближайший.— Вот и ты, пан философ, сбился с маршруту... Нужно было резать во фронт ветру... Марш! За мной!.. Я буду держаться левого плеча, а ты, фланговой, прикрывай правое.

Повернули направо и через полчаса выбрались если не на дорогу, то по крайней мере на ровную поляну... Олеся прильнула к Кармелюку, чтобы узнать, жив ли он, не продолжается ли у него титанический озноб? Но ее спутник сидел теперь совершенно покойно, и дыхание у него стало ровным.

Через полчаса быстрой езды начались пролески; хотя путь между кустарниками и деревьями затруднился и усталый конь стал замедлять шаг, но каждый из путников ощутил в своем сердце глубокую радость, так как здесь преследование уже было немыслимо. Дмитро послал Гололобого вперед к лесу, а сам подъехал к саням.

— Ну что, друже, оттаял хоть трохи? — крикнул он, нагнувшись к поднятому воротнику тулупа.

— Оттаиваю...— послышался глухой голос.— А где мы?

— А почитай, на аванпостах... малый переход — и лес...

— Где Дикая корчма?

— Туда и походом идем...

— Гоп! Гоп! — донесся в это время спереди голос.— За мной! Не будет и двое гон (полверсты) до лесу!

— Возьмем! — откликнулся Хоздодат и рванул через сугроб иноходцем.

Через несколько минут путники выехали на узкую, но верную тропинку...

Дмитро с Хоздодатом решили не останавливаться, а тянуть до корчмы, где было уже верное убежище. Впереди следить за тропинкой поехал Гололобый, знавший отлично все лазы местных лесов, а Дмитро взялся охранять тыл. Сам же возничий, насунув шапку на уши, пустил вожжи и стал дремать... Конь поплелся иноходью... В лесу было совершенно тихо и даже тепло; пушистый снег падал бесшумно через ветви дерев... Сани мягко скользили...

Кармелюк откинул воротник, скрывавший совсем его голову, и, обняв рукой девушку, прижал ее к своей груди.

— Господи! Ангел небесный! За что мне такое счастье? — воскликнул он, не могши сдержать сердечного порыва.

— Матко божа!— прошептала Олеся.— Не скалечил ли ты себе рук, не перешиб ли ног, когда сорвался?

— Нет, моя зорька! А хоть бы и переломал даже кости, так разве это стоит такой радости, какая кипит теперь в моем сердце? Да за счастье быть с тобою, слушать твой голос, глядеть на тебя — я бы пошел на все муки.

— Не говори этого... У меня сердце не выдержит!— произнесла порывисто, со слезами в голосе девушка и прильнула теснее к плечу своего друга.— Боже! Сколько мук перенесла я, когда ты сидел! Только и дум было, что о тебе... о твоем спасении...

— Ангел небесный! Да стою ли я твоего горя?

— Как же не стоишь? Коли ты мне всех милее!..

— Моя воркота, моя порада! Вот спрашивала, как я себя чувствую, а у самой руки холодные как лед... не отморозила б... — и Кармелюк привлек руки Олеси к своим губам и стал поцелуями да дыханием отогревать их...

Девушка хотела было освободить свои руки: ей казалось, что для такого кумира ее души было унизительно расточать ей, ничтожной, такие ласки, но непреодолимое волнение ослабляло ее силы и волю...

— Ой мамо моя! — только и шептала она.— Не смела я мечтать... Ой, не стою! Не стою!

— Цены нет тебе, мое счастье, последнее счастье на

свете! — воскликнул Кармелюк и, прижав Олесю к своей груди, стал осыпать ее пылавшее личико жгучими поцелуями...

Олесю охватило знойное и могучее чувство, залило сладким трепетом грудь и затуманило каким-то чарующим хмелем голову: вместо протеста девушка ответила на эти поцелуи поцелуями.

— Я не знаю, где я... и что творится со мною! — проняла она в волнении слова.— Умереть бы сейчас! Ах, когда ты висел и качался над пропастью... Я не знаю, как я вынесла этот ужас!

— Что вспоминать?.. Прошло, и бог с ним! А теперь я на воле... и в раю! Скажи же мне, моя пташко, ты любишь меня?

— Больше жизни!

— И не погнушалась бы моего низкого стана (положения, происхождения)? Не побоялась бы моей проклятой доли, не пожалела бы своей чистой святой души, чтобы ею отогреть мрачный холод моей...

— Навеки... навеки... Большего счастья нет ни тут, ни там! — шептала Олеся.

— Так будь же моею женой! — воскликнул Кармелюк.— И я клянусь тебе, что весь остаток моей жизни положу у твоих дивных ножек; все мои мысли, все мои желания склоню к твоей воле... И в ней одной буду видеть и радость, и счастье!

— О, мне не нужно такого рабства! — ворковала, ласкаясь, Олеся.— Об одном только молю: береги себя!

Хоздодат давно уже полулежа спал, а конь, не слыша никаких понуканий, сначала плелся рысцой, потом сменил ее на усталый развалистый шаг, а затем и совсем стал. Наши путники, упоенные блаженством любви, конечно, унесены были в волшебные края и не замечали ничего, что вокруг их происходило. Слова уже были бессильны высказывать их чувства, и только одни поцелуи да порывистые объятия могли отчасти выразить настроение объятых пламенем душ...

Вдруг раздался голос Гололобого у самых саней:

— Что же вы панове, стоите? Я успел уже побывать и в корчме!

— Что случилось?— подъехал в эту минуту и Дмитро.

Влюбленные очнулись. Хоздодат вздрогнул и стал протирать глаза.

— Бр-р-р! Одолел сон! — буркнул он.— Дух бодр, а плоть немощна...

— И я вздремнул...— зевнул громко атаман.

Олеся потупилась, чтобы скрыть улыбку счастья, озарявшую светом ее лицо.

— Так, значит, хорошо себя чувствуешь, орле? — обрадовался Дмитро.

— Как в раю! Как будто на свет народился... Спасибо, мои друзи и братья!

— Великолепно! —вскрикнул Гололобый, сорвав с головы шапку.— Теперь уже на вольной воле наш батько! Рушай, товарищ, тут зараз и корчма! Только наши там, а чужого ока не найдешь и за милю...

— А обретается ли мокруха? — полюбопытствовал попович.

— Всего вволю! Только поганяй! — засмеялся вожатый и поскакал вперед.

За ним двинулись сани и, поворотив направо, стали спускаться по страшной крутизне в какую-то трущобу, заваленную хворостом и срубленными деревьями, где в глубине светился тусклый огонек.

Когда наши путники подъехали к трущобной корчме, то Мойша,— плюгавенький жидок, давний знакомый Ульяны по укрывательству вещей,— вместе с Андреем и Нетудыхатой выбежали встретить дорогого гостя.

— Батько мой! Орле мой! — заорал Андрей, бросившись к саням и обняв впопыхах сначала Олесю.

— Ой, таки вызволывся (спасся)! — кричали и Нетудыхата, и Мойша.

— Теперь я счастлив! — произнес Кармелюк.— Теперь вновь я на вольной воле с моими друзьями... а то было думал...

— Бегрубен? — подхватил Мойша.— Ой вей-вей! Но теперечка кругом все братья...

— Ха-ха!! — засмеялся атаман.

— Обрели есьмы нового родича! — отозвался Хоздодат.— Так зови же нас, брате от колена иудина, и корми до отвала, ибо алчу и жажду...

— Милости просим, шановные панове, милости просим. Все готово... что было в леху и печи — все на

столе...— заклялся жидок, причем его пейсы подпрыгнули и заскочили за уши.

Компания шумно ввалилась в низенькую, покосившуюся землянку.

— Мне нужно поскорее бы назад,— заметила торопливо Кармелюку Олеся.— Мать умрет от тревоги... Я сказала ей, что иду к знакомым, и вдруг она хватится...

— Хорошо, моя радость, только подари еще хоть минутку... Такое ведь счастье! —Кармелюк сжал тихонько ей руку.— Хоть отогрейся! — и он привлек ее и вошел с ней вместе в землянку.

Как только появился в корчме Кармелюк, все с жадностью набросились на приготовленную вечерю; на столе возле миски с бигосом и чана с гречневыми галушками стояли две внушительные сулеи горилки и барыло пива. Андрей ничего не ел, а подливал только то одному, то другому горилки и не сводил глаз с своего батька. Нетудыхата обряжал коней, а Мойша суетливо бегал по землянке, так что полы его лапсердака развевались, как крылья ночной птицы.

В первое время никто не проронил слова. Но наконец голод был погашен, а для утоления жажды наполнены были черным пивом жестяные кружки...

— Расскажи же, батьку наш,— заговорил первым Андрей,— как ты освободился с этой чертовой башни?

— Она уже, как я отсидел в ней,— засмеялся Кармелюк,— не чертовой будет зваться теперь, а Кармелюковой... [85] Что вспоминать прошлое!.. Заковали, замуровали — да не удержали; не такие у меня друзья! Разве птица могла бы вылететь с той башни, а вот батько ваш вылетел... Да еще как — из дна пекла в самый рай!

Кармелюк бросил украдкой взгляд на Олесю; она сидела молча, в каком-то чаду, и неотчетливо сознавала, что творилось вокруг нее, да и не могла сознавать, так как в сердце ее звучали какие-то неземные мелодии, а кровь заливала огнем все лицо.

— Вы лучше мне скажите,— продолжал Кармелюк,— что сталось с нашим гнездом и нашими орлятами?

XCV

— Что сталось с нашими товарищами, спрашиваешь ты, атаман? — сказал Андрей.— Живьем не дались в руки и «маетки» свои спасли... А вот только много крыс набежало туда, трудно было мышам супротив их, так главное стадо и перебралось к Летичеву; там покойно... ни котов, ни крыс... Ну, кто на тот свет удрал,— тем земля пусть пером... Явтух тоже не дождался тебя, батьку, потянуло и его в далекую дорогу, а вот нас еще черти не похватали... — и, наклонившись, добавил почему-то шепотом: — Ульяна жива... и сюда вот-вот будет.

— Ой! — не удержался Кармелюк от восклицания и, взглянув быстро на Олесю, смутился и затих.

— А что, как думаешь, друже,— полюбопытствовал вдруг Дмитро,— забили ли тревогу остолопы, али и до сих пор не расчухали?

— Я ведь вышиб совсем окно,— отозвался атаман,— и помню, что метелица так и поперла в него... Если холод и ветер встревожат часового, то он может поднять шум и поставить все начальство на ноги, а если он не заглянет в коридорчик и холод его не доймет, то только к обеду... Вот разве что с моста может всяк заметить выбитое в башне окно и донести...

— Н-да! Ловко спроворили,— мотнул головой Дмитро,— да и ты, брат, не то что черта за пояс заткнешь, а и ведьму за хвост схватишь.

— Ха-ха! — заржал Хоздодат.

Кармелюк увидел, что подпившая компания может повести вольную беседу, оскорбительную для Олеси, и решил в уме, что панну нужно отправить скорей, тем более, что и ожидаемая Ульяна может быть не только неприятной, но и опасной.

— Ну что, шановная панна,— подчеркнул он, чтобы компания была более сдержанной,— благодетельница наша, огрелась ли?

— Да... мне даже жарко,— ответила Олеся; она была страшно взволнована и чувствовала себя крайне неловко...

— А заверюха совсем улеглась,— объявил, топая ногами, Нетудыхата; он все время возился с конями и теперь только вошел в корчму.

— Вот и велелепно! — обрадовался попович.— Можно будет коня пустить, а самому задать храпандалуса...

— Нет, писарю любый,— засмеялся Кармелюк.— Спать потом, а теперь пусть Андрей повезет панну... а я провожу. Уж за одно то, что она помогла бегству такого колодника, как я, так все мы ей должны поклониться в ноги.

— И поклонимся! — крикнул Андрей.

— Я сорок поклонов ударю,— добавил с пафосом Хоздодат,— ибо такой панны нет на всем свете...

— Ай! Не хвалите... не хвалите меня! —запротестовала, растерявшись, Олеся.— Я ничего не стою... Я ничего не сделала... Всяк бы...

— А коня из саней не выпрягал? — обратился Кармелюк к Нетудыхате.

— Нет, батьку! Только напоил и оброку подсыпал...

— И добре! Выезжай же, Андрей, на гору, а мы подойдем. Ты отвезешь панну в город... только не к Турецкому мосту, если приедешь светом... опасно.

— Я, батьку, постараюсь до света быть... и привезу панну к каменоломне... Панна знает... Оттуда она проберется провальем в город, а я поверну сюда.

— А ты дорогу к Каменцу знаешь?

— И к Каменцу, и за Каменец, и весь этот лес могу наизнанку выкрутить...

— Ну и гаразд! Доглянь же мне панну!

— Как свое око! Будь, батьку, певен!

Когда Кармелюк с панной завернули за угол и стали подниматься вверх по сугробам снега, какая-то тень проскользнула вперед и, нагнав сани, окликнула возничего:

— Ты, Андрею?

— Я.

— А с кем пан атаман?

— С панною, какая помогла батьку уйти из неволи.

— Какая такая панна? — прошипела женская фигура, набрасываясь на Андрея.

— Не знаю, пани атаманша, в первый раз вижу.

— Откуда? Кто она? Почему вызволяла? Для чего стала в помочь? — забросала вопросами Ульяна.

— Да я же с паней был... и ничего не знаю... Видимо, панна из Каменца... Батько туда велел отвезть.

— А! Знаю! — заскрежетала зубами Ульяна и, бросившись в сторону, притаилась за деревьями.

А Кармелюк дорогою говорил тихим голосом панне:

— Прости за все... и помни, что вся жизнь моя в тебе и для тебя!

— Только береги себя... Не терзай моего сердца... Не пускайся больше на риск... и извещай,— шептала Олеся, склоняя голову на его плечо.

— У меня только и думки будет, как бы тебя совсем успокоить... и зажить новою, светлою жизнью! — Кармелюк, оглянувшись, поцеловал Олесю, а потом заговорил громко, приближаясь к саням: — Передай же, панна, и панотцу, и матушке, что Кармелюк ихнего благодеяния повек не забудет... и что только бог один может воздать им за доброе дело.

Олеся не могла от волнения ничего отвечать; она молча уселась в сани. Выглянувший из-за разорванных туч месяц озарил бледным, зеленоватым светом ее пылавшее счастьем личико...

Андрей тронул и пустил крупной рысью коня.

Кармелюк подождал, пока скрылись из глаз сани, и медленно поворотил назад. Не доходя до корчмы, ему перерезала дорогу Ульяна.

— Орле мой! Ты ли? — вскрикнула она радостно.

Кармелюк вздрогнул от неприятного впечатления: ее голос, словно терпугом, дернул его по сердцу, но через мгновение он овладел собой.

— Ульяна? — спросил он в свою очередь.

— Да кто же, как не она?.. В пекло три раза слазила для твоего рятунку... Ой, весь бы свет перерезала за орла моего! — И она обвила руками шею Кармелюка и прильнула к его губам своими.

Кармелюк ощутил ее горячее дыхание и учащенный бой трепетавшего сердца и в первое мгновение хотел было отстранить ласки исступленной любовницы, но благоразумие удержало его... Он отвечал ей поцелуем и заторопил идти в шинок, обдумать положение, потому что к свету могла быть погоня.

Ульяна покорно пошла за ним и, словно бы из любопытства, спросила:

— Какая это панна помогла тебе в побеге?

«Верно, подсмотрела уже, а то и подслушала»,—

мелькнуло в голове Кармелюка, и он после небольшой паузы ответил:

— Дочка коменданта крепости... она выкрала и ключи, и добыла коня...

— Какая сердобольная,— покачала головой Ульяна.—Родного даже батька не пожалела для разбойника.

— Ну, комендант... не в ответе... Тут отдуваться будет смотритель... а панна ему за что-то мстит; простых же людей она любит...

Когда они вошли в корчму, то компания загалдела: «А! Пан атаман и пани атаманша! Выпить за их здоровье! Выпить!»

— И я выпью...—ответила Ульяна,— бо дуже промерзла.—Действительно, на лице ее не было ни кровинки, губы отливали синевой, а под глазами, сверкавшими мрачным огнем, лежали темные тени.

— А вот подумаем-ка лучше, братцы, что делать,— заговорил деловым тоном атаман.— Коли наши все под Летичевом, то нам здесь оставаться не след...

— Не след, конечно,— подхватила дрогнувшим голосом Ульяна.— Войска все подходят... рыщут всюду... и могут накрыть их, как мух...

— Значит, крышка! — вздохнул тяжело Кармелюк и опустил на грудь голову. Вздох его вызвал сочувственные вздохи товарищей, и в землянке легло удручающее молчание.

— Почему ж крышка? — нарушил его после долгой паузы Дмитро.

— Потому что я воевал с панами, утеснителями народа,— ответил тихо, но выразительно Кармелюк,— а воевать с государевым урядом не смогу... и не стану.

— Оно, положим, верно,— согласился Дмитро.

— Верно,— подтвердил атаман,— а потому и обманывать больше ни товарищей, ни народа я не буду... так и всем заявлю... Кто хочет страх брать на свою голову, пусть берет... а мне пора уж и чистую!

Опять наступило молчание.

— Что-то, по моему бабьему разуму, выходит нескладно,— заговорила наконец Ульяна, и в голосе ее зазвенела холодная сталь.—Легко сказать: расходитесь, мол, милые товарищи, куда очи стоят, а я дверь засуну да и прочь посуну; а каково-то им, бедным, это выполнить? Ни у кого ни гроша, всякая башка перед урядом

замарана,— ну, и изволь при таких порядках добывать честно хлеб...

— Верно, атаманша, в самую точку,— послышались одобрительные отзывы.

— Да и деликатным ты, батьку наш любый, стал уж не в меру, словно бы панна,— язвила дальше Ульяна.— Воевать, вишь, с войсками неловко. А почему же прежде комиссию можно было пришить?

У Кармелюка от этого меткого удара бросилась кровь в лицо, а вся компания как-то многозначительно крякнула..

— По-моему, хоть у меня и длинный волос,— продолжала с улыбкой Ульяна,— а я бы сказала так: «Вы меня, братцы, вызволили, так и я вас выручу из беды... вот вам прибыльное дело... заработок хороший! Добудем и разойдемся по-братски!»

— Где же это дело? — спросил Кармелюк, затаив в груди бурю.

— Есть! — ответила победоносно Ульяна.— Летичев совсем теперь пуст. Последние отряды пошли вчера в Литин; кривоногой и безрукой инвалидной шантрапы не наберется и десятка. Паны, зная, что Кармелюк на цепи, а шайка его рассеяна, беспечно пьют да в карты играют. Нас же под Летичевом наберется с полсотни конных при зброе... окромя пеших... Если зажечь с двух концов город и броситься врасплох на площадь, где казначейство, то можно будет всю казну захватить и между собой подуванить...

— Ура!.. Вот так фортель! — гаркнул Дмитро, и все его поддержали восторженным криком.

— Слушайте, братцы! — возвысил наконец голос атаман.

Все моментально смолкло.

— Не длинен волос у нашей Ульяны, а, пожалуй, и покороче нашего: и рассудила она верно, и дело указала хорошее. По полной справедливости, нельзя отпускать товарищей зря: они шли на мое имя и мною кормились... Простите же меня, братцы, за необачное слово... должно, каменная труба меня приглушила. А теперь я вас поведу на Летичев!

— Батько родный! Орел наш! — загалдела с восторгом компания и стала душить атамана в объятиях.

— Стойте, друзи! Вот что: коли меня убьют, то

лучшего вам атамана, как она, и не найти...— Ульяна вспыхнула и бросила любовный взгляд на возлюбленного.— Ну так вот что: сейчас же двинуться к нашему притону... Коней ведь у нас хватит на всех?

— Хватит, хватит... Припасены...— загалдели товарищи...

— Так и седлай сейчас!.. А Андрей дорогу знает,— продолжал атаман,— нужно сосчитать, проверить силы на месте и послать лазутчиков в город... и не дальше как завтра ночью на него и ударить!

В Летичеве никто и не думал об опасности: и прежде Кармелюк сюда не заглядывал, а теперь, когда он был замурован в каменецкую башню и когда в окрестностях города Литина было изловлено и рассеяно много банд, то летичевское общество стало беспечно предаваться всякого рода излишествам. Как на зло еще, накануне роковой ночи были именины городничего и вся местная бюрократия и паны бражничали и играли у него в карты. Большая половина гостей спала по разным комнатам пьяным, непробудным сном... как вдруг — набат!

— Пожар, ваше выс-родие! — доложил нетвердо вошедший вестовой.

— Где, болван? — спросил раздосадованный городничий.

— На Кочанах, ваше выс-родие!

— Черти! Лотры! Там ведь солома, да очерет... да жидовские кучки... все пойдет по ветру! Пожарную трубу и инвалидов всех туда при, а мне дрожки!

— На пожарной трубе, ваше выс-родие, сидит ваша квочка на яйцах, а инвалиды все наголо пьяны...

— Водою квочку! Согнать инвалидов! Я вас раскатаю всех, черти! — орал в исступлении городничий, напялив на себя чужой мундир и захватив в руку, вместо шпаги, чубук.

Зарево между тем разгоралось, и кто просыпался от шума, спешил тот же час на зарево; двинулась наконец и пожарная труба... А тут еще в другом месте за городом вспыхнуло новое пламя... Центр города опустел совершенно, так что когда на главных улицах появилось с полсотни всадников, то их никто и не заметил или посчитал за прибывший отряд войска.

Совершенно спокойно, без суеты подъехал Кармелюк с своим отрядом к казначейству, расставив по переулкам вартовых. Перепугавшийся часовой, несмотря на предложение атамана, поста не оставил и был связан. Ломами, топорами вскоре была выбита наружная дверь, а внутренние поддавались легко; повозились только над железной дверью кладовой да над железными сундуками. Но секретных замков тогда не было, а только наружные, висячие на крепких пробоях, а потому добрые обухи, при выдающейся силе Нетудыхаты и Коваля, скоро разбили сундуки. В казначействе оказалось довольно золота, серебра и бумажек, а меди — целые мешки. Но последнюю решили оставить, только Нетудыхата прихватил, на всякий случай, мешка два, пуда по четыре в каждом.

Покончивши благополучно здесь, атаман приказал немедленно ехать к лесу. Тронулись. Бушующие на окраинах пламя слилось теперь в большую дугу, бежавшую с клубами черного дыма к центру. Шум пожара, крики народа слились в какой-то хаотический шум, то воскресавший в одном месте, то затихавший в другом. Кармелюк, мрачный, как черный полог пожара, ехал торопливо вперед, желая поскорее уйти от этого страшного зрелища.

Решили сделать привал в небольшом овражке за прилеском... Но, к общей досаде, некоторые замешкались — соблазнились грабежом домов по дороге... Время между тем уходило, и с каждою минутой увеличивался риск...

Кармелюк решил подуванить деньги, не дожидаясь отсталых. Досталось каждому более чем по три тысячи... От своего пая Кармелюк отказался: у него были припрятаны на черный день в двух местах солидные суммы. Поделились и двинулись к лесу...

Но пожар привлек внимание проходивших мимо Летичева драгун; часть их бросилась в город и наткнулась на грабителей; последние бросились наутек... За ними погнались с двух сторон в поле и открыли шайку. Сейчас же драгуны обскакали ее от лесу и пустили коней в атаку.

— Стойте, хлопцы, дружно! Залпом встречайте,— их немного! — командовал Кармелюк, стоя на челе, совершенно открытый.

— У них длинные спысы,— заметил кто-то.

— Так поверни к ним спину... Самая лучшая будет цель! — крикнул злобно атаман.— Ульяно! Захвати часть и спеши той ложбинкой к лесу... а мы этих задержим.

Не успела еще выстроиться не привыкшая к правильному бою толпа, как драгуны подскакали на выстрел, осадили коней и дали убийственный залп.

Атаман успел только крикнуть: «Пали!» — и показать на врага... На секунду только рука его была распростерта, а затем он свалился как сноп наземь.

— Батько убит! —крикнул кто-то, и все бросились в разные стороны...

Но Кармелюк не был убит...

XCVI

Кармелюка подняли с поля битвы, но оказалось, что он только тяжело ранен. Счастливая случайность, что пуля, пронизав легкое, не задела сердца, и удивительно крепкий организм нашего героя спасли его от смерти. Но теперь уже о побеге нельзя было и думать: начальство удвоило надзор за отчаянным беглецом и перевело его при первой возможности в московскую Центральную тюрьму, где уже не могло быть у заключенного атамана ни друзей, ни потатчиков... За Москвой, во Владимире, состоялся и суд над Кармелюком; там же исполнен был и приговор. Преступник выдержал шестьсот палочных ударов и по выздоровлении отправлен в Сибирь, в Нерчинский рудник на каторжные работы без срока.

Прошло три года, и за этот срок уплыло много воды.

Прежде всего вспыхнуло в 30-х годах польское восстание и открыло глаза русскому правительству. Крестьянские волнения предшествовавших годов получили совершенно другую окраску. После усмирения восстания польское дворянство было лишено всех льгот, дарованных императором Александром Благословенным. У всех дворян, причастных к восстанию, были конфискованы имения. Крестьяне получили больше прав, и произвол над ними владельцев был парализован указами

государя Николая I. Генерал-губернатор Юго-Западного края Бибиков[86] утвердил известное количество земли за крестьянами и обязал помещиков требовать с них лишь три рабочих дня в неделю. Главный повод для волнений был устранен, и крестьяне вскоре примирились с своим положением и зажили сравнительно недурно.

В последней битве Кармелюка с драгунами большая часть его отряда ушла, а меньшая была перебита. Погибли из наших знакомых Дмитро, Нетудыхата, Коваль... А спаслись Ульяна, Андрей и Хоздодат, оставшийся по поручению батьки в таборе.

Узнав о роковой схватке, Олеся чуть не умерла с горя, полагая, что Кармелюк убит. Но, к счастью, недели через две она получила от него записку, написанную еще под его диктовку, в которой он сообщил ей, что жив, надеется совершенно поправиться и просит любую Олесю не очень убиваться, а главное, простить его за то, что он не сдержал слова и пошел на риск. Письмо это страшно обрадовало ее,— вернулся интерес к жизни, вернулась надежда на спасение Кармелюка. Она немедленно написала ему ответ, советуя не терять надежды на спасение и помнить, что у него еще есть друзья, есть друг, который останется ему верен до смерти. Хоздодат обещал доставить эту записку Кармелюку. Но затем Кармелюка неожиданно перевезли на север, и слухи о нем замолкли. Родители несколько раз предполагали выдать Олесю замуж, но бедная девушка каждый раз с твердостью отказывалась и даже решила, в случае крайности, уйти скорее в монастырь, чем изменить человеку, любовь которого доставила ей хоть кратковременное, но незабываемое счастье. Так ее и оставили в покое.

Прошел год, и другой, и вот в начале третьего года Олеся снова получила через какого-то бродягу засаленную и изорванную записочку от Кармелюка из Сибири. Кармелюк писал, что он страшно измучился от тоски по родине, по всем дорогим для него лицам и твердо решил бежать при первом удобном случае.

Хоздодат вернулся на лоно родительское и получил торжественное отпущение грехов, под условием жить дома в качестве псаломщика.

Что касается других героев нашей повести, то из них Розалия действительно сначала очень опасно заболела

от горя, а потом уехала в долгое заграничное путешествие.

Изуродованный Кармелюком Демосфен, потерявший было свой престиж и свою славу, всей душой отдался делу восстания и умер в битве при Грохове[87]. Хойнацкий тоже не избег общей участи, но его покарали менее строго: у него только конфисковали его имение. Впрочем, и здесь судьба над ним сжалилась.

Тотчас после скандала с Демосфеном Розалия прогнала от себя Фросю, заподозрив ее в соучастии с Янчевским, и Фрося, оказавшись безо всякого места, возвратилась к Хойнацкому, так как ужасный вид Демосфена вызывал и в ее бесцеремонном сердце непобедимое отвращение. Хойнацкий с радостью принял снова бывшую подругу. Вскоре Фрося сумела женить его на себе, и несчастный пан Хойнацкий с робостью подчинился новой правительнице. Благодаря проискам и стараниям новой пани Хойнацкой, супругу ее возвратили часть конфискованного имущества, и пан Хойнацкий дожил свои дни, благословляя милосердную судьбу.

Оставшиеся без головы шайки Кармелюка рассеялись, разбились на небольшие отряды и занялись мелкими грабежами.

Ряды гайдамак все редели, и наконец большинство тех, которым удалось избегнуть преследования, возвратились к своим мирным занятиям.

Ульяна и Андрей также спаслись от преследований. Андрею удалось раздобыть где-то себе и Ульяне фальшивые паспорта. С год прожили они в Могилевской губернии, а затем снова возвратились на родину и поселились в излюбленных Кармелюком местах. Ульяна купила хату, огород и кусок земли. Андрей зажил с нею в качестве наймыта. Хата Ульяны стояла над самым лесом, далеко от села, и эта отдаленность и близость к чаще помогали ей исподволь заниматься темными делишками — покупать и продавать краденые вещи, которые ей доставляли иногда ее бывшие соратники. Вся цель жизни и ее, и Андрея сосредоточилась теперь на том, чтобы собрать как можно больше денег и отправиться в Сибирь к Кармелюку.

Был скучный осенний вечер. В большой опрятной хате горела на припечку яркая сосновая лучина и освещала внутренность хаты. На лавке сидела молодица и

молча пряла. Она была еще молода, но суровое, угрюмое выражение ее лица делало ее гораздо старше. Никто бы не узнал в этой женщине былую атаманшу.

Вдруг собаки глухо зарычали и с громким лаем бросились к воротам. Прошло минут десять. Наружные двери скрипнули, и Ульяна услыхала, что в сени вошло двое людей.

— А ну, хозяйка, посвети-ка нам, прислал бог гостя, странника из далеких мест,— услыхала она голос Андрея.

Ульяна встала, зажгла стоявший на припечке каганец и вышла с ним в сени. Андрей отряхивал в углу воду со свитки, пришедший же странник стоял у дверей, опершись обеими руками на палку, и внимательно смотрел на Ульяну. Он держался сутуловато, по-стариковски; худое лицо его было изборождено морщинами; седоватая борода всклокочена. С одежды странника, промокшей насквозь, капали на глиняный пол капли воды, но странник не торопился раздеваться.

Ульяне стало жутко.

— Откуда вы, дядьку? — произнесла она неверным голосом и невольно подалась вперед.

— Из Сибири,— ответил тихо незнакомец.

Нечеловеческий крик вырвался из груди Ульяны, каганец выпал из ее рук и разбился вдребезги.

— Маты божа! Царица небесная! — вскрикнула она, бросаясь к старику, и, схватив его холодные руки, почти подтащила его к освещенным дверям хаты. Свет упал на лицо незнакомца.— Святый боже! — крикнула не своим голосом Ульяна.— Ты?! Ты?!

Безумное рыданье вырвалось из груди потрясенной женщины, и она упала на грудь Кармелюка.

А Андрей как стоял в дверях подле незнакомца, так и грохнулся на колени и, охватив руками ноги атамана, с рыданьем припал к ним головой.

— Друзи мои, друзи верные...— начал было Кармелюк дрогнувшим голосом, но голос его сразу осекся.

С минуту в хате слышалось только прерывистое рыданье.

— Да что же это мы, сказились, сбожеволили! — опомнился наконец первый Андрей.— Сюда, сюда к огню, батьку. Ведь ты задуб совсем.

Тотчас же Кармелюка переодели, напоили водкой и

усадили за стол. Ульяна бросилась собирать вечерю, а Андрей заложил соломой окна, запер двери, подбросил в печь дров и уселся наконец подле дорогого батька, так неожиданно вернувшегося к ним.

Сначала беседа никак не могла течь связно: горячие возгласы, слезы и проклятья прерывали слова. Наконец возбужденье поулеглось.

Кармелюк начал рассказывать своим друзьям о всех бедствиях, которые ему пришлось перенести за эти три года.

Появившись на Нерчинской каторге, он сразу приобрел страшную любовь к себе и уважение всех товарищей. Нашлись среди каторжников два-три человека, которые знали Кармелюка и на воле. В руднике, где работал Кармелюк с товарищами, существовали старые, заброшенные шахты, и среди арестантов циркулировали слухи, что из этих шахт есть выход наверх. Кармелюк решился попытать счастья и познакомил товарищей со своим планом. Они должны были заготовить заранее в тайном месте в шахте достаточный запас провизии и питья, оружие, лампу и запасик денег. Когда все это будет готово, товарищи, отправившись вместе с ним на работу, должны были спрятать его в одной из выбоин и заложить наглухо каменьями. Кармелюк надеялся, что ему таким образом удастся на первое время скрыться от преследований, а когда все успокоится и начальство убедится в том, что беглец исчез бесследно,— он отыщет старый выход из шахты. Так все и было сделано, и Кармелюк, преодолев множество препятствий, наконец выбрался на волю.

— О том, как я скитался в пущах,— продолжал Кармелюк,— подобно дикому зверю, как питался подчас скверным падлом, как зимовал сибирскую зиму, словно медведь, в снежной норе,— об этом не стану вам говорить. Привел господь домой, дал еще раз взглянуть на святую родную землю, но вижу, что здесь уже мне не гулять!

Последняя фраза вырвалась у атамана с невольным вздохом.

Ульяна и Андрей молча наклонили головы.

— Спета моя песня... Теперь вот только надо отыскать для себя надежный притулок.

— Иване, соколе мой! Да ведь и эта хата, и все,

что у меня есть,—все твое! — вскрикнула горячо Ульяна.

— Спасибо, друже,— ответил Кармелюк и с чувством сжал ее руку.— Покуда я поселюсь у тебя, но оставаться здесь долго нельзя мне. Прийдет известие из Сибири, а может быть, уже и пришло, станут меня искать, ловить. Нет, надо бежать за границу!

— Хоть на край света, всюду за тобой! — вскрикнула с восторгом Ульяна и припала на грудь к Кармелюку.

Этот неожиданный порыв ошеломил Кармелюка. Он как-то неловко крякнул и растерянно оглянулся кругом.

Но припавшая к его груди Ульяна не заметила этого смущенного взгляда.

Дня через три Кармелюк, желая поскорее увидать Олесю, объявил Ульяне, что отправится с Андреем разыскивать клад, который он зарыл в уединенном месте.

Ревнивая Ульяна сразу насторожилась.

— Зачем с Андреем? Лучше я пойду с тобой,— заявила она быстро.

— Вместе с ним закапывали мы, сердце, этот клад; забыл я — он вспомнит. Да мы ведь и вернемся скоро— дня через три.

Против такого резона Ульяна ничего не могла возразить, но все же взгляд ее подозрительно скользнул по лицу Кармелюка, и она решила следить за ним.

Кармелюк начал немедленно собираться: он оделся в новую одежду, купленную Ульяной, состоявшую из его любимой черкески, шароваров и сивой шапки, затем попросил Андрея отыскать ему где-либо кусок острой косы, побрился и сразу же помолодел на десять лет.

Как ни старался он сдерживать себя, но радостное нетерпение сквозило в каждом его движении. Наконец все сборы были покончены. Кармелюк распростился с Ульяной и отправился с Андреем со двора.

Ульяна прошла с ними до ворот и долго провожала их удаляющиеся фигуры недобрым взглядом; когда же они скрылись за пригорком, из стиснутых губ ее вырвался злобный шепот:

— За кладом пошел, а вырядился, как на свадьбу!

Откопавши свой клад, который он действительно зарывал вместе с Андреем, Кармелюк направился в

Деражню, Андрея же отослал домой, приказав ему зорко следить за Ульяной.

Но когда Андрей вернулся домой, то к величайшей досаде своей узнал от соседей, что Ульяна отправилась на ярмарку в ближайшее местечко.

Появление Кармелюка в доме деражнянского батюшки привело стариков и в ужас и в радость, но Олеся пришла в такой экстаз, что, забыв даже о присутствии в комнате родителей, бросилась Кармелюку в ноги и, обвив его колена руками, с рыданьем припала к ним головой.

— Таточку! Матусю ридная! Единые мои! — вскрикнула затем Олеся, бросаясь на шею к отцу.— Не отнимайте у меня моего единого счастья. Люблю я его больше всего на свете! Убейте меня лучше, а не отрывайте от него. Ох, натерпелась же я столько горя!

Олеся громко разрыдалась и скрыла свое лицо на груди у отца.

— Как же это так? Что вы хотите от нас?— заговорил растерянно отец Михаил, поглядывая то на красавца разбойника, то на рыдающую дочь. — Чтобы мы своими руками толкнули свое единое дитя на погибель?

— Ох таточку, без него мне погибель! Лучше мне умереть вместе с ним, чем жить так со своим беспорадным горем! — вскрикнула истерично Олеся, целуя руки матери и отцу.

— Нет, панно, постой! — перебил ее Кармелюк.— Родители твои правы: они думают, что я поведу тебя на гайдамацкую жизнь. Но пусть бы забыл меня навеки господь, если бы я готовил тебе такую долю. Одни теперь остались у меня думы — твое счастье и твой покой.

И Кармелюк с жаром начал излагать предполагаемый им план новой жизни. Он сам видит, что теперь его прежняя деятельность неисполнима, да и не так уже нужна родному народу. У него есть достаточно денег, паспорт готов, они уедут с Олесей за границу для новой тихой жизни. Никто их не отыщет и не узнает там.

Батюшка и матушка согласились на предложение Кармелюка.

Отирая слезы, подошла матушка к божнице, сняла один из образов и передала его батюшке.

Кармелюк и Олеся взялись за руки и опустились на

колени перед стариками, благословившими жениха и невесту.

Когда они поднимались, Кармелюк услыхал какой-то треск у окна. Он мгновенно оглянулся, и ему показалось, что от стекла быстро отпрянуло чье-то лицо.

— Кто-то подсматривал?.. — произнес он встревоженно и быстро подошел к окну.

Матушка последовала за ним.

— Да нет никого,— успокоила она Кармелюка.

— А вон,— Кармелюк указал на какую-то женскую фигуру, проходившую по двору.

— Это? Да это баба Шептуниха! — усмехнулась матушка.— Должно быть, к батюшке с младенцем...

XCVII

Вечер пролетел в доме деражнянского батюшки на крыльях радости. Примирившись с желанием своей дочери, старики принялись обсуждать вопрос с практической стороны. Решено было, что матушка с Олесей отправится после самых коротких сборов в Новоселицы, где у матушки родная сестра была замужем за местным священником, туда же прибудет и Кармелюк. В Новоселицах молодые перевенчаются, а оттуда отправятся дальше искать надежного места для нового гнезда.

Остаток вечера Кармелюк провел вместе с Олесей...

Расспросы, клятвы в любви, воспоминания о прошлом, мечты о будущем счастье сплетались в чудную сеть, отделявшую их от внешнего мира... Желанное счастье было уж так близко, оно уж улыбалось им и протягивало к ним руки...

Но женщина, мелькнувшая перед Кармелюком у окна, была Ульяна...

Возвратилась Ульяна на четвертый день, и воз ее оказался набитым всякими предметами, купленными на ярмарке.

— А отчего так забарилась?..— спросил Андрей Ульяну.

— Да надо было купить все, что нужно в дорогу. скоро ведь рушаем, только где это Кармелюк?

— Обещал завтра непременно быть тут.

— Ну гаразд, распряжи же коней да убери там все с воза, а я побегу на село, получу еще долг один, может, утром и в дорогу отправимся!

С большим сомнением взглянул Андрей вслед убегающей Ульяне, но поспешить за ней не решился. Кармелюк действительно обещал вернуться завтра, но он мог прибыть и сегодня, и Андрей боялся, что батько его может не застать. Опасения его насчет поведения Ульяны достигли такой степени, что он решился, в случае Кармелюк вернется раньше ее возвращения, предложить ему немедленно уходить из этого проклятого дома.

Ульяна действительно побежала не на село; добежав до деревни, она круто повернула и отправилась сокращенным путем через поля в Маршалковку, находившуюся верст за пятнадцать от нового гнезда Ульяны...

Пани Розалия, несколько постаревшая, но все еще красавица, сидела в своем будуаре. Не больше полугода тому назад она вернулась с мужем из-за границы и поселилась на старом пепелище. Перед нею восседал пан Рудковский, теперь уже не пылкий юноша, а красивый, солидный шляхтич, с некоторою наклонностью к полноте. Он успел как-то благополучно выйти сухим из воды и не понес никакого ущерба от страшного вихря, пронесшегося над отчизной.

Розалия игриво болтала с Рудковским, то ожигая его игрой своих глаз, то прикрывая их бархатной бахромой ресниц, как вдруг в будуар вошел старик дворецкий и объявил, что какая-то молодица хочет непременно видеть пана.

— Молодица? — произнесли вместе Рудковский и Розалия.

В голосе Рудковского зазвучали изумление и недоумение, но Розалия с пикантной улыбкой взглянула на Рудковского.

— Пани дозволит?..— склонился перед ней Рудковский.

— О, проше, проше!

Рудковский поспешно вышел из будуара, а Розалия осталась одна, ожидая с нетерпением возвращения своего кавалера. Ждать пришлось недолго.

Не больше как через четверть часа двери шумно растворились и в комнату быстро вошел Рудковский. По его красному, взволнованному лицу Розалия сразу до-

гадалась, что он узнал что-то выходящее из ряда обыкновенных событий.

— На бога, пане, что такое? Что такое?!

Розалия даже поднялась с места и сделала несколько торопливых шагов навстречу Рудковскому.

— Непостижимо, просто невероятно! Кармелюк бежал из Сибири и находится снова в наших местах.

Розалия пошатнулась... Лицо ее сначала смертельно побледнело, а вслед за этим покраснело багровыми пятнами.

— Езус-Мария! — вскрикнула она.

Рудковский схватил с туалета флакон со спиртом и подбежал с ним к Розалии.

— О, на бога, успокойтесь, пани! — продолжал он, овладевая ее рукой и покрывая ее поцелуями.— Пугаться нечего! Я не отойду от пани ни на один шаг...— Рудковский взглянул на Розалию масляными глазами и продолжал более деловым тоном: — Известие верное, его принесла эта баба, должно быть, одна из прежних возлюбленных Кармелюка. Шельма здесь, но он теперь совершенно не опасен! У него нет никого из приверженцев, старые все схвачены и рассеяны, новых он еще не успел набрать, он болен, утомлен и скрывается теперь у этой бабы...

— Но что же пан думает делать? — перебила Розалия глубокомысленные рассуждения Рудковского.

— Что я думаю делать? — Рудковский приподнял брови и процедил с самоуверенной улыбкой: — Я думаю отправиться, связать негодяя и представить его в последний раз перед лицо правосудия.

Этот наглый тон взорвал Розалию.

— Напрасно пан так уверенно обещает это,— мы хорошо знаем, что Кармелюка связать не так-то легко. Покойный пан Янчевский был храбр как лев, а чем окончились его попытки!

— То был пан Янчевский, но не пан Рудковский! — ответил надменно Рудковский, отбрасывая назад голову, как индейский петух.

Чем более уверенно говорил Рудковский, тем большая досада разбирала Розалию. Ее злило то, что этот ничтожный человек говорит так уверенно о герое, равного которому она не встречала нигде...

Рудковский поднялся с места; лицо его было красно, брови нахмурены.

— Я знаю, что говорю,— произнес он упрямо,— и надеюсь завтра же привезти к пани этого старого волка...

— Буду ждать! Ха-ха-ха!..— Розалия упала на спинку кресла и залилась неудержимым смехом.

— Увидим, что скажет пани завтра! — Рудковский сверкнул глазами и поспешно вышел из комнаты.

Возвратившись домой, Ульяна бросилась молча на лавку и хотела было заснуть, чтобы заглушить муки души, но сон не приходил к ней: дикая злоба бушевала в ее сердце; и, заглушая смертельную тоску, она повторяла сквозь зубы:

— Не мне, так никому! Никому!

На другой день к полудню возвратился и Кармелюк. Андрей с самого уже утра поджидал батька, торопясь предупредить его о несколько странном поведении Ульяны.

Ему удалось встретить Кармелюка за воротами и тут же передать ему результаты своих наблюдений.

Лицо атамана омрачилось.

— Надо торопиться, брате,— произнес он грустно.— Она не выдаст меня, а все-таки если заметила что-нибудь, то может наделать много зла... Вот что, ты, Андрию, отправься немедленно, купи где-нибудь пару, а то и тройку добрых лошадей и крепкий возок, да овса для коня и другого припасу; заготовь все в надежном месте, светом можно будет и вырушить...

Ульяна встретила Кармелюка как ни в чем не бывало, только по мелькавшим в глубине ее глаз огонькам можно было догадаться, что в душе ее таится что-то недоброе.

Просидевши около часу с Ульяной, Кармелюк вышел из хаты и отправился побродить бесцельно по лесу.

Скверный осенний день уже приблизился к концу. Обнаженные деревья тихо стонали... Изредка накрапывал мелкий дождик. Эта грустная картина усиливала охватившую Кармелюка смутную тоску.

Долго шел так Кармелюк... Уже начинало темнеть в лесу, когда он повернул назад к хате Ульяны. Когда

Кармелюк подошел к воротам двора Ульяны, черный ворон поднялся с забора и, громко крякнув, тяжело взмахнул крылами и перелетел через дорогу.

Кармелюк на минуту остановился; печальная улыбка мелькнула у него на губах; он тряхнул головой и решительно шагнул в калитку...

Когда Кармелюк вошел в сени, ему почудился какой-то шорох в углу; он хотел было высечь огня и осмотреть наваленные в углу сеней кули соломы, но вдруг какое-то безразличие напало на него. Атаман махнул рукой, болезненно усмехнулся сам себе и вошел в хату. Хата была освещена лучиной и каганцом.

У стола сидела Ульяна и тревожно посматривала на дверь.

— Где ты забарился? — обратилась она к Кармелюку и, встав с места, подошла к нему и помогла раздеться.— Садись-ка вечерять. Я уж тебя ждала-ждала, и вечеря простыла.

— Ходил, друже мой, по лесу, вспоминал свои былые дни,— ответил грустно Кармелюк и, ласково обняв Ульяну за талию, подошел вместе с нею к столу.

Ульяна вздрогнула от прикосновения его руки и поспешила отстраниться.

Кармелюк сел за стол, опершись на него локтями, и опустил голову на руки.

— Вспомнил свои былые дни,— заговорил он после минутной паузы, — и казалось мне, Ульяна, что все это — и радости, и муки,— все это было так давно-давно, и не со мной, а с кем-то другим...

— Потому что сам ты стал не тот, что был,— ответила глухо Ульяна,— а был бы ты прежним Кармелюком, так только свистнул бы — и собралось бы снова стадо соколов.

— Эх, Ульяна, Ульяна! — вздохнул глубоко Кармелюк.— Прошло уж то время... не наша теперь пора. Люд немножко облегчен, а о большем просить надо только бога. Да если бы даже сейчас собрала ты мне целую шайку отборных гайдамак,— не вышло бы ничего... Знаешь ли ты, почему прежде никто не мог меня взять? Потому что я сам верил в то, и чувствовал, и знал, что куда бы меня ни заперли вороги, я снова вырвусь и вернусь на свою родную Подолию; а теперь, Ульяна, я не верю ничему... Умерли моя сила и вера.

Кармелюк поник головой.

— Вчера еще...— продолжал он усталым и печальным голосом после долгой паузы,— вчера я еще верил, что доля усмехнется мне хоть перед смертью... Вчера я еще надеялся на счастье, а сегодня я уже не верю ничему. Знаешь, когда я только открыл глаза сегодня поутру, я почувствовал, что во мне что-то оборвалось, и оборвалось навсегда... А когда я подходил к твоей хате, ворон поднялся ко мне навстречу и громко крякнул... Это он смерть мою вещувал мне, Ульяна,— прибавил уже совершенно тихо Кармелюк.

Ульяна побледнела.

— Бабские приметы,— произнесла она с натянутой улыбкой.— Ты устал с дороги, выпей, закуси и приляжь.

Кармелюк невольно вздрогнул при последних словах Ульяны.

— Не торопи меня ложиться,— произнес он грустно,— уложат другие. А вот что,— он взял Ульяну за обе руки и заговорил печально и ласково: — кто знает, выпадет ли нам в жизни другая такая минута... Давно хотел я просить тебя, Ульяна, чтобы ты меня простила за все...

Руки Ульяны трепетали в руках Кармелюка.

— Знаю я,— продолжал он еще мягче,— что причинил тебе немало горя. Не моя в том вина. Видит бог, Ульяна. Сердцу ведь не прикажешь биться так, как хочешь, оно бьется, как хочет само... А другом твоим я всегда был верным, незрадлывым... Ведь в последний раз я попался, бросившись тебя выручать...

Взрыв дикого рыданья вырвался из груди Ульяны, она грохнулась на землю и припала головой на колени к Кармелюку.

— Меня, меня! Проклятую! — закричала она, прерывая слова рыданием, и с силою ударила себя кулаком в грудь.— Ох, зачем не разбила я себе тогда голову о камни! Зачем не прикончили меня вороги? Проклятая я, проклята богом навеки!!

— Не плачь, Ульяна, не рви моего сердца. И так мне нудно,— вздохнул Кармелюк и вдруг, подняв голову, заметил висевшую на стене бандуру.— Бандура моя! — вскрикнул он радостно.

— Я сберегла ее,— объяснила глухо Ульяна.

Лицо Кармелюка сразу прояснилось при виде старого товарища. Он бережно снял бандуру со стены, сдунул

с нее пыль, настроил струны и, опустившись на лаву, запел сначала тихо, а затем все громче и громче...

Повернувся я з Сибіру,
Та не знайду долі...
Хоч, здається, не в кайданах,
Так не маю волі...

Долго пел атаман, выливая в своей песне всю скорбь, накопившуюся в его душе, и, должно быть, никогда не пел так хорошо атаман, как в этот раз... Словно слезы из глаз, лились из его сердца дивные звуки... Два раза слышался на печи явный шорох и шепот, но певец, отдавшийся своей песне, не слышал ничего... Вдруг резкий толчок Ульяны привел его в себя.

Кармелюк вздрогнул от неожиданности и оборвал струну. Жалобно зазвенел в хате умирающий звук и угас...

Перед Кармелюком стояла Ульяна. Лицо ее было бледно, по щекам струились слезы, глаза горели...

— Беги, беги скорее,— зашептала она, сжимая ему руку; — здесь засада... они с ружьями... их шестеро... Беги!..

Кармелюк вскочил с места.

Бандура скатилась с его колен и с треском ударилась о землю.

— Засада! — вскрикнул он громко и, вырвав из-за пазухи нож, бросился было к печи... но в это время оттуда грянул выстрел... Атаман взмахнул в последний раз руками и грохнулся навзничь на землю... [88]

Предательский поступок Рудковского настолько возмутил Розалию и всю окрестную шляхту, что Рудковский не мог дольше оставаться на родине и принужден был покинуть ее навсегда.

Трагическая смерть Кармелюка сильно потрясла Розалию,—она сразу постарела на двадцать лет. Она резко изменила весь образ своей жизни и всецело посвятила себя костелу.

Убивши Кармелюка, Рудковский в ту же ночь передал связанную Ульяну в тюрьму. Но Ульяна недолго просидела там: к утру она покончила с собой.

Долго поджидала Олеся в Новосельцах своего ненаглядного сокола, и наконец молва донесла до несчастной девушки ужасную весть.

Олеся чуть не умерла с горя. Только нежный уход матери и вырвал ее из рук смерти. В этом деле матушка

нашла себе неожиданную помощь в лице Хоздодата. Единственный последний друг Кармелюка, бывший писарь его Хоздодат, стал задушевным другом девушки. Он окружал ее всевозможным чисто материнским вниманием. Смешно и трогательно было видеть, с какой нежностью и лаской ухаживал за больной девушкой этот неуклюжий богатырь... Олеся выздоровела и привыкла к Хоздодату... Она уже скучала без него: воспоминание о Кармелюке сблизило и сроднило их.

Хоздодат совершенно переменился, он стал хорошим тружеником, и родители не могли нахвалиться сынком. В одном только огорчал он их — не хотел ни за что жениться, а потому и пропускал одно за другими все открывавшиеся священнические места.

Прошло три года... Отец Михаил отправился в далекий путь... Матушка и Олеся остались сиротами...

Робко приступила матушка к Олесе со слезной просьбой прийти на помочь ее сиротству и оставить за ними приход. И Олеся уступила наконец просьбам матери.

Узнав о согласии Олеси, Хоздодат пришел в такой восторг, что упал перед нею на колени и принялся целовать ее ноги.

Олеся обвенчалась с Хоздодатом: тень Кармелюка соединила двух его друзей.

Господь не благословил детьми брака Олеси и Хоздодата, но он послал им тихую радость.

Собравшись с деньгами, они выкупили на волю сыновей Кармелюка.

Хоздодат остался на приходе отца Михаила, где и дожил до глубокой старости, рассказывая молодежи о похождениях атамана.

Аккуратно каждый вечер батюшка удалялся в свою комнату и, затворив двери, присаживался к столу... И долго скрипело по желтым листам бумаги перо старика, занося на страницы истории деяния славного атамана...

А творчество народное делало свое дело... Оно слагало дивные песни и думы, сплетало истину со сказочной фантазией и облекало ореолом славы грустный образ атамана Кармелюка.

Примітки

Роман «Разбойник Кармелюк» вперше опубліковано 1903 р. в газеті «Московский листок» (№№ 2—361). Окремою книгою під такою ж назвою він вийшов 1908 р. в Москві, у виданні І. Морозова. За цим виданням роман було перекладено на українську мову й видано під назвою «Розбійник Кармелюк», спочатку у Львові (1909—1910), а потім у Львові й Чернівцях (1927).

1927 р. у Києві в обробці Л. М. Старицької роман вийшов українською мовою під назвою «Кармелюк», а в 1928 р.— повторне його видання. 1957 і 1958 рр. видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь» двічі видало роман з незначними скороченнями за виданням 1908 р.

У нашому виданні роман «Разбойник Кармелюк» друкується за текстом видання 1908 р. без змін (виправлення кількох слів обумовлені в примітках). Наявні в тексті твору українізми ми даємо без лапок, а українські пісні — в сучасній транскрипції.

[1] *Головчинці* — тепер с. Кармалюкове, Жмеринського району, Вінницької області.

[2] *Хозяин дома, пан Францишек Пигловский...*— Андрій-Йосип Миколайович Пигловський (1734—1816), походив з шляхти Цехановського повіту, Мазовецького воєводства, у Польщі. Батько його був заторським ловчим, а дід Станіслав — освенцімським каштеляном. 1777 р. А. Пигловський продав братові Августу-Войцеху свою частку спадкового маєтку в Польщі. У 80-х рр. він був уже на Поділлі, де одружився з Розалією Раціборською. У січні 1791 р. він купив у подільського земського судді А. І. Орловського маєток — село Головчинці з Старим Майданом. Кріпакам у пана Пигловського жилося важко, про що свідчать майже щорічні втечі кріпаків.

[3] *...бронзовые фигуры Яна Собеского и королевы Бонны.*— Ян Собеський — король польський (1674—1696), розгромив турецьке військо під Віднем (1683); королева Бонна Сфорца (1493—1557) — друга жінка короля Сигізмунда І (1506—1548), славилась своєю красою, цікавилась державними справами, брала в них участь.

[4] *...был вышит одноглавый орел, терзающий труп медведя.*— Одноголовий орел — Польща, ведмідь — Росія.

[5] *...пан Вицентий Хойнацкий...*— Особа вигадана. Для створення образу Хойнацького та його дружини Доротеї М. Старицький використав деякі народні перекази.

[6] *...по экстренному поручению от графа Огинского.*— Михайло-Клеофас Андрійович Огінський (1765—1833) — польський композитор, державний діяч, був литовським державним скарбником, брав участь у повстанні під проводом Костюшка, а потім емігрував до Італії. 1802 р. приїхав до Петербурга, був призначений сенатором,

з 1815 р. жив у Флоренції. Широко відомий його полонез «Прощання з батьківщиною» (полонез Огінського).

[7] *Фелікс Янчевський* — запеклий кріпосник, поміщик села Кальної Деражні, Летичівського повіту. Янчевський схопив Кармалюка в червні 1827 р. в Кальній Деражні.

[8] *...из герцогства Варшавского коморник...* — Варшавське герцогство (князівство) — васальна держава, створена 1807 р. Наполеоном I в системі володінь Франції з частини польських земель, відібраних у Пруссії за Тільзітським миром. Варшавське герцогство 1809 р. було поширене за рахунок польських земель, що перебували під владою Австрії. Після поразки Наполеона I на Віденському конгресі 1814—1815 рр. з більшої частини Варшавського герцогства створено Королівство Польське і передано Росії.

[9] *...дни Московии сочтены...* — Уже весною 1812 р. ходили чутки, що Франція нападе на Росію. Частина польської шляхти сподівалася на поразку Росії, а тому розраховувала захопити литовські, білоруські й українські землі, відновивши під зверхністю Франції Польщу в кордонах 1772 р. Французька армія в червні 1812 р. почала похід на Росію. У французькому війську в деяких корпусах були польські частини.

[10] *Костянтин-Адам-Олександр-Казимир Чарторийський* (1773—1860) — польський генерал. 1809 р. під час війни Наполеона I з Австрією сформував на свої кошти полк і воював як генерал Варшавського герцогства. 1812 р. брав участь у війні Наполеона I з Росією. Після утворення Царства Польського (Королівства Польського) був генерал-ад'ютантом царя Олександра I.

[11] *Радзивилл, Сангушко, Хоткевич, Потоцкий — примкнули к легионам нового Александра Македонского...* — Тут названо впливових консервативних представників польського і литовського магнатства; Наполеона порівняно з великим грецьким завойовником Олександром Македонським (пом. 323 р. до н. е.).

[12] *И пух, и перья полетят с этой двухголовой вороны!..* — Гербом царської Росії був двоголовий орел, якого тут презирливо названо вороною.

[13] *...план князя Чарторыйского...* — Адам-Єжій Чарторийський (1770—1861) — помічник міністра, а з 1804 р. міністр закордонних справ Росії, виробив план відновлення Польщі в її старих кордонах, тобто з литовськими, білоруськими і українськими землями, під зверхністю російського царя.

[14] *...Янко Кармелюк...* — За метричною книгою с. Головчинець, Літинського повіту, народився 27 лютого 1787 р. і записаний Севастяном. Батько його Яким Трохимович Карманюк (пом. 1809 р.), мати — Олена Василівна (пом. 1806 р). За «ревизскими сказками» 1811 р. Севастян записаний Устияном Карманюком.

[15] *Ведь мы похоронили давно его привилегии и договорные пункты, дарованные при заселении наших займищ...* — Шляхта, одержуючи від польських королів землі на Україні, закликала українських селян оселятись на них, обіцяючи при тому різні пільги. Потім шляхта ці пільги потроху касувала і запроваджувала щораз більшу панщину. В першій чверті XIX ст. кріпаки на Поділлі змушені були відробляти до 220 днів панщини, а також кілька десятків днів різних повинностей.

[16] *...на рогач.*— В тексті видання 1908 р. помилково: «на рычаг»,— виправлено за змістом.

[17] *...знавали вы Уманщину?* — Мова йде про повстання українського народу проти польського панства на Правобережній Україні в травні 1768 р. Зображенню цього повстання М. Старицький присвятив роман «Последние орлы», який надрукований 1901 р.

[18] *Зализняк да Гонта* — керівники селянсько-козацького повстання 1768 р. на Україні.

[19] *Наставляю тебя гуменным...*— Гуменний — наглядач за током, прикажчик. Тут М. Старицький використовує перекази про Кармалюка. В одному з них розповідається, що після повернення Кармалюка з-за кордону пан призначив його гуменним («Киевская старина», VI, 1886). Цей переказ М. Старицький взагалі широко використав у романі. В переказі далі розповідається, що гуменний з Кармалюка був абиякий, а тому що ніякі заходи на нього не впливали, то пан віддав його своїй сусідці. Вона також не могла справитись з Кармалюком і віддала його в солдати, звідки він незабаром утік. Повернувшись на батьківщину, Кармалюк зарізав свою паню, а потім убив колишнього свого пана, зібрав ватагу і «гуляв» з нею на Поділлі, Волині й Київщині.

[20] *...наш цар взял у француза их главный город Париж.*— Російські війська вступили до Парижа 19 березня 1814 р.

[21] *...антихриста Наполеона сослал царь на поселенье и посадил французу своего короля.*— Під тиском союзників (Росія, Англія, Австрія, Пруссія) Сенат і Законодавчий корпус Франції позбавили Наполеона престолу. В квітні 1814 р. Наполеон підписав зречення від імператорства і був засланий на острів Ельбу, а королем Франції став Людовік XVIII, в династії Бурбонів.

[22] *...Европа... в благодарность предложила России герцоество Варшавское.* Див. прим. 8.

[23] *Діана* — за римською міфологією, богиня невинності, мисливства, лісів і місяця.

[24] *...ложившийся рембрандтовскими эффектами...* Рембрандт Гарменс ван Рейн (1606—1669) — великий голландський художник. Улюбленим художнім засобом Рембрандта було застосування ефектів світлотіні.

[25] *Справник* — до 1862 р.— начальник повіту, очолював нижній земський суд — адміністративно-поліційну установу. До 1862 р. справників вибирали дворяни на повітових дворянських з'їздах.

[26] *Мессаліна* — жінка римського імператора Клавдія (41—54 рр.), яка славилась своєю розпустою.

[27] *Федір Рудковський* — убивця Кармалюка. Про його участь в якихось подіях до вбивства немає ніяких історичних відомостей. В церковному літописі с. Каричинець Шляхових, де був убитий Кармалюк, розповідається, що «Рудковський за вбивство Кармалюка був особисто викликаний до двору царя Миколи Павловича, був у нього на прийомі й нагороджений золотим перснем з царською короною».

[28] *Да это какой-то Ринальдо-Ринальдини!* — Рінальдо-Рінальдіні — легендарний розбійник, герой багатьох пригодницьких романів.

[29] *Луцій-Сергій Катіліна* (108—62 рр. до н. е.) — діяч Стародавнього Риму, керівник змови, яка мала на меті захоплення вла-

ди. Викритий консулом Ціцероном, він утік до Етрурії, де загинув у бою.

[30] *Аполлон* — бог сонця, покровитель науки й мистецтва, ідеал краси за грецькою міфологією. Його зображали звичайно високим, струнким юнаком. Аполлон Бельведерський — один з найкращих витворів античного мистецтва.

[31] Образ Хоздодата створено М. Старицьким на основі переказу, («Киевская старина», 1884, кн. IV).

[32] *Теперь пока в Шаргород. В семинарию...* Помилка автора: в Шаргороді була духовна школа, бурса, а не духовна семінарія.

[33] *...и отсыпал мне в полу с полсотни карбованцев.*— Цей епізод також подано за народними переказами про Кармалюка.

[34] *...сельским писарем.*— В тексті видання 1908 р. помилка: сельским писателем.

[35] *...из Кальной Деражни.*— В тексті видання 1908 р. тут помилка: из Калюжной Деражни; в інших місцях скрізь Кальна Деражня.

[36] *...к отцу Стопневичу.*— В тексті видання 1908 р. помилка: «...к отцу Станкевичу», хоч раніше він названий Стопневичем (див. розділ IX). Прізвище попа Стопневича теж взято з переказів про Кармалюка.

[37] *Загонова шляхта* — бідна шляхта, яка мала невелике поле — загін, а то й не мала власної землі, а наймала у пана — сиділа на чинші.

[38] *Ведь это ты, фурман Янчевского, Оныськo...*— Помилка автора: раніше він названий Олексою, тут — Ониськом, далі — знову Олексою.

[39] *...я не допущу пролития крови, кроме последней крайности...*— Про те, що Кармалюк нікого не вбивав, розповідають народні перекази про нього, а також широко відома народна пісня «Повернувся я з Сибіру».

[40] *Сильфіди* — за грецькою міфологією, божества, що живуть у повітрі й добре ставляться до людей.

[41] *Асесор* — засідатель в земському суді.

[42] *Адам-Лаврентій Ржевуський* (пом. 1825 р.) — до 1790 р. був вітебським каштеляном, а потім київським маршалком. Дочка його була одружена з видатним французьким письменником О. Бальзаком.

[43] *Клавікорд,* чи клавесин — давній музичний інструмент, попередник рояля.

[44] *...у Жигмонта Третьего...*— Сигізмунд III Ваза, король польський (1587—1632).

[45] *Каріатида* — колонка у вигляді жіночої або чоловічої фігури, яка підпирає балкони, карнизи тощо.

[46] *...в околице.*— В тексті видання 1908 р. помилково: в окатце — виправлено за чернеткою автографа.

[47] *Голіаф* — легендарний філістимлянський велетень; взагалі — велетень.

[48] *Quarto и quinto.*— В тексті видання 1908 р. помилково: quarto i quarto.

[49] *...граф тотчас же бросился к своим Фермопилам...*— Фермопіли — вузький гірський перехід з Північної у Середню Грецію. Янчевський говорить так, бо перед тим Розалія сказала, що граф,

занісши її до таємного сховку в саду, сам нібито побіг крізь вузький прохід.

50 *Ведь даже Леонида Спартанского победили персы при помощи хитрости...* — Леонід Спартанський — цар Спарти (488—480 рр. до н. е.). Під час греко-перських воєн перський цар Ксеркс захопив Північну і хотів захопити Середню Грецію. Гірський прохід Фермопіли між Північною і Середньою Грецією обороняло грецьке військо на чолі з Леонідом (480 р. до н. е.). Численні дводенні атаки Ксеркса не змогли зламати опір греків, але серед них знайшовся зрадник, який провів персів у тил грецького війська. Леонід наказав грецькому війську відійти, а сам з 300 спартанських воїнів залишився захищати прохід.

51 *Консоля* — виступ на стіні, що підтримує архітектурні прикраси.

52 *...и мы с паном Адамом...* — тобто з Пигловським,— недогляд автора: на початку роману Пигловський названий Францішком.

53 *Кармелюк был посажен в отдельную каменную башню уцелевшей и поныне турецкой крепости...* — В Кам'янець-Подільській фортеці, перетвореній тоді на в'язницю, Кармалюк був ув'язнений тричі: 1814, 1817—1818 і 1822—1823 рр.

54 *Волшебник!* — Про Кармалюка справді існувало багато переказів як про чарівника, який чудесним способом міг втекти з в'язниці і т. п. Деякі з цих переказів були опубліковані (напр., в журн. «Зоря», 1894 р.), інші М. Старицький чув сам.

55 *Маркітант* — крамар, який торгує при війську переважно харчами; супроводжує військо також під час війни і маневрів.

56 *Деньги я получу с судьи...* — Тут М. Старицький використав перекази про Кармалюка, («Киевская старина», 1886, кн. VII).

57 *Презус* — голова. В листопаді 1833 р. для боротьби з Кармалюком була створена т. зв. Галузинецька комісія на чолі з чиновником особливих доручень при губернаторі Візерським. Діяла комісія до кінця 1839 р. М. Старицький роль голови комісії приписує Ф. Янчевському.

58 *...кто знает, не ближе ли он был к пану Пигловскому, чем к своему отцу?* — В одному з переказів розповідається, що Кармалюк був нешлюбним сином пана Пигловського і кріпачки, в іншому — що одного разу, коли Кармалюка під вартою відправляли разом з іншими арештантами до Сибіру, то його врятувала пані — жінка брата по батькові («Киевская старина», 1886, VI).

59 *И даже Данаю?.. на земле она носит имя, подобное розе...* — Мова йде про Розалію; Даная — дочка аргоського царя Акрісія, надзвичайно вродлива. В неї був закоханий Зевс.

60 *...как Нерон на пожар Рима...* — Клавдій-Тіберій Нерон — римський імператор (54—68 рр.), велика пожежа Рима була 64 р.

61 *...чугунное кольцо с тайным масонским знаком.* — Масонство — релігійно-етичний рух, що виник на початку XVIII ст. в Англії, а пізніше і в Росії. Спочатку до масонів належала верхівка аристократії, але з початку XIX ст. склад масонських організацій демократизувався (до них вступали лікарі, вчителі, офіцери тощо). Декабристи використовували масонські організації, тому масонство в Росії було заборонено 1822 р. Масони носили персні з певними знаками.

[62] *Ради бога, Станислав!* — Помилка автора: в інших місцях роману Янчевський називається Феліксом.

[63] *...на полянку выскочил худой светловолосый мальчик, крайне бедно одетый, лет десяти-двенадцати.* — Тут йдеться про випадкову зустріч Кармалюка з сином Іваном, що відбулася восени 1826 р. в ходаківській корчмі, куди молодий хлопець прийшов просити шинкарку Добровольську допомогти знайти украдені в них воли.

[64] *...старинное изображение казака Мамая.* — Ім'я Мамай не пов'язане з певною історичною особою, а є назвиськом козака (з XVIII ст. — гайдамаки) взагалі. Картини із зображенням козака Мамая в давнину були поширені в різних варіантах. Основний сюжет: в центрі картини сидить Мамай, по-східному схрестивши ноги, палить люльку і грає на бандурі. Поруч з ним прив'язаний до списа кінь і дерево, на якому розвішана зброя.

[65] *Зовуть мене розбійником...* — Строфа з української народної пісні про Кармалюка.

[66] *Вбогі люди, темні люди...* — Строфа з пісні, складеної Марком Вовчком, яку співає Кармалюк в її повісті «Кармалюк». Варіант цієї пісні був опублікований в «Киевской старине» (1882, кн. X).

[67] *...аки Фемистоклюса, прогнавшего полчища персиян!..* — Фемістокл — грецький воєначальник, 480 р. до н. е. розгромив флот перського царя Ксеркса біля острова Саламіна і примусив персів утекти з Греції

[68] *Аки Даниил, был ввержен в львиный ров... извержен... аки Иона из чрева китова.* — Порівняння взято з біблейських легенд. В одній з них розповідається, що пророк Даниїл був кинений у рів з левами, але вони його не зачепили, і він вийшов неушкоджений, в іншій — що Іону проковтнув кит, в його череві Іона прожив три дні, а потім кит викинув його живого.

[69] *...и новая Далила охотно выдаст своего Самсона.* — Даліла — коханка біблійного лицаря Самсона, яка зрадила його і видала ворогам філістимлянам; звідси — зрадлива жінка.

[70] *...плутоватую субретку помпадуровских времен.* — Субретка — покоївка в багатих людей; помпадурівські часи — часи панування Помпадур, відомої коханки французького короля Людовіка XV (пом. 1774 р.).

[71] *Ієрейського* — попівського; *літоросль* — нащадок, паросль.

[72] *Томас Торквемада* (1420—1498) — домініканський чернець, великий інквізитор іспанський.

[73] *Галатея* — кохана Пігмаліона, легендарного скульптора, царя Кіпра. Він закохався у вирізьблену ним з слонової кості статую Галатеї, і богиня Афродіта (Кіпріда) оживила її.

[74] *...должностных лиц, которые были в то время из поляков.* — Списки шляхти Літинського і Летичівського повітів за 1832 р. свідчать, що польська шляхта справді займала багато посад у повітових, зокрема в судових установах.

[75] *Не Юдифь ли погубила Олоферна?* — Юдіф — єврейка, яка, приспавши закоханого в неї вавілонського полководця Олоферна, відрубала йому голову його ж мечем.

[76] *...предводителем нового, шляхетского повстанья.* — Мова йде про повстання 1830—1831 рр., яке відбувалося в Царстві Польському. Спроба поширити це повстання на Волинь і Поділля зазнала

невдачі, тому що український народ вороже ставився до польського панства.

[77] *Марко Проклятий* — герой української народної легенди, неприкаяний грішник, якому ніде нема місця. Цю легенду використав український письменник О. Стороженко в повісті «Марко Проклятий».

[78] *...как нимфа Калипсо Одиссея...*— Німфа (за грецькою міфологією, німфи — другорядні богині, які уособлювали сили природи) Каліпсо сім років тримала в полоні Одіссея — міфічного царя острова Ітака, героя «Іліади» і «Одіссеї».

[79] *Пани преувеличивает...*— В тексті видання 1908 р. помилково: «Правда преувеличивает...» Виправлено за першодруком в газеті «Московский листок».

[80] *...с бубновым тузом-с...*— В царській Росії арештанти ходили у в'язничному одязі; на спині арештантського халата вирізувався ромб, і ця дірка зашивалася матеріалом іншого кольору. Звідси — бубновий туз.

[81] *Семіраміда* — легендарна ассірійська цариця.

[82] Старовірами називали тих, хто дотримувався старої віри, дониконівських порядків. Православна церква переслідувала старовірів (розкольників), тому багато їх переселилось з Росії на Поділля. В тексті видання 1908 р. тут і далі, за народною етимологією, «столовер».

[83] *Каменец прежде, во время владычества Польши...*— Далі М. Старицький не зовсім точно подає опис міста і фортеці.

[84] *...старинные гравюры взятия Каменца турками...*— Турки захопили Кам'янець-Подільський і Поділля 1672 р. і панували тут до 1699 р.

[85] *...не чертовой будет зваться теперь, а Кармелюковой...*— Башта, в якій сидів ув'язнений Кармалюк, здавна і тепер називається Кармалюковою. На ній встановлена меморіальна дошка.

[86] *Генерал-губернатор Юго-Западного края Бибиков...* — Південно-Західним краєм називалась Правобережна Україна; 1837—1848 рр. генерал-губернатором Київської, Волинської й Подільської губерній був Дмитро Гаврилович Бібіков.

[87] *...Демосфен... умер в битве при Грохове.*— Битва царського війська з польськими повстанцями під Гроховим відбулась 13 лютого 1831 р. Повстанці зазнали поразки і змушені були відійти на лівий берег Вісли.

[88] *Атаман взмахнул в последний раз руками и грохнулся навзничь на землю...*— Кармалюк був убитий із засідки шляхтичем Рудковським в ніч з 9 на 10 жовтня (за ст. ст.) 1835 р. в с. Каричинцях Шляхових, кол. Летичівського повіту, біля порога хати Олени Прокопчук. Вона повідомила поміщика Волянського, коли до неї прийде Кармалюк на побачення з одним із своїх співучасників.

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ

ЗМІСТ

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ СТАРИЦКИЙ
Сочинения
Том 6
(На русском языке)

*

Видавництво художньої літератури
«Дніпро»,
Київ, Володимирська, 42.

*

Редактор *І. Ф. Лещенко*
Художник *В. І. Смородський*
Художній редактор *М. П. Вуек*
Технічний редактор *Є. А. Зіскіндер*
Коректор *Л. М. Кирилець*

*

Виготовлено в Київській книжковій друкарні № 4
Державного комітету Ради Міністрів УРСР по пресі,
Київ, пл. Калініна, 2.

*

Лінотипісти *О. Морозова, В. Поляков*
Верстальник *І. І. Баласова*
Друкарі *В. С. Мулик, Л. Г. Галамага*
Керівник палітурно-брошурувальних процесів *В. І. Вбкова*

*

Здано на виробництво 30/XI 1964 р.
Підписано до друку 25/III 1965 р.
Формат паперу 84×108$^1/_{32}$. Фізичн. друк. арк. 25,25.
Умовн. друк. арк. 42,42+5 вкл. Обліково-видавн. арк. 43,280.
Ціна 1 крб. 52 коп. Замовлення 727. Тираж 19 000.
Т. П.— 1965 — поз. 3.

1 р. 62 коп.